РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Беэкман В. Э.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ВАЛЬТЕР СКОТТ

# ПУРИТАНЕ

●

# ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
Б. Реизова

Иллюстрации
В. Якубича

# ДВА РОМАНА ИЗ ШОТЛАНДСКОЙ ИСТОРИИ: «ПУРИТАНЕ» И «ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ»

## 1

Мало кто из великих писателей прошлого пользовался такой прижизненной славой, как Вальтер Скотт. Его романы переводились на все европейские языки, им зачитывались миллионы читателей во всех концах Европы, и в каждой стране он находил последователей и учеников. Его именем называли целую эпоху литературного развития. И это продолжалось долго. Затем слава его пошла на убыль. Он перестал быть спутником новых поколений. Перед европейским обществом и почти в каждой стране одновременно возникали новые задачи, требовавшие для своего решения новых художественных форм. Наше время, столь непохожее на «эпоху Вальтера Скотта», вновь открывает в его творчестве общественные и нравственные проблемы, которые долго еще не исчезнут с европейского горизонта.

Английский ли это писатель или шотландский? Такая постановка вопроса противоречит чувствам и убеждениям самого Вальтера Скотта. Он был пылкий шотландский патриот и в своих поэмах и романах воспел свою родину со страстью и мудростью, прославившими на весь мир никому до того не известную, крохотную, отсталую страну. Он писал на английском языке, включая в свои романы обильные диалоги на шотландском диалекте, и считал себя английским писателем так же, как и шотландским. Шотландию и Англию он называл двумя сестрами и в то же время с гордостью защищал шотландское национальное своеобразие от посягательств или оскорблений ее более мощного соседа.

Вальтер Скотт родился в 1771 году в Эдинбурге, столице Шотландии. По желанию отца он стал изучать юридические науки, получил звание адвоката, был секретарем Эдинбургского суда, а затем шерифом округа. Вместе с тем Скотт со страстью занимался литературой. Окруженный шотландской стариной, он особенно интересовался историей своей страны, ее фольклором, фантастическим и историческим, и еще с детских лет полюбил старинные баллады. Первыми его произведени-

ями были переводы баллад Бюргера «Ленора» и «Дикий охотник». Он собирал и записывал баллады, которые еще распевались в глухих уголках страны, и в 1802—1803 годах издал их под названием «Песни пограничной Шотландии». В этом сборнике были напечатаны и его собственные баллады, в частности «Иванова ночь», переведенная В. А. Жуковским и пародированная М. Ю. Лермонтовым. С 1805 года Скотт пишет большие поэмы из истории средневековья, создавшие ему европейскую славу. Только в 1814 году появился его первый исторический роман «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад», который открыл новый период в развитии европейской литературы. Скотт вошел в историю как создатель жанра исторического романа.

В своем поместье Эбботсфорде на берегу Твида, пограничной реки между Англией и Шотландией, Скотт собрал прекрасную коллекцию древностей — оружия, рукописей, книг, домашней утвари. Среди особо ценного оружия в коллекции хранились шпага Клеверхауза, героя «Пуритан», пистолеты Монтроза, героя «Легенды о Монтрозе», и ружье Роб Роя, героя романа «Роб Рой».

Вальтер Скотт редко покидал свой замок. Надолго ему пришлось оставить его только за год до своей смерти: в 1831 году он перенес апоплексический удар, и врачи посоветовали ему на время поселиться в более теплых краях. На военном фрегате, предоставленном ему правительством, Скотт отправился в путешествие по Средиземному морю, в Италию. Однако облегчения не наступило, и, почувствовав себя плохо, он вернулся на родину, в Эбботсфорд, где и умер 21 сентября 1832 года.

За три десятка лет Вальтер Скотт написал больше тридцати романов и повестей и множество статей и книг, посвященных вопросам истории и литературы. Все его романы выходили под псевдонимами, свое авторство он признал только в 1829 году, издавая полное собрание своих сочинений.

Скотт обратился к историческому роману потому, что проблематика, все больше интересовавшая его с того времени, когда он собирал народные баллады, не вмещалась в созданный им жанр поэмы: поэма не могла показать с той глубиной, о которой он мечтал, историческую эпоху в ее противоречиях, с массой действующих лиц и событий, и захватить читателя не только живописными зрелищами, но и философским осмыслением этих событий.

Сюжет первого романа был задуман с тем расчетом, чтобы «помирить» англичан с шотландцами, рознь между которыми еще более обострилась после шотландского восстания 1745 года. «Уэверли» повествовал именно об этом восстании, и так, чтобы вызвать у английского читателя симпатию к шотландцам. Вместе с тем в романе выдвигалась и более общая проблема, проблема завоевания, в котором тогда видели начало феодального строя и социального неравенства.

Европейская аристократия рассматривала свою политическую власть и сословные привилегии как наследство предков, которые в давнее время, покорив более слабые племена и народы, превратили их в бесправных крепостных. Эту точку зрения приняли и те, кто восставал против феодальных порядков и социальной несправедливости. Борьбой покоренных с покорителями объясняли многовековую борьбу за свободу — бесчисленные восстания, гражданские войны и революции, происходившие во всех странах Европы. Только что закончившаяся французская революция тоже рассматривалась как восстание против древнего германского владычества «свободной» когда-то Галлии. Как шотландский патриот и проницательный историк, Скотт сочувствовал идеям, вдохновлявшим французскую революцию 1789 года, хотя и был убежденным консерватором-тори. Он стоял на стороне английской революции XVII века. Защитников старой королевской династии Стюартов, осуществлявшей волю английской знати, он иногда изображал с сочувствием и симпатией, которую вызывал у него всякий самозабвенный героический акт, но отлично понимал, всю обреченность безнадежного и вредного для страны сопротивления идеям революции. И все же он боялся революционных методов борьбы, полагая, что медленное нравственное, а вместе с ним и общественное развитие может привести человечество к конечному благополучию.

Почти в каждом его романе поднимаются проблемы социальной несправедливости, национальной и классовой борьбы. Вальтер Скотт с удивительной для его времени глубиной понял и выявил причины и формы социальных конфликтов, волновавших тогда Европу. Экономическая, политическая, нравственная и бытовая стороны бесчисленных революций и гражданских войн показаны им с пониманием и отчетливостью, определившими феноменальный успех его романов.

И еще одна идея, тоже связанная с французской революцией и сыгравшая решающую роль в мировоззрении и творчестве Вальтера Скотта,— идея исторической закономерности.

Скотт был уверен в том, что история развивается по своим особым законам, что человечество не отдано во власть случая, абсурда, неизбывного зла. Нравственное чувство, чувство справедливости, долга, присущее каждому человеку, свидетельствует, по его мнению, о том, что и история человечества движется по путям справедливости, как бы чудовищны ни были отклонения от нее в различных социальных средах и обстоятельствах. Понятие истории неотделимо для Скотта от понятия нравственности. Как историк большого плана, он знает, что после ожесточенных боев общество приходит к временному затишью и примирению, чтобы тотчас же вступить в новую фазу борьбы, которая сквозь все неудачи и победы когда-нибудь приведет его к более совершенному нравственному состоянию. Эта идея лежит в основе романа «Пуритане».

* * *

В 1679 году в Шотландии произошло восстание, вызванное преследованиями, которым подвергались те, кто объединен в романе под названием пуритан. Восстание было быстро подавлено, а через десять лет в Англии совершилась новая революция. События 1679 года отошли в прошлое, и в 1816 году, когда Скотт писал свой роман, никто не вспоминал ни восстание, ни битву пуритан и роялистов на Босуэлском мосту. Но мысль Скотта возвращалась к позабытому прошлому, потому что все же оставались побудительные причины этой борьбы: общественная несправедливость, принявшая новые формы, и противоречия, раздиравшие общество. Во времена Скотта от голода гибли тысячи людей, и на костях умерших — рабочих и крестьян — возникали колоссальные богатства, английская «свобода» и английское «благополучие». «Обращение вспять» для Скотта не было ни оправданием прошлого, ни бегством от действительности; он хотел найти в истории некое поучение, необходимое для дальнейшего движения вперед.

Чтобы изобразить это восстание, Скотт должен был показать основные его силы: наиболее непримиримую, фанатичную и радикальную группу «протестующих»; группу «умеренных» — «резолюционистов», кое-как принявших сторону Карла II; дворян, преданных «старому порядку», вроде леди Белленден, ярых роялистов, вроде Клеверхауза, и всю массу крестьян, торговцев, помещиков, дворян, вовлеченных в восстание своими убеждениями, обстоятельствами бурной эпохи или материальной зависимостью от той или иной партии.

Для решения столь трудных вопросов нужно было выработать особую художественную методологию. Между тем во времена Скотта самый жанр исторического романа вызывал сомнения и споры.

Полагалось считать, что роман — это вымысел, а история — правда. Таким образом, даже в самом названии жанра исторического романа заключено противоречие; смешивая правду с вымыслом, говорили противники этого жанра, романист выдает свои выдумки за подлинную историю и обманывает доверчивых читателей.

Вальтер Скотт понимал соотношение правды и вымысла по-своему.

Исторические факты, записанные в старинных хрониках, можно понять и объяснить только в том случае, если воспроизвести поступки и страсти исторических деятелей и поведение народных масс. Это будет, конечно, творчество, но вместе с тем и исследование, а потому вымысел и правда одновременно.

Исторических деятелей, имена и деяния которых сохранились в документах, немного. Между тем исторические события государственного значения невозможны без участия масс, о котором документы ничего не говорят. Почему эти массы сражались, побеждали или терпели

поражения, почему шли за своими вождями или сбрасывали с престола королей, защищая свою веру и нравы? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно на основании документов воссоздать то, чего в документах нет: нравственный облик народа, его психологию, интересы и условия жизни. А для этого одних исторических персонажей недостаточно. Нужны вымышленные герои, которые могли бы воплотить потребности народа, отдельных общественных групп, классов и прослоек,— то, что является большой правдой истории и ее движущей силой.

Клеверхауз и Берли — персонажи исторические. О Клеверхаузе мы знаем немного, и на основании документов нельзя было бы воспроизвести его подлинный характер. Скотта часто упрекали в том, что он сделал из «кровожадного пса» какого-то рыцаря без страха и упрека. Прав ли был великий романист в своем толковании этого персонажа или нет — сказать трудно. Важнее то, что Скотт создал образ возможный, вероятный и даже типичный для той эпохи и что без такого Клеверхауза исторические события 1679 года, да и вообще английские гражданские войны XVII века были бы менее понятны. Следовательно, этот образ, независимо от того, в какой мере он воспроизводит подлинного Клеверхауза, исторически и художественно правдив.

Историки, и особенно те из них, кто сохранил старые пресвитерианские религиозные и национальные пристрастия, обвиняли Скотта в том, что он возвел клевету на несчастных и героических повстанцев, разбитых на Босуэлском мосту. Образ Берли показался им оскорбительным для пресвитериан. Сравнивая исторического Джона Белфура Берли с его отражением в романе, они обвинили Скотта чуть ли не в намеренном искажении истории и во лжи. Однако Скотт не стремился к доподлинности в фактах. Берли сотворен им заново так же, как Клеверхауз. Оба они — исторические типы, воплощающие не только психологию различных общественных классов, но и различные решения больших политических и нравственных проблем.

Генри Мортон и Кадди Хедриг, так же как леди и майор Белленден, вымышлены от начала до конца, но они не меньше, чем Клеверхауз и Берли, полны жизни и представляют соответствующий аспект нравов эпохи и обстоятельств, в которых мог оказаться представитель того или иного класса. Создавая эти вымышленные персонажи, писатель, не связанный никакими документами, был свободен как философ и романист.

Чтобы понять общество, изображенное в романе, нужно было изучить все составляющие его элементы, классы и группы в системе общественных связей и противоречий. Психология и идеология каждого персонажа показаны и анализированы не только как индивидуальные, но и как классовые, сословные, профессиональные. Они связаны с его положением в обществе, с традициями и навыками, сложившимися в течение столетий. Ярость «протестующих», ненависть роялистов-дворян к пресви-

терианам, средняя линия «резолюционистов», исступление «святых», готовых на любые жертвы ради «истины»,— все безумное и неистовое, что жило в эпохе, кажется реальным и исторически мотивированным. Читатель знакомится с людьми прямо противоположных взглядов, характеров и нравов. Берли и Кадди, Аввакум Многогневный и Генри Мортон, мисс Белленден и Дженни Деннисон, Паундтекст и Мак-Брайер — образы как будто несовместимые в рамках одного романа, но Вальтер Скотт создал из этих кричащих противоречий художественное единство, потому что понял и объяснил противоречивое единство общества. Все его персонажи понятны в хорошо понятой эпохе и характеризуют ее с убедительной наглядностью.

Политическое событие, стоящее в центре романа, делает повествование чрезвычайно динамичным. Только в редких случаях мирное описание какого-нибудь интерьера дает читателю мгновенную передышку от напряженного действия. В то же время непрерывно движется нравственная и политическая мысль. Вальтер Скотт редко излагает ее в своих собственных рассуждениях — это было бы вторжением автора в волшебные кадры его вымысла и показалось бы произволом и разрушением иллюзии. Его персонажи, попавшие в круговорот событий, принуждены сами мыслить и оперировать широкими комплексами понятий. Неграмотный Кадди выражает такие глубокие истины, что ему мог бы позавидовать какой-нибудь весьма образованный Клеверхауз, для которого вся истина заключается в его шпаге.

Генри Мортон, скрывающий свое лицо под широкими полями шляпы, сопровождает карету мисс Белленден и вступает с ней в спор. В их речах, не похожих ни на речи Кадди, ни на исступленные вопли Аввакума и «святых», выражены различные точки зрения, объясняющие причины и смысл событий. Этот анализ жестоких противоречий эпохи приводит к синтезу, намеченному в финале романа.

Политическая и нравственная мысль романа выражена не только в диалогах, но и в самом действии. Подтвержденная психологией и судьбами всех участников событий, она сводится к необходимости общественной справедливости, о которой так много писали в XIX веке,— необходимости правового положения общества, без чего самое существование его невозможно.

* * *

До Вальтера Скотта роман обычно ограничивался небольшим числом персонажей. Весь интерес сосредоточивался на двух героях — влюбленной паре, другие персонажи лишь подыгрывали главным, препятствуя им или помогая делом, советом и сочувствием. У Скотта интересы гораздо шире — в его романах действуют целые толпы людей, и чуть ли не каждый человек играет самостоятельную и активную роль. В «Пуританах» изображены замок Тиллитудлем, поместье Мортонов, лагерь

повстанцев... Многие критики упрекали Скотта в «двойственности интереса», имея в виду, что внимание читателя постоянно переходит от любовной интриги к политическим событиям и это будто бы мешает сосредоточиться и по-настоящему увлечься повествованием. Однако романы Скотта с двумя и даже с несколькими «интересами» так увлекали читателей, что упрек этот должен был отпасть сам собой. К тому же в романах Скотта любовная интрига не просто соседствует с интригой политической. Любовники не являются только страдательными персонажами — они самозабвенно отдаются политической драме, вовлекающей их в свой круговорот. Их судьба и благополучие зависят от того, какой оборот примут государственные события.

Если иметь в виду только любовную интригу, сюжет «Пуритан» можно было бы определить как сюжет «затрудненного брака», характерный еще для античных и средневековых романов. Однако содержание и задача «Пуритан» заключается в другом: Генри Мортон, играющий роль «первого любовника», должен найти свой путь в сложнейших обстоятельствах политической жизни. Сквозь все препятствия и соблазны он должен провести свою линию — честного человека, сохраняющего чувство долга и способность объективно мыслить среди крайностей и безумств враждующих партий. Он может показаться холодноватым и скучным по сравнению с другими героями и слишком «воспитанным» для своей эпохи. Некоторые критики утверждали, что по своим нравственным свойствам он скорее современник Вальтера Скотта, чем Аввакума Многогневного, самого неистового героя «Пуритан». Но это была субъективная критика, не задумывавшаяся над проблематикой романа и видевшая в прошедших эпохах только ярость безудержных страстей: разве возможен в те далекие времена сколько-нибудь благоразумный человек, да еще юноша, и к тому же влюбленный?

Генри Мортон ведет нравственную линию романа. Так он был создан автором и так понят непредубежденным читателем. Мортону кажется, что убийствами и насилиями не достигнуть мира и справедливости. Вступить в армию повстанцев его принуждают не только обстоятельства, но и гражданское чувство. Но он не может стать своим среди «протестующих», так как понимает, что их методы борьбы не приведут к добру. В историческом и психологическом плане этот образ вполне реален, а нравственные колебания его в обстоятельствах эпохи естественны и понятны.

На крайних политических и нравственных полюсах находятся Клеверхауз и Берли. Для Клеверхауза добродетель и честь заключаются в том, чтобы защищать старый общественный строй, короля и династию, как то делали его предки и наставники. Он уверен в своей правоте. Те, кто придерживается иных взглядов, в его глазах — злодеи и должны быть истреблены. Это законченный тип последовательного и оголтелого роялиста.

Сложнее и интереснее Джон Белфур Берли. Он страстный и убежденный нонконформист, сторонник самых крайних и решительных действий. Он опьяняет себя цитатами из Ветхого завета. Препоясать себя мечом, взяться за плуг, послужить господу, убить, отмстить, вонзить нож под пятое ребро — так он понимает задачу своей жизни и принципы своей религии. Это делает его фанатиком и лишает разума. Но если Аввакум Многогневный — одержим в полном смысле слова, то Берли расчетлив, дипломатичен и хитроумен в своих отношениях с людьми.

В сражениях он убивал людей, не задумываясь. Он убивает Босуэла, но это было убийством врага в открытом бою. Берли мучит другое воспоминание. Из соображений политических и религиозных на глухой дороге он убил старика, епископа Шарпа, преследовавшего нонконформистов. Нужно ли было это убийство? Были ли побудившие его мотивы достаточно чистыми? Где-то в глубине сознания он чувствует, что в его рассуждениях был какой-то изъян. То, что он хотел представить божественным внушением, было на самом деле голосом его личных страстей. Он самовольно взял на себя роль провидения, уверив себя, что в этом и заключался его долг. Конечно, только государственное правосудие может карать людей за совершенное ими зло. Но государственная власть сама совершает зло, попирая всякую справедливость и отдавая бедняков во власть роялистов и «умеренных»,— потому-то Берли и принял на себя роль судьи и бремя ответственности.

Каждую ночь он борется с дьяволом, отбиваясь от него мечом и текстами из Ветхого завета. Дьявол — это его совесть, нравственное чувство, которому более или менее подвластна каждая душа, и он погибает в этой борьбе, хотя остается до конца на своих позициях.

Характеризуя Берли как человека неистовых страстей и дурных наклонностей, Скотт указывает путь для того, чтобы понять и его заблуждения, и его героизм. Эта несчастная психология вызывает ужас и симпатию одновременно, потому что Джон Белфур Берли объяснен обстоятельствами, в которых он действует, преследованиями, которым подвергаются его единоверцы, духом эпохи — так же как особенностями своей натуры.

Кадди, крестьянин леди Белленден, не хочет ни войны, ни убийств. Вопреки собственной воле он тоже оказался участником восстания, потому что большое политическое событие всех принуждает бороться, приносить жертвы и рисковать жизнью. Кадди хочет сеять хлеб и собирать урожай. Он мечтает о том, чтобы идти за быками и вести борозду, в которую упадет зерно будущего. Ему кажется, что этому мешает восстание. Но дело не в восстании: леди Белленден, женщина ничуть не злая, не даст ему пахать и не оставит его в покое, потому что считает крестьян своими рабами и врагами.

Кадди как будто не блещет умом, но у него своя особая, крестьянская мудрость. Он хочет того, что ему полагается, что заслужил трудом пахаря и поведением во время войны. Со своими компромиссами, практицизмом и верностью сердца этот характер тоже полон исторической правды.

В «Пуританах» Скотт, по его собственным словам, хотел «раскрыть положение шотландского крестьянина, который дошел до пределов отчаяния и гибнет на поле сражения или на эшафоте, пытаясь отстоять свои первейшие и священнейшие права». В этом романе впервые заговорили крестьянские массы, прежде вызывавшие в литературе разве что снисхождение. Это не пейзане придворных балетов, не пастухи и пастушки, осчастливленные подачками господ, как в романах минувших эпох. Это люди высокого плана, которые могут служить примером для утопающих в роскоши и пользующихся всеми благами культуры лордов и герцогинь.

В романе изображены три матери, как будто намеренно противопоставленные одна другой. Леди Белленден — фанатичная роялистка, мать Кадди Моз — фанатичная пуританка. Высокомерная леди не может и, по ее словам, не имеет права сострадать мятежникам, потому что «они сделали ее безутешной вдовой». Старуха Моз ратует за свою веру и будет «свидетельствовать» даже под угрозой смерти. Она готова и сына отдать на казнь без размышлений, потому что фанатизм истребил в ней человеческие чувства и привел к безумию.

Но Бесси Мак-Люр, бедная пресвитерианка, спасает раненого лорда Эвендела, которого не впустил в свой дом ни один джентльмен, боясь мести мятежников. И ее осуждают за это: «Они говорили мне, что у меня нет чувства материнской любви, раз я спасла того, кто принадлежал к шайке разбойников, убивших обоих моих сыновей».

Эта слепая старуха, проходящая незаметной тенью по окраинам романа, с нравственной точки зрения является центральной его фигурой. Она сохраняет душевные качества, несвойственные владелице великолепного замка, наследнице длинного ряда насильников-баронов, утратившей в своей сословной гордости чувство человеческой солидарности и симпатии к себе подобным.

В глубине темных деревень, в народе, не затронутом страстью стяжательства и религиозным фанатизмом, живет нравственное чувство, которое, по мнению Скотта, когда-нибудь спасет государство от катастроф. Скотт всегда уповал на нравственную силу народа, и если бы в среде пуритан не было неистового фанатизма, толкавшего их на ненужные жестокости, он готов был бы счесть начатую ими войну справедливой.

Обычно романы Вальтера Скотта изображают какое-нибудь крупное историческое событие, сыгравшее большую роль в жизни страны. Поступки и речи персонажей или слова самого автора объясняют нам общественные противоречия эпохи, которые вызывают открытый кон-

фликт, вместе с главными героями мы принимаем в нем участие и, наконец, видим его исход и его неизбежные следствия.

То же происходит и в «Пуританах». Несмотря на то что восстание закончилось поражением на Босуэлском мосту, оно все же свидетельствовало о негодности режима Стюартов и предсказывало его падение. Неудавшееся восстание было словно преддверием «бескровной революции» — государственного переворота 1688—1689 годов, снявшего с престола Иакова II, последнего Стюарта, и утвердившего новую династию и новый режим. Переворот этот был «компромиссом между *неофициально,* но фактически *господствующей* во всех решающих сферах буржуазного общества буржуазией и *официально правящей* земельной аристократией» [1]. Разумеется, переворот ничего не принес ни английскому, ни шотландскому народу — в результате «компромисса» началась жестокая экспроприация крестьянства, особенно тяжело проходившая в Шотландии. Но Вальтеру Скотту переворот все же казался началом более счастливого периода: религиозные противоречия, раздиравшие страну, были сняты, а вместе с тем получили свое разрешение судьбы частных лиц, слившиеся с судьбами государства. «Бескровная революция» стала исторической перспективой, раскрывающейся в романе, словно окно, распахнутое в будущее. Брак Мортона с мисс Белленден, таким образом, приобретает символический смысл. Приблизительно тот же смысл имеет и брак Кадди с Дженни Деннисон, которая умнее мужа, но не лучше его, потому что у Кадди есть нечто большее, чем практический ум и ощущение личной пользы: непосредственное нравственное сознание, которое для Скотта было самым высоким качеством души.

## 2

«Легенду о Монтрозе» Скотт напечатал через два года после «Пуритан», в 1819 году. Историческое событие, о котором говорится в романе, происходило в 1645 году, в разгар английской революции, закончившейся казнью короля Карла I и утверждением республики во главе с Кромвелем. Так же как и «Пуритане», «Легенда о Монтрозе» изображает Шотландию в момент крупного исторического события, когда социально-политические противоречия вылились в открытую войну. Но здесь место действия — не Южная Шотландия с ее «саксонским» населением, а Северная, кельтская, резко отличающаяся от Южной своим социальным укладом, нравами и языком.

В первой главе Скотт характеризовал политическое положение Шотландии, чтобы читатель мог без труда понять содержание романа. Он воспроизвел перипетии военных действий, связав их с жизнью гор-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 11, стр. 99—100.

ных кланов и их вождей. Мы не найдем в романе строгой хронологической и топографической точности, но Скотт был точен в широком показе страны, народных нравов и событий истории. Как во всех его произведениях, художественная правда создана им при помощи вымысла. Изучив исторические документы, он понял, что́ представляла собой война шотландских горцев, обусловленная их интересами и общественными условиями существования. Так объясняется стратегия и тактика Монтроза, его блестящие победы и конечное поражение, а вместе с тем и действие романа.

По названию романа можно было бы признать его героем маркиза Монтроза, руководившего походом шотландских роялистов. Но Вальтер Скотт редко отдавал главную роль историческому лицу — в поисках нравственной правды он не хотел стеснять себя ни данными хроник, ни устоявшимися мнениями историков. Монтроз не является главным героем романа,— это только персонаж, создающий сюжетную канву и противопоставленный маркизу Аргайлу, как гениальный полководец искусному политическому интригану.

Нельзя счесть главным героем ни капитана Дальгетти, «одинокого всадника», с которым мы встречаемся в начале романа и не расстаемся до самого конца, ни Аллана Мак-Олея, ни кого-либо другого из действующих лиц. У Скотта почти не бывает главного героя в том виде, в каком он присутствовал во всех романах XVIII и даже XIX века. Как бы глубоко ни были характеризованы персонажи Скотта, ни один из них не является центром художественного интереса, потому что герой его романов — не отдельная личность, а эпоха и народ, изображенный во многих очень индивидуализированных и очень различных его представителях. Это новое понимание героя, введенное в европейскую литературу Скоттом, стало одним из завоеваний искусства XIX столетия. Можно сказать, не слишком преувеличивая, что героем «Легенды о Монтрозе» является горная Шотландия времен английской революции.

Эта Шотландия полна противоречий, невежественна и героична и при всей жестокости населяющих ее дикарей вызывает глубокое сострадание и симпатию. Выбранный Скоттом период шотландской истории отлично характеризуется поговоркой, которую вспоминает Дальгетти: в такие времена, говорит он, «голове надежнее быть в стальном шлеме, чем в мраморном дворце». Вальтер Скотт не хочет ничего смягчать; раздоры между отдельными кланами, истребление целых семей, непрерывные войны, убийства и пытки — все свидетельствует о том, что его герои — люди безудержных страстей, еще не познавшие уз и законов цивилизованного общества.

Чтобы показать страну в единстве ее страшных противоречий, нужно было сплести в одном захватывающем сюжете несколько кланов и многих людей самых различных общественных положений и судеб.

Благодаря своему глубокому знанию Шотландии, Вальтер Скотт решил стоявшую перед ним задачу легко и свободно, словно описывал то, что происходило перед его глазами.

* * *

В центре романа стоит древняя, неизбывная вражда между «Сынами Тумана» и всеми другими кланами. Эпизоды романа, связанные с судьбой последнего вождя этого клана, наиболее патетичны. Его речи, прощание с внуком, предсмертное обращение к Духу Тумана полны изумительной силы, характерной для поэзии, которую во времена Скотта считали первобытной и потому особенно прекрасной. Скотт, несомненно, вдохновлялся поэмами Оссиана, стихами Библии и Эддой, которые тогда противопоставлялись «правильной» и рациональной поэзии Гомера. Оссиан, очевидно, имел для него наибольшее значение,— по мнению Скотта, поэзия древних кельтов должна была соответствовать психологии и мышлению их отдаленных потомков.

В романе воспроизведена седая древность шотландских окраин, находящихся на границах цивилизации или, вернее, за ее пределами. Аллан Мак-Олей своей кровожадностью, чудовищной силой и даром прови́дения напоминает легендарных героев северных саг. Но такие «провидцы» встречались в этих районах Шотландии еще в недавнее время, и Скотт должен был изобразить и эту специфическую особенность своей страны. Он не назовет ясновидение Аллана бредом больного человека или хорошо продуманным обманом. Устами лорда Ментейта он рационально объясняет эту чудесную способность: Аллан действительно убежден в том, что пророческие видения приходят к нему как сверхъестественное наитие, но они являются результатом его наблюдений, размышлений и страстей, и потому в них нет ничего сверхъестественного. Пророческое видение неясно, как всякое пророчество, но оно заставляет с особым вниманием следить за развитием действия. Тема любви, ревности и убийства связывает отдельные эпизоды романа в остродраматическое единство.

В романе иногда звучит музыка — песни, которые поет Эннот Лайл, вскрывают в душе Дункана Кэмбела «родник, иссякший уже много лет тому назад», и успокаивают волнение Аллана. Можно было бы подумать, что это только «романтический орнамент», традиционное украшение нескольких трогательных сцен. Но музыке в первобытном обществе и тем более в северных странах приписывали магический характер, миф об Орфее, так же как бытовавшее еще в начале XIX века убеждение в том, что музыка исцеляет многие болезни, иллюстрирует ее роль в жизни древних. Включение в роман песен позволяет читателю глубже почувствовать характер страны и сюжетную ситуацию.

Вместе с «первобытной» психологией, примеры которой Скотт мог найти и в хорошо известных ему английских и шотландских балладах,

с удивительной рельефностью возникают элементы быта и ничуть не поэтических, самых обыденных нравов. Смешные детали, полные юмора сценки словно неожиданной вспышкой магния освещают быт и мышление феодального захолустья горной Шотландии. Сочетание смешного и поучительного, низкого и возвышенного напоминает искусство Шекспира, с которым, несомненно, связано искусство Вальтера Скотта.

Особую роль в этом плане играет Дугалд Дальгетти, в самых трагических обстоятельствах цитирующий латинские тексты и поучающий всех и каждого военному искусству. Этот юмористический персонаж, без конца повторяющий одни и те же фразы и мысли, связан с литературной традицией XVIII века, сохранившейся и в романах Диккенса. Особенностью повторять одно и то же отличается и леди Белленден из «Пуритан». Капитан Дальгетти, болтун и доктринер, сочетающий латинскую премудрость с изобретательностью авантюриста и опытом профессионального воина, может показаться современному читателю не в меру надоедливым, каким он казался и тем, кто разговаривал с ним в романе, но читатель прошлого столетия с радостью встречал подобных чудаков, позволявших ему отдохнуть от страшных сцен и захватывающих приключений.

* * *

«Легенда о Монтрозе», изображая нравы и быт горной Шотландии, вскрывает также ее противоречия. Это не только борьба роялистов и республиканцев, но и распри между примкнувшими к Монтрозу вождями. Разорванная на клочья феодальных владений и кланов, фанатически ненавидящих друг друга, упорно сохраняющая закон кровной мести, страна не способна к национальному объединению и свое единство ощущает лишь при столкновении с жителями равнинной Шотландии, «сассенахами» (саксами). Такая страна может вести только войну набегов и грабежей.

Кто прав в войне между роялистами и сторонниками парламента? Скотт не сомневался в том, что, несмотря на «крайности» республиканских вождей, правы республиканцы. Роялист Монтроз политически, а следовательно, и нравственно не прав. Но по своим человеческим качествам он несравненно выше Аргайла, для которого нравственные законы как будто вовсе не существуют. Поэтому и разгром войск Аргайла под Инверлохи скорее радует, чем огорчает, автора, а за ним и читателя. Ни политическая позиция вождей, ни взаимная ненависть кланов, ни варварские нравы средневековья не вызывают у Скотта симпатии, но в преданности клану и традициям, в остром чувстве своеобразно понятого долга он видит высокие свойства духа, героическое начало, выражающееся иногда и в таких страшных формах. Наемный солдат — в общественном смысле явление отвратительное. «Нет более позорной жизни, чем жизнь наемника, который воюет только ради денег, не задумываясь о целях войны»,— цитирует Скотт слова Гуго Гроция. Но и у наемника есть свое-

образное чувство долга, и Дальгетти не поступится своей совестью даже ради спасения жизни, если он уже получил причитающуюся ему плату.

Аллан Кровавая Рука тоже в известном смысле явление героическое, но непрерывная месть врагам своего рода бесчеловечна и вредна. И в этой мести, как и в слепой преданности вождю и в готовности воевать за кого угодно, заключается несчастье страны, потому что все это мешает утверждению общественной нравственности на более разумных началах и осознанию больших, стоящих перед государством задач.

Так же как в «Пуританах», и в этом романе где-то на заднем плане, за трагедией 1645 года, ощущается мечта о социальной справедливости, которая все же придет когда-нибудь на эту залитую кровью землю. Добрые качества народа со свирепыми страстями дают Скотту основание верить в лучшее будущее.

Созданный Вальтером Скоттом жанр исторического романа сыграл большую роль в развитии европейской литературы. Роман из современной жизни, пришедший на смену историческому уже к середине XIX века, многое у него заимствовал, преодолевая то, что не соответствовало новому материалу и новым задачам эпохи.

Вальтер Скотт научил романистов тщательно изучать материал и исследовать современность как особый этап в развитии общества. Он приучил писателей рассматривать художественное творчество как познание, требующее глубоко разработанного метода. Он показал, как воплощать в ярко индивидуализированных героях тенденции и закономерности эпохи и, одевая их бытом и нравами, придавать им неотразимую жизненную правдивость.

Чтобы понять «дела давно минувших дней», Скотт должен был перевоплощаться в своих героев, жить воображением в тех же обстоятельствах, думать и чувствовать, как они, и вместе с тем оценивать людей и события с философско-исторической и нравственной точки зрения. И эту позицию по отношению к своему материалу, и эту «психологию творчества» заимствовали у него великие реалисты XIX века.

Конечно, писателю, изображавшему свою современность, труднее было оторваться от субъективного отношения к материалу, чтобы понять закономерности своей эпохи и ее движение к будущему. Но чтобы стать большим искусством, роман из современной жизни, так же как роман исторический, должен был отказаться от узкой фактографии и рассматривать свою эпоху как подлежащую решению общественно-политическую проблему.

Усваивая уроки Скотта, сопротивляясь ему, продолжая его традиции и вместе с тем создавая нечто совершенно новое, крупнейшие писатели XIX века могли назвать Вальтера Скотта так, как назвал его Стендаль в письме к Бальзаку: «нашим общим отцом».

*Б. РЕИЗОВ*

ПЕРЕВОД А. С. БОБОВИЧА

## ВВЕДЕНИЕ

В конце прошлого века в Шотландии был хорошо известен один весьма примечательный человек, по прозванию «Кладбищенский Старик». Роберт Патерсон — таково его настоящее имя — был, как говорят, уроженцем Клозбернского прихода в Дамфризшире и, вероятно, каменотесом — во всяком случае, он сызмальства был приучен владеть резцом. Неизвестно, что побудило его уйти из дому и пуститься странствовать по Шотландии, уподобляясь паломнику, — домашние ли неурядицы или глубокое и проникновенное ощущение того, что́ он считал своим долгом. Известно только, что не нужда толкнула его на эти скитания, ибо он решительно отказывался от денежной помощи и лишь позволял себе пользоваться гостеприимством, которое ему всюду охотно оказывали, а если случалось, что никто не приглашал его к себе в дом, у него всегда бывало достаточно денег для удовлетворения своих скромных потребностей. Его внешность и излюбленное — вернее, единственное — занятие подробно описываются в «предварительной» главе предлагаемого романа.

Лет тридцать назад, а то и побольше, автор встретился с этой необыкновенной личностью на кладбище в Даннотере, приехав сюда на день-другой к ныне покойному мистеру Уокеру, ученому и уважаемому приходскому священнику, чтобы осмотреть развалины Даннотерского замка, а заодно и памятники старины в ближайших окрестностях. Там же оказался за своим обычным, побуждавшим его к вечным скитаниям занятием и Кладбищенский Старик, ибо замок и приходское кладбище в Даннотере, хотя они и находятся во враждебном ковенанте-

рам округе Мернс, являются для камеронцев своего рода святынею из-за мучений, которые здесь претерпели их предки во времена Иакова II.

В 1685 году, когда Аргайл угрожал высадкой в Шотландии, а Монмут готовился вторгнуться в пределы Западной Англии, Тайный совет Шотландии, принимая в связи с этим крутые меры, велел арестовать в южных и западных провинциях более ста человек, многих вместе с женами и детьми, полагая, что вследствие своих религиозных воззрений они враждебны правительству. Узников, обращаясь с ними, точно со стадом волов, погнали на север, — впрочем, о волах проявляют заботу, между тем как до насущных потребностей этих людей никому не было дела. В конце концов их заперли в подземелье Даннотерского замка; окно их темницы было пробито в скале, нависшей на большой высоте над Северным морем. Они немало выстрадали в пути; их оскорбляли, над ними всячески измывались северные прелатисты; их преследовали насмешками, издевательствами и шуточными песенками скрипачи и волынщики, сбегавшиеся со всех сторон на дорогу, чтобы потешиться вдоволь над теми, кто с такой нетерпимостью относился к их роду занятий. Даже в мрачной темнице их не оставляли в покое. Сторожа требовали с них плату за каждую оказанную ими услугу, даже за воду, и когда некоторые из узников противились столь наглому требованию, настаивая на своем праве получать ее безвозмездно, поскольку она необходима для поддержания жизни, их тюремщики выливали ее на пол, утверждая, что «если они обязаны приносить воду для ханжей-вигов, то никто их не может заставить бесплатно давать им кувшины и кружки».

В этой тюрьме, которая и поныне называется «Темницею вигов», многие из заключенных погибли от болезней, обычных в подобных местах, а другие переломали себе руки и ноги или разбились насмерть, пытаясь бежать из своего страшного заточения. После революции над могилами этих несчастных их друзья воздвигли памятник с подобающей эпитафией.

Эту своеобразную усыпальницу вигов-мучеников глубоко чтят их потомки, как бы далеко от места их заключения и погребения они ни проживали. Мой друг, достопочтенный мистер Уокер, рассказывал мне, что лет сорок тому назад, путешествуя по Южной Шотландии, он имел несчастье заблудиться в лабиринте дорог и тропинок, пересекающих во всех направлениях обширную пустошь близ Дамфриза, именуемую Лохарские Мхи; выбраться оттуда человеку чужому без посторонней помощи

почти невозможно. Между тем найти провожатого было делом нелегким, так как все, кто встречался ему по пути, усердно копали торф, а это — работа первостепенной важности, и ее нельзя прерывать. Мистеру Уокеру удалось добиться лишь нескольких малопонятных ему указаний на южном диалекте, который значительно отличается от мернского говора. Он начал уже тревожиться, не находя выхода из этого трудного положения, и обратился наконец к фермеру побогаче, занятому, как все, копанием торфа на зиму. Вначале старик, подобно другим, отказался проводить мистера Уокера, ссылаясь на неотложность своей работы, но, проникнувшись уважением к сану своего собеседника и увидев, что тот совершенно растерян, спросил:

— Вы, сударь, священник?

Мистер Уокер ответил утвердительно.

— Судя по вашей речи, вы с севера?

— Вы правы, друг мой, — отозвался священник.

— Разрешите спросить, не приходилось ли вам слышать о месте, прозываемом Даннотер?

— Мне полагалось бы кое-что знать о нем, друг мой,— сказал мистер Уокер,— я много лет был священником этого прихода.

— Рад это слышать,— оживился дамфризширец,— потому что один из моих близких родичей лежит там на кладбище, и на его могиле как будто есть памятник. Дорого я дал бы за то, чтобы узнать, цел ли еще этот памятник.

— Ваш родственник был, наверно, из тех, кто погиб в замке, в «Темнице вигов»; кроме них, на нашем кладбище покоится очень мало южан, и ни у кого из этих южан, насколько я знаю, нет намогильного памятника.

— Именно, именно,— сказал камеронец (старый фермер принадлежал к этой секте). Он отложил лопату, надел куртку и со всей искренностью предложил проводить священника, даже если его дневной *урок* и останется недоделанным. Мистер Уокер, по его словам, сторицею вознаградил его за этот урон, прочитав ему эпитафию, которую знал наизусть. Старик был в восторге, услышав имя своего деда или прадеда среди имен братьев-страдальцев, и, выведя мистера Уокера на сухую и безопасную дорогу, отказался от вознаграждения, лишь попросив дать ему копию с эпитафии.

Слушая этот рассказ и осматривая упомянутый памятник, я впервые увидел Кладбищенского Старика; занятый своим обычным трудом, он очищал от наросшего мха и подправлял орнаменты и эпитафии на могильных плитах. Его наружность

и одежда были точно такими, как они описаны в предлагаемом романе. Мне захотелось поближе узнать эту необыкновенную личность, и я рассчитывал, что смогу это сделать, так как Кладбищенский Старик остановился в доме гостеприимного веротерпимого пастора. Но хотя мистер Уокер и пригласил его выпить с нами после обеда стопочку водки, к которой, как поговаривали, старик не испытывал особого отвращения, все же он не пожелал говорить со всею откровенностью о своем неизменном занятии. Он был в дурном настроении, и, по его словам, ему было в тягость поддерживать с нами беседу.

Он был глубоко возмущен, услышав в одной из церквей в Эбердине камертон-дудку или что-то в этом роде, с помощью которого регент управлял пением псалмов: для Кладбищенского Старика это было величайшим кощунством. Возможно, он к тому же стеснялся нашего общества; может быть, он также испытывал подозрение, что вопросы пастора из Северной Шотландии и молодого судебного стряпчего вызваны скорее пустым любопытством, чем действительной заинтересованностью в деле его жизни. Во всяком случае, пользуясь выражением Джона Беньяна, Кладбищенский Старик прошел своей дорогой, и я никогда больше его не видел.

Примечательный облик и род занятий этого вечного странника напомнил мне своим рассказом о нем мой добрый друг, мистер Джозеф Трен, акцизный контролер в Дамфризе, которому я обязан множеством самых разнообразных сведений подобного рода. От него я узнал и об обстоятельствах смерти этого необыкновенного человека, а также кое-какие подробности, нашедшие себе место в романе. Он же сообщил мне о том, что род Кладбищенского Старика существует в третьем поколении и поныне и пользуется большим уважением благодаря талантам и нравственным достоинствам его представителей.

Когда эти страницы уже печатались, я получил нижеследующее сообщение мистера Трена, который, со всегдашней любезностью, в свободные от своих многотрудных обязанностей часы собрал из достоверных источников эти сведения:

Часто бывая в Гленкенсе, я коротко познакомился с Робертом Патерсоном, сыном Кладбищенского Старика, проживающим в небольшой деревне под названием Балмаклеллан. И хотя ему скоро семьдесят, он все еще сохраняет всю живость молодости; память у него поразительная и знаний гораздо больше, чем можно было бы ожидать в человеке его звания и образа жизни.

Он же и рассказал мне о своем покойном отце и о его потомках вплоть до настоящего времени.

Роберт Патерсон, alias [1] Кладбищенский Старик, был сыном Уолтера Патерсона и Маргарет Скотт, проживавших на ферме Хаггиша, в Ховикском приходе, в первой половине восемнадцатого столетия. Здесь в памятный 1715 год и родился Роберт.

Как младшего сына в большой семье, его еще мальчиком отправили к старшему брату Фрэнсису, который арендовал у сэра Джона Джардина из Эпплгарса небольшой клочок земли на Корнкоклской пустоши, близ Лохмабена. Здесь он познакомился с Элизабет Грей, дочерью Роберта Грея, садовника сэра Джона Джардина, на которой впоследствии и женился. Жена его довольно долго была кухаркой у сэра Томаса Керкпатрика из Клозберна, который исхлопотал для ее мужа у герцога Куинсбери разрешение разрабатывать на льготных условиях каменоломню в Гейтлоубригге, в приходе Мортон. Тут он выстроил дом и имел участок земли, достаточный для содержания лошади и коровы. Мой осведомитель не мог назвать с полной уверенностью год поселения его отца в Гейтлоубригге, но он убежден, что это должно было произойти незадолго до 1746 года, так как во время памятных всем морозов 1740 года его мать, говорит он, еще служила у сэра Томаса Керкпатрика. Возвращаясь из Англии зимой 1745/46 года, горцы по дороге в Глазго разграбили дом мистера Патерсона в Гейтлоубригге и, захватив его с собою как пленника, отпустили лишь в Гленбеке, и все только из-за того, что он сказал одному из этой бродячей армии, будто их отступление можно было легко предвидеть заранее, ибо десница всевышнего, несомненно, подъята не только на кровожадных и исполненных скверны Стюартов, но и на всех, кто пытается оказать поддержку гнусным ересям римской церкви. Из этого видно, что Кладбищенский Старик уже смолоду находился во власти того религиозного фанатизма, который впоследствии стал наиболее примечательною чертою его характера.

Религиозная секта, называемая «горные люди», или камеронцы, пользовалась в то время широкой известностью и уважением благодаря строгости нравов и благочестию ее членов, подражавших в этом основателю секты Ричарду Камерону, и Кладбищенский Старик сделался ревностным последователем ее учения. Он стал довольно часто ездить в Гэллоуэй на молитвенные собрания камеронцев и при случае привозил с собою надгробные

[1] Иначе *(лат.)*.

плиты из своей гейтлоубриггской каменоломни с целью увековечить память почивших праведников. Кладбищенский Старик не принадлежал к числу тех ханжей, которые, лицемерно устремив один глаз к небесам, другим пристально следят за происходящим в подлунном мире. По мере того как его религиозное рвение возрастало, поездки в Гэллоуэй становились все более частыми, и мало-помалу он начал даже пренебрегать своими обязанностями отца семейства. Приблизительно с 1758 года он перестал возвращаться из Гэллоуэя к жене и пятерым детям в Гейтлоубригг, что вынудило ее послать старшего сына Уолтера, которому тогда было только двенадцать лет, в Гэллоуэй на розыски отца. Пройдя почти всю эту обширную область, от Ника в Бенкори до Фелла в Борульоне, мальчик нашел наконец отца на старом кладбище в Керккристе, расположенном на западном берегу Ди, напротив города Керкедбрайта, где он восстанавливал памятники на могилах камеронцев. Маленький путешественник всеми средствами, которые только мог измыслить, старался побудить отца возвратиться к семье, но все было тщетно. Миссис Патерсон посылала в Гэллоуэй и своих дочерей, чтобы они разыскали отца и убедили его вернуться домой, но и эта попытка не имела успеха. В конце концов летом 1768 года она переселилась в горную деревушку Балмаклеллан, близ Гленкенса, и, открыв небольшую школу, скромно, но безбедно жила там на доходы с нее сэ своей большою семьей.

На ферме Калдон, близ так называемого Дома в горах, существует небольшой памятный камень; он особо почитается камеронцами, как первый памятник, воздвигнутый Кладбищенским Стариком тем, кто пал в этих местах, отстаивая свои религиозные верования во время гражданской войны в царствование Карла II [1].

После Калдонской фермы Кладбищенский Старик с течением времени распространил свою деятельность чуть ли не на всю равнинную часть Шотландии. Почти на всех кладбищах в Эршире, Гэллоуэе или Дамфризшире и теперь еще можно увидеть работу его резца. Ее легко отличить от работ любого другого мастера по примитивной бесхитростности эмблем смерти и наивной простоте надписей, высеченных им на грубо вытесанных камнях. Реставрация и установка надгробных камней, безо всякого вознаграждения от кого бы то ни было, были единственным занятием этой примечательной личности на протяжении сорока

[1] Этот дом был взят штурмом капитаном Орчардом, или Уркхартом, который был убит пулею во время атаки.

лет. Двери каждого камеронского дома были открыты для него в любой час, и его принимали с таким радушием, словно он был близким родственником семьи; впрочем, он не всегда пользовался этим гостеприимством, что видно по следующему перечню скромных расходов, обнаруженному в его записной книжке среди прочих бумаг покойного (кое-какие из них находятся у меня):

Флитская сторожка, 4 февраля 1796 г.

Роберт Патерсон должен Маргарет Кристейл

| | Фунты | Шиллинги | Пенсы |
|---|---|---|---|
| За сухое помещение в течение семи недель | 0 | 4 | 1 |
| За четыре мерки овсяной муки | 0 | 3 | 4 |
| За шесть мерок картофеля | 0 | 1 | 3 |
| Взято взаймы в день причастия мистера Рейда | 0 | 6 | 0 |
| За три кружки эля с Сэнди, продавцом мела [1] | 0 | 0 | 9 |
| | 0 | 15 | 5 |
| Уплачено | 0 | 10 | 0 |
| Остается | 0 | 5 | 5 |

Этот счет свидетельствует о том, что наш странник в старости очень нуждался; но это происходило скорее по его собственной воле, чем в силу стечения обстоятельств, так как в упоминаемое здесь время все его дети жили в достатке и были бы рады приютить у себя отца; однако никакие уговоры и мольбы не могли склонить его отказаться от бродячего образа жизни. Он путешествовал от кладбища к кладбищу верхом на белом стареньком пони до последнего дня своей жизни и умер, как вы написали в романе, 14 февраля 1801 года на восемьдесят шестом году жизни. Извещение о случившемся было послано его сыновьям в Балмаклеллан тотчас по обнаружении его трупа, но из-за глубокого снега, выпавшего в тот год, письмо с изложением подробностей его смерти задержалось в пути, и этот вечный странник был предан земле, прежде чем кто-нибудь из его близких смог прибыть в Бенкхилл.

[1] Хорошо известный шутник, здравствующий и поныне, называемый в народе Старый Куль с Мелом: он торгует мелом, которым фермеры метят овец.

Вот точная копия счета, в котором перечисляются издержки на его погребение (оригинал этого документа находится у меня):

Счет расходов на похороны Роберта Патерсона, умершего в Бенкхилле февраля 14 дня 1801 г.

| | Фунты | Шиллинги | Пенсы |
|---|---|---|---|
| За гроб | 0 | 12 | 0 |
| За отделку его | 0 | 2 | 8 |
| За рубашку покойному | 0 | 5 | 6 |
| За пару бумажных чулок | 0 | 2 | 0 |
| За хлеб на поминках | 0 | 2 | 6 |
| За сыр там же | 0 | 3 | 0 |
| За одну пинту рома | 0 | 4 | 6 |
| За одну пинту виски | 0 | 4 | 0 |
| Посыльному в Эннен | 0 | 2 | 0 |
| Могильщику | 0 | 1 | 0 |
| За полотно на саван | 0 | 2 | 8 |
| | 2 | 1 | 10 |
| Найдено на умершем | 1 | 7 | 6 |
| Остается | 0 | 14 | 4 |

Этот счет был заверен сыном покойного.

Мой друг был болен и не мог поехать в Бенкхилл на похороны отца, о чем я глубоко сожалею, так как ему неизвестно, на каком кладбище тот погребен.

Я хотел поставить на его могиле небольшой памятник и тщательно, где только мог, наводил справки о месте его погребения, но все мои розыски не привели ни к чему, так как смерть Кладбищенского Старика не занесена в книги ни одного из окрестных приходов. С горечью думаю я о том, что, по всей вероятности, этот удивительный человек, отдавший столько лет своей долгой жизни, чтобы молотком и резцом увековечить память многих гораздо менее достойных, чем он, останется без простого надгробного камня, указывающего место упокоения его бренных останков.

У Кладбищенского Старика было три сына — Роберт, Уолтер и Джон; первый, как я уже говорил, живет в деревне Балмаклеллан в полном достатке и пользуется большим уважением в своем околотке. Уолтер, скончавшийся несколько лет назад в той же деревне, оставил после себя вполне обеспеченную семью. Джон в 1776 году уехал в Америку; испытав на

своем веку немало капризов фортуны, он обосновался в конце концов в Балтиморе.

Сам старый Нол, как говорят, был не прочь пошутить (смотри мемуары капитана Ходжсона). Кладбищенский Старик в этом отношении кое в чем походил на протектора. Подобно господину Молчанию, он был весел раза два за всю жизнь; впрочем, шутки его были мрачными, словно похороны, и порой имели для него неприятные последствия, как это явствует из приводимого ниже рассказа.

«Однажды Кладбищенский Старик занимался на кладбище в Гертоне обычным для него делом — восстанавливал надгробия на могилах страдальцев; невдалеке от него приходский могильщик выполнял родственную задачу, то есть, попросту говоря, рыл могилу. Несколько озорных мальчишек шумно играли близ них, беспокоя стариков своими забавами и мешая им в их сосредоточенной и серьезной работе. Особенно назойливыми в этой ватаге были два-три сорванца, внуки хорошо известной в округе личности, носившей имя Купера Климента. Этот мастер пользовался в то время в Гертоне и соседних приходах своего рода монополией на изготовление и продажу деревянных ковшей, чашек, мисок, кубков, ложек, солонок, досок для хлеба и тому подобных предметов домашнего обихода. Нужно отметить, что посуда, изготовляемая Купером, несмотря на великолепное качество, вначале придавала красноватый оттенок любой наливаемой в нее жидкости. Впрочем, это нередко бывает с новой деревянной посудой.

Внукам этого деревянных дел мастера пришло в голову спросить могильщика, куда он девает обломки старых гробов, которые выкидывает из земли, роя могилы. «Неужели вам неизвестно,— сказал на это Кладбищенский Старик,— что он продает их вашему деду, который превращает их в ложки, доски для хлеба, кувшины, чашки, кубки и прочее?» Это разъяснение страшно смутило мальчишек, и они стали с отвращением вспоминать, сколько еды им довелось съесть на тарелках, которые, по словам Кладбищенского Старика, годились лишь для пиршества ведьм и вампиров. Они рассказали об этом у себя дома, и в тот день пришлось выбросить немало обедов — такое отвращение вызвала разнесенная ими новость; ведь красноватый оттенок, который даже в дни величайшей славы Купера Климента казался несколько подозрительным, теперь стали объяснять происхождением употребляемого им материала. Товары Купера вызывали ужас, что было весьма на руку его соперникам — гончарам. Этот мастер резной ложки и

миски видел, что дело его хиреет, и наконец узнал о причине беды, когда его прежние покупатели стали в ярости требовать, чтобы он принял обратно товар, сделанный из столь мерзкого материала, и возвратил уплаченные за него деньги. Попав в тяжелое положение, разорившийся мастер привлек Кладбищенского Старика к суду, на котором без труда доказал, что используемое им дерево — клепки от винных бочек, которые он скупал у контрабандистов, а последних в то время в округе было великое множество. Это обстоятельство объяснило красноватый оттенок, придаваемый жидкостям сделанной им посудой. Кладбищенский Старик заявил, что, говоря о дереве от гробов, он не имел другого намерения, как отделаться от мешавших ему детей. Но легче отнять доброе имя, чем его возвратить. Дело Купера Климента все больше приходило в упадок, и он окончил свои дни в нищете».

## ГЛАВА I
## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ

Среди заброшенных могил
Зачем все время бродит он?
Встревожить то, что гроб сокрыл?
Нарушить спящих вечный сон?

*Лэнгхорн* [1]

Большинству читателей — сказано в рукописи мистера Петтисона — приходилось, конечно, не без удовольствия наблюдать веселую кутерьму, которую в тихий час летнего вечера, расходясь после занятий, поднимают деревенские школьники. Неуемная живость, свойственная детскому возрасту и с таким трудом подавляемая в томительные часы учения, вдруг разражается, словно взорвавшись, криками, пением и проказами маленьких сорванцов, которые собираются на лужайке и, разбившись на группы, принимаются за свои состязания. Но есть еще одна личность, которая в этот момент испытывает облегчение; впрочем, ее чувства не так заметны стороннему наблюдателю и не в такой мере способны вызвать его симпатию. Я имею в виду учителя, который, оглушенный несмолкающим гулом голосов и задыхаясь в спертом воздухе классной комнаты, непрерывно сражался весь день (один против целой оравы), пресекая озорство, побуждая к труду безразличие, силясь просветить

[1] Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Давиденковой.

тупоумие и укрощая упрямство. Мысли его спутались и потускнели оттого, что он выслушал сто раз подряд все тот же затверженный наизусть глупый урок, когда единственное, что нарушало унылое однообразие,— это разнообразный вздор, изрекаемый отвечающими. Даже цветы античного гения, доставлявшие столько радости его одинокой фантазии, и они, казалось, увядали и блекли от связанных с ними слез, ошибок и наказаний, так что не было такой эклоги Вергилия или оды Горация, которая не сплелась бы в его представлении с хмурым обликом или монотонным скандированием того или иного хнычущего ученика. А если это постоянное напряжение умственных сил испытывает человек хрупкого телосложения, наделенный душой, жаждущей более высокого поприща, чем мучительство школьников, читатель сможет понять, хотя и весьма отдаленно, какое великое облегчение голове, раскалывающейся от боли, и нервам, издерганным многочасовым докучным трудом на ниве просвещения,— одинокая прогулка в прохладе ясного летнего вечера.

Для меня эти блуждания вечерней порой были счастливейшими часами моей несчастливой жизни, и если какой-нибудь благосклонный читатель найдет удовольствие в чтении этого плода моих бессонных ночей, то да будет ему известно, что план своей книги я обычно обдумывал в те мгновения, когда отдых от изнурительного дневного труда и шума и безмятежность окружающего склоняли мой дух к сочинительству.

Мое излюбленное место прогулок в эти часы золотого досуга — берега небольшого ручья, который, «извиваясь по долу зеленого папоротника», протекает перед сельской школою в Гэндерклю. На первой четверти мили мне иногда приходится отвлекаться от своих размышлений, отвечая на приветствия моих забредших в эти места питомцев — кто неловко расшаркивается, кто сдергивает с головы шапчонку,— которые ловят в ручье форелей и всякую мелюзгу или собирают вдоль его берегов тростник и полевые цветы. Но забираться дальше упомянутого мной расстояния после захода солнца юные удильщики не очень-то любят. Причина заключается в том, что чуть выше по узкой долине, во впадине, как бы вырытой в крутом, поросшем вереском склоне, расположено заброшенное, старое кладбище, и маленькие трусишки боятся подходить к нему в сумерки. Для меня, напротив, это место полно неизъяснимого очарования. Оно долгое время было излюбленной целью моих прогулок, и если мой добрый наставник и покровитель не забудет своего обеща-

ния, оно станет (и, вероятно, довольно скоро) моим последним прибежищем по завершении мною земного пути [1].

Здесь, как всегда на кладбище, испытываешь какое-то торжественное благоговение, но к нему не примешивается ничего тягостного и неприятного, неизменно ощущаемого при посещении других кладбищ. Уже много лет тут почти не хоронят, и поднимающиеся над ровной поверхностью могильные холмики покрыты тем же тонким ковром бархатистого дерна, что и все по соседству. Памятники, которых всего семь или восемь, наполовину ушли в землю и поросли мхом. Здесь нет ни одной свежей могилы, которая могла бы нарушить трезвую ясность наших раздумий напоминанием о недавнем горе, нет и буйно разросшейся сочной травы, навязывающей нам мысль о том, что она обязана своей мрачной роскошью гниющим под нею, разлагающимся и омерзительным останкам. Маргаритки, то здесь, то там выглядывающие из дерна, и склоняющиеся над ними колокольчики получают свою чистую пищу от небесной росы, и их цветение не вызывает в нас никаких отталкивающих и удручающих представлений. Разумеется, здесь побывала смерть, и ее следы перед нами, но с тех пор, как они отпечатались, прошло столько времени, что они поистерлись и не внушают нам ужаса. Между теми, кто спит в этих могилах, и нами, как подсказывает размышление, нет ничего общего, кроме того, что они были некогда тем, чем теперь являемся мы, и если их прах растворился в матери-земле и больше неотделим от нее, то такое же превращение когда-нибудь постигнет и нас.

И хотя даже на самом позднем из этих скромных могильных камней мох нарастал в течение четырех поколений, все же память о некоторых из тех, кто спит под ними, благоговейно почитается и поныне. Правда, на самом большом и для любителя старины наиболее интересном надгробии, где изображен доблестный рыцарь со шлемом и щитом, закрывающим грудь, герб на щите изгладило время, и несколько полустершихся букв, к удовольствию пытающегося разобрать надпись, можно прочесть и как «Dns. Johan... de Hamel» и как «Johan... de Lamel». Правда и то, что о другом памятнике, изобилующем скульптур-

[1] Примечание мистера Джедедии Клейшботэма: «Свидетельством того, что я свято исполнил свой долг по отношению к покойному и незабвенному другу, может служить красивый надгробный камень, воздвигнутый мною на этом месте за собственный счет с начертанными на нем именем и званием Питера Петтисона, датой его рождения и погребения, а также перечислением его достоинств, засвидетельствованных мною, его начальником и руководителем.— Д. К.».

ными украшениями — орнаментированным крестом, митрой и пасторским посохом,— предание утверждает лишь то, что под ним погребен некий безымянный епископ. Но зато на двух других находящихся рядом плитах можно прочесть изложенную нескладной прозой и еще более нескладной поэзией историю покоящихся под ними. Как говорят эпитафии, они были из гонимых пресвитериан, судьба которых — одна из грустных страниц истории времен Карла II и его преемника на престоле [1]. Возвращаясь после битвы у Пентлендских холмов, горстка повстанцев подверглась в этой долине нападению со стороны небольшого отряда королевских войск, и трое или четверо из них были убиты в стычке или, попав в плен, расстреляны, как мятежники, захваченные с оружием в руках. Могилы этих жертв прелатизма все еще почитаются крестьянами не в пример больше, чем самые богатые памятники. Обращая на них внимание своих сыновей и рассказывая им о судьбе страдальцев, они обыкновенно заканчивают следующим увещанием: если потребуют обстоятельства, стоять насмерть, как их славные предки, за священное дело гражданской и религиозной свободы.

Хотя я далеко не поклонник своеобразных воззрений, разделяемых теми, кто называет себя последователями этих людей, чьи нетерпимость и узколобый фанатизм поражают нас нисколько не меньше, чем их благочестивое рвение, все же сказанное отнюдь не унижает памяти этих страдальцев, многие из которых соединяли в себе независимость мысли Хемпдена с жаждой мученичества Хупера и Лэтимера. Вместе с тем, справедливости ради, не следует забывать, что многие из числа даже наиболее рьяных ненавистников и гонителей того, что в их понимании было злонамеренным и мятежным духом этих несчастных скитальцев, проявили, когда им пришлось пострадать за свои политические и религиозные взгляды, такое же беззаветное и несокрушимое рвение, окрашенное в этом случае рыцарской преданностью, тогда как у их противников оно было окрашено республиканским энтузиазмом. Разбираясь в шотландском характере, не раз отмечали, что свойственное ему упорство раскрывается отчетливее всего, если встречает противодействие; тогда он напоминает клен их родных гор, который не изменяет своей природе и не склоняется даже под воздействием господствующих ветров, но, раскидывая ветви одинаково смело во всех направлениях и не приспособляясь наветренной стороной к налетаю-

[1] Иаков VII, король шотландский, и он же Иаков II, король английский.— Д. К.

щим шквалам, может быть сломан, однако никогда не сгибается. Само собой разумеется, я изображаю своих соотечественников такими, какими их наблюдал. Что касается уехавших за море, то я слышал, что там они стали податливее. Но пора возвратиться к прерванному повествованию.

Как-то летним вечером, во время одной из моих описанных выше прогулок, приближаясь к этой пустынной обители мертвых, я удивился, услыхав звуки, непохожие на те, что обычно баюкали ее тишину,— на ласковое журчание ручья и вздохи ветра в ветвях трех гигантских ясеней, поднимавшихся над погостом. На этот раз я отчетливо услышал стук молотка и, признаюсь, испытал некоторую тревогу: уж не ставят ли в долине ограду, о чем уже давно помышляли двое землевладельцев, чьи земли разделял милый моему сердцу ручей, чтобы заменить прямолинейным безобразием изящные извивы природной межи [1]. Подойдя ближе, я с удовольствием обнаружил, что мои предположения были ошибочны. На памятнике замученных пресвитериан сидел какой-то старик, усердно углублявший резцом полуистершуюся надпись, которая торжественным языком Писания возвещала вечное блаженство в удел убиенным и с подобающим гневом возглашала анафему их убийцам. Седые волосы благочестивого труженика прикрывала синяя шляпа необыкновенных размеров. Его одежду составляли широкий, старомодного покроя кафтан, сшитый из грубошерстной ткани, носящей название ходдингрей, и чаще всего употребляемый пожилыми крестьянами, такие же штаны и жилет; и хотя этот костюм выглядел еще вполне сносно, все же на нем были заметны отчетливые следы его долголетней службы. Все в заплатах, но еще крепкие башмаки, украшенные гвоздями с широкими шляпками, и черные суконные гетры дополняли его наряд. Невдалеке, меж могил, пощипывал травку пони, его дорожный спутник крайне преклонного возраста, о чем явственно говорили его необычайная белизна, костлявость и ввалившиеся глаза. Его сбруя, отли-

[1] Считаю необходимым уведомить читателя, что эта межа между соприкасающимися землями его милости владельца Гэндерклю и его милости владельца Гюздаба должна была представлять собою пограничный вал наподобие римского agger или, скорее, murus, то есть стену из диких камней без связи, обложенную cespite viridi, или, говоря поиному, дерном. Их милости действительно повздорили из-за ничтожного клочка заболоченной земли, расположенного близ небольшой заводи, именуемой Бедролс-Байлд; дело после многолетнего разбирательства местными судьями было переправлено затем в столичный город Лондон на рассмотрение коронного суда, где оно, так сказать, adhuc in pendente (и посейчас не закончено.— *лат.*).— Д. К.

чавшаяся крайней простотой, состояла из уздечки, сплетенного из конского волоса недоуздка и набитой соломой подушки, заменявших собою седло и поводья. С шеи животного свешивалась холщовая сумка, предназначавшаяся, видимо, для инструментов его хозяина и еще кое-каких вещей, которые он брал с собою в дорогу. Хотя этого старика я видел впервые, все же, принимая во внимание необычность его занятия и весь его облик, я тотчас же распознал в нем благочестивого странника, рассказы о котором слышал не раз и которого хорошо знали в разных частях Шотландии под прозвищем «Кладбищенский Старик».

Откуда этот человек родом и каково его настоящее имя, я так и не выяснил; даже побуждения, заставившие его уйти из дому и предпочесть кочевой образ жизни оседлому, известны мне лишь в самых общих чертах. По мнению большинства, он был уроженцем не то графства Дамфриз, не то Гэллоуэя и происходил от тех самых приверженцев ковенанта, подвиги и страдания которых были излюбленной темой его рассказов. Сообщают, что когда-то он держал небольшую ферму на пустоши, но то ли вследствие понесенных на ней убытков, то ли из-за семейных раздоров уже давно от нее отказался, как отказался, впрочем, и от каких бы то ни было заработков. Говоря языком Писания, он покинул дом, кров и родных и скитался по самый день своей смерти, то есть что-то около тридцати лет.

В течение всего этого времени благочестивый паломник-энтузиаст непрерывно кочевал по стране, взяв себе за правило ежегодно навещать могилы несчастных пресвитериан, погибших в схватках с врагом или от руки палача в царствование двух последних монархов из дома Стюартов. Эти могилы особенно многочисленны в западных округах — Эйре, Гэллоуэе и графстве Дамфриз, но их можно увидеть и в других областях Шотландии — повсюду, где гонимые пуритане пали в боях или были казнены военной и гражданской властями. Их надгробия — нередко в стороне от человеческого жилья, посреди диких пустошей и торфяников, куда, скрываясь от преследований, уходили эти скитальцы. Но где бы эти могилы ни находились, они обязательно ежегодно навещались Кладбищенским Стариком, по мере того как его маршрут предоставлял ему эту возможность. И охотники на тетеревов порою встречали его, к своему изумлению, в самых глухих горных ущельях, возле серых могильных плит, над которыми он усердно трудился, счищая с них мох, подновляя своим резцом полуистершиеся надписи и восстанавливая эмблемы смерти — обычные украшения этих незатейли-

вых памятников. Глубоко искренняя, хотя и своеобразная набожность заставила этого старого человека отдать годы жизни бескорыстному служению памяти павших воинов церкви. На свое дело он смотрел как на выполнение священного долга и считал, что, возрождая для взоров потомков пришедшие в упадок надгробия — эти символы религиозного рвения и подвижничества их предков,— он как бы поддерживает огонь маяка, который должен напоминать будущим поколениям, чтобы и они стояли за веру не щадя живота своего.

Этот неутомимый старый паломник, видимо, никогда не нуждался в денежной помощи и, насколько известно, наотрез от нее отказывался. Правда, его потребности были очень невелики, и к тому же, куда бы ему ни доводилось попасть, для него всегда бывал открыт дом какого-нибудь камеронца, его единоверца по секте, или другого истинно религиозного человека. За почтительное гостеприимство, которое ему повсюду оказывали, он неизменно расплачивался приведением в порядок надгробий (если таковые имелись) членов семьи или предков своего хозяина. И так как странника постоянно видели за этим благочестивым занятием где-нибудь на деревенском кладбище или заставали склонившимся над одинокой, полускрытой вереском могильной плитой, с молотком, которым он ударял по резцу, пугая тетеревов и ржанок, тогда как его белый от старости пони пасся где-нибудь рядом, люди из-за его постоянного общения с мертвыми дали ему прозвище «Кладбищенский Старик».

Характеру такого человека должна быть чужда, как представляется, даже безобидная жизнерадостность. Однако среди людей, разделявших его религиозные убеждения, он слыл человеком веселого нрава. Потомков гонителей его веры и всех, кого он подозревал в приверженности к тем же религиозным взглядам, а также безбожников, нередко приставáвших к нему со своим зубоскальством, он именовал не иначе как исчадьем ехидны. В беседе со всеми другими он соблюдал важность и уснащал свою речь нравоучениями, не лишенными налета суровости. Впрочем, как утверждают, он никогда не выходил из себя, разве только один-единственный раз, когда какой-то негодник мальчишка отбил камнем нос у того херувима, над восстановлением которого старик в то время трудился. Вообще говоря, я берегу розгу и не следую тому правилу царя Соломона, за которое школьники едва ли могут быть ему благодарны, но в данном случае и я, надо полагать, показал бы, что не испытываю ненависти к ребенку. Но пора вернуться к рассказу об обстоя-

тельствах, при которых состоялась моя первая встреча с этим интереснейшим энтузиастом.

Подойдя к Кладбищенскому Старику и почтительно извинившись, что нарушаю его труды, я не преминул отдать дань почтения его возрасту и убеждениям. Старик отложил резец, которым работал, вынул очки, протер их и, воздрузив на нос, с подобающею учтивостью ответил на мое обращение. Ободренный его любезностью, я стал расспрашивать о страдальцах, памятником которым он тогда занимался. Говорить о подвигах ковенантеров было для него истинным наслаждением, подновлять их могилы — делом всей его жизни. Он принялся подробно выкладывать все собранные им на этот счет сведения об их войнах, об их скитаниях. Можно было подумать, что он — их современник и своими глазами видел события, о которых рассказывает; он настолько проникся их чувствами и их мыслями, что повествование его было обстоятельно, как рассказ очевидца.

— Мы,— сказал он, воодушевляясь,— мы единственные настоящие виги. Следуя за тем, кому принадлежит царство мира сего, люди, помышлявшие лишь о земном, присвоили себе это победоносное имя. Но кто из них просидел бы шесть часов сряду на сыром склоне холма, чтобы выслушать проповедь слова божия? И часу, готов поручиться, было бы с них довольно! Да, они нисколько не лучше тех, кто не стыдится носить имя наших гонителей, кровожадных тори! Все они себялюбцы, алчущие богатств, власти, мирской суеты, предавшие забвению все, что было сделано и достигнуто отважными и могучими, шедшими на приступ в день великого гнева. И не приходится удивляться, что они трясутся от страха, как бы не свершилось возвещенное устами достопочтенного мистера Пидена (это бесценный слуга господний, и всякое слово его исполнилось), предсказавшего, что мусью французы вскоре наводнят долины Эйра и хижины Гэллоуэя, как горцы в тысяча шестьсот семьдесят седьмом году. А теперь они хватаются за луки и копья, тогда как им только и остается, что оплакивать свою грешную землю и попранный ковенант.

Я не стал оспаривать его странные взгляды и дал старику успокоиться; затем, загоревшись желанием продолжить беседу с этим любопытнейшим человеком, я убедил его воспользоваться радушным гостеприимством, которое мистер Клейшботэм охотно оказывал всякому, кто в нем нуждался. По пути к дому учителя мы завернули в трактир Уоллеса, где в этот вечерний час всегда можно было застать моего покровителя. После вежливого обмена приветствиями Кладбищенский Старик с трудом

сдался на уговоры своего будущего квартирохозяина разделить с ним компанию и пропустить стаканчик спиртного, причем он согласился на это лишь при условии, что ему будет позволено произнести подобающий тост; предпослав ему молитву минут на пять, он с непокрытой головой, возведя к небу глаза, осушил свой стакан в память тех героев пресвитерианской церкви, которые первыми подняли в горах ее знамя. Никакие увещания не могли его убедить продлить это пиршество и снизойти хотя бы ко второй чарочке, и мой покровитель повел его к себе в дом и устроил в «Келье Пророка», как ему было угодно называть комнатку, в которой есть запасная кровать и которая часто служит приютом неимущему путнику [1].

На следующий день я попрощался с Кладбищенским Стариком, растроганным, видимо, тем неослабным вниманием, которым я старался его окружить и с которым слушал его рассказы. Взобравшись не без труда на старого белого пони, он взял меня за руку и сказал: «Да пребудет с вами, молодой человек, благословенье господне! Часы мои подобны колосьям, поспевшим для жатвы, тогда как дни ваши — еще весенние дни, и все же вы, может статься, попадете в закрома смерти прежде, чем придет мой черед, ибо коса ее скашивает зеленя так же часто, как и то, что созрело; и к тому же на ваших щеках румянец, под которым порою так же, как и в нераспустившейся розе, таится точащий изнутри червь. Поэтому трудитесь, как тот, кто не ведает, когда его призовет господь. И если на мою долю выпадет возвратиться в эту деревню после того, как вы отойдете в уготованное вам место, эти старые, изборожденные морщинами руки соорудят над вашей могилой надгробие, дабы имя ваше не изникло среди людей».

Поблагодарив Кладбищенского Старика за его добрые побуждения и намерения, я подумал о том, что, быть может, вскоре и в самом деле потребуется его дружеская услуга, и тяжко вздохнул — полагаю, не от жалости к самому себе, а из покорности воле божьей. Он, вероятно, нисколько не ошибался,

---

[1] Здесь мистер Петтисон мог бы добавить: и имущему также, ибо — благодарение моей счастливой звезде — с тех пор и великие мира сего не раз находили пристанище в моем скромном жилище. И пока у меня в доме жила служанка Дороти, девушка веселого нрава и приятной наружности, его милость владелец поместья Смекоу по дороге в столицу и на обратном пути благоволил предпочитать мою «Келью Пророка» даже спальне песочного цвета с кроватью под балдахином в трактире Уоллеса, а также осушать у меня чарку-другую, чтобы, как он говаривал в шутку, освоиться с новосельем, но в действительности чтобы скоротать со мной вечерок.— Д. К.

считая, что течение моей жизни может оборваться в дни моей молодости, но он все же преувеличивал длительность оставшегося ему земного пути. Вот уже несколько лет, как он перестал появляться в местах, которые всегда посещал, и могильные плиты, подновлять кои было делом всей его жизни, опять начали зарастать мхом и лишайником. Свое земное поприще он окончил в начале нынешнего столетия. Его нашли на большой дороге близ Локерби в Дамфризшире в совершенном изнеможении и при последнем издыхании. Старый белый пони, его постоянный товарищ и спутник, стоял возле своего умирающего хозяина. На покойном были обнаружены кое-какие деньги, впрочем достаточные для приличных похорон, и это доказывает, что его смерть не была ни насильственной, ни последовавшей от чрезмерных лишений. Простой народ и посейчас благоговейно хранит память о нем, и многие держатся того мнения, что надгробные плиты, которых касалась его рука, никогда больше не будут нуждаться в резце. Мало того — они утверждают, что надписи на надгробиях, упоминающие об обстоятельствах, при которых были убиты эти мученики за веру, а также их имена читаются после кончины Кладбищенского Старика так же отчетливо, как и при его жизни, тогда как имена их гонителей, высеченные на тех же надгробиях, совершенно изгладились. Едва ли нужно указывать, что эти толки — плод досужего воображения и что со дня смерти благочестивого странника памятники, бывшие предметом его заботы, как и все творения рук человеческих, быстро ветшают и превращаются в прах.

Мои читатели, разумеется, понимают, что, включив в это сжатое повествование многочисленные истории, которые мне удалось узнать от Кладбищенского Старика, я не стал воспроизводить ни его стиля, ни его мыслей, ни даже тех или иных сообщенных им фактов, явно искаженных его сектантскими предрассудками. Я постарался проверить их подлинность и восстановить истину и с этою целью собрал достоверные сведения, добытые мною у представителей обеих сторон.

Что касается пресвитериан, то я расспрашивал тех фермеров западных округов, которые, проживая на пустошах, то ли благодаря доброте владельцев арендуемой ими земли, то ли как-нибудь иначе, сумели сохранить за собой при последнем всеобщем переделе земельной собственности те самые пастбища, где их предки пасли своих овец и быков. Должен сознаться, я только недавно понял, как мало может дать этот источник. В поисках дополнительных сведений я обратился к тем скромным, вечно кочующим людям, которых щепетильная вежливость наших

предков именовала странствующими торговцами, а мы, применяясь как в этом, так и в более важных вопросах ко вкусам и склонностям наших более богатых соседей, стали называть коробейниками или разносчиками. Многими добавлениями и пояснениями к рассказам Кладбищенского Старика, совсем во вкусе и духе последнего, я также обязан деревенским ткачам, обычно странствующим по стране в надежде сбыть плоды своих зимних трудов, и особенно бродячим портным, которые благодаря своему, так сказать, сидячему ремеслу и необходимости временно проживать, занимаясь своею работой, в разных местах, в семьях, прибегающих к их услугам, являются хранителями сельских преданий.

Гораздо труднее было разыскать материалы, которые помогли бы очистить эти кладези народных преданий от пропитавших их насквозь предубежденности и пристрастности, без чего было бы невозможно нарисовать правдивую во всех отношениях картину нравов этой злосчастной эпохи и воздать должное доблести обеих сторон. Впрочем, я смог сопоставить рассказы Кладбищенского Старика и его друзей — камеронцев с сообщениями потомков нескольких старинных и почтенных родов; низведенные силою обстоятельств до весьма незавидной жизненной доли, они все же горделиво оглядываются на те времена, когда их предки сражались и погибали за дело изгнанного дома Стюартов. Я даже могу похвалиться, что между моими осведомителями были и важные духовные лица, ибо несколько неприсягнувших священников, авторитет и доходы которых, равно как и их апостолический чин, таковы, что им мог бы позавидовать злейший ненавистник епископства, соблаговолили за скромной трапезою в трактире Уоллеса снабдить меня сведениями, дополнившими и уточнившими то, что я узнал от других. Добавлю, что в наших краях проживает несколько землевладельцев, которые не очень-то стыдятся того, что их отцы служили в карательных отрядах Эрлшелла и Клеверхауза, хотя, говоря об этом, и пожимают плечами. Я также сумел собрать немало весьма ценных сведений и от егерей только что упомянутых джентльменов — в знатных домах эта должность чаще всякой другой становилась наследственной.

В общем, у меня едва ли есть основания опасаться, что, описывая влияние, которое оказывали противостоявшие друг другу воззрения на хороших и дурных людей той эпохи, я могу в наши дни быть заподозренным в сознательном оскорблении или очернении одной из сторон. Хотя воспоминания о перенесенных в прошлом обидах, ультрароялизм, презрение и ненависть против-

ников породили жестокость и произвол одной из враждующих партий, вместе с тем едва ли можно отрицать, что рвение к дому господню если и не поглотило ковенантеров до конца, то по меньшей мере, перефразируя слова Драйдена, уничтожило добрую долю их верноподданнических чувств, здравого смысла и благовоспитанности. Мы можем с уверенностью сказать, что души отважных и искренних, принадлежавших к той и другой партии, долгие годы взирали с небес, как в этой юдоли тьмы, крови и слез извращаются их идеи, порождая взаимную ненависть и вражду. Мир их памяти! Будем же думать о них не иначе, чем думает об умершем отце, умоляя о том же своего господина, героиня нашей единственной шотландской трагедии:

О, не тревожьте прах своих отцов!
Неумолимый гнев был их виною,
И тяжким было искупленье их.

## ГЛАВА II

И на заре сто всадников лихих
Для нас к воротам замка соберите.

*Дуглас*

В царствование последних Стюартов правительство старалось противодействовать всеми доступными ему средствами аскетическому или, что то же, пуританскому духу — этой характерной особенности республиканского правительства времен революции — и оживить те феодальные учреждения, которые связывали вассала с ленным владельцем, а их обоих — с короною. Власти устраивали частые смотры и народные празднества, объединяя боевые учения со всевозможными состязаниями и развлечениями. Их опека в последнем случае была по меньшей мере недальновидной, ибо, как всегда при таких обстоятельствах, те, кто вначале был всего-навсего щепетилен в вопросах совести, вместо того чтобы отступить перед преследованием властей, укреплялись в своих воззрениях, и молодежь обоего пола, для которой флейта и барабан в Англии или волынка в Шотландии сами по себе могли составить неодолимый соблазн, оказалась в состоянии пренебречь ими, находя для себя опору в горделивом сознании, что и в этом она сопротивляется воле совета. Побудить людей плясать и предаваться веселью по принуждению редко удавалось даже на борту невольничьих кораблей, где в прежние времена делались, бывало, попытки за-

ставить несчастных узников немного размяться и разогнать застоявшуюся кровь в те считанные минуты, в которые им дозволяли наслаждаться на палубе свежим воздухом. И чем упорнее пыталось правительство ослабить аскетизм ревностных пресвитериан, тем непримиримее он становился и тем шире распространялся. Истинно иудейское соблюдение седьмого дня, презрительное осуждение всех мужских развлечений и безобидных забав, равно как и «нечестивого» обыкновения плясать вперемешку, когда мужчины и женщины танцуют в одном хороводе (сколько я знаю, они допускали, что это занятие может быть и вполне невинным при условии, чтобы те и другие водили отдельные хороводы), отличали всех тех, кто среди них выделялся святостью жизни. Они же по мере возможности отваживали народ даже от привычных издавна «боевых смотров», как их тогда было принято именовать, на которые созывалось феодальное ополчение графства и куда каждый вассал короны под угрозой строгих, определенных законами наказаний был обязан являться с установленным для его владения количеством воинов и вооружения. Эти смотры особенно заботили ковенантеров, так как проводившие их лорды-лейтенанты и шерифы в соответствии с указаниями правительства не щадили усилий, чтобы сделать их притягательными для молодежи, которую, конечно, могли увлечь и утренние боевые учения, и завершавшие этот день вечерние состязания.

Вот почему проповедники и приверженцы ревностных пресвитериан прилагали всяческие старания, чтобы предостережениями, увещаниями и прямым принуждением уменьшить число участников этих смотров: они хорошо понимали, что, действуя таким образом, они препятствуют распространению того esprit de corps [1], который в короткое время сплачивает молодых людей, привыкающих общаться друг с другом на соревнованиях в мужской ловкости и на военных учениях, и тем самым ослабляет не только внешне, но и по существу силу правительства. Исходя из этого, они делали все возможное, чтобы удержать от участия в смотре всякого, кто мог бы удовлетворительно объяснить причину своей неявки, и были особенно суровы и непреклонны в отношении тех из своих прихожан, которые из пустого любопытства отправлялись поглазеть на интересное зрелище или из любви к телесным упражнениям становились участниками учений и состязаний. Но хотя многие из мелкопоместных дворян разделяли на этот счет кальвинистские взгляды, они

[1] Духа товарищества *(франц.)*.

далеко не всегда имели возможность поступать сообразно с ними. Веления закона были строгими и неуклонными, и Тайный совет, высший орган исполнительной власти в Шотландии, беспощадно наказывал вассалов короны, пропустивших без достаточных оснований очередной смотр. Землевладельцам поэтому приходилось волей-неволей посылать в назначенные для сборов места своих сыновей, арендаторов и вассалов — столько людей, лошадей и копий, сколько за ними было записано; и нередко случалось, что юные воины оказывались не в силах справиться с искушением принять участие в следовавших за смотрами состязаниях или не могли уклониться от посещения церкви и от присутствия на происходивших в этих случаях богослужениях и, таким образом, по мнению своих негодующих и гневающихся родителей, прикасались к тому, над чем тяготеет господне проклятие и что в глазах господа — величайшая мерзость.

Утром 5 мая 1679 года — с этой даты и начинается наш рассказ — на обширной плоской равнине по соседству с одним королевским местечком, название которого для моего повествования несущественно, шериф графства Ланарк производил боевой смотр феодальному ополчению захолустного округа, носившего наименование Верхний Уорд Клайдсдейла. После смотра и неизбежного разбора учений молодым людям, как обычно, предстояло приняться за различные состязания, главнейшим из которых была стрельба в «попку» — старинная забава с применением в былые дни луков и стрел, а в описываемое время — огнестрельного оружия. Этот «попка» представлял собой птичье чучело с пестрыми перьями, что и делало его похожим на попугая. Он был подвешен на шесте и служил мишенью, по которой стрелки поочередно разряжали свои ружья и карабины с расстояния в шестьдесят или семьдесят шагов. Кто сбивал мишень на землю, тому на остаток дня присваивалось почетное звание «Капитана Попки», и обычно толпа торжественно провожала его до наиболее известного в окру́ге трактира, где вечер и завершался веселым пиршеством, протекавшим под его председательством, а если он был в состоянии выдержать бремя связанных с ним издержек, то и за его счет.

Само собой разумеется, что местные дамы, за исключением, пожалуй, наиболее ревностных пуританок, почитавших за грех присутствовать на подобном шабаше нечестивцев, не преминули прибыть на это благородное соревнование в меткости. Ландо, кабриолетов и тильбюри в те бесхитростные времена еще не существовало. Только лорд-лейтенант графства (должностное лицо в ранге герцога) притязал на такое великолепие, как карета,

то есть нечто, покрытое поблекшею позолотой и резными украшениями и напоминавшее по форме Ноев ковчег на лубочной картинке. Герцогская карета была влекома восемью длиннохвостыми фландрскими кобылами и вмещала восемь внутренних седоков и еще шесть наружных. Те, что сидели внутри, были сами их светлости, две фрейлины, двое детей, капеллан, всунутый в своего рода боковую нишу, образуемую выступом для дверей колымаги и прозванную «сапогом», и шталмейстер его светлости, запрятанный в такой же закуток с другого бока. Кучер и трое форейторов — обладатели коротких шпаг и париков в три косицы — с мушкетами за спиной и пистолетами у луки седла правили колымагой. На подножке позади этих хором на колесах стояли или, вернее, висели в три ряда друг над другом шестеро вооруженных до зубов слуг в богатых ливреях. Остальное дворянство — мужчины и женщины, молодые и старые — было верхами в сопровождении слуг; впрочем, общество по причинам, отмеченным выше, было скорее избранным, чем многолюдным.

Невдалеке от необъятной кожаной колымаги — мы уже попытались дать ее описание,— как бы отстаивая превосходство своей титулованной госпожи над нетитулованным дворянством округи, виднелась степенная и смирная лошадь леди Маргарет Белленден, несшая на себе сухое и угловатое тело самой леди Маргарет, облаченной в неизменные вдовьи одежды: славная леди не снимала их со дня казни своего супруга, осужденного за близость к Монтрозу.

Ее внучка и единственная земная забота, светловолосая Эдит, единогласно признанная самой прелестной девицей во всем Верхнем Уорде, держалась позади своей пожилой родственницы и казалась весной, следующей по пятам за зимою. Ее вороная испанской породы лошадка, которой она правила с большой грацией, ее нарядный костюм амазонки, ее дамское, расшитое галуном седло были тщательно продуманы и подчеркивали наиболее выгодные стороны ее внешности. Пышные локоны, ниспадавшие из-под шляпы и повязанные зеленою лентой, лицо, красивое и привлекательное, не лишенное известного оттенка игривой насмешливости, спасавшего ее безукоризненно правильные черты от безжизненности,— упрек, который обращают порой к белокурым и голубоглазым красавицам,— все это вызывало у молодежи большее восхищение, нежели роскошь ее убора и стать ее лошади.

Свита этих знатных дам не соответствовала, однако, ни их рождению, ни обычаю того времени, так как состояла всего из

двух верховых слуг. По правде говоря, славная старая леди, дабы полностью выставить воинов, которых ее баронству полагалось послать на смотр,— а допустить, чтобы там обнаружилась недостача, она бы не согласилась ни за что на свете,— была вынуждена призвать к оружию всю свою челядь. Старик управитель в стальном шлеме и необъятных ботфортах, который возглавил ее ополченцев, отпотел, по его выражению, водой и кровью, силясь взять верх над увертками и уловками фермеров с пустошей, которые в таких случаях были обязаны поставлять людей, лошадей и сбрую. В конце концов их спор привел к почти открытому объявлению войны, так как разъяренный сторонник епископства обрушил на упрямых смутьянов громы и молнии, суля им кары небесные, и услышал взамен предупреждения, угрожавшие ему кальвинистской анафемой. Как следовало ему поступить? Наказать строптивых арендаторов было проще простого. Тайный совет не замедлил бы наложить на них денежный штраф и прислать кавалерийский отряд, чтобы его взыскать. Но это было бы то же самое, что впустить в огород охотников и собак с целью затравить зайца.

«Мужичье,— сказал себе Гаррисон,— в конце концов не очень-то богато добром, и если я позову красные куртки и отберу у него то немногое, чем оно обладает, то как сможет моя высокочтимая госпожа собрать на сретенье причитающуюся ей арендную плату, если даже в лучшие времена это было делом нелегким?»

Итак, он вооружил охотника, сокольничего, лакея и пахаря с фермы при замке, а также вечно пьяного дворецкого-роялиста, когда-то служившего вместе с покойным сэром Ричардом под началом Монтроза и поражавшего вечерами тиллитудлемских слуг разглагольствованиями о своих подвигах при Килсайте и Типпермуре,— единственного белоручку в отряде, не испытывавшего ни малейшей склонности к физическому труду. Таким образом, завербовав еще не то одного, не то двух равнодушных к делам религии браконьеров и любителей ловить рыбу в запретных водах, мистер Гаррисон набрал наконец ровно столько людей, сколько приходилось на долю леди Маргарет Белленден, как пожизненной владелицы баронства Тиллитудлем и прочих угодий. Но когда управитель в утро этого злополучного дня инспектировал свое troupe dorée [1] перед железными воротами замка, появилась мать Кадди Хедрига, пахаря, нагруженная ботфортами, курткой из буйволовой кожи и прочими предметами

[1] Блистательное войско *(франц.)*.

снаряжения, розданными заранее всем назначенным в ополчение, и, сложив все это у ног управителя, вкрадчиво и учтиво сказала, что не ей судить, может статься, то болезнь живота, а может, и угрызения совести, но только Кадди метался целую ночь, и она не сказала бы, что утром ему полегчало. Тут перст божий, продолжала она, и ее мальчик ни за что не пойдет выполнять подобные поручения. Угрозы наказать, наложить штраф, наконец выгнать, последовавшие в ответ на ее заявление, оказались напраснымп; мать Кадди была упряма, да и сам он при обследовании его на дому, предпринятом с целью проверки его телесного состояния, то ли не мог, то ли не хотел отвечать иначе, как тяжкими вздохами. Что касается Моз, то она с давних пор служила при доме, была в некотором роде любимицей леди Маргарет и соответственно с этим держала себя. Леди Маргарет самолично отправилась к Хедригам, но и ее вмешательство не увенчалось успехом. И вот в этот трудный момент добрый гений старого пьянчуги дворецкого подсказал выход. Ему пришлось повидать немало славных ребят, которые были, пожалуй, еще помельче, чем этот Гусенок Джибби, но они здорово дрались под началом Монтроза. А почему бы не взять с собой этого самого Джибби?

Это был слабоумный мальчуган очень малого роста, находившийся под началом у старой птичницы и помогавший ей ухаживать за домашнею птицей; в шотландском доме в эту пору было довольно странное разделение труда. Мальчика возвратили с жнивья, поспешно завернули в куртку из буйволовой кожи и, вернее сказать, не ему пристегнули меч, а его пристегнули к большому мечу взрослого воина. Его крошечные ножки утонули в ботфортах, а стальной шлем огромных размеров, водруженный на его голову, был предназначен, казалось, для того, чтобы его удушить. Снаряженный описанным образом, он был посажен, по его собственной настоятельной просьбе, на самую смирную лошадь в отряде и под опекою и руководством старого дворецкого Джона Гьюдьила, ехавшего непосредственно перед ним, благополучно прошел смотр: дело в том, что шериф не нашел нужным подвергнуть тщательной проверке рекрутов столь благонамеренной личности, как леди Маргарет Белленден.

Вот почему личная охрана леди Белленден в этот достопамятный день состояла всего из двух слуг — при других обстоятельствах она, разумеется, постыдилась бы показаться на людях с такой жалкою свитой. Но для королевского дела она готова была в любое мгновение на неограниченные личные жертвы. Она потеряла в гражданских войнах этой многострадальной

эпохи мужа и двух сыновей, на которых возлагала большие надежды; но она познала также и сла́дость вознаграждения, ибо, двигаясь через Западную Шотландию навстречу Кромвелю — их столкновение произошло на злосчастном поле под Вустером,— Карл II соблаговолил позавтракать у нее в Тиллитудлеме, и это событие положило начало новой и важной эре в жизни леди Маргарет, которая начиная с этого дня редко когда принималась за завтрак, будь то дома или в гостях, без того, чтобы не рассказать подробнейшим образом о посещении его величества короля, не забывая при этом упомянуть о приветствии, коим его величество почтил обе ее щеки, но опуская порою в своем рассказе, что той же милостью были отмечены и две пухленькие служанки, неотступно следовавшие за нею и возведенные на один этот день в ранг дежурных статс-дам.

Эти знаки монаршей милости оказались решающими, и если бы леди Маргарет не была убежденною роялисткой по воспитанию, из сознания своего высокого происхождения и из ненависти к мятежной партии, по вине которой она претерпела столько семейных несчастий, уже одно то, что ей довелось предложить завтрак монарху и получить взамен королевскую благодарность, было само по себе столь великою почестью, что связало бы ее раз и навсегда с судьбою Стюартов. Эти последние теперь явно восторжествовали над своими врагами, но ведь преданность леди Белленден оставалась нерушимою даже в самые худшие времена и была способна претерпеть столь же суровые удары судьбы, если бы чаша весов этой династии опустилась опять. В описываемый момент она радовалась от всего сердца при виде военной мощи, готовой отстаивать королевскую власть, и сдерживала, насколько могла, раздражение, вызванное недостойным дезертирством ее собственных подданных.

Ее милость и присутствовавшие на смотре представители различных преданных королевскому дому родовитых семейств, питавшие к ней глубокое уважение, успели обменяться множеством всяких учтивостей, и не один знатный юноша, проезжая мимо в рядах ополчения, выпрямлялся в седле и поднимал своего коня на дыбы, чтобы показать мисс Эдит Белленден в наиболее выгодном свете и свое искусство наездника, и отменную выездку своего скакуна. Но юные кавалеры, отличавшиеся высоким происхождением и несомненными верноподданническими чувствами, привлекали не больше внимания мисс Эдит, чем этого требовали непререкаемые правила этикета: она равнодушно внимала расточавшимся ей комплиментам, по большей части изрядно затасканным, хотя и позаимствованным ради та-

кого случая из надуманных и бесконечно нудных романов Кальпренеда и Скюдери, поставлявших молодежи эпохи излюбленные образцы для всемерного подражания, пока мода не выбросила за борт балласта и не заменила своих тяжелых и больших кораблей — таких, как романы «Кир», «Клеопатра» и кое-какие другие,— легкими и небольшими судами, так же мало нуждавшимися в глубокой воде или, чтобы выразиться яснее, требовавшими столь же малой затраты времени, как и тот малый челн, в который соблаговолил сесть мой благосклонный читатель. Однако судьбе было угодно не дать мисс Белленден выказывать до конца дня такую же невозмутимость.

## ГЛАВА III

От боли вскрикнул всадник, и с коня
Он рухнул вниз, доспехами звеня.

*«Утехи надежды»*

По окончании военных учений, прошедших, принимая во внимание неуклюжесть людей и коней, относительно хорошо, громкий крик возвестил, что соревнующиеся готовы приступить к стрельбе в «попку», которого мы уже описали. Под возгласы столпившегося народа был поднят столб или, точнее, шест с поперечною рейкой, с которой свисала мишень; теперь не могли подавить в себе интерес к предстоящему соревнованию даже те, кто перед этим наблюдал за перестроениями феодальной милиции с презрительной и злорадной усмешкой, вызванной их откровенною неприязнью к королевскому делу. Собравшись у стрелкового рубежа, они встречали критическими замечаниями каждого участника состязания по мере того, как те выходили друг за другом вперед и стреляли по цели, причем их ловкость или неловкость вознаграждались одобрением или смехом многочисленных зрителей. Но когда вышел стройный молодой человек с ружьем наготове, одетый просто, но не без некоторого щегольства и изящества — его темно-зеленый откинутый назад плащ, кружевные брыжи и шляпа с перьями свидетельствовали о том, что это не какой-нибудь простолюдин,— в толпе зашептались; но говорило ли это о безусловном одобрении молодого стрелка, решить было трудно.

— Увы, милостивые государи! Видеть сына такого отца за столь беспутным занятием! — восклицали старшие и наиболее ревностные из пуритан, в ком любопытство настолько превоз-

могло фанатизм, что привело их на площадку для состязаний. Впрочем, большинство смотрело на происходившие соревнования отнюдь не так мрачно и ограничилось пожеланиями успеха сыну покойного пресвитерианского военачальника, не вдаваясь в тщательное исследование вопроса, пристойно ли ему быть одним из соискателей приза.

Их пожелания исполнились. С первого выстрела зеленый стрелок сразил попугая — то было первое попадание за весь день, хотя перед этим несколько пуль пролетели почти у самой мишени. Последовал дружный взрыв рукоплесканий. Однако этот успех не был решающим, так как еще не стрелявшие участники состязания имели право, в свою очередь, попытать счастья, после чего те, кому удалось поразить цель, должны были продолжать соревнование между собой, пока кто-нибудь один не добьется окончательного превосходства. Из всех остальных еще только двоим удалось попасть в попугая. Первый был молодой человек низкого звания, не ладно скроенный, но крепко сшитый, прикрывавший лицо серым плащом; второй — изящный молодой кавалер, примечательный своей красивою внешностью, нарядно одетый ради такого дня. Во время смотра он держался около леди Маргарет и мисс Белленден и покинул их с выражением безразличия на лице лишь после того, как леди Маргарет обратилась к нему с вопросом, почему никто из молодых людей знатных родов и роялистских убеждений не оспаривает победу у двух удачливых юношей. В какие-нибудь полминуты лорд Эвендел спрыгнул с коня, взял ружье у своего слуги и, как мы отметили выше, поразил цель. Продолжение борьбы между тремя добившимися удачи соперниками вызвало наибольший интерес. Парадная колымага герцога, не без труда приведенная в движение, приблизилась к месту действия. Всадники и всадницы тронулись вслед за нею, и все взоры устремились туда, где решался исход состязания в меткости.

По правилу, соперникам перед вторым кругом нужно было установить жребием очередность стрельбы. Первый выстрел достался молодому простолюдину, который, выйдя вперед, слегка приподнял плащ и, приоткрыв свое простое лицо крестьянского парня, сказал кавалеру в зеленом: «Знаете, мистер Генри, в другой день я бы с удовольствием промазал из почтения к вам, но Дженни Деннисон смотрит на нас, и я должен показать себя в лучшем виде».

Он приложился к ружью и выстрелил; пуля прошла так близко от цели, что было видно, как вздрогнула подвешенная на рейке мишень, но все же он промахнулся, и ему пришлось

отказаться от дальнейшего участия в состязании; опустив глаза, он поспешил удалиться, словно боялся быть узнанным. Вслед за ним вышел зеленый стрелок, и его пуля вторично попала в «попку». Все вокруг ликовало, и где-то в задних рядах закричали: «Да здравствует старое правое дело!»

Пока представители власти, слыша эти возгласы злонамеренных, хмурились, молодой лорд Эвендел успел еще раз попытать счастья, и снова успешно. Крики ликования и поздравления благонамеренных и аристократической части общества приветствовали его успех, но на этом состязание в меткости еще не закончилось.

Зеленый стрелок, желая, как видно, ускорить решение спора, взял своего коня у того, на чьем попечении он находился, и, предварительно осмотрев, подтянута ли подпруга и все ли в порядке с седлом, вскочил на него. Помахивая рукою, чтобы ему уступили дорогу, он пришпорил коня, пустил его галопом к тому месту, откуда ему предстояло стрелять, и, поравнявшись с ним, бросил поводья, повернулся боком в седле, разрядил карабин и сбил попугая. Лорд Эвендел последовал его примеру, хотя многие стоявшие возле него заявляли, что это — новшество, идущее вразрез с установившимися обычаями, и что он не обязан ему подчиняться. Но то ли он не владел оружием с таким совершенством, то ли его лошадь не была так хорошо выезжена. При выстреле своего хозяина животное шарахнулось в сторону, и пуля пролетела, не задев попугая. Те, кого восхитила ловкость стрелка в зеленом, были теперь приятно изумлены и его учтивостью. Он утверждал, что последний выстрел не имеет никакого значения, и предложил своему противнику не засчитывать его как попадание и возобновить поединок, на этот раз спешившись.

— Я предпочел бы верхом, если б мой конь был так же хорошо выезжен и, возможно, приучен к стрельбе на скаку, как ваш,— сказал молодой лорд, обращаясь к сопернику.

— Не соблаговолите ли вы оказать мне честь и воспользоваться им в следующем круге, при условии, что одолжите мне вашего? — ответил молодой джентльмен.

Лорд Эвендел не решался принять эту любезность, так как предвидел, насколько потеряла бы в блеске его победа, согласись он на подобное предложение, но желание восстановить свою славу искусного стрелка все же возобладало, и он добавил, что, отказываясь от притязаний на почетное звание (это было сказано несколько презрительным тоном), он тем не менее, если победитель не возражает, готов принять его любезное предло-

жение и обменяться конями исключительно для того, чтобы выстрелить в честь своей дамы. Сказав это, он смело посмотрел в сторону мисс Белленден, и, как утверждает молва, туда же, хотя и не так открыто, были направлены взоры юного tirailleur'a [1]. Последний выстрел лорда Эвендела был так же неудачен, как предыдущий, и ему с трудом удавалось сохранять тот тон презрительного равнодушия, которым он до того разговаривал. Понимая, однако, что досада побежденного только смешна, этот молодой человек, возвращая лошадь, верхом на которой проделал свою последнюю и столь же безуспешную попытку, и получая взамен свою, принес благодарность сопернику, восстановившему, как он заявил, честь его любимого коня: ведь ему угрожала опасность свалить на бедную лошадку вину за испытанную им неудачу, которую теперь каждый, и он сам в первую очередь, должен отнести за счет всадника. Произнеся эти слова тоном, в котором досада набрасывала на себя покров равнодушия, он сел на коня и отъехал в сторону.

Как всегда в нашем мире, одобрение и внимание даже тех, кто от всей души желал успеха лорду Эвенделу, после понесенного им поражения сосредоточились на его восторжествовавшем сопернике. «Кто он? Как его зовут?» — спрашивали присутствовавшие на состязании землевладельцы-дворяне у тех немногих, кто его знал. Вскоре его имя и звание стали известны решительно всем, и, так как он был из того сословия, почтить которое великий человек мог без умаления собственного достоинства, четверо друзей герцога с такой же угодливостью, какую бедняга Мальволио приписывает своей воображаемой свите, решили представить победителя пред его светлые очи. Осыпая молодого человека поздравлениями с успехом, они торжественно сопровождали его сквозь толпу зрителей, и тут ему случилось проехать или, вернее, быть проведенным мимо леди Маргарет и ее внучки. И Капитан Попки и мисс Белленден, смущенно ответившая на низкий поклон, которым приветствовал ее победитель, склонившись чуть не до луки седла, покраснели как маков цвет.

— Ты знакома с этим молодым человеком? — спросила леди Маргарет.

— Да... сударыня... я его видела как-то у дяди и... помнится, где-то еще...— прошептала мисс Эдит Белленден.

— Тут говорят,— продолжала леди Маргарет,— что этот молодой щеголь — племянник старого Милнвуда?

---

[1] Стрелка *(франц.)*.

— Сын покойного полковника Мортона из Милнвуда, который с большим мужеством командовал кавалерийским полком при Данбаре и Инверкейтинге,— заметил с высоты своего седла джентльмен, конь которого стоял бок о бок с конем леди Маргарет.

— И который до этого сражался на стороне пуритан при Марстон-муре и Филипхоу,— добавила леди Маргарет, со вздохом произнося эти роковые названия, неизменно бередившие в ней печальные воспоминания о гибели ее мужа.

— Память вашей светлости безупречна,— сказал джентльмен, улыбаясь,— но, право, было бы лучше, если бы все это было забыто.

— Но ему подобало бы помнить об этом, Гилбертсклю,— сказала в ответ леди Маргарет,— и не втираться в общество тех, у кого его имя вызывает неприятные воспоминания.

— Вы забываете, моя любезная леди,— возразил ее собеседник,— что молодой человек выполняет здесь обязанности и повинности своего дяди. Было бы очень неплохо, если бы каждое поместье в округе посылало на смотр таких же отличных ребят.

— Его дядя, надо полагать, такой же круглоголовый, как и его покойный отец,— заметила леди Маргарет.

— Он всего-навсего старый скряга,— сказал Гилбертсклю,— и полновесный золотой в любое время перевесит его политические воззрения; вот почему, опасаясь денежных штрафов и прочих взысканий, он и послал сюда юного джентльмена, погрешив, возможно, против своих убеждений. Ну, а юнец — тот, вероятно, на седьмом небе, что улизнул на денек из унылого старого дома в Милнвуде, где он видит лишь желчного дядю и его всесильную домоправительницу.

— Не могли бы вы вспомнить, сколько людей и коней обязаны выставлять земли Милнвуд? — продолжала допрос старая леди.

— Двух вооруженных всадников,— ответил Гилбертсклю.

— А наша земля,— заявила леди Маргарет, с достоинством приосаниваясь в седле,— испокон века посылала на смотры по восьми всадников, кузен Гилбертсклю, а нередко и втрое больше, и еще добровольное ополчение. Припоминаю, что его священнейшее величество король Карл, когда вкушал у меня в Тиллитудлеме завтрак, особенно подробно расспрашивал...

— Карета герцога, я вижу, уже тронулась с места,— поспешил сказать Гилбертсклю, испытывая в этот момент хорошо знакомую всем друзьям старой леди тревогу, охватывавшую их

всякий раз, как она заводила речь о посещении королем ее родового гнезда.— Карета герцога, я вижу, уже тронулась с места; полагаю, что и ваша милость не преминет воспользоваться своим правом покинуть вслед за герцогом этот луг. Не разрешите ли проводить вашу милость и мисс Белленден домой? Банды этих дикарей-вигов бродят в окрестностях, и поговаривают, что они обезоруживают и бесчестят благонамеренных, проезжающих без надежной охраны.

— Благодарим вас, кузен Гилбертсклю,— ответила леди Маргарет,— нас будут сопровождать мои люди, и, надеюсь, мы меньше чем кто-либо нуждаемся в том, чтобы причинять беспокойство друзьям. Будьте любезны сообщить Гаррисону, чтобы он привел сюда наших людей, и как можно скорее; он двигается до того медленно, словно едет во главе похоронной процессии.

Гилбертсклю послал человека, и тот передал приказания ее милости верному Гаррисону.

Честный управитель имел свои основания сомневаться в благоразумии полученного распоряжения, но раз оно было отдано и передано, оставалось только повиноваться. Он пустил коня легкой рысцой; за ним следовал старый дворецкий, отличавшийся военной выправкой, которую приобрел, служа под началом Монтроза, и бросавший вокруг себя исполненные презрения взгляды, становившиеся все надменнее и все строже под влиянием винных паров, исходивших от чарки бренди, проглоченной им впопыхах в перерыве между исполнением служебных обязанностей за здоровье короля и погибель пуританского ковенанта. К несчастью, он подкрепился чересчур основательно, и из его памяти начисто улетучилось, что ему нужно опекать и поддерживать следовавшего за ним Гусенка Джибби. Между тем, едва кони перешли на рысь, ботфорты Джибби — справиться с ними бедный мальчуган оказался не в силах — начали колотить коня попеременно с обоих боков, а так как на этих ботфортах красовались к тому же длинные и острые шпоры, терпение животного лопнуло, и оно стало прыгать и бросаться из стороны в сторону, причем мольбы несчастного Джибби о помощи так и не достигли ушей слишком забывчивого дворецкого, утонув частью под сводами стального шлема с забралом, водруженного на его голову, частью в звуках воинственной песенки про храброго Грэмса, которую мистер Гьюдьил высвистывал во всю мощь своих легких.

Дело кончилось тем, что конь поторопился распорядиться по-своему: сделав, к великому удовольствию зрителей, несколь-

ко яростных прыжков туда и сюда, он пустился во весь опор к огромной семейной карете, описанной нами выше. Копье Джибби, выскользнув из своего гнезда, приняло горизонтальное положение и легло под его руками, которые — мне горестно в этом признаться — позорно искали спасения, ухватившись, насколько хватало сил, за гриву коня. Вдобавок ко всему этому шлем Джибби окончательно съехал ему на лицо, так что перед собой он видел не больше, чем сзади. Впрочем, если бы он и видел, то и это мало помогло бы ему при сложившихся обстоятельствах, так как конь, словно стакнувшись со злонамеренными, несся что было духу к парадной герцогской колымаге, и копье Джибби грозило проткнуть ее от окна до окна, нанизав на себя одним махом не меньше народу, чем знаменитый меч Роланда, пронзивший (если верить итальянскому эпическому поэту) столько же мавров, сколько француз насаживает на вертел лягушек.

Выяснив направление этой беспорядочной скачки, решительно все седоки — и внутренние и внешние — разразились паническим криком, в котором слились ужас и гнев, и это возымело благотворное действие, предупредив готовое свершиться несчастье. Своенравная лошадь Гусенка Джибби, испугавшись шума и внезапно осекшись на крутом повороте, пришла в себя и начала лягаться и делать курбеты. Ботфорты — истинная причина бедствия,— поддерживая добрую славу, приобретенную ими в былое время, когда они служили более искусным наездникам, отвечали на каждый прыжок коня новым ударом шпор, сохраняя, однако, благодаря изрядному весу, свое прежнее положение в стременах. Совсем иное случилось с горемыкою Джибби, который был с легкостью вышвырнут из тяжелых и широких ботфортов и на потеху многочисленным зрителям перелетел через голову лошади. При падении он потерял шлем и копье, и, в довершение беды, леди Маргарет, еще не вполне уверенная, что доставивший присутствовавшим зевакам столько забавы — один из воинов ее ополчения, подъехала как раз вовремя, чтобы увидеть, как с ее крошки-вояки сдирали его львиную шкуру, то есть куртку из буйволовой кожи, в которую он был запеленат.

И так как она не знала о замене Кадди Гусенком Джибби и не могла даже догадываться об этом, удивление и негодование почтенной леди достигли такого предела, что ни извинения, ни объяснения управителя и дворецкого не смогли помочь делу. Засим, возмущенная возгласами и зубоскальством толпы и готовая обрушить свой гнев на упрямого пахаря, которого так

неудачно замещал Джибби, она скомандовала поспешное отступление. Большинство окрестных помещиков также тронулось в путь, и злосчастное происшествие, приключившееся с воинством Тиллитудлема, долго веселило их по дороге домой. Стали покидать место сбора и прочие ополченцы, которые разъезжались группами, состоявшими из попутчиков. Остались лишь те, кто показал меткость в стрельбе по «попке» и кому полагалось, в соответствии со старинным обычаем, распить, перед тем как расстаться, почетную чашу в честь своего капитана.

## ГЛАВА IV

Всегда на ярмарках играл он,
Всегда бойцов увеселял он...
Оружье, шлемы — все сверкало,
Как самоцвет.
Кто ж грянет им напев удалый,
Коль Хебби нет?

*«Элегия на смерть Хебби Симпсона»*

Во главе группы всадников, направлявшихся в городок или, вернее, местечко, ехал на своей белой лошадке Нийл Блейн, городской музыкант; вооружение его составляли кинжал и палаш, а в руке он держал волынку, с которой свешивалось такое множество лент, что их хватило бы на полдюжины деревенских красавиц, принарядившихся ради ярмарки или проповеди. Многочисленные достоинства Нийла — а он был пригожим, статным, крепким малым с сильными легкими — доставили ему должность городского музыканта в *** со всеми исконными ее правами и благами, а именно Музыкантским выгоном — участком земли площадью около акра, и поныне носящим то же название,— ежегодным жалованьем в пять мерков и ежегодно выдаваемым новым парадным костюмом присвоенного городку цвета; сюда еще присоединялись кое-какие надежды на доллар в день выборов муниципальных властей, буде старшины смогут и пожелают оказать ему эту милость, а также право объезжать раз в году, ранней весной, всех значительных землевладельцев округи, с тем чтобы услаждать сердца слушателей своей музыкой, ублаготворять свое собственное их элем и бренди и выпрашивать в каждом поместье малую толику зерна для посева.

В добавление ко всем этим бесценным правам и привилегиям личные, а быть может, и служебные совершенства Нийла завоевали ему сердце хорошенькой вдовушки, содержавшей в то время лучший кабачок в городке. Ее покойный супруг был строгим пресвитерианином, и до того ревностным, что приверженцы этой секты называли его не иначе как Гаем-трактирщиком. Вот почему самых непримиримых из них глубоко возмутила профессия избранного его вдовою преемника. Но ее кабачок «Приют» сохранил, несмотря ни на что, свою несравненную славу, и большинство прежних его посетителей продолжало по-старому отдавать ему предпочтение. К тому же новый трактирщик обладал счастливым характером, позволявшим ему приспособляться ко всем и каждому; внимательно следя за рулем, он ловко и уверенно вел свой утлый челн среди бушующих волн политической смуты. Этот хитрец веселого нрава, думавший исключительно о себе, с полным безразличием относился решительно ко всем спорам о церкви и государстве и помышлял лишь о том, как бы ублаготворить своих посетителей, независимо от их взглядов. Впрочем, его характер, а заодно и состояние всей страны читатель поймет и сам, если мы перескажем ему наставления, с какими Нийл обратился к своей единственной дочери, девушке лет восемнадцати, посвящая ее в хозяйственные заботы, бремя которых верой и правдой несла его жена и помощница, пока, за полгода до описываемых событий, достойную женщину не снесли на погост.

— Дженни,— говорил Нийл, в то время как девушка помогала ему снять волынку,— сегодня тебе предстоит впервые прислуживать посетителям, заменяя твою бесценную мать; славная она была женщина, приветливая, и все любили ее, и виги и тори, и те, что с верхнего конца улицы, и те, что живут внизу. Трудненько придется тебе на ее месте, особенно в такой суматошный день, но ничего не поделаешь. Так было угодно небу. Запомни, Дженни, что бы ни заказал Милнвуд, ему ни в чем не должно быть отказу — ведь он Капитан Попки, а старинных обычаев надо держаться; если он не сможет оплатить счет — я-то знаю, на очень уж коротком поводу его держат,— не беда, я сумею пристыдить его дядюшку и выколотить должок. Священник играет в кости с корнетом Грэмом. Будь учтива и приветлива с тем и другим — в наше время и духовные и военные могут натворить много беды, попробуй только их рассердить. Драгуны будут орать и требовать эля; им не в привычку, да и ни к чему испытывать жажду — они, конечно, озорные ребята, но так или иначе, а все же платят за угощение. Недавно купил

я коровку — ту, комолую, теперь она лучшая в нашем хлеву — у чернявого Фрэнка Инглиса и сержанта Босуэла; за нее я отдал десять шотландских фунтов, и они пропили эти деньги в один присест.

— Погоди, отец,— прервала эту речь Дженни,— поговаривают, будто эти бессовестные разбойники увели ее у хозяйки, что с Беллской пустоши, придравшись к тому, что она пошла как-то в воскресенье после обеда послушать пришлого проповедника.

— Помалкивай, ты, сорока! — сказал Нийл.— Нам-то что до того, откуда скотина, которую они продают,— это дело их совести. Дженни, заметь хорошенько того угрюмого парня, что сидит у самого очага, спиною ко всем. Он, похоже, из тех, кто ушел в горы; я видел, как он вздрогнул, когда увидел здесь красные куртки, и мне сдается, что он был бы рад поскорее убраться отсюда, да лошадь его (добрый у него мерин!) совсем заморилась, вот ему поневоле и приходится оставаться. Прислуживай и ему, да только с умом, Дженни, и без суеты, и не обрати на него, упаси боже, взглядов солдат, не надоедай расспросами; не отводи ему и отдельной комнаты, не то скажут, что мы его укрываем. Что до тебя самой, дочка, то будь учтива с народом и не слушай глупости и всякий вздор, с которыми к тебе будут лезть молодые ребята. Кто из семьи трактирщика, тому терпеть да терпеть. Твоя мать, царствие ей небесное, была терпелива, как большинство женщин, но только до той поры, пока дело чисто и не балуют руками. Если кто начнет приставать, можешь позвать меня. А когда выпивка осилит еду, они начнут разглагольствовать об управлении церковью и государством, и тогда, Дженни, они примутся спорить — ну и пускай себе: гнев распаляет людей, чем больше они спорят, тем больше и пьют; только имей в виду, тут уж лучше подавать им легкое пиво — оно меньше бьет в голову, а какое оно, никому из них не понять.

— А если они начнут колотить друг друга, как в прошлый раз,— сказала Дженни,— звать ли мне вас, отец?

— Ни в коем случае, Дженни; кто разнимает, тому и попадает. Если солдаты обнажат сабли, зови капрала и караул. Если мужики возьмутся за ухваты и кочерги, зови судью и городских стражников. А меня не зови; я устал, я дудел целый день и хочу спокойно пообедать у себя в кладовой. И еще вот о чем: лэрд Ликитапа (то есть который был прежде лэрдом) заказал немного выпить и соленую селедку,— так ты тронь его за рукав и шепни на ухо, что я буду рад с ним отобедать:

он был когда-то выгодным гостем, и ему не хватает лишь денег, чтобы стать им опять,— он и теперь любит выпить, как прежде. И если ты знаешь какого-нибудь беднягу из наших знакомых, который жмется, потому что у него вышли деньжата, а идти домой далеко, дай ему глоток пива и кусок пирога; своего мы не упустим, а для такого заведения, как наше, это выглядит очень почтенно. А теперь, душенька моя, иди и обслуживай посетителей, но принеси сначала обед, да две кружки эля, да пинту бренди.

Возложив на Дженни, как на своего первого министра, бремя обязанностей по дому, Нийл Блейн и ci-devant[1] лэрд, некогда его покровитель, а теперь довольный положением его прихлебателя, засели на остаток вечера в кладовой, вдали от суеты общей комнаты.

В ведомстве Дженни все, можно сказать, кипело. Рыцари «попки» принимали обильное угощение своего капитана и в свой черед угощали его, тогда как он, почти не притрагиваясь к круговой чаше, следил за тем, чтобы она с надлежащею быстротой обходила всех остальных, которым казалось, что они отроду не встречали такого гостеприимства. Впрочем, число его гостей постепенно таяло, и в конце концов их осталось всего четверо или пятеро, но и те уже начали поговаривать, что пора по домам. За другим столом, невдалеке от них, сидели двое драгун, о которых упоминал Нийл Блейн: то были сержант и рядовой из прославленного полка лейб-гвардейцев, которым командовал Джон Грэм Клеверхауз.

Даже на унтер-офицеров и рядовых этих военных частей не смотрели как на обыкновенных наемников: к ним относились приблизительно так же, как во Франции к мушкетерам; в глазах всех они были как бы кандидатами на офицерский чин, проходящими солдатскую службу с видами на производство в случае, если им удастся отличиться.

В их рядах насчитывалось немало отпрысков знатных семейств, и это усиливало самонадеянность и кичливость лейб-гвардейцев. Превосходным образчиком таких молодых людей мог бы служить сержант, с которым нам сейчас предстоит познакомиться. Его настоящее имя было Фрэнсис Стюарт, но все звали его Босуэлом, так как он был прямым потомком последнего графа Босуэла — не бесчестного возлюбленного несчастной королевы Марии, но Фрэнсиса Стюарта, тревожившего ранний период царствования Иакова VI Шотландского своим буйным нра-

[1] Бывший *(франц.)*.

вом и постоянными заговорами и умершего изгнанником в нищете. Сын графа обратился к королю Карлу I с ходатайством о возвращении ему хотя бы части конфискованных отцовских поместий, но руки вельмож, которым они были розданы, оказались слишком цепкими, и у них ничего нельзя было вырвать. Гражданские войны окончательно разорили его, лишив и той небольшой пенсии, которая выплачивалась ему Карлом I, так что он умер в крайней нужде. Сын его, прослужив некоторое время солдатом за границей и в Англии и испытав многочисленные превратности своенравной судьбы, вынужден был довольствоваться положением сержанта в лейб-гвардии, хотя и происходил по прямой линии от королевского дома, так как отец графа Босуэла, имущество которого подверглось конфискации в пользу казны, был побочным сыном короля Иакова VI. Необычайная физическая сила и мастерское владение оружием, равно как и его высокое происхождение привлекли к нему внимание полковых офицеров. При всем том Босуэл отличался крайней распущенностью и страстью к грабежам, которая была свойственна большинству солдат, привыкших выполнять обязанности правительственных агентов по взысканию штрафов и недоимок, требовать постоя и всячески притеснять отказывавшихся повиноваться правительству пресвитериан. Привыкнув к поручениям подобного рода, они бесчинствовали и, уверенные в своей безнаказанности, не знали над собой ни закона, ни другой власти, кроме власти своих офицеров. Во всех таких случаях Босуэл неизменно бывал впереди.

Возможно, что Босуэл и его товарищ так долго не позволяли себе никаких выходок лишь потому, что тут же присутствовал их корнет, командовавший небольшим отрядом, расквартированным в городке, и в описываемое время поглощенный игрой в кости с местным священником. Но когда обоих игроков оторвали от их занятия, вызвав по неотложному делу в ратушу, Босуэл не замедлил выказать свое презрение ко всем остальным.

— Не странно ли, Хеллидей,— сказал он, обращаясь к своему товарищу,— что эта кучка мужланов, бражничая здесь целый вечер, ни разу не выпила за здоровье его величества короля?

— Они пили здоровье короля, Босуэл,— заметил Хеллидей,— я слышал собственными ушами, как эта зеленая капустная гусеница возгласила здоровье его величества.

— Так ли? — пробурчал Босуэл.— В таком случае, Том, мы заставим их выпить за здоровье архиепископа Сент-Эндрю, и пусть они проделают это, став на колени.

— Это дело, ей-богу,— оживился Хеллидей,— а если кто станет отказываться, того мы потащим к нам в кордегардию и выучим ездить верхом на кобылке, выращенной из желудя, привязав для устойчивости посадки к каждой ноге по парочке карабинов.

— Правильно, Том,— продолжал Босуэл,— и, чтобы все было как полагается, начнем с того надутого синего колпака, который прилип к очагу.

Он встал и, сунув под мышку палаш, чтобы в случае нужды подкрепить силой задуманную им наглую выходку, направился к посетителю, о котором Нийл Блейн в своем наставлении дочери говорил, что он, по-видимому, из тех, кто скрылся в горах, или, иными словами, что он мятежный пресвитерианин.

— Я беру на себя смелость, любезнейший,— произнес Босуэл подчеркнуто торжественным тоном и гнусавя, как это обыкновенно делают деревенские проповедники,— потребовать с вас заверения, что вы соизволите подняться со своего места и будете сгибать ваши поджилки, пока не коснетесь коленями пола, а также что вы опрокинете в себя эту чарку (невежды зовут ее пинтой) живительной влаги, именуемой смертными бренди, во здравие и славу его милости архиепископа Сент-Эндрю, достопочтенного примаса всей Шотландии.

Все ждали ответа незнакомца. Его суровые, почти свирепые черты, взгляд вбок, казавшийся косым, хотя в действительности этого не было, и придававший его лицу мрачное выражение, его телосложение, плотное, крепкое и мускулистое, хотя он был чуть пониже среднего роста,— все предвещало, что этот человек не склонен сносить грубые шутки и не оставит безнаказанным оскорбление.

— А что, если я не пожелаю исполнить ваше не слишком учтивое требование? — спросил он.

— Тогда, любезнейший,— ответил Босуэл тем же насмешливым тоном,— во-первых, я хорошенько ущипну твой хоботок, или, попросту, нос; во-вторых, любезнейший, я приложу свой кулак к твоим кривым буркалам, и в заключение, любезнейший, я дам практическое применение плоской стороне моего палаша, который пройдется по плечам мятежника.

— Вот как! — сказал незнакомец.— В таком случае подайте мне чарку.— И, взяв ее в руку, он с усмешкой произнес каким-то странным голосом: — За архиепископа Сент-Эндрю и за место, которое он теперь по достоинству занимает; пусть каждый прелат Шотландии станет в близком будущем тем, чем ныне является праведный и преосвященный Джеймс Шарп!

— Он выдержал испытание! — воскликнул Хеллидей с торжествующим видом.

— Да не вполне,— ответил Босуэл,— никак не пойму, на что намекает этот дьявольский лопоухий виг.

— Хватит, джентльмены,— вмешался Мортон, выведенный из терпения наглой выходкой солдат.— Мы здесь собрались как добрые подданные его величества, и притом ради праздника, и вправе рассчитывать, что нас не станут тревожить подобными ссорами.

У Босуэла на языке вертелся дерзкий ответ, но Хеллидей шепотом напомнил ему о строгом приказании — не допускать со стороны солдат оскорбления тех, кто был послан на смотр в соответствии с распоряжением Тайного совета. Итак, удостоив Мортона продолжительным и пристальным взглядом, Босуэл проговорил: .

— Ну что ж, господин Попка, не стану оспаривать ваше царствование — ведь оно, полагаю, окончится ровно в полночь. Не забавно ли, Хеллидей,— продолжал он, обращаясь к своему приятелю,— что они поднимают столько шума, щелкнув разок-другой своими годными разве что для птичек ружьишками по цели, которую любая женщина или мальчик смогут сбить после дневной подготовки? Если бы Капитан Попки или кто-нибудь из его армии пожелал схватиться на палашах, тесаках, просто рапирах или рапирах вместе с кинжалом, со ставкою в один золотой за первую каплю крови, то я был бы готов признать в них хоть немного души, да черт меня побери, если бы эта деревенщина согласилась хотя бы бороться, или метать железные брусья, или кидать камень, или бросать шест, если уж (при этом он презрительно коснулся носком сапога шпаги Мортона) они обвешиваются оружием, обнажать которое сами боятся.

Терпение Мортона совершенно иссякло, и он, забыв о благоразумии, собрался было зло ответить на наглые замечания Босуэла, как вдруг незнакомец, покинув свое место у очага, шагнул на середину комнаты.

— Ссора возникла из-за меня,— сказал он,— и ради правого дела я хочу лично покончить с нею. Послушай-ка, ты, приятель,— бросил он Босуэлу,— не хочешь ли побороться со мной?

— С превеликой охотой, любезнейший,— ответил Босуэл.— Конечно, я буду бороться с тобой, пока один из нас или мы оба не грохнемся на пол.

— В таком случае, исполненный веры в того, кто один только и может помочь,— ответил ему противник,— я сделаю

так, чтобы впредь ты стал примером для всех таких же, как ты, дерзких Рабсаков.

Произнеся эти слова, он сбросил с плеч серую, из грубого сукна, дорожную куртку и, вытянув вперед свои цепкие могучие руки, с решительным видом приготовился к схватке. Сержанта, видимо, не смутили ни мускулистое телосложение, ни широкая грудь, ни могучие плечи, ни смелый взгляд противника. Хладнокровно насвистывая, он отстегнул пряжку на своем поясе, снял военную куртку и отложил ее в сторону. Присутствовавшие стояли вокруг борцов, с беспокойством ожидая исхода.

В первой схватке, как казалось, перевес был на стороне Босуэла; то же было и во второй, хотя все еще нельзя было предугадать, чем окончится эта борьба. Впрочем, всякому стало ясно, что сержант, сразу использовав всю свою силу, начинает выдыхаться, борясь с соперником, обладающим большой выдержкой, ловкостью, выносливостью и хорошими легкими. В третьей схватке крестьянин приподнял противника и бросил его оземь с такой силою, что тот на мгновение потерял сознание и растянулся на полу, не подавая признаков жизни. Его товарищ Хеллидей выхватил из ножен палаш.

— Вы убили моего сержанта! — воскликнул он, бросаясь на победителя.— И, клянусь всем святым, ответите мне за это.

— Стойте! — закричал Мортон и все окружавшие.— Игра велась чисто; ваш приятель сам искал схватки и получил ее.

— Что верно, то верно, Том,— произнес Босуэл, медленно поднимаясь с пола,— убери свой палаш. Не думал я, чтобы среди этих лопоухих бездельников нашелся такой, который мог бы красу и гордость королевской лейб-гвардии повалить на пол в этой гнусной харчевне. Эй, приятель, давайте-ка вашу руку.

Незнакомец протянул руку.

— Обещаю вам,— сказал Босуэл, крепко пожимая руку противника,— что придет время, когда мы встретимся снова и повторим эту игру, причем гораздо серьезнее.

— И я обещаю,— сказал незнакомец,— что в нашу следующую встречу ваша голова будет лежать так же низко, как она лежала сейчас, и у вас недостанет сил, чтобы ее поднять.

— Превосходно, любезнейший,— ответил на это Босуэл.— Если ты и взаправду виг, все же тебе нельзя отказать в отваге и силе, и знаешь что, бери свою клячу и улепетывай, пока сюда не явился с обходом корнет; ему случалось, уверяю тебя, задерживать и менее подозрительных лиц, чем твоя милость.

Незнакомец, очевидно, решил, что этим советом не следует пренебрегать; он расплатился по счету, пошел в конюшню, осед-

лал и вывел на улицу своего могучего вороного коня, отдохнувшего и накормленного; затем, обратившись к Мортону, он произнес:

— Я еду по направлению к Милнвуду, где, как я слышал, ваш дом; готовы ли вы доставить мне удовольствие и высокую честь, отправившись вместе со мною?

— Разумеется,— сказал Мортон, хотя в манерах этого человека было нечто давящее и неумолимое, неприятно поразившее его с первого взгляда.

Гости и товарищи Мортона, учтиво пожелав ему доброй ночи, стали разъезжаться и расходиться, направляясь в разные стороны. Некоторые, впрочем, сопровождали Мортона и незнакомца приблизительно с милю, покидая их один за другим. Наконец всадники остались одни.

Вскоре после того, как все они покинули гостеприимный «Приют», как называлось заведение Блейна, ночную тишину нарушили звуки литавр и труб. Лейб-гвардейцы, поспешно хватая оружие, собирались на базарную площадь. Корнет Грэм, родственник Клеверхауза, и мэр городка, с выражением тревоги и озабоченности на лицах, в сопровождении полудюжины солдат и городских стражников с алебардами, поспешно вошли в кабачок Нийла Блейна.

— Приставить стражу к дверям! — таковы были первые слова, брошенные корнетом.— Никого отсюда не выпускать! Что это значит, Босуэл? Или вы не слышали сигнала тревоги?

— Он собирался бежать в казармы, сэр,— ответил корнету его приятель,— но видите ли, упал и расшибся.

— Конечно, в драке,— прервал его Грэм.— Если вы будете и впредь пренебрегать своими обязанностями, вам едва ли поможет ваше королевское происхождение.

— В чем же я пренебрегаю моими обязанностями? — угрюмо спросил Босуэл.

— Вам следовало находиться в казармах, сержант Босуэл,— ответил корнет,— вы упустили такой удобный случай. Пришло известие, что архиепископ Сент-Эндрю убит, убит зверски и при исключительных обстоятельствах. Шайка мятежных вигов, преследовавших его на Магус-мурской равнине, близ Сент-Эндрю, вытащила его из кареты и искромсала палашами и кинжалами [1].

Все оцепенели при этом известии.

---

[1] Сообщение об этом убийстве можно найти во всех хрониках того времени. Более подробные сведения содержатся в рассказе одного

«Пуритане»

— Вот приметы преступников,— продолжал офицер, разворачивая воззвание к населению,— за голову каждого из убийц назначено вознаграждение в тысячу мерков.

— Так вот оно, не вполне удавшееся испытание,— сказал Босуэл, обращаясь к своему приятелю Хеллидею,— теперь все разъяснилось. Черт меня побери! И мы не задержали его! Беги, Хеллидей, седлай лошадей. Скажите, корнет, не было ли среди убийц дюжего, коренастого, широкогрудого, но узкого в бедрах молодчика с ястребиным носом?

— Погодите, погодите, давайте-ка заглянем в бумагу,— ответил корнет.— Хэкстон из Рэтилета: высокий, тонкий, черные волосы.

— Нет, это не он,— сказал Босуэл.

— Джон Белфур, прозываемый Берли: орлиный нос, рыжие волосы, пяти футов восьми дюймов росту.

— Это он! — воскликнул Босуэл.— Он самый... к тому же здорово косит на один глаз, не так ли?

— Правильно,— продолжал Грэм,— под ним сильный вороной конь, которого он захватил после убийства примаса.

— Он, он самый,— повторял Босуэл,— и тот самый конь! Этот человек был тут не больше как четверть часа назад.

Торопливо расспросив о подробностях происшедшего, он убедился в том, что мрачный и замкнутый незнакомец был Белфур из Берли, главарь шайки убийц, слепых фанатиков, которые беспощадно расправились с примасом, настигнутым ими случайно в то время, как они разыскивали другое лицо, навлекшее на себя их ненависть [1]. Их возбужденному воображению случайная встреча с архиепископом показалась указанием провидения, и они убили его с холодной жестокостью, веря, что сам господь, как они говорили, отдал его их карающей длани.

— На коней, на коней, в погоню, ребята! — воскликнул корнет.— Голова этого злобного пса стоит обещанного за нее золота!

---

из участников этого события, Джеймса Рассела, помещенном в приложении к «History of the Church of Scotland» («История шотландской церкви») Керктона, изданной Чарльзом Керкпатриком Шарпом, эсквайром. Эдинбург, 1817.

[1] Речь идет о некоем Керкмайкле, шерифе-депутате графства Файф, который всячески преследовал нонконформистов. Он охотился на болоте, но, случайно узнав, что его разыскивают с целью убить, возвратился домой и тем избежал предназначавшейся ему участи, обрушившейся на его покровителя — архиепископа.

## ГЛАВА V

Восстань, о юность! То не клич земной —
То божьей церкви голос призывной,
То стяг с крестом, подъятый в синеву,
Путь к славной смерти или к торжеству.

*Джеймс Дафф*

Покинув городок, Мортон и его спутник ехали некоторое время в полном молчании. В незнакомце, как мы отметили, было что-то отталкивающее, что мешало Мортону первому обратиться к нему, а тот, видимо, не испытывал ни малейшего желания вступать в разговор. Внезапно он резко спросил:

— Что побудило сына такого отца, как ваш, предаваться греховным забавам, в которых, я знаю, вы принимали сегодня участие?

— Я выполнял мой долг верноподданного и ради своего удовольствия позволил себе самые безобидные развлечения,— ответил Мортон, несколько уязвленный этим вопросом.

— Неужели вы думаете, что ваш долг или долг любого другого юноши-христианина состоит в том, чтобы служить своим оружием делу тех нечестивцев, которые в ярости проливали, как воду, кровь господних святых в пустыне? И разве безобидное развлечение тратить время, стреляя по этому дурацкому пучку перьев и бражничая весь вечер в кабаках и на ярмарках, когда тот, кто могуч и всесилен, сошел в нашу страну, дабы отделить пшеницу от плевел?

— Судя по вашим слóвам,— отозвался Мортон,— вы один из тех, кто счел возможным открыто выступить против правительства. Нахожу нужным напомнить, что едва ли следует произносить перед случайным попутчиком речи столь опасного содержания, которые к тому же в такое время, как наше, небезопасно слушать и мне.

— От этого никуда не уйдешь, Генри Мортон,— продолжал его спутник,— господь имеет на тебя свои виды, и раз он тебя призывает, ты должен повиноваться; я убежден, что ты еще не слыхал настоящего проповедника, иначе ты был бы таким, каким ты, бесспорно, когда-нибудь станешь.

— Мы, как и вы, придерживаемся пресвитерианского исповедания,— ответил Мортон, так как его дядя со всеми домочадцами принадлежал к пастве одного из тех многочисленных пресвитерианских священников, которым, с известными ограничениями, была разрешена свободная проповедь. Эта индуль-

генция, как выражались в то время, вызвала среди пресвитериан великий раскол, и те, кто ее принял, подвергались суровому осуждению со стороны наиболее ревностных приверженцев секты, отказавшихся пойти на предложенные условия. Вот почему незнакомец выслушал с величайшим презрением сообщение Мортона о его исповедании веры.

— Это всего-навсего отговорка, пустая и жалкая отговорка. Вы слушаете по воскресеньям холодные, мирские, приспособленные к духу времени речи, исходящие от того, кто до такой степени забыл свое высокое назначение, что получил апостолический чин благодаря покровительству придворных и лжепрелатов, и вы именуете проповеди таких лиц словом господним! Из всех соблазнов, коими дьявол в эти дни крови и мрака улавливает души людей, ваша черная индульгенция была самым опасным и самым пагубным. Это была страшная сделка: она означала, что пастырь убит, а овцы рассеялись по горам, что одно христианское знамя поднято против другого и что на мечи сынов света обрушивается воинство тьмы.

— Мой дядя считает,— заметил Мортон,— что, находясь на попечении принявших индульгенцию пасторов, мы в достаточной мере располагаем свободой совести, а так как избирать церковь для себя и своих домашних — его бесспорное право, я должен в силу необходимости следовать в этом за ним.

— Ваш дядя таков,— заявил незнакомец,— что последний ягненок в милнвудском стаде ему дороже, чем вся христианская паства. Он один из тех, кто охотно пал бы ниц перед золотым тельцом в Вефиле и вылавливал бы из вод частички его, после того как телец был истолчен в порошок и этот порошок брошен в воду. Твой отец был человеком другого закала.

— Мой отец,— сказал Мортон,— и в самом деле был отважным и честным воином. Но вы, должно быть, знаете, сэр, что он сражался под знаменами того же королевского дома, во имя которого и я сегодня брался за оружие.

— Это верно, но если б он дожил до этих дней, он проклял бы час, в который обнажил меч за их дело. Когда-нибудь поговорим и об этом, а пока я твердо возвещаю тебе, что и твой час у порога, и тогда слова, которые ты только что слышал, застрянут в твоей груди, как стрелы с зазубренным наконечником. Прощай, мне сюда.

Он указал на ущелье, которое, уходя вверх, вело в дикий край пустынных и мрачных гор; но когда он уже совсем собрался свернуть на извилистую тропу, отходившую от дороги в указанном им направлении, к ним приблизилась какая-то ста-

руха в красном плаще, сидевшая до этого у перекрестка, и, испуганно озираясь, зашептала:

— Если вы наш человек и дорожите жизнью, то не езжайте нынешней ночью этим ущельем. На тропе залег лев. Бросерстейнский священник и с ним десять солдат преградили проход, чтобы отнять жизнь у всякого из наших скитальцев, если кто из них попытается пройти этим путем к Гамильтону и Дингуоллу.

— А разве гонимые соединились в отряд и у них есть предводитель? — спросил незнакомец.

— Их человек семьдесят конных и пеших,— сказала старуха,— но горе им! У них плохо с оружием и еще хуже с едой.

— Господь поможет своим,— сказал всадник.— По какой же дороге мне ехать, чтобы их отыскать?

— Сегодня это никак невозможно,— ответила женщина,— уж очень зорко стерегут солдаты проход; говорят, странные вести пришли с востока; вот они и бесятся из-за этого и в ожесточении сердца своего еще свирепее, чем когда-либо прежде; вам нужно найти себе убежище на ночь, а потом уже пробираться через торфяники; спрячьтесь до первого света, а после поезжайте через Дрейкскую топь. Когда я услышала страшные угрозы насильников, я накинула на себя плащ и села у самой дороги предупреждать наших рассеянных повсюду страдальцев, чтобы они не забрели на эту тропу и не попали в сети злодеев.

— Вы живете поблизости? — спросил незнакомец.— Не приютите ли меня на ночь?

— Моя хижина возле дороги, около мили отсюда; но у меня поместили четырех слуг Велиала, чтобы они себе на потеху грабили и разоряли меня, а все потому, что я не хотела слушать бессмысленные, бесконечные и бессвязные разглагольствования этого погрязшего в мирской суете Джона Халфтекста, священника.

— Доброй ночи; вы славная женщина; благодарю за совет,— сказал незнакомец и тронул коня.

— Да будет над вами благословенье господне,— напутствовала его старуха,— да хранит вас всемогущий: он один властен над нами.

— Аминь! — произнес спутник Мортона.— Ибо разумение человеческое бессильно измыслить, где этой ночью я мог бы укрыть свою голову.

— Мне очень горестно видеть вас в столь затруднительном положении,— сказал Мортон,— и будь у меня свой собственный дом или какой-нибудь кров, который я мог бы назвать своим,

полагаю, что я скорее рискнул бы навлечь на себя жестокую кару закона, чем оставил бы вас в этой крайности. Но мой дядя настолько боится штрафов и наказаний, предусмотренных законом для тех, кто поддерживает, принимает и поощряет враждебных правительству лиц, что строго-настрого запретил и мне, и всем своим слугам вступать с ними в какое-либо общение.

— Ничего другого я и не ждал,— сказал незнакомец,— и все же вы могли бы приютить меня без его ведома; какой-нибудь амбар, сеновал или сарай для телег — любое место, где я мог бы прилечь, было бы для меня с моей неприхотливостью скинией, убранной со всех сторон серебром, и жертвенником, сложенным из кедрового дерева.

— Уверяю вас,— сказал в замешательстве Мортон,— я не могу пригласить вас в Милнвуд без ведома и согласия дяди; и даже если бы я был в состоянии это сделать, то и тогда я бы не позволил себе навлекать на него, ничего не подозревающего, опасность, которой он больше всего страшится и от которой так старательно отгораживается.

— Ну что ж,— проговорил незнакомец,— в таком случае еще одно слово. Слыхали ли вы когда-нибудь от отца имя Джона Белфура Берли?

— Еще бы! Его давнего друга и товарища по оружию, спасшего ему жизнь, едва не отдав свою, в битве при Лонгмастонмуре? Часто, очень часто.

— Так вот, этот Белфур — я,— сказал спутник Мортона.— Вот дом твоего дяди; я вижу свет между деревьев. Тот, кто жаждет отмстить мне за кровь, гонится за мной по пятам, и смерть моя неизбежна, если ты не скроешь меня. А теперь, юноша, выбирай: бежать ли от отцовского друга, как тать в нощи, и тем самым обречь его мучительной смерти, от которой он спас когда-то твоего отца, или подвергнуть бренные блага дяди опасностям, которые грозят всякому, кто в наше развратное время подаст ломоть хлеба или глоток воды христианину, погибающему от голода или жажды.

Множество воспоминаний пронеслось в голове Мортона. Его отец, память о котором он чтил, как святыню, не раз говорил ему, чем он обязан этому человеку, и всегда сокрушался, что после длительной дружбы они расстались с некоторой неприязнью друг к другу; это произошло в то тяжелое время, когда все население Шотландского королевства разделилось на два враждующих стана — «резолюционистов» и «протестующих»; после того как отец его умер на эшафоте, первые стали приверженцами Карла II, тогда как вторые склонялись к союзу с победонос-

ными республиканцами. Неистовый фанатизм Берли связал его с партией «протестующих», и друзья разошлись, чтобы никогда больше не встретиться. Обо всем этом покойный полковник Мортон часто рассказывал сыну и всякий раз выражал при этом глубокое сожаление, что ему так и не удалось тем или иным способом отблагодарить Берли за помощь, которую тот неоднократно ему оказывал.

Колебаниям Мортона положил конец ночной ветерок, принесший издалека зловещие звуки литавр; с каждым мгновением они, казалось, становились все ближе, и это говорило о том, что в сторону наших путников направляется кавалерийский отряд.

— Это, видимо, Клеверхауз с остатком своего полка. Но что означает этот ночной поход? Если вы отправитесь дальше, то неминуемо попадете в их руки; если возвратитесь в местечко, вы в не меньшей опасности, потому что там корнет Грэм со своими людьми. Тропу, ведущую в горы, перехватили драгуны. Я должен либо укрыть вас в Милнвуде, либо покинуть на верную смерть; впрочем, кара закона по справедливости должна обрушиться на меня одного и не задеть дядю. Едем!

Берли, с полным бесстрастием ожидавший решения Мортона, молча двинулся вслед за ним.

Дом Милнвуда, выстроенный отцом нынешнего владельца, был скромным жилищем, под стать самому поместью; к тому же со времени перехода в руки теперешнего хозяина он заметно пришел в упадок. Невдалеке от дома стояли хозяйственные постройки. Тут Мортон остановился.

— Мне придется ненадолго оставить вас в одиночестве,— прошептал он.— Нужно добыть вам постель.

— О, я не нуждаюсь в таких удобствах,— сказал Берли,— на протяжении последних тридцати лет эта голова чаще покоилась на кучке торфа или на валуне, чем на шерстяной или пуховой подушке. Глоток эля, кусок хлеба, молитва на ночь и вместо постели немного сухого сена — для меня то же самое, что для иных расписная опочивальня и княжеский стол.

В это мгновение Мортону пришло в голову, что, попытавшись провести беглеца внутрь дома, он подвергнет его дополнительной опасности быть обнаруженным; итак, пройдя в конюшню и разыскав оставленные для него трут и огниво, он высек огонь и, привязав обоих коней, проводил Берли к деревянной лежанке, поставленной на сеновале, наполовину заполненном сеном; раньше здесь спал поденщик, пока дядюшка в припадке скупости, возраставшей в нем день ото дня, его не уволил. Покидая своего случайного гостя в этом нежилом помещении,

Мортон посоветовал ему заслонить свет таким образом, чтобы в окне не было видно, и вышел, с тем чтобы вскоре вернуться с провизией, какую ему удастся раздобыть в столь позднее время. В последнем, однако, он совсем не был уверен, так как возможность достать даже самую простую еду всецело зависела от настроения, в каком он найдет единственное лицо, пользовавшееся доверием дяди,— его старую домоправительницу. Если она уже улеглась, что было вполне вероятно, или в плохом настроении, что столь же вероятно, успех его предприятия был по меньшей мере сомнителен.

Кляня в душе гнусную скаредность, проникшую во все поры хозяйства старого Милнвуда, он, как обычно, постучал в запертую на засов дверь, через которую попадал домой, когда ему случалось задерживаться позже того весьма раннего часа, когда в поместье гасили огни. Он стучал робко, нерешительно, словно сознавал за собою вину; казалось, что он скорее взывает, чем настаивает на внимании. Мортону пришлось постучать еще и еще, прежде чем домоправительница, сердито ворча, так как ей пришлось выбраться из теплого местечка у печки в прихожей, с головою, повязанной клетчатым шейным платком, чтобы уберечься от холодного воздуха, прошлепала по каменным плитам и, повторив предусмотрительно несколько раз свое: «Кто там так поздно?» — отодвинула засовы, отомкнула замки и опасливо приоткрыла дверь.

— Вот это и впрямь подходящее время, мистер Генри,— сказала она тем властным и вызывающим тоном, какой свойствен любимым и избалованным слугам,— глухая ночь на дворе и пора в самый раз, чтобы нарушать покой мирного дома и не давать утомленным людям, ожидающим вас, лечь наконец в постель. Ваш дядюшка знай себе посапывает носом уже часика три, Робина одолел ревматизм, и он лежит пластом у себя на кровати. И я должна сидеть одна-одинешенька, как бы ни душил меня кашель.

Тут она кашлянула разок-другой в доказательство неслыханных мук, которые ей пришлось вытерпеть.

— Премного обязан вам, Элисон, тысяча благодарностей.

— Как это, сэр! Ведь мы так отменно воспитаны! Многие называют меня миссис Уилсон, и лишь один Милнвуд во всем поместье зовет меня Элисон, да и он частенько обращается ко мне, как все остальные, «миссис Элисон».

— Простите, пусть будет по-вашему,— сказал Мортон,— я глубоко огорчен, миссис Элисон, что вам пришлось так долго меня дожидаться.

— А раз вы уже дома,— сказала ворчливая домоправительница,— почему бы вам не взять свечи и не отправиться спать? Да когда будете проходить по гостиной с панелями, смотрите, чтобы свеча у вас не накапала, а то весь дом потом придется отскабливать и очищать от сала.

— Но, Элисон, прежде чем отправиться спать, нужно же мне немного перекусить и пропустить глоток эля.

— Перекусить? И эль, мистер Генри? Господи боже, значит, вы вовсе не угостились. И вы думаете, что мы не слыхали о ваших подвигах с «попкою», о том, что вы перевели столько пороху, сколько пошло бы на дичь, которой хватило бы от этого дня до самого сретенья, что потом отправились шумной ватагой в харчевню волынщика, что сидели там с кучкою самых отпетых бездельников и негодяев и бражничали вплоть до заката на счет вашего несчастного дяди, со всяким сбродом и подонками с побережья, а теперь вы вваливаетесь домой и требуете эля, как настоящий господин и хозяин.

Возмущенный ее словами, но помня о том, что ему во что бы то ни стало необходимо добыть ужин для своего гостя, Мортон подавил в себе раздражение и с добродушным видом стал уверять миссис Уилсон, что ему действительно хочется есть и пить.

— А что касается стрельбы в «попку», то я слышал от вас,— заключил он свою речь,— что вам и самой доводилось бывать, миссис Уилсон, на таких состязаниях; очень жаль, что вы не приехали посмотреть и на нас.

— Ах, мистер Генри,— ответила на это старушка,— а мне очень жаль, что вы учитесь нашептывать на ушко женщинам медовые речи! Впрочем, болтайте себе на здоровье, большой беды тут не будет, да только если речь идет о таких старухах, как я. Берегитесь, однако, плутовок помоложе, мой милый. Ах вы, Попка! Вы считаете себя молодцом хоть куда, и, по правде сказать (тут она осветила его свечой), нет ничего худого быть пригожим снаружи, лишь бы изнутри было то же. Припоминаю, что когда я была еще шальною девчонкою, то видела герцога, того самого, которому потом отрубили в Лондоне голову,— говорили, что она была у него не бог весть какая, а все же ему, бедняге, жалко было с ней расставаться. Так вот, он сбил «попку», потому что немногие посмели тягаться с самим его светлостью; а был он красавчик, и когда вся знать села на коней, чтобы погарцевать на народе, его светлость оказался рядом со мной, вот так, к примеру, как вы, и он мне тогда сказал: «Поберегитесь, милочка (это его собственные слова), мой конь не

очень-то ловок!» А теперь, раз вы говорите, что недоели и недопили, я докажу, что никогда не забываю о вас; молодым людям не следует отправляться в постель на голодный желудок.

Справедливость побуждает нас указать, что ночные наставления миссис Уилсон, расточаемые ею в подобных случаях, нередко заканчивались этой в высшей степени разумною фразой, которая неизменно предшествовала появлению на столе каких-нибудь кушаний, и притом более изысканных, чем обычно, что случилось и в этот раз. В действительности главной причиной ворчания было желание потешить свое тщеславие и проявить власть, ибо миссис Уилсон не была, в сущности, злобною женщиной и, конечно, больше всех на свете любила своего старого и молодого хозяев, хотя всячески мучила и того и другого.

И, подавая мистеру Генри, как она имела обыкновение величать Мортона, оставленные для него яства, она ласково и внимательно разглядывала его.

— Кушайте на здоровье, голубчик. Не думаю, чтобы вас потчевали у Нийла такими лакомствами. Его жена была умелой хозяйкой и могла неплохо приготовлять разные блюда для своего заведения, но, уверяю вас, она все же не справилась бы с хозяйством в порядочном доме. Ну, а дочка, сдается мне, просто дурочка; чего только не накрутила она себе в волосы, когда в прошлое воскресенье я видела ее в церкви. Чую, ох, чую, услышать нам новости об этом трактире. Ну, дорогой, старые глаза мои вовсе слипаются; не суетитесь и не забудьте погасить свечку; у вас в комнате полный рог эля и стакан с гвоздичной водой; ее я никому не даю, берегу, как лекарство, и для вашего молодого желудка она будет, пожалуй, получше, чем бренди. Покойной ночи, мистер Генри, и смотрите не забывайте, что со свечой нужно быть осторожным.

Мортон обещал в точности выполнить ее указания и попросил, чтобы она не тревожилась, если услышит, как отворяется наружная дверь: ведь ей хорошо известно, что ему предстоит еще раз наведаться к своей лошади и позаботиться о ней. Миссис Уилсон удалилась к себе, а Мортон, взяв с собой ужин, собрался было направиться к своему гостю, как вдруг кивающая голова старой домоправительницы снова показалась в дверях, с тем чтобы еще раз напомнить ему о необходимости отдать себе строгий отчет в совершенных им за день поступках, прежде чем он отойдет ко сну и помолится о покровительстве божьем на те часы, когда все окутано непроглядной тьмой.

Таковы были нравы известного круга слуг, нравы, когда-то обычные для Шотландии и, быть может, существующие еще и

поныне где-нибудь в старых замках, затаившихся в самых глухих углах нашей страны. Эти слуги были связаны неразрывными узами с семьями, в которых они служили; они не представляли себе, что могут при жизни расстаться со своими хозяевами, и были искренне преданы каждому члену семьи[1]. С другой стороны, избалованные снисходительностью и беспечностью своих давних господ, они нередко становились капризными и властными тиранами в доме, так что порой хозяйка или хозяин были бы рады променять эту сварливую преданность на льстивое и угодливое двоедушие современной прислуги.

## ГЛАВА VI

Суровый взгляд, как страшное заглавье,
Нам страшную предсказывает повесть.

*Шекспир*

Отделавшись наконец от домоправительницы, Мортон собрал все съестное, оставленное ему миссис Уилсон, и приготовился отнести ужин своему тайному гостю. Он решил, что обойдется без фонаря, так как отлично знал все закоулки в усадьбе, и его счастье, что он его с собою не взял: не успел он переступить порог дома, как тяжелый топот многих коней возвестил, что большою дорогой, обегающей подошву холма, на вершине которого стояло поместье Милнвуд, проходит кавалерийский отряд, литавры которого они слышали еще в пути[2]. До его слуха отчетливо донеслись слова команды старшего офицера, прокричавшего «стой!». Затем на короткое время воцарилась полная тишина, нарушаемая порой только ржанием или ударом копыта о землю какого-нибудь нетерпеливого скакуна.

— Чей это дом? — произнес кто-то властным и повелительным голосом.

---

[1] Один слуга, наговорив кучу дерзостей своему господину, получил приказание немедленно получить расчет. «Уж конечно, я не сделаю этого,— сказал он.— Если вашей чести неведомо, что она располагает хорошим слугой, то я зато знаю, насколько хорош мой господин, и отсюда никуда не уйду». Во втором случае, похожем на этот, господин сказал: «Джон, нам с вами больше не спать под одним кровом», на что Джон ответил с прелестной наивностью: «Но у какого дьявола собирается ваша честь поселиться?»

[2] Военная музыка никогда не играет ночью. Но кто поручится, что она не играла по ночам и во времена Карла II? Пока я доподлинно не выясню этого, литавры у меня все же будут греметь, так как это придает живописность ночному маршу.

— Милнвуда, с позволения вашей чести,— ответил другой.

— А владелец — благонамеренный человек? — спросил первый.

— Он покорен во всем властям и посещает проповеди священника, принявшего индульгенцию.

— Гм, вот как! Принявшего индульгенцию? Да ведь это всего-навсего личина предательства, весьма неразумно дозволенная всякому, кто слишком труслив, чтобы явно исповедовать свои убеждения. Не лучше ли послать нескольких человек и хорошенько пошарить в доме? А что, если там скрывается кто-нибудь из кровожадных убийц, замешанных в этом гнусном злодействе?

Прежде чем Мортон успел совладать с тревогой, в которую повергло его предложение офицера, в разговор вступил еще один собеседник:

— Не думаю, чтобы это было необходимо: Милнвуд — больной, нудный старик; он никогда не вмешивается в политику и дрожит над своей мошной и закладными, которые для него дороже всего на свете. Племянник его был, как я слышал, сегодня на смотре и выиграл «попку», так что и он не похож на фанатика. Они, наверно, уже давно спят, и беспокойство, которое мы причиним в такой поздний час, может быть роковым для бедного старика.

— Согласен,— присоединился к этому мнению командир,— пусть будет по-вашему; обыскивать дом — значит потерять драгоценное время, которого и без того в обрез. Господа лейб-гвардейцы, вперед! Марш!

Звуки трубы и время от времени грохот отбивающих ритм литавр вместе со стуком копыт и бряцанием оружия указали, что отряд снова двинулся в путь. Когда передние ряды колонны достигли склона холма, на который петлями взбегала дорога, из-за туч показалась луна и осветила стальные каски солдат; во мгле можно было различить темные фигуры всадников и коней. Они поднимались на холм и исчезали за его гребнем, и так как это продолжалось довольно долго, то кавалерийский отряд, надо полагать, был очень внушительным.

Как только последний всадник исчез из виду, Мортон поспешил к своему гостю. Войдя в предоставленное им Берли убежище, он увидел его сидящим на убогой лежанке с карманной Библией в руке—тот казался всецело поглощенным чтением. Палаш, который он извлек из ножен, когда у дома остановились драгуны, лежал у него на коленях; маленький огарок свечи, прилаженный сбоку на опрокинутом старом ящике, заменяв-

шем стол, бросал мерцающие, тусклые отблески на суровые и резкие черты его лица, свирепость которого, ставшая еще явственнее, облагораживалась налетом дикого, полного трагической силы энтузиазма. На челе его лежала печать какой-то всепоглощающей страсти, подавляющей другие страсти и чувства; так прилив в новолуние или при полной луне скрывает от нашего взора прибрежные утесы и скалы, и об их существовании свидетельствует лишь разъяренная пена волн, которая кипит и перекатывается над ними. Почти целую минуту Мортон молча смотрел на него; наконец его гость поднял голову.

— Вижу,— сказал Мортон, бросив взгляд на палаш,— что вы слышали, как мимо нас проходили драгуны; их прибытие задержало меня.

— Я почти не обратил на это внимания,— ответил Белфур,— час мой еще не пробил. Но я твердо уверен, что придет день, когда я попаду в их кровавые руки и удостоюсь чести разделить участь тех святых страстотерпцев, которых они замучили. Я жажду, молодой человек, чтобы час этот пробил; он мне столь же желанен, как час свадьбы для жениха. Но если господу моему труд мой еще необходим на земле, я обязан безропотно трудиться во имя его.

— Поешьте и отдохните,— сказал Мортон.— С первым светом, как только станет возможным различать тропу на болоте, вам следует покинуть наш дом и направиться в горы.

— Молодой человек,— задумчиво произнес Белфур,— вы уже тяготитесь мною и, вероятно, тяготились бы еще больше, если бы знали, какое бремя я только что возложил на себя. И это не удивительно, ибо порою я сам себе в тягость. Разве не тяжкое испытание для плоти и духа чувствовать себя орудием, выполняющим справедливые приговоры неба, пока ты сам еще на бренной земле и сохраняешь в себе слепое чувство и сострадание к телесным мучениям, которые заставляют содрогаться нашу грешную плоть, когда мы пронзаем мечом чужую? И неужели вы думаете, что, отняв жизнь у какого-нибудь зловреднейшего тирана, те, через кого свершилось возмездие, оглядываясь назад и вспоминая свое участие в его умерщвлении, могут неизменно пребывать неколебимыми и твердыми духом? Не должны ли они порою задаваться вопросом, справедлив ли тот пыл, который они ощущали в себе и под влиянием которого действовали? Не должны ли они иногда терзаться сомнениями, от кого исходило то неумолимое побуждение, которое возникло и укрепилось в них после их горячих молитв о господнем руководстве в их трудном деле, и не приняли ли они в смятении

чувств заблуждение, внушенное им врагом человеческим, за ответ, исходящий от самой Истины?

— В этих вещах, мистер Белфур, я слишком плохо осведомлен, чтобы вступать с вами в спор, но, признаться, я глубоко сомневаюсь в божественном происхождении побуждений, толкающих на поступки, которые противоречат естественному чувству человеколюбия, предписанному нам небом как непреклонный закон нашего поведения.

Белфура, казалось, взволновали эти слова: он весь передернулся, но тотчас же взял себя в руки и холодно произнес:

— Вполне понятно, что вы привержены таким взглядам, вы узник закона, вы пребываете в яме, еще более темной, чем та, в которую был брошен Иеремия, мрачнее темницы Малахии, сына Гамелеха, где не было воды, но была жидкая грязь. На челе вашем печать ковенанта, но сын праведника, не щадившего своей крови, когда отстаивал поднятое в горах знамя свободы, не сгинет бесследно, как какие-нибудь чада тьмы. Неужели вы думаете, что в эти дни скорби и бедствий от нас не требуется ничего больше, как придерживаться нравственного закона, насколько нам позволяет наша слабая плоть? Неужели вы полагаете, что нам должно добиваться победы лишь над собственными пороками и страстями? Нет, с того часа, как мы препоясали чресла свои, мы обязаны смело вступить в борьбу и, обнажив меч, беспощадно разить им всякого неугодного богу, будь то даже сосед наш, и жестокосердного мужа власти, будь то наш родственник или друг, которого мы лелеяли в сердце своем.

— Это то самое,— сказал Мортон,— в чем вас обвиняют ваши враги и что если не оправдывает, то, во всяком случае, объясняет жестокие меры, принятые Тайным советом в отношении вас. Ваши противники утверждают, что вы присвоили себе право на самочинные действия, ссылаясь на, как вы говорите, внутреннее озарение, что вы пренебрегаете предписаниями законной власти, законами государства и простой человечностью, если они противоречат тому, что вы называете духом, обитающим в вас.

— Они клевещут на нас,— возразил ковенантер,— это они клятвопреступники, которые попирают всякий закон, божеский и человеческий, это они преследуют нас за приверженность Торжественной лиге и ковенанту го́спода с королевством Шотландским, ковенанту, которому все они, за исключением нескольких закоснелых папистов, в былые дни клялись в верности. А теперь они сжигают его на рыночных площадях и, издеваясь, топчут ногами. Да, Карл Стюарт возвратился в наши королевства,

но разве они, разве эти нечестивцы вернули его сюда? Они стремились к этому вооруженной рукой, но им это не удалось. Разве я говорю не правду? Разве Джеймс Грей Монтроз и его разбойники-горцы смогли бы возвести его на отцовский трон? Их головы на западных воротах в Эдинбурге долго рассказывали совсем о другом. Работники, что трудились во славу святого дела, те, кто жаждал восстановить скинию в изначальной ее красе,— вот кто вернул Карлу престол, с которого был свергнут его отец. А что мы получили в награду? По слову пророка: «Ждем мира — а ничего доброго нет, ждем времени исцеления — и вот ужасы. От Дана слышен храп коней его, от громкого ржанья жеребцов его дрожит вся земля, и придут и истребят землю и все, что на ней, город и живущих в нем».

— Мистер Белфур,— сказал Мортон,— не берусь ни опровергать ваши обвинения правительства, ни признать их справедливыми. Я считаю своей обязанностью заплатить долг старому другу отца, предложив вам убежище, раз вы в нем нуждаетесь, и думаю, что вы извините меня, если я не стану высказываться как за, так и против изложенных вами взглядов. Оставляю вас, чтобы вы могли отдохнуть, и глубоко сожалею, что не в моей власти предоставить вам более удобный ночлег.

— Надеюсь, однако, что увижу вас завтра перед отъездом? Я не такой человек, чтобы прилепиться всем сердцем к родным или друзьям на этой бренной земле. Взявшись за плуг, я порвал путы моих земных привязанностей и не стану оглядываться и сожалеть об оставшемся у меня за спиной. Но сын моего старого боевого товарища для меня то же, что собственный, и я не могу взирать на него без глубокой и твердой надежды, что придет день, когда он препояшет себя мечом ради того благородного и правого дела, за которое некогда бился и истекал кровью его отец.

Мортон обещал разбудить своего гостя, когда рассветет настолько, что он сможет продолжить свой путь, и они расстались.

Мортон прилег, чтобы хоть немного вздремнуть; но воображение, возбужденное событиями минувшего дня, не дало ему желанного отдыха. Его томили неясные, но мучительные видения, главным действующим лицом которых был его новый знакомец. К ним примешивался также образ Эдит Белленден; прекрасное лицо ее было в слезах, волосы в беспорядке, и она, казалось, искала его поддержки и взывала к нему о помощи, которой он не мог ей оказать. Мортон пробудился от беспокойного сна, чувствуя себя совершенно разбитым, и сердце его

сжалось в предчувствии чего-то недоброго. Вершины далеких гор уже горели в лучах восходящего солнца, было совсем светло; летнее утро дышало свежестью.

«Я проспал! — воскликнул он, обращаясь к себе самому.— Уже поздно, и нужно поторопить этого несчастного скитальца с отъездом».

Он поспешно оделся, осторожно отворил дверь и торопливо направился к убежищу ковенантера. Мортон вошел к нему на носках, так как резкость тона и манер этого странного человека, равно как и его необыкновенные речи и убеждения, внушили ему чувство, близкое к страху. Белфур еще не проснулся. Луч солнца осветил убогое ложе без полога и позволил Мортону рассмотреть его суровое, с исказившимися чертами лицо, на котором отражалась какая-то ожесточенная внутренняя борьба. Он не раздевался. Руки его лежали поверх одеяла; правая была крепко сжата в кулак и время от времени как бы порывалась нанести кому-то удар, как это нередко бывает, когда снятся кошмары; левая, беспомощно вытянутая вдоль тела, иногда поднималась, словно отталкивая кого-то. На лбу его каплями выступил пот, «как пузырьки на только что растревоженных водах потока», и этим признакам внутреннего смятения сопутствовали отрывочные слова, срывавшиеся с его уст: «Я настиг тебя, иуда... Я настиг тебя... не ползай у моих ног... не ползай... Разите его!.. Священнослужитель?.. Увы, священнослужитель Ваала, которого должно связать и убить тут же на берегу Киссона... Пуле не взять его... Разите... Пронзите его клинком... Кончайте скорее... кончайте... Избавьте его от мучений хотя бы из уважения к сединам его».

Встревоженный смыслом этих выкриков, вырывавшихся у спящего с мрачною страстностью и наводивших на мысль о каком-то совершенном им насилии, Мортон стал будить своего гостя и трясти его за плечо. Просыпаясь, тот произнес: «Делайте со мной что хотите, я готов отвечать за содеянное».

Осмотревшись вокруг и придя наконец в себя, он тотчас же принял свой обычный строгий и мрачный вид и, опустившись на колени, прежде чем заговорить с Мортоном, излился в пылкой молитве о страждущей церкви Шотландии, о том, чтобы кровь ее святых мучеников и страстотерпцев была угодна создателю и чтобы щит всемогущего оборонил рассеянные остатки их, во имя его скрывшиеся в пустыне. Возмездие, скорое и полное возмездие угнетателям и насильникам —

вот о чем в заключение просил он в своей молитве, произнесенной энергичным и возвышенным языком, выразительность которого усиливали восточные обороты Писания.

Окончив молиться, он поднялся с колен и, взяв Мортона под руку, спустился вместе с ним с сеновала в конюшню, где Скиталец (под таким именем знали Берли приверженцы его секты) принялся снаряжать коня в путь. Оседлав и взнуздав его, он попросил Мортона проводить его хотя бы немного, на расстояние ружейного выстрела, через лес и указать кратчайшую дорогу к болоту. Мортон охотно согласился, и они некоторое время двигались молча в тени раскидистых старых деревьев, по заброшенной тропе, которая, пройдя по лесу, выводила к голой пустоши, простиравшейся до подножия гор.

Беседа их не вязалась, пока Берли неожиданно не спросил Мортона, не принесли ли плодов в душе его те слова, которые были сказаны им минувшею ночью.

Мортон ответил, что остался при своем старом мнении и что он полон решимости, насколько возможно и пока будет возможно, совмещать в себе доброго христианина и вместе с тем верноподданного.

— Другими словами,— заметил Берли,— вы хотите служить и богу и мамоне, в иные дни вещать своими устами истину, а в иные — брать в руки оружие и по приказу земной и тиранической власти проливать кровь тех несчастных, которые ради той же истины отреклись от благ мира сего. Неужели вы полагаете,— продолжал он,— что можно прикоснуться к смоле и не испачкаться; стать в ряды безбожников, папистов, прелатистов, латитудинариев и богохульников; разделять их забавы, которые представляют собою не что иное, как жертвоприношение идолам, входить при случае к их дочерям, как некогда, до потопа, сыны божии входили к дочерям человеческим,— неужели вы полагаете, говорю я, что можете творить эти мерзости и остаться неосквернённым? А я говорю вам, что всякое общение с врагами церкви — страшное зло, ненавистное господу! Не прикасайтесь, не трогайте, не берите в руки! И не тужите, молодой человек, точно вам одному на всем свете приходится подавлять в себе земные привязанности и отрекаться от наслаждений, которые суть силки, раскинутые у вас под ногами. Говорю вам, что сын Давидов не лучшую долю возвестил всему роду людскому.

Он вскочил на коня и, обернувшись к Мортону, прочел текст Писания:

— «Тяжкое бремя возложено на сынов Адамовых с того

дня, как они вышли из чрева матери, и до того, когда возвратятся в лоно матери сущего; и тому, кто облачен в лазоревый шелк и украшен венцом, и тому, на ком простые льняные одежды,— тот же удел: вражда и зависть, заботы и тревоги душевные, тяготы, и борьба, и страх смерти в час отдохновения и покоя».

Произнеся эти слова, он пустил коня вскачь и вскоре исчез между деревьев.

«Прощай, суровый фанатик,— подумал Мортон, смотря ему вслед.— Сколь опасно могло бы быть для меня общение с таким человеком в иные мои минуты. Если он и не увлек меня своим рвением к догматам веры или, точнее, к определенной форме устроения церкви (ибо это главное в его рассуждениях), то могу ли я именоваться человеком в полном смысле этого слова, и к тому же шотландцем, и равнодушно взирать на гонения, превращающие разумных людей в безумцев? И не боролся ли мой отец за дело гражданской и религиозной свободы? Поступлю ли я правильно, оставаясь бездеятельным или став на сторону творящей насилия власти, если представится действительная возможность избавить от невыносимых страданий несчастных моих соотечественников? Но кто мне поручится, что люди, одичавшие от преследований, не станут в час торжества такими же жестокими и нетерпимыми, как те, кем они ныне гонимы? Какую умеренность, какого милосердия можно ожидать, скажем, от Берли, одного из главных их предводителей, еще не остывшего, по-видимому, от какого-то только что совершенного им насилия, Берли, угрызения совести которого так сильны, что их не может заглушить даже его пламенный фанатизм? Мне надоело видеть вокруг себя только насилие, только ярость, то под личиной законной государственной власти, то под личиной религиозного рвения. Мне ненавистна родина, я сам, моя зависимость, необходимость подавлять свои чувства, этот лес, река, дом — всё, кроме одной Эдит, но и она никогда не станет моей. К чему подстерегать ее на прогулке? К чему тешить себя, а может быть, и ее несбыточными мечтами? Все равно она никогда не станет моей. Все ополчилось против меня: ее надменная бабка, враждебные друг другу взгляды наших семейств, мое проклятое подневольное положение... О жалкий, несчастный раб, не располагающий даже жалованьем слуги,— и нет ни малейшей надежды, что мы когда-нибудь сможем соединиться! К чему упорствовать, к чему тешить себя такой мучительною мечтой?»

— Но я не раб! — сказал он вслух, выпрямляясь во весь рост.— Да, я не раб, по крайней мере в одном. Я могу уехать отсюда; шпага моего отца — моя шпага; передо мною Европа, как некогда она была перед ним и сотнями моих соотечественников, наполнивших ее громкою славою своих подвигов. Быть может, и меня вознесет какой-нибудь нечаянный случай, как вознес наших Рутвенов, Лесли или Монро, лучших военачальников прославленного ревнителя протестантства, короля Густава-Адольфа; во всяком случае, там меня ждет жизнь солдата или могила солдата.

Занятый этими мыслями, он обнаружил, что неприметно для себя самого дошел до усадьбы дядюшки. Он решил не терять времени и немедленно известить его о своих планах.

«Но один-единственный взгляд Эдит, одна-единственная прогулка с нею, и моя решимость бесследно исчезнет. Я должен отрезать себе путь к отступлению, и когда со всем будет покончено, только тогда повидаться с нею».

Обуреваемый этими мыслями, он вошел в столовую с отделанными панелью стенами, где застал дядю за утреннею трапезой, состоявшей из огромной миски овсяной каши и такого же количества пахтанья. Тут же на страже находилась и уже известная нам любимица дядюшки, его домоправительница, стоявшая позади него, наклонившись над спинкою его кресла, в позе, которая свидетельствовала о свободе в обращении и вместе с тем о почтительности. Старый джентльмен в дни молодости был поразительно высокого роста, но уже давно утратил свою молодецкую выправку и согнулся до такой степени, что какой-то шутник-сосед, встретив его на собрании, где обсуждался вопрос о способах постройки горбатого моста, который предполагалось перебросить через довольно широкий ручей, предложил выплатить Милнвуду порядочную сумму за его кривой позвоночник, утверждая, что тот охотно продаст любую принадлежащую ему собственность. Кривые ноги необыкновенных размеров, длинные тонкие руки, кисти которых украшались ногтями, давно не знавшими ножниц, дряблое и сморщенное лицо, длиною своею под стать всей его нескладной фигуре, вместе с маленькими хищными серыми глазками, выискивавшими всегда и везде только корысть, довершали не предвещавшую ничего хорошего наружность мистера Мортона из Милнвуда. Было бы весьма неразумно вкладывать в такую недостойную оболочку благородство, благожелательность и прочие добрые качества, и природа снабдила его душою, вполне

соответствующей его внешности, то есть низкой, эгоистичной и алчной.

Когда эта симпатичная личность заметила появившегося в столовой племянника, она поспешила, прежде чем обратиться к нему, проглотить полную ложку каши, которую как раз подносила ко рту, а так как каша оказалась чертовски горячей, причиненный ею ожог, пока она опускалась по пищеводу в желудок, усилил раздражение мистера Милнвуда, и без того сердившегося на своего юного родственника.

— Черт побери того, кто ее стряпал! — таково было первое его восклицание, обращенное к миске с кашей.

— А каша сегодня отменная,— заметила миссис Уилсон,— вам нужно было только остудить ее в ложке. Я сама варила ее, но когда у людей не хватает терпения, горло у них должно быть луженым.

— Помолчите, Элисон! Я говорю с племянником. Итак, что вы скажете, сударь? Где это вы пропадали так поздно? Вчера вас не было дома почти до полуночи.

— Да, сэр, около этого,— бесстрастным тоном ответил Мортон.

— Около этого, сударь? Это что за ответ, сударь? Почему вы не изволили возвратиться домой вместе со всеми присутствовавшими на смотре?

— Полагаю, что вы отлично осведомлены об этом,— сказал Мортон.— Мне вчера посчастливилось занять первое место среди стрелков, и я задержался, чтобы угостить, по обычаю, других молодых людей, участников состязания.

— Черт побери, сударь! И вы мне об этом заявляете прямо в глаза? И вы позволяете себе угощать других, вы, который не знали бы, чем пообедать, если бы вас не кормил столь долготерпеливый человек, как я? Но если я трачусь на вас, вы обязаны, по крайней мере, отработать стоимость вашего содержания. Не понимаю, почему бы вам не взяться за плуг, особенно теперь, когда от нас ушел пахарь; это было бы вам больше к лицу, чем наряжаться в зеленые тряпки и выбрасывать деньги на свинец и порох: вы имели бы в руках честное ремесло и смогли бы добывать хлеб свой насущный, никого не обременяя.

— Я был бы рад научиться этому ремеслу, но я не умею управлять плугом, сэр.

— А почему бы и не научиться? Это гораздо легче, чем стрелять из ружья или лука, что составляет ваше излюбленное занятие. Старый Дэви еще не закончил пахоты, и два-три дня

вы могли бы поработать у него как погонщик,— только смотрите не загоните быков; это будет, по крайней мере, настоящее дело! Дэви вас живо обучит, ручаюсь вам в этом! В Хегги-холме земля тяжелая, а он становится стар, чтобы пахать с опущенным как следует лемехом.

— Извините, сэр, но я вынужден вас перебить; я принял решение, которое освободит вас от бремени и неприятностей, связанных с моим пребыванием здесь.

— Так вот оно что? В самом деле? У вас есть решение? Это, надо полагать, что-нибудь очень мудрое,— сказал дядюшка с ехидной усмешкою.— Расскажите, дружок, а мы вас послушаем.

— Я изложу его в двух словах, сэр. Я намерен покинуть нашу страну и отправиться служить за границу, как это сделал когда-то отец; он уехал, как вы знаете, прежде, чем у нас начались эти злосчастные беспорядки. Имя его и сейчас не забыли в тех странах, где он служил, и его сыну, надеюсь, оно поможет попытать солдатского счастья.

— Храни нас боже от этого! — воскликнула домоправительница.— Да чтобы наш молодой мистер Гарри отправился за границу! Нет, нет, нет, этому не бывать!

Милнвуд, не помышлявший о том, чтобы расстаться с племянником, и в глубине души не желавший этого, так как тот во многих отношениях был ему чрезвычайно полезен, выслушав внезапную декларацию независимости, и притом от того самого юноши, над которым он издавна и неограниченно властвовал, был поражен ею как громом. Впрочем, самообладание тотчас же вернулось к нему.

— А кто, молодой человек, должен, по-вашему, предоставить вам средства для выполнения этой дикой затеи? Уж конечно, не я. Мне и так едва удается содержать вас у себя дома. И вы, несомненно, там женитесь — я в этом уверен,— как поступил и ваш покойный отец, и пришлете к дядюшке кучу малых ребят, которые будут драться друг с другом и орать на весь дом, когда я состарюсь, а потом, как только отрастут у них крылья, улетят прочь так же, как вы, если от них потребуют поработать на пользу поместью. Не так ли?

— Я никогда не женюсь.

— Только послушать его! — вмешалась домоправительница.— Стыд и срам, чтобы такой чудесный молодой человек говорил подобные слова, когда всякий знает, что кому же, как не таким, нужно жениться, не то пойдет баловство.

— Помолчите же, Элисон,— прервал ее владелец Милн-

вуда,— помолчите и вы, Гарри,— добавил он мягче,— и выкиньте эту бессмыслицу из головы — это все оттого, что вчерашний день вы были солдатом. И учтите, дружок, что для выполнения этих бессмысленных планов недостает самого главного, то есть денежек.

— Прошу извинить меня, сэр, мои желания очень скромны, и если бы вы возвратили мне золотую цепь, которая была пожалована маркграфом отцу после битвы при Люцене...

— Покорно благодарю! Золотую цепь! — вскричал в ужасе дядюшка.

— Золотую цепь! — как эхо повторила за ним домоправительница. Оба были потрясены дерзостью этого предложения.

— Я сохраню только несколько ее звеньев,— продолжал молодой человек,— чтобы они напоминали мне постоянно о том, кто когда-то ее носил, а также о месте, где она была пожалована ему; остального мне хватит, чтобы начать такой же жизненный путь, как тот, на котором отец удостоился этой награды.

— Сохрани нас господь! О, небо! — воскликнула миссис Уилсон.— Но ведь хозяин носит ее каждое воскресенье!

— И воскресенье и субботу,— добавил старый Милнвуд,— всякий раз, как надеваю костюм из черного бархата. И, знаете, Уилли Мак-Трикит склонен считать, что эта цепь — наследственное имущество, которое принадлежит скорее главе семьи, чем непосредственному потомку покойного владельца ее. В ней три тысячи звеньев; я пересчитывал их множество раз. И стоит она три тысячи фунтов стерлингов.

— Это больше того, что мне нужно, сэр; если вы соблаговолите выдать мне третью часть этих денег и пять звеньев цепи, я смогу достигнуть поставленной мною цели; что касается остального, то пусть оно послужит слабым возмещением за издержки и хлопоты, которые я вам доставил.

— Да этот парень спятил с ума! — воскликнул дядюшка.— А что станет с Милнвудом и всеми его постройками, когда я умру и отправлюсь в дальнее странствие? Он готов был бы бросить даже корону Шотландии, если бы она была у него.

— Погодите, сэр,— заметила домоправительница,— я должна сказать, что и вы тут не без вины. Вам не следовало так туго натягивать повод. И раз он побывал в «Приюте» у Нийла, право же, вам придется оплатить счет.

— Ничего не поделаешь; но только чтобы этот счет не превысил двух долларов,— ответил старый джентльмен, совершенно убитый неожиданными расходами.

— Я сама договорюсь с Нийлом, дайте мне только съездить в местечко; и поверьте, мне это дело станет дешевле, чем стало бы вам, ваша милость, или мистеру Гарри.— Сказав это, она зашептала на ухо Генри: — Не волнуйте вы его больше; если понадобится, я рассчитаюсь с Нийлом из масляных денег, и вообще довольно об этом.— И она снова обратилась к Милнвуду: — Не посылайте молодого человека ходить за плугом; в наших местах сколько угодно голодных бедняков вигов, и каждый из них будет рад пахать землю за кусок хлеба и миску похлебки, а это больше пристало им, чем такому, как он.

— И тогда на нас нагрянут драгуны,— возразил Милнвуд,— и обвинят в том, что мы укрываем и кормим мятежников; славный выход, нечего сказать, вы нам предлагаете! Но садитесь завтракать, Гарри, и потом скиньте наконец ваш новый зеленый костюм и наденьте домотканый, серого цвета; он более практичен, и вид у вас в нем мужественнее и приличнее, чем в этом покупном тряпье с пышными лентами.

Генри Мортон, покидая столовую, ясно видел, что у него нет никаких надежд на достижение поставленной цели; впрочем, возможно, что его не слишком огорчали препятствия, которые мешали ему покинуть поместье, расположенное так близко от Тиллитудлема. Миссис Уилсон, последовав за ним в соседнюю комнату и похлопав его по спине, попросила «быть добрым мальчиком и выбросить из головы все эти сумасбродные выдумки».

— Я обошью галуном вашу шляпу и спорю с нее ленты, а также тесьму,— сказала эта вездесущая дама,— а вы никогда, ни за что на свете, не должны говорить о том, что покинете родину или что нужно продать золотую цепь; ваш дядюшка счастлив, лишь когда видит вас пред собою и когда считает звенья на цепи; и потом, разве можно оставить навсегда старика? Ведь и цепь и земли — все-все станет когда-нибудь вашим; и вы сможете жениться на любой девице в наших краях, какая только приглянется вам, и богато жить в Милнвуде — ведь тут всего вдоволь. А разве это не стоит того, чтобы подождать еще, голубь мой?

В заключительной части пророчества миссис Уилсон содержалось нечто до такой степени приятное для слуха Мор-

тона, что он сердечно пожал руку старушки. Он сказал ей, кроме того, что очень обязан ей за добрый совет и что хорошенько подумает обо всем этом, а пока не будет настаивать на своем прежнем решении.

## ГЛАВА VII

В семнадцать лет вошел я в эту дверь;
Мне семьдесят — я ухожу теперь.
В семнадцать лет как счастья не искать?
Но в семьдесят поздненько начинать.

*«Как вам это понравится»*

Теперь мы должны перенестись в Тиллитудлем, куда леди Маргарет вернулась, выражаясь романтическим слогом, расстроенная и с тяжким бременем на душе по причине неожиданного и, как она полагала, несмываемого позора, которым покрыло ее перед всеми злосчастное происшествие с Гусенком Джибби. Этот незадачливый воин был безотлагательно отправлен пасти свое пернатое стадо в самый дальний уголок выгона, чтобы не растравлять душевных ран своей госпожи и не попадаться ей на глаза, пока не изгладится воспоминание о недавнем позоре.

Тотчас по возвращении леди Маргарет нарядила торжественный суд, к участию в котором были привлечены Гаррисон и дворецкий — и как свидетели и как заседатели — для установления виновности Кадди Хедрига, пахаря, а также злостного подстрекательства со стороны его матери, так как оба эти лица, по общему мнению, были подлинными виновниками тяжелого поражения, понесенного рыцарством Тиллитудлема. Когда следствие было закончено и преступление неопровержимо доказано, леди Маргарет приняла решение лично пристыдить подсудимых и, если они не раскаются, вынести приговор об их изгнании из пределов баронства. Лишь одна мисс Белленден осмелилась замолвить словечко за осужденных, но ее заступничество не оказало той помощи, какую могло бы оказать при других обстоятельствах. Узнав, что незадачливый кавалерист нисколько не пострадал при падении, Эдит, вспоминая о его злоключениях, не могла совладать с одолевшим ее желанием посмеяться, и, несмотря на досаду и негодование леди Маргарет, смех разбирал ее тем сильнее, чем настойчивее, как это обычно бывает, она стремилась его подавить. Эти

приступы смеха не раз повторялись и по дороге домой, пока ее бабка, которую не смогли обмануть вымышленные причины, приводимые юною леди в объяснение неуместной веселости, не отчитала ее в полных горечи выражениях за бесчувственное отношение к чести семьи. Вот почему вмешательство мисс Белленден не имело никакого успеха.

Чтобы подчеркнуть серьезность своих намерений, леди Маргарет сменила палку с набалдашником из слоновой кости, которую обычно брала с собой во время прогулок, на огромную трость с золотым набалдашником, доставшуюся ей после отца, покойного графа Торвуда; ею, словно своего рода официальным жезлом, она пользовалась лишь в исключительно важных случаях. Опираясь на свой грозный, царственный посох, леди Маргарет Белленден проследовала к хижине провинившихся и переступила ее порог.

Старая Моз со смущенным лицом поднялась с плетеного стула и, покинув свое место у очага, выступила вперед, но не с выражением сердечной радости, как бывало, свидетельствовавшей о том, насколько она польщена честью, оказанной ей госпожою, а с какой-то торжественностью и робостью, напоминая собой обвиняемого, который впервые предстает перед судьей и, несмотря ни на что, полон решимости отстаивать свою невиновность. Ее руки были скрещены на груди, губы, выражая почтительность, смешанную с упорством, плотно сжаты; вся она изображала собою внимание и готовность к этой торжественной аудиенции. Встретив высокую гостью старательным приседанием и молчаливым поклоном, Моз, как обычно, указала на стул, на котором леди Маргарет (славная леди обожала посплетничать) не раз, бывало, просиживала по получасу, слушая всякую всячину, касающуюся округи и ближнего городка. Но теперь ее госпожа была слишком разгневана, чтобы снизойти до подобной милости. Величественным жестом она отклонила немое приглашение Моз и, выпрямившись во весь рост, начала нижеследующий допрос, ведя его таким тоном, чтобы подавить обвиняемую:

— Правду ли, Моз, сообщили мне Гаррисон, Гьюдьил и другие из моих слуг, что, преступно нарушив свои обязанности перед богом, королем и мною, вашей исконной леди и госпожой, вы осмелились не пустить вашего сына на смотр, созванный по приказу шерифа, и возвратили оружие, доспехи и снаряжение, когда не было уже никакой возможности подыскать вместо Кадди подходящего человека, из-за чего баронство Тиллитудлем как в лице владетельницы его, так и в лице его оби-

тателей, подверглось такому унижению и бесчестию, каких наша семья не запомнит со времен Малколма Кенмора?

Моз всегда безгранично уважала свою госпожу и теперь пришла в замешательство, не зная, как себя защитить; робко кашлянув несколько раз, она наконец ответила:

— Конечно... миледи... хм... хм... Конечно, мне горько... мне очень горько, что произошла неприятность... Но болезнь моего сына...

— Не говорите мне о болезни вашего сына, Моз! Если бы он действительно захворал, вам следовало прийти на рассвете в замок и попросить у меня чего-нибудь из моих снадобий, и ему стало бы легче; почти нет недугов, от которых у меня не было бы лекарства, и вам это отлично известно.

— О да, миледи! Конечно! Я убедилась, что вы чудо как лечите. Питье, что вы прислали Кадди в последний раз, когда на него напали колики в животе, прямо как рукой сняло с него хворь.

— Почему же, дорогая моя, вы не обратились ко мне, раз в этом была нужда? А потому, что никакой нужды не было,— слышите вы, вероломная женщина!

— Ваша милость никогда прежде не обзывали меня такими словами. Горе мне! Ах, зачем я дожила до этого часа, чтобы услышать такое! — воскликнула Моз, разражаясь слезами.— И это я, которая родилась в Тиллитудлеме и прожила тут свой век, служа владельцам его! Я вижу, нас с Кадди считают злодеями, раз говорят, что он не бился бы в крови выше колен за вашу милость, и за мисс Эдит, и за старый замок,— но это неправда, он бился бы, и лучше ему погибнуть под его развалинами, чем покинуть вас, спасаясь от смерти; по верховая езда, смотры, миледи, ну их совсем... не слышать бы мне о них вовсе! Не могу понять, на что только они нужны!

— На что нужны? — вскричала высокородная леди.— А разве вам не известно, безрассудная женщина, что вы, являясь моими вассалами, обязаны участвовать в моей охоте и моем ополчении, должны охранять и защищать меня от врагов, если вас на законном основании призовут к этому от моего имени? Вы несете службу не безвозмездно. Насколько я знаю, вы пользуетесь землей. Вы живете здесь на хороших условиях; у вас тут и дом, и хлев, и огород, и пастбище на моем выгоне. Много ли найдется таких, которые жили бы лучше вашего? А вы ропщете, когда от вашего сына требуют, чтобы он один-единственный день послужил мне в строю!

— Нет, нет, миледи... здесь вовсе не то! — воскликнула Моз в замешательстве.— Но нельзя служить двум господам; и если уж говорить правду, как она есть, то существует тот, чьи веления я обязана выполнять прежде ваших. И я, конечно, не стану повиноваться ни королю, ни кесарю, ни кому-либо из бренных земных созданий наперекор его воле.

— Так вот оно что! Да вы совсем выжили из ума! Разве я приказываю вам что-нибудь не согласное с совестью?

— Я не хочу утверждать это, миледи; тут нет ничего не согласного с совестью вашей милости; ведь вы выросли в правилах прелатизма. Но каждый должен идти, сам себе освещая дорогу светом собственной веры, а моя,— продолжала Моз, набираясь смелости по мере того, как их разговор становился все напряженнее,— а моя вера велит, чтобы я скорее лишилась дома, огорода и пастбища для коровы и претерпела всякие муки, чем надела на себя доспехи или позволила моему сыну облачиться в них ради неправого дела.

— Неправого! — воскликнула леди Маргарет.— Дело, к которому вас призывает ваша законная госпожа, воля его величества, распоряжение Тайного совета, приказ лорда-лейтенанта и вызов шерифа,— это дело неправое?!

— Ах, миледи, конечно неправое, не гневайтесь, ваша милость; вспомните, что говорит Писание о царе Навуходоносоре, который поставил золотого истукана на поле Деир, а место было на равнине у реки, совсем как то, где вчера собралось ополчение; князья, наместники, военачальники, судьи — и они также,— и еще хранители царской казны, советники и шерифы были собраны туда на поклонение истукану, и им велели пасть перед ним и почитать его при звуках труб, флейт, арф, фанфар, псалмов и другой музыки.

— Ну и что из того? До чего же вы глупая женщина! Что общего между Навуходоносором и смотром в Верхнем Уорде Клайдсдейла?

— Сейчас объясню, миледи! Чуточку погодите! — продолжала твердым голосом Моз.— Епископальная церковь — то же самое, что золотой истукан в поле Деир, и так же как Седрах, Мисах и Авденаго (только они одни — и больше никто — отказались пасть ниц и преклониться пред ним),— так и Кадди Хедриг, ничтожный пахарь на службе у вашей милости, по крайней мере с согласия своей старой матери, не станет кривляться или, как они говорят, совершать коленопреклонения в доме прелатов и приходских священников и не препоящет

себя мечом, чтобы биться за их дело ни под литавры, ни под орган, ни под волынку, ни под какую другую музыку.

Леди Маргарет слушала это изложение Библии вне себя от негодования и изумления.

— Так вот с какой стороны задул ветер! — воскликнула она, приходя в себя после минутного оцепенения.— Злобный дух тысяча шестьсот сорок второго года снова творит свое дело, и притом настойчивее, чем прежде, и всякая старуха у очага вступает в спор о вере господней с учеными богословами и праведными отцами церкви!

— Если ваша милость разумеет епископов и священников, то какие же они отцы — они отчимы нашей шотландской церкви. И раз ваша милость желает, чтобы мы с Кадди убрались отсюда, я скажу вам начистоту еще одну вещь. Ваша милость и управитель хотели приставить моего сына Кадди к машине, что недавно придумана для провеивания зерна [1] и отделения его от мякины. А я считаю, что поднимать ветер при помощи человеческих ухищрений ради собственной нужды вашей милости, вместо того чтобы молиться о нем или покорно и терпеливо ждать, когда провидению будет угодно ниспослать его на тот холм, где наше гумно,— это значит безбожно восставать против промысла господня. И еще, миледи...

— Эта женщина способна вывести из себя хоть кого! — прервала ее леди Маргарет; затем, властно и жестко, она добавила: — Итак, Моз, закончу тем, с чего мне следовало начать: вы для меня слишком ученая и слишком благочестивая, и я не могу спорить с вами. Только скажу вам вот что: либо Кадди всякий раз беспрекословно будет являться на смотр, когда его на законном основании призовет к этому мой управляющий, либо вам и ему придется немедленно убраться отсюда и покинуть мои владения; старух и пахарей сколько угодно; но если бы их и вовсе не существовало на свете, я предпочла бы, чтобы на полях Тиллитудлема не росло ничего, кроме бурьяна, и в нем гнездились целые тучи птиц, чем чтобы мою землю распахивали мятежники, восставшие против своего короля.

— Ну что же, миледи,— сказала на это Моз,— здесь я родилась и думала, что умру там же, где умер отец; а ваша

---

[1] Возможно, что речь идет о чем-то вроде амбарных веялок, употребляемых теперь для провеивания зерна, которые, однако, появились в их нынешнем виде не ранее 1730 года. При своем появлении они были враждебно встречены наиболее ревностными сектантами, рассуждавшими так же, как наша славная Моз.

милость всегда были доброю госпожой, и я никогда не скажу ничего другого и никогда не перестану молиться за вас и мисс Эдит и о том, чтобы на вас снизошла благодать и вы узрели заблуждения вашего сердца. Но пока...

— Заблуждения моего сердца! — взорвалась леди Маргарет.— Заблуждения сердца! Да как вы смеете, дерзкая женщина?

— О да, миледи; обитая в юдоли слез и во тьме, все мы впадаем во множество заблуждений, и великие мира сего и малые; но я сказала уже: мое ничтожное благословение всегда будет с вами и близкими вам, где бы я ни была. Я буду вам сострадать, если услышу о ваших горестях, я буду счастлива, услышав о вашем благополучии как на земле, так и на небе. Но я не могу повиноваться велениям земной своей госпожи наперекор велениям бога, иже на небе, и я готова претерпеть за правое дело.

— Отлично,— заявила леди Маргарет, повернувшись спиной к своей собеседнице,— отлично, вам известно мое решение, Моз. Я не желаю иметь у себя в баронстве Тиллитудлем заядлых вигов. Еще немного, и вы устроите, пожалуй, свое молитвенное собрание не где-нибудь, а в моей гостиной.

Произнеся эти слова, она удалилась с превеликим достоинством, тогда как Моз, дав волю чувствам, которые она подавляла в себе во время аудиенции,— ведь и у нее была своя гордость,— разразилась жалобами и начала громко рыдать.

Кадди, которого все еще удерживала в постели болезнь — мнимая или действительная,— лежал, пока шли эти прения, у себя на кровати за дощатою перегородкой, совершенно убитый услышанным. Он притаился и боялся пошевельнуться, трепеща при мысли о том, как бы леди Маргарет, к которой он испытывал своего рода наследственное почтение, не обнаружила его присутствие и не обрушила на него столь же горькие упреки, какими она осыпала его старую мать. Но едва миледи ушла и миновала опасность быть услышанным ею, он выпрыгнул из своего гнезда.

— Вы просто спятили, вот что я скажу вам! — закричал он, подступая к матери.— У вас язык на целую милю, как говаривал отец. Неужели вы не могли оставить леди в покое и не приставать к ней с вашим пуританством? А я-то, взрослый дурень, послушался вас и улегся, как мальчишка, под одеяло, вместо того чтобы ехать вместе со всеми на смотр. Господи боже, а я все-таки ловко обвел вас вокруг пальца: ведь не успели вы повернуться ко мне спиной, как я вылез в окно и

дал тягу, чтобы пострелять в «попку», и как-никак дважды попал в него! Ради вашей блажи я обманул нашу леди, но я не собирался обманывать мою милую. А теперь она может выходить за кого вздумает, ведь меня все равно навсегда выгнали отсюда. Получается, что эта взбучка почище той, которую нам задал мистер Гьюдьил, когда вы заставили меня как-то в сочельник отказаться от каши с изюмом, будто господу богу или еще кому-нибудь не все одно, поужинал ли пахарь пирожком с начинкою или овсяным киселем.

— Замолчи, сынок, замолчи,— ответила Моз,— ничего ты в этом не смыслишь: то была недозволенная еда, она разрешается только в особые дни, да еще в праздники, а в прочее время протестантам запрещено к ней прикасаться.

— А теперь,— продолжал Кадди,— вы навлекли на нас гнев уже самой леди! Когда бы я мог приодеться почище да поприличнее, я бы спрыгнул с кровати и сказал, что поскачу, куда ей будет угодно, днем или ночью, и она бы оставила нам и дом, и наш огород, где растет лучшая ранняя капуста во всей округе, и пастбище на господском выгоне.

— Но, драгоценный мой мальчик, мой Кадди,— продолжала старая женщина,— не ропщи на ниспосланные нам испытания; не жалуйся, раз терпишь за правое дело.

— А откуда мне, матушка, знать, правое оно или нет,— возразил Кадди,— или, может быть, оно правое потому, что вы так часто восхваляете вашу веру? Тут мне ничего не понять. По-моему, между обеими верами не такая уж разница, как думают люди. Кто же не знает, что священники читают те же слова, которые читаются и у нас; а если это праведные слова, то славную сказку, как я считаю, не грех и дважды послушать, и всякому тогда легче ее понять. Не у каждого столько ума, как у вас, матушка, чтобы сразу уразуметь такую премудрость.

— Ах, дорогой мой Кадди, это и есть для меня самое горькое,— проговорила взволнованно Моз.— Сколько раз я тебе объясняла различие между чистой евангелической верой и верой, испорченной выдумками людей. Ах, мальчик мой, если не ради своей души, то ради моих седин...

— Ладно, матушка,— прервал ее Кадди,— к чему поднимать столько шуму? Я всегда делал все, что вы мне велели; я ходил в церковь по воскресеньям, как вы хотели, и, кроме того, заботился о вас во все дни недели, а беспокоюсь я больше всего о том, как мне вас прокормить в это тяжелое время. Не знаю, смогу ли я пахать на каком-нибудь поле, кро-

ме господского или Маклхема; ведь я никогда не работал на другой земле, и она не будет мне родной и знакомой. И ни один из окрестных землевладельцев не осмелится взять нас к себе в поместье после того, что нас прогнали отсюда, как нонэнормистов [1].

— Нонконформистов, милый,— вздохнула Моз,— таким именем окрестили нас люди.

— Ну что ж! Придется уйти подальше, может, за двенадцать или пятнадцать миль. Я мог бы служить, конечно, в драгунах, ведь я хорошо езжу на лошади и умею поиграть с палашом, но вы опять завопите о вашем горе и о ваших сединах. (Тут всхлипывания Моз заметно усилились.) Ладно, ладно, не буду больше; вы слишком старая, чтобы трястись на обозной телеге вместе с Эппи Дамблен, капральской женой. Но что нам все-таки делать, вот уж не приложу ума! Придется, пожалуй, двинуться в горы, к диким вигам, как их называют, и тогда меня подстрелят, как зайца, или отправят на небо с пеньковым воротником на шее.

— Ах, милый мой Кадди! — воскликнула благочестивая Моз.— Воздержись от таких греховных, себялюбивых речей, которые не лучше, чем неверие в божественный промысл. «Не видел я сына праведника, просящего хлеб насущный»,— сказано в Священном писании; твой отец был хороший и честный человек, хотя, пожалуй, слишком привязанный к земным радостям, мое счастье,— подобно тебе, он тревожился лишь о бренных делах мира сего.

— Ну что ж,— сказал, поразмыслив, Кадди.— Я вижу лишь одно средство, но это то же, что дуть на остывший уголь. Вы, верно, кое-что знаете про дружбу мисс Эдит с мистером Генри Мортоном, которого зовут молодым Милнвудом; я несколько раз относил от него к ней и обратно книжки, а может, и письма. Я делал вид, что ни о чем не догадываюсь, хотя очень хорошо понимал, в чем тут дело,— иногда полезно прикинуться дурачком; и частенько я видел, как они гуляли себе по тропинке у динглвудского ручейка. Но никто ни одного слова не слышал об этом от Кадди. Я знаю, у меня не бог весть какая голова на плечах, но я честен, как наш старый передовой вол,— бедняга, не придется мне больше работать с ним; надеюсь, что тот, кто заменит меня, будет о нем заботиться так же, как я. Так вот, я говорю, пойдем, матушка, в Милнвуд и расскажем мистеру Гарри о нашей беде. Им ну-

[1] Игра слов. Enormity — по-английски «гнусность».

жен пахарь, и земля там похожа на нашу. Я уверен, что мистер Гарри возьмет мою сторону, потому что у него доброе сердце. Конечно, от его дяди, старого Ниппи Милнвуда, большого жалованья не жди: у него лапы цепкие, как у самого черта. Но у нас все же будет хлеб, капуста, местечко у очага и кров над головой, а что нам еще нужно на первое время? Итак, поднимайтесь, матушка, и собирайте-ка вещи: раз все равно придется уйти, лучше не ждать, пока старый Гьюдьил и мистер Гаррисон явятся сюда сами и вытолкают нас взашей.

## ГЛАВА VIII

Никакого он черта не пуританин и вообще ничего определенного, а попросту угождатель.

*«Двенадцатая ночь»*

Был уже вечер, когда Генри Мортон увидел, что к усадьбе Милнвуд приближаются укутанная в клетчатый плед старая женщина и поддерживающий ее под руку дюжий, глуповатого вида парень в серой домотканой одежде. Старая Моз отвесила поклон Мортону, но Кадди первым обратился к нему. По дороге он условился с матерью, что по-своему поведет это дело; Кадди охотно склонялся перед ее умственным превосходством и с сыновней почтительностью слушался ее в обычных делах, но на этот раз он решительно заявил, что найти работу или добиться чего-нибудь в жизни он с его малым умишком сумеет не в пример лучше ее, хоть она и может трещать о чем хочешь не хуже любого священника.

В соответствии с их уговором он и начал беседу с Мортоном:

— Славный вечерок выдался нынче для ржи, ваша честь; западный участок здорово поднимется за ночь.

— Не сомневаюсь, Кадди; но что же привело сюда вашу матушку — ведь это она, не так ли? (Кадди кивнул.) Что же привело сюда вашу мать и вас, да еще в дождь и так поздно?

— По правде говоря, сударь, то, что заставляет старух пускаться в дорогу: нужда, сударь, нужда. Я ищу места, сударь.

— Места? В это время года? Что это значит?

Моз не могла дольше сдерживаться. Гордая от сознания, что страдает за правое дело, она начала в тоне подчеркнутого смирения:

— Небу было угодно, с позволения вашей чести, почтить нас посещением...

— Сам сатана в этой женщине и ни крупицы добра! — зашептал Кадди на ухо матери.— Если вы приметесь толковать о ваших треклятых вигах, никто во всей нашей округе не отважится отворить перед нами дверь своего дома.— Затем он громко заговорил, обращаясь к Мортону: — Моя мать стара, сударь, и она забылась в разговоре с миледи, которая не терпит, когда ей хоть немножко перечат (сколько я знаю, никто не любит, чтобы с ним спорили, раз может сам себе быть хозяином), особенно, сударь, когда ей перечат ее же люди,— и потом мистер Гаррисон, управитель, и мистер Гьюдьил, дворецкий, не очень-то жалуют нас, а знаете, плохо жить в Риме и ссориться с папой. Вот я и подумал, что лучше убраться подальше, пока одна беда не привела за собою другую; а потом, у меня к вашей милости письмецо; оно, может быть, объяснит вам получше, зачем мы сюда пришли.

Мортон взял у Кадди записку и, покраснев до ушей от радости и неожиданности, прочел следующие слова: «Если вы поможете этим несчастным и беззащитным людям, то премного обяжете вашу Э. Б.».

Он был так взволнован, что не сразу собрался с мыслями; наконец он спросил:

— В чем ваша просьба, Кадди, и чем я мог бы помочь?

— Мне нужна работа, сударь, работа и кров для матери и для меня (у нас есть кое-какие вещи, чтобы обставиться, была бы только тележка перевезти их сюда), и еще мучица, и молоко, и овощи,— ведь я за столом не промах, да и матушка, дай бог ей здоровья, тоже, и потом немного деньжат, но тут уж решайте с хозяином сами. Я знаю, вы не дадите в обиду бедного человека, если сможете ему пособить.

Мортон покачал головой.

— Что касается пищи и крова, Кадди, то это, наверно, устроится; а вот насчет жалованья — тут дело нелегкое.

— Ну что ж, сударь, как там уж выйдет; все лучше, чем тащиться в Гамильтон или еще куда-нибудь и того дальше.

— Хорошо, Кадди, идите на кухню; я сделаю все, что смогу.

Предстоявшие Мортону переговоры были нелегкими. Ему пришлось уламывать сначала домоправительницу, которая привела тысячу возражений с единственной целью доставить себе удовольствие выслушать просьбы и увещания; после того как удалось наконец преодолеть сопротивление с ее стороны,

«Пуритане»

было уже сравнительно просто уговорить старого Милнвуда взять в дом работника, тем более что платить ему он мог по своему усмотрению.

Моз и ее сыну отвели под жилье помещение в одной из пристроек, и было решено, что, пока они не обзаведутся своим хозяйством, их допустят к скромной трапезе, за которой собирались все слуги Милнвуда. Что касается Мортона, то он употребил содержимое своего тощего кошелька на подарок Кадди «для обзаведения», как он при этом сказал, и это может служить доказательством глубокого уважения к той, которая поручила его заботам несчастных изгнанников.

— Вот мы и устроились,— сказал Кадди матери,— и если нам не так хорошо и удобно, как прежде, жизнь есть жизнь, где бы ты ни был; а главное, мы с благочестивыми и богобоязненными людьми той же веры, что ваша, и споров о ней у вас, матушка, больше не будет.

— Моей веры, золотко! — воскликнула его сверхученая мать.— Горе мне с твоей и их слепотой! Ах, Кадди, да ведь они в стане язычников и, я думаю, никогда не выберутся оттуда; они немногим лучше прелатистов. Слушают наставления этого заблудшего человека, Питера Паундтекста, который был некогда достойнейшим проповедником слова господня, а теперь стал вероотступником и за жалованье, чтобы прокормить себя и семью, покинул праведную стезю и пошел за этой черной индульгенцией. О сын мой! Если бы ты проникся евангельской проповедью, которую слушал в долине Бенгонара, когда там говорил наш незабвенный Ричард Рамблбери, этот сладчайший юноша, принявший мученический венец на Сенном рынке незадолго до сретенья! Неужели ты не запомнил — а ведь он говорил об этом не раз,— что эрастианство так же мерзостно, как прелатизм, а индульгенция ничуть не лучше эрастианства?

— Да слыханное ли это дело! — прервал ее Кадди.— Нас выгонят и отсюда, и нам некуда будет приткнуться. Вот, матушка, мое последнее слово: если я услышу хоть раз, что вы подымаете крик (на людях, конечно; мне ваша болтовня нипочем, меня от нее лишь ко сну клонит), так вот, если я услышу еще разок такой крик на людях из-за разных там Паундтекстов, и Рамблбери, и всяких вер, и всех этих мошенников, я сделаюсь солдатом, а кто знает, может быть, и сержантом и капитаном, когда вы не перестанете мне надоедать, и пусть Рамблбери вместе с вами отправится к самому черту. Никакого проку не видал я в его наставлениях и ничего

через них не добыл, разве что колики в животе — ведь битых четыре часа просидел я на сыром мху, пока шло ваше собрание; а потом леди лечила меня своим снадобьем, и когда б она знала, с чего я заполучил эту болезнь, она, верно, не торопилась бы выгнать ее своими лекарствами.

Вздыхая в душе над тем, что ее Кадди такой закоснелый и нераскаянный грешник, Моз, однако, не смела больше затрагивать в разговорах запретную тему и хорошо запомнила выслушанное ею предупреждение. Она достаточно хорошо знала характер своего покойного мужа, на которого этот благополучно здравствующий плод их союза был очень похож; она помнила и о том, что, хотя ее супруг в большинстве случаев беспрекословно склонялся пред ее умственным превосходством, все же порою и у него, когда он выходил из себя, случались припадки упрямства, и тогда не помогали ни убеждения, ни угрозы, ни ласки. Трепеща поэтому, как бы Кадди и в самом деле не надумал пойти в драгуны, она прикусила язык и, даже слушая похвалы Паундтексту, как красноречивому и способному проповеднику, сохраняла в себе достаточно здравого смысла, чтобы удержать готовую сорваться с языка гневную отповедь, выражая клокотавшее в ней возмущение только тяжкими вздохами, которые ее собеседники сочувственно приписывали ее взволнованным воспоминаниям о наиболее патетических местах его поучений. Трудно сказать, как долго удавалось бы ей подавлять свои истинные чувства и мысли. Неожиданный случай избавил ее от этой необходимости.

Владелец Милнвуда строго придерживался старинных порядков, если они способствовали соблюдению экономии. По этой причине в его доме все еще продолжал сохраняться старый обычай, лет за пятьдесят до того повсеместно распространенный в Шотландии и заключавшийся в том, что слуги, принеся с кухни кушанья, садились в нижней части стола и обедали вместе со своими хозяевами. Итак, на следующий день после переселения Кадди и на третий с начала нашего повествования старый Робин, исполнявший в усадьбе Милнвуда обязанности дворецкого, камердинера, ливрейного лакея, садовника и кого только угодно, поставил на стол огромную миску похлебки, заправленной овсяной мукой и капустой, причем в океане жидкости наиболее усердные наблюдатели заметили смутные очертания двух-трех тощих бараньих ребрышек, появлявшихся время от времени на поверхности. Две огромные корзины, одна — с хлебом из ячменной муки пополам с гороховою, вторая — с овсяными лепешками, служили

дополнением к этому неизменному блюду. Крупный отварной лосось в наши дни указывал бы на то, что здесь живут на широкую ногу, но в прежние времена эта рыба ловилась во всех сколько-нибудь значительных реках Шотландии, и в таком количестве, что лососину не только не считали деликатесом, но кормили ею главным образом слуг, которые, говорят, нередко ставили даже условием, чтобы им не давали такую приторную и надоевшую пищу свыше пяти раз в неделю. Объемистый мех с очень слабым пивом собственной варки был отдан в распоряжение всех обедающих, так же как лепешки, хлеб и похлебка; что до баранины, то она полагалась лишь господам, включая в их число и миссис Уилсон. Только для господ был поставлен с краю и серебряный кувшин с элем, имевшим некоторое право на это название. Огромный круг сыра из овечьего молока, смешанного с коровьим, а также миска с соленым маслом предназначались для всех.

В верхнем конце стола, чтобы почтить эту изысканную трапезу своим присутствием, восседал сам владелец поместья, с племянником по одну руку и любезной его сердцу домоправительницей по другую. На довольно большом расстоянии и, разумеется, как повелось издавна, ниже солонки, сидел старый Робин, худой, изможденный слуга, скрюченный и изувеченный вконец ревматизмом, и рядом с ним неряшливая, всегда неопрятная горничная, сделавшаяся с течением времени совершенно бесчувственной к ежедневной брани и понуканиям, которыми осыпали ее хозяин и его верная домоправительница по причине ее беспечного нрава. Тут были еще молотильщик, седой пастух, на попечении которого находилось стадо коров, и только что нанятый пахарь Кадди со своей матерью. Остальные работники поместья Милнвуд жили своим хозяйством и были счастливы хотя бы уже потому, что свою столь же простую еду могли есть спокойно и досыта, избавленные от наблюдения острых и жадных серых глазок Милнвуда, которые измеряли, казалось, количество пищи, проглатываемой каждым из его подчиненных, и следили за каждым куском ее от губ до желудка. Это пристальное наблюдение было явно не в пользу Кадди, который вследствие быстроты, с какою исчезало пред ним все съестное, вызвал неприязнь в своем новом хозяине. Милнвуд то и дело отводил глаза от не в меру усердного едока, чтобы устремить негодующий взгляд на племянника, отвращение которого к сельским работам было главной причиной необходимости в пахаре и на которого

ложилась прямая ответственность за наем этого чудовищного обжоры.

«И еще платить тебе жалованье? Черта с два! — думал Милнвуд.— За неделю ты у меня наешь больше, чем наработаешь в месяц».

Эти невеселые размышления были прерваны громким и настойчивым стуком в ворота. Повсюду в Шотландии было принято во время обеда держать ворота усадьбы, а если их не было, то входную дверь в доме накрепко запертыми, и только важные гости или те, кого привело неотложное дело, позволяли себе домогаться, чтобы их приняли в эту пору [1]. Вот почему и хозяев и домочадцев удивил неожиданный стук, и так как времена были смутные, он даже немного встревожил их, тем более что колотили в ворота властно и очень настойчиво. Миссис Уилсон встала из-за стола и собственною персоной поспешила к воротам; но, разглядев через щелку, которая для этого прорезалась в дверях большинства шотландских домов, кто виновники грохота, торопливо возвратилась назад, объятая ужасом и всплескивая руками: «Красные куртки, красные куртки!»

— Эй, Робин! Пахарь, как тебя там? Молотильщик! Племянник Гарри! Откройте ворота, да поскорее! — восклицал старый Милнвуд, поспешно хватая и засовывая в карман две-три серебряные ложки, которыми был сервирован верхний конец стола, тогда как ниже солонки полагались лишь честные роговые.— Будьте приветливы, господа, ради самого бога, будьте приветливы с ними; им недолго и покалечить нас. О, мы ограблены, мы ограблены!

Пока слуги отворяли ворота и впускали солдат, отводивших душу проклятиями и угрозами по адресу тех, кто заставил их зря прождать столько времени, Кадди успел шепнуть на ухо матери:

— А теперь, сумасшедшая вы старуха, молчите, как рыба или как я молчал до этой поры,— и дайте мне говорить за вас. Я не желаю совать свою шею в петлю из-за болтовни старой бабы, даже если она моя мать.

— Я помолчу, золотко, чтобы не напортить тебе,— зашептала в ответ старая Моз.— Но помни, золотко мое, кто отречется от слова, от того и слово отречется...

Поток ее увещаний был остановлен появлением четырех лейб-гвардейцев во главе с Босуэлом.

---

[1] Это было правилом хорошего тона.

Они вошли, производя страшный грохот подкованными каблуками необъятных ботфортов и волочащимися по каменному полу длинными, с широким эфесом, тяжелыми палашами. Милнвуд и домоправительница тряслись от страха, так как хорошо знали, что такие вторжения обычно сопровождаются насилиями и грабежами. Генри Мортону было не по себе в силу особых причин: он твердо помнил, что отвечает перед законом за предоставление убежища Берли. Сирая и обездоленная вдова Моз Хедриг, опасаясь за жизнь сына и одновременно подхлестываемая своим неугасимым ни при каких обстоятельствах пылом, упрекала себя за обещание молча сносить надругательства над ее религиозными чувствами и потому волновалась и мучилась. Остальные слуги дрожали, поддавшись безотчетному страху. Один Кадди, сохраняя на лице выражение полнейшего безразличия и непроницаемой тупости, чем шотландские крестьяне пользуются порою как маской, за которой обычно скрываются сметливость и хитрость, продолжал усердно расправляться с похлебкой. Придвинув миску, он оказался полновластным хозяином ее содержимого и вознаградил себя среди всеобщего замешательства семикратною порцией.

— Что вам угодно, джентльмены? — спросил Милнвуд, униженно обращаясь к представителям власти.

— Мы прибыли сюда именем короля,— ответил Босуэл.— Какого же черта вы заставили нас так долго торчать у ворот?

— Мы обедали, и дверь была на запоре, как это принято у здешних хозяев. Когда бы я знал, что у ворот — верные слуги нашего доброго короля... Но не угодно ли отведать элю, или, быть может, бренди, или чарку канарского, или кларета? — спросил он, делая паузу после каждого предложения не менее продолжительную, чем скаредный покупщик на торгах, опасающийся переплатить за облюбованную им вещь.

— Мне кларета,— сказал один из солдат.

— А я предпочел бы элю,— сказал второй,— разумеется, если этот напиток и впрямь в близком родстве с Джоном Ячменным Зерном.

— Лучшего не бывает,— ответил Милнвуд,— вот о кларете я не могу, к несчастью, сказать то же самое. Он жидковат и к тому же слишком холодный.

— Дело легко поправимое,— вмешался третий солдат.— стакан бренди на три стакана вина начисто снимает урчание в животе.

— Бренди, эль, канарское или кларет? А мы отведаем всего понемногу,— изрек Босуэл,— и присосемся к тому, что ока-

жется лучшим. Это не лишено смысла, хоть и сказано каким-то распроклятым шотландским вигом.

Поспешно, хотя и не без дрожи в руках, Милнвуд вытащил из кармана два увесистых, громадных ключа и вручил их домоправительнице.

— Домоправительница,— заявил Босуэл, придвигая стул и бесцеремонно усаживаясь,— не слишком молода и не такая уж раскрасавица, чтобы кто-нибудь испытывал искушение сопровождать ее в погреб, и, черт меня побери, не вижу тут никого, кто бы мог ее заменить. Это что? (Шаря вилкой в миске с похлебкой и вылавливая баранье ребрышко.) Никак, мясо? Я возьму, пожалуй, кусочек-другой! Но оно жесткое, словно его произвела на свет сама чертова матушка!

— Если в доме найдется что-нибудь получше, сэр...— забеспокоился Милнвуд, встревоженный этими симптомами неудовольствия.

— Нет, нет, нам не до этого,— сказал Босуэл,— пора переходить к делу. Вы посещаете Паундтекста, пресвитерианского пастора, не так ли, мистер Мортон?

Мистер Мортон поспешил утвердительно ответить на этот вопрос и начал торопливо оправдываться:

— Согласно индульгенции, дарованной его всемилостивейшим величеством и нашим правительством,— ведь я ни за что не сделал бы ничего не дозволенного законом; и потом, знаете, я вовсе не против умеренного епископства: я человек деревенский, а наши пасторы будут попроще, так что их проповеди как-то понятнее; и, с вашего разрешения, сэр, эта мера правительства сберегла немало денег в стране.

— Ладно, меня это нисколько не касается,— отозвался Босуэл,— они получили индульгенцию, и делу конец; что до меня, то, если бы я сочинял законы, ни один лопоухий поп изо всей этой своры никогда бы не лаял с кафедры в нашей Шотландии. Впрочем, я повинуюсь приказам. А, вот и напитки: ставьте-ка их сюда, матушка, да поближе.

Он вылил добрую половину бутылки, вмещавшей целую кварту кларета, в деревянную чашку и осушил ее до последней капли.

— Вы зря хулили свое вино, друг мой; оно превосходно и лучше вашего бренди, но и бренди совсем недурное. Давайте-ка выпьем с вами за здоровье его величества короля!

— С удовольствием,— сказал Милнвуд,— но я, знаете, не пью ничего, кроме эля, а кларета держу самую малость для моих достопочтенных друзей.

— Вроде меня, не так ли? — заметил Босуэл.— Раз так,— продолжал он, протягивая бутылку Генри,— раз так, молодой человек, за здоровье его величества короля!

Генри молча наполнил вином стакан средних размеров, не обратив внимания на толчки и намеки дяди, как видно желавшего, чтоб он последовал его примеру и предпочел пиво кларету.

— Превосходно,— сказал Босуэл.— Ну, а как обстоят дела с остальными? Что там за старуха? Дайте и ей стакан бренди, пусть и она выпьет за здоровье его величества.

— С позволения вашей чести,— произнес Кадди, устремив на Босуэла тупой и непроницаемый взгляд,— это моя матушка, сударь; она такая же глухая, как Кора Линн, и, как ни бейся, ей все равно ничего не втолкуешь. С позволения вашей чести, я охотно выпью вместо нее за здоровье нашего короля и пропущу столько стаканчиков бренди, сколько вам будет угодно.

— Готов поклясться, парень говорит сущую правду! — воскликнул Босуэл.— Ты и впрямь похож на любителя пососать бренди. Вот и отлично, не теряйся, приятель! Где я, там всего вволю. Том, налей-ка девчонке добрую чарочку, хоть она, как мне сдается, неряха и недотрога. Ну что ж, выпьем еще и эту чарку — за нашего командира, полковника Грэма Клеверхауза! Какого черта ворчит эта старая? По виду она из самых отъявленных вигов, какие когда-либо жили в горах. Ну как, матушка, отрекаетесь ли вы от своего ковенанта?

— Какой ковенант изволит ваша честь разуметь? Существует ковенант труда, существует и ковенант искупления? — поторопился вмешаться Кадди.

— Любой ковенант, все ковенанты, какие только не затевались,— ответил сержант.

— Матушка! — закричал Кадди в самое ухо Моз, изображая, будто имеет дело с глухою.— Матушка, джентльмен хочет узнать, отрекаетесь ли вы от ковенанта труда?

— Всей душой, Кадди,— ответила Моз,— и молю господа бога, чтобы он уберег меня от сокрытой в нем западни.

— Вот тебе на,— заметил Босуэл,— не ожидал, что старуха так здорово вывернется. Ну... выпьем еще разок вкруговую, а потом к делу. Вы уже слышали, полагаю, об ужасном и зверском убийстве архиепископа Сент-Эндрю? Его убили десять или одиннадцать вооруженных фанатиков.

Все вздрогнули и переглянулись; наконец Милнвуд нарушил молчание:

— Мы уже слышали об этом несчастье, но надеялись, что слух о нем ложен.

— Вот опубликованное сегодня официальное сообщение. Я хочу знать, старина, что вы думаете об этом.

— Что я думаю, сэр? Все, что соблаговолит думать Тайный совет,— пробормотал Милнвуд.

— Я желаю, друг мой, чтобы вы высказались с большей определенностью,— произнес повелительным тоном драгун.

Глаза Милнвуда впились в бумагу, чтобы поспешно извлечь из нее наиболее сильные выражения, которыми она изобилова-ла, в чем немало ему помогло то обстоятельство, что она была отпечатана жирным шрифтом.

— Я думаю, что это — кровавое и мерзостное... убийство и злодейство... измышленное адской и неумолимой жестокостью... в высшей степени отвратительное, и что это позор для нашей страны.

— Хорошо сказано, старина! — одобрительно заметил до-прашивающий.— Я рад вашим благонамеренным взглядам. Вы обязаны мне благодарственной чашей за все, чему я вас научил. Нет, дружок, ты выпьешь со мной свое собственное канар-ское — кислому элю совсем не место в столь верноподданном желудке. А теперь ваша очередь, молодой человек; что вы ду-маете об интересующем меня деле?

— Я бы не обинуясь ответил на это,— сказал Генри,— если бы знал, на основании каких полномочий вы устроили этот допрос?

— Сохрани и помилуй нас боже! — заволновалась старая домоправительница.— Говорить такие вещи солдату, когда все-му свету известно, что с любым мужчиной, и с любой женщи-ной, и со скотиною, и со всем остальным они поступают как им захочется!

Старый Милнвуд с не меньшим ужасом воспринял дерзость племянника:

— Опомнитесь, сударь, и соблаговолите отвечать джентль-мену как полагается. Или вы намерены оскорблять королевскую власть в лице сержанта лейб-гвардии?

— Молчать! — вскричал Босуэл, ударяя кулаком по сто-лу.— Молчать и слушать меня. Вы спрашиваете, располагаю ли я полномочиями, чтобы учинять вам допрос, сэр,— сказал он, обращаясь к Генри.— Моя кокарда и мой палаш — вот мои пол-номочия, и притом несравненно более веские, нежели те, кото-рыми старый Нол снабжал некогда круглоголовых; впрочем, если вы горите желанием узнать об этом подробнее, вам не воз-

браняется заглянуть в приказ, изданный Тайным советом и поручающий офицерам и солдатам его величества производить обыски, а также допрашивать и задерживать подозрительных лиц. Вот на каком основании я повторно обращаю к вам тот же вопрос: что вы думаете об убийстве архиепископа Шарпа? Это пробный камень новейшего образца, и на нем мы испытываем металл, из которого отлиты наши люди.

Генри, обдумав положение, успел прийти к выводу, что было бы неразумно подвергать риску благополучие всего дома, оказывая сопротивление тиранической власти, доверенной таким решительным и грубым рукам. Поэтому он внимательно прочел сообщение об убийстве примаса и спокойно ответил:

— Скажу, не колеблясь, что исполнители этого злодейского преступления содеяли безрассудное и вредное дело, о котором я сожалею тем более, что предвижу в качестве последствий его гонения на многих ни в чем не повинных людей, столь же непричастных к нему и столь же далеких от его одобрения, как далек от этого, скажем, я.

Пока Генри произносил эти слова, Босуэл, не сводивший с него своего острого взгляда, припомнил наконец, где он видел те же черты лица.

— Так вот оно что! Капитан Попки! Старый приятель! Да ведь нам с вами довелось уже как-то встретиться, и вы, помнится, были в весьма подозрительном обществе.

— Однажды я вас действительно видел,— ответил Генри,— это было в трактире, в городке ***.

— А с кем вы покинули этот трактир, мой мальчик? Не с Джоном ли Белфуром Берли, одним из убийц архиепископа?

— Да, я покинул трактир с названным вами лицом,— ответил Генри,— я счел бы недостойным отрицать это, но тогда я не знал, что Белфур — убийца примаса, как не знал и того, что свершилось это ужасное преступление.

— Боже спаси и помилуй меня! Я разорен! Разорен окончательно и бесповоротно! Он пустил меня по миру! — принялся причитать старый Милнвуд.— Язык этого молодца будет звенеть без умолку, пока его голова не скатится с плеч! Он добьется своего: они отнимут все, что у меня есть, вплоть до серого плаща, прикрывающего мне спину!

— Но вы знали, что Берли,— продолжал Босуэл, обращаясь к Генри и оставляя без внимания горестные восклицания его дяди,— вы знали, что Берли — объявленный вне закона мятежник, а также преступник; вы знали о запрещении иметь дело с подобными личностями, вы знали, что вам, как верно-

подданному, возбраняется укрывать или снабжать чем бы то ни было этого изобличенного властями государственного преступника, а также общаться с ним, сноситься устно, письменно или через третьих лиц, возбраняется под угрозой строжайшего наказания доставлять ему пищу, питье, кров, убежище или прочие средства к существованию,— обо всем этом вы знали и тем не менее преступили закон.

Генри молча слушал Босуэла.

— Где вы расстались с ним? На большой дороге или, чего доброго, укрыли его в этом доме?

— В этом доме! — вскричал Милнвуд.— Да я бы свернул ему шею, если бы он осмелился привести ко мне в дом государственного преступника.

— А он? Решится ли он утверждать, что не сделал этого? — спросил Босуэл.

— Поскольку мне вменяется это в вину,— ответил Генри,— вы не без удовольствия услышите от меня признание, которым я изобличу себя.

— О мои милнвудские земли! О кровные мои земли! Двести лет вы находились во владении Мортонов! — восклицал его дядюшка.— Где они, эти земли? Они были, да сплыли, они рассыпаются в прах, и пахота, и угодья, и поля, и заливные луга у реки!

— Нет, сэр,— сказал Генри,— вы не пострадаете из-за меня. Я один,— продолжал он, повернувшись к Босуэлу,— я один, без каких-либо соучастников, приютил этого человека на ночь, ибо Берли — старый боевой товарищ отца. Я сделал это не только без ведома дяди, но, больше того, наперекор его прямым приказаниям. Надеюсь, что, если этих слов достаточно для моего осуждения, их достаточно и для доказательства невиновности дяди.

— Молодой человек,— сказал сержант более мягким тоном,— вы производите приятное впечатление, и я вас жалею; да и ваш дядюшка — славный и весьма храбрый старикан, который, я вижу, больше любит гостей, чем себя, так как, потчуя нас отменным вином, сам довольствуется дрянным элем,— расскажите все, что вы знаете относительно этого Берли, что сказал он вам на прощание, куда отправился и где его можно искать; и, черт подери, я закрою глаза на ваше участие в этом деле, насколько позволит мой долг. За голову этого окаянного вига дают тысячу мерков; ах, если б только напасть на его след! Ну, не будем тянуть! Где вы расстались с ним?

— Извините, но я не могу ответить на ваш вопрос, су-

дарь,— сказал Мортон,— те же обстоятельства, которые принудили меня предоставить ему ночлег, несмотря на значительный риск для меня и моих друзей, требуют, чтобы я свято хранил его тайну, в случае если бы он и в самом деле доверился мне.

— Значит, вы не желаете отвечать? — спросил Босуэл.

— Мне нечего вам ответить,— сказал Генри.

— Быть может, я смогу подсказать вам ответ, приложив кусочек зажженного фитиля к вашим пальцам,— проговорил Босуэл.

— Ради всего святого, сударь,— взмолилась старая Элисон, обращаясь к Милнвуду,— дайте им денег — они только этого и хотят! Они замучают мистера Генри, а потом наступит и ваш черед!

Милнвуд в смятении и душевной горести разразился сетованиями и стонами; наконец голосом человека, испускающего последний вздох, он воскликнул:

— Если ф... ф... фунтов двадцать покончат с этим тягостным делом...

— Хозяин,— вкрадчиво сказала Босуэлу Элисон,— даст двадцать фунтов стерлингов...

— Двадцать шотландских фунтов, вы, старая сука! — завопил Милнвуд; скаредность заставила его забыть о пуританской точности в выражениях и об обычной вежливости в обращении к домоправительнице.

— Фунтов стерлингов,— продолжала настаивать Элисон,— если вы согласитесь снисходительно отнестись к проступку нашего мальчика; ведь он упрямец, и вы можете резать его на куски, и все же не вырвете у него ни одного слова; я уверена, что если вы даже припалите ему его пальчики, то и от этого вам большого прибытку не будет!

— Так, так,— сказал Босуэл, колеблясь,— право, не знаю, что делать; большинство моих однополчан взяли бы деньги, а заодно прихватили бы с собой и арестованного, но у меня есть совесть, и если ваш хозяин присоединяется к вашему предложению и готов поручиться за своего племянника; если к тому же весь дом даст присягу, я, право, не знаю...

— Да, да, сударь! Разумеется, сударь! — вскричала миссис Уилсон.— Любую присягу, любую клятву, какую вам будет угодно! — И, повернувшись к хозяину, она зашептала: — Идите, сударь, поторапливайтесь, несите поскорей деньги, или у нас на глазах они сожгут дотла дом.

Побуждаемый жестокой необходимостью, старый Милнвуд окинул горестным взглядом свою советчицу и пошел, как фигурка в голландских часах, выпускать на свободу своих заключенных в темнице ангелов. Между тем сержант Босуэл принялся приводить к присяге остальных обитателей усадьбы Милнвуд, проделывая это, само собой, с почти такой же торжественностью, как это производят сейчас в таможнях его величества.

— Ваше имя, женщина?

— Элисон Уилсон, сударь.

— Вы, Элисон Уилсон, торжественно клянетесь, подтверждаете и заявляете, что считаете противозаконным для верноподданного вступать под предлогом церковной реформы или под каким-либо иным в какие бы то ни было лиги и ковенанты...

В это мгновение церемонию присяги нарушил спор между Кадди и его матерью, которые долго шептались и вдруг стали изъясняться во всеуслышание.

— Помолчите вы, матушка, помолчите! Они не прочь кончить миром. Помолчите же наконец, и они отлично поладят друг с другом.

— Не стану молчать, Кадди,— ответила Моз.— Я подыму свой голос и не буду таить его; я изобличу человека, погрязшего во грехе, даже если он облачен в одежду алого цвета, и мистер Генри будет вырван словом моим из тенет птицелова.

— Ну, понеслась,— сказал Кадди,— пусть удержит ее, кто сможет, я уже вижу, как она трясется за спиною драгуна по дороге в Толбутскую тюрьму; и я уже чувствую, как связаны мои ноги под брюхом у лошади. Горе мне с нею! Ей только приоткрыть рот, а там — дело конченое! Все мы — пропащие люди, и конница и пехота!

— Неужто вы думаете, что сюда можно явиться...— заторопилась Моз; ее высохшая рука тряслась в такт с подбородком, ее морщинистое лицо пылало отвагой религиозного исступления; упоминание о присяге освободило ее от сдержанности, навязанной ей собственным благоразумием и увещаниями Кадди.— Неужто вы думаете, что сюда можно явиться с вашими убивающими душу живую, святотатственными, растлевающими совесть проклятиями, и клятвами, и присягами, и уловками, со своими тенетами, и ловушками, и силками? Но воистину всуе расставлены сети на глазах птицы.

— Так вот оно что, моя милая! — сказал сержант.— Поглядите-ка, вот где, оказывается, всем вигам виг! Старуха обрела

и слух и язык, и теперь уже мы глохнем от ее крика. Эй, ты, успокойся! Не забывай, старая дура, с кем говоришь.

— С кем говорю! Увы, милостивые государи, вся скорбная наша страна слишком хорошо знает, кто вы такие. Злобные приверженцы прелатов, гнилые опоры безнадежного и безбожного дела, кровожадные хищные звери, бремя, тяготящее землю...

— Клянусь спасением души! — воскликнул Босуэл, охваченный столь же искренним изумлением, как какой-нибудь дворовый барбос, когда на него наскакивает куропатка, защищающая своих птенцов.— Ей-богу, никогда еще я не слыхивал таких красочных выражений! Не могли бы вы добавить еще что-нибудь в этом роде?

— Добавить еще что-нибудь в этом роде? — подхватила Моз и, откашлявшись, продолжала: — О, я буду ратовать против вас еще и еще. Филистимляне вы и идумеи, леопарды вы и лисицы, ночные волки, что не гложут костей до утра, нечестивые псы, что умышляют на избранных, бешеные коровы и яростные быки из страны, что зовется Васан, коварные змеи, и сродни вы по имени и по природе своей большому красному дракону. (Откровение святого Иоанна, глава двенадцатая, стих третий и четвертый.)

Тут старая женщина остановилась — не потому, разумеется, что ей нечего было добавить, но чтобы перевести дух.

— К черту старую ведьму! — воскликнул один из драгун.— Заткни ей рот кляпом, и прихватим ее с собой в штаб-квартиру.

— Постыдись, Эндрю,— отозвался Босуэл,— ты забываешь, что наша старушка принадлежит к прекрасному полу и всегонавсего дала волю своему язычку. Но погодите, дорогая моя, ни один васанский бык и ни один красный дракон не будет столь терпелив, как я, и не сетуйте, если вас передадут в руки констебля, а он вас усадит в подобающее вам кресло. А пока что я должен препроводить молодого человека к нам в штаб-квартиру. Я не могу доложить моему офицеру, что оставил его в доме, где мне пришлось столкнуться лишь с изменой и фанатизмом.

— Смотрите, матушка, что вы наделали,— зашептал Кадди,— филистимляне, как вы их окрестили, собираются взять с собой мистера Генри, и все ваша дурацкая болтовня, черт бы ее побрал.

— Придержи язык, трус,— огрызнулась Моз,— и не суйся со своими упреками! Если ты и эти ленивые объедалы,

что расселись здесь, пуча глаза, как корова, раздувшаяся от клевера, приметесь ратовать руками за то, за что я ратовала языком, им не утащить в тюрьму этого драгоценного юношу.

Пока происходил этот диалог, солдаты успели окружить своего пленника. Но тут вошел Милнвуд; встревоженный тем, что увидел, он поспешил, хотя и не без тяжких вздохов, протянуть Босуэлу кошелек с золотом, которое он обязался внести как выкуп за племянника. Сержант взял кошелек с видом полного равнодушия, взвесил его на руке, подбросил вверх и поймал на лету; затем покачал головой и сказал:

— В этом гнездышке с желтыми птенчиками много веселых и беззаботных ночей, но, черт побери, мне не хочется рисковать ради них — уж слишком громко разглагольствовала тут эта старуха, и к тому же перед столькими свидетелями. Послушайте, старина, я обязан доставить вашего племянника в штаб-квартиру; а потому не могу, по совести, взять сверх того, что полагается за хорошее обращение с арестованным.

Развязав кошелек, он дал солдатам по золотому, взяв себе три.

— Теперь,— сказал он,— вы можете утешаться сознанием, что ваш родственник, юный Капитан Попки,— в хороших руках и что с ним будут учтивы и обходительны. Остаток денег я вам возвращаю.

Милнвуд жадно протянул руку.

— Только вы, конечно, осведомлены,— продолжал Босуэл, играя по-прежнему кошельком,— что всякий землевладелец отвечает за добропорядочность и верноподданническое поведение своих домочадцев и слуг, а также что мои товарищи и подчиненные отнюдь не обязаны умалчивать о превосходной проповеди, которую мы выслушали от этой старой и закоснелой пуританки в клетчатом пледе; и я вас заранее предупреждаю, что, если кто-нибудь донесет о случившемся, Тайный совет наложит на вас изрядный денежный штраф.

— Мой добрый сержант, мой дорогой и уважаемый капитан,— воскликнул вконец перепуганный скряга,— я ручаюсь, что в моем доме нет никого, кто мог бы нанести вам оскорбление!

— Ошибаетесь,— отозвался Босуэл,— сейчас вы услышите, как она примется ратовать,— она сама называет так свои разглагольствования. Ну, приятель,— бросил он Кадди,— отойди-ка в сторонку, и пусть твоя мамаша выскажется от всего сердца.

Я вижу, она снова поджала губы и снова заряжена, как перед своим первым залпом.

— Милостивый лорд, благородный сэр,— сказал Кадди,— язык старой бабы — да ведь это пустое дело, чтобы поднимать из-за него столько шуму. Ни мой покойный отец, ни я никогда не прислушивались к болтовне моей матери.

— Погоди, дружок, ты и сам хорош,— оборвал Кадди Босуэл,— честное слово, ты не так прост, как хотел бы казаться. Ну, старая, вы слышите, ваш хозяин не хочет верить, что вы способны так блистательно ратовать.

Моз нуждалась, пожалуй, лишь в этом ударе шпорой, чтобы понестись, закусив удила.

— Горе отступникам и любострастным корыстолюбцам,— возгласила она,— которые грязнят и обрекают гибели свою совесть, склоняясь перед нечестивыми требованиями и предаваясь гнусной мамоне сынов Велиала, лишь бы жить с ними в мире. Это — греховное попустительство, это — подлый союз с врагом! Это — зло, содеянное Менаимом на глазах господа, когда он вручил Фулу, царю ассирийскому, тысячу талантов серебра, чтобы рука его помогла ему. (Книга вторая Царств, глава пятнадцатая, стих девятнадцатый.) Это — зло, содеянное также Ахавом, пославшим деньги Феглаффелассару. (Смотри ту же вторую Книгу Царств, глава шестнадцатая, стих восьмой.) И если был осужден, как вероотступник, даже благочестивый Езекия, склонившийся перед Сеннахиримом, дав ему денег и обещая внести, что будет наложено на него (смотри ту же вторую Книгу Царств, главу восемнадцатую, стих четырнадцатый и пятнадцатый), то не иначе будет и с теми из нашего косного и вероотступнического поколения, кто вносит подати, и налоги, и поборы, и штрафы алчным и неправедным мытарям и оплачивает жалованье наймитам священникам (этим безгласным псам, которые даже не лают, но дремлют, возлежа среди всякия скверны, ибо больше всего любят покой), потворствует их вымогательствам и задаривает их для того, чтобы они могли быть пособниками и слугами наших угнетателей и мучителей. Все они нисколько не лучше, чем пребывающие во вражеском стане, чем те, кто готовит яства для войска и предлагает жертвенные напитки сонмам.

— Вот, мистер Мортон, чудеснейший образец их верований! Как вы относитесь к ним? Или вы думаете, что их одобрит Тайный совет? Полагаю, что самое главное мы можем унести в голове, не прибегая к мелкам и дощечкам, какие вы таскаете с собой на ваши молитвенные собрания. Эндрю, как

ты считаешь, не призывает ли она к отказу от уплаты налогов?

— Именно так, ей-богу,— ответил Эндрю,— и говорит, что угостить солдата кружкою эля и посадить его с собою за стол — превеликий грех.

— Вы слышите,— продолжал Босуэл, обращаясь к Милнвуду,— впрочем, меня это нисколечко не касается, дело ваше.— И он равнодушно протянул кошелек, успевший приметным образом отощать.

Милнвуд, ошеломленный всеми свалившимися на него бедами, машинально протянул руку за кошельком.

— Да вы сумасшедший,— зашептала в страхе домоправительница,— скажите, что вы отдаете им эти деньги; все равно они оставят их у себя, добром или силою; и единственная наша надежда, что, получив их, они наконец успокоятся.

— Не могу, не в силах сделать это своею рукой, Эли,— сказал в изнеможении Милнвуд,— не в силах расстаться с деньгами, которые столько раз пересчитывал, не могу отдать их этим слугам самого сатаны.

— Раз так, я сделаю это сама, Милнвуд,— сказала домоправительница,— иначе все у нас пойдет прахом... Мой хозяин, сэр,— обратилась она к Босуэлу,— не может и думать о том, чтобы хоть что-нибудь взять назад из рук такого почтенного джентльмена, как вы; он умоляет вас принять эти деньги и быть с его племянником таким добрым, каким только вы сможете быть, а также благожелательным в докладе начальству о духе нашего дома, и еще он просит не делать нам зла из-за дурацкой болтовни этой старой кобылы (тут она надменно посмотрела на Моз, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить себя за усилия, которых стоили ей любезности, расточаемые солдатам), этой старой, полоумной смутьянской дряни. До вчерашнего вечера (пропади она пропадом!) она не жила в нашем доме и никогда больше не переступит его порога, как только я выгоню ее вон.

— Беда, беда,— зашептал Кадди на ухо матери,— всегда то же самое! Я так и знал, что нам снова придется пуститься в дорогу, если вы раскроете рот и произнесете два-три слова подряд. Я был уверен, что другому и не бывать, матушка.

— Помолчи, сынок,— сказала Моз,— и не ропщи на наш крест. Никогда не переступит порога! Да я и сама не захочу переступить их порог. На дверях этого дома не начертано знака, чтобы ангел мщения миновал его. И они будут поражены от руки его, ибо думают много о тварях и не думают

о творце, радеют о благах земных, а не о поругании ковенанте, о кружках из желтого кала, а не о чистом золоте слова господня, о друзьях и родне, а не об избранных, коих преследуют и поносят, гонят, выслеживают, ловят, хватают, бросают в темницы, терзают, ссылают, обезглавливают, вешают, кромсают, четвертуют, не говоря уже о сотнях других, принужденных покинуть домы свои и скитаться в пустынях, горах, болотах, топях, среди мшистых трясин и заброшенных торфяных ям, чтобы слушать Писание божие, как те, что тайком вкушают хлеб свой насущный.

— А ведь она, сержант, разошлась, точно на своем сборище. Не прихватить ли нам с собой и ее? — предложил один из солдат.

— Не мели, черт побери, вздора,— ответил Босуэл.— Разве тебе невдомек, что лучше оставить ее на месте, пока здесь хозяйничает такой уважаемый, сговорчивый, тороватый и почтенный землевладелец, как мистер Мортон Милнвуд, который располагает средствами утихомирить ее? Пусть уж старая муха выводит свой рой: она до того упряма, что с ней ничего не поделаешь. Итак,— крикнул он,— еще одну круговую за Милнвуда, и его чудо-гостеприимство, и за нашу приятную встречу, которая, надеюсь, не за горами, если он и впредь будет держать у себя такую фанатичную челядь.

Затем он приказал солдатам седлать коней и выбрал в конюшне Милнвуда лучшую лошадь «на службу его величеству королю», как он заявил, чтобы посадить на нее арестованного.

Миссис Уилсон, утирая слезы, собрала между тем небольшой узелок с теми вещами, которые, по ее мнению, могли понадобиться мистеру Генри во время его вынужденной поездки. Бегая в хлопотах взад и вперед по комнате, она нашла случай незаметно вложить ему в руку немного денег. Босуэл с товарищами сдержали свое обещание и хорошо обошлись с узником. Они не связали Мортона, а ограничились тем, что поместили его коня между своими. Вскочив наконец в седло и тронувшись в путь, они перекидывались шутками и весело гоготали, оставив обитателей Милнвуда в страшном смятении. Старый хозяин усадьбы, подавленный арестом племянника и бессмысленной потерей двадцати фунтов, весь вечер только и делал, что метался в своем большом кожаном кресле, повторяя все ту же жалобу: «Разорен, разорен окончательно и пущен по миру, разорен и пущен по миру,— о плоть моя и именье мое! О плоть моя и именье мое!»

Скорбь миссис Элисон Уилсон нашла для себя отдушину и до некоторой степени утешение в потоке брани, который она обрушила на Моз и Кадди, выпроваживая их из Милнвуда.

— Пусть болячки источат твое старое тело! Первый красавец в Клайдсдейле стал отныне страдальцем, и все из-за тебя и твоего сумасшедшего смутьянства!..

— Поди прочь! — воскликнула Моз.— А я говорю, что вы в путах греха и во власти зла, раз ропщете, отдавая лучшее и возлюбленное свое за дело того, кто вам его даровал, и клянусь, я сделала для мистера Гарри не меньше, чем сделала бы для своего сына; и если бы Кадди сподобился ратовать за истину на Сенном рынке...

— Похоже, что так и будет, коли ты и он не пойдете другою дорогой.

— И если бы,— продолжала Моз, не обращая внимания на замечание миссис Уилсон,— и если бы кровавые псы и льстивые зифеи норовили завлечь меня в тенета своим обещанием отпустить его ценою греховных уступок, я стояла бы, несмотря ни на что, на своем и продолжала бы возвышать голос свой против папства, епископства, антиномианства, эрастианства, лапсарианства, сублапсарианства и других грехов и соблазнов нашего времени, и вопила бы, как роженица, кляня черную индульгенцию, которая стала камнем преткновения для ученых богословов, я бы возвысила голос мой, подобно сильному словом своим проповеднику.

— Хватит, матушка! — крикнул Кадди, вмешиваясь в эту затянувшуюся перебранку и силою увлекая за собой мать.— Хватит! Перестаньте ратовать перед достопочтенной госпожой домоправительницей — ведь она, чего доброго, может оглохнуть! Вы напроповедовали на всю неделю вперед. Вы допроповедовались до того, что нас прогнали из нашего уютного дома, и с нашего милого огорода, и из этого нового убежища нашего, где мы не успели даже прилепиться как следует; вы допроповедовались до того, что мистера Гарри поволокли в яму; вы допроповедовались и до того, что в кармане хозяина двадцати фунтов как не бывало, а вы знаете, как туго он расстается со своими кровными денежками; и, может быть, вы теперь помолчите немножко, не то придется мне, видно, подняться по лестнице наверх, а потом опуститься, да только уже на веревке. Пошли, матушка, пошли прочь; они сыты по горло вашими ратованиями и долго будут помнить о них.

Произнеся это, он потащил за собою Моз, с тем чтобы приготовиться к новым странствиям в поисках крова, и долго еще ее язык не мог успокоиться и с гневных уст слетали слова: ратование, ковенант, злокозненные, индульгенция.

— Старая, зловредная, выжившая из ума дура — вот она кто! — воскликнула домоправительница, наблюдая, как Кадди с матерью покидают усадьбу.— Воображает, будто лучше ее не сыщешь на свете, старая дрянь! А сколько горя и неприятностей принесла она с собой в тихий и мирный дом! Если бы я не была по моему положению больше чем наполовину женщиной благородного звания, запустила бы я вот этот десяток моих коготков в ее паршивую шкуру!

## ГЛАВА IX

Я веселый солдат, в битве черт мне не брат,
И рубцов целый ряд я бы вам показал:
За красотку свою иль в кровавом бою,
Там, где в дальнем краю я французов встречал.

*Бернс*

— Не падайте духом,— говорил Босуэл своему пленнику по пути в штаб-квартиру,— вы славный малый, у вас много знакомств, и в худшем случае вас вздернут за это, но ведь таков удел многих честных людей. Скажу откровенно: ваша жизнь во власти закона; проявите покорность — и тогда, пожалуй, вы сможете выпутаться из этой истории, внеся порядочный штраф из средств вашего дядюшки, а он, поверьте, от этого не разорится.

— Но это больше всего и волнует меня,— сказал Генри.— Расставаться с деньгами — для моего дяди сущая пытка. Не он предоставил Берли ночлег, и я молю бога о том, чтобы наказание, которое я понесу, если избавлюсь от смертной казни, пало на меня одного.

— Кто его знает,— заметил Босуэл,— они могут предложить вам отправиться на службу в один из заграничных шотландских полков. Это совсем неплохо; если ваши друзья похлопочут за вас и нажмут, где полагается, вы сможете вскоре получить производство.

— Я убежден,— отозвался Мортон,— что это самое лучшее, что только может выпасть на мою долю.

— В самом деле! Значит, вы совсем не такой уж завзятый виг! — воскликнул сержант.

— Я никогда не вмешивался в борьбу наших партий,— ответил Генри,— я спокойно сидел у себя дома и не раз всерьез задумывался над тем, не поступить ли мне в один из наших заграничных полков.

— Вот как! — сказал Босуэл.— Ну что ж, это делает честь вашим намерениям; я служил в шотландском гвардейском во Франции, и довольно долго; вот где приучаешься к дисциплине, черт побери! Им нет ни малейшего дела, где вы пропадаете в свободное время, но попробуйте опоздать на поверку, и они вам покажут, где раки зимуют. Наш старик, капитан Монтгомери, заставил меня как-то выстоять на часах у нашего арсенала в кирасе, латах и шлеме шесть часов сряду, да еще на солнцепеке, ну я и испекся, как голубь, которых продают возле Пор-Рояля. После этого я дал себе клятву, что, когда на поверке выкликнут: «Фрэнсис Стюарт!» — я буду всегда тут как тут и ради этого даже брошу, если придется, свои карты на барабане. Да, дисциплина — это не шутка!

— А в других отношениях вам нравилась ваша служба?

— Par excellence [1],— ответил Босуэл,— женщины, вино, кутежи, всего вволю, дай себе только труд пожелать, да с толком. И если у вас хватит совести внушить какому-нибудь жирному патеру, что вы не прочь перейти в католичество, он как есть расшибется в лепешку, чтобы доставить вам удовольствие и таким способом заполучить немножко вашей признательности. А где вы найдете лопоухого пастора-вига, который отличался бы такой же предупредительностью!

— Совершенно согласен с вами, такого нигде не найти,— сказал Генри.— Но в чем состояли ваши основные обязанности?

— Охранять особу его величества короля,— ответил Босуэл,— оберегать, мой мальчик, жизнь Людовика Четырнадцатого Великого и время от времени устраивать облавы на гугенотов или, что то же, на протестантов. Да, там было где поучиться этому ремеслу, и я здорово набил себе руку для службы в нашей стране. Но послушайте, вы, сдается мне, bon camerado [2], как говорят испанцы, и я должен поделиться с вами блестящими соверенами вашего почтенного старого дяди. Таков уж закон среди нас, рубак; мы не можем безучастно смотреть на товарища, когда он в нужде, а у нас позвякивает в кармане.

Произнеся эти слова, он вынул из кошелька несколько золотых и, не считая, протянул их Генри. Молодой Мортон не

---

[1] Исключительно *(франц.)*.

[2] Добрый товарищ (искаж. *исп.* bueno camarado).

принял этого дара, но, полагая излишним сообщать сержанту, несмотря на его очевидную щедрость, о деньгах, которые были при нем, он без труда убедил Босуэла, что дядя не оставит его своею поддержкой.

— В таком случае,— сказал Босуэл,— позволим этим желтым плутишкам чуть подольше полежать у меня в кошельке. Я поставил себе за правило не покидать кабака (если того не потребует служба), пока мой кошелек настолько увесист, что его можно перебросить через флагшток. Когда же он становится тощим и ветер относит его назад, как пушинку, тогда — тысяча чертей, караул! — приходится ломать себе голову, где бы раздобыть для него пополнение. Но что за башня пред нами на крутом холме посреди леса, который со всех сторон окружает ее?

— Это Тиллитудлем,— сказал один из солдат,— тут живет старая леди Маргарет Белленден. Благонамереннее ее в этих краях никого не найдешь, и к тому же она — друг нашего брата солдата. Когда я был ранен тем треклятым мятежным псом — он стрелял в меня, спрятавшись за изгородью овчарни,— мне пришлось целый месяц пролежать в ее замке, и, черт побери, я был бы не прочь еще разок заполучить такую же рану, лишь бы снова пожить на таких расчудесных квартирах.

— Раз так,— проговорил Босуэл,— я хочу засвидетельствовать почтеннейшей леди мое уважение, а заодно дать небольшой отдых людям и лошадям. К тому же мне так чертовски хочется выпить, точно я ничего не пил в Милнвуде. Но до чего славно,— продолжал он, обращаясь к Мортону,— что в наши дни королевскому солдату не встретится дом, где бы его не попотчевали. В таких домах, как Тилли... Тилли... как он там называется?..— вас угощают от всего сердца; в домах окаянных фанатиков вы сами себя угощаете, пуская в ход силу; что же касается умеренных пресвитериан и прочих подозрительных личностей, то здесь за вами ухаживают из страха; вот и выходит, что так или иначе, а вы всегда можете утолить жажду.

— И вы намерены,— спросил сержанта встревоженный Генри,— ради этого направиться в замок?

— Будьте уверены, что именно так мы и поступим,— ответил Босуэл,— как же стану я докладывать офицерам о здравии и похвальных взглядах почтеннейшей леди, если мне неизвестен вкус ее хереса,— а она поднесет нам херес, могу поручиться в этом; херес — излюбленный утешитель пожилой знатной вдовы, подобно тому как жидкий кларет — напиток ваших сельских дворянчиков.

— В таком случае, ради бога,— попросил Генри,— раз вы решили заехать туда, не упоминайте, пожалуйста, моего имени и не показывайте меня семье, с которою я знаком. Позвольте мне на время закутаться в плащ одного из ваших солдат и называйте меня попросту арестованным, которого вы конвоируете.

— С величайшим удовольствием,— ответил Босуэл,— я обещал по-хорошему обращаться с вами, и не в моих правилах нарушать слово. А ну-ка, Эндрю, закутай в плащ арестованного и смотри не упоминай ни его имени, ни где мы его задержали, не то пеняй на себя: наездишься ты у меня на деревянной кобылке.

Тем временем всадники достигли арки ворот, по обе стороны от которых возвышались стены с зубцами и двумя башенками; одна из этих башенок обрушилась почти полностью; сохранилась лишь ее нижняя часть, занятая под хлев крестьянином, обитавшим с семьей во второй башенке, совсем целой. Ворота, разбитые и сорванные с петель солдатами Монка еще во время гражданской войны, не были с тех пор восстановлены и, таким образом, не составили ни малейшей преграды для Босуэла и его людей. Проезд от них к замку, очень крутой и узкий, был замощен крупным булыжником; этот проезд шел наискось по склону обрывистого холма, образуя петли и то открывая, то, напротив, скрывая из виду самый замок и его внешние бастионы, которые, как казалось всадникам, отвесно поднимались над их головами.

Представшие перед их взорами средневековые стены замка были настолько мощными, что Босуэл воскликнул:

— Счастье, что эта крепость — в честных и надежных руках. Ведь если бы ею владел неприятель, какая-нибудь дюжина мятежных старух, обладай они хоть вполовину тем пылом, какой был у той старой карги в Милнвуде, вооружась прялками, могла бы оборонять его от целого отряда драгун. Клянусь жизнью,— продолжал он, когда они подъехали вплотную к массивной двухъярусной башне и окружающим ее бастионам и боковым укреплениям, это — великолепная крепость, и, если я еще не совсем позабыл латынь, она основана, как сказано в полустертой надписи над воротами, сэром Ральфом Белленденом в тысяча триста пятидесятом году — давность почтенная. Мне следует приветствовать старую леди с подобающим ей уважением, хотя мне не легко будет припомнить иные из тех изысканных выражений, которые я расточал в те времена, когда еще бывал в таком обществе.

Пока сержант подобным образом рассуждал сам с собой, дворецкий, увидев через бойницу солдат, успел сообщить своей госпоже, что у ворот замка остановился отряд драгун, видимо лейб-гвардейцев, под охраной которых находится арестованный.

— Я убежден,— сказал Гьюдьил,— и готов поклясться, что шестой всадник — их пленник; его лошадь ведут в поводу, и двое передних драгун вынули из чехлов свои карабины и держат их у бедра. В дни великого маркиза и мы точно так же водили пленных.

— Солдаты его величества короля? — спросила хозяйка.— Возможно, что они хотят подкрепиться. Подите, Гьюдьил, пригласите их и распорядитесь, чтобы ни они, ни их лошади не испытывали ни в чем недостатка. Погодите, скажите моей камеристке, что мне нужны черная шаль и плащ. Я хочу сойти вниз и сама приветствовать солдат короля. Надо же оказать лейб-гвардейцам внимание, ведь они так усердствуют ради его величества. И послушайте, Гьюдьил, пусть Дженни Деннисон наденет кружевную накидку — она будет идти впереди меня и моей внучки, а три других девушки сзади нас,— и еще пригласите мисс Эдит сейчас же прийти сюда.

Облаченная в парадное платье и сопровождаемая в соответствии с ее указаниями подобающей свитой, леди Маргарет чинно и торжественно выплыла во внутренний двор своего замка. Босуэл приветствовал важную и достопочтенную владелицу старинного родового гнезда с ловкостью и уверенностью, не лишенной некоторого налета той легкой и беспечной развязности, которая отличала светских щеголей времен Карла II и нисколько не походила на грубые манеры драгунского сержанта. Самый язык его и жесты, применяясь к случаю и обстоятельствам, стали, казалось, изысканнее и утонченнее; впрочем, в превратностях исполненной приключений, беспорядочной жизни Босуэл порою водил компанию, более соответствовавшую знатности его рода, чем тому положению, которое он занимал. На вопрос леди Маргарет, чем она может быть полезна драгунам, он ответил с глубоким поклоном, что, поскольку им предстоит этой ночью проехать еще несколько миль, они были бы чрезвычайно признательны уважаемой леди за позволение устроить в замке привал и дать коням кратковременный отдых, прежде чем они снова тронутся в путь.

— С величайшей охотой,— ответила Босуэлу леди Белленден,— моим слугам велено позаботиться, чтобы и людям и лошадям всего было вдоволь.

— Мы в этом не сомневались, сударыня,— продолжал свои любезности Босуэл,— ибо в стенах Тиллитудлема тем, кто служит своему королю, никогда иного приема и не оказывали.

— Мы всегда старались добросовестно и честно исполнить свой долг,— ответила на это леди Маргарет, довольная комплиментом сержанта,— как по отношению к нашим монархам, так и по отношению к их приверженцам, а особенно — к их верным солдатам. Не так давно — возможно, что воспоминание об этом все еще не изгладилось у его величества, благополучно властвующего над нами в настоящее время,— сам король почтил своим посещением мой скромный и бедный дом и завтракал в одной из комнат этого замка, мистер сержант,— эту комнату покажет вам моя дежурная камеристка. Мы еще и теперь зовем эту комнату королевским покоем.

Между тем Босуэл приказал своим людям спешиться; поручив одним присматривать за лошадьми, другим — охранять арестованного, он смог продолжить беседу, так милостиво начатую леди Белленден.

— Раз сам король, мой владыка, имел честь лично познать ваше гостеприимство, я нисколько не удивлен, что оно распространяется также на тех, кто служит ему и чья главная заслуга состоит в том, что они делают это верой и правдой. К тому же я имею более близкое отношение к особе его величества, чем можно думать при взгляде на эту грубую красную куртку.

— В самом деле? — спросила леди Маргарет.— Вы, наверное, принадлежали к его домашнему штату?

— Не совсем так, сударыня, правильнее сказать — к его дому, и эта близость дает мне право притязать на родство с лучшими фамилиями Шотландии, не исключая, видимо, и фамилии Тиллитудлем.

— Сударь! — сказала старая леди, с достоинством выпрямившись при этих словах Босуэла, воспринятых ею как дерзкая шутка.— Я не понимаю вас, сударь.

— Сударыня, человеку в моем положении глупо говорить о подобных вещах,— ответил сержант,— но вы, разумеется, слыхали о жизни и злоключениях моего деда Фрэнсиса Стюарта, которому Яков Первый, его двоюродный брат, даровал титул Босуэла, как зовут и меня мои сослуживцы. Увы! Это имя принесло ему в конце концов не больше счастья, чем мне.

— Вот как,— удивленно и сочувственно сказала леди Маргарет,— я и вправду предполагала, что внук последнего графа должен находиться в затруднительных обстоятельствах, но, при-

знаюсь, все же не ожидала встретить его в таком низком чине. Что же довело вас при таких связях до...

— Ничего особенного, сударыня, самый обычный ход житейских событий,— поспешил сказать Босуэл, прерывая леди Маргарет и предугадывая ее вопрос.— Я испытал в своей жизни и мгновения счастья, как доводится всякому; мне случалось распить бутылку-другую с Рочестером, беззаботно играть в кости с Бакингемом и сражаться в Танжере бок о бок с Шеффилдом. Но мое счастье никогда не бывало длительным, я не сумел превратить веселых собутыльников в полезных друзей; быть может,— продолжал он с горечью,— я не смог в достаточной мере проникнуться мыслью, что потомок шотландских Стюартов должен считать для себя великою честью приглашение на ужин к какому-нибудь Уилмоту или Виллье.

— Но ваши друзья в Шотландии, мистер Стюарт, ваши родственники в этой стране, столь многочисленные и столь могущественные?

— Ах, миледи,— ответил сержант,— полагаю, что иные из них были бы готовы, пожалуй, предложить мне должность главного егеря, так как я неплохой стрелок, иные, быть может, взяли бы меня в качестве своего bravo [1], так как я недурно владею шпагой; найдутся среди них и такие, которые, за неимением лучшей компании, были бы не прочь пригласить меня в собутыльники, раз я могу выпить, не поморщившись, три бутылки вина. Не знаю почему, но только, если уж нужно служить, и служить своим родственникам, я предпочитаю быть слугою кузена Карла, как самого высокопоставленного из них, хотя жалованье за эту службу довольно скудное и мундир далеко не блестящий.

— Это срам, это позор на весь мир! — воскликнула леди Маргарет.— Почему вы не обратитесь к его священнейшему величеству? Он, несомненно, придет в изумление, услышав, что отпрыск его августейшего рода...

— Прошу прощения, сударыня,— перебил ее сержант Босуэл,— я простодушный солдат, и, надеюсь, вы извините меня, если я позволю себе сказать, что его священнейшее величество больше хлопочет о своих собственных отпрысках, нежели о происходящих от его прапрадеда.

— Хорошо, мистер Стюарт,— сказала леди Маргарет,— я хочу получить от вас обещание, что вы проведете эту ночь в Тиллитудлеме; завтра утром я ожидаю к себе вашего коман-

[1] Телохранителя *(итал.)*.

дира, доблестного и честного Клеверхауза, которому и король и страна так обязаны за его борьбу против тех, кто готов вывернуть мир наизнанку. Я поговорю с ним о том, чтобы вас поскорее произвели в офицеры, и уверена, что, воздавая дань уважения крови, которая течет в ваших жилах, и просьбам леди, удостоенной столь лестного внимания его величества короля, как это случилось со мною, он не оставит вас в том бедственном положении, в каком вы находились до этого времени.

— Премного обязан вашей чести; конечно, я останусь здесь на ночь, раз вы настаиваете на этом, тем более что таким образом я смогу без промедления передать полковнику Грэму моего арестанта и получить его приказания относительно этого молодца.

— Кто же ваш арестант? — спросила леди Маргарет.

— Молодой человек из весьма порядочного семейства, проживающего невдалеке отсюда. Он был настолько неосторожен, что предоставил убежище одному из убийц покойного примаса и, кроме того, способствовал бегству этого пса.

— Какое бесстыдство! — воскликнула леди Маргарет.— Я готова забыть обиды, причиненные мне руками этих разбойников, хотя некоторые из этих обид, мистер Стюарт, таковы, что забыть их нельзя; но тем, кто покрывает преступников, совершивших столь жестокое и предумышленное убийство беззащитного человека, старого и притом облеченного священным саном архиепископа, тем их бесстыдство не может быть прощено! Если вы хотите поместить арестованного в надежное место и облегчить ваших людей, я прикажу Гаррисону и Гьюдьилу разыскать ключ от нашей ямы или главной темницы. Ее не открывали с тех пор, как бедный сэр Артур Белленден через неделю после Килсайтской победы посадил туда два десятка захваченных им мятежников; она уходит всего на два яруса под землю, так что не может быть очень вредною для здоровья заключенных в ней узников, тем более что там, кажется, есть отверстие для доступа воздуха.

— Прошу прощения, сударыня,— ответил сержант,— не сомневаюсь, что ваша темница великолепна; но я обещал хорошо обращаться с этим молодым человеком и приму меры, чтобы его тщательно стерегли. Я заставлю тех, кого наряжу в охрану, зорко следить за ним, и бежать ему будет так же невозможно, как если бы у него на ногах были испанские сапоги, а на пальцах — пыточные зажимы.

— Дело ваше, мистер Стюарт,— заметила на это леди Белленден.— Вам лучше моего известно, в чем состоит ваш

долг. От всего сердца желаю вам хорошо провести вечер и поручаю вас заботам моего управителя Гаррисона. Я охотно пригласила бы вас составить компанию, но я... я...

— О сударыня, не требуется никаких пояснений; я очень хорошо понимаю, что грубая красная куртка войск короля Карла Второго отнимает у того, кто ее носит, и вполне справедливо, права и привилегии голубой крови короля Иакова Пятого.

— Только не в моих глазах, уверяю вас, мистер Стюарт; вы несправедливы ко мне, если считаете, что я способна на это. Завтра же я переговорю с вашим полковником, и, надеюсь, вы вскоре достигнете положения, которое избавит вас от неприятностей этого рода.

— Полагаю, сударыня,— сказал Босуэл,— что ваша доброта вводит вас в заблуждение; во всяком случае, я бесконечно признателен вам за ваше намерение. Как бы там ни было, я эту ночь проведу с мистером Гаррисоном приятно и весело.

Леди Маргарет церемонно откланялась, выразив в этом поклоне все свое почтение к королевской крови, даже если она течет в жилах сержанта лейб-гвардии, и еще раз заверила мистера Стюарта, что от всего сердца предоставляет в его распоряжение, а также распоряжение его спутников все, чем только богат Тиллитудлем.

Сержант Босуэл не преминул воспользоваться любезным приглашением леди и вскоре за веселой пирушкой с готовностью забыл о своем высоком происхождении. Мистер Гаррисон постарался подать самые лучшие вина, какие только хранились в подвалах замка, и усердно стремился служить примером для своего гостя, а в таких делах это гораздо важнее, чем приглашения и уговоры. К их занятию, столь любезному его сердцу, присоединился и старый Гьюдьил, подобно тому как Дэви во второй части «Генриха IV» принимает участие в кутеже своего господина, шерифа Шелло. Он спустился в погреб, рискуя собственной шеей, чтобы пошарить в закоулках, известных, как он похвалялся, лишь ему одному; он уверял, что за время его службы дворецким из этих тайников никогда не извлекалась, да и не могла быть никоим образом извлечена, ни одна бутылка, кроме как для верных слуг короля.

— Когда здесь обедал как-то раз герцог,— сказал дворецкий, который из уважения к генеалогии Босуэла сел в некотором отдалении и после каждого периода своей речи придвигался на пол-ярда к столу,— моя госпожа потребовала бутылку бургундского (тут он немного придвинулся), но не знаю,

как это случилось, мистер Стюарт, но меня одолело сомнение. Я заподозрил, что герцог вовсе не такой друг правительства, каким хочет казаться: хороший род — это еще не все. Старый герцог Джеймс потерял честь еще раньше, чем голову, и выходит, что этот вустерец оказался твердым кусочком и ни на что не годился, ни чтобы изжарить, ни чтобы сварить, ни чтобы съесть в сыром виде. (Этим глубокомысленным замечанием Гьюдьил закончил первую параллель и начал придвигаться зигзагами, как искусный и опытный инженер, с очевидным намерением подвести апроши к столу.) Итак, чем чаще хозяйка моя покрикивала: «Бургундского его светлости... Старого бургундского его светлости... Самого лучшего бургундского... Бургундского тысяча шестьсот тридцать девятого года», тем чаще я повторял про себя: «Черта с два, ни одна капля его не попадет в герцогскую утробу, пока я не выясню, чем он дышит; хватит с него простого канарского и кларета». Нет, джентльмены, шутите: с тех пор как на меня возложили обязанности дворецкого в нашем тиллитудлемском доме, тут уж я гляжу в оба, чтобы ни один предатель или человек сомнительных взглядов не глотнул чего-нибудь из заветного тайника. Но когда я встречаю истинного друга его величества и борца за его правое дело, а также за умеренное епископство, когда я встречаю человека, который, как я себе говорю, будет стоять за церковь и за корону, как это делал я сам при жизни моего господина — то было во время Монтроза,— в нашем погребе нет ничего такого, чего бы я пожалел для него.

К этому времени он подвел ложементы к крепостным стенам или, иными словами, придвинулся вплотную к столу.

— А теперь, мистер Фрэнсис Стюарт из Босуэла, разрешите мне удостоиться чести выпить за ваше здоровье, и за ваше производство, и за всяческую удачу в очищении этой страны от вигов и круглоголовых, фанатиков и приверженцев ковенанта.

Босуэл, который, как нетрудно себе представить, уже давно перестал быть привередливым и руководствовался в выборе друзей и приятелей больше занимаемым им положением и удобствами, чем древностью своего рода, охотно ответил на тост дворецкого, похвалив попутно его вино. Мистер Гьюдьил, таким образом, был принят в компанию в качестве ее полноправного члена и продолжал снабжать ее источником радости и веселья, пока не занялся следующий день.

## ГЛАВА X

Ужели в путь пустился б я с тобой
Лишь в ясный день, по глади голубой.
А в бурю я покинул бы твой челн
И на берег бежал от грозных волн?

*Прайор*

Пока леди Маргарет вела с знатным драгунским сержантом беседу, подробно пересказанную нами на предыдущих страницах, внучка ее, не разделявшая восторгов бабушки перед всеми, в чьих жилах течет королевская кровь, удостоила его одним-единственным взглядом и увидела высокого, крепко сложенного человека со смелым, огрубевшим от непогоды лицом, в котором гордость и недовольство мешались с отчаянной, бесшабашной веселостью. Остальные солдаты еще меньше были достойны ее интереса; зато таинственный арестант, завернувшийся в плащ и прятавший в его складках лицо, целиком приковал к себе внимание мисс Эдит, которая, сколько ни силилась, не могла отвести от него глаз, хотя и бранила себя за праздное любопытство, явно стеснявшее незнакомца.

— Мне хотелось бы,— сказала она своей горничной и наперснице Дженни Деннисон,— мне хотелось бы знать, кто этот несчастный.

— Я и сама только что об этом подумала, мисс Эдит,— ответила Дженни.— То не может быть Кадди Хедриг, этот выше и будто потоньше.

— Но это может быть,— продолжала мисс Эдит Белленден,— кто-нибудь из наших соседей, и мы должны принять в нем участие.

— Я смогла бы, пожалуй, выведать, кто он такой,— сказала предприимчивая и ловкая Дженни,— пусть только солдаты покончат со своими делами и отправятся отдыхать; одного из них я хорошо знаю — это самый красивый и молодой между ними.

— Ты знаешь, кажется, всех молодых бездельников в околотке,— ответила ее госпожа.

— Что вы, мисс Эдит, я совсем не так легка на знакомства,— ответила горничная.— Конечно, как же не знать с лица тех, кто заглядывается на тебя на рынке и в церкви; но я знакома так, чтобы по-настоящему поговорить, только с несколькими молодыми людьми, и все они — тиллитудлемские ребята, а кроме того, с тремя Стейнсонами, Томом Рендом, молодым мельником, пятью Ховисонами в Несершейлсе, длинным Томом Джилри да еще...

— Сократи, пожалуйста, перечень исключений, он грозит быть нескончаемым, и скажи, кто тот молодой солдат, о котором ты говорила,— прервала Дженни мисс Белленден.

— Господи боже, мисс Эдит, да ведь это Том Хеллидей, солдат Том, как его называют, который был ранен мятежниками на их сборище в Аутерсайд-муре и пролежал у нас в замке, пока не поправился. Я могу спросить его, о чем захочу, и Том, конечно, ответит, могу поручиться вам в этом.

— Тогда,— сказала мисс Эдит,— найди случай спросить у него имя узника и приди ко мне сообщить, что ты узнала.

Дженни Деннисон отправилась выполнять поручение. Вскоре она возвратилась с испуганным и удивленным лицом; было видно, что ее глубоко взволновала судьба арестованного.

— В чем дело? — тревожно спросила Эдит.— Неужели это все-таки Кадди? Вот бедняга!

— Кадди, мисс Эдит? Нет, нет, это не Кадди,— расплакалась верная горничная, страдавшая оттого, что ее новости поразят в самое сердце юную мисс Эдит.— О дорогая, милая мисс Эдит, нет... это... это сам молодой Милнвуд.

— Молодой Милнвуд! — воскликнула в ужасе мисс Белленден.— Молодой Милнвуд! Непостижимо, совершенно непостижимо! Его дядя — прихожанин священника, принявшего индульгенцию, и не поддерживает решительно никаких связей с крамольниками; да и он сам никогда не вмешивался в эти злосчастные споры; он ни в чем не повинен; разве что вступился за чьи-нибудь попранные права.

— Ах, моя дорогая мисс Эдит,— сказала ее наперсница,— теперь не такое время, чтобы спрашивать, где правда, а где нет; будь он такой же невинный, как новорожденный, они нашли бы, как сделать его виноватым, когда бы им этого захотелось; но Том Хеллидей говорит, что дело идет о жизни мистера Гарри, потому что он укрыл одного из пяти джентльменов, покончивших с этим старикашкой архиепископом.

— О его жизни! — вскричала Эдит, вскакивая со своего места. Запинаясь, с отчаянием в голосе, она продолжала: — Нет, они не могут... Они не сделают этого... Я вступлюсь за него... Они не тронут, нет, они не тронут его...

— О моя милая, милая леди! Подумайте только о бабушке, подумайте об опасности и о том, как это трудно,— прибавила Дженни,— его держат под строгой охраной, пока не приедет сюда Клеверхауз, который будет здесь завтра утром, и если Милнвуд не повинится перед ним и не расскажет всего, то — так говорит Том Хеллидей — расправа будет короткая: на коле-

ни... товсь... внимание... пли...— так же, как они поступили с глухим Джоном Мак-Брайером; несчастный не понял ни одного вопроса, с которым они к нему приставали, и вот лишился жизни, потому что был тугим на ухо.

— Дженни,— сказала юная леди,— если он умрет, я умру вместе с ним; сейчас не время вспоминать об опасностях и трудностях; я накину на себя плед, мы проникнем туда, где они его сторожат... Я паду к ногам часового и буду молить его — ведь и у него есть душа, и ему не надо забывать о ее спасении.

— Сохрани боже,— прервала мисс Эдит Дженни,— сохрани боже, чтобы наша юная леди валялась в ногах у солдата Тома и говорила с ним о спасении его души,— бедный мальчик и сам не знает, есть ли она у него, хотя порой и клянется ею; нет, этому не бывать, мисс Эдит, слышите, не бывать! Но будь что будет, я никогда не оставлю влюбленных без моей помощи; раз вам нужно встретиться с молодым Милнвудом, хотя я не думаю, что от этого будет прок,— ведь вашим сердцам только прибавится горечи,— я готова рискнуть и постараюсь улестить Тома; но вы должны дать мне полную волю и не проронить ни словечка; Хеллидей сторожит Милнвуда в восточном крыле нашего замка.

— Иди принеси мне плед,— приказала Эдит,— дай мне только повидаться с ним, и я найду средство избавить его от опасности. Поспеши, если не хочешь, чтобы я разлюбила тебя!

Дженни выбежала из комнаты и вскоре вернулась с пледом, в который мисс Эдит закуталась так, чтобы спрятать лицо и скрыть свой стройный девический стан.

В конце семнадцатого и в начале следующего столетия носить плед описанным образом было в моде среди шотландских дам, и достопочтенные пастыри пресвитерианской церкви, опасаясь, что подобная мода может благоприятствовать любовным интригам, добились от Ассамблеи нескольких актов, осуждающих ношение пледа. Но мода, как обычно, не подчинилась велениям власти, и, пока плед не был предан забвению, женщины всех сословий продолжали при случае прибегать к его помощи, пользуясь им как мантильей или вуалью [1]. Итак, закутавшись

[1] В те времена было в обычае не открывать лица в общественных местах или в смешанном обществе. В Англии, где плед не был в ходу, знатные дамы пользовались с этой целью полумаской, тогда как щеголи закидывали на правое плечо полу своего плаща так, чтобы прикрыть нижнюю часть лица. Об этом неоднократно упоминает в своем дневнике Пипс.

в плед и скрыв в его складках лицо, Эдит, опираясь на руку своей преданной горничной, торопливыми и нетвердыми шагами направилась к месту заключения Мортона.

Это была тесная комнатка в одной из замковых башен, выходившая в просторную галерею, по которой взад и вперед шагал часовой: сержант Босуэл, щепетильно соблюдая данное слово, а может быть, и испытывая некоторое сочувствие к пленнику, в котором его подкупали молодость и благородное поведение, не пожелал оскорбить его, поместив с ним вместе солдата. Итак, Хеллидей с карабином в руках прохаживался по галерее, утешаясь время от времени глотком эля из огромного кувшина, стоявшего на столе в одном из углов галереи, и мурлыча в промежутках шотландскую любовную песенку:

Из Джонстона путь наш в веселый Данди...
Красотка моя, за меня выходи!

Дженни Деннисон вторично предупредила свою госпожу, чтобы та предоставила ей свободу действий.

— Я знаю, как нужно обращаться с солдатом,— сказала она,— он парень грубый, но я знаю его хорошо; а вы — ни слова, ни одного слова.

Руководствуясь своими особыми соображениями, она отворила дверь в галерею как раз в тот момент, когда часовой повернулся спиною ко входу, и, подхватив песенку, которую тот мурлыкал, кокетливо, тоном грубоватой, но в то же время беззлобной насмешки, пропела:

Солдатской женою негоже мне стать,—
Друзья огорчатся, рассердится мать;
А лэрд или лорд подошли б для меня!
Твоею женою не сделаюсь я!

— Недурной вызов, ей-ей, черт подери! — вскричал часовой, круто повернувшись кругом.— И еще от двоих разом! Да не так-то легко отхлестать солдата его собственным поясом! — И он запел, продолжая с того места, на котором остановилась девушка:

Придется, красотка, меня полюбить
И ужин и ложе со мной разделить,
Под бой барабанов мы пустимся в путь,
Моею женою, красавица, будь.

Поди ко мне, милочка, и поцелуй меня за мою песенку.

— И не подумаю, мистер Хеллидей,— ответила Дженни, выражая тоном и взглядом нужную степень негодования,— и

«Пуритане»

вам больше меня не видать, пока вы не научитесь вежливости. Я пришла сюда со своею приятельницей совсем не затем, чтобы выслушивать такой вздор, вам должно быть стыдно за себя, да, да, стыдитесь!

— Гм! А за каким вздором, мисс Деннисон, вы сюда пришли, в таком случае?

— У моей родственницы есть одно личное дело к вашему узнику, молодому мистеру Гарри Мортону, и я сопровождаю ее, чтобы присутствовать при их разговоре.

— Черта с два,— заявил часовой.— А позвольте спросить, мисс Деннисон, как же ваша родственница, да и вы сами предполагаете проникнуть к нему? Вы, пожалуй, чересчур пухленькая, чтобы пролезть в замочную скважину, а о том, чтобы отворить дверь, нечего и толковать.

— Да тут толковать и нечего, нужно сделать,— отпарировала настойчивая девица.

— Держи карман шире, милая Дженни.— И солдат снова принялся ходить взад и вперед по галерее, мурлыча себе под нос:

Когда в колодец поглядишь,
Дженет, Дженет,
Себя в колодце разглядишь,
Красотка Дженет.

— Так вы не желаете нас впустить, мистер Хеллидей? Ну что ж! Ладно, пусть так. Будьте здоровы. Больше вы меня не увидите, и этой славной вещицы — тоже,— сказала Дженни, показывая солдату блестящий серебряный доллар.

— Дай ему золотой, дай золотой, Дженни,— прошептала, замирая от волнения, юная леди.

— С таких, как он, хватит и серебра, раз ему нипочем глазки хорошенькой девушки,— ответила горничная.— И, кроме того, что еще хуже, он может подумать, что тут что-то не так, что тут побольше, чем родственница. Господи боже! Не так уж много у нас серебра, чтобы швыряться золотом.— Прошептав это своей госпоже, она громко сказала: — Не хочет моя родня дожидаться, мистер Хеллидей; ну так вот, как вам угодно, а не то — будьте здоровы.

— Погодите чуточку, погодите,— оживился солдат,— попридержите лошадку, Дженни, и давайте столкуемся. Если я впущу вашу родственницу к моему арестанту, вы останетесь здесь и повеселите меня, пока она не выйдет оттуда, и тогда, знаете, никто из нас не будет внакладе.

— И тогда сам дьявол погонится за мной по пятам,— ответила Дженни.— Неужто вы думаете, что моя родственница и я заодно хотим потерять наше доброе имя; чтобы такие шалопаи, как вы, а в придачу и ваш арестант, пошли чесать языками. Нет уж, мы хотим, чтобы игра шла в открытую. Да, да, господа, прошу поглядеть, какая разница между обещаниями некоторых и исполнением их обещаний! Вы все наговаривали на бедного Кадди, что он такой да сякой; а попроси я его о чем хочешь, и мне бы не пришлось напоминать ему дважды о том же, даже если бы ему грозила за это веревка.

— Будь он проклят, ваш Кадди! — обозлился драгун.— Ему и так не уйти от веревки, могу поручиться. Я видел его сегодня в Милнвуде вместе с этой пуританскою сукой, его мамашей, и когда бы я знал, что он залезает в мою тарелку, то приволок бы его сюда, привязав к хвосту моей лошади; и отвечать бы мне за это не пришлось.

— Ладно, ладно, смотрите, да хорошенько, как бы Кадди не всадил в вас меткую пулю после того, что вы выгоните его в болота, вслед за многими порядочными людьми. Он здорово бьет по цели и был третьим, когда стрелял в попугая; и потом, он так же верен своим обещаниям, как верны его глаз и рука, хотя он не бахвалится, как иные ваши знакомые. Но это уже мое дело... Идем, дорогая, идем-ка отсюда.

— Погодите, Дженни, будь я проклят, если, посулив что-нибудь, тяну дольше других,— сказал солдат, начиная, видимо, колебаться.— Где сержант?

— Пьет и накачивается,— ответила Дженни,— вместе с управителем и Джоном Гьюдьилом.

— Значит, этот не в счет; а где остальные ребята? — продолжал Хеллидей.

— Хлещут медными жбанами вместе с птичником, егерем и еще кое-кем из прислуги.

— Много ли у них эля?

— Шесть галлонов, налитых верхом,— ответила девушка.

— Ну, тогда все в порядке, красавица,— сказал часовой, смягчаясь,— выходит, до смены можно не беспокоиться; чего доброго, они и запоздают маленько; так вот, если вы обещаете, что еще раз придете сюда, и одна...

— Может, приду, а может, и нет,— перебила солдата Дженни,— а если доллар будет у вас в руках, что вам до всего остального?

— Будь я проклят, если возьму его,— заявил Хеллидей и тут же взял доллар.— Это все-таки дело опасное: если Клевер-

хауз услышит про то, что я сделал, он поставит для меня кобылку ростом с ваш Тиллитудлем. Только в полку всякий берет, где может, и Босуэл со своей королевскою кровью подает хороший пример. Положиться на вас, чертенок вы этакий, значит, как говорится, попусту ноги бить и порох тратить, тогда как этот голубчик,— продолжал он, разглядывая монету,— куда бы ему ни попасть, всюду будет хорош. Проходите, двери для вас открыты, но смотрите! Не хныкать и не молиться с молодым вигом и, лишь только я крикну у двери,— не мешкать, как если бы горнист протрубил: «На коней — марш вперед!»

С этими словами Хеллидей отпер дверь в комнату заключенного, пропустил Дженни и ее мнимую родственницу, поглядел им вслед и принялся снова размеренным шагом прохаживаться по галерее, насвистывая, чтобы убить время, как полагается порядочным часовым на посту.

Пока дверь медленно отворялась, мисс Эдит увидела Мортона, который сидел за столом, положив голову на руки. Поза молодого человека свидетельствовала об охватившем его глубоком унынии. Услышав скрип отворяемой двери, он поднял голову и, заметив обеих женщин, вскочил со своего места, смотря на них изумленным взором. Эдит, в которой скромность боролась с решимостью, порожденной отчаянием, остановилась у двери, не имея сил ни заговорить, ни подойти ближе.

Все планы, с какими шла она к любимому человеку, чтобы помочь, поддержать и утешить его, казалось, улетучились, оставив в мыслях мучительный хаос; к тому же, допустив поступок, быть может, на взгляд Мортона, необдуманный и неподобающий женщине, она боялась, не уронила ли себя в его мнении. Неподвижная, почти лишившись сил, она повисла на руке своей спутницы, которая тщетно пыталась успокоить и ободрить ее, нашептывая ей на ухо:

— Раз мы уже здесь, сударыня, давайте как следует используем время; сержант или капрал, я уверена, все-таки захотят сделать обход, и будет досадно, если бедняга Хеллидей поплатится за свою любезность.

Между тем Мортон сделал несколько робких шагов навстречу пришедшим, подозревая истину, ибо какая другая женщина, кроме Эдит, могла в этом доме принимать к сердцу его злоключения. Однако из-за вечерней полутьмы и пледа, скрывавшего лицо незнакомки, он все еще опасался, как бы не впасть в ошибку, которая могла бы набросить тень на предмет его обожания. Дженни, сообразительность и расторопность которой ока-

зались как нельзя более кстати для исполняемой ею роли, поспешила растопить лед.

— Мистер Мортон, мисс Эдит глубоко сожалеет по поводу того положения, в котором вы в данное время находитесь, и...

Этого было достаточно: он порывисто устремился к Эдит, он был у ее ног, он сжимал ее руки, которые она без сопротивления отдала ему, он осыпал ее словами благодарности и нежной признательности; впрочем, его бессвязная речь едва ли могла бы быть понятна читателю без описания интонаций, жестов, страстных и стремительных проявлений глубокого и сильного чувства, сопровождавших ее.

Две-три минуты Эдит была неподвижна, как статуя святой девы, принимающей благоговейное поклонение; наконец, немного оправившись и отняв свои руки у Генри, она почти неслышно проговорила:

— Я позволила себе странный поступок, мистер Мортон, поступок,— продолжала она более связно, по мере того как усилием воли овладевала собой и собиралась с мыслями,— который, быть может, встретит с вашей стороны порицание... Но уже давно я разрешила вам пользоваться языком дружбы, и, может быть, даже больше... да, слишком давно, чтобы покинуть вас в таких обстоятельствах, когда вас покинул, по-видимому, весь свет. Как и почему вы арестованы? Что можно сделать? А мой дядя, который так высоко вас ценит, не может ли он помочь? Или ваш родственник Милнвуд? Что следует предпринять? И что, по-вашему, вам угрожает?

— Будь что будет,— ответил Генри, пытаясь завладеть рукою Эдит, которую она отняла у него и которую теперь снова ему отдала,— будь что будет; сейчас я ощутил, что все случившееся со мной — самое счастливое событие моей скучной жизни. Вам, моя дорогая Эдит,— простите меня, я должен был бы сказать: мисс Белленден, но несчастье притязает на особые привилегии,— вам я обязан несколькими мгновениями счастья, осветившими солнечным светом мое тусклое существование, и если теперь ему будет положен конец, воспоминание о чести, которой вы меня удостоили, сделает меня бесконечно счастливым даже в мой смертный час.

— Неужели ваше дело так безнадежно, мистер Мортон? — спросила Эдит.— Неужели вы оказались так внезапно и так глубоко втянуты в эти злосчастные распри, хотя всегда были от них в стороне, что не рассчитываете сохранить свою...

Она остановилась, не в силах произнести слово, которое должно было за этим последовать.

— Жизнь, вы хотели сказать? — отозвался на ее слова Мортон спокойным, но грустным тоном.— Решение, полагаю, всецело зависит от судей. Мои стражи считают, что мне могут заменить смертную казнь отправкой в один из наших находящихся за границей полков. Я думал, что могу согласиться на это, но теперь, мисс Белленден, встретившись с вами еще раз, я понял, что ссылка была бы для меня горше смерти.

— Неужели вы действительно так опрометчиво вступили в сношения с одним из тех свирепых злодеев, которые умертвили примаса?

— Предоставляя ночлег,— сказал Мортон,— и укрывая у себя одного из этих безумных и жестоких людей — старинного друга и соратника моего отца, я не знал еще об убийстве архиепископа. Но это обстоятельство едва ли облегчит мою участь Ибо кто же, мисс Эдит, кроме вас, поверит мне в этом? И что еще хуже, я никоим образом не могу заявить с полной уверенностью, что, даже зная о преступлении, я смог бы переломить себя и при любых обстоятельствах отказать во временном приюте тому, кто искал его у меня.

— Но кто же,— сказала Эдит, встревоженная услышанным,— будет производить расследование по вашему делу?

— Мне дали понять, что я предстану пред полковником Грэмом Клеверхаузом,— сказал Мортон,— он один из членов военной комиссии, которой королю, Тайному совету, а также парламенту — последнему более всего подобало бы оберегать наши свободы — было угодно вручить право распоряжаться нашим имуществом и нашею жизнью.

— Пред Клеверхаузом! — произнесла Эдит совершенно упавшим голосом.— Боже мой, вы погибли! Вы погибли прежде, чем предстанете перед судом! Он писал моей бабушке, что завтра будет у нас проездом, направляясь в главный город нашего графства, где несколько отчаянных вигов, воодушевляемых присутствием в их среде двух или трех убийц примаса, собрались вместе с целью поднять восстание против правительства. Выражения, которыми он пользуется в письме, заставили меня содрогнуться, хотя я не знала тогда, что... что мой друг...

— Не надо чрезмерно тревожиться обо мне, моя родная Эдит,— сказал Генри, заключая ее в объятия,— хотя Клеверхауз беспощаден и крут, но все говорят, что он человек прямой, благородный и честный. Я сын солдата и буду защищаться, как подобает солдату. Он благосклоннее, может статься, отнесется к открытой и бесхитростной речи, чем это сделал бы подобострастный и трусливый судья. В самом деле, в наше время, ко-

гда суд всех инстанций прогнил насквозь, я предпочитаю расстаться с жизнью в результате неприкрытого произвола военщины, чем быть приговоренным к смертной казни при помощи какого-нибудь подлого фокуса, придуманного прожженным судейским крючком, который использует свое знание законов и кодексов, созданных, чтобы оказывать нам защиту, для того, чтобы добиваться нашего осуждения.

— Вы погибли, погибли, если ваше дело зависит от Клеверхауза! — вскричала Эдит.— «Искоренить до основания» — это наиболее мягкое из его выражений. Несчастный примас был ему близким другом, а в дни молодости полковника Грэма — и его покровителем. «Никакие оправдания, никакие увертки,— говорится в его письме,— не спасут ни тех, кто непосредственно причастен к этому злодеянию, ни тех, кто покровительствовал убийцам или предоставлял им убежище, от сурового наказания, предусмотренного законами, и я буду непреклонен до тех пор, пока не отдам в отмщение за это чудовищное убийство столько же жизней, сколько на голове этого почтенного старца было седых волос». Тщетно надеяться на сострадание или сочувствие.

Дженни Деннисон, хранившая до этой поры молчание, видя, что влюбленные, понимая опасность, тем не менее не могут найти против нее средства, решилась подать совет:

— С позволения вашей милости, мисс Эдит, а также вашей, молодой мистер Мортон, нам нельзя терять время. Пусть Милнвуд возьмет мой плед и мое платье; я мигом сброшу их в темном углу, если он обещает, что не будет смотреть. И он как ни в чем не бывало пройдет мимо Тома Хеллидея, который наполовину ослеп от своего эля; я расскажу мистеру Гарри, как ему потихоньку выбраться из нашего замка; а ваша милость, мисс Эдит, спокойно отправится к себе в комнату; я же завернусь в серый плащ и надену на себя шляпу и буду изображать заключенного, пока можно, а потом позову Тома и заставлю его меня выпустить,

— Выпустить? — сказал Мортон.— Да вы за это поплатитесь жизнью!

— Нисколечко,— ответила Дженни.— Том ради себя самого не посмеет признаться, что он хоть кого-то впустил в эту комнату; и я заставлю его как-нибудь объяснить исчезновение арестованного.

— Так вот оно что, черт подери! — сказал часовой, внезапно показываясь в дверях.— Если я наполовину ослеп, то еще не оглох, и вам не нужно было так громко трещать о своем замысле, раз вы хотели его исполнить. А ну-ка, мисс Дженет,

марш! Отряд, рысью! В галоп! Черт меня поберп! А вы, госпожа родственница,— не хочу дознаваться вашего настоящего имени,— хоть вы и собирались сыграть со мною такую подлую шутку, должен ли я очистить свой пост? Должен. А раз так, давай пошевеливайся, пока вы не устроили мне подвоха.

— Надеюсь,— сказал Мортон, обеспокоенный неожиданным оборотом, которое приняло дело,— надеюсь, вы не станете рассказывать о случившемся, друг мой, и поверите моему слову, что я постараюсь отплатить за вашу любезность, буде вы сохраните происшедшее в тайне. Если вы подслушивали нашу беседу, то должны были заметить, что мы не приняли и даже не обсуждали опрометчивого предложения этой доброй и сострадательной девушки.

— Доброй и сострадательной девушки! Черта с два! — сказал Хеллидей.— Что до прочего, я догадываюсь, в чем тут дело, да я не охотник разносить сплетни или болтать всякую всячину, как другие; но только эту плутовку Дженни Деннисон благодарить не за что; она заслуживает основательной трепки, потому что тащит бедного парня прямо в беду, и все из-за того, что ему сдуру понравилась ее осыпанная веснушками рожица.

Дженни располагала только теми средствами самозащиты, к которым во всех трудных случаях имеют обыкновение прибегать представительницы прекрасного пола, и часто не безуспешно; она прижала к лицу носовой платок и начала судорожно рыдать, и то ли действительно плакала, то ли притворялась, что плачет, как мог бы сказать Хеллидей,— но ее всхлипывания были поразительно правдоподобны.

— А теперь,— продолжал солдат, немного смягчаясь,— если вам нужно еще о чем-нибудь потолковать, толкуйте себе, даю вам ровно две минуты на это, и вообще, покажите мне поскорей свои спины; ведь взбреди в пьяную башку Босуэла произвести смену на полчаса раньше, солоно придется и мне и вам заодно.

— Прощайте, Эдит,— прошептал Мортон, собирая всю свою твердость, которой у него в эту минуту было не слишком много.— Уходите, уходите, предоставьте меня судьбе; что бы ни ожидало меня, я стерплю решительно все, раз вы думаете и помните обо мне. Покойной ночи, покойной ночи! Идите, чтобы вас тут не застигли.

Произнеся эти слова, он препоручил Эдит ее спутнице, которая не торопясь вывела ее под руку из комнаты узника.

— Конечно, у каждого свой собственный вкус,— сказал Хеллидей,— но черт меня побери, когда бы я стал огорчать та-

кую милую девушку даже из-за всех вигов, поклявшихся в верности ковенанту.

Добравшись до своей комнаты, Эдит дала волю отчаянию, что немало встревожило Дженни, которая принялась утешать ее, приводя все доводы, которые только могла измыслить.

— Не надо так огорчаться, мисс Эдит,— говорила верная горничная,— кто знает, откуда может прийти помощь молодому Мортону? Он кавалер храбрый, и добрый, и честный, и они не вздернут его, как тех бедняг вигов, которых вылавливают на болоте и потом развешивают на деревьях, точно связки зимнего лука; может, его вызволит дядя, а может, и ваш дядюшка замолвит за него слово: уж кому-кому, а ему знакомы все эти господа красные куртки.

— Верно, Дженни! Верно,— сказала Эдит, оправляясь понемногу от овладевшего ею оцепенения.— Сейчас не время предаваться отчаянию, сейчас нужно действовать. Найди кого-нибудь, кто отвез бы этой же ночью письмо моему дяде.

— В Чарнвуд, сударыня? Но ведь страшно поздно, и туда целых шесть миль, да еще кусок вниз, до реки; боюсь, что нам не найти этой ночью ни человека, ни лошади; к тому же они поставили часового у ворот. Бедный Кадди! Нет его больше с нами, бедняги, а то бы он сделал все, чего бы от него ни потребовали, и даже не спросил бы, зачем это нужно. А с новым пахарем у меня еще не было времени познакомиться, и потом, говорят, будто он собирается взять за себя Мег Мердисон, эту жалкую коротышку.

— И все-таки ты *должна* кого-нибудь отыскать, слышишь, Дженни; от этого зависит жизнь или смерть Генри Мортона.

— Я бы отправилась и сама, моя леди; я могу вылезти из окошка чулана и спуститься вниз по старому тису; я проделывала это не раз. Но дорога в Чарнвуд страсть какая безлюдная, а тут шатается столько красных курток, не говоря уж о вигах, которые поведут себя нисколько не лучше (молодые парни, конечно), если встретят такое слабое существо, да еще одну-одинешеньку, да еще в пустоши. Я не постояла бы, чтобы пойти в Чарнвуд пешком, я могу, и даже очень могу, пройти десять миль, когда светит луна.

— Неужели ты так и не сможешь вспомнить о ком-нибудь, кто ради денег или из преданности согласится оказать эту услугу?! — в волнении воскликнула Эдит.

— Нет, пожалуй, что не смогу,— ответила после некоторого раздумья Дженни.— Разве Гусенок Джибби; только он,

может статься, не знает дороги, хотя отыскать ее проще простого, если он будет держаться конной тропы, да не забудет свернуть у Капперклю, и не потонет в Хумлеккернской топи, и не свалится с утеса у Чертова луга, или не оступится на щербатых ступеньках Уолкуорского перехода, или не наткнется на вигов, которые уведут его с собой в горы, или не наскочит на красные куртки и они не потащат его в тюрьму.

— Надо все-таки попытаться,— сказала Эдит, пресекая перечень происшествий, могущих помешать благополучному прибытию Джибби к конечному пункту его многотрудных странствий,— нужно рискнуть, раз не найти гонца понадежнее. Поди вели мальчику приготовиться, и потом ты сама выведешь его из замка, да так, чтобы никто не заметил. Если его остановят в пути, пусть скажет, что несет письмо майору Беллендену из Чарнвуда, но не называет других имен.

— Понимаю, сударыня,— сказала Дженни,— я уверена, что парнишка справится с этим делом, а Тиб, нашей птичнице, я скажу, чтобы она присмотрела за птицей, и еще я передам Джибби, что ваша милость поговорит с леди Маргарет, и он получит прощение, и что мы дадим ему доллар.

— Пообещай ему два, если он удачно выполнит поручение,— приказала Эдит.

Дженни пошла будить Джибби, так как, укладываясь на покой на заходе солнца или чуть позже вместе с гусями и прочей, находящейся под его присмотром домашней птицей, он в это время уже спал. Пока Дженни отсутствовала, Эдит успела написать следующее письмо, адресовав его: «В собственные руки майора Беллендена из Чарнвуда, моего глубокочтимого дяди».

«Дорогой дядя! Пишу, чтобы известить вас о том, что я хотела бы знать, как ваша подагра,— мы не встретили вас на смотре, и это обеспокоило и бабушку и меня. И если вам не повредит выехать, мы будем счастливы видеть вас в нашем скромном жилище завтра за утренним завтраком, так как полковник Грэм Клеверхауз, проходя с полком, обещал быть у нас, и мы бы хотели, чтобы вы помогли нам встретить и принять у себя столь заслуженного воина, которого, возможно, не очень-то развлечет общество женщин. И кроме того, дорогой дядя, передайте, пожалуйста, миссис Карфорт, вашей домоправительнице, что я прошу ее переслать мое платье из падуанского шелка — с такой же подкладкой и со свисающими рукавами; она найдет его в третьем ящике в ореховом шкафу, что в зеленой комнате, ко-

торую вы по своей доброте зовете моею. И еще, дорогой дядя, пришлите, пожалуйста, второй том «Кира Великого», так как я прочла только до заточения Филидаспа в тюрьму на семьсот тридцать третьей странице. Но самое главное, дядя, приезжайте к нам завтра утром, к восьми, что вы сможете сделать, не поднимаясь раньше обычного часа,— ведь у вас такой замечательный иноходец. Итак, моля бога о вашем здоровье, остаюсь вашей почтительною и любящею племянницей

*Эдит Белленден.*

P. S. Сегодня под вечер несколько лейб-гвардейцев доставили сюда арестованного — это ваш юный друг Генри Мортон из Милнвуда. Предполагая, что вас огорчит происшествие с этим молодым джентльменом, довожу об этом до вашего сведения на случай, если вы вздумаете ходатайствовать за него перед полковником Грэмом. Я не называла бабушке его имени, так как знаю ее неприязнь к семье Мортонов».

Письмо было надлежащим образом запечатано и отдано Дженни, после чего преданная служанка поспешила вручить его Джибби, готовому тронуться в путь. Она подробно объяснила ему, как нужно идти, так как предвидела, что он, конечно, собьется с дороги, не проделав ее предварительно раз пять или шесть, ибо природа наградила его такой же скудною порцией памяти, как и ума. В заключение она тихонько выпроводила его через окно кладовой, откуда он перелез на раскидистый тис, и с облегчением вздохнула, увидев, что Джибби благополучно достиг земли и, пускаясь в странствие, пошел в нужном направлении. Возвратившись к своей молодой госпоже, Дженни принялась уговаривать ее прилечь и хотя бы немного вздремнуть, уверяя ее, что Джибби, без сомнения, справится со своим посольством, и, кстати, мимоходом посетовала, что нет ее верного Кадди, который куда лучше исполнил бы подобное поручение.

Джибби-гонец оказался удачливее Джибби-кавалериста. Благодаря счастливой случайности, а не сметливости и расторопности, сбившись с пути не менее девяти раз и дав своему платью испробовать вкус воды во всех лужах, ручьях и болотах между Тиллитудлемом и Чарнвудом, он уже на рассвете добрался до ворот старого дома майора Беллендена, пройдя десять миль (ибо «кусок», как обычно, составлял добрых четыре мили) за десять часов с небольшим.

## ГЛАВА XI

Во двор к нам примчался отряд удалой.
И там капитан им скомандовал: «Стой!»

*Свифт*

Давнишний слуга майора Беллендена Гедеон Пайк, принеся к постели своего господина одежду, приготовленную для утреннего туалета почтенного старого воина, и разбудив его на час раньше обычного, сообщил ему в свое оправдание, что из Тиллитудлема прибыл нарочный.

— Из Тиллитудлема? — переспросил старый джентльмен, поспешно поднимаясь с постели и усаживаясь на ней.— Отвори ставни, Пайк; надеюсь, моя невестка здорова; откинь полог, Пайк. Что тут такое? — продолжал он, бросая взгляд на письмо Эдит.— Подагра? Какая подагра? Она отлично знает, что у меня не было приступа с самого сретенья. Смотр? Но ведь я говорил ей месяц назад, что не собираюсь там быть. Платье из падуанского шелка со свисающими рукавами? Повесить бы ее самое! Кир Великий и Филипп Даст. Филипп Черт Подери! Девчонка спятила, что ли? Стоило ли посылать нарочного и будить меня в пять утра ради такой дребедени! А что в постскриптуме? Боже мой! — воскликнул он, пробежав приписку.— Пайк, Пайк, немедленно седлай старика Килсайта и другого коня для себя!

— Надеюсь, сэр, ничего тревожного из Тиллитудлема? — спросил Пайк, пораженный внезапным порывом своего господина.

— Ничего... то есть... да, да, ничего; я должен там встретиться с Клеверхаузом по неотложному делу; итак, Пайк, в седло! Как можно быстрей! О господи! Ну и времена! Бедный мальчик... Сын моего соратника и старого друга! И глупая девчонка заткнула это известие куда-то в постскриптум, как она сама выражается, после всего этого вздора о старых платьях и новых романах!

В несколько минут старый офицер был совершенно готов к отъезду; усевшись на коня столь же величественно, как это сделал бы сам Марк Антоний, он направился в Тиллитудлем.

Зная о давней ненависти леди Маргарет ко всем без исключения пресвитерианам, он по дороге благоразумно решил не со-

общать ей о том, кто и какого звания арестованный, находящийся в ее замке, но самостоятельно добиваться от Клеверхауза освобождения Мортона.

«Человек исключительной честности и благородства, он не может не пойти навстречу старому роялисту,— размышлял ветеран.— Все говорят, что он хороший солдат, а если так, то он с радостью поможет сыну старого воина. Я еще не встречал настоящих солдат, которые не были бы простосердечны, не были бы честными и прямыми ребятами; и я полагаю, что было бы в тысячу раз лучше, если бы стоять на страже законов (хотя грустно, конечно, что они находят необходимым издавать такие суровые) доверили людям военным, а не мелочным судейским крючкам или меднолобым сельским дворянам».

Таковы были размышления майора Майлса Беллендена, прерванные подвыпившим Джоном Гьюдьилом, который принял у него повод и помог ему спешиться на грубо вымощенном дворе Тиллитудлема.

— Ну, Джон,— сказал майор,— хороша у тебя, черт подери, дисциплина! Ты, никак, уже с утра успел начитаться женевской стряпни?

— Я читал литании,— ответил Джон, покачивая головой и смотря на майора с хмельною важностью (он уловил лишь одно слово из всего сказанного майором).— Жизнь коротка, сэр, и мы — полевые цветы, сэр, ик... ик... и лилии дола.

— Цветы и лилии? Нет, приятель, такие чудища, как мы с тобой, едва ли заслуживают другого названия, чем плевел, увядшая крапива или сухой бурьян; но ты считаешь, видимо, что мы все еще нуждаемся в орошении?

— Я старый солдат, сэр, и, благодарение господу, ик... ик...

— Ты всего-навсего старый пьянчуга, приятель. Ладно, старина, проводи меня к своей госпоже.

Джон Гьюдьил привел майора в большой, выложенный каменными плитами зал, где леди Маргарет, суетясь и поминутно меняя свои приказания, заканчивала приготовления к приему знаменитого Клеверхауза, которого одни чтили и превозносили до небес, как героя, а другие проклинали, как кровожадного угнетателя.

— Разве я вам не сказала,— говорила леди Маргарет, обращаясь к своей главной помощнице,— разве я вам не сказала, Мизи, что хотела бы соблюсти в точности то убранство стола, которое было в столь памятное мне утро, когда его священнейшее величество вкушал завтрак у нас в Тиллитудлеме?

— Конечно, ваша милость именно так и приказывали, и я сделала как только могла получше...— начала было Мизи, но леди Маргарет, не дав ей докончить, перебила:

— Почему в таком случае паштет из дичи оказался у вас по левую руку от трона, а графин с кларетом — по правую, когда, как вы хорошо помните, Мизи, его священнейшее величество собственноручно переставил паштет поближе к графину, сказав, что они приятели и разлучать их негоже.

— Я это очень хорошо помню, сударыня,— сказала Мизи,— а если бы, упаси боже, запамятовала, то ваша милость вспоминали об этом счастливом утре многое множество раз; но я думала, что все нужно поставить совсем так, как оно было при входе в этот зал его величества, благослови его господь,— он больше походил бы на ангела, чем на мужчину, когда бы не был таким смуглым с лица.

— А раз так, Мизи, значит, вы плохо думали и додумались до чепухи: ведь как бы его священнейшее величество ни переставлял графины и кубки, это в не меньшей мере, чем королевская воля в более значительных и важных делах, должно быть законом для его подданных, и будет всегда таковым для тех, кто имеет отношение к Тиллитудлему.

— Все в порядке, сударыня,— сказала Мизи, делая необходимые перестановки,— ошибку нетрудно исправить; но только если всякой вещи полагается быть такой же, какою ее оставил король, то в паштете, с вашего позволения, была очень даже немалая дырка.

В это мгновение приоткрылась дверь.

— В чем дело, Джон Гьюдьил! — воскликнула старая леди.— Я занята и не стану ни с кем разговаривать. А, это вы, дорогой брат? — продолжала она, несколько удивившись при виде майора.— Ранехонько вы к нам сегодня пожаловали.

— Хоть и ранним гостем, но, надеюсь, все же желанным,— ответил майор, здороваясь со вдовой своего покойного брата.— Я узнал из записки, присланной Эдит в Чарнвуд по поводу кое-каких ее нарядов и книг, что вы ожидаете нынешним утром Клеверза, и подумал, что такой старый ружейный кремень, как я, не без удовольствия поболтал бы с этим идущим в гору солдатом. Я приказал Пайку седлать Килсайта, и вот мы оба у вас.

— И до чего кстати,— сказала старая леди,— Я сама хотела просить вас об этом, но посчитала, что уже поздно. Как видите, я занимаюсь приготовлениями. Все должно быть совершенно таким же, как тогда...

— Когда король завтракал в Тиллитудлеме,— сказал майор, который, подобно всем друзьям леди Маргарет, боялся повествования об этом событии и поторопился пресечь хорошо известный ему рассказ.— Да, да, это утро крепко засело у меня в памяти; вы помните, ведь я служил его величеству за столом.

— Совершенно верно,— сказала леди Маргарет,— и вы можете, должно быть, напомнить мне некоторые подробности.

— Нет, сестрица, увы! — ответил майор.— Проклятый обед, которым через несколько дней Нол угостил нас под Вустером, вышиб из моей памяти все ваши чудесные яства. Но что я вижу? Тут даже то большое турецкое кресло, и на нем те же подушки.

— Трон, братец; с вашего позволения, это трон,— наставительно произнесла леди Маргарет.

— Трон так трон,— продолжал майор,— и он послужит Клеверзу исходной позицией для атаки на паштет, не так ли, сестрица?

— Нет, братец,— ответила леди,— эти подушки покоили на себе нашего обожаемого монарха, и их, даст бог, не обременит, пока я жива, тяжесть какой-нибудь менее достойной особы.

— В таком случае,— сказал старый солдат,— вам не следовало оставлять их на глазах почтенного старого кавалериста, проскакавшего до завтрака десять миль; признаюсь, они выглядят страшно заманчиво. А где Эдит?

— У зубцов сторожевой башенки,— ответила старая леди,— ждет, когда покажутся наши гости.

— Ну что ж, пожалуй, и я поднимусь наверх. И раз этот зал приведен в полную боевую готовность, то и вам не мешало бы отправиться вместе со мной. Чудесная вещь, доложу вам, любоваться кавалерийским полком на марше.

Произнося эти слова, майор со старинной галантностью предложил леди Маргарет руку, принятую ею с теми церемониями и выражениями признательности, что были в ходу в Холирудском дворце до 1642 года, который на время вывел из моды и придворные церемонии, и дворцы.

У зубцов башенки, куда они поднялись, проделав нелегкий путь по винтовой лестнице с неудобными, грубо сложенными ступенями, майор увидел Эдит, нисколько не похожую на молодую девицу, сгорающую от нетерпения и любопытства в ожидании блестящих драгун, но, напротив, бледную, подавленную, с лицом, которое неоспоримо доказывало, что минувшею ночью сон не слетал к ее изголовью. Доброго старого воина поразил и огорчил ее измученный вид, тогда как леди Маргарет в суете приготовлений к приему высокого гостя ничего этого, видимо, не замечала.

— Что с тобой, глупышка? — сказал он, обращаясь к Эдит.— Почему ты выглядишь как жена офицера, раскрывающая после кровавого дела «Ньюз леттер» и боящаяся найти в списке убитых и раненых имя своего супруга? Впрочем, причина ясна: ты начиталась этих дурацких романов, ты глотаешь их днем и ночью и льешь слезы над страданиями, которых никто никогда не испытывал. Каким образом, черт побери, можешь ты верить бессмысленным басням вроде того, что Артамен, или как его там, сражался в одиночку против целого батальона? Удачно сразиться одному против трех — и то величайшее чудо, и я никогда не встречал никого, кроме капрала Раддлбейна, кто решался бы драться при этих условиях. А эти проклятые книги изображают какие-то совершенно невероятные подвиги, и позволительно думать, что, окажись Раддлбейн рядом с твоим Артаменом, ты сочла бы капрала полным ничтожеством. Я охотно отправил бы тех, кто стряпает такую несусветную чушь, на аванпосты, поближе к огню.

Леди Маргарет, которая и сама любила романы, не преминула вступиться за них.

— Мосье Скюдери,— сказала она,— сам солдат, и, как мне приходилось слышать, отличный; то же самое и господин д'Юрфе.

— Тем хуже для них; кому-кому, а им полагалось бы основательней знать то, о чем они пишут. Что до меня, то последние двадцать лет я не раскрывал ни одной книги, за исключением Библии, да еще «В чем долг человека», и, совсем недавно,— сочинения Тернера «Pallas Armata, или Руководство к использованию пикинеров», хотя и не согласен с придуманною им тактикой. Он предлагает располагать кавалерию впереди пикинеров, вместо того чтобы помещать ее на их крыльях; не сомневаюсь, что, поступи мы так при Килсайте и не поставь горсточки наших всадников с флангов, противник первой же своею атакой смял бы их и оттеснил к нашим горцам. Но что это? Я слышу литавры.

Все устремились к зубцам башенки, откуда открывался вид на далеко протянувшуюся долину реки. Замок Тиллитудлем стоял, а может быть, стоит и поныне на очень крутом и обрывистом берегу Клайда [1], в том месте, где в него впадает довольно

[1] Замок Тиллитудлем — плод фантазии автора; впрочем, развалины замка Кренсена, на берегу Нисена, приблизительно в трех милях от его слияния с Клайдом, напомнят читателю описания, которые он встретит в романе.

большой ручей. Через этот ручей, близ его устья, был переброшен узкий горбатый одноарочный мост, и по этому мосту, а затем у основания высокого и изрезанного берега проходила, извиваясь, большая дорога; укрепления Тиллитудлема, господствовавшие над дорогой и переправой, приобретали в военное время исключительно большое значение, ибо, кто хотел обеспечить за собой пути сообщения между лежащими выше глухими и дикими округами и теми, что находятся ниже, где долина расширяется, становясь пригодной для земледелия, тот должен был удерживать в своих руках эту твердыню. Внизу повсюду расстилались леса; впрочем, на ровных местах и слегка покатых склонах в непосредственном соседстве с рекой виднелись хорошо возделанные поля неправильной формы, отделенные одно от другого живыми изгородями и рощицами; было очевидно, что эти участки отвоеваны человеком у леса, который теснил их отовсюду, занимая сплошным массивом более крутые откосы и более отдаленные берега. Чистый сверкающий поток коричневого оттенка, напоминающего кернгорнский горный хрусталь, пробегает по этой романтической местности, делая смелые изгибы и петли, то прячась между деревьями, то вновь открываясь взору. С предусмотрительностью, неведомой в других уголках Шотландии, крестьяне развели вокруг своих жилищ сады, и бурное цветение яблонь в эту весеннюю пору придавало нижнему краю долины вид огромного цветника.

Вверх по течению Клайда характер пейзажа заметно менялся к худшему. Холмистый, пустынный, невозделанный край подступал к берегам реки, деревья здесь были редкими и теснились поближе к потоку; невдалеке от него унылые пустоши сменялись тяжелыми и бесформенными холмами, которые, в свою очередь, переходили в гряду величавых, высоких гор, смутно различаемых на горизонте. Таким образом, с башни открывался вид в двух направлениях: с одной стороны — на прекрасно возделанную и веселую местность, с другой — на дикие и мрачные, поросшие вереском пустоши.

Глаза собравшихся у зубцов башенки были прикованы к нижней стороне долины, и не только из-за того, что вид этот был привлекательнее, но также и потому, что оттуда, где извивалась, взбираясь вверх, большая дорога, начали доноситься далекие звуки военной музыки, возвещавшей приближение давно ожидаемого полка лейб-гвардейцев. Вскоре в отдалении показались их тускло поблескивавшие ряды; они то исчезали, то вновь появлялись, так как иногда их скрывали деревья и изгибы дороги, и вообще различить их можно было главным образом по

вспышкам яркого света, который время от времени излучало на солнце оружие. Колонна была длинная и внушительная — в ней насчитывалось до двухсот пятидесяти всадников; сверкание их палашей и развевающиеся знамена в сочетании со звонкими голосами труб и громыханием литавр заставляли сердца трепетать страхом и радостным возбуждением. По мере их приближения все отчетливее становились видны ряды этих отборных солдат, в полном вооружении и на великолепных конях, следовавшие длинною вереницей друг за другом.

— Это зрелище молодит меня лет на тридцать,— сказал старый кавалерист,— и все же мне был бы не по душе тот род службы, который навязывают этим бедным ребятам. Мне пришлось испить свою чашу во время гражданской войны; могу сказать, не колеблясь, что никогда не служил я с таким удовольствием, как за границей, когда мы рубились с врагами, у которых и лица и язык были чужими. Скверное дело слышать, как кто-нибудь на родном, шотландском наречии молит тебя о пощаде, а ты должен рубить его, как если бы он вопил чужеземное «Miséricorde!» [1] Ба, да они уже в Несервудской низинке; славные ребята, честное слово! И какие кони! Тот, кто несется вскачь от хвоста колонны к ее голове, не кто иной, как сам Клеверз; вот он уже впереди, и они въехали на мост; не пройдет и пяти минут, как они будут у нас.

Возле моста, под башней, полк разделился надвое, причем бóльшая часть, поднявшись по левому берегу ручья и переправившись вброд несколько выше, пустилась к ферме — так обычно называли большую усадьбу с различными хозяйственными постройками,— где по приказанию леди Маргарет все было готово для их приема и угощения. Только офицеры со своим знаменем и охраной при нем направились по круто поднимавшемуся проезду к главным воротам замка, исчезая время от времени за выступами берега или среди огромных старых деревьев, скрывавших их своими ветвями. Наконец узкая тропа кончилась, и они оказались перед фасадом старого замка, ворота которого были гостеприимно распахнуты в ожидании их прибытия. Леди Маргарет вместе с Эдит и деверем, поспешно спустившись со своего наблюдательного поста, в сопровождении многочисленной свиты из слуг, которые в меру возможного, принимая во внимание вчерашнюю оргию, все же соблюдали установленный этикет, появилась перед гостями, чтобы встретить и

---

[1] Пощады! *(франц.)*

приветствовать их. Отменно галантный юный корнет (родня и тезка Клеверхауза, с которым читатель успел уже познакомиться) в знак уважения к высокому титулу знатной хозяйки и чарам ее красавицы внучки под звуки фанфар склонил офицерское знамя, и старые стены ответили эхом на перезвончатые голоса труб и на топот и ржание коней.

Клеверхауз без посторонней помощи спрыгнул с вороного коня, который, быть может, был самым красивым во всей Шотландии. На нем не было ни одного белого волоска, и это обстоятельство, наряду с его нравом, быстротою и тем, что он нередко носил на себе своего седока в погоню за мятежными пресвитерианами, породило среди последних молву, что скакун был подарен своему нынешнему владельцу самим сатаною, чтобы помогать ему в преследовании этих вечных скитальцев. После того как Клеверхауз с чисто военной учтивостью выразил свое почтение дамам и принес извинения за все неудобства, которые причинил леди Маргарет и ее близким, а в ответ выслушал от нее подобающие случаю уверения в том, что никаких неудобств не было, да и быть не могло, раз столь заслуженный воин и столь верный слуга его величества короля оказывает своим присутствием честь стенам ее Тиллитудлема,— короче говоря, после того, как были соблюдены все правила и формулы гостеприимства и вежливости, полковник попросил у леди Маргарет позволения выслушать рапорт сержанта Босуэла, стоявшего тут же, и, отойдя в сторону, коротко с ним переговорил. Майор Белленден воспользовался этой заминкой и сказал, обращаясь к племяннице, однако так, чтобы леди Маргарет не услышала его слов:

— Ну и глупышка ты, Эдит! Посылать с нарочным письмо, набитое всяким вздором о книгах и тряпках, и всунуть единственное, за что можно дать мараведи, куда-то в самый конец, в постскриптум!

— Я не знала,— ответила Эдит в замешательстве,— я не знала, подобало ли мне, подобало ли...

— Понимаю, ты хочешь сказать: ты не знала, имеешь ли право испытывать сочувствие к пресвитерианину. Но я знал еще отца этого парня. Он был славный солдат, и если был когда-то на ложном пути, то был и на правильном. Я должен похвалить твою осторожность, Эдит: бабушке действительно не стоит говорить об этом юноше; ты можешь рассчитывать на мое молчание, я тоже не стану посвящать ее в это дело. Попробую поговорить с Клеверзом. Пойдем, дорогая, они уже отправились завтракать. Нужно идти и нам.

## ГЛАВА XII

С утра они плотно решили поесть —
Такой уж обычай у путников есть.

*Прайор*

Завтрак леди Маргарет Белленден столько же походил на современный «dejeuner» [1], как большой, выложенный каменными плитами зал Тиллитудлема — на современную столовую. Ни чая, ни кофе, ни булочек, ни печенья, но зато солидная и существенная еда: пасторский окорок, рыцарское филе, благородная вырезка, отменный паштет из дичи; при этом серебряные кувшины, едва спасенные от ковенантеров и теперь вновь извлеченные из тайников, некоторые с элем, другие с медом, а прочие с тонким вином различных сортов и букетов. Аппетит гостей вполне соответствовал великолепию и солидности поданных яств — не вялое поклевыванье, не детская забава, а упорное и длительное упражнение челюстей, к которому приучают ранний подъем и тяготы походной жизни.

Леди Маргарет с наслаждением наблюдала за тем, как заготовленные ею лакомые кусочки с поразительной быстротой исчезали во чреве ее почетных гостей; ей почти не приходилось потчевать кого-либо из них, за исключением разве одного Клеверхауза, а между тем в обычае дам той эпохи было вкладывать в это дело такую неумолимость, словно их гости подвергаются peine forte et dure [2].

Впрочем, самый почетный гость, озабоченный больше комплиментами по адресу мисс Белленден, возле которой его посадили, чем удовлетворением своего аппетита, был недостаточно внимателен к расставленным перед ним изысканным блюдам. Эдит молча слушала бесчисленные любезности, которые он ей расточал голосом, обладавшим счастливой способностью мягко журчать в приятной беседе, но в шуме сражения звучать «сребровонной трубой». Сознание, что она находится рядом с внушающим ужас вождем, от чьего «да будет так» зависит судьба Генри Мортона, воспоминание о страхе и благоговейном трепете, порождаемых одним именем этого военачальника, лишили ее на время не только смелости отвечать на его вопросы, но даже решимости взглянуть на него. Когда же, ободренная наконец его тоном, она подняла на него глаза и пролепетала что-то

[1] Легкий завтрак *(франц.)*.
[1] Наказанию суровому и тяжелому *(франц.)*.

ему в ответ, оказалось, что в сидящем рядом с ней человеке нет ни одного из тех жутких свойств, которыми она его наделила в своем воображении.

Грэм Клеверхауз был во цвете лет, невысок ростом и худощав, однако изящен; его жесты, речь и манеры были такими, каковы они обычно у тех, кто живет среди веселья и роскоши. Черты его отличались присущей только женщинам правильностью. Овальное лицо, прямой, красиво очерченный нос, темные газельи глаза, смуглая кожа, сглаживавшая некоторую женственность черт, маленькая верхняя губа со слегка приподнятыми, как у греческих статуй, уголками, оттененная едва заметной линией светло-каштановых усиков, и густые, крупно вьющиеся локоны такого же цвета, обрамлявшие с обеих сторон его выразительное лицо,— это была наружность, какую любят рисовать художники-портретисты и какою любуются женщины.

Суровость его характера, равно как и более возвышенное качество — безграничная и деятельная отвага, которую вынуждены были признавать в нем даже враги, таилась за внешностью, подходившей, казалось, скорее придворному или завсегдатаю салонов, чем солдату. Благожелательность и веселость, которыми дышали черты его привлекательного лица, одушевляли также любое его движение и любой жест; на первый взгляд Клеверхауз мог показаться скорее жрецом наслаждений, чем честолюбия. Но за этой мягкой наружностью скрывалась душа, безудержная в дерзаниях и замыслах и вместе с тем осторожная и расчетливая, как у самого Макиавелли. Глубокий политик, полный, само собой разумеется, того презрения к правам личности, которое порождается привычкой к интригам, этот полководец был холоден и бесстрастен в опасностях, самонадеян и пылок в своих действиях, беззаботен перед лицом смерти и беспощаден к врагам. Таковы бывают люди, воспитанные временем раздоров, люди, чьи лучшие качества, извращенные политическою враждой и стремлением подавить обычное в таких случаях сопротивление, весьма часто сочетаются с пороками и страстями, сводящими на нет их достоинства и таланты.

Пытаясь отвечать на любезности Клеверхауза, Эдит проявила столько застенчивости, что ее бабушка сочла нужным поспешить к ней на помощь.

— Эдит Белленден,— сказала старая леди,— вследствие моего уединенного образа жизни так мало встречала людей своего круга, что ей и впрямь трудно поддерживать разговор и отвечать подобающим случаю образом. Воины у нас редкие гости, полковник Грэм, и, за исключением юного лорда Эвендела, нам

едва ли случалось принимать у себя джентльмена в военной форме. Кстати, вспомнив об этом отличном молодом дворянине, могу ли я осведомиться у вас, будем ли мы иметь удовольствие видеть его сегодня среди ваших гвардейцев?

— Лорд Эвендел, сударыня, проделал поход вместе с нами,— ответил Клеверхауз,— но я счел необходимым послать его с небольшим отрядом, чтобы рассеять этих негодяев, которые до того обнаглели, что собрались в скопище на расстоянии каких-нибудь пяти миль от моей штаб-квартиры.

— Вот как! — воскликнула старая леди.— Это, можно сказать, верх безрассудства, на которое я считала неспособными этих мятежных изуверов. Да, странные у нас времена! Скверный дух в наших местах, полковник; это он толкает вассалов знатных особ бунтовать против тех, кто их содержит и кормит. Один из моих людей, здоровый и крепкий, на днях наотрез отказался выполнить мое требование и отправиться на боевой смотр. Не найдется ли закона, полковник, на такого ослушника?

— Полагаю, что за этим дело не станет,— ответил, сохраняя невозмутимое спокойствие, Клеверхауз.— Лишь бы ваша милость соизволила назвать имя и указать местопребывание провинившегося.

— Его имя,— ответила леди Маргарет,— Кутберт Хедриг. Не могу сказать, где сейчас его дом; после своей выходки, можете мне поверить, полковник, он недолго оставался у нас в Тиллитудлеме и был тотчас же изгнан за своеволие. Но я бы отнюдь не хотела, чтобы этого молодца наказали слишком сурово; тюрьма или даже немного розог послужили бы хорошим уроком для нашей округи. Его мать, под влиянием которой он, наверное, действовал,— давнишняя наша служанка, и это склоняет меня к снисходительности. Впрочем,— продолжала старая леди, устремив взгляд на портреты покойного мужа и сыновей, которыми была увешана одна из стен зала, и тяжко при этом вздыхая,— впрочем, полковник Грэм, я не имею права испытывать сострадание к этому упрямому и мятежному поколению. Они сделали меня бездетной вдовой, и, не находись я под защитою августейшего нашего государя и его храбрых солдат, они же не замедлили бы лишить меня и земли, и имущества, и крова, и даже господнего алтаря. Семеро моих фермеров, арендная плата которых в совокупности достигает ста мерков в год, решительно отказались платить ее, равно как и другие налоги, и имели дерзость заявить моему управителю, что не признают ни короля, ни землевладельца, а только тех, кто принял их ковенант.

— С разрешения вашей милости я поговорю с ними по-своему,— сказал в ответ на эти жалобы Клеверхауз.— Я поступил бы неправильно, если б не оказал поддержку законной власти, особенно когда она находится в таких достойных руках, как руки леди Белленден. Должен, однако, признаться, что положение в этой части страны день ото дня становится все беспокойнее, и потому принимать против смутьянов меры вынуждают меня скорее мои обязанности, чем личные склонности. И раз мы заговорили об этом, считаю своим долгом поблагодарить вашу честь за гостеприимство, которое вы изволили оказать небольшому отряду, доставившему сюда арестованного, повинного в том, что он предоставил убежище кровожадному убийце Белфуру Берли.

— Двери Тиллитудлема,— ответила леди Маргарет,— всегда открыты для верных слуг его величества короля, и я позволяю себе уповать, что замок не перестанет пребывать столько же в распоряжении короля и его слуг, сколько в нашем, пока камни, из которых сложены стены его, будут покоиться друг на друге. В связи с этим, полковник, мне вспомнилось, что джентльмен, начальствующий этим отрядом,— принимая во внимание, чья кровь течет в его жилах,— едва ли занимает в нашей армии подобающее ему по рождению место, и если бы я могла льстить себя надеждой на то, что моя просьба будет уважена, я взяла бы на себя смелость ходатайствовать перед вами, чтобы при первом удобном случае он был произведен в офицеры.

— Ваша честь имеет в виду сержанта Фрэнсиса Стюарта, которого мы зовем Босуэлом,— сказал с улыбкою Клеверхауз.— По правде говоря, попадая в сельскую местность, он чрезмерно усердствует и к тому же не безупречен в отношении дисциплины, которой требуют от нас правила службы. Но поставить меня в известность, чем я могу услужить леди Белленден, все равно что продиктовать мне закон. Босуэл,— продолжал он, обращаясь к сержанту, который в это мгновение появился в дверях,— поцелуйте леди Маргарет руку: она хлопочет за вас; вы получите производство при первой свободной вакансии.

Босуэл направился выполнять приказание, однако с явным намерением показать, что делает это с большой неохотой; покончив с этим, он заявил:

— Поцеловать руку у леди — не унижение для джентльмена; но поцеловать руку мужчине, за исключением короля,— нет, я не сделаю этого даже за генеральский мундир.

— Вы его слышите, леди,— заметил Клеверхауз, усмеха-

ясь,— здесь его камень преткновения; он никак не может забыть своей родословной.

— Я уверен,— тем же тоном продолжал Босуэл,— я уверен, что вы не забудете, мой благородный полковник, о своем обещании; и тогда, быть может, вы разрешите корнету Стюарту помнить о своих прадедах, тогда как сержант должен о них забыть.

— Хватит, сударь,— сказал Клеверхауз привычным для него повелительным тоном,— хватит; скажите, зачем вы явились сюда и что имеете сообщить.

— Лорд Эвендел со своими людьми и несколькими задержанными дожидается ваших приказаний на дороге у замка,— ответил Босуэл.

— Лорд Эвендел! — вмешалась в разговор леди Маргарет.— Вы, конечно, разрешите ему, полковник, оказать мне честь своим посещением и скромно позавтракать с нами; позвольте напомнить, что его священнейшее величество, сам король, проезжая мимо нашего замка, остановился в нем и подкрепился в дорогу.

Так как леди Маргарет уже в третий раз вспоминала об этом достославном событии, полковник Грэм поспешно, однако не нарушая вежливости, воспользовался первою паузой, чтобы пресечь этот злополучный рассказ.

— Нас и без того более чем достаточно за этим столом. Но, понимая, как грустно было бы лорду Эвенделу,— сказал он, взглянув на Эдит,— лишиться того удовольствия, которое выпало на мою долю и на долю этих господ, я беру на себя смелость, рискуя злоупотребить вашим гостеприимством, принять от его имени ваше любезное приглашение. Босуэл, сообщите лорду Эвенделу, что леди Белленден просит оказать ей честь своим посещением.

— Не забудьте передать Гаррисону,— добавила почтенная леди,— чтобы он позаботился о людях и лошадях.

Во время этого разговора сердце Эдит затрепетало от радости: ей представилось, что благодаря своей власти над лордом Эвенделом она, быть может, найдет способ избавить Мортона от грозящей ему опасности, если ходатайство ее дяди пред Клеверхаузом окажется безуспешным. При других обстоятельствах она бы не разрешила себе воспользоваться этой властью: при всей ее неопытности в житейских делах, врожденная чуткость не могла не подсказывать ей, что красивая молодая женщина, принимая от молодого человека услуги, связывает себя известными обязательствами. Она не хотела обращаться к лор-

ду Эвенделу с какой бы то ни было просьбой также и потому, что досужие кумушки Клайдсдейла уже давно — по причинам, о которых речь пойдет ниже,— судачили, будто он добивается ее руки. К тому же ей было ясно, что требуется лишь незначительное поощрение с ее стороны, и эти догадки, еще недавно не имевшие под собой никакой почвы, станут вполне справедливыми. А этого и нужно было больше всего опасаться: вздумай лорд Эвендел сделать ей формальное предложение, он имел бы все основания рассчитывать на поддержку леди Маргарет и всех ее близких, и она не могла бы противопоставить их увещаниям и родственной власти ничего, кроме своей любви к Мортону, а это было и опасно и бесполезно. Поэтому она приняла решение выждать, чем завершатся хлопоты ее дяди, и, если они окажутся тщетными, о чем она, конечно, тотчас же догадается по взглядам или репликам старого воина, воспользоваться как последним средством спасения Мортона нежным вниманием к ней лорда Эвендела. Впрочем, она недолго оставалась в неведении относительно просьбы ее старого дяди.

Майор Белленден, отдавший должное обильному угощению и все время оживленно беседовавший с офицерами, которые сидели в том же конце стола, что и он, теперь, когда завтрак закончился и можно было встать с места, нашел удобный повод подойти к Клеверхаузу и попросил племянницу оказать ему честь, представив его полковнику. Так как майор был известен в военных кругах, они встретились как люди, глубоко уважающие друг друга. Эдит с замиранием сердца увидела, как ее пожилой родственник вместе со своим новым знакомым покинули остальное общество и уединились в проеме одного из стрельчатых окон зала. Она следила за их беседой почти невидящими глазами, так как напряженное ожидание затуманило ее зрение; впрочем, тревога, пожиравшая ее изнутри, обостряла в ней наблюдательность, и по немым жестам, сопровождавшим их разговор, она догадывалась о том, как Клеверхауз принял заступничество майора за Мортона и к чему может повести эта встреча.

Сначала лицо Клеверхауза выражало ту откровенную доброжелательность, которая, пока неизвестно, в чем состоит просьба, говорит о том, какое это огромное удовольствие оказать услугу просителю. Однако чем дольше продолжался их разговор, тем более хмурым и суровым становилось лицо полковника, и хотя черты его все еще сохраняли выражение безукоризненной и утонченной вежливости, оно показалось под конец испуганному воображению Эдит неумолимым и жестким. Губы

полковника были сжаты, словно он испытывал нетерпение; время от времени они кривились в улыбку, в которой проступало учтивое пренебрежение к доводам, приводимым майором. Ее дядя, насколько она могла судить по его жестам, горячо убеждал Клеверхауза со свойственным его характеру простодушием и вместе с тем с чувством собственного достоинства, на которое ему давали право возраст и безупречная репутация. Но его слова, видимо, не производили особого впечатления на полковника Грэма, который вскоре сделал движение, как бы намереваясь пресечь настойчивость старого воина и закончить разговор какой-нибудь фразой, содержащей любезное сожаление по поводу неисполнимости просьбы и вместе с тем решительный и твердый отказ. Они подошли так близко к Эдит, что она отчетливо слышала, как Клеверхауз произнес:

— Это невозможно, майор Белленден; снисходительность в этом случае несовместима с возложенными на меня обязанностями, хотя во всем остальном я искренне и с большой радостью оказал бы вам любую услугу. А вот и лорд Эвендел, и, надо полагать, с новостями. Какие вести, Эвендел? — продолжал он, обращаясь к юному лорду, только что вошедшему в зал. Он был в полной форме, хотя одежда его была в беспорядке и сапоги забрызганы грязью, что свидетельствовало о том, что ему пришлось проделать нелегкий путь.

— Дурные, сэр,— ответил Эвендел.— Большая толпа вооруженных вигов собралась на холмах; нам придется иметь дело с настоящим восстанием. Они всенародно сожгли Акт о верховенстве, и тот, которым учреждалась епископальная церковь, и манифест о мученическом венце Карла Первого, и ряд других документов; они заявили о своем намерении не расходиться и не расставаться с оружием, чтобы углубить и продолжить дело, возвещенное Реформацией.

Это неожиданное известие взволновало всех, за исключением Клеверхауза.

— Вы называете это дурными вестями? — сказал полковник, и его темные глаза загорелись мрачным огнем.— Но они много лучше всего, слышанного мной за последние месяцы. Теперь, когда негодяи собрались вместе, мы легко и сразу справимся с ними. Если ехидна покажется при дневном свете,— добавил он, ударяя каблуком об пол, словно и в самом деле собирался раздавить ядовитого гада,— я могу растоптать ее насмерть; но она в безопасности, пока скрывается в своем логове или болоте. Где эти прохвосты? — спросил он, обращаясь к лорду Эвенделу.

— В горах, приблизительно в десяти милях отсюда, в месте, именуемом Лоудон-хилл,— последовал ответ молодого лорда.— Я разогнал сборище, против которого вы послали меня, и захватил одного старика — это так называемый пуританский священник, которого мы застали за подстрекательством его паствы к восстанию, к борьбе, как он выражался, за правое дело, и, кроме него, еще двоих из его слушателей, показавшихся мне особенно наглыми; все прочее известно мне от местных жителей и лазутчиков.

— Каковы могут быть силы мятежников? — спросил Клеверхауз.

— Возможно, около тысячи, но сведения на этот счет очень разноречивы.

— В таком случае, господа,— сказал Клеверхауз,— пора в путь и нам. Босуэл, велите трубить выступление.

Босуэл, который, подобно боевому коню из Писания, чуял битву издалека, поспешил передать приказ Клеверхауза шестерым неграм в белых, богато расшитых галунами мундирах, с массивными серебряными воротниками и такими же нарукавниками. Эти черные служаки были в полку трубачами, и вскоре стены старого замка и окрестные леса огласились трубными звуками.

— Значит, вы покидаете нас? — спросила леди Маргарет; сердце ее болезненно сжалось, в ней ожили тягостные воспоминания о былом.— Не лучше ли послать людей для выяснения численности мятежников? О, сколько раз слышала я эти грозные звуки, сколько раз звали они из Тиллитудлема полных жизни и сил, молодых, цветущих мужчин, но мои старые глаза никогда не видели, чтобы они возвращались назад.

— Я не могу оставаться дольше,— сказал Клеверхауз,— в этих местах найдется достаточно негодяев, чтобы впятеро увеличить число мятежников, если мы немедленно их не раздавим.

— И так уже многие,— добавил Эвендел,— сбегаются к ним, и они утверждают, что ждут сильное подкрепление из принявших индульгенцию пресвитериан, которых ведет молодой Милнвуд, как они называют его, сын прославленного некогда круглоголового, полковника Сайлеса Мортона.

Присутствующие каждый по-своему восприняли это известие. Эдит, потрясенная им, едва не упала со стула, тогда как Клеверхауз устремил острый и полный сарказма взгляд на майора Беллендена, выражавший, казалось, следующее: «Теперь вы видите, каковы убеждения того юноши, за которого вы заступались».

— Это ложь, это наглая ложь бесстыдных фанатиков! — воскликнул майор.— Я готов отвечать за Генри Мортона, как отвечал бы за своего сына. Его религиозные взгляды столь же благонадежны, как взгляды любого офицера лейб-гвардии. В этом ни для кого нет ни малейшего сомнения. Он бывал со мной в церкви, по крайней мере, раз пятьдесят, и я ни разу не слышал, чтобы он не ответил вместе со всеми, когда это полагается по ходу богослужения. Эдит Белленден может подтвердить справедливость моего свидетельства — он пользуется тем же молитвенником, что и мы, и знает тексты Писания не хуже священника. Позовите, выслушайте его.

— Неповинен он или виновен, убытку от этого, конечно, не будет,— сказал Клеверхауз.— Майор Аллан,— продолжал он, поворачиваясь к старшему офицеру,— возьмите проводника и ведите полк к Лоудон-хиллу самой удобной и короткой дорогой. Двигайтесь как можно быстрее, но смотрите, чтобы люди не заморили коней. Лорд Эвендел и я нагоним вас через четверть часа. Оставьте Босуэла с небольшим отрядом, он будет конвоировать арестованных.

Аллан поклонился и вышел из зала в сопровождении всех офицеров, кроме Клеверхауза и молодого Эвендела. Через несколько минут звуки военной музыки и топот коней возвестили, что всадники покидают замок. Потом музыка стала доноситься только урывками и наконец замерла в отдалении.

Пока Клеверхауз старался успокоить тревогу леди Белленден и убедить старого воина в ошибочности его мнения о Мортоне, Эвендел, поборов застенчивость, обычную для неискушенного юноши в присутствии той, к кому он питает склонность, подошел к мисс Белленден и обратился к ней тоном глубокого уважения, в котором вместе с тем ощущалось сильное и нежное чувство.

— Мы должны вас покинуть,— сказал он, беря ее руку, которую сжал с неподдельным волнением,— покинуть ради дела, не лишенного известной опасности. Прощайте, дорогая, милая мисс Белленден; позвольте сказать в первый и, быть может, последний раз — дорогая Эдит! Мы уходим при обстоятельствах столь необычных, что они могут, как кажется, извинить некоторую торжественность при расставании с той, которую я так давно знаю и к которой испытываю столь глубокое уважение.

Тон лорда Эвендела не соответствовал содержанию его слов и свидетельствовал о чувстве более сильном, чем выраженное в произнесенных им фразах. Не нашлось бы, вероятно,

женщины, которая могла бы остаться бесчувственной к этому скромному, идущему из глубины души изъявлению нежности. И хотя Эдит была подавлена горем и ужасной опасностью, нависшей над тем, кого она так любила, все же почтительная и безнадежная страсть милого юноши, прощавшегося с ней перед тем, как пойти навстречу неведомым и грозным опасностям, тронула и взволновала ее.

— Я надеюсь, я искренне убеждена,— сказала Эдит,— вам не угрожает опасность. Надеюсь, что нет оснований для такого торжественного прощания, что эти обезумевшие повстанцы будут рассеяны скорее собственным страхом, чем силою, и что лорд Эвендел вскоре возвратится сюда, и снова окажется с нами, и будет навсегда дорогим и уважаемым другом всех обитателей замка.

— Всех,— повторил Эвендел с нескрываемой грустью.— Пусть будет так: все, что близко и дорого вам, так же близко и дорого мне, и поэтому я ценю их внимание и любовь. Что же касается успеха нашего предприятия, то в нем я отнюдь не уверен. Нас так мало, что я не смею надеяться на быстрое, бескровное и благополучное завершение этого злосчастного бунта. Эти люди исполнены фанатизма, они решительны, они отчаянно храбры, и их вожди не лишены военного опыта. Я не могу освободиться от мысли, что порывистость нашего командира бросает нас против них, пожалуй, несколько преждевременно. Впрочем, о личной безопасности я не думаю; оснований щадить себя у меня меньше, чем у кого бы то ни было.

Теперь Эдит представился случай — чего она так хотела — попросить юного дворянина, чтобы он вступился за Мортона; ей казалось, что это единственный способ избавить того от почти неминуемой смерти. Но она чувствовала, что, обратившись к Эвенделу, злоупотребит преданностью и доверием влюбленного в нее юноши; она знала, что́ творится в его душе, как если бы он ей признался в любви. Совместимо ли с ее честью заставлять лорда Эвендела оказывать услуги сопернику? Благоразумно ли обращаться к нему с какой-либо просьбой и тем самым связать себя и дать пищу надеждам, которым никогда не суждено сбыться? Впрочем, момент был критический и не допускал ни длительных колебаний, ни объяснений, которые могли бы скрыть истинную причину ее горячего участия в Мортоне.

— Я допрошу этого молодца,— сказал Клеверхауз с противоположного конца зала,— после чего, лорд Эвендел, как мне ни грустно прерывать вашу беседу, нам придется все же сесть

на коней. Босуэл, почему не ведут арестованного? Пусть двое солдат зарядят карабины.

Эдит услышала в этих словах смертный приговор ее Генри. Она пересилила робость, принуждавшую ее так долго к молчанию; в сильном смущении, запинаясь, она сказала:

— Лорд Эвендел, этот молодой человек — близкий друг моего дяди; вы, очевидно, имеете влияние на полковника — разрешите просить вас вступиться за Мортона... Этим вы премного обяжете дядю.

— Вы преувеличиваете мои возможности, мисс Беллендeн,— сказал лорд Эвендел.— Не раз, движимый простым человеколюбием, я обращался с тем же к полковнику, но, увы, безуспешно.

— А теперь попытайтесь ради моего старого дяди.

— А почему бы не ради вас, Эдит? — спросил лорд Эвендел.— Позвольте мне думать, что в этом деле я оказываю услугу вам, и никому больше. Неужели вы настолько не доверяете старому другу, неужели не хотите доставить ему удовольствие думать, что он исполнил ваше желание?

— Конечно, конечно,— поспешила согласиться Эдит,— вы бесконечно меня обяжете... Я принимаю к сердцу эту историю с молодым Мортоном, так как она очень волнует майора. Не теряйте времени, заклинаю вас господом богом!

Она все смелее и настойчивее обращалась к Эвенделу, потому что услышала шаги часовых, входивших в это мгновение вместе с арестованным в зал.

— В таком случае,— сказал лорд Эвендел,— клянусь небом, он не умрет, хотя бы мне пришлось отдать за него свою жизнь. Но в награду за мое усердное служение вам,— продолжал он, вновь беря ее руку, которую она в смятении не решалась отнять у него,— не дадите ли также и вы обещание выполнить одну мою просьбу?

— Все, что вы пожелаете, мой дорогой лорд, все, на что способна сестра ради любимого брата.

— И это все,— продолжал молодой человек,— и это все, что вы можете обещать моему чувству, пока я жив, и памяти обо мне в случае моей смерти...

— Не надо так говорить, милорд,— сказала Эдит,— ваши слова разрывают мне сердце; вы несправедливы к себе самому. У меня нет ни одного друга, которого я ценила бы так высоко, как вас, которому я могла бы с большей готовностью представить доказательства моего глубочайшего уважения, при условии... Но...

Прежде чем она успела закончить, тяжкий вздох внезапно заставил ее обернуться; и пока она подбирала слова, чтобы точнее выразить ограничение, которым хотела заключить свою фразу, ей стало ясно, что их слышал Мортон, проходивший в это мгновение у нее за спиной — в тяжелых оковах, под конвоем солдат,— чтобы предстать перед полковником Клеверхаузом. Взгляды их встретились; жесткий и полный упрека взгляд Мортона подтвердил, как ей показалось, что он частично слышал ее слова и превратно истолковал услышанное. Не хватало лишь этого, чтобы Эдит окончательно перестала владеть собой. Кровь, только что заливавшая краской румянца ее лицо, отхлынула к сердцу, и она стала бледной как смерть. Эта перемена не ускользнула от внимания лорда Эвендела, чей быстрый взгляд без труда обнаружил, что арестованного с предметом его привязанности связывают особого рода узы. Он выпустил руку мисс Белленден, еще раз с бóльшим вниманием оглядел арестованного, снова взглянул на Эдит и явственно заметил смущение, которое она не могла дольше скрывать.

— Это,— сказал он глухо после минутного и тягостного молчания,— если не ошибаюсь, тот самый молодой джентльмен, который взял на стрелковом состязании приз.

— Может быть,— пробормотала Эдит,— нет... я склонна думать, что это не он,— произнесла она, едва ли понимая, что говорит.

— Нет, это он,— решительно заявил лорд Эвендел,— я узнал его. Победитель,— продолжал он несколько высокомерно,— должен был бы произвести большее впечатление на прекрасную зрительницу.

Сказав это, он отошел от нее и, приблизившись к столу, за которым расположился полковник, остановился невдалеке, опираясь на свой палаш, молчаливый, но отнюдь не равнодушный свидетель происходящего.

## ГЛАВА XIII

Остерегайтесь ревности, милорд.

*«Отелло»*

Чтобы объяснить глубокое впечатление, произведенное на несчастного узника обрывками случайно подслушанного им разговора, который мы подробно передали выше, необходимо рассказать о его душевном состоянии незадолго до этого и о том, как он познакомился с Эдит Белленден.

Генри Мортон был одним из тех одаренных людей, которые, обладая множеством разнообразных способностей, даже не подозревают об этом. Он унаследовал от отца неустрашимую отвагу и стойкое, непримиримое отвращение к любому виду насилия как в политике, так и в религии. Однако его приверженность своим убеждениям, не взращенная на дрожжах пуританского духа, была свободна от всякого фанатизма. Душа молодого человека не была скована его путами, и этим он был обязан отчасти деятельным усилиям своего острого и проницательного ума, отчасти нередким и надолго затягивавшимся посещениям майора Беллендена. У последнего он встречался с его многочисленными гостями и, общаясь с ними, понял, что доброе сердце и достойная жизнь не являются исключительной привилегией тех, кто принадлежит к определенному религиозному исповеданию.

Гнусная скаредность дяди создала много помех его образованию и воспитанию; но он так использовал представлявшиеся ему возможности, что и наставники и друзья его были поражены успехами, которых он добился, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. Тем не менее его душу постоянно сковывало сознание, что он зависим, беден и, сверх того, недостаточно и поверхностно образован. Это сделало его сдержанным и застенчивым, и никто, кроме самых близких друзей, не подозревал, как велики и многообразны его способности и как тверд и непреклонен его характер. Обстоятельства того времени придали его сдержанности вид нерешительности и безразличия, так как, не примыкая ни к одной из многочисленных партий, разделивших королевство на несколько враждующих станов, он мог производить впечатление человека ограниченного и бесстрастного, которому неведомы ни религиозное чувство, ни любовь к родине. Такое заключение было бы, однако, крайне несправедливым, потому что стремление к нейтралитету, которого он так упорно придерживался, коренилось в побуждениях совсем иного порядка и, надо сказать, достойных всяческой похвалы. Он завязал близкое знакомство с некоторыми из тех, кто подвергался преследованиям за свои убеждения, и его оттолкнули от них нетерпимость и узость владевшего ими сектантского духа, их мрачный фанатизм, непостижимое для него и претившее ему осуждение всех видов искусства, всех забав и развлечений, их отравленная взаимною ненавистью политическая непримиримость. Впрочем, еще больше его возмущали тиранический, попирающий все и вся образ правления, распущенность и жестокость солдат, казни на эшафоте и побоища в открытом поле, разме-

щения войск на постой и вымогательства, чинимые под прикрытием военных законов, которые, неограниченно властвуя над жизнью и имуществом свободных людей, ставили их в положение азиатских рабов. Осуждая и ту и другую стороны за разного рода крайности, тяготясь творящимся у него на глазах злом и страдая от невозможности его облегчить, слыша вокруг себя то жалобы угнетенных, то клики ликующих угнетателей, чьей радости сочувствовать он не мог, Генри Мортон уже давно оставил бы родную Шотландию, если бы его не удерживала привязанность к Эдит Белленден.

Вначале молодые люди встречались в Чарнвуде, где Эдит гостила у майора Беллендена, который в делах любви был не более проницателен, чем сам дядюшка Тоби, и поощрял возникшую между ними взаимную склонность, не догадываясь о ее истинной сущности и не помышляя о ее естественных следствиях. Их любовь, как всегда в таких случаях, заимствовала у дружбы ее название, пользовалась ее языком и притязала на ее привилегии. После возвращения в замок Эдит, как это ни поразительно — в особенности принимая в расчет расстояние между Тиллитудлемом и Милнвудом,— по какому-то странному и неизменно возникавшему стечению обстоятельств стала во время своих одиноких прогулок часто встречать Генри Мортона. Как бы то ни было, она ни разу не выразила своего удивления — что было бы так естественно — по поводу этих постоянно повторяющихся случайностей, и их отношения мало-помалу сделались более близкими и задушевными, а их встречи стали похожи на заранее условленные свидания. Они обменивались книгами, рисунками, письмами, и всякая, самая мелкая услуга или любезность, оказанная или принятая, вызывала новые письма. Слова «любовь» они, правда, еще не успели произнести, но каждый из них хорошо понимал, что с ним происходит, и, конечно, догадывался, что творится в сердце другого. Не имея сил отказаться от исполненных такого очарования встреч, трепеща при мысли о слишком вероятных последствиях, избегая решительного объяснения, они продолжали поддерживать эту нежную дружбу, пока судьба не решила распорядиться по-своему.

Из-за всего этого, а также скромности, присущей характеру Мортона, его время от времени терзало неверие в ответные чувства Эдит. По своему положению она стояла неизмеримо выше его; она была настолько богата, так образованна, так красива, у нее были такие очаровательные манеры, что он жил в вечном страхе, как бы между ним и предметом его обожания не оказал-

«Пуритане»

ся какой-нибудь новый поклонник, взысканный судьбой больше его и более, чем он, приемлемый для семейства Белленден. Молва указывала на такого соперника: это был лорд Эвендел. Его происхождение, богатство, связи и политические взгляды, а также частые посещения Тиллитудлема и постоянное присутствие в обществе рядом с леди Маргарет и ее внучкой давали основание предполагать, что Эдит питает к нему склонность; нередко случалось, что разные увеселения, в которых принимал участие лорд Эвендел, препятствовали встрече влюбленных, и Генри не мог не заметить, что Эдит или старательно избегала говорить о молодом дворянине, или говорила о нем смущенно и с явной неохотой.

Эти недомолвки, вызванные в действительности нежностью ее чувства к Мортону, были превратно истолкованы его природной неуверенностью в себе, к тому же ревность, которую они в нем разожгли, нашла для себя пищу в замечаниях, как бы невзначай брошенных Дженни Деннисон. Как две капли воды похожая на служанку с театральных подмостков, она была законченной кокеткой и, когда ей не представлялось возможности дразнить собственных обожателей, пользовалась всяким удобным случаем, чтобы помучить поклонника ее юной леди. Происходило это не из-за ее неприязни к Мортону, который не только в глазах ее госпожи, но и в ее собственных, с его статной фигурой и красивым лицом, был жених хоть куда. Но лорд Эвендел был тоже красив; он был более щедр, чем Мортон, который не располагал для этого средствами, и к тому же был лордом. Если бы мисс Эдит Белленден приняла его предложение, то стала бы супругой барона, и, что самое важное, она, маленькая Дженни Деннисон, которою грозная домоправительница Тиллитудлема помыкала в свое удовольствие, превратилась бы в мисс Деннисон, собственную служанку ее милости леди Эвендел и, кто знает, может статься, даже в ее камеристку. Беспристрастие Дженни не простиралось поэтому так далеко, как беспристрастие миссис Куикли, и она не выражала желания, чтобы оба красивых соперника разом женились на ее юной леди, так как чаша весов ее расположения, нужно признать, все же склонялась в пользу лорда Эвендела и выражалось это в самых различных формах, неизменно мучительных для Мортона: то она дарила его каким-нибудь дружеским предупреждением, то удостоивала сообщением «по секрету», то позволяла себе веселую шутку, но все это неизменно преследовало одну и ту же определенную цель, а именно — напомнить Мортону, что рано или поздно его романтические встречи с ее

госпожой должны прекратиться и что Эдит Белленден, несмотря на летние прогулки в тени деревьев, обмен стихами, книгами и рисунками, кончит тем, что станет леди Эвендел.

Эти намеки попадали в самую точку, усиливая страхи и подозрения Мортона, и он был недалек от того, чтобы ощутить в себе муки ревности, которую испытывал всякий любящий по-настоящему, но которой особенно подвержены те, кто страдает из-за отсутствия дружеского участия или из-за досадных помех судьбы. Сама Эдит бессознательно, по благородству своей искренней и прямой натуры, вводила в заблуждение своего друга. Как-то в разговоре они коснулись насилий, учиненных недавно солдатами, которыми, как утверждали (впрочем, несправедливо), командовал лорд Эвендел. Эдит, одинаково верная как в любви, так и в дружбе, была задета словами сурового осуждения, высказанного по этому поводу Мортоном, который, возможно, был особенно резок под влиянием недоброго чувства к своему предполагаемому сопернику. Она вступилась за лорда Эвендела, и притом с таким пылом, что Мортон воспринял это как оскорбление, потрясшее его до глубины души, что немало потешило Дженни Деннисон, всегдашнюю спутницу их прогулок. Почувствовав, что допустила ошибку, Эдит постаралась ее исправить, но впечатление, которое произвел этот случай на Мортона, было не из тех, что легко изглаживаются, и оно немало способствовало укреплению в нем решимости отправиться за границу, чему, впрочем, помешали причины, о которых мы недавно упоминали.

Последнее их свидание, когда Эдит пришла к нему в башню, ее глубокое и искреннее участие в его судьбе — все это должно было бы рассеять его подозрения; однако, изобретая для себя все новые пытки, он решил, что и это — лишь проявление ее дружбы или, самое большее, мимолетного чувства, которое, конечно, не устоит перед обстоятельствами, внушениями друзей, властью леди Маргарет и постоянством лорда Эвендела.

«Но что виною,— вопрошал он себя,— что виною тому, что я не могу предстать перед всеми и открыто, как подобает мужчине, добиваться своего, а жду, пока меня обведут вокруг пальца? Да что же иное, как не вездесущая и проклятая тирания, которая властвует над нашими телами, душами, имуществом и любовью! Наемному головорезу деспотического правительства я должен уступить Эдит Белленден? Нет, не бывать тому, клянусь небом! Я был безучастен к общественным бедствиям, и вот теперь, как заслуженное мною возмездие, они со всею оскор-

бительностью коснулись меня самого, и притом в такой области, где это меньше всего можно стерпеть!»

Этот стремительный поток бурливших в нем мыслей и длинная вереница воспоминаний обо всех обидах и унижениях, которые пришлось перенести ему и его родине, были прерваны появлением у него в башне сержанта Босуэла, сопровождаемого двумя драгунами, у одного из которых были с собой наручники.

— Вам придется пройтись со мной, молодой человек,— сказал сержант, обращаясь к Мортону,— но сначала мы вас немножко принарядим.

— Принарядите? — спросил Мортон.— Как это следует понимать?

— Да никак: просто нам придется надеть на вас эти браслетики; они, правда, тяжеловаты, но ничего не поделаешь. Я не дерзнул бы — нет, я дерзнул бы, черт побери, на все, что угодно,— но даже за три часа грабежа в только что захваченном городе я не повел бы к полковнику вига без оков на руках. Э, молодой человек, стоит ли огорчаться из-за таких пустяков!

Он направился к Мортону, чтобы надеть на него наручники, но тот, схватив дубовую скамейку, на которой перед этим сидел, заявил, что проломит голову первому, кто посмеет к нему приблизиться.

— Да я мог бы, мой мальчик, укротить вас в один миг,— сказал Босуэл,— но, право, было бы предпочтительнее, чтобы вы сами, без шума, убрали паруса и отдали якорь.

В этом случае он говорил сущую правду; ему хотелось поладить с Мортоном миром не потому, что арестованный внушал ему страх, и не из нежелания применить насилие, а потому, что он опасался шумной борьбы, из-за которой могло стать известно, что, вопреки строжайшим приказам, он оставил узника на ночь без кандалов.

— Для вас же лучше вести себя возможно благоразумнее,— продолжал он примирительным, как ему казалось, тоном,— и не портить себе игры. В замке поговаривают, что внучка леди Маргарет вот-вот пойдет под венец с нашим молодым капитаном, лордом Эвенделом. Я только что видел их в зале, они были вместе, и я слышал, как она просила его вступиться за вас. Она чертовски красива и была до того с ним нежна, что, клянусь моею душой... Вот те на! Что это с вами? Вы стали белый как полотно. Хотите глоточек бренди?

— Мисс Белленден просила обо мне лорда Эвендела? — едва слышно произнес Мортон.

— Ну, конечно же; нет друзей, равных женщинам,— уж они добьются всего и при дворе и в армии. А! Вы, кажется, чуточку поумнели. И, сдается, пришли в себя.

Говоря это, он принялся надевать на арестованного наручники, и Мортон, потрясенный сообщением Босуэла, не оказал ему никакого сопротивления.

— Его молят пощадить мою жизнь, и молит об этом она! Надевайте скорее оковы... Мои руки не станут больше им противиться, если на душу мою навалилось такое бремя. Эдит молит о моей жизни — и молит лорда Эвенделa!

— Вот именно, и он сможет добиться помилования,— заметил Босуэл,— ведь никто в полку не имеет такого влияния на полковника, как Эвендел.

На этом Босуэл закончил свои увещания, и Мортона повели в зал. Проходя позади кресла Эдит, несчастный узник услышал обрывки ее разговора с лордом Эвенделом; и того, что до него донеслось, было, как ему представлялось, совершенно достаточно, чтобы подтвердить сказанное сержантом. В это мгновение в нем произошел внезапный и крутой перелом. Глубочайшее отчаяние, в которое его повергли разбитые надежды на любовь и на счастье, опасность, угрожавшая его жизни, непостоянство Эдит, ее заступничество, звучавшее теперь горькой насмешкой, убили в нем, как он думал, всякое чувство к той, что заполняла всю его жизнь, и вместе с тем разбудили другие, заглушавшиеся до этого более нежными, но и более эгоистическими страстями. Отчаявшись защитить себя, он решил отстаивать права родины, попираемые в его лице. Его характер в эти мгновения изменился так же неузнаваемо, как меняется облик какой-нибудь загородной усадьбы, когда в нее вторгается воинский отряд и обиталище домашнего покоя и счастья тотчас же превращается в грозное укрепление.

Мы уже говорили, что он бросил на Эдит взгляд, полный упрека и печали, как бы прощаясь с ней навсегда. Вслед за этим он направился решительным шагом к столу, за которым сидел Клеверхауз.

— По какому праву,— сказал он твердо, не дожидаясь вопросов полковника,— по какому праву ваши солдаты, сударь, оторвали меня от моих домашних и надели оковы на руки свободного человека?

— На основании моего приказа,— ответил Клеверхауз,— а теперь я приказываю вам помолчать и выслушать мои вопросы.

— И не подумаю,— заявил уверенным тоном Мортон; его смелость, казалось, наэлектризовала всех свидетелей этой сцены.

— Я желаю знать, законно ли я заключен под стражу и перед гражданским ли судьей нахожусь. И желаю знать, не наносится ли в моем лице оскорбление конституции моей родины.

— Вот уж поистине примерный молодой человек!— проговорил Клеверхауз.

— Вы с ума сошли, Генри,— обратился майор Белленден к своему юному другу.— Ради самого господа бога,— продолжал он голосом, в котором слышалось и увещание и осуждение,— помните, что вы разговариваете с одним из офицеров его величества, занимающим высокое служебное положение.

— Именно поэтому, сударь,— твердо заявил Генри,— я и хочу выяснить, по какому праву он держит меня под арестом, не имея на то законного основания. Если бы здесь был представитель судебной власти, я знал бы, что мой долг — повиноваться ему.

— Ваш друг,— холодно сказал Клеверхауз, обращаясь к старому воину,— один из тех сверхщепетильных джентльменов, которые, подобно помешанному в комедии, не повяжут своего галстука без приговора судьи Пересола; но я смогу доказать этому юноше, прежде чем уеду отсюда, что мои аксельбанты — такие же символы власти, как жезл судьи. Итак, прекратим эти прения, и будьте любезны, молодой человек, ответить точно и ясно, когда вы видели Белфура Берли?

— Насколько я знаю, вы не имеете права задавать мне такой вопрос,— ответил Мортон,— и я отказываюсь на него отвечать.

— Вы признались моему сержанту,— сказал Клеверхауз,— что видели Берли и предоставили ему кров, хотя были осведомлены, что он — объявленный вне закона преступник; почему же вы не желаете быть столь же откровенным со мною?

— Потому,— ответил на это узник,— что полученное вами образование должно бы, казалось, обязывать вас уважать права, которые вы стремитесь попрать; а я хочу, чтобы вы знали, что еще не перевелись шотландцы, способные отстаивать свободу Шотландии.

— И эти воображаемые права вы готовы защищать своей шпагой, не так ли?

— Будь я вооружен так же, как вы, и случись нам с вами столкнуться в горах, вам не пришлось бы дважды задавать этот вопрос.

— С меня совершенно достаточно,— невозмутимо сказал Клеверхауз,— ваши речи вполне соответствуют всему, что я о вас слышал. Но вы сын солдата, хотя и мятежного, и вы не умрете смертью собаки; я избавлю вас от такого позора.

— Я умру так, как смогу,— отозвался Мортон,— я умру, как подобает сыну отважного человека, и да падет позор, о котором вы говорите, на головы тех, кто проливает невинную кровь.

— Даю вам пять минут для примирения с небом. Босуэл, ведите его во двор и приготовьте людей.

Этот жуткий разговор и его завершение до того потрясли присутствовавших, что все, кроме самих собеседников, пораженные ужасом, оцепенели в молчании. Теперь, однако, со всех сторон раздались возгласы и мольбы: старая леди Маргарет, несмотря на предубежденность, свойственную ее положению и взглядам, не смогла побороть в себе чувствительность своего пола и во всеуслышание вступилась за Мортона.

— О полковник,— воскликнула она,— пощадите его юную жизнь! Передайте его в руки закона; нет, нет, не отплачивайте мне за гостеприимство пролитием человеческой крови у порога моего дома!

— Полковник Грэм, вы ответите за свою жестокость,— сказал майор Белленден,— не думайте, что если я стар и немощен, то сын моего друга может быть безнаказанно умерщвлен у меня на глазах. Я смогу отыскать друзей, которые заставят вас ответить за это.

— Успокойтесь, майор, я отвечаю за свои действия,— бесстрастно сказал Клеверхауз.— А вы, сударыня, соблаговолите избавить меня от горькой необходимости отклонить вашу страстную просьбу о помиловании этого государственного преступника. Вспомните, что благородная кровь ваших родичей пролита такими, как он.

— Полковник Грэм,— ответила старая леди, дрожа от волнения,— я предоставляю отмщение господу богу, возвестившему, что оно принадлежит ему, и никому больше. Если вы прольете кровь этого юноши, вы не возвратите тех, кто дорог моему сердцу; да и могу ли я находить для себя утешение в том, что еще какая-нибудь вдова, быть может, лишится сына, как лишилась их я, из-за черного дела, совершенного у моей двери?

— Но ведь это безумие чистейшей воды,— возразил Клеверхауз.— Я обязан исполнить мой долг перед церковью и государством. Здесь тысяча негодяев, открыто поднявших восстание, а вы просите, чтобы я пощадил молодого фанатика, кото-

рого и одного было бы совершенно достаточно, чтобы зажечь пожаром все королевство. Нет, это решительно невозможно. Босуэл, уведите его!

Та, кто больше всех переживала это роковое решение, дважды делала попытку заговорить, но ее не слушался голос, ее ум не находил нужных слов, а язык был бессилен их вымолвить. Она вскочила со своего места, чтобы устремиться вперед, но упала бы навзничь на каменный пол, не подхвати ее вовремя верная Дженни.

— На помощь! — закричала она.— Ради бога, на помощь! Моя юная леди кончается.

Услыхав ее крик, Эвендел, неподвижно стоявший на протяжении всей этой сцены, опираясь на свой палаш, теперь подошел к Клеверхаузу и произнес:

— Полковник Грэм, повремените с исполнением приговора и позвольте сказать вам два слова наедине.

Клеверхауз удивленно взглянул на Эвендела, но тотчас же встал из-за стола и отошел с ним в оконную нишу, где между ними произошел следующий краткий диалог.

— Надеюсь, полковник, мне незачем напоминать вам о том, что в минувшем году, когда наша семья оказала вам некоторые услуги в известном деле, которое разбиралось в Тайном совете, вы заявили, что считаете себя обязанным нам?

— Разумеется, мой милый Эвендел,— ответил Клеверхауз,— ведь я не принадлежу к числу тех, кто забывает свои долги, и вы доставите мне огромное удовольствие, указав, чем бы я мог выразить мою благодарность.

— Хорошо, будем считать, что с вашим долгом покончено,— продолжал лорд Эвендел,— если вы пощадите жизнь молодого Мортона.

— Эвендел,— возразил Клеверхауз, изумленный этой просьбой,— вы рехнулись, вы совершенно рехнулись. Что может вас побуждать вступаться за отродье какого-то круглоголового? Его отец был самым опасным человеком во всей Шотландии, можете мне поверить, это был холодный, решительный, отважный солдат, непреклонный в своих проклятых принципах. Что же касается сына, то он — весь в отца. Я, слава богу, знаю людей, Эвендел; будь он ничтожным, фанатичным деревенским тупицей, разве я стал бы отказывать в таком пустяке, как его жизнь, леди Маргарет и ее домашним? Но это юноша пламенный, убежденный и к тому же с образованием, а этим негодяям недостает именно такого вождя, им нужен человек, который мог бы направить их слепую и полную энтузиазма отвагу. Я говорю об

этом не потому, что намерен ответить отказом на вашу просьбу, но для того, чтобы вы отчетливо представляли себе возможные последствия вашего шага. Я никогда не отрекаюсь от своих обещаний и всегда оплачиваю свои долги — если вы просите сохранить его жизнь, она будет ему оставлена.

— Держите его под строгой охраной,— ответил Эвендел,— и не удивляйтесь, что я так настойчиво домогаюсь его помилования. Меня побуждают к этому весьма основательные причины.

— Пусть будет по-вашему,— сказал Клеверхауз,— но, молодой человек, если вы хотите достигнуть когда-нибудь высокого положения, служа своему королю и отечеству, пусть первейшей вашей обязанностью будет безоговорочное подчинение ваших страстей, привязанностей и чувств общественным интересам и служебному долгу. Теперь не время отказываться ради бредней выживших из ума стариков и слез неразумных женщин от спасительных мер, прибегать к которым нас вынуждают грозящие отовсюду опасности. И помните, что если на этот раз, поддавшись вашей настойчивости, я сдался, то эта уступка должна раз и навсегда избавить меня от ваших ходатайств такого же рода.

Сказав это, он вышел из ниши и бросил на Мортона испытующий взгляд, желая, видимо, выяснить, какое впечатление произвела на того эта жуткая пауза между жизнью и смертью, оледенившая ужасом всех окружающих. Мортон сохранял ту твердость духа, на которую в час смертельной опасности способны лишь те, кому на земле уже некого любить и не на что надеяться.

— Взгляните,— прошептал Клеверхауз лорду Эвенделу,— он стоит у самого края бездны, отделяющей сроки человеческие от вечности, в неведении более мучительном, чем самая страшная неотвратимость, и все же он единственный, чьих щек не покрыла бледность, чей взгляд спокоен, чье сердце бьется в обычном ритме, чьи нервы не сдали. Посмотрите на него хорошенько, Эвендел. Если этот человек станет когда-нибудь во главе войска мятежников, вам придется отвечать за содеянное вами нынешним утром.— Потом он громко сказал: — Молодой человек, на этот раз ваша жизнь будет пощажена. Этим вы обязаны заступничеству друзей. Уведите его, Босуэл; держите его под строгой охраной и возите за нами вместе с другими задержанными.

— Если мне сохраняют жизнь,— начал Мортон, уязвленный мыслью, что этим он обязан заступничеству своего удачливого соперника,— если мне сохраняют жизнь по ходатайству лорда Эвендела...

— Уведите узника, Босуэл,— сказал Клеверхауз,— прерывая Мортона,— мне некогда ни произносить, ни выслушивать красивые речи.

Босуэл подтолкнул Мортона и заставил его выйти из зала. По дороге, ведя его во двор замка, он сказал ему:

— Разве у вас в кармане три жизни, кроме той, которая заключена в теле? Как же вы позволили своему языку, дружище, наболтать столько всякого вздора? Ладно, уж я постараюсь держать вас подальше от глаз полковника, не то, знаете, не пройдет и пяти минут, как у первого встречного дерева или первого рва ваша песенка будет спета. Ну, марш, марш к вашим товарищам по несчастью.

Произнося эти слова, сержант, который при всей своей внешней грубости ощущал что-то вроде симпатии к бесстрашному юноше, торопил Мортона сойти поскорее во двор, где под охраной драгун находились трое задержанных (двое мужчин и одна женщина), доставленных отрядом лорда Эвендела.

Тем временем Клеверхауз прощался с леди Маргарет и майором Белленденом. Доброй леди нелегко было, однако, забыть, что он не уважил ее заступничества.

— До сих пор я думала,— сказала она,— что мой Тиллитудлем всегда сможет служить убежищем для всякого, кому угрожает опасность, даже если его поведение и не столь безупречно, как ему полагалось бы быть; но я вижу, что старый плод теряет свой вкус; наши жертвы и наши заслуги — все это было слишком давно.

— Мною, сударыня, заверяю вас в этом, они никогда не будут забыты. И ничто, кроме велений моего священного долга, не могло бы заставить меня отклонить вашу просьбу или просьбу майора. Итак, моя добрая леди, разрешите считать, что мне даровано ваше прощение, а когда нынешним вечером я вернусь к вам со стадом из двухсот вигов, пятьдесят голов ради вас я отпущу на свободу.

— Я буду счастлив узнать о вашем успехе, полковник,— сказал майор Белленден,— но внемлите совету старого воина: избегайте кровопролития по окончании битвы. И разрешите еще раз поручиться за юного Генри Мортона.

— Мы потолкуем об этом по моем возвращении,— сказал Клеверхауз.— А пока будьте спокойны: его жизнь в безопасности.

Во время этой беседы Эвендел несколько раз с беспокойством оглядывался вокруг, отыскивая взглядом Эдит; но Джен-

ни Деннисон уже успела принять необходимые меры, и ее госпожа была перенесена в свою комнату.

Угрюмо и неохотно подчинился молодой лорд нетерпеливым напоминаниям Клеверхауза, который, попрощавшись по всем правилам этикета с леди Маргарет и майором, направился во двор замка. Арестованные и их конвой уже были в пути, и офицеры вместе с эскортом последовали за ними. Они торопились догнать главные силы, предполагая, что часа через два окажутся в виду неприятеля.

## ГЛАВА XIV

Пусть убегают псы мои,
Пусть соколы в леса летят,
Пусть лорд возьмет себе мой дом,—
Я больше не вернусь назад.

*Старинная баллада*

Мы оставили Мортона в тот момент, когда он вместе с тремя арестованными двинулся в путь под охраною небольшого отряда, составлявшего арьергард колонны, которой командовал Клеверхауз, и находившегося в непосредственном подчинении у сержанта Босуэла. Они направлялись в сторону гор, где, согласно полученным донесениям, собрались мятежные пресвитериане. Наши всадники не проехали и четверти мили, как их обогнали Клеверхауз и Эвендел, проскакавшие мимо них в сопровождении ординарцев, чтобы занять свое место в колонне, успевшей пройти вперед. Едва они скрылись из виду, как Босуэл остановил отряд, которым командовал, и снял наручники с Мортона.

— Королевская кровь должна свято соблюдать данное слово,— сказал драгун.— Я обещал, что обращение с вами в меру возможности будет хорошим. Капрал Инглис, сюда! Пусть этот джентльмен едет бок о бок с тем молодым парнем, задержанным людьми лорда Эвендела; и ты можешь позволить им разговаривать в свое удовольствие, только смотри, не иначе как шепотом, да прикажи, чтобы за ними хорошенько присматривали двое рядовых с заряженными карабинами. Если попытаются улизнуть — уложить их на месте. Вы не можете назвать это невежливостью,— продолжал он, обращаясь к Мортону,— таковы законы войны, ничего не поделаешь. Так вот, Инглис, а что до попа и старухи, то пусть и они будут рядыш-

ком — лучшей пары не сыщешь: хватит с них и одного рядового. Если они вымолвят хоть словечко изо всей их ханжеской дребедени и фанатической чепухи — полоснуть их хорошенько ремнем. Есть надежда, что поп, которого мы заставим помалкивать, чего доброго, лопнет с досады: ведь если не дать ему разглагольствовать, он посчитает себя предателем и задохнется от ненависти к себе.

Отдав эти распоряжения, Босуэл тронул коня, и Инглис с шестью драгунами двинулся за сержантом. Они пустились крупною рысью, спеша нагнать полк.

Мортон, подавленный теснившимися в нем противоречивыми чувствами, проявил полное безразличие не только к мерам, принятым Босуэлом для его охраны, но и к освобождению от наручников. Он ощущал усталость и душевную пустоту, которые обычно следуют за ураганом страстей, и, больше не поддерживаемый гордостью и сознанием своей правоты, внушившими ему достойные ответы полковнику Клеверхаузу, в глубоком унынии созерцал просеки, по которым проезжал их отряд, и каждый поворот дороги напоминал ему о минувшем счастье и о безжалостно разбитых упованиях его сердца. Теперь они поднимались на ту возвышенность, откуда можно было увидеть замок, всякий раз открывавшийся его взорам, когда он подходил к Тиллитудлему или возвращался домой; нужно ли добавлять, что здесь он обыкновенно задерживался, чтобы с восторгом влюбленного рассматривать зубцы стен, выступавшие над высоким и густым лесом, указывая жилище той, которую он ожидал вскоре увидеть или с которой незадолго перед этим расстался. Инстинктивно он обернулся, чтобы бросить последний взгляд на картину, еще недавно столь дорогую ему, и так же инстинктивно вздохнул. Ему ответил громкий стон его товарища по несчастью, глаза которого, быть может, под влиянием тех же чувств, устремились туда же. Стон этого арестованного прозвучал, однако, скорее хрипло, чем нежно; но то был голос наболевшей души, и в этом отношении он был сродни вздоху Мортона. Они повернулись друг к другу, их глаза встретились, и Мортон увидел перед собой простецкое лицо Кадди Хедрига, теперь унылое и измученное, на котором скорбь о своей собственной участи сочеталась с выражением трогательного сочувствия к судьбе своего спутника.

— Ну и дела! — произнес отставной пахарь тиллитудлемской фермы.— Да ведь это же ни на что не похоже, чтобы добрых людей возили, как нас с вами, по всей стране, словно каких-нибудь чудищ.

— Мне очень прискорбно, Кадди, видеть вас в таких обстоятельствах,— сказал Мортон, который, при всех своих горестях, не утратил сострадания к несчастью другого.

— И мне тоже, мистер Генри,— ответил Кадди,— и за вас и за себя, но от этого нам легче не станет. За меня будьте спокойны,— продолжал арестованный земледелец, находя утешение в разговоре, хотя ему было отлично известно, что разговорами беде не поможешь,— за меня будьте спокойны, на мне вины нет, и держать меня не за что: в жизни не вымолвил я ни слова ни против нашего короля, ни против священников, но моя бедная матушка — та не смогла прикусить свой старый язык, и, видать, нам обоим придется поплатиться за это.

— Разве и ваша мать арестована? — рассеянно спросил Мортон.

— А как же! Скачет, словно невеста какая, рядом с этим старым хрычом проповедником, которого они называют Гэбриелом Тимпаном,— посадил бы его дьявол в этот самый тимпан! — ведь из-за него все дело и вышло. Видите ли, из Милнвуда-то нас с матерью тоже прогнали, и ваш дядюшка, и его хозяйка дверь за нами захлопнули и заперли ее на засов, точно мы какие-нибудь прокаженные. Тут я и говорю матери: «Куда нам податься? Всякая нора и дыра теперь нам с вами заказаны — ведь вы оскорбили мою старую госпожу и принудили солдат взять молодого Милнвуда». А она говорит: «Не падай духом, сынок, но препояшись мечом на выполнение великой задачи этого дня и ратуй, как подобает мужу, на стенах ковенанта».

— И вы, наверное, отправились на собрание? — спросил Мортон.

— Вы еще про это услышите,— продолжал Кадди,— так вот, не придумав ничего лучшего, мы отправились к одной старой бабке, такой же полоумной, как моя мать, и там нам дали немного похлебки и овсяных лепешек; но сначала они прочитали уйму молитв и пропели кучу псалмов — сдается, им хотелось задурить и меня, только меня от них лишь голод разобрал. Утром подняли меня чуть свет, и я должен был — хочешь не хочешь — тащиться с ними на большое собрание у Мирских ключей; и там этот парень Гэбриел Тимпан кричал им со склона холма, чтобы они, не колеблясь, поднялись ратовать и пошли на бой в этот Римский Гилеад или еще какое-то место. Ах, мистер Генри, ну и наворотил же им этот дед! Его было слышно за целую милю, само собою, по ветру. Он

ревел, как корова на чужом выгоне. Так вот, думаю я, нет в нашей округе места, которое прозывалось бы Римский Гилеад, это где-нибудь на западе, в пустошах. И пока мы дойдем туда, я уж как-нибудь улизну с моей старой матерью, потому что мне вовсе не хочется сломать себе шею из-за какого-то там Гэбриела Тимпана. Так вот,— продолжал Кадди, отводя душу подробным рассказом о своих злоключениях и не задаваясь вопросом, насколько внимательно слушает его Мортон,— так вот, под конец проповеди, когда она мне просто ужас как надоела, кругом пошли разговоры, что подступают драгуны. Одни побежали, другие давай кричать: «Стой!» — а некоторые вопили: «Долой филистимлян!» Тут я к матери, чтобы потихоньку да полегоньку удрать с нею подальше, пока на нас не набросились красные куртки, но мне было бы легче погнать без стрекала нашего старого тиллитудлемского вола, что ходит передним в упряжке; черта с два, она и с места не сдвинулась. Мы были в тесной ложбинке, туман поднялся густой-прегустой, и драгуны могли бы нас не заметить, помолчи мы хоть капельку; да куда там, держи карман шире! Дед Тимпан и один своим криком мог покойника разбудить, а они вдобавок еще псалом завыли, да так, что и в Ланрике, наверное, было слышно! Так вот, чтобы длинную басню маленько укоротить, вижу я, сам молодой лорд Эвендел скачет так, как только коню его вмочь, а за ним десятка два красных курток. Двое-трое из наших ребят стали отбиваться от них, и тут же их порешили, и они приняли венец мученический, но большого урону все-таки не было, потому что Эвендел крикнул, чтобы нас разгоняли, но, однако ж, щадили жизнь.

— И вы не сопротивлялись? — спросил Мортон, быть может думая, что сам он встретил бы лорда Эвендела совсем по-другому.

— По правде говоря, нет,— ответил Кадди,— я заслонил собою мою старуху и стал просить о пощаде, но двое в красных куртках наскочили на нас, и один из них уже собирался огреть мою матушку своим палашом. Тут я поднял дубинку и сказал, что всыплю им как следует. Тогда они оборотились против меня и начали размахивать палашами, а я стал защищаться как мог и продержался, пока не подоспел лорд Эвендел, а когда он приблизился, я ему крикнул, что я — работник из Тиллитудлема,— вы и сами хорошо знаете, у нас поговаривали, что он заглядывается на молодую хозяйку,— и он приказал, чтобы я бросил дубинку; так они и задержали нас с матушкой. Кто знает, может статься, нас бы и отпустили, но

только этого Гэбриела Тимпана поймали совсем возле нас; он был верхом на лошади Эндрю Уилсона, а та прежде ходила под драгунским седлом, и чем сильнее старик ее шпорил, тем быстрее упрямая скотина неслась навстречу драгунам. Так вот, моя мать и он сошлись вместе и давай осыпать этих солдат ругательствами, да какими! И досталось же им на орехи! Отродье вавилонской блудницы — это было, пожалуй, самое ласковое из всего, что они изрыгнули. Те снова озлились и нас троих забрали с собой для острастки, как это у них называется.

— Это — гнусное, отвратительное насилие,— сказал Мортон, обращаясь скорее к себе, чем к своему собеседнику.— Несчастного тихого парня, пошедшего на собрание пресвитериан только из сыновней почтительности, заковали в цепи, словно вора или убийцу, и он умрет, возможно, от руки палача без судебного разбирательства, хотя наши законы не отказывают в нем даже наихудшему из злодеев! Быть свидетелем такого произвола, а тем более жертвой его — да от этого закипит кровь в самом смиренном и покорном рабе.

— Конечно,— отозвался Кадди, внимательно выслушав и только частично поняв горькие слова Мортона, вырвавшиеся из его жестоко оскорбленной души,— разумеется, о властях не полагается говорить плохо, моя старая леди повторяла это не раз и, конечно, имела на то полное право, потому что и она тоже вроде как власть; и, по правде сказать, я очень терпеливо слушал ее, потому что, окончив учить нас нашим обязанностям, она приказывала, бывало, угостить нас стопочкой водки, или капустной похлебкой, или еще чем другим. Но черт с нею, с водкой, капустой и чем другим, не говоря уж о той кружке холодной воды, которой жалуют нас лорды, что сидят в Эдинбурге, а потом рубят нашему брату головы, и вешают нас, и травят, напуская на нас своих негодяев, и грабят, забирая все, что найдут, и даже последнюю одежонку, словно мы какие преступники. Не могу сказать, чтобы это было мне по сердцу.

— Было бы странно, Кадди, если бы вы думали об этом иначе,— ответил Мортон, подавляя внутреннее волнение.

— А что хуже всего,— продолжал бедный Кадди,— так это наглость, с какою красные куртки подкатываются к девчонкам и отнимают у нас наших милых. Сердце у меня сжалось, когда сегодня во время завтрака, проезжали мы мимо тиллитудлемской фермы, и я увидел, как из трубы нашей хижины вьется дымок,— ведь я знал, что кто-то другой, а не моя старая мать хлопочет у очага. Но мое сердце сжалось еще сильней, когда я увидел, как этот подлец Том Хеллидей це-

лует у меня на глазах Дженни Деннисон. Удивляюсь, откуда у женщин столько бесстыдства, чтобы позволять себе подобные вещи; но они так и льнут к красным курткам. Я и сам думал было пойти в солдаты, считая, что иначе не заполучу Дженни; а может, и нехорошо так уж ее ругать; может, это ради меня позволила она Тому помять ленты у себя в волосах.

— Ради вас? — спросил Мортон, начиная проникаться интересом к тому, о чем рассказывал Кадди, так как ему показалось, что история Кадди и его собственная поразительным образом напоминают друг друга.

— Вот именно, Милнвуд,— ответил Кадди,— ведь бедняжка потому и любезничала с этим чертом (будь он проклят, если позволено так выражаться), чтобы подойти поближе ко мне; и она сказала, что молит бога не оставлять меня помощью, и хотела сунуть мне денег; готов поручиться, что это была добрая половина ее жалованья и наградных, потому что остальное она истратила на приколки и кружево, когда ходила смотреть, как мы с вами стреляем в «попку».

— И вы взяли у нее деньги, Кадди? — спросил его Мортон.

— Нет, Милнвуд, не взял; я был такой дурак, что швырнул их обратно. Сердце мое не стерпело, когда я увидел, как этот парень обхаживает и целует ее, и я не смог удержаться. Но тут я сглупил — деньги пригодились бы и моей матери, и мне самому, а она все равно их истратит на тряпки и на всякие пустяки.

За этим последовало продолжительное молчание. Кадди, вероятно, предавался сожалениям о том, что пренебрег щедростью своей милой, тогда как Мортон усиленно размышлял, каким образом мисс Белленден удалось добиться от лорда Эвендела помощи в его деле.

Может быть, подсказывала ему пробудившаяся надежда, он слишком поспешно и ложно истолковал то влияние, которое она имеет на лорда Эвендела. Имеет ли он право так сурово ее осуждать, если ради спасения его жизни она прибегла к притворству и позволила этому знатному офицеру лелеять надежды, которым не суждено сбыться? Или, быть может, она обратилась с призывом к великодушию лорда Эвендела, которым, по общему мнению, он отличался, и, задев в нем честь, побудила его спасти жизнь своего более удачливого соперника?

Все же случайно подслушанные слова не давали ему покоя, и он возвращался к ним снова и снова, и боль от этого была столь же мучительна, как от укуса ядовитой змеи.

«Она ни в чем ему не откажет»,— вспоминалось ему. Можно ли яснее и определеннее выразить свое обожание? Язык любви в устах девушки не знает более сильного выражения. Она потеряна для меня, потеряна окончательно, и мне не остается ничего больше, как мстить за мое несчастье и за насилия, которым ежечасно подвергается моя родина.

В голове Кадди, по-видимому, мелькали те же мысли, хотя выражались они в словах более простых. Во всяком случае, он неожиданно спросил шепотом Мортона:

— Как по-вашему, было бы очень нехорошо удрать от этих ребят, если бы выпала такая удача?

— Напротив,— ответил Мортон,— как только представится подходящий случай, я не премину им воспользоваться.

— Мне очень приятно слышать это от вас,— сказал Кадди,— правда, я человек бедный и темный, но я думаю, что не такой уж великий грех вырваться силой отсюда, лишь бы дело хорошо закончилось. Я, знаете, такой человек, что не побоюсь рукопашной, если дойдет до нее; но наша старая леди назвала бы это неповиновением королевской власти.

— Я буду сопротивляться любой власти на свете,— заявил Мортон,— любой власти, деспотически попирающей права свободного человека, закрепленные хартией; я решил, что не позволю бросить себя без достаточных оснований в тюрьму или, быть может, вздернуть на виселицу, и сделаю все, что сумею, чтобы спастись от этих людей хитростью или силой.

— То же и у меня на уме, когда бы только мы смогли это выполнить. Но то, что вы говорите о хартии, касается лишь таких, как вы, из господского звания, а мне до этого далеко, раз я простой батрак, и ничего больше.

— Хартия, о которой я говорю,— возразил Мортон,— принадлежит всем шотландцам, и даже самому последнему среди них. Это — свобода от кнута и тюрьмы, провозглашенная, как вы можете прочесть в Священном писании, не кем иным, как апостолом Павлом, и ее обязан отстаивать всякий, рожденный свободным, как ради себя самого, так и ради своих соотечественников.

— Так вот оно что, сударь! — сказал Кадди.— Много утекло бы воды, прежде чем леди Маргарет или моя матушка отыскали бы в Библии такие мудрые вещи. Госпожа моя — та всегда повторяла, что кесарю надо воздавать кесарево, а что до матери, то она совсем спятила со своим пресвитерианством.

Болтовня этих старух вконец забила мне голову; но если бы мне удалось найти джентльмена, который взял бы меня к себе в услужение, я, наверное, сделался бы совсем другим человеком; и ваша честь, может быть, вспомнит об этих моих словах, когда выйдет из заточения, и тогда возьмет меня к себе камердином.

— Камердинером, Кадди? — ответил Мортон.— Увы! Это было бы довольно печально для вас, даже если бы мы были свободны.

— Понимаю, о чем вы толкуете, вы думаете, что я деревенщина и что из-за меня вам будет стыдно перед людьми. Ну так знайте: я сметлив, понимаю с полуслова, и все, что можно сделать руками, всему этому я легко научился, только вот читать, писать да считать — тут дело совсем другое; и в футбол лучше меня никто не играет; да и палашом я действую не хуже капрала Инглиса. Как-то я уже продырявил ему башку, даром что теперь он едет за нами такой важный. А потом, вы ведь не останетесь в этой стране? — сказал он, внезапно оборвав свою речь.

— Очень возможно,— ответил Мортон.

— Ну и ладно! Я отправил бы матушку к ее старшей сестре, тетушке Мег, в Глазго, в Гэллоугейт, думаю, ее там не сожгли бы, как ведьму, и не дали бы ей помереть с голоду, и не повесили бы, как рьяную пресвитерианку; там, говорят, городской старшина заботится о таких одиноких, покинутых бедняках. А мы с вами могли бы уехать и поискать свое счастье, как говорится в этих старых чудных сказках о Джоке, что разил великанов, и Валентине и Орсоне; а потом мы бы возвратились в веселую, как поется в песне, Шотландию, и я снова надел бы ходули и так бы разворотил пар на славных заливных лугах в Милнвуде, что не жалко было бы выставить целую пинту, лишь бы на это взглянуть.

— Боюсь,— сказал Мортон,— что у нас, мой добрый друг Кадди, очень мало надежды возвратиться к своим прежним занятиям.

— Что вы, сударь, что вы! — ответил Кадди.— Разве можно так поддаваться унынию — и разбитый корабль добирается иной раз до берега. Но что это? Лопнуть мне на месте, если моя старуха снова не принялась за свою проповедь! Мне ли не знать ее голос, как начнет она сыпать словами Писания,— точно ветер воет на чердаке; а вот и Тимпан взялся за работу. Господи боже! Разозлись только солдаты, и они порешат их обоих, да и нас с вами в придачу.

Беседа их действительно была прервана каким-то раздавшимся за их спинами не то ревом, не то мычанием, в котором можно было разобрать голоса проповедника и старухи, один — напоминавший ворчанье фагота, другой — повизгиванье надтреснутой скрипки. Сперва оба престарелых страдальца довольствовались взаимными соболезнованиями, сетуя на свои несчастья и негодуя в весьма сдержанных выражениях; но, изливая друг перед другом душу, они распалялись все больше и под конец не могли сдерживать душивший их гнев.

— Горе, горе вам, трижды горе, кровожадные деспоты и насильники! — кричал почтенный Гэбриел Тимпан.— Горе, горе вам, трижды горе и до того, как сломаны будут печати, и раздастся трубный глас, и изольют влагу сосуды!

— Так... так... Да обуглятся их окаянные рожи, да поразит их господь в день суда небесного десницей своею! — раздался, словно эхо, пронзительный альт старой Моз, исполнявшей партию второго голоса в этой фуге.

— Истинно говорю вам,— продолжал проповедник,— ваши походы и ваши набеги, фырканье ваших коней и горделивая поступь их, ваши кровавые, варварские, бесчеловечные злодейства, то, что вы глушите, умерщвляете и растлеваете совесть несчастных созданий божьих кощунством и отвратительными соблазнами,— все это восходит от земли к небу, словно гнусный и отвратительный вой святотатца, и приблизит час расплаты и гнева. Кха... кха... кха...— Поток его слов был прерван приступом сильного кашля.

— А я говорю,— кричала Моз, тем же тоном и почти одновременно с проповедником,— что хоть глотка у меня старая, и одышка, и при такой быстрой езде...

— Черт подери! Хоть бы они перешли на галоп,— сказал Кадди.— Уж он заставил бы ее придержать язык.

— Да... да... хоть глотка моя старая и дыхание тяжелое,— продолжала выкрикивать Моз,— не перестану я клеймить вероотступничество, измену, ереси и колебания в нашей истинной вере. Я возвышу свой голос против всякого угнетения, против того, чему еще придет час возмездия.

— Помолчи, прошу тебя, помолчи, добрая женщина,— говорил проповедник, который наконец справился с мучительным приступом кашля и сокрушался, что Моз опередила его своими проклятиями,— помолчи и не вырывай из уст служителя алтаря слов, которые надлежит произнести ему, и только ему... А я скажу... Я возвышаю свой голос и говорю вам, что

прежде чем игра будет окончена, да, прежде чем зайдет это солнце, вы узнаете, что ни гнусный иуда, ваш епископ Шарп, уже отправившийся, куда ему подобало, ни кощунствующий Олоферн, этот кровопийца Клеверхауз, ни надменный Диотреф, этот юнец Эвендел, ни алчный и рыщущий, как ищейка, Димас, кого вы зовете сержантом Босуэлом и кто отнимает у сирой вдовицы последний грош и все, что ни найдет у нее в чулане, ни ваши карабины, ни пистолеты, ни палаши или кони, ни ваши седла, уздечки, подпруги, мундштуки или сумки с овсом, из которых вы кормите лошадей, не отвратят от вас стрел, что уже отточены, и лука, чья тетива уже натянута против вас.

— Конечно, не отвратят, конечно,— как эхо, вторила Моз,— отверженные они, каждый из них... презренные они... метлы они, годные, только чтобы швырнуть их в огонь, после того как ими выметут мусор из храма господня; бичи, сплетенные из бечевок, чтобы наказывать тех, кто больше алкает суетных благ и одежд, чем креста или ковенанта; но когда дело их будет выполнено, они сгодятся лишь на завязки к башмакам дьявола.

— Лукавый меня возьми,— сказал Кадди, обращаясь к Мортону,— сдается мне, что наша матушка проповедует не хуже попа. Жаль, едва он разойдется, как на него нападает кашель; и потом, долгая езда сегодня утром тоже не пошла ему впрок. А то бы он заглушил мою старую мать и тогда бы отвечал сам за себя. Счастье еще, что дорога здесь каменистая и солдаты не очень-то слышат, что они там городят: уж слишком стучат копыта; а вот дайте выехать на мягкую землю, тут уж дело так просто не обойдется.

Предположения Кадди полностью оправдались. Пока стук копыт на плотной, каменистой почве заглушал слова арестованных, солдаты почти не обращали на них внимания; теперь, однако, дорога пошла болотом, где обличения обоих ревностных пресвитериан лишились спасительного аккомпанемента, сопровождавшего их до этой поры. И действительно, едва кони побежали по вереску и зеленой траве, Гэбриел Тимпан снова возопил пронзительным голосом:

— Итак, я подымаю мой голос, точно пеликан в пустыне...

— А я свой,— подхватила Моз,— точно воробей на застрехе...

Тут капрал, ехавший в хвосте маленького отряда, прокричал во всю мочь своих легких:

— Эй вы! А ну-ка, придержать языки, обложи их черт язвами и болячками, не то быть вам у меня замундштученными.

— Не подчинюсь повелениям безбожника,— продолжал Гэбриел.

— И я не стану им подчиняться, никогда не признаю я,— вторила проповеднику Моз,— приказаний бренного черепка от сосуда из праха земного, будь он выкрашен в такую же алую краску, как кирпич самой Вавилонской башни, и зови он себя капралом.

— Хеллидей! — крикнул капрал.— Нет ли у тебя, старина, хорошего кляпа? Надо заткнуть им рты, пока они не заговорили нас до смерти.

Но прежде чем последовал ответ Хеллидея или могли быть приняты меры во исполнение пожеланий капрала, показался драгун, скакавший навстречу Босуэлу, который успел довольно значительно опередить свой отряд. Выслушав переданное ему приказание, Босуэл тотчас же повернул коня и подъехал к своим; он велел сомкнуться, пришпорить коней, соблюдать молчание и быть начеку, потому что вскоре они окажутся в виду неприятеля.

## ГЛАВА XV

А мы хотели бы сказать,
Что лучше кровь не проливать,
А, положив конец раздорам
И перейдя к переговорам,
Сей поединок роковой
Окончить сделкой мировой.

*Батлер*

На быстром аллюре, которым теперь они двигались, у ревнителей истинной веры перехватило дыхание, и они поневоле вскоре умолкли. Уже больше мили скакали они по ровной и голой местности, оставив за собой перелески и рощицы, сопровождавшие их после того, как они выбрались из лесов Тиллитудлема. Впрочем, склоны узких ложбин все еще украшали редкие дубы и березы, а кое-где кучки этих деревьев можно было увидеть и на уходящей вдаль заболоченной и унылой местности. Но и они постепенно исчезали; перед всадниками расстилалась обширная пустынная равнина, переходившая в отдалении в покрытые темным вереском сумрачные холмы, изрытые глубокими, крутыми оврагами, в которых зимою бурлили

бешеные потоки, а летом по несоразмерно широким руслам пробивались ничтожные ручейки, змеясь слабой струйкой среди нагромождения гальки и валунов — этих свидетелей зимних неистовств воды — и напоминая собою кутил, обнищавших и опустившихся после бесшабашного расточительства и сумасбродств. Эта необитаемая равнина простиралась, казалось, дальше, чем мог охватить глаз, лишенная величия, лишенная даже того достоинства, которое присуще диким горным пустошам. И все же она поражала своими размерами по сравнению с более благословенными клочками земли, пригодными к обработке и созданными для поддержания человеческого существования, и производила неизгладимое впечатление на душу наблюдателя, внушая ему мысль о всемогуществе природы и слабости человека и его хваленых мер борьбы с дурным климатом и бесплодием почвы.

Удивительный эффект таких пустынных пространств состоит в том, что они порождают ощущение одиночества даже у тех, кто путешествует здесь целыми группами,— до того сильно действует на их воображение несоизмеримость окружающей бескрайней пустыни с пересекающими ее людьми. Так, путники, бредущие среди песков с караваном в тысячу душ могут испытывать среди песков Африки и Аравии чувство заброшенности и отчужденности от всего мира, незнакомое одинокому страннику, чей путь проходит по цветущей и возделанной области.

Вот почему, заметив на расстоянии около полумили полк кавалерии (к которому принадлежала и охранявшая его стража), поднимавшийся по извилистой и крутой тропе из болот на холмы, Мортон почувствовал нечто вроде душевного облегчения. Число лейб-гвардейцев, казавшееся очень значительным, когда они теснились на узкой дороге, и еще бóльшим, когда они мелькали то тут, то там, между деревьями, теперь как будто заметно уменьшилось. Все они были у него на виду: посреди неоглядных просторов колонна всадников, медленно взбиравшаяся по горному склону, скорее напоминала стадо быков, чем военный отряд. Их силы и численность казались теперь жалкими и ничтожными.

«Горсточка решительных людей,— подумал Мортон,— при условии, что их храбрость не уступает владеющему ими энтузиазму, имея перед собой такие слабые силы, как эти, может запереть любой проход в здешних горах».

Пока он размышлял обо всем этом, сторожившие его всадники быстро покрыли отделявшее их от товарищей расстояние,

и, прежде чем голова колонны Клеверхауза достигла вершины холма, Босуэл со своей группой и арестованными соединился — или, точнее, почти соединился — с полком, который вел за собой полковник Грэм. Чрезвычайно неудобная, местами топкая, местами слишком круто поднимающаяся тропа немало затрудняла движение, особенно задним рядам, так как там, где тропа пролегала по топкому месту, после прохода основной массы всадников почва превращалась в жидкое месиво значительной глубины, и солдатам в хвосте колонны нередко приходилось пускаться в объезд в поисках более надежной дороги.

В таких случаях мученья достопочтенного Гэбриела Тимпана и Моз Хедриг возрастали, так как сопровождавшие их солдаты, не считаясь с опасностью, которой подвергались столь неопытные наездники, заставляли их прыгать через канавы и ямы или гнать лошадей прямо в топь и трясину.

— Господь перенес меня через эту стену! — закричала несчастная Моз, когда ее лошадь, понукаемая драгунами, перескочила дерновую изгородь, отделявшую заброшенный загон для овец; совершая свой подвиг, Моз потеряла платок, и теперь ее седые волосы трепал ветер.

— Я увяз в глубокой трясине, где нет опоры для ног! Я попал в глубокую воду, и она покрывает меня! — завопил Тимпан, когда его конь погрузился по самое брюхо в один из ключей, которые питают болота. Грязная, смешанная с песком вода стекала по лицу и одежде злосчастного проповедника.

Эти крики вызывали дружный хохот драгун; но развернувшиеся вскоре события заставили их присмиреть и угомониться.

Передние ряды полковой колонны уже почти достигли вершины упомянутого нами крутого и обрывистого холма, как вдруг два-три всадника, в которых сразу узнали людей из высланного вперед дозора, выскочили на гребень холма и понеслись галопом к своим; кони их были загнаны, и все свидетельствовало о том, что они спасаются беспорядочным бегством. И действительно, вслед за ними появились другие всадники; их было пять или шесть, и они были вооружены; заметив полк лейб-гвардейцев, они остановились на вершине холма. Двое из тех, у кого были в руках карабины, спешились, спокойно взяли на мушку находившихся в переднем ряду и, разрядив свои ружья, ранили двух солдат, причем одного тяжело. Потом они сели на лошадей и скрылись за гребнем холма. Судя по спокойствию, с каким они это проде-

лали, их не испугало приближение столь сильного неприятеля, так как они, видимо, чувствовали у себя за спиной достаточную поддержку. Это происшествие задержало весь полк, и пока Клеверхауз выслушивал донесение одного из разведчиков, вынужденных описанным образом возвратиться к своим, лорд Эвендел поднялся на вершину холма, только что покинутого группой мятежников, а майор Аллан, корнет Грэм и прочие офицеры вывели полк с неудобного для кавалерии места и развернули его на склоне в две линии — так, чтобы вторая могла поддерживать первую.

Был отдан приказ наступать; через несколько минут первая линия оказалась уже на гребне, с которого открывался вид на обратный склон. Вторая линия последовала за первой, и туда же направился арьергард с нашими узниками; теперь Мортон и его товарищи по несчастью также получили ясное представление о трудностях, которые предстояло преодолеть продвигавшемуся вперед полку Клеверхауза.

Склон холма, на котором были выстроены королевские лейб-гвардейцы, полого спускаясь на протяжении приблизительно четверти мили, представлял собою покатое поле, вполне пригодное для сражения в конном строю, несмотря на некоторую неровность поверхности. Только у самой его подошвы начиналась заболоченная низина с пересекавшим ее во всю ширину не то созданным природой овражком, не то вырытым человеческими руками глубоким дренажным рвом, края которого были изрезаны родниками и канавами, заполненными водой; по обе стороны этой выемки были места, где прежде копали торф, а теперь виднелись заросли низкорослой ольхи, настолько любящей сырость, что там, где тощая почва и стоячая вода не дают ей развиться в настоящее дерево, она растет небольшими кустами. За этим рвом или овражком местность снова шла вверх, образуя поросшую вереском возвышенность или горку, у подножия которой стояли готовые к решительной битве мятежники, преграждая неприятелю путь через этот обильный препятствиями участок и через ров, прикрывавший их с фронта.

Их пехота была выстроена в три линии. Первая, довольно сносно вооруженная огнестрельным оружием, была выдвинута вперед, к самому краю низины, и огонь этой линии мог причинить значительный урон королевской кавалерии при спуске с открытого для прицельной стрельбы противоположного склона,— огонь, впрочем, был бы еще гибельнее, если бы драгуны попытались преодолеть заболоченное пространство. За первой линией был поставлен отряд пикинеров для поддержки перед-

них, на случай если бы врагам все же удалось форсировать топь. Позади них находилась третья линия: тут были крестьяне с косами, вертикально насаженными на колья, вилами, заступами, стрекалами, острога́ми и другими орудиями деревенского обихода, спешно превращенными в боевое оружие. На обоих флангах пехотных линий, впрочем немного отступя от низины, очевидно с тем, чтобы действовать на сухом и удобном поле, если бы противник все-таки пробился через препятствия, находилось по небольшому отряду всадников. Почти все они были плохо вооружены, с конями у них обстояло и того хуже, но зато они горели желанием биться за правое дело, так как были главным образом мелкими землевладельцами или зажиточными фермерами, имевшими возможность выступить в поход на собственной лошади. Те, кто только что гнался за дозором, высланным королевскими лейб-гвардейцами, теперь неторопливо возвращались к своим. Из всего войска повстанцев лишь эти несколько человек были в движении. Остальные застыли в неколебимой неподвижности, как разбросанные вокруг среди вереска серые валуны.

Всего повстанцев насчитывалось около тысячи человек, однако конных здесь было не больше сотни, да и то добрая их половина не имела сносного вооружения. Впрочем, вожди восстания рассчитывали возместить недостаток оружия, снаряжения и боевой выучки выгодною позицией и сознанием того, что предпринятый шаг сделал отступление невозможным, а главное — пылким энтузиазмом мятежников.

Позади их войска, на склоне холма, виднелись женщины и даже дети, которых привели в эту глушь религиозное рвение и ненависть к тем, кто подвергал их гонениям. Они собрались, чтобы наблюдать за ходом сражения, от которого зависела и их собственная судьба, и судьба их отцов, мужей, сыновей. Пронзительные крики, которыми они, подобно женщинам древних германских племен, встретили сверкающие ряды врага, показавшегося на гребне противоположной возвышенности, были для их близких как бы призывом к битве не на живот, а на смерть в защиту тех, кто был им дороже всего. Этот призыв, очевидно, встретил живой отклик, и дикое улюлюканье, прокатившееся по рядам, едва были замечены приближавшиеся солдаты, подтвердило решимость повстанцев стоять до последнего.

Всадники Клеверхауза остановились на гребне холма, и их трубы и литавры исполнили дерзкий и воинственный туш, в котором слышались угроза и вызов: он пронесся над этой пустынной и дикой местностью, как пронзительный клич ангела раз-

рушения. В ответ на это изгнанники соединили свои голоса в общем хоре и спели прозвучавшие как величавый и торжественный гимн две первые строфы из семьдесят шестого псалма в той его стихотворной редакции, которая принята шотландской церковью:

Всеславен в Иудее бог,
В Израиле почтен.
Салем — пристанище его
И на Сионе — трон.
Он стрелы лука сокрушил,
И копья, и щиты,
Славнее и превыше гор,
Непобедимый, ты.

Громогласный крик или, скорее, торжественный возглас, заключил эти строки; затем, после минутной паузы, мятежники пропели следующие стихи, толкуя гибель ассирийцев как предсказание участи, уготованной их врагу в предстоящем единоборстве:

Ты гордых духом в прах поверг,
Они объяты сном,
И тот беспомощен теперь,
Кто прежде был вождем.

О бог Иакова, когда
Ты грянул, разъярен,
Коней и колесницы их
Объял глубокий сон.

Затем снова раздался такой же возглас, как предыдущий, вслед за чем наступила мертвая тишина.

Пока этот торжественный гимн, слетавший с тысячи уст, звучал среди холмов, Клеверхауз внимательно осматривал местность и боевой порядок повстанцев, принятый ими в ожидании атаки противника.

— Среди этих мужланов,— сказал он,— несомненно, есть несколько старых солдат — деревенщина не сумел бы выбрать такую позицию.

— Утверждают, что с ними Берли,— заметил лорд Эвендел,— а также Хэкстон из Рэтилета, Пэтон из Медоухеда, Клиленд и еще кое-кто, знакомый с военным делом.

— Я так и думал,— продолжал Клеверхауз,— это было видно по легкости, с какою их всадники перескочили ров, возвращаясь к своим. Нетрудно было понять, что среди них несколько бывалых кавалеристов из круглоголовых, этих подлинных исчадий ковенанта. Нам предстоит действовать не только

отважно, но и с величайшею осмотрительностью. Эвендел, соберите офицеров у этого холмика.

Он направился к небольшому, заросшему мхом надгробному камню, под которым, возможно, покоился прах какого-нибудь кельтского вождя далеких времен, и по сигналу: «Офицеры, вперед!» — они собрались вокруг своего командира.

— Я созвал вас, джентльмены,— сказал Клеверхауз,— не для того, чтобы устроить формальный военный совет: я никогда не стану перекладывать на других ответственность, которую мое положение возлагает на меня самого. Я только хотел бы ознакомиться с вашим мнением, оставляя за собой право руководствоваться своим, как это делает большинство людей, просящих совета. Итак, что скажете, корнет Грэм? Напасть ли нам на этот воющий сброд? Среди нас вы самый молодой и горячий, и поэтому за вами первое слово.

— Мне оказана честь охранять штандарт лейб-гвардейцев,— ответил корнет,— а он никогда, пока это зависит от моей воли, не станет уклоняться от встречи с мятежниками. На ваш вопрос я говорю: атакуйте во имя бога и короля.

— А что скажете вы, майор Аллан,— продолжал Клеверхауз,— Эвендел настолько скромен, что его все равно не заставишь говорить прежде вас.

— Этих парней,— сказал майор Аллан, старый и опытный кавалерист,— приходится на каждого из нас трое или, может быть, даже четверо. Не думаю, чтобы в открытом поле это было чересчур много, но они заняли чрезвычайно выгодную позицию и, по всей видимости, не склонны ее оставлять. Поэтому, в отличие от корнета Грэма, я нахожу, что нам следует повернуть назад в Тиллитудлем, занять дорогу, ведущую к холмам, и послать за подкреплениями к лорду Россу, находящемуся с пехотным полком в Глазго. Сделав это, мы сможем отрезать их от долины Клайда, и тогда они либо покинут свою твердыню и решатся на сражение в благоприятных для нас условиях, либо, если они останутся на старой позиции, мы их атакуем, как только к нам подойдет пехота и у нас будет возможность действовать вместе с нею среди этих болот, трясин и канав.

— Вот еще,— заметил юный корнет,— какое значение может иметь выгодная боевая позиция, если ее занимает шайка распевающих псалмы старых ханжей?

— Мужчина не сражается хуже оттого, что чтит свою Библию и Псалтырь,— отпарировал майор Аллан.— Эти парни докажут, что они крепки как сталь. Я их знаю не первый день.

— Их гнусавое пение,— сказал корнет Грэм,— напоминает нашему майору скачку при Данбаре.

— Молодой человек, если бы вам довелось принимать участие в этой скачке,— ответил майор,— вы бы и без напоминаний помнили о ней до последнего дня своей жизни.

— Хватит, джентльмены, хватит,— прервал споривших Клеверхауз,— это неуместные препирательства; я принял бы ваш совет, майор Аллан, если бы канальи дозорные (они еще понесут должное наказание!) своевременно донесли о численности и позиции неприятеля. Но мы предстали пред ним в развернутом боевом порядке, и отступление лейб-гвардейцев было бы воспринято как свидетельство их неуверенности в себе, что послужило бы сигналом к восстанию на всем западе. В этом случае мы не только не сможем рассчитывать на помощь со стороны лорда Росса, но, уверяю вас, я бы испытывал весьма серьезное опасение, как бы мы не оказались отрезанными один от другого, так и не успев объединить наши силы. Отступление привело бы к столь же пагубным для королевского дела последствиям, как поражение. Ну, а что касается вопроса о степени опасности, угрожающей нам лично, то, джентльмены, я нисколько не сомневаюсь, что никто из вас об этом не думает. Здесь должны быть проходы через трясину, по которым мы сможем прорваться вперед; и, уж конечно, ни один лейб-гвардеец, ступив на твердую почву, не усомнится в том, что наши эскадроны растопчут в прах этих мужланов, будь их хоть вдвое больше. Теперь ваше слово, Эвендел!

— Осмеливаюсь думать,— сказал лорд Эвендел,— что, каков бы ни был исход сражения, оно будет очень кровопролитным; мы потеряем немало наших смелых товарищей и будем вынуждены, быть может, перебить большое число этих заблудших, которые все же шотландцы и подданные его величества короля Карла, как и мы с вами.

— Мятежники! Мятежники, не заслуживающие названия шотландцев и подданных,— прервал лорда Эвендела Клеверхауз.— Но продолжайте, милорд, в чем же все-таки состоит ваше мнение?

— Войти в переговоры с этими невежественными и обманутыми своими вождями людьми,— ответил молодой дворянин.

— В переговоры! С мятежниками, взявшими в руки оружие! Пока я жив — никогда! — заявил Клеверхауз.

— Во всяком случае, послать к ним трубача и парламентера с предложением перемирия, постараться их убедить сло-

жить оружие и разойтись,— продолжал лорд Эвендел,— пообещать им прощение, если они подчинятся этому требованию; я не раз слышал, что, сделай мы это перед битвою у Пентлендских холмов, не было бы пролито так много крови.

— Допустим,— сказал Клеверхауз.— Но кто же, черт подери, возьмет на себя смелость обратиться с подобными увещаниями к этим доведенным до отчаяния фанатикам? Они не признают законов войны. Их вожди принимали участие в умерщвлении архиепископа Сент-Эндрю и сражаются с веревкой на шее; они умышленно убьют нашего парламентера, чтобы запятнать своих приверженцев верноподданной кровью и лишить их надежды на возможность прощения, как лишены ее они сами.

— С вашего позволения я это сделаю,— сказал лорд Эвендел.— Я часто рисковал собственной кровью, проливая чужую; разрешите и теперь ею рискнуть, на этот раз ради спасения человеческих жизней.

— Нет, я не могу направить вас с таким поручением,— заявил Клеверхауз.— Ваш титул и положение в свете делают вашу жизнь особенно ценной, и если бы вы погибли, это повлекло бы за собой тяжелые последствия для страны, особенно в наше время, когда добрые убеждения — вещь в высшей степени редкая. С нами сын моего брата Дик Грэм; он не боится ни вражеской пули, ни вражеского клинка, точно сам дьявол одел его в защитную броню — так же, как и его дядю, по словам этих фанатиков. Корнет с белым флагом в руке, прихватив с собой трубача, подъедет к краю низины и попытается убедить их сложить оружие и разойтись по домам.

— С величайшей охотой, полковник,— ответил корнет.— Я прикреплю к пике мой шарф, который послужит мне вместо белого флага,— эти негодяи никогда еще не видели вымпела из такого тонкого фландрского кружева.

— Полковник Грэм,— говорил Клеверхаузу Эвендел, пока корнет готовился к выполнению данного ему поручения,— этот молодой человек — ваш племянник и вместе с тем, очевидно, наследник. Ради бога, не препятствуйте мне отправиться к ним. Это был мой совет, и я обязан принять риск на себя.

— Будь он моим собственным единственным сыном,— сказал Клеверхауз,— все равно я не счел бы для себя допустимым щадить при таких обстоятельствах его жизнь. Надеюсь, что мои личные привязанности и чувства никогда не мешали и не будут мешать выполнению моего служебного долга. Если погибнет Дик Грэм, то это будет главным образом моей личной потерей;

если умрете вы, ваша честь, пострадает король и вместе с ним вся Шотландия. Итак, джентльмены, прошу по местам. Если наши предложения будут отвергнуты, мы немедленно атакуем. И, как начертано на старинном гербе Шотландии,— правому поможет господь.

## ГЛАВА XVI

И гром и звон кругом стоят,
Скрестился с палицей булат.

*«Гудибрас»*

Корнет Ричард Грэм с импровизированным белым флагом в руке спускался по склону возвышенности, насвистывая песенку и заставляя своего отлично выезженного коня проделывать в такт ей прыжки и курбеты. За ним следовал трубач. Пять или шесть всадников, похожих с виду на офицеров, отделились от флангов пресвитерианского войска и, съехавшись в центре, приблизились, насколько позволяло болото, ко рву, проходившему по низине. К этой группе, держась противоположного края топи, и направлял своего коня корнет Грэм, на котором теперь сосредоточилось внимание и того и другого стана; не умаляя мужества тех и других, допустимо предполагать, что обе стороны страстно желали, чтобы это посольство отвратило готовое свершиться кровопролитие.

Остановив коня как раз против тех, кто, выехав навстречу парламентеру, принял на себя роль начальников неприятельских сил, корнет Грэм велел трубачу проиграть сигнал, приглашавший к открытию переговоров. У повстанцев не было трубачей, чтобы ответить на него подобающим образом, и один из них прокричал сильным и чистым голосом, спрашивая, с какою целью он прибыл.

— Чтобы призвать вас от имени короля и Джона Грэма Клеверхауза, имеющего особые полномочия от досточтенного Тайного совета Шотландии,— ответил корнет,— сложить оружие и распустить по домам ваших приверженцев, которых вы подняли на мятеж, противный законам господа бога, короля и всей нашей страны.

— Возвратись к пославшим тебя,— сказал один из вождей повстанцев,— и передай, что мы взялись за оружие в защиту попранного ковенанта и нашей гонимой церкви; передай, что мы отрекаемся от развратного и вероломного Карла Стюарта,

которого вы именуете королем, так же как он отрекся от ковенанта после того, что не раз давал клятву добиваться всей своей властью исполнения этого договора, добиваться деятельно, неуклонно, добросовестно во все дни своей жизни, и не иметь других врагов, кроме врагов ковенанта, и других друзей, кроме его друзей. Между тем он не сдержал своей клятвы, в свидетели которой призывал господа бога и ангелов, и первым шагом его после возвращения в королевства Англии и Шотландии было гнусное посягательство на власть всемогущего посредством этого мерзкого Акта о верховенстве и изгнание, без вызова в суд, без предъявления обвинения и без судебного разбирательства многих сотен достославных, истинно благочестивых проповедников слова божия, вследствие чего он отнял хлеб жизни у алчущих уст, у этих несчастных созданий, и насильнически заткнул им глотку мертвыми, не уснащенными солью, безвкусными, ни холодными, ни горячими опресноками четырнадцати лжепрелатов и поставленных ими продажных, бездушных, погрязших в плотских наслаждениях, позорящих род человеческий и во всем покорных их воле священников.

— Я прибыл сюда совсем не затем, чтобы выслушивать ваши проповеди,— сказал офицер,— но чтобы без дальних околичностей выяснить, разойдетесь ли вы на условиях полного прощения всех, за исключением убийц архиепископа Сент-Эндрю, или вы намерены дожидаться атаки войск его величества короля, которые готовы немедленно выступить против вас.

— Раз без дальних околичностей, то да будет тебе известно,— ответил оратор,— что мы пребываем здесь с мечом у бедра, как подобает мужчинам, несущим стражу в ночи. Мы все, как один, разделим общую участь, как равные во всем братья. Пусть кровь того, кто восстанет на наше правое дело, падет на его собственную голову. Итак, возвращайся к пославшим тебя, и да откроет господь и им и тебе всю мерзость ваших путей.

— Как ваше имя? — спросил корнет, которому показалось, что он где-то уже встречал человека, отвечавшего ему сейчас от лица мятежников.— Не зовут ли вас Джон Белфур Берли?

— А если и так,— сказал тот,— что ты можешь иметь против этого имени?

— Только то,— ответил корнет,— что прощение, обещанное мною от имени короля и моего командира, на вас отнюдь не распространяется, и я предлагаю его не вам, а этому простому деревенскому люду; и еще, что я послан для переговоров не с вами и не с подобными вам.

— Ты, приятель, видать, еще совсем зеленый солдат,— отозвался Берли,— и недостаточно понаторел в своем ремесле; иначе тебе полагалось бы знать, что предлагающий перемирие не вправе вести переговоры с неприятельской армией, а должен сноситься лишь с ее офицерами; и если он позволяет себе нарушать это условие, то утрачивает права, обеспечивающие его безопасность.

Произнося эти слова, Берли снял с плеча карабин и взял его в руки.

— Угрозы убийцы не помешают мне исполнить мой долг,— заявил корнет Грэм.— Слушай меня, добрые люди: объявляю от имени короля и моего командира полное прощение всем, за исключением...

— Еще раз предупреждаю тебя! — крикнул Берли, вскидывая ружье.

— ...полное прощение всем,— продолжал молодой офицер, обращаясь к строю мятежников,— всем, кроме...

— Раз так... да примет господь твою душу, аминь! — произнес Берли.

С этими словами он выстрелил, и корнет Ричард Грэм свалился с коня. Выстрел поразил его насмерть. Несчастный молодой человек, напрягая последние силы, повернулся на бок и еле слышно пробормотал: «Бедная мать!» Это усилие ускорило его смерть. Обезумевший конь во весь опор помчался к полку, и за ним поскакал перепуганный не меньше его трубач.

— Что вы наделали! — сказал, обращаясь к Белфуру, один из его соратников.

— Я исполнил свой долг,— твердо ответил Белфур.— Но сказано ли в Писании: «Ты будешь ревностен и тогда, когда убиваешь»? Пусть теперь кто-нибудь посмеет заговорить о перемирии или прощении!

Клеверхауз видел, как упал его племянник. Он обратил свой взгляд на Эвендела, и его невозмутимо спокойные черты на какую-то долю секунды исказились неописуемой скорбью. Он только сказал:

— Вот, видели!

— Я отомщу за него или погибну! — воскликнул Эвендел и, пришпорив коня, бешено помчался вниз по склону холма, увлекая за собой свой эскадрон и солдат павшего Грэма, устремившихся на врага по собственному почину; и так как каждый хотел опередить остальных, чтобы первым отмстить за своего офицера, ряды вскоре пришли в расстройство. Эти эскадроны составляли первую линию королевских войск. Тщетно

Клеверхауз восклицал: «Стой! Стой! Эта стремительность нас погубит!» Единственное, чего ему удалось добиться, носясь сломя голову вдоль второй линии, убеждая, приказывая и даже угрожая солдатам шпагой,— это чтобы остальные не последовали столь заразительному примеру.

— Аллан,— сказал он, водворив в рядах драгун относительный порядок,— ведите их, не торопясь, вниз по склону холма, чтобы оказать поддержку лорду Эвенделу, который в ней, видимо, очень нуждается. Босуэл, ты хладнокровный и решительный парень...

— Что ж,— пробурчал Босуэл,— в такой момент, как сейчас, вы, пожалуй, можете вспомнить об этом.

— Ты поведешь десяток рядов направо вверх по ложбине,— продолжал его командир,— и попытаешься любым способом переправиться через топь; там ты построишь солдат и атакуешь мятежников с фланга и с тыла, а мы одновременно ударим им в лоб.

Босуэл поклонился в знак того, что понял свою задачу и повинуется, и тотчас же поскакал со своими людьми в указанном ему направлении.

Между тем опасения Клеверхауза стали оправдываться. Солдаты, бросившись вслед за лордом Эвенделом, вскоре столкнулись с препятствиями, остановившими их беспорядочный натиск.

Некоторые, пытаясь переправиться через трясину, увязли в ней, другие, отказавшись от этой попытки, остановились у ее края, третьи рассыпались, чтобы отыскать более удобное место для перехода. Среди этого замешательства первая линия пресвитериан, изготовившись к стрельбе по противнику: передний ряд — с колена, второй — пригнувшись, а третий — во весь рост,— открыла убийственный плотный огонь, поваливший с коней не менее двадцати всадников и вызвавший еще больший беспорядок среди драгун. Лорду Эвенделу и вслед за ним кучке солдат, кони которых были получше, удалось перескочить ров, но едва они оказались по ту сторону рва, как их атаковал левый отряд вражеской кавалерии. Ободренные малочисленностью преодолевших препятствие лейб-гвардейцев, повстанцы бешено понеслись на них с яростным криком: «Горе, горе необрезанным филистимлянам! Долой Дагона и всех поклоняющихся ему!»

Молодой дворянин сражался как лев, но большинство последовавших за ним солдат было убито, да и сам он не избежал бы такой же участи, если бы не сильный ружейный огонь, кото-

«Пуритане»

рым поддержал его Клеверхауз; подойдя со второй линией ближе ко рву, он так разил противника, что конница и пехота повстанцев начали отходить. Эвендел, избавленный благодаря этому от неравного боя и оставшийся почти в одиночестве, перебрался назад через трясину и присоединился к своим. Впрочем, несмотря на потери, причиненные действиями Клеверхауза, повстанцы вскоре оправились; они поняли, что преимущество в численности и в занимаемой ими позиции настолько обеспечивает их перевес, что, ограничиваясь упорной, но вместе с тем деятельной обороной, они смогут нанести поражение лейб-гвардейцам. Их вожди носились между рядами, убеждая не поддаваться и разъясняя, насколько сокрушителен их огонь, поражающий одновременно и всадника и коня, так как драгуны, в соответствии с установившимся в кавалерийских частях обычаем, стреляли не спешиваясь. Клеверхауз, видя, что его лучшие люди падают от неприятельского огня, ответить на который достойным образом они не могли, неоднократно в разных местах делал попытки пройти через трясину и навязать противнику бой на твердой почве и в более благоприятных для королевских солдат условиях. Но плотный огонь повстанцев в сочетании с естественными препятствиями помешал ему выполнить этот замысел.

— Если диверсия Босуэла не удастся, придется, видимо, отступать,— сказал он Эвенделу.— А пока отведите людей за пределы досягаемости неприятельского огня, оставив в ольшанике группы застрельщиков; пусть они из-за укрытия беспокоят противника.

Эти приказания были выполнены, и Клеверхауз стал с нетерпением ждать, когда же покажутся Босуэл и его люди. Но и тому пришлось столкнуться с препятствиями. Начатый им обход справа не ускользнул от бдительного ока Белфура Берли, который немедля ответил на него выдвижением левого фланга своей кавалерии, так что, когда Босуэл, проскакав довольно значительное расстояние по ложбине, нашел более или менее подходящую переправу, он увидел, что силы противника превосходят его собственные.

Эта неожиданность нисколько, однако, не охладила его пыла.

— За мной, ребята,— обратился он к своим людям,— пусть никто не посмеет сказать, что мы показали спину, наткнувшись на этих круглоголовых ханжей!

Затем, как если бы в него вселился дух его предков, он зычным голосом крикнул: «Босуэл, Босуэл!» — и, бросившись пря-

мо в топь, проскочил ее во главе своего отряда и налетел на всадников Берли с такой яростью, что отогнал их на расстояние пистолетного выстрела, собственноручно убив троих. Берли, предвидя, какие последствия вызовет поражение на этом участке, и зная, что его всадники хотя и превосходят противника численностью, однако не выдерживают никакого сравнения с солдатами регулярной армии ни в искусстве владеть оружием, ни в кавалерийской выучке, устремился наперерез Босуэлу и столкнулся с ним один на один. В этих бойцах люди возглавляемых ими отрядов видели как бы своих представителей, и в результате произошло то, чему скорее место в романе, чем в описании достоверного события. И лейб-гвардейцы и повстанцы перестали сражаться и смотрели на Босуэла и на Берли такими глазами, словно судьба всего этого дня зависела от исхода единоборства между этими искусными и опытными рубаками. Участники поединка и сами, видимо, разделяли такое же мнение, так как, обменявшись двумя-тремя нетерпеливыми наскоками и нападениями, они, точно по уговору, опустили оружие, чтобы немного передохнуть после предшествовавшей борьбы и приготовиться к новой схватке; каждый из них понимал, что перед ним — достойный противник.

— Ты гнусный убийца, Берли,— сказал Босуэл, крепко сжимая палаш и стиснув зубы,— однажды тебе удалось от меня ускользнуть, но твоя голова (он выпалил такое ужасающее проклятие, что мы не решаемся его повторить)... стоит того, во что ее оценили, и она будет болтаться у луки моего седла, или мой конь возвратится к своим с пустым седлом.

— Да,— отозвался Берли с видом суровой и мрачной решимости,— да, я тот самый Берли, который обещал уложить тебя на землю так, чтобы ты не смог поднять больше голову. И да сотворит со мной господь то же самое и еще худшее, если я не сдержу своего слова.

— Значит, или ложе из вереска, или тысяча мерков! — воскликнул Босуэл, обрушиваясь изо всей силы на Берли.

— Меч господа и меч Гедеона! — прокричал Белфур, отбивая удар Босуэла и отвечая ему своим.

Едва ли часто случалось, чтобы оба участника поединка были столь равны в физической силе, в искусстве владеть оружием и конем, в безграничной храбрости и в непримиримой взаимной вражде. Обменявшись многочисленными свирепыми ударами, нанеся и получив по нескольку незначительных ран, они в бешенстве набросились друг на друга, подгоняемые слепым нетерпением смертельной ненависти: Босуэл схватил Бер-

ли за портупею, Белфур вцепился в воротник его куртки, и оба свалились наземь. Товарищи Берли поспешили ему на выручку, но им помешали драгуны, и борьба опять стала общей. Но ничто не могло оторвать Берли и Босуэла друг от друга, и они продолжали кататься по земле, борясь, беснуясь, с пеной у рта, упорством своим подобные чистокровным бульдогам.

Несколько лошадей промчались над ними, но они не разжали объятий, пока удар копытом не сломал правую руку Босуэла. Подавляя глубокий стон, он отпустил врага, и они оба вскочили на ноги. Сломанная рука Босуэла беспомощно повисла у него на боку, но левой рукой он пытался нащупать место, где должен был находиться кинжал, который, однако, выпал из ножен во время борьбы. Устремив на противника взгляд, в котором сочетались бешенство и отчаяние, он стоял теперь безоружный и беззащитный; и Белфур, с диким торжествующим хохотом взмахнув палашом, обрушил его на противника. Тот устоял на ногах, так как палаш лишь слегка задел ему ребра. Босуэл больше не защищался, но, взглянув на Берли с усмешкой, в которой выразил всю свою беспредельную ненависть, он презрительно бросил ему:

— Подлый мужлан, ты пролил королевскую кровь!

— Умри, жалкая тварь! — закричал Белфур, нанося новый удар, и на этот раз с бóльшим успехом. И, наступив ногой на тело упавшего Босуэла, он в третий раз ударил его своим палашом: — Умри, кровожадный пес! Умри, как ты жил; умри, как подыхают животные, ни на что не уповая, ни во что не веря.

— И ничего не страшась,— прохрипел Босуэл, собрав последние силы, чтобы произнести эти гордые, полные непримиримости слова, и тотчас же испустил дух.

Поймать пробегавшую лошадь за повод, вскочить в седло и броситься на помощь своим было для Берли делом какого-нибудь мгновения. Гибель Босуэла окрылила повстанцев не меньше, чем смутила королевских драгун, и это сразу решило исход возобновившейся стычки. Несколько солдат было убито, остальные перебрались через трясину и обратились в бегство. Победитель Берли, в свою очередь, переправился через топь, задумав использовать против Клеверхауза такой же маневр, какой должен был выполнить Босуэл. Он построил своих людей, собираясь атаковать правое крыло королевских войск. Сообщая главным силам о своем успехе, он заклинал их именем неба перейти болото и завершить славное дело господне общей атакою на врага.

Между тем Клеверхауз успел несколько выправить положение, создавшееся после беспорядочной и безуспешной атаки, и теперь ограничивался стрельбой по мятежникам издали, которую вели несколько спешенных им лейб-гвардейцев. Действуя в густом ольшанике у самого края топи, они своим плотным и метким огнем сильно тревожили неприятеля и сверх того внушали ему преувеличенное представление о численности королевских солдат. Ведя бой описанным образом и все еще не теряя надежды, что диверсия Босуэла и его людей сможет создать благоприятные условия для общей атаки по фронту, Клеверхауз неожиданно увидел перед собой одного из драгун, окровавленное лицо и измученный конь которого явно свидетельствовали, что он только что из жаркого дела.

— Ну что, Хеллидей? — спросил Клеверхауз, знавший по имени каждого драгуна в полку.— Где Босуэл?

— Босуэл погиб,— ответил Хеллидей,— и вместе с ним много хороших ребят.

— В таком случае, Хеллидей,— сказал Клеверхауз с обычной невозмутимостью,— король потерял стойкого и преданного солдата. Неприятель, видно, перешел через топь?..

— Большим конным отрядом, под командой самого дьявола, что убил Босуэла,— ответил перепуганный насмерть солдат.

— Тише, тише! — оборвал его Клеверхауз, прикладывая палец к губам.— Никому ни слова об этом. Лорд Эвендел, наше отступление неизбежно. Такова воля рока. Соберите людей, что засели в кустах, ведя огонь по врагу. Пусть Аллан построит полк. Приказываю вам и ему отступать вверх по склону холма, разделившись на два отряда и попеременно прикрывая друг друга. А я буду сдерживать этих висельников силами арьергарда, время от времени останавливаясь и сходясь с ними врукопашную. Они сейчас будут по эту сторону рва; весь их боевой порядок пришел в движение, они готовятся к переправе; не теряйте же времени!

— Где Босуэл и его люди? — спросил лорд Эвендел, пораженный спокойствием своего командира.

— Угомонился навеки,— ответил Клеверхауз ему на ухо,— король потерял слугу; теперь он слуга дьявола. Но к делу, Эвендел, поезжайте, соберите людей. Аллану и вам придется зажать их в кулак. Отступление — дело для нас непривычное; но ничего, настанет и наш черед.

Аллан и Эвендел занялись выполнением возложенной на них Клеверхаузом задачи, но, прежде чем полк, разделен-

ный на два отряда, успел перестроиться для отступления, значительные силы противника начали переходить топь. Клеверхауз, собравший вокруг себя несколько самых опытных и отважных драгун, бросился с ними на перешедших через трясину, но еще действовавших в одиночку повстанцев. Некоторые из них были убиты, другие загнаны назад в топь, и это позволило основному ядру лейб-гвардейцев, теперь значительно уменьшившихся в числе и павших духом из-за понесенных потерь, начать отход вверх по склону холма.

Однако авангард неприятеля, получив подкрепление и поддерживаемый всем войском пресвитериан, заставил Клеверхауза последовать за полком. Никогда ни один человек не показывал примера такого безупречного солдатского поведения, как он в этом бою. Приметный из-за своего вороного коня и белых перьев на шляпе, он первым летел в многочисленные атаки, которые возобновлял всякий раз, как только представлялась хоть какая-нибудь возможность остановить продвижение неприятеля и прикрыть отступление. Являясь мишенью для каждого, он, казалось, был недоступен пулям. Суеверные фанатики, убежденные в том, что его охраняет сам сатана, уверяли, будто видели собственными глазами, как в разгар сражения, когда он носился взад и вперед в вихре жестокой схватки, от его кожаной куртки и от ботфортов отскакивали, словно градины от гранитной скалы, целые рои пуль. Многие из повстанцев заряжали в этот день мушкеты разрезанным на куски серебряным долларом, считая, что этого гонителя святой церкви, которого не берет свинец, можно убить только серебряной пулей.

— Бей его холодным оружием! — кричали в рядах повстанцев, когда он бросался в атаку.— Палить в него — только зря переводить порох. От этого столько же проку, как от стрельбы в сатану.

Но хотя подобные крики раздавались со всех сторон, появление Клеверхауза наполняло души повстанцев таким суеверным ужасом, что они расступались, завидев его, словно он был сверхъестественным существом, и лишь немногие отваживались скрестить с ним клинки. И все же его войска были вынуждены отходить назад и испытывать на себе все тяготы отступления. Солдаты, отход которых он обеспечивал, обнаружив, что численность переправившихся через болото повстанцев продолжает неуклонно расти, утратили стойкость, так что майору Аллану и лорду Эвенделу было все труднее заставлять их останавливаться и сохранять боевой порядок. Отход лейб-гвардейцев становился все торопливее, и это вносило еще большее за-

мешательство в их ряды. Чем ближе подходили драгуны к вершине холма, откуда в недобрый час спустились в ложбину, тем больше возрастала среди них паника. Всякому не терпелось перевалить поскорее через гребень возвышенности и укрыться, таким образом, от выстрелов преследующего противника, и никто не желал отступать последним и жертвовать собой ради других. Охваченные страхом, несколько драгун, пришпорив коней, покинули строй и бежали; остальные стали так нечетко и небрежно проделывать марши и необходимые перестроения, что офицеры все время дрожали, как бы и эти не последовали примеру беглецов.

Среди этой страшной картины, среди льющейся повсюду крови, топота коней, стонов раненых, среди все продолжающегося огня повстанцев, ставшего теперь непрерывным, среди громких криков, раздававшихся всякий раз, когда меткая пуля сражала кого-нибудь из драгун, среди всех ужасов и сумятицы боя, не сомневаясь, что обезумевшие от страха солдаты могут в любую минуту бросить своих офицеров и удариться в бегство, Эвендел все же не преминул отметить про себя самообладание своего командира. Даже утром, за завтраком у леди Белленден, взор его не был более ясным и поведение — более выдержанным. Он подъехал к лорду Эвенделу, чтобы отдать ему кое-какие распоряжения и попросить нескольких человек для своего арьергарда.

— Еще пять минут этой бойни,— сказал он ему вполголоса,— и наши негодяи предоставят честь заканчивать эту битву вам, милорд, старому Аллану и мне нашими собственными руками. Я должен во что бы то ни стало рассеять стрелков неприятеля, причиняющих нам столько урона, или мы покроем себя позором. Не старайтесь помочь, если увидите, что мне приходится туго; станьте во главе ваших людей и, заклинаю вас господом богом, выбирайтесь отсюда, как сможете; и передайте его величеству королю и Совету, что я умер, исполняя свой долг.

Проговорив это и приказав двум десяткам отважных драгун следовать неотступно за ним, он ринулся в такую отчаянную и неожиданную атаку, что смял передних бойцов пресвитерианского войска и отбросил их на некоторое расстояние. В горячке атаки Клеверхауз увидел Белфура Берли и, желая внести смятение в ряды неприятеля, обрушил на его голову удар такой сокрушительной силы, что перерубил каску и свалил его с лошади. Берли грохнулся наземь; он был оглушен, но не ранен. Впоследствии немало толковали о том, каким образом че-

ловека такой поразительной силы, как Белфур, мог свалить удар столь хрупкого, судя по внешности, Клеверхауза; простой народ, разумеется, склонен был усматривать в этом вмешательство сверхъестественных сил, относя за их счет мощь, которую непреклонный дух иногда придает даже относительно слабой руке. Во время этой последней атаки Клеверхауз, однако, слишком глубоко врезался в гущу повстанцев, и они окружили его со всех сторон.

Лорд Эвендел заметил опасность, угрожавшую его командиру,— в этот момент его отряд сдерживал натиск врага, тогда как Аллан со своими людьми отходил вверх по склону. Пренебрегая приказанием Клеверхауза, согласно которому он не должен был оказывать ему помощь, он велел своим людям броситься вниз на выручку полковника. Несколько человек последовали за ним, большинство в нерешительности осталось на месте, многие ускакали подальше. С теми, кто подчинился его приказу, Эвендел и спас Клеверхауза. Его помощь подоспела в самую решительную минуту; один из мятежных крестьян ударом косы сильно ранил коня Клеверхауза и готовился повторить удар, когда лорд Эвендел зарубил его насмерть. Выбравшись из рукопашной схватки, они смогли наконец осмотреться и уяснить себе положение. Солдаты Аллана скрылись за гребнем возвышенности; даже авторитет этого офицера не смог удержать их от бегства. Отряд Эвендела также рассыпался и метался в полном смятении и беспорядке по склону холма.

— Что же нам делать, полковник? — спросил лорд Эвендел.

— Мы, кажется, последние, оставшиеся на поле сражения,— сказал Клеверхауз,— а если люди дрались, пока могли, то нет никакого позора искать спасения в бегстве. Если двадцати приходится биться с целою тысячей, то и самому Гектору было бы не зазорно сказать: «Пусть дьявол забирает себе отставшего!» Спасайтесь, ребята, а потом, как можно быстрее, соберитесь все вместе. Едем и мы, милорд; ради этого надо поторопиться и нам.

Сказав это, он пришпорил своего раненого коня, и благородное животное, как бы понимая, что жизнь всадника зависит от усилий, какие оно приложит, стрелой понеслось вперед, словно не чувствовало никакой боли и потеря крови совсем не сказалась на нем. Несколько офицеров и солдат в беспорядке последовали за ним. Отъезд Клеверхауза явился сигналом для всех отставших, все еще оказывавших кое-какое сопротивление наступающему противнику; и они также поспешно бежали, окончательно уступив поле битвы победившим повстанцам.

## ГЛАВА XVII

Смотри, с поля битвы, сквозь гром и огонь,
Чей мчится безумный без всадника конь?

*Кэмбел*

Во время ожесточенной схватки, описанной нами в предыдущей главе, Мортон, Кадди, его мать и достопочтенный мистер Гэбриел Тимпан оставались на гребне возвышенности, близ того каменного надгробия, возле которого Клеверхауз держал перед боем военный совет, и это позволило им следить за ходом событий, происходивших внизу. Их охрана, состоявшая из капрала Инглиса и четырех солдат, как нетрудно себе представить, уделяла неизмеримо больше внимания капризам фортуны на поле сражения, чем поведению арестованных.

— Если эти ребята постоят за себя,— сказал Кадди,— нам, может, опять удастся избегнуть пенькового галстука. Да только что-то не верится. Плохие они вояки, сударь.

— А здесь, Кадди, большого искусства не требуется,— ответил Мортон.— У них выгодная позиция, они сносно вооружены и больше чем втрое превосходят нападающих в численности. Если они не сумеют постоять за свою свободу и на этот раз, значит, они и их сторонники заслуживают того, чтобы утратить ее навсегда.

— Ах! — воскликнула Моз.— Зрелище это воистину великолепно! Дух мой подобен духу благословенного пророка Илии, он пылает во мне; внутренности мои — словно сусло, что бурлит и рвется наружу, еще немного, и я лопну, как сосуд, в который налито молодое вино. О, если бы господь обратил в этот день суда и освобождения взоры свои на избранный им народ! Но что печалит тебя, бесценный наш Гэбриел? Я спрашиваю, что печалит тебя, который во время оно был бы назареем чище, чем снег, белее, чем молоко, краснее сапфира (старая Моз, видимо, не очень-то разбиралась в драгоценных камнях); я говорю, что печалит тебя, почему лицо твое сделалось чернее, чем уголь? Почему увяла твоя красота? Почему испарилась твоя любезность и ты стал сухим, как глиняный черепок? Сейчас самое время восстать и действовать, время воззвать во весь голос и беспощадно разить; время вознести молитвы свои за наших страдальцев, которые ратуют за правое дело, не жалея ни своей крови, ни крови врагов.

Это пламенное обращение Моз заключало в себе горький упрек мистеру Гэбриелу Тимпану, который, сущий Воанергес,

что означает сын грома, на кафедре, вдали от врагов, и достаточно упорный, как мы видели, даже попав в их руки, утратил теперь от пальбы, криков и неистовых воплей, доносившихся из долины, способность членораздельной речи и был до того перепуган — впрочем, это могло бы случиться со всяким, окажись он в положении, когда нельзя ни броситься в бой, ни бежать,— что не только не мог воспользоваться благоприятным случаем и громить гонителей пресвитерианства, чего ожидала от него бесстрашная Моз, но и молиться об успешном завершении битвы. И все же он сохранял некоторое присутствие духа и не менее ревниво, чем прежде, заботился о поддержании своей славы несгибаемого и пламенного глашатая слова господня.

— Помолчи, женщина,— сказал он,— не нарушай моих размышлений и не отвлекай от борьбы, которую я веду с врагами в сердце моем. Однако, говоря по правде, выстрелы неприятеля учащаются! Шальная пуля, чего доброго, может залететь и сюда! Ага! Я укроюсь, пожалуй, за камнем, как за несокрушимой крепостною стеной.

— Он просто-напросто трус,— сказал Кадди, отнюдь не лишенный той храбрости, которая равнодушна к опасности,— он всего-навсего жалкий трус! Далеко ему до Рамблбери, господи боже! Тот бился и громил своими проклятиями, как крылатый дракон. Как жаль, что ему, бедняге, не удалось избежать петли! Говорят, он шел на казнь, распевая псалмы, бодро и даже весело, как я бы, скажем, пошел к миске с похлебкой, проголодавшись, как сейчас, например. Эх, страшно взглянуть, что там творится, а все смотришь и глаз не оторвешь.

В самом деле, жадное любопытство Мортона и Кадди и пламенный энтузиазм Моз заставляли их оставаться на месте, так как отсюда они могли лучше всего следить за ходом событий, между тем как почтенный Гэбриел Тимпан один укрывался в безопасном убежище. Хотя наши узники и видели с вершины холма все описанные нами превратности битвы, они не могли по-настоящему разобраться в положении дел. Что пресвитериане не поддаются, было очевидно по густому, тяжелому, освещаемому частыми вспышками дыму, который теперь застилал всю долину и накрыл борющихся своей серою тенью. Однако непрерывная стрельба с ближнего края низины свидетельствовала о том, что враг упорно стремится вперед, что бой протекает крайне ожесточенно и что от сражения, в котором необученным военному делу крестьянам приходится отбивать атаки прекрасно вооруженного регулярного войска под командою опытных офицеров, можно ожидать любого исхода.

Наконец из окутанной дымом лощины начали выскакивать кони без всадников; судя по сбруе, они принадлежали драгунам. Потом показались спешенные солдаты, покидавшие поле боя и торопившиеся перевалить через гребень холма, чтобы поскорее уйти от опасности. Число этих беглецов все увеличивалось, и можно было предполагать, что судьба дня решена. Затем из клубов дыма вынырнул большой отряд лейб-гвардейцев, он кое-как построился на склоне холма, с трудом удерживаемый на месте стараниями своих офицеров; потом появился так же поспешно отступавший отряд лорда Эвендела. Исход боя был очевиден; узники торжествовали: они радовались и победе пресвитериан, и своему скорому освобождению.

— Эти уже зашабашили,— сказал Кадди,— и работать больше не станут!

— Они бегут! Бегут! — воскликнула радостно Моз.— О, спесивые тираны! Они скачут, как никогда еще не скакали. О, лукавые египтяне... О, надменные ассирийцы, филистимляне, моавитяне, идумеи, измаильтяне! Господь направил на них остро отточенные мечи, чтобы стали они пропитанием для птиц поднебесных и тварей земных. Смотрите, какие тучи и вспышки огня преследуют их по пятам, смотрите, как предшествуют они избранным сынам ковенанта — точно столп облачный и столп огненный, что вели народ израильский из Египта! День сей — воистину день освобождения праведных, день гнева на гонителей и безбожников!

— Спаси нас господи! Матушка,— сказал Кадди,— придержали бы вы свой язык да легли бы за камнем, как мистер Тимпан, золотой человек! Пули вигов не очень-то разбирают, в кого им попасть, и так же легко могут размозжить голову распевающей псалмы старухе, как и изрыгающему богохульства драгуну.

— Не бойся за меня, Кадди,— ответила старая Моз, обрадованная и возбужденная успехом повстанцев,— не бойся! Я поднимусь на могильник и, словно Дебора, вознесу песнь мою в поношение этих людей из Харошеф-Гоима, что разбили подковы коней своих, спесиво гарцуя перед людьми.

Восторженная старуха и впрямь проделала бы задуманное и, взобравшись на камень, стала бы, как она выражалась, хоругвью и стягом своего народа, если бы Кадди, преисполненный скорее сыновней заботливости, чем почтительности, не принудил ее, хотя его руки и были связаны, остаться на месте.

— Ого,— сказал он, покончив с этим,— взгляните сюда, Милнвуд, смотрите, видали ли вы когда-нибудь, чтобы кто из смертных дрался, как этот сатана Клеверз? Смотрите, он триж-

ды был в самой гуще и трижды выбирался из нее невредимым... Но и мы сами, сдается, скоро выберемся отсюда. Инглис со своими солдатами что-то частенько стали поглядывать через плечо, точно дорога назад им милее, чем та, что ведет вперед.

Кадди не ошибся. Когда главная масса бегущих поравнялась с местом, где они находились, капрал и его люди выстрелили, не целясь, по приближающимся повстанцам и, бросив всякое попечение об арестованных, присоединились к своим отступавшим товарищам. Мортон и старая Моз, которые не были связаны, не теряя времени, развязали Кадди и проповедника, освободив их скрученные за спиной руки. Едва успели они это сделать, как почти у самой подошвы холма, на вершине которого было не раз уже упоминавшееся нами надгробие, показался арьергард отступающих, все еще сохранявших подобие строя. Во всем замечались та спешка и то смятение, которые всегда налицо при отходе, но они все же еще не потеряли облика воинской части. Впереди скакал Клеверхауз; его обнаженный палаш, так же как лицо и одежда, был окровавлен. Конь был покрыт корками запекшейся крови и засекался от слабости. Лорд Эвендел, чей вид немногим отличался от вида Клеверхауза, вел за собою последнюю группу драгун, увещевая их не разбредаться и сохранять присутствие духа. Среди них было несколько раненых, и один или двое свалились с коней, уже поднявшись на холм.

При этом зрелище Моз снова зажглась вдохновением. Стоя среди густого вереска, с непокрытою головою, с седыми, развевающимися на ветру космами, она довольно точно являла собою образ престарелой вакханки или фессалийской колдуньи, исступленно предающейся своим заклинаниям. Она тотчас же узнала мчавшегося во главе отступающих Клеверхауза и воскликнула с едкой иронией:

— Остановись, остановись! Ведь ты всегда жаждал побывать на собраниях святых мучеников, ведь ты готов был обрыскать все, какие есть, болота Шотландии, чтобы отыскать такое собрание. Что же ты не остановишься, когда нашел его наконец? Не желаешь ли выслушать еще одно слово? Не желаешь ли дождаться послеобеденной проповеди? Горе тебе! — продолжала она, внезапно меняя тон.— Да подсекутся сухожилия у той твари, на быстроту которой ты уповаешь! Смотри, смотри, тебе приходит конец, тебе, пролившему столько крови и тщащемуся теперь спастись самому, тебе, наглый Рабсак, изрыгающий кощунства Семей, кровожадный Доик! Подъят обнаженный меч, и вскоре он настигнет тебя, как бы быстро ты ни скакал.

Клеверхаузу, как нетрудно предположить, было не до того, чтобы прислушиваться к ее гневным речам. Надеясь собрать беглецов вокруг своего боевого штандарта, он торопился перевалить через гребень возвышенности, заботясь только о том, чтобы вывести остатки полка за пределы досягаемости неприятельских выстрелов. Но когда последняя группа драгун поднялась на вершину холма, пуля поразила лошадь лорда Эвендела, и она тотчас же грохнулась наземь, увлекая за собой и его. Двое повстанцев на конях, опередившие своих сотоварищей в преследовании бегущих, понеслись к нему, чтобы его убить, ибо в те времена никому не давали пощады. Устремился к нему, но чтобы спасти ему жизнь, и Мортон, побуждаемый как врожденным великодушием, так и желанием уплатить долг, которым лорд Эвендел обязал его утром того же дня и который в силу известных читателю обстоятельств заставил его так жестоко страдать. Пока он помогал раненому освободиться из-под убитой лошади и встать на ноги, подоспели и оба всадника, и один из них, закричав: «Смерть тирану в красной куртке!» — обрушил на знатного юношу свой палаш; Мортон, с трудом отпарировавший удар, крикнул всаднику, оказавшемуся не кем иным, как Белфуром Берли:

— Пощадите этого человека ради меня, ради,— добавил он, замечая, что Берли его не узнал,— ради Генри Мортона, еще так недавно предоставившего вам кров.

— Генри Мортон? — откликнулся Берли, вытирая окровавленный лоб рукой, еще более окровавленной.— Разве не говорил я, что сын Сайлеса Мортона покинет страну утеснения и явится к нам, что недолго ему оставаться еще в шатрах, раскинутых в стане Хама? Ты головня, извлеченная из пожарища... Но этот обутый в ботфорты апостол епископства, он умрет положенной ему смертью! Мы должны безжалостно их разить, мы должны истреблять их под корень от восхода и до заката. Мы посланы, чтобы убивать их, как амалекитян, уничтожать весь их род, не щадить ни мужчины, ни женщины, ни дитяти, ни сосунка, и потому не мешай мне,— прибавил он, снова замахиваясь палашом на лорда Эвендела,— ибо дело это нужно делать как следует.

— Вы не должны его убивать, вы его не убьете, особенно теперь, когда он лишен возможности защищаться,— горячо произнес Мортон, заслоняя собою лорда Эвендела и готовый принять удар, предназначавшийся офицеру.— Сегодня утром он спас мою жизнь, жизнь, которой грозила опасность только из-за того, что я укрыл вас в Милнвуде; пролить его кровь те-

перь, когда он не может сопротивляться, было бы не только жестокостью, ненавистной и богу и человеку, но и отвратительной неблагодарностью как по отношению к нему, так и ко мне.

Берли опустил руку.

— Ты все еще,— сказал он,— в содоме язычников, и я скорблю о твоей слепоте и слабости. Жесткое мясо не для младенцев; великое и тяжкое испытание, заставившее меня взяться за меч, не для тех, чьи сердца обитают в глиняных хижинах, чьи ноги опутали тенета бренных привязанностей, кто облачается в покров, называемый покровом праведника, хотя он не что иное, как мерзкое рубище. Но направить душу на путь веры и истины куда лучше, чем отослать злодея в Тофет, а потому я пощажу юношу, за которого ты заступаешься, полагая, что эта милость будет подтверждена военным советом господней армии, которую отец наш небесный благословил в этот день предвестием близкого освобождения. У тебя нет, как вижу, оружия; дожидайся моего возвращения. Я должен преследовать этих грешников, этих амалекитян; я должен разить их, пока они не будут окончательно стерты с лика земли, от Хавилы до Суры.

Проговорив это, он пришпорил коня и снова пустился в погоню.

— Кадди,— сказал Мортон,— ради бога, достань лошадь, и как можно скорее. Я не могу доверить жизнь лорда Эвендела людям, настолько ожесточившимся. Как ваши раны, милорд? Можете ли вы продолжать путь? — добавил он, обращаясь к пленнику, оглушенному падением, который стал понемногу приходить в себя.

— Полагаю, что да,— ответил молодой лорд.— Но возможно ли? Ужели я обязан своею жизнью мистеру Мортону?

— Я помешал бы убийству пленного и из простой человечности,— ответил Мортон.— А что касается вашей чести, то, вступившись за вас, я к тому же уплатил священный долг благодарности.

В этот момент возвратился с лошадью Кадди.

— Ради господа бога, садитесь, садитесь в седло и летите, как ястреб, милорд,— сказал добродушный парень.— Я не я, если они не перебьют всех до последнего — и пленных и раненых.

Лорд Эвендел, которому Кадди почтительно придержал стремя, не без труда взобрался на лошадь.

— Отойди подальше, дружок; смотри, как бы эта предупредительность не стоила тебе жизни. Мистер Мортон,— про-

должал он, обращаясь к Генри,— мы связаны теперь навсегда; я никогда не забуду вашего благородства. Прощайте!

Он повернул коня и поскакал в том направлении, где была наименее вероятна угроза погони.

Не успел лорд Эвендел умчаться, как небольшая группа повстанцев из числа тех, кто преследовал отступающего противника, окружила Кадди и Мортона, угрожая им местью за помощь, которую они оказали улизнувшему филистимлянину, как они называли знатного юношу.

— А что же нам оставалось, по-вашему, делать? — закричал Кадди.— Как могли бы мы задержать человека, у которого два пистолета, да еще в придачу палаш? А почему вы сами не поторопились, вместо того чтобы кидаться теперь на ни в чем не повинных людей?

Эти оправдания едва ли были бы признаны состоятельными, если бы оправившийся от недавнего страха мистер Тимпан, который пользовался известностью и уважением среди гонимых скитальцев, а также старая Моз, умевшая говорить их языком не хуже самого проповедника, горячо и страстно не вступились за них.

— Не трогайте их, не творите им зла! — воскликнул Тимпан своим лучшим басовым тембром.— Это сын знаменитого Сайлеса Мортона, руками коего господь свершил в этой стране большие дела; это было в то время, когда начиналась борьба против епископства, когда потоком лилось слово божие, когда обновлялся дух ковенанта. Он был героем и бойцом в те благословенные дни, когда у нас были сила и власть, когда уличенные в злодеяниях грешники обращались к истинной вере, когда святых мучеников объединяло братство в бою и молитве, когда благоухали ароматы райских садов.

— А это сынок мой Кадди,— подхватила, в свою очередь, Моз.— Это сын отца своего, Джуддена Хедрига, славного и честного человека, и матери своей Моз Миддлмес, недостойной рабы господней, которая исповедует чистую веру, и борется за нее, и всею своей душой ваша. Разве не начертано в Священном писании: «Не погубите колена племен Каафовых из среды Левитов» («Числа», глава четвертая, стих восемнадцатый)? Ох, ребята, что же вы стоите безо всякого дела и препираетесь с честным народом, когда нужно воспользоваться победой, которой благословило вас провидение?

Не успел удалиться этот отряд, как их тотчас же окружил новый, и пришлось повторять те же самые объяснения. Гэбриел Тимпан, страх которого рассеялся вместе с дымом от послед-

него выстрела, снова вступился за них и, заметив, насколько существенно его слово для обеспечения безопасности недавних его товарищей по заключению, осмелел до того, что стал приписывать своим заслугам немалую долю в одержанной над королевскими войсками победе. Ссылаясь на Мортона и на Кадди, он утверждал, что, пока не был ясен исход сражения, он, как Моисей на горе Иегова-Нисси, возносил молитвы о том, чтобы Израиль взял верх над амалекитянами; он говорил, кроме того, что Мортон и Кадди поддерживали его воздетые к небу руки, когда они в изнеможении опускались; они делали это, как Ор и Аарон, поддерживавшие руки пророка. Очень возможно, что Гэбриел Тимпан столь щедро делился заслугами со своими товарищами по несчастью для того, чтобы у них не было искушения разоблачить его привязанность к бренной жизни и жалкую трусость, заставившие его забыть обо всем, кроме своей безопасности. Эти веские свидетельства в пользу только что освобожденных узников Клеверхауза быстро, со многими преувеличениями, распространились среди победоносного воинства. Толки на этот счет были чрезвычайно разнообразны; все они сходились, однако, на том, что молодой Мортон из Милнвуда, сын стойкого воина ковенанта Сайлеса Мортона, вместе с достопочтенным Гэбриелом Тимпаном и простой, но набожною старухой, относительно которой многие думают, что она столь же хорошо, как и сам проповедник, приводит на память и толкует тексты Писания, будь то слова гнева или слова утешения, прибыли поддержать старинное правое дело, приведя с собой подкрепление из сотни вооруженных до зубов обитателей Среднего Уорда.

## ГЛАВА XVIII

Стучал по кафедре горлан,
Как будто бил он в барабан.

*«Гудибрас»*

Между тем конница повстанцев, изнуренная непривычными для нее усилиями, прекратила преследование драгун и вернулась назад; собралась на отвоеванной земле и пехота, изнемогавшая от голода и усталости. Впрочем, успех так опьянял сердца, что казалось, будто он может заменить и пищу и отдых. И действительно, он превзошел даже самые смелые ожидания; не понеся больших потерь, они разбили наголову целый полк отборных солдат, во главе которых стоял первый военачальник

Шотландии, одним своим именем долгое время внушавший им ужас. Эта неожиданная победа поразила и потрясла их души, тем более что взялись они за оружие, побуждаемые скорее отчаянием, чем надеждою. Да и объединились они тоже случайно и приготовились к бою наскоро, избрав из своей среды командиров, отличавшихся пламенной верой и храбростью, а не какими-либо другими качествами. Отсутствие надлежащей организации и дисциплины повело к тому, что почти вся масса повстанцев превратилась в своего рода военный совет, горячо обсуждавший, что именно следует предпринять в развитие одержанного успеха, и не было такого дикого и несуразного предложения, которое не нашло бы сторонников и защитников. Некоторые советовали идти на Глазго, другие — на Гамильтон, третьи — на Эдинбург, четвертые — прямо на Лондон. Одни хотели отправить ко двору депутацию, чтобы разъяснить Карлу II его заблуждения и обратить его на путь истинный; сторонники более крутых мер предлагали возвести на престол нового короля или объявить Шотландию независимою республикой. Независимый парламент и независимый союз церковных общин — таковы были требования наиболее благоразумной и умеренной партии. Между тем среди солдат поднялся ропот; они требовали хлеба и всего, в чем нуждались, и хотя все жаловались на лишения и на голод, никто не принимал мер, чтобы наладить подвоз продовольствия. Короче говоря, лагерь ковенантеров, несмотря на только что одержанную победу, казалось, готов был рассыпаться, словно дом из песка, и причиною этому было отсутствие твердых принципов, которые объединяли бы и сплачивали восставших.

Берли, принимавший участие в преследовании противника и только теперь возвратившийся на поле сражения, застал войско повстанцев в состоянии полного разброда и замешательства. Обладая способностью опытного военачальника не теряться в любых обстоятельствах, он предложил выделить сотню наименее истомленных людей для несения лагерной службы, составить временный комитет из числа тех, кто выполнял до этой поры обязанности военачальников, передав ему, впредь до избрания командиров, верховное руководство, и поручить Гэбриелу Тимпану отметить дарованный небом успех подобающей проповедью, обращенной ко всей повстанческой армии. Он особенно настаивал на последней из перечисленных мер, и не без веской причины, так как это был единственный способ занять внимание массы повстанцев и доставить возможность ему и еще двум-трем военачальникам держать военный совет, не

отвлекаясь противоречивыми мнениями и бессмысленными криками целого войска.

Гэбриел Тимпан превзошел ожидания Берли. Два битых часа проповедовал он без запинки; и, конечно, ничьи легкие и ничьи наставления, кроме как мистера Гэбриела Тимпана, не могли бы в течение столь долгого времени приковывать внимание слушателей, и притом в таких критических обстоятельствах. Но он в совершенстве владел секретом грубого и незамысловатого красноречия, присущего многим проповедникам той эпохи; оно было бы с презрением отвергнуто аудиторией, обладающей хоть крупицею вкуса, но явилось хлебом насущным для слушателей Тимпана. Взятый им текст был из сорок девятой главы Книги пророка Исаии: «И плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сыновей твоих я спасу».

«И притеснителей твоих накормлю собственною их плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином; и всякая плоть узнает, что я господь, спаситель твой и искупитель твой, сильный Иаковлев».

Речь, произнесенная Тимпаном на эту тему, была разделена на пятнадцать частей, причем каждой части сопутствовало семь практических приложений основного тезиса проповедника; два должны были служить целям утешения, два — устрашения, два изъясняли причины вероотступничества и гнева господнего, а последнее возвещало обещанное и чаемое освобождение. Первую часть своей речи он посвятил собственному освобождению и освобождению своих товарищей по несчастью; он воспользовался случаем, чтобы сказать несколько слов в похвалу молодого Милнвуда, от которого, как от защитника ковенанта, он ожидал великих деяний. Вторую часть он заполнил перечислением кар, которые неминуемо в близком будущем поразят тираническое правительство. То он говорил тоном разговорным и обыденным, то возвышал голос, и тогда речь его становилась бурной и стремительной; иные места ее были высокопарны, иные, напротив, опускались до уровня самого непритязательного шутовства; то с огромным воодушевлением отстаивал он право всякого свободного человека чтить господа бога в соответствии с велениями собственной совести, то возлагал вину за бедствия и муки народные на непростительную небрежность правителей, которые не только не провозгласили пресвитерианства общенациональным исповеданием, но отнеслись с преступной терпимостью к сектантам разного толка — папистам, прелатистам, эрастианам, присвоившим себе название пресвитериан,

индепендентам, социнианам и квакерам, коих всех Тимпан предлагал изгнать из страны одним решительным актом парламента и тем самым полностью восстановить былое благолепие скинии. Потом он подробно остановился на учении об оборонительных действиях и о сопротивлении Карлу II, отметив, что этот монарх, вместо того чтобы пестовать, как отец, шотландскую церковь, в действительности не пестовал никого, кроме прижитых им вне брака детей. Затем он распространился относительно образа жизни и развлечений этого веселого государя, и, надо признаться, кое-что и в самом деле заслуживало тех выражений, которыми сыпал наш не очень-то учтивый оратор, окрестивший короля презренными именами Иеровоама, Омри, Ахава, Шаллума, Факея и всех прочих нечестивых царей, упоминаемых в книгах Паралипоменон. Свою речь мистер Тимпан заключил следующим текстом Писания: «Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение господа, как поток серы, зажжет его».

Едва Тимпан кончил проповедь и спустился с высокой скалы, служившей ему пастырской кафедрой, как на его месте появился новый оратор, резко отличавшийся от него своим обликом. Достопочтенный Гэбриел был человек преклонного возраста, плотный, с громовым голосом, квадратною головой и тупыми, невыразительными чертами лица, отчего и казалось, что плоть в нем берет верх над духом, а это едва ли было пристойно для глашатая слова божьего. Молодой человек, обратившийся теперь с увещаниями к этому столь необыкновенному сборищу, Эфраим Мак-Брайер, был не старше двадцати лет; и все же весь его облик наглядно свидетельствовал, что, при своем чахоточном сложении, он к тому же еще изнурен бдениями, постами, всяческими лишениями, связанными с пребыванием в тюрьме и тяготами скитальческой жизни. Несмотря на молодость, он уже дважды претерпел заключение продолжительностью в несколько месяцев; он много страдал, и это создало ему большой авторитет среди приверженцев его секты. Усталыми глазами окинул он толпу и поле сражения, и взгляд его зажегся ликованием, а бледное выразительное лицо покрылось болезненным, мгновенно вспыхнувшим и так же угасшим румянцем радости. Он сложил руки, поднял голову и, прежде чем обратиться к народу, видимо, мысленно погрузился в благодарственную молитву. Вначале его тихая, нетвердая речь как будто не могла выразить волновавшие его мысли. Но напряженное молчание слушателей, жадность, с которою они ловили каждое его

слово, подобная той, с какою изголодавшиеся иудеи собирали манну небесную, произвели, очевидно, соответствующее действие на самого проповедника. Речь его стала отчетливее, жесты живее и энергичнее; все говорило о том, что религиозный пыл одолел телесные недуги и слабость. Красноречие Мак-Брайера также не было лишено налета грубости, свойственной его секте, но, сглаженное природным вкусом, оно было свободно от наиболее нелепых и смешных недостатков проповедей его единоверцев; стихи Писания, терявшие порою в их устах смысл из-за неуместного применения, звучали у него красочно и величаво и производили такое же впечатление, какое в старинных соборах производят солнечные лучи, проникая сквозь стрельчатые окна с изображенными на них житиями святых и мучеников за веру.

В ярких красках обрисовал он бедственное положение церкви в последний период ее неурядиц. Он сравнил ее с Агарью, следящей среди безводной пустыни за угасанием жизни в ее возлюбленном чаде; с Иудой под пальмою, скорбящим о разорении храма, с Рахилью, оплакивающей свое бесплодие и отвергающей утешения. Но он достиг вершины сурового и величавого красноречия, когда непосредственно обратился к людям, еще не успевшим остыть после битвы. Он призывал их не забывать о великих делах, сотворенных ради них господом, и упорно идти вперед, не оставляя того пути, на который вывела их победа.

— Ваши одежды окрасились, но не соком виноградной лозы; ваши мечи обагрены кровью,— восклицал он,— но это не кровь коз и ягнят; пыль в пустыне, которую вы попираете, пропиталась туком и кровью, но это не кровь быков, ибо «жертва у господа в Восоре и большое заклание в земле Едома». То не были первенцы от стад, мелкий скот для сожжения жертвы, эти тела, что лежат, словно удобрение на поле, вспаханном рачительным хозяином; не благовоние мирры, ладана или душистых трав, то, что доносится до ваших ноздрей; но эти залитые кровью тулова — трупы тех, кто держал лук и копье, кто был жестокосерд и безжалостен, чей голос рокотал, словно море, кто садился в седло не иначе, как обвесив себя оружием, словно отправлялся на бой; это трупы могучих воинов, что пришли сразиться с Иаковом в день освобождения его, и этот дым — дым тех огней, что пожрали их. И эти дикие холмы, что вас окружают, не скиния, изукрашенная кедровым деревом и серебром, и вы не священники, прислуживающие у алтаря с кадильницами и факелами; в ваших руках меч, и лук, и орудия смерти, и говорю вам воистину, даже тогда, когда древний

храм пребывал в изначальной славе своей, даже тогда не была принесена жертва, более угодная богу, чем та, которую вы принесли сегодня, предав закланию тирана и утеснителя, когда скалы были алтарем вашим, небеса — сводами святилища вашего, а ваши добрые, остро отточенные мечи — орудиями жертвоприношения. А посему не бросайте плуга на борозде, не сходите с тропы, на которую однажды вступили, будьте как славные витязи во времена оны, призванные господом ради прославления его имени и ради освобождения угнетаемого народа, не останавливайте своего бега, раз вы начали состязание, чтобы конец не стал хуже начала. Итак, водрузите над этой страною стяг, трубите в трубы с горных вершин; пусть пастух не лепится к стаду своему и сеятель — к вспаханной ниве; но будьте на страже, оттачивайте наконечники стрел, начищайте до блеска щиты, изберите себе начальников тысяч и начальников сотен, полусотен, десятков; пусть пешие будут как дыхание ветра; пусть всадники устремятся, точно потоки неиссякаемых вод, ибо переправы пред угнетателями разверзлись и бичи их сожжены, ибо лица их воинов обращены вспять; господь был за вас, и он сломал лук власть имеющего; пусть сердце каждого уподобится сердцу отважного Маккавея, пусть рука каждого будет рукою могучего силой Самсона, пусть меч каждого станет мечом Гедеона, поражавшего насмерть любого врага, ибо знамя реформации плещется на горах в изначальной красоте своей, и врата адовы не одолеют его.

Блажен, кто обменяет в день сей дом свой на боевой шлем, кто продаст одежды свои, чтобы приобрести меч, кто разделит участь свою с участью детей ковенанта, и да будет так, пока не исполнится обетованное; и горе, горе тому, кто ради бренных житейских целей и личной корысти уклонится от великого дела, ибо проклятие будет на нем еще горше, чем на Мерозе, который не пришел к господу, чтобы помочь ему против могущественного врага. Итак, поднимайтесь и действуйте; кровь мучеников, что дымится на лобном месте, вопиет об отмщении; кости святых, что, белея, лежат на дорогах, требуют воздаяния; стоны невинных, что доносятся с заброшенных островов морских, из темниц, сокрытых в твердынях тирана, исходят мольбой об освобождении; молитвы гонимых христиан, скрывающихся от меча утеснителей в пещерах и бесплодных пустынях, терзаемых голодом, мучимых холодом, лишенных огня, пищи, крова, одежды, ибо они предпочитают служить скорее богу, чем человеку,— все они с вами, все ходатайствуют за вас, бдят у врат царства, стучат, осаждают их, дабы явил господь вам милость свою. Само

небо будет сражаться за вас, подобно тому как звезды в беге своем сражались против Сисары. И кто жаждет заслужить бессмертную славу в мире сем и вечное блаженство в оном, что грядет, тот пусть вступает в службу господню и получит задаток из руки смиреннейшего его слуги, а именно благословение и ему, и дому его, и детям его, и потомкам его до девятого колена, и благословение, коим господь осенил Авраама и род его, навеки и навсегда. Аминь!

Красноречие проповедника вознаградил глухой гул одобрения, прокатившийся в рядах вооруженных слушателей по окончании его речи, которая так хорошо осветила и то, что они уже совершили, и то, что еще предстояло им совершить. Слушая эту проповедь, возносившую их над всеми невзгодами и бедствиями этого мира и отождествлявшую дело, за которое они борются, с делом самого божества, раненый забывал о том, что у него болят раны, слабый и голодный — о переносимых тяготах и лишениях. И когда проповедник спустился с возвышения, с которого говорил, вокруг него собралась большая толпа. Прикасаясь к нему руками, на которых еще не запеклась кровь, люди клялись, что будут стойкими бойцами за дело господне. Изнуренный собственным энтузиазмом и вдохновением, которое он вложил в свою речь, Мак-Брайер мог отвечать лишь скупыми словами и слабым голосом: «Да благословит вас господь, братья мои,— мы боремся за его дело. Поднимайтесь и действуйте, как подобает мужчинам; самое худшее, что может выпасть на нашу долю,— это быстрое и обагренное кровью переселение в иной мир».

Белфур и другие вожди не теряли между тем времени, и, пока остальные предавались благочестивым занятиям, были разожжены лагерные костры, расставлены часовые и из припасов, собранных на близлежащих фермах и в окрестных деревнях, приготовлен обед. Удовлетворив, таким образом, самые насущные нужды, они подумали и о дальнейшем. Были разосланы небольшие отряды, чтобы оповестить народ об одержанной ими победе и добыть если не добром, то силою то, в чем они острее всего нуждались. В этом они преуспели гораздо больше, чем ожидали, так как в одной из деревень им удалось обнаружить небольшой склад продовольствия, фуража и снаряжения, заготовленных для королевских войск. Этот успех не только избавил их на первое время от забот о самом необходимом, но и настолько укрепил их надежды, что, несмотря на колебания некоторых, чей пыл уже успел поостыть, было принято единодушное решение не расходиться и с оружием в руках отстаивать свое правое дело до последнего вздоха.

Что бы ни думали мы о нелепости, ханжестве и узком догматизме многих разделяемых ими воззрений, нельзя не воздать должное самоотверженному мужеству нескольких сот крестьян, которые без вождей, денег, складов, без какого-либо определенного плана действий и почти без оружия, поддерживаемые лишь ревностной верой и ненавистью к своим угнетателям, осмелились открыто начать войну против правительства, опирающегося на регулярную армию и силы трех королевств.

## ГЛАВА XIX

И старец тоже может быть полезен.
*«Генрих IV», ч. II*

Нам следует снова перенестись в Тиллитудлем, где после ухода драгун утром этого полного стольких событий дня воцарились тишина и... беспокойство. Увериям лорда Эвендела не удалось рассеять страхи Эдит. Она знала, что молодой лорд благороден и сдержит данное слово, но ей было ясно, что он подозревает в Мортоне удачливого соперника; а раз так, то могла ли она ожидать от него усилий победить человеческую природу, могла ли надеяться, что он будет неотступно следить за Мортоном и оберегать его от опасностей, угрожающих ему, как арестованному по столь серьезному обвинению. Ее одолевали поэтому бесконечные страхи, терзавшие ей сердце, и она не воспринимала и даже почти не слышала многочисленных доводов, приводимых один за другим ей в утешение верною Дженни Деннисон, уподоблявшейся искусному военачальнику, который непрерывно атакует врага, последовательно бросая против него находящиеся в его распоряжении части.

Сначала Дженни высказывала уверенность, что с молодым Милнвудом ничего страшного не случится, ну а если случится, говорила она, то пусть мисс Эдит утешается тем, что лорд Эвендел — лучшая и более подходящая для нее партия; кроме того, надо полагать, что произойдет бой, в котором названного лорда Эвендела могут убить, и тогда это дело устроится безо всяких хлопот; наконец, если виги одолеют гвардейцев, то Милнвуд и Кадди возвратятся в замок и силою получат возлюбленных своего сердца.

— Ведь я позабыла сказать,— продолжала Дженни, прикладывая к глазам платок,— что бедный Кадди так же в руках филистимлян, как и молодой Милнвуд; его привезли сюда нын-

че утром, и мне пришлось наговорить Тому Хеллидею кучу любезностей и подольститься к нему, чтобы он подпустил меня поближе к этому горемыке, а Кадди был такой неблагодарный, как никогда прежде,— добавила она, сразу меняя тон и резко отнимая от лица платок,— так что я никогда больше и не подумаю портить себе глаза, сокрушаясь о нем. Молодых людей останется у нас более чем достаточно, даже если красные куртки перевешают добрую их половину.

Остальные обитатели замка также имели основания для неудовольствия и тревоги. Леди Маргарет полагала, что полковник Грэм, приказав расстрелять Мортона у дверей ее дома и отклонив ее просьбу об отмене этого приговора, тем самым отказал ей в уважении, подобающем ее титулу, и больше того — нарушил ее права.

— Полковнику,— говорила она,— надлежало бы помнить, дорогой брат, что баронству Тиллитудлем присвоены прерогативы тюрьмы, и поэтому, если молодого человека нужно было казнить обязательно у меня в поместье (что я считаю совершеннейшим неприличием, потому что это было бы сделано во владениях женщины, для которой такие трагедии невыносимы), то и в этом случае полагалось бы, согласно обычному праву, передать преступника моему управителю, который и решил бы его дело по своему усмотрению.

— Сейчас, сестра, всякий закон отступает перед военным законом,— отвечал майор Белленден.— Впрочем, нельзя не признать, что полковник Грэм был недостаточно внимателен к вам; не могу сказать, чтобы и я был чрезмерно польщен его поведением: он уступил просьбе молодого Эвендела (возможно, потому, что он лорд и имеет связи в Тайном совете), отказав такому старому слуге короля, как я. Но раз жизнь этого молодца спасена, я готов найти утешение в заключительных словах песенки, такой же старой, как и я сам.— И, сказав это, он промурлыкал следующий куплет:

Пускай настанут холода,
Засеребрится смоль волос,
Но бодрым, рыцарь, будь всегда,
Вино сильнее, чем мороз.

Я вынужден на сегодня навязаться вам в гости, сестра. Мне хочется знать, чем закончится столкновение в Лоудон-хилле; впрочем, его исход предрешен: трудно себе представить, чтобы мятежники могли устоять против такого полка кавалерии, как наши недавние гости. Увы! Было время, когда ничто, кроме

болезни, не могло бы заставить меня сидеть в четырех стенах, дожидаясь новостей о стычке, происходящей на расстоянии каких-нибудь десяти миль от меня! Но, как поется в старинной песне:

Пройдут года и сталь клинка
Покроют слоем ржавой пыли...
Где тот, которого б года,
Летя вперед, не победили?

— Оставшись с нами, вы доставите нам огромное удовольствие, дорогой брат,— сказала леди Маргарет.— И хоть не очень-то вежливо покидать вас, я все же воспользуюсь правом нашей старинной дружбы и пойду навести порядок в хозяйстве, несомненно пострадавшем от утреннего приема.

— О, я ненавижу церемонии; они для меня так же несносны, как спотыкливый конь,— ответил майор.— К тому же, если вы останетесь здесь со мной, ваши мысли все равно будут с холодным мясом и с остатками ваших паштетов. Где Эдит?

— Ей нездоровится; мне сообщили, что она у себя и прилегла отдохнуть,— ответила старая леди.— Как только она проснется, я дам ей капель.

— Вот тебе на! Должно быть, это солдаты произвели на нее такое впечатление,— заметил майор Белленден.— Она не привыкла к тому, чтобы одного из ее знакомых вели у нее на глазах на расстрел, а другой отправлялся в бой, откуда, быть может, ему не суждено возвратиться. Но если опять вспыхнет гражданская война, она скоро привыкнет и к этому.

— Не дай боже, братец,— сказала леди Маргарет.

— Не дай боже, как вы говорите; а пока что я, пожалуй, сыграю с Гаррисоном в триктрак.

— Он уехал, сэр,— сообщил Гьюдьил,— чтобы узнать, нет ли каких новостей о битве.

— А ну ее к черту! — сказал майор.— Весь дом ходуном заходил, как если бы в нашей стране никогда ничего похожего не бывало, но ведь было же, Джон, и такое место, как Килсайт, не так ли?

— Еще бы, а Типпермур, ваша честь,— отозвался Гьюдьил,— а Типпермур, где я был в последнем ряду отряда, которым начальствовал его милость покойный мой господин.

— А Элфорд, Джон,— подхватил майор,— где я командовал конницей; а Инверлохи, где я был адъютантом великого маркиза, а Олд-Эрн, а Бриг-о-Ди?

— А Филипхоу, ваша честь?

— Уф,— сказал майор,— чем меньше мы будем толковать обо всем этом, тем лучше.

Однако, заговорив о походах Монтроза, они принялись сражаться с таким неослабным усердием, что долго торжествовали над страшным врагом, именуемым Время, с которым удалившиеся на покой ветераны, пребывая в своем затворничестве вдали от кипучей жизни, непрерывно ведут войну.

Не раз отмечали, что слухи о важных событиях разносятся с невероятною быстротой и что молва, в основных чертах соответствующая истинному положению дел и искажающая только кое-какие частности, обычно предшествует достоверным известиям, точно ее приносят по воздуху птицы небесные. Такие слухи предвосхищают действительность, напоминая собой «тени грядущих событий», занимавшие воображение пророка с гор. Гаррисон дорогой услышал кое-что об исходе сражения и в большом волнении повернул коня назад, к Тиллитудлему; прибыв в замок, он прежде всего постарался найти майора и, застав старого воина в самом разгаре его обстоятельного повествования об осаде и штурме Данди, прервал его восклицанием:

— Дай боже, майор, чтобы нам с вами не пришлось увидеть осаду Тиллитудлема прежде, чем мы постареем на несколько дней.

— Что это значит, Гаррисон? Что за чертовщину вы мелете? — воскликнул изумленный майор.

— Да, да, сэр, поговаривают, и все упорнее, что Клеверза разбили наголову; некоторые передают, будто он даже убит, а солдаты его рассеяны, и мятежники поспешно идут сюда, угрожая смертью и разорением всякому, кто не примет их ковенанта.

— Никогда не поверю,— сказал майор, вставая со своего места,— никогда не поверю, чтоб лейб-гвардейцы отступали перед мятежниками; а впрочем, что там,— продолжал он,— если я собственными глазами не раз видел такие вещи. Пошлите Пайка и одного или двух слуг на разведку, и пусть люди в замке, а также в деревне, кому только можно довериться, вооружаются. Наш старый замок сможет малую толику продержаться, лишь бы хватило продовольствия и людей, а ведь он запирает проход между горами и остальным краем. Хорошо еще, что я здесь оказался. Идите, Гаррисон, проверьте людей. Ну, а ты, Гьюдьил, подсчитай, как у тебя с провиантом, и подумай, что еще можно достать, и потом приготовься, если известия подтвердятся, прирезать столько быков, сколько туш ты в состоя-

нии засолить. Что до колодца, то в нем всегда довольно воды; на стенах найдется несколько пушек, правда старинных, и если б нам удалось раздобыть пороха, мы смогли бы, пожалуй, за себя постоять.

— Несколько бочонков пороху у нас есть; утром солдаты оставили их на ферме, с тем чтобы забрать на обратном пути.

— В таком случае поторапливайся,— сказал майор,— вели перетащить их в замок; соберп все, какие найдутся, пики, палаши, шпаги, пистолеты, ружья, все, что сможешь; не оставляй ничего, даже шила. Как хорошо, что я здесь! Мне нужно поговорить с сестрой.

Неожиданная и страшная новость потрясла леди Маргарет. Ей казалось, что внушительного отряда, который этим утром покинул замок, за глаза хватит, чтобы стереть в порошок всех неблагонадежных в Шотландии, даже если они соберутся вместе, и теперь она сразу подумала, насколько ничтожны их средства защиты против армии, оказавшейся достаточно сильной, чтобы нанести поражение самому Клеверхаузу с полком отборных солдат.

— Горе мне, горе! — повторяла она.— Как нам устоять против них? Наше сопротивление не поведет ни к чему, кроме разрушения замка и гибели бедной сиротки Эдит. Ибо, видит бог, о себе я совсем не думаю.

— Что вы, дорогая сестра! Не падайте духом! — воскликнул майор.— Ваш замок — твердыня, а мятежники не обучены и плохо вооружены; дом моего брата не станет логовом воров и мятежников, пока в нем старина Майлс Белленден. Моя рука, конечно, слабее, чем была некогда, но я не первый год живу на свете и в военном деле кое-что смыслю. А вот и Пайк с новостями. Что нового, Пайк? Еще одно Филипхоу, не так ли?

— Так точно, сэр,— невозмутимо ответил Пайк,— полный разгром. Я еще утром подумал: не будет добра от их новомодных ружейных приемов.

— Кого ты видел? Кто тебе об этом сказал?

— О, полдюжины драгун, если не больше. Эти ребята мчались наперегонки, кто первым приедет в Гамильтон. Все они будут в выигрыше, готов поручиться; а битву пусть выигрывает тот, кому это нравится.

— Продолжайте приготовления, Гаррисон,— приказал неутомимый старый солдат.— Собирайте оружие, режьте скот. Пошлите людей в местечко скупить продовольствие, какое только найдут. Мы не можем терять ни минуты. Не лучше ли было бы,

дорогая сестра, отправиться вам и Эдит, пока не поздно, в Чарнвуд?

— Нет, брат,— ответила леди Маргарет, очень бледная, но внешне совершенно спокойная,— пока старый замок будет держаться, я буду ожидать в нем своей участи. Дважды в жизни я бежала отсюда и всякий раз, возвратившись, не находила в нем самых отважных и лучших; так что теперь я остаюсь за его стенами и здесь окончу мой земной путь.

— В конце концов, может статься, что это и впрямь самое безопасное место для Эдит и для вас,— заметил майор.— Виги, конечно, взбунтуются до самого Глазго, и ехать вам туда или жить в Чарнвуде окажется небезопасным.

— Итак, быть по сему,— заявила леди Белленден,— и, дорогой брат, поскольку вы ближайший кровный родственник моего покойного мужа, я препоручаю вам вместе с этим символом власти (тут она отдала ему знаменитый жезл с золотым набалдашником) охрану моего замка Тиллитудлем, верховное управление им и сенешальскую власть над ним и над всем, что входит в его владения, предоставляя вам полномочия умерщвлять, поражать и наносить урон тем, кто осмелится покуситься на вышеназванный замок, делая это с таким же правом, с каким могла бы действовать я сама. Я уверена, что вы будете защищать его не иначе, чем подобает защищать дом, удостоенный посещением его священнейшего величества...

— Полно, сестрица,— прервал старую леди майор,— полно, у нас нет времени вспоминать о короле и его завтраке.

И, поспешно оставив комнату, он с проворством двадцатипятилетнего юноши бросился проверять состояние гарнизона и принимать меры, необходимые для обороны старого замка.

Замку Тиллитудлем с его толстыми стенами, узкими прорезями окон, защищенному с единственно доступной неприятелю стороны сильными укреплениями с двумя башнями, а с трех других — глубоким рвом,— этому замку страшна была лишь тяжелая артиллерия. Для гарнизона крепости опаснее всего был голод или штурм с помощью лестниц. Что же касается артиллерии, то на верхней площадке главной замковой башни находились кое-какие устаревшие крепостные орудия, носившие вышедшие из употребления названия кулеврин, фальконетов, секеров, полусекеров и фальконов. Майор приказал Джону Гьюдьилу прочистить и зарядить эти пушки, установив их с таким расчетом, чтобы можно было держать под обстрелом дорогу на склоне противоположной возвышенности — ее

не могли миновать мятежники, приближаясь к замку. Он приказал также срубить два-три больших дерева, которые помешали бы действиям артиллерии, если бы случилось пустить ее в дело. Из стволов этих деревьев и подручного материала он велел построить три баррикады, разместив их в аллее, которая, отходя от большой дороги, поднималась петлями к замку; эти баррикады были воздвигнуты так, чтобы всякая последующая господствовала над предыдущей. Большие ворота, ведущие во внутренний двор, он забаррикадировал еще основательнее, оставив единственную калитку для сообщения с внешним миром. Больше всего его беспокоила малочисленность гарнизона; несмотря на все усилия управителя, удалось набрать только девять защитников, включая его самого и Гьюдьила: местному населению повстанцы внушали гораздо больше симпатии, чем правительство. Таким образом, вместе с майором Белленденом и его верным слугою Пайком гарнизон насчитывал одиннадцать человек, из которых добрую половину составляли старики. Численность гарнизона можно было бы довести до дюжины, если бы леди Маргарет изъявила согласие на возвращение Джибби в ряды вооруженных сил. Но Гьюдьил, осмелившийся с нею об этом заговорить, встретил с ее стороны решительный и гневный отпор: она все еще хорошо помнила о недавних подвигах этого злополучного всадника и заявила, что скорее готова потерять замок, чем допустить Джибби к участию в его обороне. Итак, располагая одиннадцатью людьми, включая в это число и себя, майор Белленден решил отстаивать Тиллитудлем до последней возможности.

К отражению неприятеля готовились не без шума и сутолоки; визгливо кричали женщины, ревел скот, лаяли собаки; мужчины, непрерывно разражаясь проклятиями и бранью, сновали взад и вперед; грохотали пушки, перекатываемые вдоль зубцов укреплений с места на место; во дворе не смолкал конский топот — то прибывали и снова отъезжали с важными поручениями гонцы, и шум военных приготовлений мешался с причитаниями и плачем женщин.

Это столпотворение могло разбудить даже мертвого, и оно, понятно, не замедлило развеять хрупкое забытье, в которое погрузилась Эдит. Она послала Дженни узнать о причинах сумятицы, сотрясавшей замок до самого основания, но Дженни, попавшей в этот кипящий водоворот, нужно было о стольком порасспросить и столько всякой всячины выслушать, что она начисто забыла о тревоге и озабоченности, в которых оставила свою юную госпожу. Не имея голубя, чтобы направить его за

нужными сведениями, раз ее гонец-ворон почему-то не возвратился, Эдит, покинув ковчег своей комнаты, сама отправилась за новостями и тотчас же окунулась в потоп суматохи, заливавший весь замок. В ответ на ее первый вопрос голосов шесть, перебивая друг друга, оповестили ее о том, что Клеверз и все его люди убиты, что десять тысяч вигов идут к Тиллитудлему, чтобы осадить замок, и что во главе их Джон Белфур Берли, молодой Милнвуд и Кадди Хедриг. Странное сочетание имен заставило ее усомниться в достоверности этого сообщения, хотя всеобщая суматоха в замке и говорила о какой-то грозящей ему опасности.

— Где леди Маргарет? — таков был второй вопрос мисс Эдит.

— В молельне,— ответили ей.

Это была крошечная клетушка рядом с часовней; здесь славная старая леди проводила дни, предназначенные епископальной церковью для выполнения религиозных обрядов, годовщины гибели ее супруга и сыновей и, наконец, часы, когда общегосударственные или домашние неурядицы призывали ее туда для проникновенного и торжественного обращения к небу.

— Где же майор Белленден? — спросила, тревожась все больше и больше, Эдит.

— На стене замка, сударыня, он устанавливает пушки.

Туда она и направилась; встретив по пути множество всяких помех и препятствий, Эдит в конце концов нашла старого джентльмена в родной ему военной стихии: он распоряжался, отчитывал, подбодрял, наставлял, короче говоря — выполнял многочисленные обязанности хорошего коменданта.

— Ради бога, в чем дело, дядя? — воскликнула юная леди.

— В чем дело, любовь моя? — отозвался майор, изучая с очками на носу позицию пушки.— В чем дело? А ну-ка, Джон Гьюдьил, подними казенную часть примерно на фут. В чем дело? Клеверза разбили наголову, голубка моя, и виги с большими силами идут прямо на нас, вот и все.

— Боже милостивый! — вскричала Эдит, бросая взгляд на дорогу, шедшую вверх по реке.— Да они уже здесь!

— Где? Где? — спросил старый воин. Взглянув в указанном Эдит направлении, он увидел большой кавалерийский отряд, двигавшийся в их сторону.

— К пушкам, ребята! — скомандовал он.— Мы заставим их раскошелиться и заплатить пошлину, когда они будут про-

ходить по оврагу. Но погодите, погодите, это же лейб-гвардейцы!

— Да нет же, нет, уверяю вас, дядя,— сказала Эдит,— посмотрите, как беспорядочно они едут, посмотрите, как плохо соблюдают равнение; это не могут быть те самые молодцы, которые были у нас поутру.

— Ах, моя дорогая девочка,— ответил на это майор,— ты и представить себе не можешь, как меняются люди, потерпевшие поражение; но это как-никак лейб-гвардейцы, я вижу красные и голубые цвета и королевское знамя. Хорошо, что хоть оно уцелело.

Предположения майора окончательно подтвердились, когда всадники приблизились к замку и остановились перед ним на дороге; их командир, приказав сделать привал, чтобы дать отдохнуть коням, поспешно направился в замок.

— Это Клеверхауз, это, конечно, он,— сказал майор.— Рад, что он вышел из этой бойни живым; но он потерял своего знаменитого вороного коня. Джон Гьюдыл, извести о его прибытии леди Маргарет; прикажи накормить драгун, выдай овса для коней; а мы с тобою, Эдит, пойдем в прихожую встречать полковника Грэма. Нам предстоит, вероятно, услышать тяжелые вести.

## ГЛАВА XX

И весел и невозмутим,
На север он спешил,
Как будто страшного врага
В бою он победил.

*«Хардиканут»*

Полковник Грэм Клеверхауз, встретившись с леди Маргарет и ее домашними, собравшимися в одной из зал замка, был так же невозмутим и любезен, как утром. Он не забыл привести в относительный порядок одежду, смыл с лица и рук следы крови и выглядел так, как будто только что вернулся с утренней прогулки верхом.

— Я бесконечно огорчена,— сказала почтенная старая леди, по лицу ее струились слезы,— я бесконечно огорчена.

— И я огорчен, милая леди Маргарет,— ответил Клеверхауз,— что это несчастье может повлечь за собою опасность для вашего дальнейшего пребывания в Тиллитудлеме, особенно

принимая во внимание недавнее гостеприимство, оказанное вами королевским войскам, и всем известную преданность вашу его величеству королю. И я заехал сюда главным образом для того, чтобы предложить мисс Белленден и вам сопровождать вас обеих (если вы не побрезгаете услугами жалкого беглеца) до Глазго, откуда я смогу безопасно доставить вас в Эдинбург или в Дамбартон, как вам будет угодно.

— Премного обязана вам, полковник,— ответила леди Маргарет,— но мой деверь, майор Белленден, взялся отстаивать наш дом от мятежников; и если будет на то воля божья, они не смогут изгнать Маргарет Белленден из ее родового гнезда, пока есть отважный солдат, ручающийся, что он его защитит.

— А майор Белленден и в самом деле имеет такое намерение? — торопливо спросил Клеверхауз, и радостный огонек сверкнул в его темных глазах, когда он обернулся к майору.— Но зачем я спрашиваю об этом; вся его жизнь свидетельством тому, что иначе и быть не может. Но все же, майор, чем вы располагаете?

— Всем, кроме людей и достаточного количества провианта; и того и другого у нас не хватает.

— Что до людей,— сказал Клеверхауз,— то я мог бы оставить вам дюжину или даже два десятка ребят, которые способны справиться с самим дьяволом. Исключительно важно, чтобы вы продержались хотя бы неделю; а в течение этого времени вы, конечно, получите помощь.

— Столько мы, безусловно, продержимся,—ответил майор.— Имея двадцать пять отважных бойцов, запас пороха и все, что нужно, мы, разумеется, выстоим, даже если придется грызть от голода подошвы наших сапог; впрочем, я рассчитываю добыть провиант в деревнях.

— Позвольте мне обратиться к вам с просьбой, полковник,— сказала леди Маргарет,— мне хотелось бы, чтобы людьми, которых вы так любезно оставляете в помощь нашему гарнизону, командовал сержант Фрэнсис Стюарт; это может способствовать его производству, а я высоко ценю его за благородное происхождение.

— Сержант покончил с войной, сударыня,— сказал Грэм тем же спокойным тоном,— он больше не нуждается в производстве, которое может дать ему земной властелин.

— Извините меня,— сказал майор Белленден, беря Клеверхауза под руку и уводя в сторону,— но я тревожусь за моих добрых друзей; боюсь, что вы понесли другую и еще более тя-

желую утрату. Я вижу, что ваш штандарт в руках незнакомого мне офицера, а не вашего молодого племянника.

— Вы правы, майор Белленден,— твердо сказал Клеверхауз,— моего племянника нет в живых. Он умер, исполняя свой долг.

— Великий боже! — воскликнул майор.— Какое несчастье! Красивый, достойный, отважный юноша!

— Он действительно был таким, как вы говорите,— ответил Клеверхауз,— бедный Ричард был для меня как бы первенцем, зеницею моего ока, моим наследником; но он погиб, исполняя свой долг, и я... я, майор Белленден (говоря это, он сильно сжал руку майора)... я остался жить, чтобы отмстить за него.

— Полковник Грэм,— взволнованно сказал старый воин,— я рад, что вы переносите свое горе с таким мужеством.

— Я не принадлежу к числу тех, кто думает лишь о себе, хотя свет, быть может, готов утверждать обратное; я думаю не только о себе, когда надеюсь или страшусь, когда радуюсь или скорблю. Я никогда не был суровым из личных склонностей, алчным для себя, честолюбивым ради себя. Служба моему государю и на благо нашей страны — вот что я неизменно имел в виду. Может быть, моя строгость переходила порою в жестокость, но я всегда был исполнен добрых намерений. И теперь я не стану уделять моим чувствам больше внимания, чем уделял чувствам других.

— Поражен вашей стойкостью перед лицом всех свалившихся на вас бедствий.

— Да,— сказал Клеверхауз,— да, мои недруги в Тайном совете постараются свалить вину за это несчастье на меня одного, но я презираю их обвинения. Они оклевещут меня перед моим государем — я могу отклонить их наветы. Враги общественного порядка и государственные преступники будут торжествовать по поводу моего бегства, но придет время, и я докажу, что они преждевременно торжествовали. Молодой человек, только что павший на поле сражения, был единственной преградой, защищавшей наследство, которое останется после меня, от моей не в меру сребролюбивой родни,— ведь вам известно, что мой брак бесплоден. Мир праху бедного юноши! Но потеря Ричарда Грэма для страны все же не такая тяжелая утрата, как гибель вашего друга, лорда Эвендела, который, проявив редкостную отвагу, видимо, тоже погиб.

— Что за роковой день! — воскликнул майор.— Я слышал об этом, но толки были противоречивые. Говорят и о том, что

«Пуритане»

горячность несчастного юноши привела к поражению в этом злосчастном бою.

— Нет, майор, это не так,— возразил Клеверхауз,— пусть позор, если тут есть что-либо позорное, падет на головы тех, кто остался в живых, а лавры на могилах павших пусть не увянут вовеки; впрочем, я не могу положительно утверждать, что лорд Эвендел погиб, но все же опасаюсь, что он или убит, или попал в руки мятежников. В последний раз мы говорили с ним сейчас же после того, как он выбрался из жаркой схватки. Мы собирались тогда выйти из боя, он вел за собой арьергард, в котором насчитывалось человек двадцать — остальные к этому времени успели уже разбежаться.

— Но, очевидно, опять подтянулись,— заметил майор, смотря в окно на драгун, кормивших коней и подкреплявшихся у ручья.

— Вы правы,— ответил полковник,— мои разбойники не испытывали большого желания дезертировать или бежать дальше тех мест, куда их занесла первая паника. Со здешними мужиками они не очень-то в дружбе, и отношения между ними, скажем прямо, весьма натянутые. Любая деревня, через которую им случается проходить, готова прямо-таки их растерзать, и эти негодяи, боясь заступов, кольев, вил и рогатин, предпочли держаться поближе к своему знамени. Но поговорим о ваших планах, нуждах и средствах сообщения с вами. Говоря по правде, я не очень-то убежден, что смогу продержаться долгое время в Глазго, даже если мне удастся соединиться с полком лорда Росса: этот минутный и случайный успех фанатиков натворит черт знает что в западных графствах.

Они обсудили оборонительные мероприятия майора Беллендена и возможности поддержания связи, в случае если страна будет охвачена всеобщим восстанием, что было более чем вероятно. Клеверхауз повторил свое предложение проводить дам в безопасное место, но, взвесив все обстоятельства за и против, майор Белленден нашел, что в не меньшей безопасности они будут и в Тиллитудлеме. Закончив беседу с майором, полковник любезно простился с леди Маргарет и мисс Белленден; он заверил их, что, вынужденный в столь тревожное время покинуть их в Тиллитудлеме, он почитает первейшей своей задачей как можно скорее восстановить свою репутацию честного и верного рыцаря и что они могут рассчитывать увидеть его или услышать о нем в самом непродолжительном времени.

Леди Маргарет, одолеваемая сомнениями и страхами, не в силах была ответить на эту речь, исполненную чувств, столь близких ей самой, и ограничилась пожеланием доброго пути и изъявлением благодарности за обещанную им помощь. Эдит томилась желанием спросить о судьбе Генри Мортона, но, не придумав предлога, должна была удовольствоваться надеждой, что дядя, возможно, осведомился о нем во время своего продолжительного разговора с полковником. В этом, однако, она обманулась, так как старый роялист был до того поглощен своими новыми заботами и обязанностями, что говорил с Клеверхаузом почти исключительно о военных предметах: вероятно, даже если бы на чашу весов была положена не судьба сына его товарища, а судьба его собственного сына, он был бы столь же забывчив.

Клеверхауз спустился с холма, на котором высился замок, чтобы немедленно двинуться дальше. Майор пошел вместе с ним; ему предстояло принять людей, оставляемых полковником в Тиллитудлеме.

— С вами останется Инглис,— сказал Клеверхауз,— я в таком положении, что не могу отпустить офицера; нас едва хватает на то, чтобы не давать разбежаться нашим солдатам. Впрочем, если у вас появится кто-либо из офицеров моего полка, а из них нескольких мы недосчитываемся, я разрешаю вам удержать его у себя — это будет для вас весьма кстати, так как мои ребята не очень-то любят повиноваться кому-либо, кроме своих.

Построив драгун, Клеверхауз поименно вызвал шестнадцать солдат и передал их под команду капрала Инглиса, которого тут же произвел в сержанты.

— И смотрите, джентльмены,— сказал он, напутствуя их напоследок,— я оставляю вас, чтобы вы защищали дом леди; вы будете под началом ее брата, майора Беллендена, заслуженного и верного слуги короля. Будьте отважными, трезвыми, исправными в службе, беспрекословно повинуйтесь всем приказаниям, и каждый из вас получит щедрое вознаграждение, когда я приду на выручку гарнизона. В случае бунта, трусости, невыполнения обязанностей или малейшего оскорбления обитателей замка — палач и веревка! Понятно? Вы знаете, я хозяин своего слова как в хорошем, так и в плохом.

Он прикоснулся к шляпе, прощаясь с ними, и крепко пожал руку майору.

— До свиданья,— сказал он,— мой доблестный друг! Желаю успеха, и да наступят лучшие времена!

Всадники, которыми он командовал, стараниями майора Аллапа были приведены в сносный вид. Правда, они лишились своего блеска, и позолота их изрядно поблекла, но, выступая, они стали все же гораздо больше походить на подразделение регулярных войск, чем когда возвратились в замок после понесенного поражения.

Майор Белленден, предоставленный отныне себе самому, разослал повсюду людей — добыть возможно больше съестных припасов, и особенно муки, и узнать о движении неприятеля. Все сведения касательно последнего, которые ему удалось собрать, свидетельствовали о том, что мятежники предполагают заночевать на поле сражения. Но и они тоже разослали отряды и фуражиров собирать продовольствие, и в великом сомнении и тревоге оказались те, к кому были обращены предписания от имени короля — отправить припасы в замок Тиллитудлем, и от имени независимой церкви — выслать продовольствие в лагерь благочестивых ревнителей истинной веры, поднявшихся за ковенант и стоящих у Драмклога, близ Лоудон-хилла. Те и другие угрожали ослушникам огнем и мечом, так как не могли положиться на религиозное рвение или верноподданническую преданность тех, к кому были обращены эти приказы, и рассчитывать, что они расстанутся со своим добром по собственной воле. Так что народ метался, не зная, как поступить, и, по правде сказать, нашлось немало таких, кто удовлетворил требования обеих сторон.

— В эти трудные времена самый мудрый из нас и тот наделает глупостей,— говорил, обращаясь к дочке, Нийл Блейн, благоразумный хозяин «Приюта».— Но я все-таки постараюсь не терять головы. Дженни, сколько муки у нас в кладовой?

— Четыре куля овсяной, два куля ячменной и два куля гороховой,— ответила Дженни.

— Так вот, деточка,— продолжал Нийл Блейн, тяжко вздыхая,— пусть Болди отвезет гороховую и ячменную муку в лагерь, он виг и пахал у нашей покойной хозяйки; лепешки из мешаной муки как нельзя лучше сгодятся для их болотного брюха. Пусть скажет, что это последняя унция в доме, а если он не захочет соврать (хотя едва ли, ведь это на пользу нашему дому), то пусть подождет, пока этот старый пьяница, солдат Дункан Глен, отвезет овсяную муку в Тиллитудлем и с моим нижайшим почтением передаст миледи и майору Беллендену, что я не оставил себе даже на миску похлебки. И если Дункан

ловко обделает это дельце, я поднесу ему стаканчик такого виски, что у него изо рта покажется голубой огонек.

— А что же мы будем есть сами, отец, — спросила Дженни,— если отошлем всю муку, какая только ни есть в кладовой и в ларе?

— Уж придется посидеть на пшеничной муке,— сказал Нийл, в тоне которого слышалась покорность печальной необходимости.— Это не такая уж плохая еда, хотя она и не по вкусу настоящим шотландцам и не так идет на пользу желудку, как овсяная, да еще смолотая на ручной мельнице; а вот англичане, те живут главным образом ею; ведь эти пок-пудинги ничего лучшего и не знают.

Пока миролюбивые и осторожные старались, подобно Нийлу Блейну, ладить с обоими станами, те, кто более ревностно относился к общественным делам (или к интересам своей партии), стали браться за оружие. Роялистов в этих местах насчитывалось немного, но это были люди влиятельные, богатые, землевладельцы из старинных родов, которые вместе со своими братьями, кузенами и родичами вплоть до девятого колена, а также слугами, составляли род ополчения, способного защищать свои дома-крепости от небольших отрядов повстанцев, отказывать им в поставках и перехватывать продовольствие, направлявшееся в лагерь пресвитериан. Известие, что Тиллитудлем будет обороняться против мятежников, окрылило этих добровольных защитников королевской власти и поддержало их решимость бороться с пресвитерианами, так как они смотрели на замок как на твердыню, где можно будет укрыться, если малая война, которую они готовы были начать, окажется для них непосильною.

Но города, деревни, фермы и хозяйства мелких крестьян послали к пресвитерианам сильное пополнение. Эти люди больше всего страдали от притеснений, чинимых правительством. Они были оскорблены, раздражены и доведены до отчаяния всякого рода насилиями и жестокостями. Их взгляды и на цель этого страшного восстания, и на средства достижения этой цели никоим образом не совпадали, но все же большинство видело в нем как бы двери, отверстые провидением, чтобы добиться давно уже отнятой у них свободы исповедания и сбросить с себя тиранию, давящую одновременно и тело и душу. Вот почему множество этих людей взялось за оружие и, выражаясь языком их времени и их партии, решилось связать свою собственную судьбу с судьбой победителей при Лоудон-хилле.

## ГЛАВА XXI

Анания

Не по душе мне парень! Он язычник,
А говорит на языке библейском.

Скорбь

Жди часа вдохновенья, и правдивым
Он станет. А грозить ему напрасно.

*«Алхимик»*

Вернемся теперь к Генри Мортону, которого оставили на поле сражения. Он только что съел у костра свою порцию розданной ковенантерам пищи и размышлял, какого пути ему в дальнейшем держаться, как вдруг к нему подошли Берли и тот молодой проповедник, речь которого, вскоре после окончания боя, произвела на слушателей такое сильное впечатление.

— Генри Мортон,— резко и отрывисто сказал Белфур,— совет армии ковенанта, полагая, что сын Сайлеса Мортона не может быть ни равнодушным лаодикейцем, ни безразличным к делам веры Галлионом, назначил вас одним из военачальников войска с правом голоса в названном выше совете и со всеми правами и полномочиями, подобающими офицеру, который начальствует над христианскими воинами.

— Мистер Белфур,— не задумываясь, ответил Мортон,— я польщен этим знаком доверия; не удивительно, что естественное возмущение теми насилиями, которым подвергается моя родина, не говоря уж об испытаниях, выпавших на долю мне самому, вызывает во мне желание обнажить шпагу за свободу совести. Но должен вам сказать наперед: прежде чем принять этот пост, я хочу знать, какие цели вы себе ставите.

— Неужели вы можете сомневаться в справедливости наших целей? — ответил на это Берли.— Ведь мы боремся за реформу церкви и государства, за восстановление поруганного святилища, за возвращение рассеянных по всему миру святых страстотерпцев и низложение мужа греха.

— Скажу вам со всей откровенностью, мистер Белфур,— отозвался Мортон,— что этот язык, который, как я вижу, так сильно действует на других, для меня нисколько не убедителен. Надо, чтобы вы были об этом осведомлены заранее. (Тут молодой проповедник тяжко вздохнул.) Мои слова вам, сударь, не по душе, но это, может быть, оттого, что вы не выслушали меня до конца. Я уважаю Писание не менее глубоко, чем вы или любой другой христианин. Я взираю на книги Завета со смирен-

ной надеждой извлечь из них правила поведения и закон, следуя которому я мог бы спасти свою душу. Но я хочу отыскать его, поняв общий смысл Писания, дух, которым оно проникнуто, а не выхватывая оттуда отдельные места или прилагая цитаты из Библии к обстоятельствам и событиям, нередко имеющим к ним весьма отдаленное отношение.

Молодой проповедник, казалось, был возмущен и потрясен до глубины души этим заявлением Мортона и собирался, видимо, ответить ему страстной отповедью.

— Помолчи, Эфраим! — сказал Берли.— Помни, что он еще младенец в пеленках. Слушай меня, Генри Мортон. Я буду говорить с тобой на мирском языке, пользоваться доводами бренного разума, который все еще продолжает оставаться твоим слепым и несовершенным руководителем. Ради чего готов ты обнажить меч? Не ради того ли, чтобы церковь и государство были преобразованы в соответствии со свободно выраженною волей независимого парламента, чтобы были изданы такие законы, которые раз и навсегда пресекли бы для исполнительной власти возможность проливать кровь, пытать и бросать в тюрьмы инакомыслящих, отнимать их имущество, надругаться над человеческой совестью по своему нечестивому произволу?

— Безусловно,— ответил Мортон,— я считаю эти насилия достаточным основанием для войны и буду бороться с ними, пока моя рука способна держать шпагу.

— Послушайте...— вмешался Мак-Брайер,— вы подходите к этому делу с непостижимой бесстрастностью. Но моя совесть не позволяет мне прикрашивать и замазывать злодеяния, вопиющие о возмездии гнева господня...

— Успокойся, Эфраим Мак-Брайер! — прервал его Берли.

— Не успокоюсь,— упрямо заявил молодой человек.— Разве дело, на которое я послан господом, не его дело? Разве не кощунство, не эрастианское посягательство на его права, не присвоение его власти, не унижение его имени — ставить короля или парламент на его место, допускать, чтобы они, как хозяева, распоряжались домом его и прелюбодействовали с женою его?

— Слова твои исполнены красноречия,— сказал Берли, уводя его в сторону,— но лишены мудрости. Собственными ушами слышал ты этим вечером в нашем совете, каковы разногласия среди тех немногих, кто остался в наших рядах. И ты хочешь поместить между ними завесу, которая окончательно разъединила бы их? Можно ли построить стену, связав ее негаше-

ною известью? Ткнись в такую стену лисица, и стена тотчас рассыплется.

— Я знаю,— сказал в ответ проповедник,— я знаю: ты предан нашему делу, ты честен, ты исполнен рвения к господу и не остановишься перед пролитием крови, но эти мирские уловки, эта снисходительность ко греху и бессилию сами по себе есть отступничество, и я опасаюсь, что небо не допустит нас свершить многое во славу его, если мы станем прибегать к бренным хитростям и к земному оружию. Священная цель должна быть достигнута священными средствами.

— Говорю тебе,— ответил на это Белфур,— в этом деле твое рвение чересчур непреклонно; мы не можем сейчас обойтись без помощи лаодикейцев и эрастиан; некоторое время нам придется сотрудничать с принявшими индульгенцию, придется терпеть их в составе совета, ибо сыны Саруйи еще слишком сильны для нас.

— А я говорю, что мне это не нравится,— сказал Мак-Брайер.— Господь может принести избавление рукою немногих совершенно так же, как и рукой множества. Войско верующих, которое было разбито у Пентлендских холмов, понесло заслуженное возмездие за признание мирских интересов этого тирана и угнетателя Карла Стюарта.

— Довольно об этом,— сказал Белфур,— тебе известно принятое советом мудрое и спасительное решение обнародовать манифест, который мог бы удовлетворить самую щепетильную совесть всех стонущих под игом наших нынешних угнетателей; возвратись в совет, если желаешь, и убеди их отказаться от этого манифеста; и составь новый, более резкий и решительный. Но оставь меня: не препятствуй мне завоевать этого юношу, о котором печется моя душа; одно имя его привлечет под наши знамена сотни бойцов.

— Действуй, как знаешь,— сказал на это Мак-Брайер,— не хочу способствовать обольщению этого юноши и ввергать его в опасности бренной жизни, не утвердив в нем те основания, которые обеспечили бы ему блаженство во веки веков.

Избавившись от беспокойного проповедника, более ловкий Белфур возвратился к Мортону и продолжил прерванную беседу.

Чтобы освободить себя от подробного изложения доводов, которыми он убеждал Мортона присоединиться к повстанцам, мы воспользуемся удобным случаем и, вкратце охарактеризовав этого человека, объясним вместе с тем и причины, побуждавшие его с такою настойчивостью добиваться обращения Мортона.

Джон Белфур Кинлох, или Берли,— мы встречаем его под обоими этими именами в хрониках и прокламациях того мрачного времени,— был состоятельным дворянином хорошего рода из графства Файф и смолоду служил в армии. В юности он отличался распущенностью и необузданностью нрава, но вскоре оставил разгул и принял строгие догмы кальвинистского исповедания. Привычку к излишествам и невоздержности ему удалось искоренить из своего страстного, деятельного, изобилующего темными глубинами характера, к несчастью, с большею легкостью, чем мстительность и честолюбие, продолжавшие, несмотря на его истовость в делах веры, сохранять немалую власть над его душой. Смелый в замыслах, решительный и беспощадный в их исполнении, доходящий до крайностей наиболее непримиримого нонконформизма, он жаждал возглавить движение пресвитериан.

Стремясь завоевать положение среди вигов, он усердно посещал их молитвенные собрания и не раз командовал ими, когда они брались за оружие и отбивались от высланных против них королевских войск. В конце концов из свирепого фанатизма, а также, как говорили, сводя личные счеты, он стал во главе людей, убивших примаса Шотландии, как основного виновника страданий пресвитериан. Беспощадные меры, принятые правительством с целью покарать это убийство и направленные не только против его исполнителей, но и против всех последователей той религии, которую исповедовали убийцы, наряду с давнишними и длительными преследованиями и отсутствием всякой надежды на избавление от тирании иным путем, чем силой оружия, явились причиной восстания, начавшегося, как мы видели, с поражения Клеверхауза в кровавой схватке у Лоудон-хилла.

Однако, несмотря на несомненные заслуги, принадлежавшие ему в одержанной победе, Берли занимал в армии пресвитериан отнюдь не то положение, на которое притязало его честолюбие. Происходило это отчасти из-за неодинакового отношения разных слоев повстанцев к убийству архиепископа Шарпа. Наиболее крайние, конечно, безоговорочно одобряли это убийство как акт справедливости, совершенный над гонителем церкви господней по непосредственному внушению самого божества; но большая часть пресвитериан смотрела на убийство архиепископа как на великое злодеяние, допуская, однако, что постигшая его кара была вполне им заслужена. Повстанцы расходились еще в одном важном вопросе, которого мы уже касались. Самые фанатичные из них осуждали священников и

общины, которые согласились на тех или иных условиях исповедовать веру с разрешения государственной власти; они вменяли им это в вину, как малодушный отказ от исконных прав, присвоенных церкви. Это было, по их мнению, эрастианством чистой воды, подчинением церкви господней контролю со стороны светской власти, а потому принявшие индульгенцию были нисколько не лучше прелатистов или папистов. Более умеренная партия соглашалась признавать права короля на престол и повиноваться в светских делах установленной власти, пока эта власть уважает свободу подданных и соблюдает законы королевства. Между тем учение самой непримиримой секты, называемой камеронцами по имени их вождя Ричарда Камерона, начисто отвергало права царствующего монарха и любого его преемника, если они не признают Священной лиги и ковенанта. Таким образом, в злосчастной партии пресвитериан были заложены семена разлада и неразрешимых противоречий. Белфур, несмотря на свой фанатизм и приверженность к крайним взглядам, понимал, что упорствовать в таких критических обстоятельствах, когда так необходимо единство, значит погубить общее дело. Вот почему он, как мы видели, не одобрял честного, прямолинейного и пылкого рвения Мак-Брайера и хотел во что бы то ни стало добиться поддержки умеренных пресвитериан, чтобы немедленно низложить правительство, рассчитывая, что в будущем он окажется в состоянии продиктовать им свою волю.

Это-то и побуждало Берли так настойчиво добиваться присоединения Генри Мортона к стану восставших. Среди пресвитериан все еще помнили и чтили его отца, и так как повстанцы насчитывали в своих рядах очень немного сколько-нибудь видных людей, принадлежность молодого человека к хорошей семье и его личные дарования обеспечивали ему возможность быть избранным одним из вождей восстания. При помощи Мортона, как сына своего старого товарища по оружию, Берли думал влиять на умеренную часть армии и даже, может быть, настолько сблизиться с ними, чтобы стать главнокомандующим, в чем и заключалась конечная цель его честолюбивых замыслов. Поэтому, не дожидаясь, пока кто-нибудь другой сделает это, он стал превозносить в военном совете способности и моральные качества Мортона и легко добился его избрания на многотрудный пост одного из вождей этого лишенного единства и совершенно недисциплинированного войска.

Доводы, при помощи которых Белфур, избавившись от своего более прямодушного и несговорчивого товарища Эфраима

Мак-Брайера, убеждал Мортона принять это опасное назначение, были весьма искусны и убедительны. Он не пытался ни отрицать, ни скрывать, что его собственные взгляды на церковное управление не отличаются, в сущности, от взглядов только что покинувшего их проповедника. Но он утверждал, что в момент такой страшной опасности различия во взглядах не должны помешать тем, кто любит свою угнетенную родину, обнажить меч ради ее защиты. Многие вопросы, говорил он, составляющие предмет разногласий, в том числе и вопрос об индульгенции, возникли из обстоятельств, которые перестанут существовать, в случае если их попытка освободить родину завершится успехом, так как пресвитерианство, став господствующею религией, не будет нуждаться в подобных соглашениях с властью, и, вместе с отменою индульгенции, спор о ее законности разрешится сам по себе. Он упорно настаивал на необходимости использовать благоприятную обстановку, на том, что к ним, несомненно, присоединятся пресвитериане западных графств; он говорил, что великая вина и ответственность лягут на тех, кто, видя воочию бедствия родины и все возрастающий произвол властей, из страха пред ними или из безразличия, воздержится от деятельной помощи правому делу.

Мортон не нуждался во всех этих доводах; он готов был и без того присоединиться к любому восстанию, сулящему свободу его стране. Правда, он сомневался, соберут ли повстанцы нужные для успеха силы и хватит ли у них благоразумия и терпимости, чтобы использовать этот успех, если его удастся достигнуть. В общем, под впечатлением пережитого в последние дни и думая о насилиях, которым всечасно подвергались его сограждане, а также учитывая опасное положение, в котором он оказался в результате всего происшедшего, Мортон пришел к выводу, что решительно все заставляет его присоединиться к отряду восставших пресвитериан.

Впрочем, выражая Берли признательность за избрание на пост вождя и члена военного совета повстанческой армии, он заявил о своем согласии не без некоторых весьма существенных оговорок.

— Я хочу помочь,— сказал он,— чем только смогу, освобождению моей родины, но только прошу вас понять меня до конца. Я самым решительным образом осуждаю тот акт, с которого, по-видимому, началось это восстание. Никакие доводы не смогли бы меня побудить присоединиться к повстанцам, если бы я знал наперед, что восставшие станут прибегать к таким средствам, как то, которое положило ему начало.

Кровь прилила к загорелым щекам Берли, лицо его потемнело.

— Вы разумеете,— сказал он тоном, который должен был скрыть, что слова Мортона задели его за живое,— вы разумеете смерть Джеймса Шарпа?

— Да,— ответил Мортон,— я разумею именно это.

— Итак, вы воображаете,— сказал Берли,— что всемогущий в пору великих страданий не пользуется любым средством, чтобы избавить свою церковь от угнетателей? Неужели вы думаете, что справедливость кары определяется не объемом преступлений виновного, не тем, что он заслужил возмездие, не тем общим и полезным воздействием, которое этот пример должен оказывать на прочих злодеев, но платьем судьи, высотою помоста, откуда он произносит свой приговор, или голосом судебного пристава? Разве казнь не может быть равно справедливой, приведена ли она в исполнение на эшафоте или в открытом поле? И если королевские судьи из трусости или в силу корыстного сговора со злонамеренными преступниками допускают не только их свободное передвижение по стране, но даже пребывание на высоких постах, где они обагряют свои одежды кровью святых страдальцев, то неужели несколько бесстрашных людей, обнаживших мечи в защиту справедливого дела, не совершают в этом случае благого деяния?

— Не стану обсуждать этот поступок сам по себе, однако хочу, чтобы вы имели ясное представление о моих взглядах,— ответил на это Мортон.— Повторяю еще раз: ваши доводы не удовлетворяют меня. Если всемогущий, пути коего неисповедимы, приводит проливавшего кровь к заслуженному им кровавому концу, то это еще не оправдывает тех, кто, не имея никаких полномочий, возлагает на себя обязанность быть орудием казни и притязает именоваться исполнителем божественного возмездия.

— А почему бы и нет,— горячо воскликнул Берли.— Разве мы... разве каждый, кто борется во имя шотландской церкви, какою ей полагается быть в соответствии с ковенантом, не должен был в силу этого самого ковенанта уничтожить иуду, продавшего дело господне за пятьдесят тысяч мерков, получаемых им ежегодно? Если бы он встретился нам на обратном пути из Лондона и мы уже тогда поразили его острием наших мечей, мы бы лишь выполнили свой долг, как люди, верные своему делу и своим клятвам, запечатленным на небесах. Разве то, как была исполнена эта казнь, не является доказательством, что мы были уполномочены ее совершить? Разве господь не предал его

в наши руки? Разве это не произошло в то самое время, когда мы подстерегали гораздо менее значительное орудие чинимых нам утеснений? Разве мы не молились, чтобы узнать, как поступить, разве не ощутили в сердцах, точно это было врезано в них алмазом: «Да, вы должны схватить его и умертвить»? Не тянулась ли эта трагедия, пока свершалось заклание жертвы, в течение получаса, не происходила ли она в открытом поле, почти на глазах у патрулей, разосланных их гарнизонами? Но помешал ли кто-нибудь нашему великому делу? Залаяла ли хотя бы одна собака, пока мы гнались за ним, пока хватали и умерщвляли его, пока разъезжались затем в разные стороны? Так кто же скажет, кто осмелится сказать после этого, что здесь не действовала рука более мощная, нежели наша?

— Вы заблуждаетесь, мистер Белфур,— возразил Мортон,— многим чудовищным злодеяниям сопутствовали такие же благоприятные обстоятельства, и многим убийцам удавалось благополучно скрыться. Но я вам не судья. Я не забыл, что начало освобождению Шотландии было некогда положено насильственным актом, который никем не может быть оправдан,— я имею в виду убийство Комина, свершенное рукою Роберта Брюса; поэтому, осуждая убийство архиепископа, как мне велит моя совесть, я готов все же предположить, что вы действовали из побуждений, оправдывающих вас в ваших глазах, хотя они не могут найти оправдания ни в моих глазах, ни в глазах всякого здравомыслящего человека. Говорю об этом только затем, чтобы вы поняли меня правильно. Я присоединяюсь к делу людей, открыто поднявшихся на войну, которая должна вестись в соответствии с правилами, принятыми у цивилизованных наций, но никоим образом не одобряю акта насилия, послужившего непосредственным поводом к ее началу.

Белфур прикусил губу и с трудом удержался от резкого ответа. Он обнаружил с досадою, что его молодой соратник обладает ясностью мысли и твердостью духа, не оставлявших слишком много надежд на возможность оказывать на него влияние, на которое он рассчитывал. Все же, помолчав немного, он холодно произнес:

— Мое поведение — на виду у людей и у ангелов божьих. Деяние было сотворено не в темном углу; я стою здесь, готовый держать за него ответ, и не тревожусь о том, как и где я буду призван к нему — в совете ли, на поле брани, на эшафоте или в великий день Страшного суда. Я не хочу обсуждать это с тем, кто все еще за завесою. Но если вы готовы по-братски разделить с нами нашу судьбу, идем вместе со мною в совет, ко-

торый все еще заседает, обсуждая предстоящий поход и средства добиться победы.

Мортон встал и молча за ним последовал. Он ни в коей мере не обольщался насчет своего сотоварища и готов был скорее удовлетвориться сознанием справедливости всего дела в целом, чем способом действий и побуждениями многих из числа тех, кто присоединился к нему.

## ГЛАВА XXII

Взгляни, как много греческих палаток
На той равнине. Столько же и мнений.

*«Троил и Крессида»*

В небольшой ложбине у подошвы возвышенности, на расстоянии приблизительно четверти мили от поля сражения, стояла хижина пастуха; эта жалкая лачуга, единственное жилище близ лагеря, была избрана вождями пресвитерианского войска для заседаний совета. Сюда и повел Берли Мортона, которого поразило, когда они приблизились к этому месту, какое-то невероятное смешение самых разнообразных звуков, долетавших оттуда. Тишина и сосредоточенная серьезность, которые должны были царить в созванном по такому важному поводу и в столь трудное время совете, казалось, отступили, вытесненные неистовыми спорами и громкими криками, воспринятыми новым соратником ковенантеров как дурное предзнаменование их будущих дурных деяний. Подойдя к двери хижины, Мортон и Берли увидели, что она распахнута настежь, но при этом совершенно забита крестьянами, которые, не состоя в совете, тем не менее не стеснялись вмешиваться в обсуждение животрепещущих и насущных для них вопросов. Требуя, угрожая и даже не останавливаясь перед применением физического воздействия, Берли, решительность которого дала ему перевес над этими разобщенными силами, заставил крестьян разойтись и, введя Мортона в хижину, затворил за собою дверь, чтобы оградить совет от назойливого любопытства толпы.

В более спокойный момент молодой человек был бы, вероятно, заинтересован той необыкновенной картиной, которая предстала пред ним.

Темную полуразвалившуюся хижину чуть освещал пылавший в очаге дрок; дым, для которого не было положенного ему законного выхода, стлался вокруг, образуя над головами

членов совета такую же малопроницаемую, как их отвлеченное богословие, облачную завесу, сквозь которую, словно звезды в тумане, смутно мерцало несколько мигавших свечей или, точнее, облитых салом веток, предоставленных нищим владельцем хибарки; они были прикреплены к стенам комками размятой глины. При этом тусклом, прерывистом свете Мортон увидел множество лиц, озаренных духовной гордостью или омраченных неистовым фанатизмом. Были здесь и другие: их озабоченные, неуверенные, блуждающие взгляды свидетельствовали о том, что они, слишком поспешно ввязавшись в дело, для которого у них не было ни достаточной смелости, ни решимости, теперь раскаивались и думали только о том, как бы его покинуть, но стыдились сделать это открыто. Действительно, в собрании царили колебания и разногласия. Наиболее активными были те, кто вместе с Берли участвовал в убийстве архиепископа Шарпа; четырем или пяти из них удалось добраться и до Лоудонхилла, вместе с другими, отличавшимися столь же неутомимым и непреклонным рвением и дерзнувшими на те или иные противоправительственные деяния, о прощении которых не могло быть и речи.

С ними вместе прибыли сюда и их проповедники, презревшие индульгенцию, предложенную им государственной властью, и предпочитавшие собирать свою паству в пустынных местах под открытым небом, лишь бы не служить в храмах, возведенных человеческими руками, так как это могло бы дать правительству повод вмешиваться в суверенные дела церкви. Остальную часть членов совета составляли землевладельцы со скромным достатком и крепкие фермеры, которые взялись за оружие и примкнули к восставшим из-за невыносимых преследований и притеснений. С ними были и их священники; многие из этих представителей духовенства, приняв индульгенцию и воспользовавшись ее преимуществами, готовились оказать сопротивление тем из своих разделявших крайние взгляды собратьев, которые предлагали опубликовать декларацию с осуждением индульгенции и инструкции к ней, как документов, исполненных беззакония и греха. В первой редакции манифестов, в которых они хотели объяснить многочисленные причины, побудившие их прибегнуть к оружию, этот трудный вопрос был старательно обойден молчанием, но он снова был поднят в отсутствие Белфура, который, вернувшись, к своей великой досаде увидел, что обе стороны яростно препираются по этому поводу, что Мак-Брайер, Тимпан и другие вероучители гонимых скитальцев с пеной у рта наседают на Питера Паундтекста, принявшего ин-

дульгенцию пастора в милнвудском приходе, а он, хотя и препоясал себя мечом, все же, прежде чем выйти за правое дело на поле сражения, мужественно отстаивает свои взгляды в военном совете. Этот спор, который вели главным образом Паундтекст и Тимпан, вместе с криками сторонников того и другого и был причиною шума, поразившего слух Мортона, когда он с Берли подходил к хижине. Оба священнослужителя, обладая красноречием и могучими легкими, защищали свои убеждения с неистовой страстью и нетерпимостью и, быстро находя в памяти библейские тексты, нещадно побивали ими друг друга. Они придавали исключительную важность предмету своих расхождений, и их прения сопровождались такими криками, как будто тут шла самая настоящая драка.

Берли, возмущенный возобновившейся распрей, проявлением которой была эта яростная словесная перепалка, остановил спорщиков. Указав на несвоевременность разногласий, польстив тщеславию обеих сторон и использовав авторитет, который ему доставили заслуги в победе этого дня, он в конце концов добился прекращения спора. Впрочем, хотя Тимпан и Паундтекст на время замолкли, они тем не менее продолжали пожирать друг друга глазами, как псы, которые, схватившись, были разняты хозяевами и, забравшись под кресла своих владельцев, пристально следят за движениями врага, обнаруживая ворчанием, взъерошенной на спине шерстью, поднятыми торчком ушами и взглядами налитых кровью глаз, что ненависть их еще не угасла и что они лишь дожидаются удобного случая, чтобы снова вцепиться друг другу в горло.

Белфур воспользовался минутною передышкой, чтобы представить совету мистера Генри Мортона из поместья Милнвуд — одного из тех, кто не пожелал равнодушно взирать на злодеяния власть имущих и решил рискнуть своим состоянием и даже жизнью ради священного дела, во славу которого отец его, знаменитый Сайлес Мортон, совершил в свое время великие подвиги. Мортон был немедленно встречен дружеским рукопожатием своего давнего пастыря Паундтекста и приветственными возгласами тех из повстанцев, кто разделял умеренные воззрения. Остальные пробурчали что-то сквозь зубы о проклятом эрастианстве и напомнили друг другу на ухо, что Сайлес Мортон, хотя и был когда-то стойким и достойным слугой ковенанта, все же оказался отступником в тот печальной памяти день, когда сторонники позорных резолюций 1650 года расчистили Карлу Стюарту путь к королевскому трону, предоставив нынешнему тирану возможность возвратиться в Шотландию и тем

самым угнетать их церковь и родину. Правда, добавляли они, в великий день зова господня они не станут отказываться от содружества с тем, кто так же, как они сами, готов возложить руку на плуг. Так Мортон был избран одним из вождей и членом совета,— если не при полном одобрении своих новых товарищей, то, во всяком случае, без формального или явного их протеста. По предложению Берли они распределили между собой собравшихся под их знамя людей, число которых непрерывно росло. При этом повстанцы из прихода и паствы Паундтекста попали, разумеется, под начало Мортона; это было одинаково приятно и им и ему, так как они доверяли Мортону и вследствие его личных качеств, и вследствие того, что он родился среди них.

Покончив с этим, они должны были решить, как воспользоваться только что одержанною победой. Когда кто-то из членов совета назвал Тиллитудлем как одну из наиболее сильных позиций, подлежащих немедленному захвату, у Мортона защемило сердце. Замок, как мы уже не раз говорили, стоял на пути, соединяющем плодородные области края с местами пустынными, и должен был, по мнению тех, кто с достаточным основанием предлагал эту меру, стать оплотом и местом сбора окрестной знати и других врагов ковенанта, если бы повстанцы обошли его стороной. На занятии Тиллитудлема особенно настаивали Паундтекст и те из его сторонников, жилищам и семьям которых грозила бы и в самом деле большая опасность, если бы эта крепость осталась за роялистами.

— Полагаю,— сказал Паундтекст, подобно многим священнослужителям той эпохи расточавший, не колеблясь, советы по военным вопросам, в которых был круглым невеждою,— полагаю, что нам следует взять и сровнять с землею эту твердыню жены, именуемой Маргарет Белленден, даже если бы пришлось воздвигнуть ради этого грозные бастионы и насыпать целую гору; владельцы замка — отродье зловредное и кровожадное, и рука их была тяжелой для чад ковенанта как прежде, так и в последнее время. Их крюк был продет в наши ноздри, их удила были между нашими челюстями.

— А каковы их средства защиты? Сколько у них людей? — спросил Берли.— Крепость действительно превосходна, но не думаю, чтобы две женщины могли быть страшны целому войску.

— Кроме них,— ответил ему Паундтекст,— там есть еще Гаррисон, управитель, и Джон Гьюдьил, главный дворецкий, который хвалится, что служил в солдатах с молодых лет и был под знаменем этого слуги Велиала, Джеймса Грэма Монтроза.

— Хм,— презрительно бросил Берли,— дворецкий!

— Там есть и этот старый язычник, Майлс Белленден из Чарнвуда, руки которого обагрены кровью святых страдальцев.

— Если это тот самый Майлс Белленден, брат сэра Артура,— заметил Берли,— то меч его не уклонится от битвы, только он должен быть уже в преклонных летах.

— Когда я направлялся сюда,— сказал один из членов совета,— мне говорили, что, прослышав о дарованной нам победе, они распорядились закрыть на все запоры ворота, созвали людей и добыли, где смогли, вооружение и припасы. Их род всегда был надменным и злобным.

— И все же,— заявил Берли,— я решительно против того, чтобы связывать себе руки осадой, которая может занять много времени. Мы должны устремиться вперед и, используя наш успех, захватить Глазго; не думаю, чтобы разбитые нами войска, даже соединившись с полком лорда Росса, сочли для себя безопасным дожидаться нас в этом городе.

— Во всяком случае,— предложил Паундтекст,— мы можем, развернув знамя, подойти к замку, подать трубою сигнал и убедить их сложить оружие. Возможно, что они сами сдадутся, хотя, надо признаться, это очень строптивый народ. И мы предложим их женщинам выйти из этой твердыни — я имею в виду леди Маргарет Белленден, и ее внучку, и еще Дженни Деннисон, девицу с глазами, полными соблазна, и других девушек,— и дадим им свободный пропуск, и с миром отправим их в город, хотя бы даже и в Эдинбург. Но Джона Гьюдьила, Хью Гаррисона и Майлса Беллендена мы бросим в оковы, как в былое время делали они сами с нашими святыми страдальцами.

— Кто толкует о свободном пропуске и о мире? — раздался из толпы пронзительный, дребезжащий, надтреснутый голос.

— Помолчи, брат Аввакум,— сказал Мак-Брайер успокоительным тоном, обращаясь к тому, кто прокричал эти слова.

— Не стану молчать! — раздался снова тот же странный и неестественный голос.— Время ли говорить о мире, когда земля содрогается, и горы раскалываются, и реки превращаются в текущую кровь, когда обоюдоострый меч извлечен из ножен, чтобы упиться ею, словно водою, и пожирать плоть, как огонь пожирает сухое жнивье?

Произнеся эти слова, оратор успел пробраться вперед и выйти в середину круга, и перед Мортоном предстала фигура,

вполне под стать такому голосу и таким речам. Жалкие лохмотья, бывшие некогда черной курткой и такого же цвета штанами, вместе с рваными лоскутьями пастушьего пледа составляли все его платье, которое кое-как прикрывало его наготу, но не могло согреть тело. Длинная белая как снег борода, спускавшаяся ему на грудь, сплеталась с клочковатыми, нечесаными седыми волосами, свисавшими космами и обрамлявшими лицо, сразу приковывающее к себе внимание. Черты, изможденные голодом и лишениями, едва сохраняли подобие человеческих. Глаза — серые, дикие, блуждающие — неоспоримо свидетельствовали о возбужденном, необузданном воображении. Он держал в руке старый, проржавленный меч, покрытый запекшейся кровью; ею были забрызганы и его тощие длинные руки, пальцы которых заканчивались ногтями, похожими на орлиные когти.

— Во имя неба, кто это? — шепотом спросил Мортон у Паундтекста; он был удивлен, потрясен и даже испуган появлением этого страшного призрака, который был скорее похож на восставшего из могилы жреца людоедов или друида, обагренного кровью человеческой жертвы, чем на смертного обитателя земли.

— Это Аввакум Многогневный,— прошептал Паундтекст.— Наши враги долгое время держали его в заключении в разных замках и крепостях, и теперь рассудок его покинул, и боюсь, не вселились ли в него бесы. Несмотря на это, наши истовые и неугомонные братья, как один, утверждают, что он говорит в наитии и что речи его для них высокопоучительны.

Здесь Паундтекста прервал сам Многогневный, закричавший таким пронзительным голосом, что задрожали стропила под крышей:

— Кто толкует о мире и о свободном пропуске? Кто говорит о пощаде кровожадному роду злодеев? А я говорю: хватайте младенцев и разбивайте им черепа о камни; хватайте дщерей и жен дома сего и свергайте их со стен, на которые они уповали, и пусть псы жиреют от крови их, как некогда разжирели они от крови Иезавели, супруги Ахава, и пусть трупы их станут туком для земли их отцов.

— Правильно! — воскликнуло несколько злобных голосов позади него.— Мы окажем плохую услугу нашему великому делу, если станем нянчиться с врагами господними.

— Но ведь это предел гнусности, это дерзкое святотатство! — воскликнул Мортон, не сдержав своего возмущения.— Можно ли ждать, что господь дарует благословение тому делу,

творя которое вы прислушиваетесь к безумному и свирепому бреду?

— Помолчи, молодой человек,— крикнул Тимпан,— и прибереги свои суждения для того, что тебе по силам понять! Не тебе судить, в какие сосуды может вмещаться дух божий!

— Мы судим о древе по плодам его,— сказал Паундтекст,— и не можем поверить, чтобы бог внушал противоречащее законам его.

— Вы, брат мой, забываете,— заметил на это Мак-Брайер,— что наступили последние дни, когда умножаются знамения и чудеса.

Паундтекст вышел было вперед, чтобы ответить, но, прежде чем он смог произнести хотя бы единое слово, безумный проповедник разразился таким отчаянным воплем, что пресек всякую возможность соперничества:

— Кто толкует о знамениях и чудесах? Или я не Аввакум Многогневный, чье имя ныне Магор-Миссавив, ибо я стал ужасом для себя самого и для всех, кто окружает меня. Я слышал это. Когда я слышал? Не свершилось ли то в замке Бэсс, что висит над бескрайней пустынею моря? И слышалось это в завывании ветра, и ревело это в волнах, и вопило, и свистело, и мешалось с воплями, и визгом, и свистом птиц морских, когда они парили, и метались, и низвергались вниз, носясь над пучиною вод и ныряя в нее. И я это видел. Где я видел? Не было ли то на взнесенных ввысь камнях Дамбартона, когда я устремлял взор на запад, на плодородную землю, или на север, на дикие горы и пустынные холмы; когда собирались тучи, и готовилась буря, и молнии небесные полыхали полотнищами, широкими, как знамена боевых ратей? Что же я видел? Мертвые тела и раненых коней, сумятицу битвы и одежды, обагренные кровью. Что же я слышал? Голос, который воззвал: истребляйте, истребляйте, разите, истребляйте бестрепетною рукой! Пусть глаз ваш не ведает жалости. Истребляйте бестрепетною рукой и старого, и малого, и деву, и ребенка, и женщину, голова которой покрыта сединами; осквернite дом и наполните дворы трупами!

— Мы принимаем повеление! — воскликнули многие из присутствовавших.— Шесть дней он не молвил ни слова, шесть дней не преломлял хлеба, и ныне дан ему голос; мы принимаем повеление. Как он сказал, так и будем творить.

Исполненный ужаса и отвращения ко всему, что он видел и слышал, Мортон поспешно протиснулся к выходу и покинул

хижину. За ним последовал Берли, который не спускал с него глаз и заметил его волнение.

— Куда вы? — спросил он, беря Мортона под руку.

— Куда угодно — мне безразлично куда, но здесь я оставаться дольше не стану.

— Скоро же ты устал, юноша! — сказал Берли.— Твоя рука не успела еще взяться за плуг, а ты готов уже оставить его? Так-то привержен ты делу отца?

— Ни одно дело,— негодуя, ответил Мортон,— ни одно дело при таком руководстве не может увенчаться успехом; одни одобряют кровожадный бред сумасшедшего, вождь других — старый педант, глава третьих...— Он остановился, и его спутник закончил оборванную им мысль:

— Гнусный убийца, хотел ты сказать, вроде Джона Белфура Берли? Я могу снести это ложное истолкование моих действий, не испытывая ни обиды, ни злобы против тебя. Ты не можешь понять, что в эти дни гнева и ярости не трезвым и не спокойно-рассудительным дано свершить суд и добиться освобождения. Если б ты видел парламентские армии тысяча шестьсот сорокового года, ряды которых были полны сектантов и всевозможных энтузиастов, еще более ревностных и неистовых, чем мюнстерские анабаптисты, вот тогда тебе было бы чему удивляться; и все же эти люди на поле сражения были непобедимы и руки их сотворили поразительные дела, доставившие свободу их родине.

— Но их действиями,— ответил на это Мортон,— мудро руководили, а их неудержимое религиозное рвение находило для себя выход в молитвах и проповедях, не внося разлада в управление армией и жестокости — в их поведение. Я часто слышал об этом от отца и должен сказать, что больше всего его удивляло резкое противоречие между их религиозными догматами и мудрой умеренностью, с какою они вели военные действия и управляли страной. А в нашем совете, на мой взгляд,— сплошной хаос!

— Ты должен запастись терпением, Генри Мортон,— сказал Белфур,— ты не можешь покинуть дело твоей веры и твоей родины из-за какого-нибудь нелепого слова или сумасбродного поступка. Выслушай, что я скажу. Я только что убеждал наиболее благоразумных из наших друзей, что совет слишком многолюден и слишком громоздок, и нельзя ожидать, чтобы мадианитяне, при таком большом числе его членов, попались к нам в руки. Они прислушались к моему голосу, и наши собрания вскоре будут насчитывать лишь столько участников,

сколько способно договориться друг с другом и действовать сообща; в таком совете ты сможешь свободно говорить как о наших военных делах, так и о помиловании тех, кто, по-твоему, должен быть пощажен. Удовлетворен ли ты этим?

— Разумеется, я был бы рад способствовать смягчению ужасов гражданской войны,— сказал Мортон,— и я не покину принятого мною поста, разве только если увижу, что творятся дела, несогласные с моей совестью. Но кровавые побоища после того, как враг запросил пощады, или расправы без следствия и суда никогда не встретят с моей стороны ни поддержки, ни одобрения, и вы можете быть уверены, что я воспротивлюсь им словом и делом, твердо и решительно, будут ли в них повинны наши сторонники или наши враги.

Белфур нетерпеливо махнул рукой.

— Ты скоро убедишься воочию,— сказал он,— что упрямое и жестокосердное племя, с которым нам приходится иметь дело, должно быть наказано скорпионами, прежде чем сердца их смирятся и они примут кару за свои беззакония. Это о них сказано в Священном писании: «Я воздвигну меч против тебя, и меч сей отмстит за поругание завета моего». Что надлежит сделать, то должно быть сделано благоразумно и по здравом размышлении, подобно тому как это свершил благочестивый Джеймс Мелвин, приведший в исполнение приговор над тираном и угнетателем кардиналом Битоном.

— Должен признаться,— ответил на это Мортон,— что я испытываю еще большее отвращение к заранее обдуманной и холодной жестокости, чем к тем зверствам, которые творятся под горячую руку, в религиозном экстазе или в пылу раздражения.

— Ты еще юноша,— сказал Белфур,— и где тебе знать, как легковесны на чаше весов несколько капель человеческой крови по сравнению с важностью и значением этого великого общенародного дела. Но не тревожься; ты сам будешь подавать голос и выносить приговоры, и кто знает — быть может, у нас с тобою не будет особых причин пререкаться друг с другом.

Мортону пришлось удовольствоваться этими обещаниями. Посоветовав ему прилечь и отдохнуть, так как утром, вероятно, войско двинется дальше, Берли собрался уходить.

— А вы,— спросил Мортон,— разве вы не будете отдыхать?

— Нет,— сказал Берли,— мои глаза пока еще не имеют права смыкаться. Это дело нельзя делать небрежно. Я еще должен определить состав комитета вождей; рано утром я приглашу вас на его заседание.

Сказав это, он удалился.

Место, где оказался Мортон, было неплохо приспособлено для ночлега; это был укромный уголок под высокой скалой, хорошо защищенный с той стороны, с которой в этих местах чаще всего дует ветер. Довольно толстый слой мха, покрывавшего землю, представлял собою отличное ложе, особенно для человека, перенесшего столько физических и моральных страданий. Мортон завернулся в солдатский плащ, с которым не расставался со вчерашнего дня, растянулся на мху и предался грустным размышлениям о положении родины и о своих личных делах. Впрочем, эти размышления не слишком долго томили его, так как вскоре он погрузился в глубокий, здоровый сон.

Вся повстанческая армия, разбившись на группы, спала на земле. Каждая группа располагалась там, где было удобнее и где можно было укрыться от холодного ветра. Не спали только несколько главных вождей, всю ночь напролет обсуждавшие вместе с Берли создавшееся положение, да часовые, которые, поддерживая в себе бодрость, распевали псалмы или слушали, как их поют наиболее искусные среди них.

## ГЛАВА XXIII

Все получив — скорее на коней!
*«Генрих IV», ч. I*

С первым светом Генри проснулся и увидел стоявшего возле него верного Кадди с походною сумкой в руках.

— А я только что сложил ваши вещи, чтобы все было готово, когда ваша милость проснется,— сказал Кадди,— это моя обязанность; ведь вы были такой добрый, что взяли меня к себе в услужение.

— Я взял тебя в услужение, Кадди? — сказал Мортон.— Да ты еще не проснулся.

— Ну уж нет, сударь,— ответил Кадди,— разве я не говорил вам вчера, когда еще был привязан к коню, что, если вы когда-нибудь выйдете на свободу, я буду вашим слугою? Разве вы сказали на это «нет»? А если это не договор, то что же это такое? Вы, правда, не дали мне задатка, но зато подарили еще в Милнвуде достаточно денег.

— Ладно, Кадди, если ты готов разделить со мною превратности моей злосчастной судьбы...

— А я уверен, что она будет у нас счастливою,— весело отвечал Кадди,— и наконец-то моя бедная старая матушка

будет пристроена как полагается. Я начал постигать солдатское ремесло, и с того конца, с которого научиться ему проще всего.

— Значит, ты научился грабительству, не так ли? — сказал Мортон.— Откуда еще могла бы оказаться у тебя в руках эта сумка?

— Не знаю, грабительство ли это или как оно там называется, —ответил Кадди,— но только так выходит само собой, и это — доходное ремесло. Наши люди, прежде чем мы с вами освободились, до того обчистили убитых драгун, что они теперь как новорожденные младенцы. Но когда я увидел, что виги развесили уши, слушая Гэбриела Тимпана и того молодого парня, то пустился в дальний поход ради себя самого и ради вас, ваша честь. Вот я и пошел себе потихоньку, прошел чуточку по трясине, да свернул потом вправо, где приметил следы многих коней, и пришел прямо на место, где и вправду здорово молотили, видать, друг дружку. Бедные ребята лежали одетые в свое платье, как они утром надели его, и никто до меня не наткнулся на эти залежи трупов. И кто же был среди оных (так сказала бы моя матушка), как не наш с вами старый знакомый, не сам сержант Босуэл!

— Что ты говоришь, Кадди! Стало быть, Босуэл убит?

— Убит,— ответил Кадди.— Глаза его были открыты и лоб нахмурен, а зубы крепко стиснуты, как клещи капкана, какие ставят на хорьков, когда пружина сожмется,— так что мне прямо страшно было смотреть на него; но я решил, что теперь наступил и его черед, и обшарил его карманы, как он частенько проделывал с честным народом, и вот вам ваши кровные денежки (или вашего дяди, только это одно и то же), что он заполучил в Милнвуде в тот несчастный день, который сделал нас с вами солдатами.

— Не будет греха, Кадди,— сказал Мортон,— если мы воспользуемся этими деньгами: ведь нам хорошо известно, как они попали к нему; но ты должен взять свою долю.

— Постойте, постойте! Тут есть еще колечко на черном шнурке, которое висело у него на груди. Наверно, это память о той, кого он любил, бедняга; даже у самых жестоких бывает любимая девушка; а вот и книжка с какими-то бумагами и еще две-три странные вещички, которые я оставлю, пожалуй, себе.

— Честное слово, Кадди, ты совершил блестящий набег, особенно для начинающего,— сказал Мортон.

— Правда? — воскликнул Кадди с торжествующим видом.— Ведь я вам говорил, что не такой уж я чурбан, если

что плохо лежит. Кстати, я раздобыл еще пару добрых коней. Один хилый, никудышный парнишка, ткач из Стравена, бросивший свой станок и дом, чтобы сидеть да скулить на холодной горе, поймал двух драгунских коней, а девать их ему некуда. Вот он и взял с меня за них золотой; я бы мог, пожалуй, сторговаться и за ползолотого, да тут неподходящее место, чтобы разменивать деньги. Вы увидите, что в кошельке Босуэла одной монеты недостает.

— Ты сделал превосходное и чрезвычайно полезное приобретение, Кадди; но у тебя в руках еще походная сумка?

— Походная сумка? — ответил Кадди.— Вчера она была лорда Эвендела, а сегодня сделалась вашей. Я нашел ее там, за кустами,— всякой собаке ее денек. Вы ведь знаете, как поется в старинной песне:

За вами, матушка, черед,—
Промолвил Том из Линна.

И раз я заговорил об этом, пойду уж навестить матушку, коли ваша честь чего не прикажет.

— Но, Кадди, послушай,— сказал Мортон,— я никак не могу взять эти вещи, не заплатив за них ни гроша.

— Да ну вас, сударь,— ответил Кадди,— берите, что уж там. А заплатите вы как-нибудь в другой раз, с меня хватит кое-каких вещичек, которые больше по мне. Что стал бы я делать с богатым обмундированием лорда Эвендела? Нет уж, с меня довольно и того, что было на Босуэле.

Не сумев убедить в такой же мере упрямого, как и бескорыстного Кадди, чтобы он взял себе хоть что-нибудь из этой военной добычи,— Мортон решил сберечь и возвратить лорду Эвенделу, если он жив, принадлежавшие ему вещи, а пока, не раздумывая, воспользовался кое-чем из содержимого сумки, а именно бельем и разною мелочью, которая могла пригодиться в походной жизни.

Потом он просмотрел бумаги в записной книжке Босуэла. Они были самого разнообразного содержания. Сперва Мортону попались на глаза: список подразделения, которым командовал Босуэл, с отметкою, кто отлучился в отпуск, счета трактирщиков, списки обложенных штрафом или подлежащих преследованию за какие-либо провинности перед властями, а также копия указа Тайного совета об аресте некоторых весьма видных и значительных лиц. В другом отделении этой записной книжки находились один или два патента на чины, в разное время полученные Босуэлом, и отзывы о его службе за границей, в

которых давалась весьма высокая оценка его храбрости и военным талантам. Но самой примечательною бумагой была тщательно составленная родословная с ссылками на многочисленные документы, подтверждавшие ее подлинность; к этой родословной был приложен список обширных владений, конфискованных некогда у графов Босуэлов, и, кроме того, список, в котором подробно указывалось, кому из придворных и представителей знати (предкам нынешних владельцев этих земель) и что именно пожаловал король Иаков VI; под этим списком красными чернилами рукою покойного было написано: «Haud Immemor[1]. Ф.С.Г.Б.»; последние четыре буквы, надо думать, обозначали Фрэнсис Стюарт, граф Босуэл. Кроме этих бумаг, отчетливо рисовавших образ мыслей и чувства того, кто был их владельцем, были здесь и другие, показывавшие Босуэла совсем в ином свете, чем мы до сих пор представляли его читателю.

В потайном отделении книжки, до которого Мортон добрался не сразу, хранилось несколько писем, написанных красивым, женским почерком. Даты, проставленные на них, свидетельствовали об их двадцатилетней давности; они не заключали в себе указания, к кому, собственно, обращены, и были подписаны инициалами. Не имея времени подробнее ознакомиться с ними, Мортон все же отметил нежное и трогательное чувство, которым они были проникнуты. Писавшая старалась рассеять ревность своего возлюбленного и робко пеняла на его вспыльчивый, подозрительный и необузданный нрав. Чернила выцвели от времени, и, несмотря на заботливость, с которою Босуэл оберегал эти письма от порчи, в двух или трех местах бумага истерлась настолько, что ничего нельзя было разобрать.

«Не беда,— эти слова были написаны на обертке одного из наиболее пострадавших писем,— я знаю их наизусть».

Вместе с письмами, в том же потайном отделении книжки, хранилась, кроме того, прядь волос, завернутая в листок со стихами, продиктованными, видимо, глубоким и сильным чувством, искупавшим в глазах Мортона неуклюжесть версификации и вычурность выражений в соответствии со вкусом того времени:

Агнесы локон золотой,
Ты блещешь, как и ночью той,
Когда она, склонясь ко мне,
«Люблю»,— шепнула в тишине.
Как жег тебя, о дивный дар,
Моей груди безмерный жар,
Где гнев и ненависть горят,

[1] Не забывающий *(лат.)*.

Где грех, открывший людям ад.
Мое дыханье — как вулкан,
А кровь — как бурный океан.
Но если этот страшный жар
Не сжег тебя, о чудный дар,
Насколько ж все влиянье зла
Агнеса б усмирить могла,
И я б, ведом ее рукой,
Был чист пред небом и землей.
Когда б она осталась жить,
Осталась жить, меня любить,
Тогда бы мне отрадой был
Не только скачки дикой пыл,
Не страсть охотничья б была
Одна на свете мне мила,—
Добычу выследить, загнать,
Схватить, на части растерзать
И путь спокойно продолжать,—
Нет, усмирен святой рукой,
Пред небесами и землей
Я мог бы нынче чистым быть,
Когда бы ты осталась жить.

Прочтя эти строки, Мортон не мог не проникнуться сочувствием к участи этого странного, раздавленного судьбой человека, который, дойдя до последней ступени падения и даже позора, постоянно думал о высоком положении, предназначенном ему его рождением, и, погрязнув в разврате, втайне, с горьким раскаянием, вспоминал дни своей юности, когда он переживал чистую, хоть и несчастную страсть.

«Увы! — подумал Мортон.— Что мы такое, если наши лучшие и наиболее похвальные чувства могут быть до такой степени унижены, извращены, если достойная уважения гордость может превратиться в высокомерное и дерзкое пренебрежение общественным мнением, если страдания несчастной любви живут в той же душе, которую избрали своей твердыней развращенность, мстительность, алчность. И всюду одно и то же: у одного широта взглядов переходит в холодное и бесчувственное безразличие, у другого религиозное рвение превращается в исступленный и дикий фанатизм. Наши решения, наши страсти подобны морским волнам, и без помощи того, кто вложил в нас жизнь, мы не можем сказать: «До сих пор, но не дальше».

Предаваясь этим размышлениям, Мортон поднял глаза и увидел перед собой Белфура Берли.

— Ты уже проснулся? — сказал ему вождь ковенантеров.— Это хорошо; значит, ты горишь желанием вступить на уготованный тебе путь. Что у тебя за бумаги? — продолжал он.

Мортон коротко рассказал об успешном походе Кадди и передал ему записную книжку Босуэла со всем ее содержимым. Вождь камеронцев внимательно просмотрел бумаги, имевшие отношение к военным или общественным делам; дойдя до стихов, он с презрением отбросил их прочь.

— Я был далек от мысли,— сказал он,— когда с божьего благословения трижды пронзил мечом это главное орудие жестокости и гонений, что столь отчаянный и опасный человек может предаваться такому пустому и вместе с тем богомерзкому занятию. Но я вижу, что сатана сочетает порою в излюбленных и избранных исполнителях воли своей самые разнообразные качества, и та же рука, которая подъемлет дубину и смертоубийственное оружие на праведников в сей юдоли земной, бряцает на лютне или цитре и услаждает слух дщерей погибели на торжище суеты.

— Ваши представления о долге,— сказал Мортон,— несовместимы с любовью к изящным искусствам, которые, как принято думать, очищают и возвышают душу. Не так ли?

— Для меня, молодой человек,— отвечал Берли,— и для всех тех, кто думает так же, как я, все наслаждения этого мира, каким бы именем они ни прикрывались, есть суета, а власть и величие — не более как силки, расставленные для человека. Для нас на земле существует только одна задача — построение храма господня.

— Я не раз слышал,— заметил Мортон,— как отец утверждал, что многие, овладев властью во имя неба, были так ревнивы в пользовании ею и так не хотели с ней расставаться, что казалось, будто ими руководят побуждения мирского честолюбия; но об этом как-нибудь в другой раз. Удалось ли вам добиться назначения руководящего комитета?

— Да,— ответил Берли,— он будет состоять из шести членов, в числе коих и вы; я пришел, чтобы повести вас на заседание.

Мортон последовал за Берли на уединенную лужайку, где их уже ожидали остальные члены руководящего комитета. Обе партии, борьба которых вносила раздор в войско повстанцев, позаботились послать в этот высший орган исполнительной власти по трое своих представителей. Со стороны камеронцев то были Берли, Мак-Брайер и Тимпан: со стороны умеренных — Паундтекст, Генри Мортон и еще один мелкий землевладелец, которого все звали лэрдом Лонгкейла. Таким образом, в комитете обе партии уравновешивали друг друга, хотя представители крайних взглядов, как обычно в таких случаях, действовали

энергичнее. Впрочем, на этот раз заседание протекало в более деловой обстановке, чем можно было предполагать, исходя из вчерашнего. Трезво оценив свои силы и положение, а также учитывая возможный рост численности их армии, они сочли нужным провести этот день на прежней позиции, чтобы дать отдых людям и чтобы успели подойти подкрепления, и постановили наутро выступить к Тиллитудлему и потребовать сдачи этой твердыни язычества, как они выражались. Если владельцы замка не согласятся на их предложение, они решили взять его стремительным приступом, а в случае неудачи оставить у его стен часть своего войска, с тем чтобы повести правильную осаду и голодом принудить его защитников к капитуляции. Между тем главные силы должны были двинуться дальше, чтобы выбить Клеверхауза и лорда Росса из Глазго. Таковы были решения руководящего комитета, и Мортону, едва вступившему на путь борьбы, предстояло, по-видимому, в качестве первого дела на новом поприще осаждать замок, принадлежавший ближайшей родственнице владычицы его сердца и защищаемый ее дядей, майором Белленденом, которому он был столь многим обязан! Понимая всю затруднительность своего положения, он утешал себя тем, что власть в повстанческом войске позволит ему оказать обитателям Тиллитудлема помощь и покровительство, на что при других обстоятельствах они не могли бы рассчитывать. Он не терял, кроме того, надежды, что сможет добиться соглашения между ними и пресвитерианской армией и обеспечить им безопасный нейтралитет на время готовой разразиться войны.

## ГЛАВА XXIV

С побоища рыцарь примчался верхом,
Обрызганный кровью, омытый дождем.

*Финлей*

Теперь мы должны вернуться к Тиллитудлему и его обитателям. На следующий день после битвы при Лоудон-хилле, когда первые солнечные лучи коснулись зубцов замковых стен и защитники, готовясь к осаде, возобновили свои работы, часовой, находившийся на платформе высокой башни, именуемой Башнею стража, сообщил, что видит направляющегося к крепости всадника. Всадник приблизился; судя по его одежде, это был офицер лейб-гвардейцев; медленный шаг коня и поза

всадника, склонившегося над лукой седла, явно указывали, что он болен или тяжело ранен. Тотчас была открыта калитка, и лорд Эвендел въехал во внутренний двор; он так ослабел от потери крови, что не мог самостоятельно слезть с коня. Когда, поддерживаемый слугою, он вошел в зал, обе женщины вскрикнули от удивления и испуга; бледный как смерть, забрызганный кровью, в испачканном грязью и изодранном платье, с растрепанными, спутавшимися волосами, он был больше похож на призрак, чем на живого человека. Но вслед за тем они разразились восклицаниями, радуясь, что он спасся.

— Благодарение господу,— воскликнула леди Маргарет,— что вы с нами и что вам удалось ускользнуть от рук этих кровожадных убийц, перебивших столько верных слуг короля!

— Благодарение господу,— добавила Эдит,— что вы здесь и находитесь в безопасности. Мы страшились самого худшего. Но вы ранены, а я не уверена, что мы сможем оказать вам необходимую помощь.

— Это только сабельные удары,— сказал молодой лорд, опускаясь в кресло,— боль от них не бог весть какая, и я бы не чувствовал себя таким изнуренным, если бы не потерял столько крови. Но я ехал сюда не затем, чтобы добавлять свои немощи к вашим трудностям и опасностям, но чтобы по мере сил помочь вам справиться с ними. Что могу я сделать для вас? Разрешите,— добавил он, обращаясь к леди Маргарет,— считать себя вашим сыном, сударыня, и вашим братом, Эдит.

На последних словах он сделал ударение; он опасался, что мисс Белленден, увидев в нем навязчивого поклонника, может отказаться от предлагаемых им услуг. Она оценила его деликатность, но сейчас было не до того, чтобы разбираться во всех этих тонкостях.

— Мы готовимся защищаться,— сказала с большим достоинством старая леди,— мой деверь принял начальство над гарнизоном, и, с божьей помощью, мы окажем мятежникам заслуженный ими прием.

— С какой радостью,— воскликнул лорд Эвендел,— я принял бы участие в обороне замка! Но в теперешнем моем состоянии я буду скорее обузою — нет, хуже, чем просто обузою: если эти негодяи проведают, что здесь находится офицер лейб-гвардейцев, они постараются во что бы то ни стало овладеть Тиллитудлемом. Если же они будут знать, что его защищают только свои, то, быть может, они не станут пытаться взять его приступом и двинутся прямо на Глазго.

— Неужели вы так дурно думаете о нас, милорд,— сказала Эдит, отдаваясь порыву великодушия, которое так часто бывает свойственно женщинам и так их украшает; ее голос дрожал от волнения, лицо залила краска благородной горячности, подсказавшей ей эти слова,— неужели вы так дурно думаете о ваших друзьях, что допускаете мысль, будто подобные соображения могут побудить их отказать вам в убежище и защите, когда вы не в силах сами себя защитить и когда вся округа полна врагов? Да разве найдется в Шотландии хоть одна хижина, хозяин которой позволил бы своему дорогому другу покинуть ее в таких обстоятельствах? И неужели вы полагаете, что мы отпустим вас из нашего замка, который считаем достаточно укрепленным, чтобы защитить нас самих?

— Пусть лорд Эвендел и не помышляет об этом,— вмешалась леди Маргарет,— я сама перевяжу его раны; ведь только на это и годна в военное время такая старуха, как я. Но покинуть Тиллитудлем, когда меч врага взнесен над вашею головою, милорд, когда он готов опуститься на вас,— да я бы не позволила этого и последнему из солдат, носившему когда-либо мундир королевских войск, и тем более не позволю того же лорду Эвенделу. Наш дом не таков, чтобы стерпеть подобный позор. Замок Тиллитудлем был слишком высоко вознесен посещением его священнейшего вели...

В этом месте ее речь была прервана появлением майора Беллендена.

— Мы захватили пленного, дядя,— сказала Эдит,— наш пленник ранен и хочет бежать от нас. Вы должны нам помочь удержать его силою.

— Лорд Эвендел! — воскликнул старый майор.— Я не меньше обрадован, чем когда получил свое первое производство. Клеверхауз говорил, что вы или убиты, или, во всяком случае, пропали без вести.

— Я был бы убит, если бы не ваш друг,— взволнованно сказал лорд Эвендел, опустив глаза, как если бы не желал видеть, какое впечатление произведут на мисс Белленден его слова.— Я потерял коня и был лишен возможности защищаться; один из мятежников уже поднял надо мною палаш, чтобы поразить меня насмерть, как вдруг молодой мистер Мортон,— это тот арестованный, в судьбе которого вы приняли вчера утром такое участие,— вступился за меня самым великодушным образом, спас от неминуемой гибели и дал возможность вырваться из гущи врагов.

Сказав это, он почувствовал мучительное любопытство, пе-

ресилившее первоначально принятое решение: он поднял глаза и посмотрел на Эдит; румянец покрыл ее щеки, глаза заблестели, и ему показалось, что он прочел на ее лице радость,— ведь ее возлюбленный в безопасности и на свободе,— и торжество,— ведь он не уступил в этом соперничестве великодушия и благородства. Таковы в действительности и были охватившие ее чувства; но здесь было и восхищение искренностью лорда Эвендела, поспешившего отдать должное своему счастливому сопернику и признать, что он обязан ему жизнью, хотя, по всей вероятности, он предпочел бы, чтобы эту услугу оказал ему кто угодно, но только не Мортон.

Майор Белленден, который не заметил бы этих чувств, будь они выражены и более явно, удовольствовался тем, что сказал:

— Поскольку Генри Мортон среди этих разбойников пользуется влиянием, я счастлив, что он смог употребить его с такой благородной целью; но я надеюсь, что он отделается от них при первой возможности. У меня нет ни малейшего основания сомневаться в этом. Я знаю его убеждения и знаю, как он ненавидит их ханжество и лицемерие. Я тысячу раз слышал, как он смеялся над педантизмом этого старого подлеца Паундтекста, который, имея индульгенцию правительства в течение стольких лет, теперь, едва начались беспорядки, показал свое истинное лицо и отправился с тремя четвертями своей лопоухой паствы на соединение с этой ордой изуверов. Но как же вам все-таки удалось избегнуть погони, милорд, выбравшись с поля сражения?

— Я мчался, спасая жизнь, словно трусливый рыцарь,— ответил с улыбкою лорд Эвендел.— Я выбрал дорогу, на которой, казалось, была наименьшая опасность столкнуться с врагами, и потом на несколько часов я нашел убежище — поручусь, что вы не угадаете где.

— В замке Брэклен, наверно,— сказала леди Маргарет,— или в доме какого-нибудь другого верного королю джентльмена.

— Нет, сударыня. Я тщетно стучался в ворота многих дворянских усадеб, но под разными предлогами, а в действительности — опасаясь погони, меня не приняли ни в одной; я нашел убежище в хижине бедной вдовы, муж которой месяца три назад пал в схватке с одним из наших отрядов, а оба сына сейчас находятся в войске мятежников.

— Неужели! — воскликнула леди Маргарет.— Неужели эта фанатичная женщина оказалась способной на такое великодушие? Но она, видимо, не одобряет взглядов своих домашних.

— Напротив, сударыня,— продолжал молодой лорд,— эта вдова по своим убеждениям ярая пресвитерианка, но она поняла грозившую мне опасность, поняла, в каком отчаянном положении я нахожусь, и увидела во мне своего ближнего, постаравшись забыть о том, что я приверженец короля и солдат. Она перевязала мне раны, уложила в свою постель; она скрыла меня от отряда мятежников, искавших наших солдат, накормила, напоила и не выпустила из своего дома, пока не убедилась, что я смогу безопасно добраться до замка.

— Это был в высшей степени великодушный поступок,— заметила мисс Белленден,— и я уповаю, что вы в самом непродолжительном будущем сможете вознаградить ее благородство.

— Печальные обстоятельства минувшего дня, мисс Белленден, вынудили меня оставить за собой целый хвост обязательств такого же рода,— ответил молодой лорд.— Но когда я получу возможность выразить свою благодарность, то в доброй воле недостатка у меня, конечно, не будет.

Все снова принялись уговаривать лорда Эвендела не покидать замка; но доводы майора Беллендена оказались самыми убедительными:

— Ваше присутствие в замке будет чрезвычайно полезным, а быть может, и совершенно необходимым, милорд, чтобы с помощью вашего авторитета поддерживать надлежащую дисциплину среди солдат, которых Клеверхауз оставил у нас в гарнизоне и которые не производят впечатления больших поклонников субординации; к тому же именно в этих целях полковник предоставил нам право задержать любого офицера его полка, если он будет проезжать мимо замка.

— Это,— сказал лорд Эвендел,— довод, против которого мне нечего возразить, так как он говорит в пользу того, что мое пребывание в замке, даже в таком беспомощном состоянии, как сейчас, может оказаться полезным.

— Что касается ваших ран, милорд,— заявил майор,— то лишь бы моя дорогая сестра, леди Белленден, согласилась вступить в сражение с лихорадкою, если она на вас нападает, а я, со своей стороны, ручаюсь, что мой старый боевой товарищ Гедеон Пайк перевяжет ваши раны не хуже любого члена корпорации цирюльников-костоправов. У него было довольно практики во времена Монтроза, потому что у нас, как вы понимаете, было не так уж много дипломированных хирургов. Итак, решено: вы остаетесь с нами.

— Причины, побуждавшие меня уехать из замка,— сказал лорд Эвендел, бросая взгляд на Эдит,— представлялись мне до-

статочно вескими, но они полностью теряют свое значение после того, как вы меня убедили, что я могу на что-нибудь пригодиться. Разрешите спросить, майор, какие средства защиты вы подготовили и каковы ваши планы? Могу ли я также осмотреть вместе с вами оборонительные работы?

От внимательного взора Эдит не укрылось, однако, что лорд Эвендел и физически и нравственно бесконечно устал.

— Я полагаю, сэр,— сказала она, обращаясь к майору,— что раз лорд Эвендел соблаговолил стать офицером нашего гарнизона, вы прежде всего должны потребовать от него полного подчинения; прикажите ему отправиться в его комнату и отдохнуть, прежде чем он приступит к исполнению своих новых обязанностей.

— Эдит права,— поддержала ее старая леди,— вы сейчас же должны лечь в постель, милорд, и принять лекарство от лихорадки, я его приготовлю своими руками; тем временем моя фрейлина, миссис Марта Уэддел, состряпает для вас цыпленка по-монастырски или какое-нибудь столь же легкое блюдо. От вина, по-моему, следует пока воздержаться. Джон Гьюдьил, скажите домоправительнице, чтобы она привела в порядок комнату с альковом. Лорд Эвендел должен немедленно лечь в постель. Пусть Пайк снимет повязки и исследует его раны.

— Все это, надо признаться, грустные приготовления,— сказал лорд Эвендел, поблагодарив леди Маргарет за заботы и готовясь покинуть зал,— но я вынужден беспрекословно подчиняться указаниям вашей милости; надеюсь, что ваше искусство вскоре восстановит мои силы, и я стану более боеспособным защитником замка, чем мог бы быть в данное время. Как можно скорее исцелите мое тело; ну, а голова моя вам не понадобится, пока с вами майор Белленден.— С этими словами он вышел из зала.

— Превосходный молодой человек, и какой скромный,— заметил майор.

— И ни капли самоуверенности,— добавила леди Белленден,— которая нередко внушает юнцам, будто они знают лучше людей с опытом за плечами, как нужно лечить их недуги.

— И такой благородный, такой красавчик,— ввернула Дженни Деннисон, вошедшая в зал к концу этого разговора и теперь оставшаяся наедине со своею юною госпожой, так как майор возвратился к своим военным заботам, а леди Маргарет отправилась готовить лекарства для лорда Эвендела.

В ответ на все эти восхваления Эдит только вздохнула; она молчала, но никто лучше нее не чувствовал и не знал,

насколько они справедливы. Дженни между тем возобновила атаку:

— В конце концов совершенно правильно говорит леди Маргарет — нет ни одного вполне порядочного пресвитерианина; все они бесчестные, лживые люди. Кто мог бы подумать, что молодой Милнвуд и Кадди Хедриг заодно с этими мятежными негодяями?

— Зачем ты повторяешь этот нелепый вздор, Дженни? — раздраженно спросила ее юная госпожа.

— Я знаю, сударыня, что слушать про это вам неприятно,— смело ответила Дженни,— да и мне не очень-то приятно рассказывать. Но то же самое вы можете узнать от кого угодно, потому что весь замок только и толкует об этом.

— О чем же толкует, Дженни? Ты хочешь меня с ума свести, что ли? — сказала нетерпеливо Эдит.

— Да о том, что Генри Милнвуд заодно с мятежниками и что он один из их главарей.

— Это ложь! — вскричала Эдит.— Это низкая клевета! И ты смеешь повторять этот вздор! Генри Мортон не способен на такую измену своему королю и отечеству, не способен на такую жестокость ко мне... ко всем невинным и беззащитным жертвам — я разумею тех, кто пострадает в гражданской войне; повторяю тебе: он совершенно, никак не способен на это.

— Ах, дорогая моя, милая мисс Эдит,— продолжая упорствовать, ответила Дженни,— нужно знать молодых людей не в пример лучше, чем знаю их я или хотела бы знать, чтобы предсказать наперед, на что они способны и на что не способны. Но там побывал солдат Том и еще один парень. На них были береты и серые пледы, они были с виду совсем как крестьяне и ходили туда для рекогно... рекогносцировки — так, кажется, назвал это Джон Гьюдьил; они побывали среди мятежников и сообщили, что видели молодого Милнвуда верхом на драгунской лошади, одной из тех, что были захвачены под Лоудон-хиллом, и он был с палашом и пистолетами и запанибрата с самыми что ни есть главными из них; он учил людей и командовал ими; а по пятам за ним в расшитом галунами камзоле сержанта Босуэла ехал наш Кадди; и на нем была треугольная шляпа с пучком голубых лент — в знак того, что он бьется за старое дело священного ковенанта (Кадди всегда любил голубые ленты),— и рубашка с кружевными манжетами, словно на знатном лорде. Воображаю, каков он в этом наряде!

— Дженни,— сказала ее юная госпожа,— не может быть,

чтобы россказни этих людей были правдой; ведь дядя до сих пор ничего об этом не слышал.

— А это потому,— ответила горничная,— что Том Хеллидей прискакал к нам через каких-нибудь пять минут после лорда Эвендела, и когда он узнал, что лорд у нас в замке, то поклялся (вот богохульник!), что будь он проклят, если станет рапортовать (таким словом он это назвал) о своих новостях майору Беллендену, раз в гарнизоне есть офицер его собственного полка. Вот он и решил ничего не рассказывать до завтрашнего утра, пока не проснется молодой лорд; про это он сказал только мне одной (тут Дженни опустила глаза), чтобы помучить меня известиями о Кадди.

— Так вот оно что! Ах ты, дурочка,— сказала Эдит, несколько ободряясь.— Ведь он все это выдумал, чтобы тебя подразнить.

— Нет, сударыня, это не так; Джон Гьюдьил повел в погреб другого драгуна (немолодого такого, с грубым лицом, не знаю, как его звать) и налил ему кружку бренди, чтобы выведать у него новости, и он слово в слово повторил то же, что сообщил Том Хеллидей; после этого мистер Гьюдьил вроде как взбесился и рассказал нам обо всем, и он утверждает, что весь мятеж произошел из-за глупой доброты леди Маргарет, и майора, и лорда Эвендела, которые вчера поутру хлопотали за молодого Милнвуда и Кадди пред полковником Клеверхаузом, и что если бы они были наказаны, то в стране все было бы спокойно. Говоря по правде, я и сама держусь такого же мнения.

Последнее замечание Дженни добавила лишь в отместку своей госпоже, рассерженная ее упрямой, не поддающейся никаким убеждениям недоверчивостью. Но она тотчас же испугалась, встревоженная тем впечатлением, которое произвели ее новости на юную леди; это впечатление было тем сильнее, что Эдит воспитывалась в строгих правилах англиканской церкви и разделяла все ее предрассудки. Ее лицо стало мертвенно-бледным, дыхание — таким затрудненным, словно она была при смерти, ноги так ослабели, что не могли выдержать ее собственной тяжести, и, почти теряя сознание, она скорее упала, чем села на одно из расставленных в зале кресел. Дженни принялась брызгать ей в лицо холодной водой, жгла перья, расшнуровала корсаж и употребила все средства, применяемые при нервных припадках, но ничего не добилась.

— Господи, что я наделала! — воскликнула в отчаянии горничная.— Хоть бы мне отрезали мой проклятый язык! Кто б мог подумать, что она станет так убиваться, и еще из-за моло-

дого человека? О мисс Эдит, милая мисс Эдит, не обращайте на это внимания,— может статься, все, о чем я наболтала, неправда, типун мне на язык! Все говорят, что он не доведет меня до добра. А что, если войдет миледи? Или майор? И к тому же она сидит на троне, на который не садился никто с того утра, как здесь был король! Ах, боже мой, что мне делать! Что теперь станется с нами со всеми!

Пока Дженни Деннисон причитала над своей госпожой и попутно не забывала себя самое, Эдит постепенно оправилась от припадка, вызванного столь неожиданным и невероятным известием.

— Если б он был несчастлив,— сказала она,— я никогда не покинула бы его; и я не сделала этого, хотя знала, что мое вмешательство навлечет на меня неприятности и даже опасность. Если б он умер, я бы горевала о нем, если бы он был неверен, я могла бы его простить; но он мятежник, восставший против своего короля, он изменник отечеству, он друг и товарищ разбойников и самых обыкновенных убийц, он тот, кто беспощадно истребляет все благородное и возвышенное, он завзятый, сознательно богохульствующий враг всего, что ни есть святого! Нет, я вырву его из моего сердца, даже если в этом усилии мне придется истечь собственной кровью.

Она вытерла глаза и поспешно встала с большого кресла (или трона, как обычно называла его леди Маргарет). Перепуганная служанка бросилась взбивать лежавшую на кресле подушку, чтобы не было видно, что кто-то сидел на этом священном месте, хотя, наверно, сам король Карл, учитывая красоту и молодость, а также горести той, кто невольно посягнул на его непререкаемые права, не нашел бы во всем случившемся ни малейшего оскорбления своей августейшей особы. Покончив с этим, Дженни поторопилась навязать свою помощь Эдит, ходившей взад и вперед по залу в глубоком раздумье.

— Положитесь на меня, сударыня, уж лучше положитесь на меня; всякая печаль в конце концов забывается и, конечно...

— Нет, Дженни,— ответила твердо Эдит,— ты видела мою слабость, ты увидишь теперь мою силу.

— Но вы уже как-то доверились мне, мисс Эдит, помните, в то утро, когда вы были так опечалены.

— Недостойное и заблуждающееся чувство может нуждаться в поддержке, Дженни, но сознание долга находит поддержку в себе самом. Впрочем, я не стану поступать торопливо и опрометчиво. Я постараюсь взвесить причины его

поведения... и тогда... и потом я вырву его из моего сердца навеки,— таков был твердый и решительный ответ молодой госпожи.

Ошеломленная словами Эдит, не способная ни понять ее побуждения, ни оценить по достоинству ее мужественную решимость, Дженни проворчала сквозь зубы:

— Господи боже, пусть только пройдет первый порыв, и мисс Эдит отнесется ко всему так же легко, как я, и, пожалуй, легче моего, хотя, могу поручиться, я и вполовину не любила так моего Кадди, как она своего молодого Милнвуда. А кроме того, совсем не так уж плохо иметь друзей и с той и с другой стороны: ведь если вигам удастся захватить замок — а мне кажется, это может случиться, потому что у нас мало еды, а драгуны пожирают все, что ни попадется им под руку,— то Милнвуд и Кадди окажутся победителями, и их дружба будет нам дороже золота. Я раздумывала над этим сегодня утром, еще прежде, чем услышала наши новости.

Успокаивая себя таким образом, служанка вернулась к своим обычным обязанностям, а ее госпожа, оставшись в одиночестве, принялась изыскивать способ, как бы вырвать из сердца свое прежнее чувство к Мортону.

## ГЛАВА XXV

За мной, на штурм, друзья, за мной, на штурм!
*«Генрих V»*

К вечеру того же дня обитатели замка на основании собранных данных убедились, что наутро все войско мятежников выступит по направлению к Тиллитудлему. Раны лорда Эвендела, которыми занялся Пайк, оказались, в общем, в неплохом состоянии. Их было много, но ни одна не внушала больших опасений; потеря крови, а может быть, и хваленые средства леди Маргарет предупредили возникновение лихорадки, так что раненый, несмотря на боль и сильную слабость, утверждал, что может ходить, опираясь на палку. При сложившихся обстоятельствах он не желал оставаться у себя в комнате, полагая, что своим присутствием сможет поднять дух драгун, и рассчитывая внести кое-какие улучшения в план обороны, так как майор Беллендeн составил его, возможно, в соответствии с устаревшими положениями военного искусства. Лорд Эвендел, служивший еще почти мальчиком во Франции и в Нидерландах,

действительно был хорошо осведомлен в фортификации и мог быть полезен своими советами. Впрочем, сделанное менять почти не пришлось, и если бы не скудость запасов, то не было бы никаких оснований опасаться за судьбу крепости, особенно при отсутствии военного опыта в рядах тех, кто угрожал ей осадою.

С первым светом майор Белленден и лорд Эвендел поднялись на крепостную стену. Они снова и снова проверяли ход оборонительных работ, с тревогой и нетерпением ожидая появления неприятеля. Нужно сказать, что теперь лазутчики регулярно снабжали их сведениями. Но майор с недоверием отнесся к известию о том, что молодой Мортон взялся за оружие и выступил против правительства.

— Я знаю его лучше, чем кто-либо,— вот единственное замечание, которым он удостоил толки об этом.— Наши ребята не отважились подойти ближе; их обмануло мнимое сходство или они подцепили какую-то басню.

— Я не согласен с вами, майор,— ответил на это Эвендел,— я полагаю, что вы все же увидите этого молодого человека во главе войска мятежников, и, хотя я буду глубоко огорчен, это меня нисколько не удивит.

— Вы ничуть не лучше полковника Клеверхауза,— сказал майор,— позавчера утром он мне с пеной у рта доказывал, что этот молодой человек, самый одаренный, самый благородный и самый великодушный мальчик, каких мне когда-либо доводилось встречать, ждет только случая, чтобы стать во главе мятежников.

— Вспомните о насилиях, которым он подвергся, а также о предъявленном ему обвинении,— сказал лорд Эвендел.— Что еще ему оставалось? Ну, а я... право, не знаю, чего он больше заслуживает, порицания или жалости.

— Порицания, сударь? Жалости? — повторил, словно эхо, майор, пораженный такой снисходительностью.— Он заслуживает веревки, вот чего он заслуживает, и если б он был даже моим собственным сыном, я с удовольствием посмотрел бы, как его вздернут. Вот уж действительно порицания! Но вы не можете думать того, что изволите говорить.

— Честное слово, майор Белленден, с некоторого времени я полагаю, что наши политики и прелаты довели дела в нашей стране до прискорбной крайности, всяческими насилиями они отвратили от себя не только простой народ, но и тех, кто, принадлежа к высшим слоям, свободен от сословных предрассудков и кого придворные интересы не привязывают к знамени.

— Я не политик,— ответил майор,— и не разбираюсь во всех этих тонкостях. Шпага моя принадлежит королю, и когда он приказывает, я обнажаю ее ради него.

— Надеюсь,— сказал молодой лорд,— вы понимаете, что я делаю то же самое, хотя от всего сердца желал бы, чтобы нашим неприятелем были иноземцы. Впрочем, сейчас не время спорить об этом, так как вот они, наши враги, и мы должны защищаться всеми доступными средствами.

В то время как лорд Эвендел произносил эти слова, на дороге, которая, пересекая вершину холма, спускалась против замка в долину, показался передовой отряд ковенантеров. Остановившись на гребне холма, повстанцы не решились двигаться дальше, видимо опасаясь подставить свои колонны под огонь крепостной артиллерии. Их силы, сначала казавшиеся незначительными, прибывали, ряды сжимались и становились гуще, так что, судя по авангарду, вышедшему на вершину холма, их войско было весьма многочисленным. Обе стороны настороженно выжидали. И пока волнующиеся ряды повстанцев толклись на месте, как бы испытывая давление сзади или не зная, куда направиться дальше, их оружие, живописное в своем разнообразии, блестело в лучах солнца, которые отражались от целого леса пик, мушкетов, алебард и боевых топоров. Так продолжалось минуту-другую, пока трое или четверо всадников, очевидно — вожди, не выехали вперед и не собрались у высокого пригорка, оказавшись таким образом чуть ближе, чем главные силы, к старому замку. Опытный артиллерист Джон Гьюдьил, еще не забывший своего искусства артиллериста, навел пушку на эту отделившуюся от войска мятежников группу.

— Я готов спустить сокола (маленькая пушка, у которой он находился, называлась фальконом, что значит «сокол»), я готов спустить сокола, как только ваша милость подаст команду; клянусь честью, он хорошенько растреплет им перья.

Майор вопросительно взглянул на лорда Эвендела.

— Погодите минутку,— сказал молодой лорд,— они посылают к нам своего представителя.

И действительно, один из всадников спешился и, подвязав к пике лоскут белой ткани, направился к замку. Майор и лорд Эвендел, сойдя со стены, пошли ему навстречу к первой баррикаде, так как считали, что было бы неразумным впускать вражеского парламентера за линию тех укреплений, которые они готовились защищать. Как только посланец мятежников тронулся в путь, остальные всадники, как бы догадываясь

о приготовлениях Джона Гьюдьила, покинули пригорок, на котором только что совещались, и возвратились в ряды главных сил.

Парламентер ковенантеров, судя по выражению лица и манерам, был преисполнен той внутренней гордости, которая отличала приверженцев его секты. Лицо его застыло в пренебрежительной мине, полузакрытые глаза, казалось, не хотели унизиться до лицезрения земной скверны; он торжественно шествовал, и при каждом шаге носки его сапог выворачивались наружу, как бы выказывая презрение к той земле, которую они попирали. Лорд Эвендел не мог подавить улыбку при виде этой необыкновенной фигуры.

— Видели ли вы хоть когда-нибудь такую нелепую марионетку? — спросил он майора Беллендена.— Можно подумать, что он передвигается на пружинах. Как вы думаете, умеет ли он говорить?

— О да,— ответил майор,— это, кажется, один из моих давних знакомцев. Он пуританин чистой воды, выросший на фарисейских дрожжах. Погодите, он откашливается, видимо, прочищает горло. Уж не собирается ли он обратиться к нашему замку с проповедью, вместо обычного сигнала трубой?

Предположение старого воина, который в свое время имел достаточно случаев познакомиться с повадками этих сектантов, было недалеко от истины; только вместо прозаического вступления лэрд Лонгкейла — ибо это был не кто иной, как он сам собственной персоной — затянул голосом Стентора стих из двадцать третьего псалма:

> Врата, вы вверх вздымитеся, вы, двери,
> Издревле утвержденные навеки,
> Раскройтесь!

— Я же вам говорил,— сказал майор лорду Эвенделу и, став перед баррикадою, обратился к парламентеру, спросив, чего ради он, точно овца на ветру, поднимает у ворот замка это скорбное блеяние.

— Я сюда прибыл,— ответил парламентер высоким и резким голосом, обходясь без обычных приветствий или учтивостей,— я сюда прибыл от имени благочестивой армии Торжественной лиги и ковенанта, чтобы вступить в переговоры с двумя нечестивцами: Уильямом Максуэллом, именуемым лордом Эвенделом, и Майлсом Белленденом из Чарнвуда.

— А что именно вы намерены сообщить Майлсу Беллендену и лорду Эвенделу? — спросил парламентера майор.

— Вы, что ли, и являетесь этими лицами? — сказал лэрд Лонгкейла тем же резким, высокомерным, вызывающим тоном.

— Они самые, за неимением лучших,— ответил майор.

— В таком случае вот официальное требование капитуляции,— заявил посланец мятежников, вручая бумагу лорду Эвенделу,— а вот личное письмо Майлсу Беллендену от некоего благочестивого юноши, удостоившегося стать начальником одной из частей нашего войска. Прочитайте скорее и то и другое, и пусть господь окажет вам милость и вразумит извлечь пользу из их содержания, в чем, впрочем, я весьма сомневаюсь.

Предложение капитулировать гласило:

«Мы, избранные и утвержденные вожди землевладельцев, священников и прочих, отстаивающих в настоящее время оружием свободу и истинное исповедание веры, увещеваем Уильяма, лорда Эвендела, и Майлса Беллендена из Чарнвуда, и всех других, находящихся в настоящее время при оружии и составляющих гарнизон замка Тиллитудлем, сдать названный замок и обещаем им пощаду и свободный пропуск из крепости со всеми пожитками и имуществом. В случае непринятия этих условий защитникам грозит истребление огнем и мечом согласно с законом войны, применяемым по отношению к тем, кто отказывается капитулировать. Да защитит господь свое правое дело!»

Этот документ был подписан Джоном Белфуром Берли, главнокомандующим армии ковенанта, от своего личного имени и по уполномочию остальных вождей.

Письмо майору Беллендену было от Генри Мортона. Он писал следующее:

«Боюсь, мой уважаемый друг, что сделанный мною шаг, кроме многих других печальных последствий, вызовет ваше безоговорочное и суровое осуждение. Но я принял свое решение честно и искренне и с полного одобрения моей совести. Я не могу дольше терпеть, чтобы мои права и права моих ближних попирались самым бесстыдным образом, чтобы на каждом шагу нарушали нашу свободу, чтобы нашу кровь проливали рекой безо всякого законного основания и судебного разбирательства. Само провидение через насилия угнетателей указало путь к нашему освобождению от этой невыносимой тирании, и я не могу считать достойным имени и прав свободного человека того, кто, думая так же, как я, не отдаст своего оружия в

защиту нашей страны. Пусть господь бог, ведающий мое сердце, будет моим свидетелем: я не разделяю ни ненависти, ни злобы, ни других безудержных страстей, одолевающих угнетенных и исстрадавшихся мучеников, совместно с которыми я теперь действую. Мое самое пылкое и искреннее желание состоит в том, чтобы это противоестественное побоище было возможно скорее пресечено благодаря совместным усилиям всего доброго, мудрого и умеренного, что только не наличествует в обеих партиях, и чтобы наступил мир, который, не ущемляя законных оговоренных конституцией прав короля, мог бы обеспечить действие справедливых законов вместо царящего ныне произвола военных властей, предоставил каждому право общаться с богом в согласии с собственной совестью, а правительство угасило наконец фанатический энтузиазм этих людей посредством разумного и мягкого управления, вместо того чтобы доводить их до неистовства преследованиями и нетерпимостью.

Вы можете представить себе, как мне тягостно, держась таких взглядов, подходить с оружием к дому вашей достопочтенной родственницы, который вы, очевидно, намерены защищать. Разрешите мне попытаться убедить вас, что ваши усилия в этом плане поведут лишь к напрасному кровопролитию; если приступ окажется безуспешным, у нас хватит сил, чтобы обложить замок осадою и голодом вынудить его к сдаче; нам хорошо известно, что ваши продовольственные запасы невелики и вы не в состоянии выдержать длительную осаду. Мое сердце сжимается при мысли о том, сколько в этом случае вам предстоит выстрадать и на кого главным образом обрушатся эти страдания.

Не думайте, мой уважаемый друг, что я предлагаю условия, способные бросить пятно на вашу почтенную и безупречную репутацию, которой вы так заслуженно и так давно пользуетесь. Если солдаты правительственной армии, которым я берусь обеспечить свободный пропуск, будут удалены из вашего замка, от вас, поверьте, не потребуется ничего больше, кроме честного слова соблюдать нейтралитет в течение этой злосчастной войны. Кроме того, я приму необходимые меры, чтобы собственность леди Маргарет, равно как и ваша, была неприкосновенна. Обещаю вам, что в этом случае мы не введем в замок своего гарнизона. Я мог бы высказать многое в пользу этого предложения, но боюсь, что любые доводы, исходящие из враждебного лагеря и от того, кто представляется вам гнусным преступником, не будут иметь для вас силу. Закончу поэтому уверениями, что, каковы бы ни были отныне ваши чувства ко мне, моя благодарность и признательность за все, что вы для меня

сделали, сохранятся навеки, и я буду счастливейшим человеком в мире, когда смогу представить вам доказательства этого средствами более убедительными, чем пустые слова. Следуя первому побуждению, вы, быть может, и отвергнете мои предложения, но пусть это не помешает вам вернуться к ним снова, если события сделают их более приемлемыми для вас, ибо, где бы и когда бы мне ни довелось оказать вам услугу, она неизменно доставит величайшее удовлетворение

*Генри Мортону*».

Прочитав это письмо с нескрываемым негодованием, майор передал его лорду Эвенделу.

— Я никогда не поверил бы этому,— сказал он,— если бы даже полчеловечества клятвенно подтвердило истинность данного сообщения! О, неблагодарный, гнусный предатель! Уравновешенный, хладнокровный предатель, в котором нет и следа фанатизма, согревающего печенку такого свихнувшегося глупца, как, например, наш приятель парламентер. Впрочем, я должен был помнить, что Мортон — пресвитерианин; я обязан был знать, что воспитал волка, сатанинская природа которого раньше или позже, но скажется, волка, который при первой возможности меня загрызет. Явись сам святой Павел на землю и исповедуй он пресвитерианство — через три месяца и ему не миновать стать мятежником. Это у них в крови.

— Итак,— сказал лорд Эвендел,— разумеется, я не советую вам принять их условия, но если наши запасы иссякнут и не прибудет помощь из Эдинбурга или из Глазго, я думаю, нам все же придется воспользоваться этой возможностью, чтобы переправить в безопасное место хотя бы женщин.

— Они скорее перенесут любые лишения, чем примут покровительство этого сладкогласного лицемера,— ответил гневно майор,— в противном случае я перестану считать их своими родственницами. Но пора отпустить достопочтенного парламентера. Послушайте, приятель, как вас там,— продолжал он, обернувшись к лэрду Лонгкейла,— передайте вашим вождям и всему тому сброду, который они привели с собой, что если они не слишком убеждены в исключительной крепости своих черепов, то я посоветовал бы им не тыкаться в эти старые стены. И еще вот что: пусть больше не присылают парламентеров, так как мы не замедлим повесить такого посла в воздаяние за злодейское убийство корнета Ричарда Грэма.

Выслушав этот ответ, парламентер возвратился к своим. Не успел он добраться до главных сил своего войска, как в тол-

пе послышались крики и перед рядами повстанцев появился большой красный флаг, края которого были обшиты голубой каймой. И едва затрепетало на утреннем ветру широкое полотнище этого символа враждебности и войны, как тотчас же над стенами замка взвилось старинное родовое знамя леди Маргарет и рядом с ним — королевский штандарт; в то же мгновение грянул залп, причинивший некоторый урон передним рядам повстанцев. Вожди поспешно укрыли людей за гребнем холма.

— Полагаю,— сказал Джон Гьюдьил, заряжая свои орудия,— что клюв моего сокола для них, пожалуй, чуточку жестковат, и выходит, что мой соколок посвистывает не зря.

Впрочем, как только он произнес эти слова, на гребне холма снова показались плотные ряды повстанцев. Они произвели общий залп по защитникам, стоявшим на укреплениях. Прикрываясь дымом от выстрелов, колонна отборных бойцов храбро устремилась вниз по дороге и, стойко выдержав убийственный огонь гарнизона, прорвалась вперед и докатилась до первой из баррикад, преграждавших проезд от большой дороги к воротам замка. Их вел сам Белфур, храбрость которого не уступала его фанатизму. Сломив сопротивление оборонявшихся, они ворвались на баррикаду и, перебив часть защитников, вынудили остальных отойти на следующий рубеж. Но меры, принятые майором, помешали им закрепить этот успех. Едва ковенантеры появились на баррикаде, как со стен замка и с укреплений, расположенных позади и господствовавших над нею, был открыт плотный и сокрушительный ружейный огонь. Не имея возможности укрыться от выстрелов или подавить ответным огнем противника, стрелявшего из-за баррикад и крепостных стен, ковенантеры отступили, снеся предварительно палисад, чтобы защитники не могли воспользоваться отвоеванной баррикадой.

Белфур ушел последним. Некоторое время он оставался на баррикаде почти один, осыпаемый градом вражеских пуль, многие из которых были направлены именно в него, и работая топором, как простой сапер. Отступление находившегося под его начальством отряда не обошлось без тяжелых потерь и послужило повстанцам суровым уроком, наглядно показавшим позиционные преимущества гарнизона.

Во время второго приступа ковенантеры действовали с большей осторожностью. Сильный отряд стрелков под командою Мортона (многие из них вместе с ним недавно состязались в стрельбе по «попке») направился в лес. Скрываясь от неприятеля и избегая открытой дороги, пробираясь среди кустов и деревьев, карабкаясь по скалам, поднимавшимся с обеих сторон

над дорогою, стрелки пытались занять огневую позицию, откуда, не очень доступные вражеским выстрелам, они могли бы беспокоить с фланга защитников второй баррикады, тогда как с фронта ей угрожал новой атакой Берли. Осаждаемые поняли опасность этого обходного маневра и старались не позволить стрелкам приблизиться, открывая по ним огонь всякий раз, как они показывались в просветах между деревьями. Атакующие, со своей стороны, продвигались к укреплениям спокойно, без суеты, но вместе с тем отважно и осмотрительно. Это в значительной мере являлось следствием смелого и разумного руководства со стороны их молодого начальника, который обнаружил много искусства, умело используя местность, чтобы защитить своих людей от вражеского огня, и не меньше доблести, храбро наседая на неприятеля.

Он все время не уставал напоминать своим, чтобы они стреляли по возможности только по красным курткам и щадили остальных защитников замка. Особенно настойчиво увещевал он беречь жизнь майора, который, руководя боем, не раз показывался из-за укрытия и, вероятно, был бы убит, не проявляй неприятель такого великодушия. Теперь уже в любом месте скалистого холма, на котором высился замок, можно было видеть вспышки отдельных ружейных выстрелов. Стрелки настойчиво продолжали продвигаться вперед — от куста к кусту, от скалы к скале, от дерева к дереву. Преодолевая крутизну подъема, они цеплялись за ветви и обнаженные корни; им приходилось бороться с препятствиями, созданными природою, и одновременно с огнем неприятеля. Некоторым из них удалось подняться так высоко, что они оказались выше защитников баррикады, бывших пред ними как на ладони, и оттуда стреляли по ним. Берли, воспользовавшись замешательством на баррикаде, устремился вперед, чтобы атаковать ее с фронта. Эта атака была такой же яростной и отчаянной, как предыдущая, но встретила менее стойкое сопротивление, так как защитники были встревожены успехом стрелков, обошедших их с фланга. Стремясь во что бы то ни стало использовать выгоду своего положения, Берли с боевым топором в руке выбил отсюда солдат, овладел укреплением и, преследуя отступающих, ворвался вместе с ними на третью, и последнюю, баррикаду.

— Бей их, бей, истребляй врагов господа и его избранного народа! Никого не щадить! Замок в наших руках! — кричал он, воодушевляя своих бойцов; наиболее бесстрашные последовали за ним, тогда как все остальные при помощи топоров, лопат и других инструментов валили деревья и рыли траншеи, торопясь

построить прикрытие впереди второй баррикады, которое позволило бы им удержать за собой хотя бы ее, если не удастся захватить замок приступом.

Лорд Эвендел не мог дольше сдерживать свое нетерпение. С несколькими солдатами, составлявшими резерв и находившимися во внутреннем дворе замка, он, хотя его рука висела на перевязи, бросился вперед, навстречу повстанцам, всем своим видом и словами команды побуждая бойцов оказать помощь товарищам. Борьба достигла теперь крайнего ожесточения. Узкая дорога была забита повстанцами, рвавшимися вперед, чтобы поддержать своих, бившихся впереди во главе с Берли. Солдаты, воодушевляемые голосом и присутствием лорда Эвендела, дрались с неукротимой яростью. Их малочисленность несколько возмещалась большей опытностью, а также тем обстоятельством, что они располагались выше противника,— преимущество, которое они отчаянно защищали, обороняясь пиками, алебардами, ударами ружейных прикладов и палашей. Те, что оставались на стенах замка, старались помочь товарищам, открывая огонь по противнику всякий раз, когда они могли сделать это, не рискуя задеть своих. Те из стрелков, которые отличались особою меткостью, рассыпавшись на холме, вели прицельный огонь по защитникам, едва кто-нибудь из них показывался в просвете между зубцами стен. Замок был окутан густыми клубами дыма, скалы оглашались криками сражающихся. В этот решительный момент боя одно необыкновенное происшествие едва не отдало Тиллитудлем в руки штурмующих.

Кадди Хедриг, наступавший вместе с отрядом Мортона, был отлично знаком с каждой скалой и каждым кустом в окрестностях замка, так как не раз вместе с Дженни Деннисон собирал тут орехи. Благодаря знанию местности он опередил многих своих товарищей, подвергаясь меньшей опасности, чем они, и оказался с тремя или четырьмя последовавшими за ним стрелками значительно ближе к замку, чем все остальные. Кадди был достаточно храбрый парень, однако никоим образом не принадлежал к числу тех, кто любит опасность ради опасности или ради сопровождающей ее славы. Поэтому, продвигаясь вперед, он, как говорится, не лез на рожон, то есть не подставлял себя огню неприятеля. Напротив, он постарался отойти подальше от боевых действий и, скосив линию подъема несколько влево, двигался в этом направлении до тех пор, пока не вышел к заднему фасаду замка, где царили тишина и спокойствие, так как повстанцы штурмовали укрепления с фронта. Рассчитывая на крутизну пропасти, разверзавшейся возле стен, защитники не

обратили на эту сторону никакого внимания. Но здесь было все же одно известное Кадди окно, принадлежавшее известной кладовой и находившееся на уровне известного тисового дерева, росшего в глубокой расщелине скалы. Это была та самая лазейка, через которую Дженни Деннисон выпустила из замка Гусенка Джибби, когда он был послан в Чарнвуд с письмом от Эдит к майору Беллендену. В былое время этим путем, вероятно, пользовались и для всяких других тайных дел. Опираясь на карабин и поглядывая на окно, Кадди обернулся к одному из своих товарищей и сказал:

— Это место я хорошо знаю; не раз помогал я Дженни Деннисон спускаться через это окошко, а то и сам, бывало, лазил сюда вечерком побаловаться, когда кончу пахать.

— А что мешает нам забраться туда и сейчас? — спросил Кадди его собеседник, смышленый и предприимчивый парень.

— Ничего не мешает, если это все, что нам надо,— ответил Кадди.— Ну, а потом что бы мы стали делать?

— Захватили бы замок, вот что; нас пятеро или шестеро, а тут никого — все солдаты на укреплениях у ворот.

— Раз так, то давайте,— сказал Кадди,— но только чур, чтобы ни одним пальцем не трогать ни леди Маргарет, ни мисс Эдит, ни старого майора, ни, боже упаси, Дженни Деннисон, ни одной души, кроме солдат, а тех — хотите казните, хотите милуйте, меня это не касается.

— Ладно,— ответил стрелок,— нам бы только туда попасть, а уж там мы столкуемся.

Осторожно, словно он ступал по чему-то хрупкому, Кадди без особой охоты начал подниматься по знакомой тропинке; он немного побаивался, не зная, как его встретят, а кроме того, его мучила совесть, настойчиво нашептывавшая, что он собирается недостойным образом отплатить за все милости и покровительство, которые когда-то ему оказывала владелица Тиллитудлема. Тем не менее он влез на дерево, а за ним один за другим и его товарищи. Небольшое окно было когда-то забрано железной решеткой, но ее уже давно разрушило время или вынули слуги, чтобы в случае надобности располагать удобным проходом. Поэтому проникнуть в окно было бы делом несложным, если бы в этот момент в кладовой никого не было. Это-то и хотел выяснить осторожный Кадди, прежде чем сделать последний, и рискованный, шаг. Пока товарищи подгоняли и бранили его, а сам он медлил и вытягивал шею, чтобы заглянуть внутрь, голова его попалась в поле зрения Дженни Деннисон, забравшейся в кла-

довую, как в наиболее безопасное место, и дожидавшейся в этом убежище исхода борьбы. Увидев эту ужасную голову и испустив пронзительный крик, она бросилась в смежную с кладовой кухню и, вне себя от страха, схватила горшок с капустной похлебкой, который до начала боя собственными руками подвесила над огнем, пообещав Тому Хеллидею приготовить для него завтрак. Вооружившись этим горшком, Дженни возвратилась к окну кладовой и, возопив: «Режут, режут! Караул! Помогите! Замок взят! Берегитесь! Вот тебе, получай!» — с диким воплем опрокинула на бедного Кадди содержимое своего кипящего горшка. И хотя в другое время и при других обстоятельствах блюдо, приготовленное руками Дженни, несомненно было бы для него лакомым яством, на этот раз оно могло бы навсегда избавить его от солдатчины, что и случилось бы, если бы в тот момент, когда Дженни плеснула в него похлебкою, он посмотрел вверх. К счастью, наш вояка, услышав вопли перепуганной Дженни, не помышлял ни о чем другом, кроме поспешного отступления, и, препираясь с товарищами, мешавшими ему в этом, опустил глаза; к тому же стальная каска и куртка из буйволовой кожи, в прошлом принадлежавшие Босуэлу и отличавшиеся прочностью, защитили его от большей части кипящей похлебки. Впрочем, на его долю пришлось все же достаточно; пораженный болью и испугом, он стремительно спрыгнул с дерева, опрокинув своих товарищей и подвергнув явной опасности их руки и ноги, и, не слушая доводов, уговоров и приказаний, во весь дух пустился по наиболее безопасной дороге к главным силам повстанческой армии, и ни угрозы, ни убеждения не смогли бы заставить его повторить атаку.

Что касается Дженни, то, облив голову одного из своих воздыхателей яством, только что приготовленным ее пухлыми ручками для желудка другого, она не почила на лаврах, а продолжала трубить сигналы тревоги, носясь по замку и перечисляя истошным голосом все те преступления, которые законники зовут уголовными, а именно: убийство, поджог, похищение и грабеж. Эти ужасные крики вызвали такую тревогу и такое смятение внутри замка, что майор Белленден и лорд Эвендел, опасаясь нападения с незащищенного тыла, сочли за лучшее отвести сражавшихся у ворот и, оставив в руках повстанцев внешние укрепления, сосредоточили силы защитников в самом замке. Солдаты отступили в полном порядке, не тревожимые повстанцами, так как паника, поднятая Кадди и его товарищами, вызвала среди осаждающих почти такой же переполох, как крики Дженни у осажденных.

Ни те, ни другие до конца дня не делали больше попыток возобновить бой. Потери повстанцев были очень значительны. Исходя из тех трудностей, с которыми они столкнулись при овладении внешними, находившимися за пределами замка, позициями, они поняли, что захват его приступом — дело почти безнадежное. С другой стороны, положение осажденных было достаточно тяжелым и не предвещало ничего хорошего. В бою они потеряли двух или трех убитыми и нескольких человек ранеными, и хотя их потери были в количественном отношении значительно меньше, чем у врага, оставившего на месте десятка два убитых, все же, принимая во внимание малочисленность гарнизона, эта убыль была для них очень чувствительной; вместе с тем отчаянные атаки мятежников со всей очевидностью показали, что их вожди решили во что бы то ни стало овладеть крепостью и что боевой пыл их подчиненных вполне соответствует этим намерениям. Впрочем, наиболее страшным врагом гарнизона был угрожавший ему голод, неизбежный и неотвратимый в случае правильной осады. Распоряжения майора о доставке продовольствия были выполнены весьма нерадиво; к тому же драгуны, несмотря на предупреждения и запреты, истребляли провиант без зазрения совести. Поэтому майор с тяжелым сердцем приказал тщательно охранять окно, едва не открывшее мятежникам доступа в замок, равно как и все другие, которые могли быть использованы противником для диверсий.

## ГЛАВА XXVI

Король созвал
Цвет войска всей земли, ему подвластной.

*«Генрих IV», ч. II*

Вечером того дня, когда происходили описанные в предыдущей главе события, вожди пресвитерианского войска собрались на серьезное совещание. Они не могли не заметить, что их подчиненные несколько приуныли в связи с довольно значительными потерями, вырвавшими из их рядов, как всегда в таких случаях, наиболее решительных и отважных. Можно было опасаться, что, если они растратят свои силы и пыл на захват такой второстепенной крепости, как Тиллитудлем, их войско постепенно растает и они упустят все преимущества, которыми располагают благодаря замешательству правительства. Эти соображения склонили их принять план, согласно которому

основные силы должны были выступить по направлению к Глазго, чтобы вытеснить из этого города солдат королевской армии. Совет поручил осуществление этого замысла Мортону и некоторым другим и назначил Берли командиром отряда из пятисот отборных бойцов, которым предстояло остаться под стенами замка, чтобы обложить его правильною осадою. Мортон был крайне недоволен своим назначением.

— Я имею веские причины личного свойства,— заявил он в совете,— быть поблизости от Тиллитудлема.

К этому он добавил, что если бы руководство осадой было возложено на него, то он, несомненно, сумел бы добиться разумного соглашения, которое, не являясь слишком суровым для осажденных, вместе с тем полностью отвечало бы цели, поставленной осаждающими.

Берли сразу догадался, почему его молодой сотоварищ не хочет идти с главными силами. Изучая людей, с которыми имел дело, он воспользовался простотой Кадди и восторженной болтливостью старой Моз, чтобы выведать у них немаловажные сведения об отношениях между Мортоном и владельцами Тиллитудлема. Поэтому, когда Паундтекст встал, чтобы вкратце, как он заявил, высказаться по важному делу, Берли, предвидя, что это высказывание «вкратце» займет не менее часа, отвел Мортона в сторону, чтобы их не слышали остальные члены совета, и сказал ему следующее:

— Генри Мортон, ты поступаешь неправедно; ведь ты жертвуешь нашим священным делом ради дружбы с необрезанным филистимлянином и ради влечения к моавитянке.

— Я не понимаю, что это значит, мистер Белфур, и не одобряю ваших намеков,— возмущенно ответил Мортон.— Мне непонятны к тому же причины, побуждающие вас так зло нападать на меня или пользоваться столь резкими выражениями.

— И все же это — правда,— продолжал Белфур,— согласись, что в этом дьявольском замке находятся те, печься о которых, словно мать о своих малых чадах, ты считаешь для себя более важным, чем поднять знамя шотландской церкви над выями злейших врагов ее.

— Если вы думаете, что я охотно предпочел бы покончить с войной, не добиваясь кровавой победы, и что я стремлюсь к этому гораздо больше, нежели к личной славе и власти, вы совершенно правы,— ответил Мортон.

— И не совсем не прав,— проговорил Берли,— полагая, что ты столь же миролюбиво настроен и по отношению к твоим друзьям в Тиллитудлеме.

— Разумеется,— отвечал Мортон,— я слишком многим обязан майору Белленденду, чтобы не оказать ему помощи в той мере, в какой это не затрагивает интересов великого дела, которому я себя отдал. Я никогда не скрывал своего уважения к этому человеку.

— Я об этом осведомлен,— заметил Берли.— Впрочем, если бы ты и таил свои мысли, я все равно разгадал бы их. А теперь послушай, что я скажу. Этот Майлс Белленден располагает всем необходимым, по крайней мере, на месяц.

— Это не так; мы знаем, что его запасов хватит едва ли на неделю.

— Но у меня есть бесспорные доказательства,— возразил Берли,— что этот коварный седовласый язычник умышленно распространял в гарнизоне разговоры такого рода, чтобы предупредить ропот солдат в связи с уменьшением их дневного пайка, и для того, чтобы задержать наше войско под стенами замка, пока не будет отточен меч, которым они собираются поразить нас насмерть.

— Почему же вы не сообщили об этом в военном совете? — спросил Мортон.

— А зачем? — сказал Белфур.— К чему открывать эту истину Тимпану, Мак-Брайеру, Паундтексту или Лонгкейлу? Тебе отлично известно, что все, о чем бы они ни узнали, на первом же собрании наших людей устами проповедников разглашается среди войска. А наши люди и без того приуныли, считая, что им придется просидеть у замка неделю. Что бы они сказали, если бы им велели готовиться к месячной осаде?

— Но почему вы скрывали это обстоятельство и от меня? И почему теперь о нем говорите? И, кроме того, каковы те доказательства, которыми вы якобы располагаете? — спросил Мортон.

— Доказательств более чем достаточно,— ответил Берли. Он вынул целую пачку предписаний, направленных майором Белленденом к разным лицам, с расписками на обороте, подтверждавшими получение от них скота, зерна, муки и т. д. Совокупность полученного майором продовольствия заставляла предполагать, что гарнизон хорошо обеспечен и что в ближайшем будущем ему не угрожают лишения. Впрочем, Берли утаил от Мортона одну чрезвычайно существенную подробность, о которой сам, однако, был отлично осведомлен, а именно, что большая часть перечисленных в расписках съестных припасов не была доставлена в замок из-за жадности посланных для их сбора драгун, охотно распродававших каждому, кто пожелает, то, что

им удалось отобрать у другого, бесстыдно злоупотребляя требованиями майора,— совсем как сэр Джон Фальстаф, торговавший рекрутами короля.

— А теперь,— продолжал Белфур, заметив, что произвел нужное впечатление,— мне остается сказать, что упомянутое тобой обстоятельство я скрывал от тебя не дольше, чем от себя самого, так как эти бумаги попали ко мне только нынешним утром. Сообщаю тебе об этом, чтобы ты с ликованием в сердце выступил в путь и охотно делал то великое дело, которое ждет тебя в Глазго, зная, что твоим друзьям в стане язычников не угрожает ничего страшного, раз в крепости есть продовольствие, а моих сил хватит только на то, чтобы препятствовать вылазкам, но не больше.

— Но почему,— продолжал Мортон, никак не желавший сдаться на убеждения Белфура,— почему вы не хотите оставить меня с меньшим отрядом и отправиться с главными силами в Глазго? Ведь это несравненно более почетное назначение.

— Именно поэтому, молодой человек,— ответил Берли,— я и хлопотал, чтобы его получил сын Сайлеса Мортона. Я старею; для этой седой головы довольно и того почета, который я успел снискать среди опасностей. Я говорю не о пустой тщете, которую люди зовут земной славою, я говорю о почете, окружающем тех, кто старательно делает свое дело. Но твое жизненное поприще только начинается. Ты обязан оправдать высокое доверие, которое тебе оказали после моего поручительства в том, что ты, безусловно, его заслуживаешь. Под Лоудон-хиллом ты был узником Клеверхауза; во время последнего приступа на твою долю выпало сражаться из-за укрытия, тогда как я вел лобовую атаку, и моя задача была много опаснее, чем твоя. И если ты останешься под этими стенами, когда в другом месте нужно действовать со всею решительностью, люди, поверь мне, начнут говорить, что сын Сайлеса Мортона сошел со стези своего доблестного отца.

На последние слова Берли Мортону, как солдату и дворянину, нечего было ответить, и он поспешно согласился принять предложенное ему назначение. Впрочем, он не мог отделаться от недоверия, которое невольно испытывал к человеку, снабдившему его этими сведениями.

— Мистер Белфур,— сказал он,— между нами должна быть полная ясность. Вы сочли нужным обратить самое пристальное внимание на мои личные дела и привязанности; убедительно прошу вас поверить, что в них мне свойственно такое же постоянство, как и в моих политических убеждениях. Воз-

можно, что в мое отсутствие в вашей власти будет внести успокоение в мою душу или, напротив, оскорбить мои лучшие чувства. Имейте в виду, что, как бы это ни отразилось на нашем деле, моя вечная благодарность или упорная ненависть будут ответом на ваш образ действий. Несмотря на мою молодость и неопытность, я, несомненно, смогу отыскать друзей, которые мне обеспечат возможность выразить вам мои чувства и в том и в другом случае.

— Если в это заявление вы вкладываете угрозу,— холодно и надменно ответил Берли,— то было бы лучше, если бы вы обошлись без него. Я умею ценить расположение друзей и презираю до глубины души угрозы врагов. Но я не хочу ссориться с вами. Что бы здесь ни случилось в ваше отсутствие, я буду руководствоваться вашими пожеланиями, насколько позволит мне долг, которому я обязан подчиняться прежде всего.

Мортон вынужден был удовольствоваться этим уклончивым обещанием.

«Если нас разобьют,— думал он,— то это спасет защитников крепости, прежде чем они будут вынуждены капитулировать; если победим мы, то, судя по численности сторонников умеренной партии, в вопросе о том, как воспользоваться плодами победы, со мною будут считаться не меньше, чем с Белфуром Берли».

И он пошел за Белфуром в военный совет, где Тимпан заканчивал свою речь, разъясняя практическое применение всего сказанного им раньше. Когда он наконец сел, Мортон заявил о своем согласии идти с главными силами, чтобы выбить правительственные войска из Глазго. Были произведены и другие назначения на командные должности; затем последовали пылкие увещания со стороны присутствовавших на заседании проповедников, обращенные к вновь назначенным. На следующее утро, едва начало рассветать, войско повстанцев покинуло лагерь и выступило по направлению к Глазго.

Мы отнюдь не намерены входить в подробности и останавливаться на всех событиях, описание которых можно найти в любом историческом сочинении того времени. Достаточно сообщить, что Клеверхауз и лорд Росс, узнав о наступлении превосходящих сил неприятеля, окопались или, лучше сказать, забаррикадировались в центре города, в районе ратуши и старой тюрьмы, предпочитая принять на себя удар атакующих, чем покинуть столицу западной части Шотландии. Пресвитериане, наступая на Глазго, разделились на две колонны; одна из них проникла в город на линии Коллегия — кафедральный собор,

тогда как другая вошла в него через Гэллоугейт, то есть тем путем, каким сюда попадают прибывающие с юго-востока. Обе колонны находились под командой решительных и отважных людей. Но выгодная позиция и боевая опытность неприятеля оказались непреодолимыми для их беззаветно храбрых, но необученных и недисциплинированных бойцов.

Росс и Клеверхауз в соответствии с тщательно обдуманным планом разместили своих солдат в домах, на перекрестках или у так называемых тупиков, а кроме того — за высокими брустверами на баррикадах, которыми были перегорожены многие улицы.

Ряды атакующих редели от огня невидимого противника, которому они не могли надлежащим образом отвечать. Тщетно Мортон и другие вожди, показывая пример исключительной храбрости, пытались вызвать врага на открытую схватку; их подчиненные дрогнули и начали разбегаться в разные стороны. И хотя Генри Мортон отходил одним из последних, командуя арьергардом, поддерживая порядок среди отступающих и предупреждая попытки неприятеля воспользоваться преимуществами, связанными с успешным отражением атаки повстанцев, все же он с болью в сердце слышал, как его бойцы говорили: «А все из-за чрезмерного доверия к этим мальчишкам-раскольникам; если бы честный и преданный нашему делу Берли повел нас в атаку, как тогда в Тиллитудлеме, дело обернулось бы совсем по-другому».

Слушая эти толки, исходившие к тому же от тех, кто первым проявил признаки малодушия, Мортон проникся величайшим негодованием. Несправедливые обвинения удвоили его пыл; он понял, что, включившись в эту борьбу не на жизнь, а на смерть, он должен или победить, или погибнуть на поле брани.

«Отступление для меня невозможно,— сказал он себе,— пусть все призна́ют — даже майор Белленден, даже Эдит,— что мятежник Мортон, по крайней мере, не посрамил славы своего отца».

Неудачный приступ внес такое расстройство в ряды повстанцев и настолько расшатал дисциплину, что их начальники сочли нужным отвести войско на несколько миль от города, с тем чтобы выиграть время и привести свои части, насколько удастся, в порядок. Между тем продолжало прибывать пополнение; сознание, что жребий брошен и отступление невозможно, а также победа под Лоудон-хиллом определяли их настроение в большей степени, чем неудача под Глазго. Многие из

вновь прибывших присоединились к отряду Мортона. Впрочем, он с горечью видел, что непримиримых из ковенантеров неуклонно и быстро растет. Благоразумие не по летам, которое он проявлял, наводя дисциплину и порядок среди своих подчиненных, они объясняли чрезмерным упованием на земное оружие, а его явная терпимость к религиозным взглядам и обрядам, отличавшимся от его собственных, доставила ему совершенно несправедливо прозвище Галлиона, который, как известно, проявлял полнейшее безразличие к вещам подобного рода. Но самым худшим было то, что масса повстанцев, всегда готовая превозносить тех, кто проповедует крайние политические или религиозные взгляды, и, напротив, недовольная теми, кто старается надеть на нее ярмо дисциплины, открыто предпочитала более ревностных к вере вождей, в чьих отрядах энтузиазм в борьбе за правое дело заменял отсутствующий порядок и воинскую субординацию, и всячески уклонялась от стеснений, которыми Мортон пытался ограничить ее своеволие. Словом, неся на себе основное бремя командования (так как другие вожди охотно уступали ему все хлопотливое и чреватое неприятностями), он не располагал должным авторитетом, который один только и мог бы обеспечить действенность проводимых им мер [1].

И все же, несмотря на эти препятствия, за какие-нибудь несколько дней, путем неимоверных усилий, он сумел внести в армию хоть какую-то дисциплину и потому считал, что может решиться на повторный штурм Глазго с твердою надеждою на успех.

---

[1] Эти ссоры и споры, которые дробили и без того небольшое войско повстанцев, проистекали главным образом из разногласий по вопросу о том, следует ли считаться с интересами короля и признавать королевскую власть или нет, а также должны ли те, кто взялся за оружие, удовольствоваться свободным исповеданием своей веры или настаивать на восстановлении совета старейшин в качестве верховной церковной власти, стоящей над всеми другими религиозными толками. Несколько мелких землевладельцев, примкнувших к восстанию вместе с наиболее благоразумными из духовенства, считали необходимым ограничить свои требования и добиваться возможного. Однако тех, кто ставил себе эти умеренные и разумные цели, наиболее ревностные фанатики окрестили эрастианскою партией, то есть людьми, которые с готовностью подчинили бы церковь светским властям; на этом основании они называли их также «западнею в Массифе и сетью, раскинутой на Фаворе». См.: «Life of sir Robert Hamilton» («Жизнь сэра Роберта Гамильтона») в «Scottish Worthies» («Пастыри шотландской церкви»), а также его рассказ о битве у Босуэлского моста.

Конечно, одной из причин, побуждавших его к столь лихорадочной деятельности, было желание помериться силами с полковником Клеверхаузом, из-за которого ему пришлось столько вытерпеть. Клеверхауз, однако, не дал осуществиться его надеждам; отбив первый приступ и отбросив противника, он удовлетворил свое самолюбие и посчитал неразумным дожидаться с горстью солдат второй атаки мятежников, которую они поведут бóльшими и более дисциплинированными силами. Он покинул город и направился во главе правительственных войск в Эдинбург. Повстанцы следом за ним, не встретив сопротивления, вошли в Глазго, и Мортон не смог лично встретиться с Клеверхаузом, чего так страстно желал. И хотя ему не удалось смыть то бесчестие, которое выпало на долю находившегося под его начальством отряда, все же уход Клеверхауза и овладение Глазго подняли дух мятежников, и их численность значительно возросла. Нужно было назначить новых офицеров, сформировать новые полки и эскадроны, ознакомить их с основами военного дела. Все это с общего согласия было поручено Генри Мортону. Он охотно принял на себя эти обязанности, тем более что отец познакомил его с теорией военного искусства; к тому же он был глубоко убежден, что, если бы он не взялся за этот неблагодарный, но совершенно необходимый труд, никто другой не принял его на себя.

Между тем судьба как будто благоприятствовала восставшим, и их успехи превосходили самые смелые упования. Тайный совет Шотландии, ошеломленный размерами сопротивления, порожденного его произволом, совершенно оцепенел от страха и был неспособен предпринять решительные шаги, чтобы успокоить им самим вызванные волнения. К тому же численность войск, находившихся в то время в Шотландии, была крайне невелика; все они были стянуты к Эдинбургу, и на эту армию возлагалась задача оборонять столицу. Во многих графствах феодальному ополчению королевских вассалов было приказано выступить в поход и заплатить королю военною службою за предоставленные им земли. Однако начинающаяся война не пользовалась популярностью среди джентри, и даже те, кто был не прочь взять в руки оружие, уклонялись от этого по настоянию жен, матерей и сестер, старавшихся удержать их от участия в боевых действиях.

Неспособность шотландских властей защитить себя собственными силами и тем более подавить восстание, вначале представлявшееся незначительным, породила при английском дворе сомнения, с одной стороны, в талантах правителей этой страны

и, с другой — в благоразумии тех чрезмерно суровых мер, которые они применяли по отношению к пресвитерианам. Поэтому было решено назначить главнокомандующим действующей в Шотландии армии несчастного герцога Монмута, который, получив за женою значительные поместья в южной части этого королевства и располагая здесь обширными связями, был кровно заинтересован в шотландских делах. Военные способности, проявленные им при различных обстоятельствах за время службы на континенте, были сочтены более чем достаточными для подавления мятежников вооруженной рукой; вместе с тем ожидали, что его мягкий характер и благожелательное отношение к пресвитерианам могут успокоительно подействовать на умы и склонить их к примирению с государственной властью. В силу этих соображений герцог был снабжен широкими полномочиями и выступил из Лондона во главе крупного вспомогательного отряда, чтобы принять на себя главное командование всеми находящимися в Шотландии вооруженными силами и привести в порядок ее расстроенные дела.

## ГЛАВА XXVII

Путь держу я в Босуэл-хилл,
Чтобы там победить или пасть.

*Старинная баллада*

Теперь в военных действиях наступило затишье. Преградив мятежникам путь к столице, правительство вынуждено было, по-видимому, этим довольствоваться, тогда как повстанцы усиленно занимались наращиванием и укреплением своих сил. Для этой цели они создали своего рода лагерь, расположив его в парке герцогской резиденции в Гамильтоне. Этот лагерь, ставший сборным пунктом для стекавшихся пополнений, был защищен от внезапной атаки Клайдом, глубокой и быстрой рекой, через которую можно было переправиться только по длинному и узкому мосту, находившемуся близ замка и деревни, носивших название Босуэл.

Тут, уйдя с головою в работу, Мортон провел около двух недель после взятия Глазго. За это время он успел получить несколько записок от Берли, в которых содержалось, однако, лишь краткое сообщение, что Тиллитудлем все еще держится. Мучимый неопределенностью и стремясь узнать подробнее об этом столь важном для него деле, он наконец объявил своим сотова-

рищам — членам совета — о желании или, вернее, намерении — ибо он не видел, почему бы ему не воспользоваться той вольностью, которую позволял себе всякий в этой недисциплинированной армии — съездить в Милнвуд для устройства кое-каких весьма существенных личных дел. Заявление Мортона было встречено неодобрительно, так как военный совет, высоко ценя его деятельность и сознавая, что заменить его некем, не желал отпускать его. Впрочем, члены совета, не считая возможным связывать его правилами, более суровыми, нежели те, которыми были связаны они сами, предоставили ему скрепя сердце, однако без возражений, кратковременный отпуск. Воспользовался удобным случаем побывать у себя в усадьбе, расположенной недалеко от Милнвуда, и достопочтенный мистер Паундтекст, удостоивший Мортона своим обществом на время этой поездки. Поскольку окрестные жители, в общем, сочувствовали делу повстанцев и вся округа, за исключением разбросанных кое-где старых гнезд, в которых засели бароны — приверженцы короля, находилась под наблюдением их отрядов, они взяли с собою только одного Кадди.

Лишь на закате добрались они до Милнвуда, где Паундтекст, распрощавшись с попутчиками, направился в одиночестве к своему дому, находившемуся в полумиле от Тиллитудлема. Какое смятение чувств должен был испытать Мортон, оставшись наедине сам с собою, когда снова увидел леса, холмы и поля, такие знакомые, такие близкие его сердцу! Его характер, образ жизни, мысли, занятия — все изменилось, все стало неузнаваемым за какие-нибудь две с лишним недели; и двадцать дней произвели в нем работу, на которую обычно уходят долгие годы. Кроткий, романтичный, мягкосердечный юноша, воспитанный в строгости, терпеливо сносивший деспотизм скаредного и властолюбивого дяди, внезапно, из протеста перед насилием, подстегиваемый оскорбленным чувством, превратился в вождя вооруженных людей, отдался служению обществу, приобрел друзей, которых воодушевлял на борьбу, и врагов, с которыми дрался, и неразрывно связал свою собственную судьбу с судьбою национального восстания и революции. За этот короткий срок он пережил переход от романтических грез юношеской поры к трудам и заботам деятельного мужчины. Все, что когда-то его увлекало, выветрилось из его памяти — все, кроме нежной привязанности к Эдит. Но даже любовь, которую он лелеял, и та, казалось, стала более мужественной и более бескорыстной, так как теперь она сочеталась и вступала в противоречие с новыми для него обязанностями и чувствами. Размышляя об особенностях происшедшей

с ним перемены, о причинах, ее породивших, и о последствиях, к которым может повести его нынешняя деятельность, он содрогнулся от вполне понятной тревоги, но тотчас же поборол ее благородной и мужественной уверенностью в своей правоте.

«Если мне суждено погибнуть,— сказал он себе,— я погибну совсем молодым. Те, чье одобрение мне дороже всего, не поняли моих побуждений, осудили мои поступки. Но я взялся за меч из любви к свободе, и я не умру презренною смертью или неотомщенным. Они могут выставить на позор мой труп, они могут надругаться над ним, но придет день, когда позорный приговор обратится на тех, кто ныне его произносит. И пусть небо, чьим именем так часто злоупотребляют в этой безумной войне, засвидетельствует чистоту побуждений, которыми я руководствовался».

Приехав в Милнвуд, Генри спешился и, подойдя к дому, постучал в дверь; на этот раз его стук отнюдь не говорил о робости юноши, вернувшегося домой позже должного времени; нет, он стучал уверенно, как мужчина, не сомневающийся в своих правах и отвечающий за свои действия,— он стучал смело, решительно, независимо. Дверь осторожно приотворилась, и показалась миссис Элисон Уилсон, тотчас отпрянувшая назад при виде стального шлема и трепещущего плюмажа ее воинственного гостя.

— Где дядя, Элисон? — спросил Мортон, улыбаясь ее испугу.

— Господи боже, никак, мистер Гарри! Вы ли это? — заторопилась старая домоправительница.— Сказать по правде, мое сердце заколотилось как бешеное, и я думала, что оно выпрыгнет, и все из-за вас. Но только как же так, мистер Гарри, это же не вы; вы теперь как-то мужественнее и выше, чем прежде.

— И все-таки это я,— сказал Генри, вздыхая и улыбаясь одновременно.— Это одежда, наверно, делает меня выше, а эти времена, Эли, и мальчиков превращают в мужчин.

— Да, времена тяжелые,— отозвалась старая женщина.— И почему на вас свалилась эта напасть! Но тут ничем не поможешь! С вами не очень-то хорошо обращались, и я не раз говаривала вашему дяде: наступи на червяка, и тот начнет извиваться.

— Вы всегда были моею заступницей, Эли,— сказал Мортон, и домоправительница отнеслась совершенно спокойно к этому фамильярному обращению,— вы никому, кроме себя самой, не позволяли меня бранить, я в этом уверен. Но где же дядя?

— В Эдинбурге,— ответила Элисон.— Почтенный джентльмен предпочел уехать да посиживать у камелька, пока в нем

теплится огонек. Беспокойный он человек и всегда чего-то боится,— да вы знаете не хуже моего, каков наш хозяин.

— Он, надеюсь, здоров? — спросил Мортон.

— Нельзя пожаловаться,— ответила домоправительница,— да и с добром пока что благополучно; уж мы изворачивались, как только могли, и хотя солдаты из Тиллитудлема отобрали у нас корову — ту самую, красную, и еще старую Хекки (вы помните, конечно, обеих), но зато и продали нам задешево четырех — тех, что гнали в тиллитудлемский замок.

— Продали? — переспросил Мортон.— Как это продали?

— А так, что их послали собирать продовольствие для гарнизона,— ответила домоправительница,— вот они и принялись за свое — разъезжать по всей округе, меняя и продавая, что успели собрать, совсем как гуртовщики в западных округах. Я уверена, что майору Белленден досталась самая малость, хотя они всюду забирали от его имени.

— В таком случае,— торопливо проговорил Мортон,— гарнизон, вероятно, терпит лишения?

— Конечно, терпит,— ответила Эли,— в этом можно не сомневаться.

Неожиданная мысль озарила Мортона: «Берли сознательно меня обманул; его религия так же допускает коварство, как и оправдывает жестокость».

— Я не могу оставаться, миссис Уилсон, я должен немедленно ехать.

— Как же так? А перекусить? Погодите немножко,— захлопотала встревоженная домоправительница,— я мигом что-нибудь соберу, как делала это для вас в лучшие дни.

— Не могу, Элисон,— сказал Мортон.— Кадди, готовь коней.

— А я им только что засыпал зерна,— ответил преданный ординарец.

— Кадди! — воскликнула Эли.— Да что вы таскаете за собой этого злосчастного парня? Это он со своей полоумной мамашей принесли несчастье нашему дому.

— Потише, потише,— заметил Кадди.— А вам пора бы позабыть да простить, миссис Элисон. Матушка моя в Глазго, у моей тетушки, ее старшей сестры, и никогда больше не станет вам докучать, а я теперь слуга самого начальника и забочусь о нем получше, чем делали это вы сами; видали ли вы его когда-нибудь в таком красивом наряде?

— Что правда, то правда,— сказала домоправительница, разглядывая с видимым удовольствием своего молодого хозяина

и находя, что его новый костюм ему очень к лицу,— у вас, пока вы жили в Милнвуде, не было этого расшитого галстука. Я его никогда не видала.

— Еще бы, миссис,— заявил Кадди,— когда я добыл его собственною рукой; он из вещей лорда Эвендела.

— Лорда Эвендела,— повторила старуха,— это его, кажется, виги собираются завтра утром повесить.

— Виги собираются повесить лорда Эвендела? — переспросил пораженный Мортон.

— Да, собираются,— подтвердила домоправительница.— Вчера ночью он сделал вылазку, или салиду, как это зовется на их языке (мою мать звали Салли; не возьму в толк, к чему давать христианские имена таким нехристианским делам). И, когда он вышел из Тиллитудлема, чтобы раздобыть немного еды, его людей прогнали назад, а самого захватили, и начальник вигов Белфур поставил для него виселицу и поклялся (или торжественно объявил, потому что они не клянутся), что, если гарнизон замка не сдастся к завтрашнему рассвету, они вздернут молодого лорда, беднягу, на такую же высоту, на какой некогда был повешен Аман. Да, тяжелые теперь времена! Но тут ничего не поделаешь; а потому садитесь-ка да покушайте хлеба с сыром, пока не будет готово что-нибудь получше. Да я бы вам, голубчик, и никогда не стала про это рассказывать, если бы знала, что отобью у вас охоту к обеду.

— Сейчас же седлать коней, Кадди, все равно, сыты они или нет. Нам нельзя отдыхать, пока мы не доберемся до замка.

И, несмотря на уговоры Эли, они тотчас тронулись в путь.

Мортон решил заехать к мистеру Паундтексту и убедить его отправиться вместе с ним в лагерь Берли. Почтенный священник в соответствии со своими миролюбивыми склонностями успел уже устроиться по-домашнему. Он сидел за столом, углубившись в старинный богословский трактат; во рту у него была трубка, а перед ним — кружка эля, чтобы лучше переваривать содержание книги. С большой неохотой оторвался он от милых его сердцу утех (которые он называл своими занятиями), чтобы снова пуститься в дорогу на тряской лошадке. Все же, узнав, в чем дело, и тяжко вздохнув, он распрощался с надеждой провести вечер в своей тихой уютной гостиной. Он полностью согласился с Мортоном, что если Берли, казнив лорда Эвендела, хочет углубить разрыв между пресвитерианами и правительством и сделать соглашение между ними окончательно невозможным, то умеренная партия никоим образом не может допустить

это злодейство. Мы воздадим ему только должное, если добавим, что он, как и большинство его единоверцев, был противником ненужного кровопролития. К тому же он с полным сочувствием отнесся к мысли Мортона, что лорд Эвендел может стать посредником в переговорах о мире на справедливых и взаимовыгодных условиях. Договорившись обо всем этом, они поторопились выехать в лагерь и около одиннадцати часов вечера прибыли в небольшую деревушку близ Тиллитудлема, которую Берли избрал местопребыванием своей штаб-квартиры.

Их окликнул часовой, меланхолично расхаживавший взад и вперед перед въездом в деревню; спросив их имена и занимаемые в повстанческом войске должности, он молча пропустил их в деревню. Перед одним из домов они заметили еще одного часового; они предположили, что именно здесь заключен лорд Эвендел, так как напротив была воздвигнута виселица такой высоты, чтобы ее можно было видеть со стен Тиллитудлема; это подтверждало печальные новости, сообщенные миссис Уилсон [1]. Мортон пожелал немедленно встретиться с Берли, и их проводили к нему на квартиру. Они застали его за чтением Библии; рядом с ним лежало его оружие, которое он всегда держал наготове. Заметив входивших, он вздрогнул и вскочил на ноги.

— Что привело вас сюда? — спросил торопливо Берли.— Дурные вести из армии?

— Нет,— ответил Мортон,— но, сколько мы знаем, здесь готовятся кое-какие события, от которых в очень большой мере зависит благополучие армии; вы захватили в плен лорда Эвендела?

— Господь,— сказал Берли,— отдал его в наши руки.

— И вы хотите воспользоваться успехом, дарованным вам небесами, чтобы, подвергнув пленника незаслуженной казни, очернить наше дело перед всем миром?

— Если Тиллитудлем на рассвете не сдастся,— ответил Берли,— лорд Эвендел умрет той самою смертью, которой его начальник и покровитель предал столько божьих страдальцев. И пусть со мной случится то же и даже худшее, если я не выполню этого.

---

[1] Камеронцы подвергались жестоким преследованиям, но это не научило их милосердию. Как сообщает капитан Крайти, они воздвигли в своем лагере огромную виселицу с несколькими крючками и сложили возле нее целую бухту новых канатов, чтобы вешать захваченных в плен роялистов. Гилд в своей «Bellum Bothuellianum» («Босуэлская битва») дает подробное описание этого сооружения.

— Мы взялись за оружие,— ответил Мортон,— чтобы положить конец этим жестокостям, а не для того, чтобы подражать нашим гонителям и карать невинных людей за чужие преступления. Какими законами сможете вы оправдать это зверство?

— Если ты в этом несведущ,— ответил Берли,— то твой товарищ и спутник хорошо знает закон, предавший жителей Иерихона мечу Иисуса, сына Навинова.

— Однако,— ответил священник,— мы живем, руководствуясь высшим законом, и этот закон велит добром воздавать за зло и молиться за тех, кто притесняет и преследует нас.

— Значит ли это, что ты со своими сединами вступаешь в союз с его зеленой юностью, чтобы перечить мне в этом?

— Мы двое из тех,— возразил Паундтекст,— которым вместе с тобой вручена власть над этою ратью, и мы не допустим, чтобы хоть один волос упал с головы пленного. Кто знает, не назначено ли ему господом способствовать прекращению злосчастных раздоров в нашем Израиле.

— Я это предвидел,— ответил Берли,— еще тогда, когда такого, как ты, избрали в совет старейшин.

— Такого, как я? — повторил Паундтекст.— Кто же я, что вы позволяете себе отзываться обо мне с подобным презрением? Не охранял ли я от волков на протяжении тридцати лет доверенных мне овец? И даже тогда, когда ты, Джон Белфур, сражался на стороне необрезанных и сам был филистимлянином с надменным челом и залитыми кровью руками! Кто же я, по-твоему, говори!

— Раз ты этого хочешь, я тебе скажу, кто ты,— ответил на это Берли.— Ты один из тех, кто хотел бы пожинать там, где не сеял, и принимать участие в разделе добычи, хотя бились и победили другие; ты один из тех, кто последовал за словом божиим ради рыб и хлебов, один из тех, кто любит дом свой больше, чем церковь господню, кто готов скорее брать мзду из рук прелатистов или язычников, чем разделить судьбу с теми благородными душами, которые отреклись от всего ради священного ковенанта.

— И я также тебе скажу, Джон Белфур,— воскликнул в порыве справедливого негодования Паундтекст,— я также скажу, кто ты. Ты один из тех, чьи кровожадность и бессердечие ложатся пятном на церковь этого несчастного королевства; злодейства и насилия могут отвратить от нас провидение и сделать безуспешными наши возвышенные усилия вернуть себе религиозную и гражданскую свободу.

— Господа,— сказал Мортон,— прекратите эту злобную и ненужную перебранку; мистер Белфур, соблаговолите ответить, будете ли вы возражать против освобождения лорда Эвендела, которое при настоящем положении дел представляется нам желательной и полезной мерой?

— Здесь два ваших голоса против моего одного,— ответил на это Берли,— но вы не откажетесь подождать, пока совет в полном составе разберет это дело?

— Мы бы этому не противились,— сказал Мортон,— если бы могли положиться на тех, на кого оставляем пленника. Вам отлично известно,— продолжал он, угрюмо взглянув на Берли,— что однажды вы уже меня обманули.

— Вот как! — презрительно бросил Берли.— Ты легкомысленный и вздорный мальчишка; за черные брови глупой девчонки ты готов отдать и свою веру, и честь, и дело господа бога, и благо отчизны!

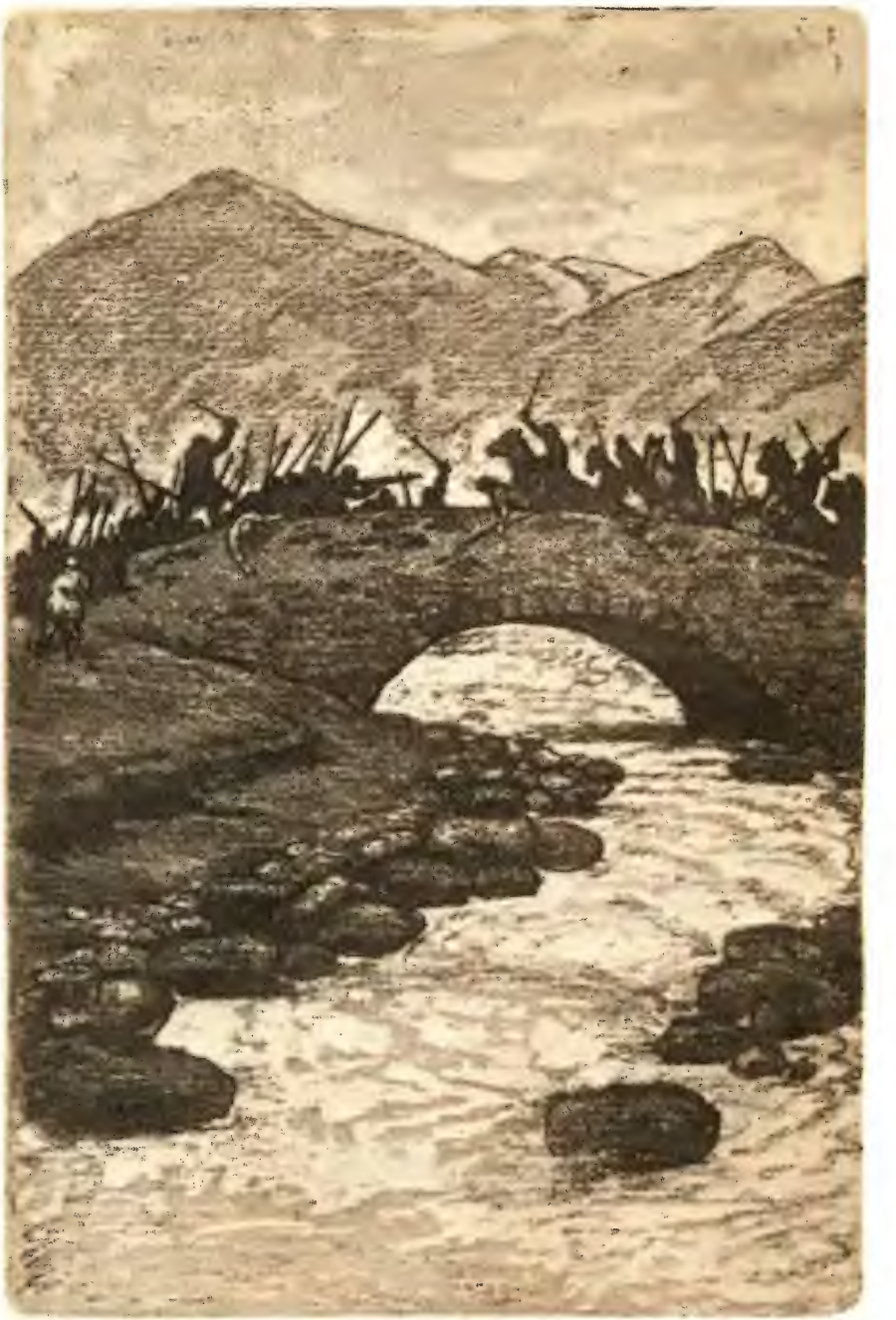
— Мистер Белфур,— сказал Мортон, положив руку на эфес шпаги,— за подобные речи полагается отвечать.

— И я готов это сделать, юноша, где и когда ты на это отважишься,— ответил Берли,— слово мое в том порукою.

Тут наступила очередь Паундтекста напомнить, что ссориться в такое время — безумие, и он добился, правда не без труда, подобия примирения между ними.

— Что касается пленного,— сказал Берли,— поступайте с ним как вам угодно. Я умываю руки и снимаю с себя ответственность за последствия. Он мой пленник, он захвачен моим мечом и копьем в то время, когда вы, мистер Мортон, занимались парадами и муштрою, а вы, мистер Паундтекст, искажали Писание в духе эрастианства. И все-таки берите его на свое попечение и делайте с ним что хотите. Дингуолл! — крикнул он, вызывая одного из повстанцев, бывшего при нем чем-то вроде адъютанта и спавшего в комнате рядом.— Пусть охрана, приставленная к этому негодяю Эвенделу, сдаст свой пост часовым, которых назначит мистер Мортон. Пленный,— продолжал он, снова обращаясь к Паундтексту и Мортону,— в вашем распоряжении, господа. Но прошу помнить, что за ваши дела вам рано или поздно придется ответить.

Произнеся эти слова, он твердыми, большими шагами вышел в соседнюю комнату, сочтя излишним пожелать своим посетителям доброй ночи. Мортон и Паундтекст, посовещавшись, решили ради безопасности пленного приставить к нему дополнительную охрану из людей их прихода. Случилось, что



«Пуритане»

в деревушке был тогда размещен отряд, набранный из прихожан Паундтекста и временно отданный под начальство Берли (их оставили поближе к домам в награду за храбрость, проявленную при штурме старого замка). Живые, предприимчивые молодые ребята, они получили от товарищей прозвище милнвудских стрелков. По указанию Мортона четверо из них охотно приняли на себя обязанности часовых; он оставил вместе с ними и Кадди, на верность которого мог положиться, приказав немедленно его известить, если случится что-нибудь неожиданное.

Покончив с этим, Мортон и его спутник отправились ночевать в предоставленные им жалкие комнатушки, но в этой переполненной и нищей деревне нужно было радоваться и такому ночлегу. Прежде чем разойтись, они набросали памятную записку, в которой изложили жалобы умеренных пресвитериан; в заключение они требовали свободы исповедания их религии и чтобы им было позволено беспрепятственно посещать богослужения, отправляемые духовными лицами из числа их самих. Их петиция настаивала на созыве всесословного парламента для устройства церковных и государственных дел и для подтверждения бесстыдно попиравшихся до этого времени прав гражданина, а также на амнистии для всех тех, кто с оружием в руках отстаивал или отстаивает свои права. Мортон рассчитывал, что эти условия, свободные от фанатизма и нетерпимости и содержащие в себе только то, к чему стремились наиболее умеренные из повстанцев, могут встретить сторонников даже в среде роялистов, поскольку речь шла исключительно об обычных и давних правах свободных граждан Шотландии.

Мортон тем более надеялся на успех, что герцог Монмут, которому Карл поручил подавить восстание, был, как говорили, человек мягкий, спокойный и снисходительный; говорили также, что он благожелательно относится к пресвитерианам и обладает широкими полномочиями принимать меры для умиротворения Шотландии. Мортон считал, что можно будет добиться его благосклонности только в том случае, если будет найдено подходящее и уважаемое лицо, которое сможет положить начало переговорам; и он полагал, что таким лицом может быть лорд Эвендел. Поэтому он решил посетить пленного завтра с утра и выяснить, возьмет ли он на себя роль посредника.

Однако одно происшествие заставило его поспешить.

## ГЛАВА XXVIII

«Отдайте ваш за́мок,— сказал он,— миледи,
Отдайте ваш замок мне».

*«Эдом из Гордона»*

Мортон еще раз просмотрел и набело переписал составленную им и Паундтекстом бумагу с подробным изложением причин недовольства умеренных пресвитериан и условий, на которых бо́льшая часть повстанцев согласится сложить оружие. Он уже собрался ложиться, как в дверь постучали.

— Войдите,— сказал Мортон, и круглая голова Кадди Хедрига просунулась в комнату.— Войди,— повторил Мортон,— в чем дело, Кадди? Ничего не стряслось?

— Нет, сэр, тут хотят с вами поговорить.

— Кто это, Кадди? — спросил Мортон.

— Это старая ваша знакомая,— сказал Кадди и, открыв дверь, не то ввел, не то втащил женщину, лицо которой было закрыто пледом.

— Входи, входи, не робей перед старым знакомым, Дженни,— говорил Кадди, стаскивая с ее головы покрывало и открывая взору своего хозяина хорошо знакомое ему личико Дженни Деннисон.— Скажи его милости, Дженни,— он у нас славный парень! — скажи ему, сударыня, что ты хотела передать лорду Эвенделу.

— Да то же, что хотела передать его милости мистеру Генри,— сказала Дженни,— когда как-то посетила его в заключении, дурень ты этакий. Ты думаешь, что люди не хотят видеть своих друзей, когда они попали в беду? Эх ты, верный рыцарь похлебки!

Дженни отвечала Кадди с обычною бойкостью, но все же голос ее прерывался, щеки ввалились и побледнели, на глазах были слезы, руки дрожали, движения были робкими и неуверенными, и все в ней говорило о недавних страданиях и лишениях и о том, что она находится в сильном, почти истерическом возбуждении.

— В чем дело, Дженни? — мягко и ласково спросил Мортон.— Вы ведь знаете, сколь многим я вам обязан, и я сделаю для вас все, что смогу.

— Премного вам благодарна, Милнвуд,— ответила Дженни,— вы всегда были добрым молодым человеком, хотя говорят, что теперь вы изменились к худшему.

— Что же говорят обо мне? — спросил ее Мортон.

— Одни говорят, что вы вместе с вигами хотите спихнуть короля Карла с трона, чтобы ни он, ни его потомки не сели на него снова; а Джон Гьюдьил болтает, что вы хотите отдать орга́ны, которые в церкви, волынщикам, а молитвенники сжечь рукой палача в отместку за то, что король, возвратившись, сжег ковенант.

— Мои друзья в Тиллитудлеме судят обо мне слишком поспешно и слишком враждебно,— ответил Мортон.— А между тем, Дженни, я хочу лишь свободно исповедовать мою веру, не оскорбляя ничьей; что касается семейства Белленден, то я жажду благоприятного случая, чтобы доказать, что я так же дружески расположен к нему, как прежде.

— Да благословит вас бог за ваше доброе сердце и за эти слова,— сказала Дженни, заливаясь слезами,— они еще никогда так не нуждались в вашей привязанности и дружбе... Они умирают с голоду: у нас нечего есть.

— Боже милостивый! — воскликнул Мортон.— Я слышал, что вам приходится трудно, но мне и в голову не приходило, что вы голодаете. Возможно ли это? Неужели обе леди, а также майор...

— Они так же страдают, как самый последний из нас,— ответила Дженни,— ведь они делятся последнею крошкой хлеба и едят вместе со всеми, кто в замке; честное слово, мои бедные глаза видят зараз, по крайней мере, пятьдесят пятен разного цвета, и все это от слабости, а голова идет кругом, так что я не могу устоять на ногах.

Впалые щеки бедной Дженни и заострившиеся черты свидетельствовали о том, что она говорила сущую правду. Мортон был потрясен.

— Садитесь же, ради бога! — сказал он, усаживая ее насильно на единственный стул, имевшийся в помещении. Не находя себе места, в нетерпении и отчаянии он принялся ходить взад и вперед по комнате.— Но я ничего не знал! — воскликнул он прерывающимся от волнения голосом,— я и не мог об этом узнать. О, хладнокровный, жестокосердный фанатик! Коварный негодяй! Кадди, давай скорее поесть и вина — все, что найдешь!

— С нее довольно и виски,— пробурчал Кадди.— Разве кто-нибудь мог подумать, что у них так плохо с едою, когда вот эта девчонка выплеснула на меня столько славной горячей похлебки с капустой.

Как ни была истощена и измучена Дженни, все же, вспомнив о своем героическом подвиге при штурме повстан-

цами замка, она залилась смехом, тотчас же перешедшем в судорожные всхлипывания.

Встревоженный ее состоянием, с ужасом думая о лишениях, какие переживали обитатели замка, Мортон в более решительной форме повторил свои приказания Кадди и, когда тот ушел, принялся успокаивать гостью.

— Вы здесь, наверно, по настоянию мисс Эдит, с целью повидать лорда Эвендела? Скажите, чего она хочет: ее желание — закон для меня.

Дженни заколебалась, но через мгновение, немного оправившись, проговорила:

— Ваша милость — старый друг нашей семьи, и мне сдается, я могу довериться вам и сказать правду.

— Будьте уверены, Дженни,— ответил Мортон, заметив ее нерешительность,— чем искреннее вы будете, тем лучше послужите своей госпоже.

— Раз так, то вы должны знать, что мы умираем с голоду, как я говорила, и что это длится уже много дней сряду; майор клянется, что со дня на день ждет помощи и не сдаст замка врагу, пока мы не съедим его старых ботфортов, а у них подошвы, как вы, может, помните, страшно толстые, не говоря уж о том, что они сшиты из грубой кожи. Драгуны, напротив, считают, что им все же придется сдаться; они не могут переносить голода, потому что, размещаясь на вольных квартирах, привыкли к обжорству. И с той поры как лорда Эвендела взяли в плен, на них нет никакой управы, и Инглис говорит, что сдаст замок вигам вместе с майором и обеими леди в придачу, если только мятежники пообещают солдатам отпустить их на волю.

— Негодяи! — воскликнул Мортон.— Но почему они не хотят договориться об общих условиях капитуляции?

— Они боятся, что тогда им не будет пощады; ведь они наделали много зла в нашей округе; и потом, Берли уже повесил одного или двух из них — вот они и хотят вытащить из петли свои шеи за счет порядочных и благородных людей.

— И вас послали,— продолжал Мортон,— чтобы сообщить лорду Эвенделу грустные новости о готовящемся в Тиллитудлеме бунте?

— Вот именно,— ответила Дженни.— Том Хеллидей пожалел меня, и рассказал обо всем, и вывел из замка, чтобы я сообщила эти новости лорду Эвенделу, если только мне удастся проникнуть к нему.

— Но разве, пребывая в плену, он мог бы чем-нибудь помочь вашей беде?

— Увы, это верно,— подтвердила со вздохом Дженни,— но, может, ему удалось бы договориться о сносных условиях, или, может, он бы что-нибудь нам посоветовал, или, может, послал бы со мной приказание драгунам вести себя лучше, или...

— Или, может быть,— закончил за нее Мортон,— вы должны были попытаться устроить ему побег?

— А если и так,— ответила горячо Дженни,— разве мне впервой помогать попавшему под замок?

— Верно, Дженни,— сказал Мортон,— и я проявил бы черную неблагодарность, если бы позволил себе об этом забыть. Но вот и Кадди с закуской; я иду к лорду Эвенделу и передам ему все, что вы сообщили, а вы между тем подкрепитесь и выпейте немного вина.

— Вам не мешало бы знать,— сказал Кадди своему господину,— что эта Дженни... эта мисс Деннисон подольщалась к Тому Ренду, что служит у мельника. Она хотела пробраться к лорду Эвенделу, да так, чтобы никто про это не знал. Ей, разбойнице, и в голову не приходило, что я рядом с нею.

— А как ты перепугал меня, Кадди, когда подобрался сзади да хвать! — сказала Дженни, кокетливо ущипнув его.— Ах, если б ты не был таким старым знакомым, я бы показала тебе, наглец ты этакий...

Кадди, смягчившись, расплылся в улыбке и поглядывал с нежностью на лукавую свою подружку.

Мортон между тем, завернувшись в плащ и сунув под мышку палаш, направился к месту заключения пленного. Подойдя к дому, где тот помещался, он спросил часового, не случилось ли чего-нибудь достойного упоминания.

— Ничего особенного,— выслушал он в ответ.— Вот разве девчонка, которую задержал Кадди, да еще гонцы, посланные мистером Белфуром: один — к Эфраиму Мак-Брайеру, другой — к Гэбриелу Тимпану. (Оба они в то время гремели с церковной кафедры, проповедуя в городках, расположенных между лагерем Берли и штаб-квартирой повстанческой армии в Гамильтоне.)

— С тем, конечно,— сказал Мортон, изображая полнейшее равнодушие,— чтобы вызвать их в лагерь.

— Верно, так,— сказал часовой, успевший покалякать с гонцами перед их выездом.

«Он вызвал их, чтобы обеспечить себе большинство в военном совете,— подумал про себя Мортон.— Он хочет до-

биться с их помощью одобрения любого злодейства, которое замыслил или замыслит; он намерен подавить силою всякое сопротивление его произволу. Нужно торопиться, иначе я упущу случай».

Войдя в помещение, служившее тюрьмой для лорда Эвендела,— это была отвратительная каморка на чердаке жалкой лачуги,— он увидел его в оковах, сидящим на старом, изодранном тюфяке. Пленный не то дремал, не то был погружен в глубокие думы. Услышав шаги, он повернулся к Мортону и поднялся со своего места. Из-за потери крови, бессонных ночей и длительного недоедания наружность его изменилась настолько, что никто не мог бы узнать в нем того решительного и смелого воина, который так мужественно сражался при Лоудон-хилле. Он был, видимо, удивлен неожиданным появлением Мортона.

— Мне горестно видеть вас в таком положении,— сказал Генри.

— Я слышал, что вы страстный любитель поэзии,— ответил молодой лорд,— а раз так, мистер Мортон, то вы помните, наверно, эти стихи:

Не стены и не низкий свод
Темницу создают.
Спокойный, вольный ум найдет
И здесь благой приют.

Но будь мое заключение и менее сносным, я склонен думать, что завтра меня все равно ожидает полное освобождение.

— Вы имеете в виду смерть? — спросил Мортон.

— Конечно,— ответил Эвендел,— других видов на будущее у меня нет; ваш товарищ, Берли, уже запятнал себя кровью тех, кто вследствие своей незначительности и безвестного происхождения мог, казалось бы, рассчитывать на пощаду. Я не могу похвалиться таким щитом от его мести и понимаю, что по отношению ко мне он будет беспредельно жесток.

— Но стоит майору Беллендену капитулировать,— сказал Мортон,— и вы будете спасены.

— Никогда! Этому не бывать, пока на укреплениях останется хоть один человек и у этого человека — хоть корка хлеба! Мне известно его решение, и я был бы глубоко огорчен, если бы ради меня он от него отступился.

Мортон не замедлил сообщить пленнику о готовящемся бунте солдат и об их решении сдаться, выдав неприятелю

обеих леди и майора Беллендена. Это известие поразило лорда Эвендела, хотя сначала он отнесся к нему с некоторым недоверием, но затем недоверие сменилось глубокой печалью.

— Что же можно тут сделать? — сказал он.— Как предупредить это несчастье?

— Выслушайте меня, милорд,— ответил Мортон.— Вы не откажетесь, полагаю, направиться к нашему самодержцу, его величеству королю, с ветвью мира от имени тех его обездоленных подданных, которые взялись за оружие не по доброй воле, а в силу необходимости.

— Вы правы, я готов взяться за это,— сказал лорд Эвендел,— но признаюсь, мне неясно, какое отношение это может иметь к нашему делу.

— Сейчас объясню, милорд,— продолжал Мортон.— Вам будет возвращена под ваше честное слово свобода; кроме того, вы сможете возвратиться в замок и получите беспрепятственный пропуск для обеих леди, майора и всех, кто пожелает выехать с вами. Разумеется, при условии немедленной капитуляции. Сделав это, вы только подчинитесь необходимости, так как при взбунтовавшемся гарнизоне, без продовольствия Тиллитудлем не продержится и одного дня. Если кто-нибудь не пожелает выполнить приказание и покинуть крепость, тот будет предоставлен судьбе. Вы и ваши спутники, повторяю, получите беспрепятственный пропуск в Эдинбург или туда, где в данное время находится герцог Монмут. Мы надеемся, что в обмен на возвращенную вам свободу вы подадите на рассмотрение его милости, как наместника и главнокомандующего в Шотландии, эту покорнейшую петицию и представление, где излагаются основные причины восстания, с устранением которых, готов поручиться своей головой, большая часть повстанцев сложит оружие.

Лорд Эвендел внимательно прочитал переданный ему Мортоном документ.

— Мистер Мортон,— сказал он, ознакомившись с ним,— мое скромное суждение таково, что против предлагаемых здесь мероприятий возразить нечего; больше того — я имею основание думать, что они могут даже встретить сочувствие герцога Монмута; но, говоря откровенно, я никоим образом не надеюсь на удовлетворение этих требований, пока ваши люди не сложат оружия.

— Поступив так,— ответил Мортон,— мы формально расписались бы в том, что не имели права за него браться, и потому я никогда не смогу согласиться на такое условие.

— И в самом деле, едва ли можно ожидать от вас данного шага,— сказал лорд Эвендел,— а раз так, то я убежден, что переговоры окажутся безуспешными. Впрочем, высказав вам со всей откровенностью мое мнение, я все же выражаю готовность сделать все от меня зависящее, чтобы способствовать примирению.

— Это все, чего мы желаем и ждем от вас,— сказал Мортон.— Что касается исхода переговоров, то он от господа бога, ибо «сердце царево в руце божией». Итак, вы принимаете предложение о беспрепятственном пропуске?

— Разумеется,— ответил Эвендел,— и, если я не говорю сейчас о благодарности за вторичное спасение моей жизни, это вовсе не значит, что я не ощущаю ее всею душой.

— А как же гарнизон Тиллитудлема? — спросил Мортон.

— Будет выведен в соответствии с вашими требованиями,— ответил Эвендел.— Я уверен, что майору не справиться с бунтом драгун, и я содрогаюсь при мысли о последствиях, к которым повела бы выдача обеих леди и почтенного старого джентльмена этому кровожадному негодяю Берли.

— В таком случае вы свободны,— сказал Мортон.— Приготовьтесь к отъезду. Несколько человек, которым я вполне доверяю, проводят вас за наши аванпосты.

Оставив лорда Эвендела, изумленного и обрадованного этим неожиданным освобождением, Мортон поспешно отобрал несколько человек из отряда милнвудских стрелков. Все они были верхами и вооружены до зубов, каждый вел в поводу запасного коня. Дженни, успевшая помириться с Кадди за ужином, ехала по левую руку от этого доблестного кавалериста. Вскоре у того дома, где содержался в заключении лорд Эвендел, послышался конский топот. Двое неизвестных ему людей, войдя в помещение, сняли с него оковы и, проводив вниз по лестнице, помогли сесть на коня. Он оказался посредине небольшого отряда, пустившегося крупною рысью по направлению к Тиллитудлему.

Когда они добрались до этой древней твердыни, сияние луны сменилось рассветом, и на массивной, вздымавшейся темной громадою замковой башне заиграли первые бледные лучи солнца. Отряд остановился, не решаясь приблизиться к стенам крепости из опасения, как бы ее защитники не открыли огня. К воротам направился один лорд Эвендел, за которым в некотором отдалении следовала Дженни Деннисон. Подъехав к воротам, они услышали во внутреннем дворе шум, грубо нарушавший величавую безмятежность летнего утра. Слышались

крики и брань, потом раздались пистолетные выстрелы — было очевидно, что бунт уже успел разразиться. У ворот на часах стоял Хеллидей. Услышав голос лорда Эвендела, он встретил своего офицера радостным восклицанием и сразу же пропустил его в замок. Появление лорда Эвендела поразило взбунтовавшихся солдат как гром среди ясного неба. Чтобы привести в исполнение свой план и захватить крепость, они хотели разоружить и обезвредить майора Беллендена, Гаррисона и всех, кто пытался оказать им сопротивление.

С прибытием лорда Эвендела все изменилось. Он схватил за шиворот Инглиса и, приказав двум драгунам арестовать и связать его, как предателя, объявил остальным, что только беспрекословное повиновение избавит их от сурового наказания. После этого он велел людям построиться. Они тотчас же выполнили его приказание. Он распорядился положить на землю оружие. Какое-то мгновение они колебались, но привычка к дисциплине вместе с уверенностью, что их офицер, действуя с такой смелостью и решительностью, должен располагать оставшейся за воротами вооруженною силой, заставили их подчиниться.

— Уберите оружие,— сказал лорд Эвендел, обращаясь к сбежавшимся слугам,— они его не получат, пока не научатся пользоваться им, как подобает, употребляя на дело, ради которого оно им было доверено. А теперь,— продолжал он, повернувшись к бунтовщикам,— марш из замка! И поторапливайтесь! Противник, заключив перемирие на три часа, согласился предоставить их вам, чтобы вы немедленно убрались отсюда. Отправляйтесь по дороге на Эдинбург и ждите меня у Мурской гостиницы. Считаю излишним предупреждать, чтобы по пути следования вы не позволяли себе никаких насилий над местными жителями; да вы и так в вашем теперешнем положении не станете навлекать на себя общую ненависть. Докажите своею покорностью, что намерены искупить преступление, совершенное нынешним утром.

Обезоруженные солдаты молча удалились с глаз своего офицера и, покинув замок, двинулись по направлению к месту встречи; они торопились уйти подальше от Тиллитудлема, так как боялись столкнуться с повстанцами, которые, видя их беззащитность, охотно отмстили бы им за былые насилия и бесчинства. Инглис, которого Эвендел решил наказать со всей строгостью, остался под стражею в замке. Хеллидей своим поведением заслужил похвалу начальства, и ему были обещаны нашивки капрала. Поспешно сделав эти распоряжения, лорд

Эвендел подошел к майору, которому казалось, что все это он видит во сне.

— Дорогой майор, нам придется сдать крепость.

— Выходит, что этого все-таки не избежать? — спросил майор.— А я-то надеялся, что вы привели с собой подкрепление и доставили продовольствие.

— Ни одного человека, ни фунта провианту,— ответил молодой лорд.

— И все же я счастлив, что вижу вас целым и невредимым,— сказал добрый старик.— Нам вчера сообщили, что эти разбойники-псалмопевцы посягают на вашу жизнь, и я каких-нибудь десять минут назад построил мерзавцев драгун, чтобы ударить на штаб-квартиру Белфура Берли и вырвать вас из этого ада, но этот пес Инглис, вместо того чтобы выполнить приказание, учинил самый что ни на есть настоящий бунт. Но что же нам следует делать?

— Я не располагаю выбором,— сказал лорд Эвендел,— я пленник, отпущенный под честное слово и направляемый в Эдинбург. Вы и обе леди должны, по-моему, ехать туда же. Благодаря сердечному участию и заботам нашего друга я имею беспрепятственный пропуск и лошадей для вас и всех, кто отправится вместе с вами; но, бога ради, не мешкайте; вы не в состоянии удерживать замок, имея в своем подчинении всего семь или восемь защитников, и к тому же совершенно без продовольствия. Вы сделали более чем достаточно, чтобы спасти вашу честь и дать время правительству стянуть отовсюду войска. Держаться дольше и излишне и невозможно. В Эдинбург прибыли англичане, и они в ближайшие дни выступят к Гамильтону. Мятежникам недолго владеть Тиллитудлемом.

— Раз вы так думаете,— сказал старый воин, тяжко вздохнув,— я знаю, вы не станете советовать бесчестные вещи,— мне только и остается, что подчиниться необходимости; бунт этих негодяев действительно сделал невозможной дальнейшую защиту крепостных стен. Гьюдьил, пусть служанки известят обеих леди обо всем происшедшем, и чтобы все было готово к незамедлительному отъезду! Но если б, оставаясь за этими древними стенами и превратившись от голода в мумию, старый Майлс Белленден мог быть полезен своему королю, он не ушел бы отсюда, пока в нем теплится хоть искорка жизни.

Дамы, взволнованные вестями о бунте, охотно согласились с решением майора. Леди Маргарет не смогла, впрочем, удер-

жаться от стенаний и вздохов, имевших, как всегда, отношение к пресловутому завтраку, которым его священнейшее величество король Карл почтил ее старый замок, оставляемый теперь на поток и разграбление шайке мятежников. Приготовившись к отъезду прежде, чем стало настолько светло, чтобы можно было явственно различать окружающие предметы, обе леди, майор, Гаррисон, Гьюдьил и остальные слуги сели на лошадей, найденных по соседству или приведенных Эвенделом, и под охраною четырех повстанцев направились прямо на север. Остальные мятежники из числа тех, кто сопровождал лорда Эвендела в Тиллитудлем, вступили во владение покинутым замком, получив приказание тщательно оберегать его от грабежей и бесчинств. И когда взошло солнце, над главной замковой башней зареяло алое, с голубою каймой, знамя шотландского ковенанта.

## ГЛАВА XXIX

И для меня игла в ее руке
Страшнее ста кинжалов.

*Марло*

Выехав из Тиллитудлема и миновав аванпосты повстанцев, всадники ненадолго остановились в небольшом городке Босуэл, где их ожидал приготовленный по приказанию Мортона завтрак; это было в самом деле крайне необходимо для людей, изнуренных длительным недоеданием. После краткого отдыха путешественники двинулись дальше по направлению к Эдинбургу. Уже совсем рассвело; над горизонтом растекались лучи восходящего солнца. Было бы естественно предположить, что лорд Эвендел неотлучно находился при мисс Эдит. Однако, обменявшись приветствиями с юною леди и позаботившись о ее удобствах в пути, он занял место рядом с майором во главе небольшого отряда, передав попечение о прелестной его племяннице одному из повстанцев, фигура и черты которого были скрыты черным военным плащом и надвинутой на лоб широкополою шляпой со спадавшими на лицо перьями. Так они ехали бок о бок в полном молчании мили две, пока незнакомец не обратился наконец к мисс Белленден глухим и дрожащим голосом.

— Мисс Белленден,— сказал он,— не может не иметь друзей всюду, где ее знают, и даже среди тех, чье поведение ныне

ею решительно осуждается. Могут ли они каким-нибудь способом доказать, что по-прежнему уважают ее и скорбят о перенесенных ею страданиях?

— Пусть научатся ради самих себя уважать законы и щадить невинную кровь,— ответила мисс Белленден.— Пусть возвратятся к исполнению своего долга пред королем, и я готова простить им все, что выстрадала, и еще в десять раз больше.

— Вы, следовательно, не допускаете,— спросил ее собеседник,— что в наших рядах находятся люди, которые, желая блага отчизне, убеждены в том, что выполняют свой патриотический долг?

— Было бы неосторожно,— отозвалась мисс Белленден,— находясь в вашей власти, отвечать на этот вопрос.

— Но только не в этом случае, даю вам слово солдата,— горячо проговорил всадник.

— Меня с детства научили быть откровенной,— сказала Эдит,— и если необходимо ответить на ваш вопрос, я позволю себе высказать все, что чувствую. Один бог может судить о сердце и побуждениях человека; что до людей, то они вынуждены оценивать его по поступкам. Измена, убийства, виселицы, насилия, чинимые над мирной семьей, как, например, наша, взявшейся за оружие только для защиты законного правительства и своего собственного имущества,— все эти действия чернят всякого, кто имеет к ним хоть какое-нибудь отношение, какими бы высокими словами они ни были приукрашены.

— Вина за междоусобную войну,— возразил всадник,— за бедствия, которые она приносит с собой, на совести тех, кто вызвал ее угнетением и беззакониями, а не тех, кто оказался в необходимости прибегнуть к оружию, чтобы отстаивать естественные права свободных людей.

— Вы выдвигаете довод, который, в свою очередь, нуждается в доказательстве,— ответила юная леди.— Каждая из сторон готова настаивать на своей правоте, и поэтому виноватой нужно считать ту из них, которая первая схватилась за меч, — и при любой драке закон видит преступника в том, кто первый прибегнул к насилию.

— Увы! — сказал всадник.— Если бы наше оправдание зависело только от этого, как легко было бы доказать, что мы проявили терпение, которое поистине превосходит возможности человеческие, и перешли к открытой борьбе лишь вынужденные неслыханным произволом. Но я замечаю,— продолжал он, тяжко вздохнув,— что тщетно защищать перед мисс Бел-

ленден то дело, которое она заранее осудила, быть может, столько же из неприязни к его участникам, сколько и к их убеждениям.

— Извините,— сказала Эдит,— я свободно высказалась о принципах, которыми руководствуются мятежники; что касается их самих, то мне нечего сказать по этому поводу, потому что я их не знаю... за одним-единственным исключением.

— И это исключение,— спросил всадник,— оказало влияние на ваше мнение обо всех?

— Совсем нет,— ответила Эдит,— тот, кого я имею в виду... он... по крайней мере, я считала его таким... он намного выше других; он был или казался человеком с рано развившимися талантами, возвышенных взглядов, высокой честности и верного сердца. Могу ли я сочувствовать мятежу, превратившему его, который мог бы стать украшением, гордостью и оплотом своей страны, в сотоварища мрачных и невежественных фанатиков, опасных лицемеров, в вождя неразумных и темных людей, в соратника разбойников и убийц с большой дороги? Если вы встретите его в вашем лагере, скажите ему, что Эдит Белленден пролила куда больше слез из-за его падения, из-за того, что он утратил такие возможности и покрыл бесчестием свое имя, чем из-за несчастий, свалившихся на ее близких; что ей легче было переносить голод, от которого ввалились ее щеки и потускнели глаза, чем сердечную муку, сопутствовавшую каждой ее мысли о том, кто был виновником всех этих бедствий.

Произнося эти слова, она повернулась лицом к своему собеседнику; ее бледные щеки, хоть их и оживлял, пока она говорила, еле заметный румянец, свидетельствовали о пережитых ею страданиях. Всадник не остался безучастным к этому призыву; он схватился за голову, как будто его мозг пронизала внезапная боль, и, проведя рукой по лицу, надвинул еще ниже на лоб свою широкополую шляпу. Ни это движение, ни чувства, которые его вызвали, не остались незамеченными Эдит, и ее сердце в ответ на это затрепетало.

— И если тот,— сказала она,— о ком я говорю, будет серьезно огорчен суровым суждением его... его... прежнего друга, скажите ему, что искреннее раскаяние есть первый шаг к искуплению; что, хотя он пал с такой высоты, подняться на которую будет ему нелегко, хотя он повинен во многих дурных делах, творившихся под прикрытием его имени,— все же он и теперь еще может частично искупить зло, лежащее на его совести.

— Но как? — спросил всадник тем же глухим и прерывистым голосом.

— Стараясь установить мир для блага своих обездоленных соотечественников, побуждая заблудших мятежников сложить оружие и разойтись. Спасая их кровь, он может искупить уже пролитую; кто потрудится для этой возвышенной цели, тот заслужит благодарность нашего поколения и добрую память потомства.

— Полагаю,— твердым голосом произнес ее спутник,— мисс Белленден не хочет, чтобы этим миром интересы народа были принесены в жертву интересам короны.

— Я еще слишком молода,— отвечала Эдит,— и не могу говорить об этом с полным знанием дела. Но раз я заговорила на эту тему, то охотно добавлю, что желала бы мира, который удовлетворил бы все партии и оградил подданных короля от военных поборов: они мне ненавистны не меньше, чем ваши меры борьбы с этим бедствием.

— Мисс Белленден,— сказал Генри Мортон, открывая лицо и говоря своим обычным голосом,— тот, кто утратил ваше драгоценное для него уважение, достаточно смел, чтобы защищать правоту своего дела в качестве обвиняемого. Понимая, что он не вправе рассчитывать на дружеское сочувствие, он промолчал бы в ответ на ваше суровое осуждение, но он может сослаться на лорда Эвендела, который, без сомнения, засвидетельствует, что все помыслы и усилия этого человека, особенно в настоящее время, направлены на заключение мира, и притом на таких условиях, которых не осудят даже наиболее рьяные приверженцы короля.

Он с достоинством поклонился Эдит, которая, судя по ее речам во время этой беседы, хоть и знала, с кем разговаривает, все же, видимо, не ждала, что ее собеседник станет защищаться с такою горячностью. Смутившись, она молча ответила на его поклон. Мортон ускакал и подъехал к находившимся в голове отряда.

— Генри Мортон! — воскликнул майор Белленден, пораженный его внезапным появлением.

— Он самый,— ответил Мортон,— и он глубоко удручен суровым приговором майора Беллендена и его близких. Прошу вас, милорд,— продолжал он, обращаясь с поклоном к лорду Эвенделу,— прошу вас взять на себя труд рассказать моим друзьям о моих действиях и удостоверить чистоту моих помыслов. Прощайте, майор Белленден! Желаю вам и всем

вашим всяческого благополучия. Быть может, мы еще встретимся в лучшие времена.

— Поверьте мне,— сказал лорд Эвендел,— я оправдаю ваше доверие, я постараюсь отплатить за те неоценимые услуги, которые вы мне оказали, и сделаю все от меня зависящее, чтобы вы предстали в истинном свете и перед майором Белленденом, и перед всеми, чьим мнением вы дорожите.

— Зная ваше великодушие, я ничего иного не ожидал,— отозвался Мортон.

Он кликнул своих подчиненных и поскакал полем по направлению к Гамильтону; перья их развевались и стальные шлемы поблескивали в лучах восходящего солнца. Задержался лишь один Кадди, чтобы нежно проститься с Дженни Деннисон, которая за время короткого утреннего путешествия восстановила свою власть над его чувствительным сердцем. Одинокое дерево не столько скрыло, сколько прикрыло в своей тени их tête-à-tête [1], когда они попридержали коней, чтобы сказать друг другу «прощай».

— Прощай, Дженни,— сказал Кадди, с шумом выдыхая воздух, что должно было, видимо, изображать вздох, но гораздо больше напоминало горестный стон.— Ты ведь вспомнишь иногда про бедного Кадди, который по-честному любит тебя, Дженни; ты ведь будешь иногда о нем вспоминать?

— Конечно... когда на столе будет похлебка,— ответила злопамятная девица, не удержавшись от острого словца и от сопровождавшей его ехидной улыбки.

Кадди, однако, не остался в долгу: он вознаградил себя по обычаю деревенских поклонников — что не явилось, надо полагать, неожиданностью для Дженни,— обхватив возлюбленную за шею и от души поцеловав ее в обе щеки и в губы. Простившись таким образом, он повернул коня и пустился догонять своего господина.

«Ну и черт этот парень,— подумала Дженни, вытирая губы и поправляя прическу.— А ведь он куда смелее, чем Том Хеллидей».

— Сейчас, миледи, сейчас! Боже милостивый, хоть бы старая леди ничего не заметила!

— Дженни,— сказала леди Маргарет, когда девушка подъехала ближе,— молодой человек, который командовал сопровождавшими нас мятежниками, не тот ли самый, что был

[1] Свидание наедине *(франц.)*.

Капитаном Попки и после этого узником в Тиллитудлеме, когда нас посетил Клеверхауз?

Дженни, довольная, что этот вопрос не имеет отношения к ее личным делам, взглянула на свою юную госпожу, чтобы по возможности выяснить, нужно ли говорить правду или лучше о ней умолчать. Не уловив в ее взгляде никакого определенного указания, она последовала своему инстинкту доверенной камеристки и солгала.

— Не думаю, миледи, чтобы это был он,— сказала она так же уверенно, как прочитала бы свой катехизис,— тот был маленький и чернявый собою.

— Ты ослепла, наверное, Дженни,— вмешался майор,— Генри Мортон красив и высок, и этот молодой человек не кто иной, как он самый.

— У меня достаточно других дел,— сказала Дженни, вскидывая головку,— чтобы рассматривать, какой он там из себя, хотя бы он был тонок, как свечка ценою в грош.

— Великое счастье,— сказала леди Маргарет,— что нам удалось вырваться из рук этого кровожадного фанатика и изувера.

— Вы, сударыня, заблуждаетесь,— сказал лорд Эвендел,— никто не вправе называть этим словом мистера Мортона, а тем более — мы. Тем, что я жив и что вы в настоящее время не томитесь в плену у действительного фанатика и убийцы, мы обязаны только деятельному человеколюбию и быстрому вмешательству этого молодого джентльмена.

И он подробно рассказал о событиях, с которыми читатель уже знаком, остановившись в особенности на добродетелях Мортона и несколько раз подчеркнув, словно это был его брат, а не соперник, с какою опасностью для себя он оказал ему эту совершенно исключительную услугу.

— Я проявил бы черную неблагодарность,— сказал он в заключение,— если бы позволил себе умолчать о достоинствах человека, которому я обязан двукратным спасением моей жизни.

— Я охотно думал бы о Генри Мортоне только хорошее,— заявил майор,— но, признавая, что он вел себя в высшей степени благородно и по отношению к вам, и по отношению ко всем нам, я все же не могу примириться с той снисходительностью, с какой ваша честь относится к его поведению в настоящее время.

— Нужно учитывать,— сказал лорд Эвендел,— что к такому образу действий его отчасти принудили обстоятельства,

и я должен добавить, что его взгляды, хотя и не совпадают с моими, тем не менее не могут не внушать уважения. Клеверхауз, которому нельзя отказать в умении сразу распознавать людей, дал вполне правильную оценку его необыкновенным качествам: хотя в оценке его взглядов и принципов он, конечно, проявил суровую предубежденность.

— Вы исключительно быстро распознали его достоинства,— ответил майор.— Он, можно сказать, вырос у меня на глазах, и до этих событий я мог бы сказать много хорошего о его нравственных качествах и добром характере; но что касается его необыкновенных талантов...

— Они были, видимо, неизвестны и ему самому,— ответил благородный молодой лорд,— пока обстоятельства не заставили их раскрыться, и если мне удалось их обнаружить, то произошло это лишь потому, что мы с ним говорили о вещах, в высшей степени важных и злободневных. Он теперь старается прекратить восстание, и условия мира, которые он предлагает, настолько умеренны, что я от всего сердца готов их поддержать.

— И вы надеетесь,— спросила леди Маргарет,— на успешное выполнение этого плана?

— Я мог бы на это надеяться, будь все виги столь же умеренны в своих требованиях, как Мортон, а все приверженцы короля — столь же беспристрастны, как наш майор. Но фанатизм и раздражение с обеих сторон таковы, что едва ли что-нибудь, кроме меча, завершит эту братоубийственную войну.

Нетрудно представить себе, с каким вниманием Эдит прислушивалась к этой беседе. Она сожалела, что так опрометчиво и резко говорила со своим старым другом, но вместе с тем чувствовала гордость и удовлетворение при мысли о том, что даже в глазах великодушного своего соперника он был таким, каким прежде казался ее влюбленному взору.

«Гражданские распри и семейные предубеждения,— сказала она себе,— может быть, и заставят меня вырвать воспоминание о нем из моего сердца; но немалое утешение быть уверенной в том, что он достоин места, которое так долго занимал у меня в душе».

Пока Эдит раскаивалась в своем несправедливом гневе, ее возлюбленный успел прибыть в лагерь повстанцев близ Гамильтона; здесь все было в смятении. Были получены достоверные сведения, что королевская армия, подкрепленная прибывшими из Англии лейб-гвардейцами, готова к походу. Молва преувеличивала численность неприятеля, его дисциплину и

вооружение. Распространялись всевозможные слухи, приводившие пресвитериан в уныние и отнимавшие у них волю к сопротивлению. Какой снисходительности им следует ждать от Монмута, можно было предвидеть заранее, судя по тем людям, которые его окружали и имели на него большое влияние. Его заместителем был прославленный генерал Томас Дэлзэл, постигший военное ремесло в еще дикой в те времена России, страшный своею жестокостью и полный пренебрежения к человеческой жизни и человеческим страданиям, но внушавший уважение своей непоколебимою преданностью короне и беззаветною храбростью. Этот человек был в армии вторым после Монмута; конница находилась под командою Клеверхауза, жаждавшего отмстить за гибель племянника и поражение под Драмклогом. Говорили также о грозном артиллерийском парке и о несметной кавалерии, с которыми королевская армия выступила в поход.

Большие отряды, набранные из горцев, не имевших ничего общего ни в языке, ни в религии, ни в обычаях с мятежными пресвитерианами, были вызваны на подмогу королевским войскам и явились под начальством своих вождей; эти аморреи, или филистимляне, как их называли повстанцы, слетелись, словно коршуны, к месту сечи. Всякий, кто мог сесть на коня или идти вместе с пехотой, был призван правительством на королевскую службу; это было сделано с явною целью конфисковать земли или взыскать денежный штраф у тех ослушников, которые не вступали в королевскую армию из политических и религиозных убеждений и не присоединялись к повстанцам из благоразумной осторожности. Словом, все эти слухи укрепляли в повстанцах уверенность, что королевская месть так долго откладывалась лишь для того, чтобы вернее обрушиться на их головы.

Мортон стремился ободрить бойцов, говоря, что слухи сильно преувеличены, а их собственная позиция почти неприступна, так как перед их фронтом — река, через которую можно переправиться лишь по длинному и узкому мосту. Он напоминал им о победе, одержанной над Клеверхаузом, когда их войско было немногочисленным, хуже организованным и менее подготовленным к боевым действиям, чем теперь; он разъяснял, что поле сражения, благодаря неровностям и разбросанным на нем зарослям кустарника, доставляет достаточно укрытий от огня артиллерии и при упорной обороне неудобно для действий конницы и что в конце концов их безопасность зависит от их же мужества и решимости.

Но, стремясь сохранить боевой дух армии в целом, он вместе с тем воспользовался этими тревожными слухами, чтобы убедить командиров в необходимости начать переговоры с правительством, предложив ему умеренные условия мира; это следует сделать, говорил он, пока они еще являются грозной силой, пока противник видит перед собой многочисленную, руководимую общим командованием армию. Он предсказывал, что при унынии, овладевшем людьми, едва ли можно ожидать успешного исхода сражения с хорошо оснащенными регулярными войсками герцога Монмута; если же они потерпят поражение и будут рассеяны, восстание, которое они начали, не только не освободит их отчизну, но, напротив, будет использовано для того, чтобы оправдать еще большее ее угнетение.

Под давлением этих доводов, понимая, что одинаково опасно как оставаться всем вместе, так и распустить армию, большинство вождей охотно признало, что, если бы были приняты условия мира, предложенные герцогу Монмуту через лорда Эвендела, цель, ради которой они взялись за оружие, была бы в значительной мере достигнута. Придя к этому выводу, они согласились подтвердить составленные Мортоном и Паундтекстом петицию и памятную записку. Между тем несколько вождей и те люди, чье влияние на массы было гораздо большим, чем влияние многих других, занимавших видные должности, рассматривали всякое предложение о заключении мирного договора, если оно не покоилось на принципах Торжественной лиги и ковенанта 1640 года, как не подлежащее обсуждению, нечестивое и богопротивное. Они настойчиво распространяли свои взгляды среди массы рядовых ковенантеров, которые не умели предвидеть и которым нечего было терять, и успели убедить многих, что робкие советчики, рекомендуя мир на условиях, обходивших молчанием вопрос о низложении королевской династии и о провозглашении независимости церкви от государства, были трусливыми пахарями, готовыми в любое мгновение бросить плуг, и презренными отступниками, выискивающими подходящий предлог, чтобы покинуть своих соратников. Эти резко противоположные мнения обсуждались в каждой палатке повстанческой армии или, вернее, в каждой хижине и лачуге, заменявших собою отсутствующие палатки. Резкость выражений, к которым прибегали обе стороны, приводила нередко к ссорам и потасовкам, и разногласия, раздиравшие эту армию страдальцев, не оставляли сомнений в ее грядущей судьбе.

## ГЛАВА XXX

Проклятье этих споров и раздоров
Еще тревожит ваш совет.

*«Спасенная Венеция»*

На долю Мортона, хорошо понимавшего гибельность этих раздоров, выпало немало хлопот; всеми доступными ему средствами пытался он сдержать разбушевавшиеся страсти обеих партий. За этим занятием его и застал явившийся на третий день после его возвращения в Гамильтон достопочтенный мистер Паундтекст, заявивший, что он бежал от Джона Белфура Берли, который мечет громы и молнии из-за его участия в освобождении лорда Эвендела. Придя немного в себя после быстрой езды и несколько успокоившись, этот достойный священник принялся подробно рассказывать обо всем происшедшем в лагере под Тиллитудлемом в то памятное утро, когда Мортон его покинул.

Мортон так искусно скрыл свою ночную поездку и люди, которые были посвящены в его тайну, оказались настолько верными, что Берли до самого утра не знал о случившемся. Проснувшись, он первым делом спросил, приехали ли Тимпан и Мак-Брайер, за которыми еще в полночь он выслал гонцов. Ему ответили, что Мак-Брайер прибыл, а Тимпан, хоть и тяжел на подъем, с минуты на минуту должен прибыть. Тогда он послал за Мортоном, вызывая его на заседание, которое предполагал провести немедленно. Посланный возвратился с известием, что Мортон уехал. Он велел сходить за Паундтекстом. Однако, полагая, как сказал Мортону сам Паундтекст, что лучше не иметь дела с этими безумцами, почтенный священник, хотя и провел весь день в седле, тут же отбыл в свою мирную усадьбу, предпочтя ночную скачку возобновлению поутру спора с Берли, свирепость которого, при отсутствии поддержки со стороны Мортона, нагоняла на него страх. После этого Берли приказал привести к нему лорда Эвендела, и какова же была его ярость, когда ему сообщили, что того еще ночью увез отряд милнвудских стрелков, находившийся под командой самого Мортона.

— Негодяй,— воскликнул Берли, изливая свой гнев Мак-Брайеру,— низкий, трусливый предатель! Выслуживаясь перед правительством, он выпустил на свободу пленного, захваченного моими руками. Угрожая казнью этого пленного, мы наверняка завладели бы сильною крепостью, доставившей нам столько хлопот.

— Но разве она не в наших руках? — спросил Мак-Брайер, взглянув в сторону замка.— И разве не развевается над ее стенами знамя священного ковенанта?

— Это уловка, это всего-навсего военная хитрость,— ответил Берли,— чтобы досадить нам и поиздеваться над нами, чтобы вселить в наши души неверие и поколебать боевой дух наших воинов.

Но в этот момент прибыл один из людей Мортона с сообщением, что гарнизон вышел из крепости и что она занята отрядом повстанцев. Это известие не только не успокоило Берли, но, напротив, усилило его бешенство.

— Я стоял на страже,— говорил он,— я сражался, я ломал себе голову, как подорвать силы защитников крепости, я отказался от более важного и почетного назначения, я запер их в засаде, я отвел от них воду и отнял у них хлеб насущный, и когда их мужи уже были готовы предать себя в мои руки, чтобы сыны их стали рабами, а дщери — посмешищем всего нашего стана, приходит этот юнец, у которого еще не отросла борода, и срезает своим серпом мою жатву, и отнимает добычу, уже затравленную ловцом! Но разве работник не вправе получить свою плату, разве город вместе с пленными не достается тому, кто его захватил?

— Нет,— сказал Мак-Брайер, пораженный неистовством Берли.— Не горячись из-за неугодного богу. Небо знает, какое выбрать орудие; кто ведает, может быть, этот юноша...

— Замолчи! Замолчи! — воскликнул Берли.— Не отрекайся от своего прежнего и более мудрого мнения. Кто, как не ты, предостерегал меня от этого гроба повапленного, от этого куска меди, который я считал чистым золотом? Горе тем — даже если они в числе избранных,— кто пренебрегает советами столь праведных пастырей, как ты, Эфраим Мак-Брайер. Наши земные привязанности — вот что ввергает нас в заблуждения; отец этого неблагодарного сосунка был моим давним другом. Нам подобает быть столь же ревностными, как ты, Эфраим Мак-Брайер, лишь тогда нам удастся сбросить с себя бремя и цепи человеческих слабостей.

Этот комплимент задел в душе проповедника самую чувствительную струну, и Берли рассчитывал, что он без труда добьется поддержки Мак-Брайера в осуществлении своих замыслов, тем более что их мнения о церковном устройстве вполне совпадали.

— Немедленно едем в замок,— сказал он Мак-Брайеру,— в этой крепости должны найтись кое-какие старые документы,

которые, если должным образом их использовать (а я знаю, как это сделать), доставят нам сотню всадников во главе с отважным вождем.

— Но разве подобает сынам ковенанта добиваться таким путем помощи? — спросил проповедник.— Среди нас и без того слишком много алчущих скорее земли, злата и серебра, чем слова господня; не через них свершится наше освобождение.

— Ты заблуждаешься,— возразил Берли.— Нам приходится распахивать тяжелую почву, и пусть эти корыстные люди будут орудиями в наших руках. Во всяком случае, эта моавитянка лишится своего имущества, и ни язычник Эвендел, ни эрастианин Мортон не овладеют замком и землями, хоть и домогаются жениться на ее внучке.

Сказав это, он отправился в Тиллитудлем, где забрал для нужд армии серебро и ценные вещи и перерыл архив и другие места хранения семейных бумаг, отнесясь с полнейшим пренебрежением к словам тех, кто пытался ему напомнить, что по условиям капитуляции обитателям замка гарантирована неприкосновенность их собственности.

Берли и Мак-Брайер, обосновавшись в завоеванной крепости, в тот же день встретились с Гэбриелом Тимпаном, а также с лэрдом Лонгкейла — последнего неугомонный священнослужитель успел, по выражению Паундтекста, соблазнить и отвлечь от света истинной веры, в которой он был воспитан. Собравшись вместе, они послали названному Паундтексту приглашение или, вернее, приказ явиться в Тиллитудлем на заседание. Памятуя, однако, о дверях с железной решеткой и о башне с темницей, Паундтекст решил избежать встречи со своими разгневанными товарищами. В силу этих соображений он удалился или, точнее, бежал в Гамильтон, принеся с собой весть, что Берли, Мак-Брайер и Тимпан также намерены направиться в этот город и что они сделают это тотчас, как только соберут достаточно сильный отряд камеронцев, опираясь на который смогут держать в страхе всю армию.

— Вы понимаете,— закончил Паундтекст, тяжело вздохнув,— что теперь в военном совете они будут располагать большинством голосов, так как лэрд Лонгкейла, хоть он всегда почитался одним из наиболее честных и разумных приверженцев умеренной партии, в сущности, ведь ни рыба ни мясо, а хорошей копченой селедкой его тоже не назовешь: кто сильнее, с тем и Лонгкейл.

Этими словами почтенный Паундтекст закончил свой невеселый рассказ. Он много и тяжко вздыхал, потому что ясно сознавал опасность, угрожавшую ему как со стороны неразумных недругов в своем стане, так и со стороны общих им всем врагов. Мортон убеждал его запастись терпением и успокоиться, сообщил о своих надеждах на успех переговоров о мире и об амнистии, которые ведутся через лорда Эвендела, и пообещал, что он снова сможет вернуться к своему Кальвину в пергаментном переплете, к своей вечерней трубке и вдохновляющей кружке эля, если только окажет поддержку и содействие в том, что предпринимает он, Мортон, для скорейшего прекращения этой войны. Утешив и успокоив Паундтекста, он добился от него героического решения дожидаться прибытия камеронцев, чтобы дать им генеральное сражение в военном совете.

Берли и его единомышленникам удалось собрать сильный отряд сектантов, насчитывавший в своих рядах до ста всадников и около полутора тысяч пеших. Это были хмурые и суровые с виду, недоверчивые, угрюмые, высокомерные и самоуверенные люди, убежденные в том, что лоно спасения открыто только для них, тогда как все прочие, как бы ничтожны ни были между ними различия в исповедании, на самом деле немногим лучше еретиков или язычников. Эти люди прибыли в лагерь пресвитериан скорее как сомнительные и подозрительные союзники или, может быть, даже враги, чем как воины, искренне отдавшие себя общему делу и готовые подвергнуться тем же опасностям, что и их более умеренные по взглядам соратники. Берли не посетил ни Мортона, ни Паундтекста и не согласовал с ними ни одного из важнейших вопросов; он только послал им официальное приглашение явиться вечером в военный совет.

Когда Мортон и Паундтекст прибыли на заседание, все остальные были уже в сборе. Они сухо приветствовали вошедших — по всему было видно, что созвавшие этот совет отнюдь не намерены проводить его в дружественной обстановке. Первый вопрос им задал Эфраим Мак-Брайер; увлекаемый своим пылким рвением, он всегда и во всем неизменно опережал остальных. Он желал знать, чьею властью нечестивец, именуемый лордом Эвенделом, был избавлен от смертной казни, к которой был справедливо приговорен.

— Моей властью, а также властью мистера Мортона,— отвечал Паундтекст, который прежде всего хотел покрасоваться своим бесстрашием перед единомышленником, уверенный, что тот окажет ему поддержку, а кроме того, предпочи-

тал скрестить оружие в богословском диспуте, где мог никого не бояться, с лицом той же профессии, что и его собственная, чем вступать в споры с мрачным убийцею Белфуром.

— А кто, брат мой,— спросил Тимпан,— кто уполномочил вас принимать решения в таком важном деле?

— Самый характер осуществляемой нами деятельности,— ответил Паундтекст,— дает нам власть вязать и развязывать. Если лорд Эвендел был справедливо осужден на смерть голосом одного из нас, то можно не сомневаться в законности отмены этого приговора, раз за нее выступили два члена совета.

— Рассказывайте! — воскликнул Берли.— Нам известны побуждения, которыми вы руководствовались. Вы хотели послать через этого шелковичного червя, через эту расфранченную куклу, это ничтожество в золотом шитье, которое именуется лордом, ваши условия мира; вы хотели, чтобы он вручил их тирану.

— Да, это так,— сказал Мортон, заметив, что Паундтекст начинает сдавать, не выдерживая грозного взгляда Берли,— да, это так; ну так что же? По-вашему, нам следует ввергнуть народ в войну, которой не будет конца, чтобы пытаться осуществить дикие, преступные и неосуществимые планы?

— Послушайте его,— сказал Берли,— он богохульствует.

— Неверно,— возразил Мортон,— богохульствуют те, кто уповает на чудеса и не хочет использовать средства, которыми провидение благословило людей. Повторяю: наша цель — заключение мира на приемлемых для всех и почетных условиях, обеспечивающих свободу для наших верований и неприкосновенность для нас. Мы не допустим, чтобы кто-либо навязывал нам свои убеждения.

На этот раз спор, вероятно, принял бы еще более ожесточенный характер, чем когда-либо прежде, если бы он не был внезапно прерван известием о том, что герцог Монмут выступил из Эдинбурга в западном направлении и прошел уже больше половины пути. Эти новости заставили на мгновение смолкнуть спорящих. Совет постановил назначить на завтра день покаяния во искупление грехов их несчастной страны; достопочтенному мистеру Паундтексту было предложено выступить перед армией утром, а Гэбриелу Тимпану — после полудня; ни тот, ни другой не должны были затрагивать разногласий в религиозных воззрениях; им предписывалось воодушевить воинов стоять не на живот, а на смерть, сражаясь дружно рука об руку, как подобает братьям, за правое дело. После того как совет принял это спасительное в данных условиях постановление, пред-

ставители умеренной партии рискнули внести еще одно предложение, надеясь на то, что оно встретит поддержку Лонгкейла, который, услышав вести о продвижении королевских войск, стал белый как полотно и начал, видимо, снова склоняться к умеренности. Обосновывая это предложение, они указали на то, что король доверил командование войсками не их угнетателям, а вельможе, известному мягкостью своего характера и благожелательным отношением к делу пресвитериан, вследствие чего можно предполагать, что правительство намерено действовать с меньшей суровостью, нежели та, которую они на себе испытали. Ввиду этого было бы не только разумным, но и существенно необходимым выяснить непосредственно у самого герцога, нет ли у него каких-нибудь секретных инструкций в их пользу, а это можно сделать только в том случае, если для переговоров с герцогом будет послан специальный уполномоченный.

— Но кто же возьмет на себя эту задачу? — спросил Берли, не решаясь открыто выступить против столь благоразумного предложения.— Кто отважится отправиться во вражеский стан, зная заранее, что в отмщение за смерть своего молодого племянника Джон Грэм Клеверхауз поклялся повесить всякого, кто прибудет к ним в лагерь?

— Это не должно быть препятствием,— сказал Мортон,— я готов рискнуть и взять на себя это дело.

— Пусть едет,— шепнул Белфур Мак-Брайеру,— по крайней мере, мы избавимся от него на наших советах.

Проект Мортона и Паундтекста не встретил, таким образом, противодействия тех, кто мог особенно яростно на него ополчиться. Было решено, что Генри Мортон отправится в лагерь герцога Монмута с целью выяснения тех условий, на которых повстанцы могут начать переговоры о мире. Как только стало известно о возложенном на Мортона поручении, к нему началось паломничество приверженцев умеренной партии, которые настойчиво просили его придерживаться условий, переданных через лорда Эвендела. Надо сказать, что приближение королевской армии посеяло всеобщий страх и смятение. Бахвальство камеронцев, не имевшее никаких оснований, кроме их упрямого фанатизма, конечно, никого не могло успокоить. Сопровождаемый этими наставлениями и своим верным Кадди, Мортон пустился в путь к лагерю герцога Монмута, навстречу опасностям, грозящим парламентеру в пылу гражданских раздоров.

Проехав каких-нибудь шесть-семь миль, Мортон обнаружил, что еще немного, и он наскочит на передовые части про-

тивника; и действительно, поднявшись на возвышенность, он увидел, что все дороги забиты солдатами, идущими в образцовом порядке по направлению к Босуэл-муру — обширному выгону, где они предполагали заночевать, на расстоянии около двух миль от Клайда, на противоположном берегу которого стояли повстанцы. Увидев разъезд вражеской кавалерии, Мортон пустился навстречу всадникам и объявил, что он парламентер от повстанцев и просит проводить его к герцогу Монмуту. Сержант, возглавлявший отряд, поспешил сообщить о прибытии парламентера своему командиру, тот послал донесение по команде, и к месту, где находился Мортон, поспешно выехали два офицера.

— Вы зря теряете время, любезный, и, кроме того, рискуете жизнью,— сказал один из них, обращаясь к Мортону,— герцог Монмут не станет выслушивать условия от изменников, выступивших с оружием против законных властей; к тому же учиненные вами зверства вопиют о возмездии. Лучше поворачивайте коня и поберегите его сегодня, чтобы он смог послужить вам как следует завтра.

— Но я не могу поверить,— сказал Мортон,— чтобы герцог Монмут, даже если он рассматривает нас как преступников, обрек на смерть такое множество своих ближних, не выслушав их жалоб и требований. Лично я за себя не боюсь. Я знаю, что не поощрял и не допускал никаких жестокостей, и боязнь ответить за злодейства других не может мне помешать исполнить мой долг.

Офицеры переглянулись.

— Уж не тот ли это молодой человек, о котором говорил лорд Эвендел,— сказал офицер, который был помоложе.

— А лорд Эвендел здесь? — спросил Мортон.

— Нет,— сказал офицер,— мы оставили его в Эдинбурге; он еще не поправился и не смог поэтому выступить с нами в поход. Вас зовут, если не ошибаюсь, Генри Мортон?

— Совершенно верно.

— Мы не станем препятствовать вашему свиданию с герцогом, сударь,— сказал офицер гораздо вежливее, чем прежде,— но вы должны быть готовы к тому, что это решительно ничего не изменит; его светлость благожелательно настроен по отношению к вашим, но те, кто разделяет с ним власть, едва ли согласятся на какие-нибудь поблажки.

— Я буду глубоко огорчен, если ваши слова оправдаются,— отозвался Мортон,— однако мой долг велит настаивать на свидании с его светлостью.

— Лэмли,— сказал старший из офицеров,— сообщите герцогу о прибытии мистера Мортона и напомните его светлости, что это тот джентльмен, о котором так уважительно говорил лорд Эвендел.

Офицер возвратился с ответом, что генерал не располагает возможностью встретиться с Мортоном вечером, но примет его завтра утром. Его поместили на ночь в ближайшей хижине, снабдили всем необходимым и были с ним чрезвычайно предупредительны и любезны. Рано утром за ним явился уже знакомый ему офицер, чтобы проводить на аудиенцию к герцогу.

Армия уже снялась с бивака и в этот момент выстраивалась колоннами для похода или, может быть, для атаки на противника. Герцог находился в центре боевого порядка, примерно в миле от того места, где Мортон провел минувшую ночь. По пути к генералу он имел возможность прикинуть в уме численность и мощь этой армии, собранной для подавления неожиданно разразившегося и плохо организованного восстания. Тут было три-четыре полка англичан, составлявших цвет армии Карла II, были шотландские лейб-гвардейцы, жаждавшие отмстить за свое недавнее поражение, и другие полки регулярной шотландской армии, и многочисленные кавалерийские части, набранные из землевладельцев, добровольно вступивших в армию, и из вассалов короны, обязанных королю военною службой. Мортон, кроме того, заметил и несколько сильных отрядов горцев, спустившихся со своих гор из районов близ границ Нижней Шотландии и, как мы уже говорили, в такой же мере ненавидевших западных вигов, в какой последние ненавидели и презирали их. Они выступили под предводительством своих вождей и составляли особое подразделение этого грозного войска. Большой парк полевой артиллерии сопровождал королевскую армию. Все вместе имело настолько внушительный вид, что, казалось, одно лишь чудо может спасти плохо вооруженное, случайное и недисциплинированное войско повстанцев от страшного и окончательного разгрома. Офицер, сопровождавший Мортона, старался по его взглядам выяснить, какое впечатление произвело на него это великолепное и грозное зрелище боевой мощи. Но, храня верность делу, которому он себя посвятил, Мортон умело скрывал охватившее его беспокойство и смотрел вокруг себя с таким безразличным видом, словно во всем этом для него не было ничего неожиданного.

— Смотрите, какое угощение для вас приготовлено,— сказал офицер.

— Если бы у меня пропал аппетит,— ответил на это Мортон,— я не был бы сейчас вместе с вами. Но ради обеих сторон я предпочел бы, чтобы меня угостили более мирной закуской.

Беседуя таким образом, они подъехали к главнокомандующему, который стоял, окруженный большим числом офицеров, на вершине невысокого холма, откуда открывался вид на окрестности. Можно было различить извивавшийся лентой величественный Клайд и даже лагерь повстанцев на другом берегу реки. Офицеры королевской армии, очевидно, знакомились с местностью, чтобы выбрать наиболее удобное направление для атаки. Капитан Лэмли, сопровождавший Мортона, подошел к герцогу и шепнул ему на ухо о прибытии парламентера. Герцог подал знак окружающим офицерам отойти в сторону, оставив при себе только двух генералов, своих ближайших помощников. Пока они совещались, Мортон успел разглядеть тех, с кем ему предстояло вступить в переговоры.

Всякий, взглянув на герцога Монмута, не мог не почувствовать его обаяния, о чем великий жрец всех девяти дев Парнаса вспоминал позднее в следующих стихах:

Что б он ни сделал — простота во всем.
«Быть милым» от природы было в нем,
Движения изящны и просты,
И лик его был райской красоты.

И все же проницательный наблюдатель не мог не заметить, что на красивом и мужественном лице Монмута порой появлялось выражение задумчивости и неуверенности, отражавшее, видимо, колебания и сомнения, которые одолевали его всякий раз, когда было необходимо принять ответственное решение.

Позади герцога стоял Клеверхауз, с которым мы уже успели познакомить читателя, и еще один генерал с крайне примечательной и своеобразной наружностью. Он был одет в платье старинного образца, какие носили во времена Карла I. Это был костюм причудливого покроя, сделанный из замши и украшенный позументом и богатым шитьем. Ботфорты и шпоры этого генерала были так же старомодны. Он носил нагрудник, поверх которого свисала борода почтенной длины: он отращивал ее в знак скорби и траура по Карлу I, и ее не касалась бритва цирюльника с того дня, как голова несчастного государя скатилась на эшафоте. Он стоял с непокрытой головой и был совершенно лыс. Его высокий морщинистый лоб, серые проницательные глаза и словно резцом высеченные черты свидетельствова-

ли о преклонных годах, не сломивших, однако, здоровья, и суровой решительности, которой было недоступно сострадание. Таков был внешний облик — правда, едва намеченный нами — знаменитого генерала Томаса Дэлзэла, которого виги боялись и ненавидели еще больше, чем Клеверхауза: зверства, чинимые генералом, объяснялись его глубокой личной ненавистью к мятежникам, а также, может быть, и врожденной жестокостью, тогда как Клеверхауз руководствовался политическими соображениями, считая крутые меры лучшим средством для обуздания пресвитериан или даже для полного искоренения этой секты.

Мортон понял, что присутствие на аудиенции этих двух генералов — одного из них он знал лично, другого понаслышке — предрешало судьбу его дела. Тем не менее, несмотря на свою молодость и неопытность и неблагосклонный прием, который, судя по всему, встретили его предложения, он смело по данному ему знаку приблизился к Монмуту, решив про себя, что интересы его страны и тех, кто взялся ради них за оружие, не должны страдать от того, что были доверены ему, а не кому-либо более сведущему в этих делах. Монмут принял его с изысканной любезностью, никогда и нигде не покидавшей его. Дэлзэл бросил на него нетерпеливый, суровый и мрачный взгляд; Клеверхауз саркастическою улыбкой и легким кивком головы, видимо, хотел подчеркнуть, что считает его старым знакомым.

— Вы прибыли, сударь, от лица этих несчастных людей, собравшихся ныне вооруженной толпой,— сказал герцог Монмут,— и вас зовут, насколько мне известно, Мортон. Не угодно ли вам сообщить, в чем состоит данное вам поручение.

— Об этом говорится в бумаге, милорд,— ответил Мортон,— именуемой памятною запискою и петицией, которую лорд Эвендел должен был вручить вашей светлости.

— Что он и сделал,— подтвердил герцог.— И, как я понял из слов лорда Эвендела, в этих достойных сожаления обстоятельствах мистер Мортон обнаружил много благоразумия и благородства, за что я приношу ему мою благодарность.

От Мортона не укрылось, что в этот момент Дэлзэл негодующе покачал головой и что-то шепнул на ухо Клеверхаузу, который в ответ усмехнулся и едва заметно повел бровями. Герцог вынул из кармана петицию. Он был мягок по природе и понимал, что ее авторы требовали только того, на что имеют бесспорное право. С другой стороны, он должен был содействовать упрочению власти короля и считаться с более непримиримыми взглядами лиц, приставленных к нему не только для по-

мощи, но и для контроля над ним. Явно колеблясь между этими побуждениями, он произнес:

— В этой бумаге содержатся предложения, мистер Мортон, по существу которых я в настоящее время не имею возможности высказаться. Некоторые из них представляются мне разумными и справедливыми, и хотя на этот счет я не располагаю инструкциями его величества, все же заверяю вас, мистер Мортон, и моя честь в том порукой, что готов выступить перед ним вашим ходатаем и сделать все от меня зависящее, чтобы добиться удовлетворения ваших требований. Но вам нужно понять, что я могу вступить в переговоры только с просителями, а не с мятежниками. Итак, вы можете рассчитывать на мою благожелательность и на мою помощь лишь при условии, что ваши сотоварищи сложат оружие и отправятся по домам.

— Сделать это, милорд,— бесстрашно ответил Мортон,— значило бы признать, что мы и в самом деле мятежники, как нас именуют наши враги. А между тем мы обнажили меч, чтобы возвратить себе наши исконные, незаконно отнятые у нас права. Умеренность и здравомыслие вашей светлости позволили вам понять справедливость предъявленных нами требований, но если бы им не вторила боевая труба, к ним никто не стал бы прислушиваться. Вот почему мы не можем и не смеем сложить оружие, даже если бы ваша светлость обещали нам безнаказанность, пока к этому обещанию не будет добавлена положительная гарантия, что злоупотреблениям и насилиям, на которые мы указываем в нашей петиции, будет положен конец.

— Мистер Мортон,— заметил герцог,— вы молоды, но у вас достаточно опыта, чтобы знать, что порой даже разумные просьбы становятся опасными и неразумными из-за формы, в которой они изложены или предъявлены.

— Мы можем ответить, милорд, что прибегли к этой весьма неприятной форме лишь после того, как тщетно испробовали другие.

— Мистер Мортон,— сказал герцог,— я вынужден сократить нашу беседу. Мы готовы начать атаку, но я отложу ее ровно на час, пока вы не сообщите моего ответа мятежникам. Если им будет угодно разойтись, сложить оружие и прислать ко мне мирную делегацию, я сочту делом чести сделать все от меня зависящее, чтобы удовлетворить их претензии; если нет, пусть берегутся и ожидают последствий. Я полагаю, господа,— добавил он, оборачиваясь к своим помощникам,— что это самое большее, на что я могу пойти в интересах этих заблудших, руководствуясь полученными мною инструкциями.

— Клянусь честью,— неожиданно заявил Дэлзэл,— мое слабое разумение не позволило бы пойти и на это, учитывая мою ответственность пред королем и собственной совестью. Впрочем, вашей светлости, без сомнения, лучше известны намерения его величества короля, нежели нам, вынужденным руководствоваться лишь буквою наших инструкций.

Кровь прилила к лицу Монмута.

— Вы слышите,— сказал он, обращаясь к Мортону,— генерал Дэлзэл порицает меня за предоставление вам отсрочки.

— Отношение генерала Дэлзэла нас нисколько не удивляет, ведь ничего иного мы от него и не ждали; отношение вашей светлости также не обмануло наших надежд. Мне следует только добавить, что даже в случае беспрекословного подчинения, на котором настаивает ваша милость, остается чрезвычайно сомнительным, поможет ли нам ваше ходатайство, если короля окружают такие советники. Я передам нашим вождям ответ вашей светлости на нашу петицию, и, раз мы не можем добиться мира, нам придется вести войну.

— Прощайте, сударь,— сказал герцог.— Итак, я откладываю атаку на один час, только на час. Если вы пришлете ответ в течение этого срока, меня можно будет найти на этом же месте, и я буду искренне рад избегнуть напрасного кровопролития.

В этот момент Дэлзэл и Клеверхауз снова обменялись многозначительною улыбкой. Герцог ее заметил и повторил со спокойным достоинством:

— Да, господа, я сказал, что надеюсь на разумный ответ, который избавил бы нас от напрасного кровопролития. Полагаю, что в моем пожелании не заключается ничего, заслуживающего вашей насмешки или вашего порицания.

На это замечание герцога Дэлзэл ответил суровым взглядом, но промолчал. Клеверхауз, скривив губы в ироническую улыбку, учтиво сказал, что не ему судить, справедливы ли мнения его светлости.

Герцог движением руки отпустил Мортона. Сопровождаемый эскортом, он направился в лагерь нонконформистов, мимо готовой к наступлению армии. Поравнявшись с блестящими кавалеристами, в которых узнал лейб-гвардейцев, он увидел Клеверхауза, успевшего занять свое место перед полком. Заметив Мортона, он подъехал к нему и с подчеркнутой вежливостью сказал:

— Сколько мне помнится, я встречаю мистера Мортона из Милнвуда уже не впервые?

— Если мое присутствие здесь причиняет неудовольствие вам или еще кое-кому,— сказал, усмехнувшись, Мортон,— то уж, во всяком случае, не по вине полковника Грэма.

— Разрешите, по крайней мере, заметить,— проговорил Клеверхауз,— что нынешний образ действий мистера Мортона полностью подтверждает мнение, которое я составил о нем, и что мои действия в нашу прошлую встречу были не чем иным, как выполнением моего долга.

— Согласовать свои действия с долгом, а долг — с совестью — ваше дело, полковник Грэм, а отнюдь не мое,— ответил Мортон, оскорбленный замечанием Клеверхауза, который в учтивой форме домогался признания справедливости приговора, едва не приведенного в исполнение.

— Погодите минутку,— сказал Клеверхауз.— Эвендел утверждает, что я виноват перед вами и должен загладить свою вину. Полагаю, что я всегда буду делать различие между великодушным, благородным, образованным человеком, который, и заблуждаясь, действует, руководствуясь высокими побуждениями, и тупыми фанатиками, во главе которых стоят кровожадные убийцы. Поэтому, если они не побросают оружие и не разбредутся после вашего прибытия в лагерь, прошу вас, возвращайтесь сюда и сдавайтесь — ведь они, уверяю вас, не продержатся и получаса. Если вы решитесь на этот шаг, разыщите меня. Монмут, как это ни странно, не сможет вас защитить, Дэлзэл — не захочет, один я и смогу и захочу. Я обещал это Эвенделу, если вы доставите мне такую возможность.

— Я был бы очень признателен лорду Эвенделу,— холодно произнес Мортон,— если бы он не рассчитывал, что меня можно убедить покинуть людей, с которыми я связан совместной борьбой. Что касается вас, полковник, то вы премного меня обяжете удовлетворением совершенно иного рода; по истечении часа вы, быть может, найдете меня на западной половине Босуэлского моста со шпагой в руке.

— Буду счастлив встретиться с вами в указанном месте,— сказал Клеверхауз,— но, быть может, вы все-таки подумаете о моем предложении.

Они распрощались и разъехались в разные стороны.

— Славный он юноша, Лэмли,— сказал Клеверхауз, обращаясь к находившемуся рядом с ним офицеру.— Впрочем, погибший он человек, и пусть кровь его будет на нем.

Произнеся эти слова, он занялся приготовлениями к предстоящему бою.

«Пуритане»

## ГЛАВА XXXI

Но чу, не тот уже в лагере шум.
Прощай и мир и покой.

*Бернс*

Явился ополченцев полк.
В цвет голубой одет,
И Лондон дал пятьсот солдат,
Одетых в красный цвет.

*Строфы Босуэла*

Покинув аванпосты регулярной армии, где царил образцовый порядок, и достигнув расположения войска пресвитериан, Мортон не мог не почувствовать разительного отличия в дисциплине и с тревогой подумал о будущем. Разногласия, волновавшие военный совет, теперь захватили всех, вплоть до последнего рядового. Дозоры и патрули повстанцев охотнее занимались жаркими спорами об истинных причинах гнева господня и определением того, что есть эрастианская ересь, чем разведкой и наблюдением за врагом, хотя уже доносилась барабанная дробь и звуки труб королевской армии.

Правда, на длинном и узком Босуэлском мосту, которого противник не мог миновать, повстанцами была выставлена охрана; но и здесь люди были разобщены взаимной враждой и пали духом в ожидании грозного неприятеля,— понимая, что их поставили на самый опасный участок, они уже стали подумывать, не уйти ли им в расположение главных сил. Это было бы окончательной гибелью, так как от сохранения за собой этой переправы или от ее потери зависела судьба предстоящего боя. За мостом начиналось открытое ровное поле с разбросанными на нем небольшими зарослями кустарника; на таком поле сражения недисциплинированные отряды повстанцев, без пушек и с очень слабой кавалерией, не могли бы сдержать натиск регулярных частей.

Внимательно осмотрев подступы к переправе, Мортон пришел к выводу, что если занять два-три дома и рощу на левом берегу Клайда, и там же заросли ольшаника и орешника, и забаррикадировать проезд и ворота, высившиеся, по обыкновению, над центральной аркой Босуэлского моста, то его легко можно будет оборонять даже от превосходящих сил неприятеля. Он отдал соответствующие распоряжения и приказал свалить парапеты на мосту, по ту сторону ворот, чтобы они не могли служить укрытием для противника, когда он предпримет попытку

прорваться. Дозорных, оставленных на этом важнейшем участке, он призвал быть начеку и зорко охранять мост и пообещал тотчас же прислать сильное подкрепление. Он заставил их выслать на тот берег разведчиков, которые должны были следить за продвижением неприятеля и возвратиться назад, как только покажется его авангард. Наконец, он их обязал регулярно извещать главные силы обо всем, что будет ими замечено. Солдаты в минуту опасности быстро оценивают по достоинству своих офицеров. Благоразумие и распорядительность Мортона завоевали ему доверие этих людей, и они, ободрившись и успокоившись, принялись укреплять по его указанию занятую ими позицию и, когда он снова тронулся в путь, проводили его троекратным приветственным криком.

Теперь Мортон поскакал во весь опор по направлению к главным силам повстанцев. Прибыв в лагерь, он был поражен и потрясен представшей перед ним картиной полного смятения и раздора, в момент, когда так существенны были строгий порядок и единение. Вместо того чтобы построиться боевой линией и повиноваться распоряжениям своих офицеров, повстанцы толпились беспорядочной массой, кипевшей и рокотавшей, словно волны морские; тысячи глоток говорили или, вернее, вопили все вместе, но никто никого не слушал. Возмущенный этим безобразным зрелищем, Мортон решил пробиться сквозь толчею и выяснить, а если возможно, и устранить причину столь неуместного беспорядка. Пока он поглощен этим занятием, мы познакомим читателя с тем, что Мортон узнал лишь позднее.

Повстанцы собрались для проведения дня покаяния; так же как пуритане в предыдущей гражданской войне, они считали это наилучшим способом разрешения всех трудностей и разногласий. Обычно для этого назначали любой будний день, но на этот раз пришлось остановиться на воскресенье, так как времени было в обрез, а враг находился рядом. В центре лагеря была установлена временная кафедра или, точнее, помост под навесом; согласно утвержденному распорядку, он должен был быть предоставлен сначала достопочтенному Питеру Паундтексту, как старейшему из наличных в войске повстанцев священников. Но пока этот почтенный служитель церкви медленными и размеренными шагами приближался к приготовленной для него трибуне, его опередил неожиданно появившийся Аввакум Многогневный, тот одержимый безумием проповедник, внешность которого так поразила Мортона, когда он увидел его на заседании военного совета после победы при Лоудон-хилле. Неизве-

стно, действовал ли он под влиянием или по наущению камеронцев, либо его подтолкнули использовать случай и обратиться с увещаниями к столь многолюдному сборищу собственное расстроенное воображение и соблазн взойти на бывшую перед ним свободную кафедру. Известно лишь то, что он тут же использовал представившуюся возможность и, вскочив на кафедру, посмотрел вокруг себя диким, блуждающим взором и, не обращая внимания на ропот многих присутствующих, открыл Библию и прочитал в качестве исходного текста для своей проповеди следующий стих из тринадцатой главы Второзакония: «...появились в нем сыны Велиала из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: «пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», вслед за чем углубился в изложение своей темы.

Речь Многогневного была в такой же мере дикой и несообразной, в какой неожиданным и несвоевременным было его вторжение на трибуну, но она била в самую точку, так как поднимала самые больные вопросы, обсуждение которых, с общего согласия, предполагалось отложить до более благоприятной поры. Он не упустил решительно ничего, что имело хотя бы малейшее отношение к обуревавшим их распрям. Обвинив умеренных в том, что они впали в ересь, что пресмыкаются перед властью насильников, что ищут мира с врагами господними, он затем назвал имя Мортона и обрушился на него, утверждая, что он один из тех сынов Велиала, которые, как сказано в приведенном им тексте, вышли из среды их, чтобы соблазнить жителей града сего и предаться ложным богам. Мортону и всем тем, кто идет вслед за ним или одобряет его образ действий, Многогневный возвестил ярость и мщение; он увещевал всех, кто хочет остаться чистым и незапятнанным, немедленно покинуть ряды нечестивых.

— Не страшитесь,— говорил он,— ни конского ржания, ни блеска доспехов. Не ищите помощи у египтян, не ищите ее у врага, будь он так же неисчислим, как акриды, и так же свиреп, как драконы. Упования их — не наши упования, столпы их — не наши столпы; может ли быть иначе, если тысяча побежит от единого, а двое обратят в бегство десять тысяч врагов! Я видел этою ночью видение и слышал голос, сказавший: «Аввакум, возьми лопату и отдели зерно от мякины, дабы не пожрало обоих пламя негодования и не спалила молния ярости». И я говорю вам: возьмите этого Генри Мортона, этого мерзостного Ахана, принесшего с собой то, что проклято господом, и побратавшегося с врагами в их стане, возьмите его, и побейте

каменьями, и сожгите в огне, дабы отвратить гнев господень от чад ковенанта. Он не облекся в одежды вавилонские, но продал одежды праведника жене Вавилона: он не взял двухсот сиклей чистого серебра, но предал истину, которая драгоценнее серебряных сиклей или золота в слитках.

Эти яростные нападки, столь внезапно обрушившиеся на одного из наиболее деятельных вождей пресвитерианского войска, вызвали среди слушателей целую бурю. Некоторые потребовали немедленно переизбрать офицеров и не допускать на командные должности никого, прикоснувшегося, по их выражению, к тому, что проклято господом, или склонного мириться с ересями и язвами времени. Настаивая на своем требовании, камеронцы громко кричали, что кто не с ними, тот против них, что теперь не время отказываться от важнейших пунктов священного ковенанта шотландской церкви, если они ждут божьего благословения своему оружию и своему делу, и что в их глазах умеренный пресвитерианин немногим лучше, чем прелатист, антиковенантер или безбожник.

Подвергшиеся нападению с негодованием отвергли обвинения в преступной снисходительности и в отпадении от истинной веры и, в свою очередь, обвиняли обвинителей в вероломстве, а также в безумном и нелепом стремлении во что бы то ни стало посеять в рядах войска несогласия и раздоры, тогда как даже самому беспечному среди них ясно, что, лишь объединив свои силы, они смогут — и то только-только — устоять перед врагом. Паундтекст и еще двое или трое из его прихожан пытались было сдержать разыгравшиеся страсти и обращали к своим противникам слова патриарха: «Да не будет вражды между мной и тобой, и твоими пастырями и моими пастырями, ибо мы братья». Но никто не слушал этих миролюбивых призывов. Тщетно сам Берли, понявший, что этот раздор угрожает неминуемой гибели, возвышал свой суровый и мощный голос, требуя молчания и подчинения дисциплине. Дух неповиновения захватывал все большее число собравшихся пресвитериан; речь Аввакума Многогневного, казалось, заразила безумием его слушателей. Наиболее благоразумная и робкая часть собравшихся покинула поле, считая, что все потеряно и дальнейшая борьба безнадежна. Другие обращали смиренные, согласно их весьма неточному выражению, мольбы к вновь избранным офицерам и, неистово вопя и беснуясь, бессмысленно и беспорядочно, как и все на этом злосчастном собрании, отрешали от должности прежних. В этот момент, когда армия, в полном смятении, готова была распасться, и прибыл на поле Мортон. Его появление

вызвало громкие приветственные клики одних и проклятия и угрозы других.

— Что означает этот пагубный беспорядок, да еще в такой опасный момент? — воскликнул он, обращаясь к Берли, который, устав от бесплодных усилий восстановить порядок и дисциплину, стоял, опираясь на свой палаш и взирая с мрачным отчаянием на окружающее.

— Это значит,— ответил он,— что господь отдал нас в руки наших врагов.

— Нет! — воскликнул Мортон (его громкий и решительный голос заставил многих прислушаться к тому, что он говорил).— Неверно, что господь покидает нас,— мы сами покидаем его, мы покрываем себя позором, унижая и предавая дело свободы и нашей религии. Слушайте меня,— продолжал он, взбегая на кафедру, которую принужден был оставить пришедший в полное изнеможение Аввакум Многогневный.— Я привез от врага предложение немедленно начать мирные переговоры. Однако он требует, чтобы мы сначала сложили оружие. Могу вас заверить, мы в состоянии оказать ему достойное сопротивление, но только в том случае, если вы будете вести себя, как подобает мужчинам. Решайте же наконец: война или мир? Время, предоставленное нам для решения, уже на исходе. Пусть в будущем не станут о нас говорить, что шесть тысяч вооруженных шотландцев не были ни достаточно храбрыми, чтобы выйти на поле брани и стоять стеною, ни достаточно благоразумными, чтобы заключить с врагом мир, ни даже мудрыми мудростью трусов, чтобы своевременно отступить. Чего стоят споры о мелочах в церковном устройстве и управлении, когда разрушение грозит всему зданию? Вспомните, братья мои, что последнее и самое страшное бедствие, какое наслал господь на некогда избранный им народ, последнее и самое страшное наказание за его слепоту и бесчувственность — это те кровавые распри, которые раздирали на части город даже тогда, когда враг уже ломился в ворота.

Некоторые из стоявших вокруг ответили на речь Мортона одобрительными криками, другие — улюлюканьем, свистом и восклицаниями: «По шатрам, о Израиль!»

Заметив, что колонны противника появились уже на правом берегу Клайда и направляются к мосту, Мортон, указывая рукой на врага, изо всех сил прокричал:

— Прекратите ваш бессмысленный рев, взгляните туда, вон противник! Удержим ли мы в своих руках мост или нет, от этого зависит и наша жизнь, и надежда на отвоевание наших

законов и наших свобод. Я докажу, что найдется такой шотландец, который сумеет умереть, защищая их. Кто любит отчизну, за мной!

Толпа повернулась в ту сторону, куда он указывал. При виде блестящих рядов английской гвардейской пехоты, сопровождаемой бесчисленными эскадронами конницы, при виде канониров, устанавливающих пушки против моста, при виде закутанных в пледы горцев, искавших брод, и длинной вереницы войск, предназначенных для поддержки атаки, повстанцы примолкли, пораженные этим зрелищем, словно оно являлось для них полною неожиданностью, а не тем самым, что им должно было предвидеть. Люди растерянно устремляли глаза друг на друга, на своих командиров, и их взгляды были как у больного, очнувшегося после припадка безумия. Впрочем, когда Мортон, спрыгнув с трибуны, решительными шагами направился к мосту, за ним последовало около сотни юношей, большею частью тех, кто находился под его непосредственною командой.

Берли повернулся к Мак-Брайеру:

— Эфраим,— сказал он,— через бренную мудрость этого нетвердого в своей вере юноши провидение указует нам спасительный путь. Пусть тот, кому дорог свет истины, следует за Белфуром Берли!

— Остановись! — воскликнул Мак-Брайер.— Разве Генри Мортон или подобный ему достоин указывать нам, когда выходить и когда входить? Остановись, оставайся с нами! Я боюсь измены, я боюсь, что этот ни во что не верующий Ахан предал нас врагу. Ты не смеешь идти вместе с ним. Ты один — наши колесницы и наши всадники.

— Не удерживай меня,— отвечал Берли.— Он прав: если враг овладеет мостом, надеяться не на что. Неужели чада колена этого могут быть названы более мудрыми и более храбрыми, чем чада святилища? Стройтесь в ряды под командованием ваших вождей, позаботьтесь, чтобы у нас не было недостатка в людях и порохе, и будь проклят тот, кто отвернется от страды сего великого дня.

Сказав это, он быстро пошел по направлению к мосту; за ним последовало около двухсот наиболее храбрых и ревностных приверженцев его партии. После ухода Мортона и Берли в лагере воцарилась мертвая и зловещая тишина. Командиры воспользовались наступившим успокоением и принялись наводить хоть некоторый порядок среди своих подчиненных, увещевая тех, кто был не прочь лечь ничком на землю, чтобы укрыться от ожидаемого обстрела. Повстанцы перестали оказывать своим

начальникам сопротивление или вступать в препирательства с ними, но страх, заставивший их забыть свои распри, вытравил из них и мужество. Они покорно, словно стадо овец, позволяли строить себя в ряды, но утратили решимость и волю к действию; они испытывали щемящую тоску в сердце, порожденную внезапным приближением грозной опасности, о которой никто не думал, пока она была далеко. Впрочем, их построили более или менее правильной боевой линией, и теперь, когда они снова сделались похожи на армию, их вождям оставалось только надеяться, что какое-нибудь счастливое обстоятельство поднимет их дух и восстановит былую отвагу.

Тимпан, Паундтекст, Мак-Брайер и прочие проповедники обходили ряды и уговаривали бойцов затянуть псалом. Однако суеверные среди них отметили как дурное предзнаменование, что их песнь восхваления и торжества превратилась в ропот смятения и больше походила на покаянные строфы осужденных на смерть, поющих на эшафоте пред казнью, чем на смелый и гордый гимн, разносившийся недавно над Лоудон-хиллом и звучавший словно предвестие грядущей победы. К печальному пению вскоре добавился бурный аккомпанемент: королевские солдаты кричали, горцы вопили, со стороны врага начали греметь пушки, с обеих сторон послышалась ружейная трескотня, и Босуэлский мост вместе с прилегающими участками берега окутала густая завеса дыма.

## ГЛАВА XXXII

Как струи частого дождя,
Как туча острых стрел,
Шотландцы падают кругом
Рядами мертвых тел.

*Старинная баллада*

Неприятель начал яростную атаку на мост несколько раньше, чем Мортон и Берли присоединились к оборонявшим его повстанцам. Два полка гвардейской пехоты, слившись в плотную колонну, устремились к реке; одна ее часть, рассыпавшись по правому берегу, открыла огонь по защитникам, тогда как другая хлынула на мост, с тем чтобы вытеснить их оттуда и овладеть переправой. Повстанцы храбро и стойко выдержали атаку; в то время как некоторые из них отвечали на огонь из-за реки, другие обстреливали противоположный конец моста и подступы, по которым солдаты пытались к нему прибли-

зиться. Последние несли немалый урон, но все-таки продвигались вперед, и голова их колонны была уже на мосту, когда прибытие Мортона изменило положение дел; его стрелки, ведя меткий, прицельный и непрерывный огонь, заставили наступавших отойти от моста с большими потерями. Королевские войска снова пошли на приступ и снова, с еще большими потерями, были отбиты; в этот момент подоспел Берли со своими людьми. С обеих сторон велась ожесточенная стрельба, и исход боя все еще оставался неясным.

На возвышенности крутого правого берега можно было различить Монмута на великолепном белом коне; он направлял, ободрял и воодушевлял солдат. По его приказанию пушки, обстреливавшие до этого времени главные силы пресвитериан, были повернуты против защитников моста. Но громоздкие и неповоротливые орудия, действовавшие в те времена гораздо медленнее, чем теперь, не нанесли ожидаемого урона противнику и даже не устрашили его. Повстанцы, прячась в рощицах на берегу или в уже упоминавшихся нами домах, стреляли из-за укрытия, тогда как роялисты благодаря мерам предосторожности, принятым Мортоном, были открыты вражеским выстрелам. Нападавшие так долго топтались на месте и встретили настолько упорное сопротивление, что их генералы начали сомневаться в конечном успехе. В этот момент Монмут соскочил с коня и, собрав гвардейцев, повел их снова в отчаянную атаку. За ним тотчас последовал Дэлзэл, который стал во главе отряда ленокских горцев, бросившихся вперед с устрашающим криком «Лохслой» [1]. У защитников моста стал ощущаться недостаток в пулях и порохе. Тщетно посылали они гонца за гонцом к главным силам пресвитерианской армии, стоявшим в бездействии в тылу на открытом поле, сначала требуя, потом умоляя о высылке подкреплений и столь необходимых им боевых припасов. Страх, оцепенение и разброд достигли здесь такого предела, что, в то время как передовая позиция, от которой зависело их собственное спасение, настоятельно нуждалась в немедленной помощи, не нашлось никого, кто был бы способен распорядиться или хотя бы повиноваться приказу.

По мере того как ослабевал огонь защитников моста, усиливался огонь нападавших, наносивший большие потери повстанцам.

---

[1] Это был девиз или боевой клич клана Мак-Фарленов. Так называлось озеро близ горловины Лох-Ломонда, в самом центре их давних владений на берегу этого чудесного внутреннего моря.

Воодушевляемые примером и увещанием своих генералов, солдаты овладели частью моста и начали разбирать устроенную у ворот баррикаду. Ворота были разбиты; бревна, стволы деревьев и другие подручные материалы, пошедшие на ее постройку, растащены и сброшены в реку. Это было сделано, впрочем, не без противодействия пресвитериан. Мортон и Берли бились впереди своих воинов, призывая их встретить пиками и алебардами штыки гвардейцев и палаши горцев. Но те, что шли за вождями, начали пугаться этого неравного боя; они уходили по одному или по двое, по трое в распоряжение главных сил. Напором вражеской колонны, пробивавшей себе путь оружием, оставшиеся были вытеснены с моста. Теперь, когда освободился проход, противник сплошною массой устремился в него. Однако мост был узким и длинным, что затрудняло переправу большого количества войск и делало ее опасной. Тем, кто первыми прошли по мосту, оставалось еще овладеть домами, из окон которых ковенантеры продолжали вести огонь. В этот критический момент Берли и Мортон оказались рядом.

— Еще есть время,— сказал первый,— прежде чем они успеют построиться, бросить на них кавалерию; с божьей помощью мы могли бы отбить у них мост: итак, торопись привести сюда конницу, а я тем временем продержусь с этими уставшими, но стойкими людьми.

Мортон понял значение этого плана и, вскочив на коня, которого Кадди держал наготове в кустарнике, помчался к кавалерийскому отряду, состоявшему сплошь из одних камеронцев. Не успел он еще объяснить, с какою целью к ним прибыл, как его встретили восклицаниями.

— Он спасается бегством! — кричали повстанцы.— Трусливый предатель бежит, как олень от охотников, он покинул посреди сечи нашего храброго Берли, он оставил его в неравном бою!

— Я не бегу,— воскликнул Мортон.— Вы же видите, что я не бегу. Я прибыл за вами, чтобы повести вас в атаку. Вперед, смелее, мы еще сумеем отбить мост.

— Не трогайтесь с места, не трогайтесь! — раздавались громкие крики в рядах.— Он предал нас врагу!

Пока Мортон настаивал, увещевал и тщетно приказывал последовать за собой, благоприятный момент был упущен. И после того как въезд на мост и все его оборонительные сооружения были захвачены противником, Берли и его люди начали отходить к главным силам; их поспешное отступление не могло,

разумеется, вселить в остальных веру в свои силы, чего им очень недоставало.

Между тем королевские войска беспрепятственно переправлялись по мосту и строились в боевую линию перед ним. Клеверхауз, следивший за ходом боя с противоположного берега, словно ястреб, замерший на скале и выжидающий, когда можно будет ринуться на добычу, выбрав подходящий момент, во главе своей кавалерии перешел на рысях через мост; проведя эскадроны частью через интервалы следующей в боевом порядке пехоты, частью обогнув ее с обеих сторон, он построил их на обширном и ровном поле и тотчас же понесся с основной массой всадников на ковенантеров, атакуя их с фронта, тогда как два других конных отряда угрожали их флангам. Армия пресвитериан пребывала в таком состоянии, что одна лишь угроза атаки должна была неизбежно породить панику. Повстанцы пали духом и лишились остатка мужества; они не могли устоять перед конной атакой и всеми ее ужасами, поражающими одновременно и зрение и слух: несущимися во весь опор лошадьми, сотрясающейся под их копытами землей, сверканием обнаженных клинков, развевающимися от встречного ветра плюмажами и дикими воплями всадников. Передние ряды повстанцев открыли беспорядочный и редкий огонь, но задние, не дожидаясь, пока на них налетит конница, покинули строй и бросились спасаться бегством. Меньше чем через пять минут их настигли кавалеристы, нещадно коловшие и рубившие беглецов. Покрывая шум битвы, гремел колос Клеверхауза, кричавшего своим лейб-гвардейцам: «Бейте их, бейте! Никакой пощады, помните о Ричарде Грэме!» Драгуны — многие из них принимали участие в неудачной битве при Лоудон-хилле — не нуждались в призывах к отмщению, тем более что они могли упиваться им почти безо всякой опасности для себя. Их палаши вдоволь напились крови беглецов, не оказывающих им сопротивления. В ответ на мольбы о пощаде раздавались лишь крики, которыми преследовавшие сопровождали наносимые им удары. Поле боя представляло собой страшную картину резни, бегства и преследования.

Около тысячи двухсот повстанцев, стоявших отдельно от главных сил, несколько в стороне от них, и не подвергнувшихся поэтому кавалерийской атаке, побросали оружие и сдались на милость победителя при приближении герцога Монмута во главе больших сил пехоты. Этот великодушный вельможа даровал им пощаду, о которой они молили. Носясь на своем быстром, как вихрь, коне по всему полю битвы, он уговаривал солдат

прекратить резню с такой же настойчивостью, с какою недавно увещевал их идти в бой, чтобы добиться победы. Выполняя это гуманное дело, он столкнулся с генералом Дэлзэлом, призывавшим свирепых горцев и волонтеров королевского ополчения показать свою преданность королю и отчизне, заливая пламя мятежа кровью мятежников.

— Вложите шпагу в ножны, я требую этого, генерал! — воскликнул герцог.— Велите трубить отбой. Довольно кровопролития, пощадите введенных в заблуждение подданных короля!

— Повинуюсь вашей светлости,— сказал старый вояка, вытирая свою окровавленную шпагу и вкладывая ее в ножны,— но вместе с тем считаю нужным предупредить, что сделано далеко не все, чтобы устрашить этих бесноватых мятежников. Известно ли вашей светлости, что Бэзил Олифант собрал сельских дворян и состоятельных фермеров с запада и собирается идти на соединение с ними?

— Бэзил Олифант? — переспросил герцог.— Кто он и что собой представляет?

— Ближайший наследник по мужской линии последнего графа Торвуда. Он недоволен правительством потому, что оно отвергло его притязания на имущество, оставленное покойным графом, вопреки порядку наследования, леди Маргарет Беллендеи. Я думаю, что он надеется получить от мятежников выскользнувшее из его рук наследство.

— Каковы бы ни были его побуждения,— ответил Монмут,— ему придется распустить свою банду, так как армия повстанцев разбита наголову и больше собраться не сможет. Итак, кончайте преследование.

— Это дело вашей светлости — приказывать и отвечать за свои приказания,— ответил Дэлзэл и против воли отдал распоряжение прекратить преследование мятежников.

Однако горячий и мстительный Клеверхауз был уже далеко и не слышал сигнала отбоя; он продолжал во главе своих лейбгвардейцев безостановочное и кровавое преследование повстанцев, разгоняя и рубя всех, кого только ему и его солдатам удавалось настигнуть.

Волна беглецов увлекла с поля боя и Берли и Мортона. Они попытались оборонять улицы Гамильтона, но пока они силились остановить бегущих и заставить их сражаться, кто-то прострелил Берли правую руку.

— Отсохни рука у того негодяя, кто произвел этот выстрел! — воскликнул Берли, когда палаш, которым он размахивал

над головой, беспомощно повис у него сбоку.— Я не могу больше сражаться [1].

Затем, повернув коня, он выбрался из этой сумятицы. Мортон, убедившись, что, если он не откажется от своих тщетных попыток остановить беглецов, его неминуемо ждет или смерть, или плен, последовав за верным Кадди, пробился сквозь толпу и, так как он был на хорошем коне, перескочил через несколько изгородей и оказался в открытом поле.

Достигнув первой возвышенности, они остановили коней и, оглянувшись, увидели, что вся окрестность полна спасающихся от погони мятежников и преследующих их лейб-гвардейцев; дикие вопли и улюлюканье этих последних, когда они расстреливали пленных, смешивались с криками и стонами жертв.

— Им уже не поднять головы,— сказал Мортон.

— У них сняли голову, совсем так, как я откусываю головку у лука,— подхватил Кадди.— О, господи! Взгляните, как сверкают палаши. Да, война — страшная вещь. И придется же потрудиться тому, кто захочет заманить меня опять на эту работу. Но, бога ради, давайте нажмем!

Мортон счел необходимым последовать совету своего верного оруженосца. Они припустили коней и поехали, не меняя аллюра, в сторону гористой и дикой местности, где, как они думали, собрались беглецы, чтобы сообща либо защищать свою жизнь, либо добиваться сносных условий капитуляции.

## ГЛАВА XXXIII

От неба
Им нужно сердце льва, дыханье тигра
И лютость их в придачу.

*Флетчер*

Наступил вечер. Уже больше двух часов ехали Мортон и Кадди и не встретили никого из своих злосчастных товарищей. Они выехали на заболоченную пустынную местность и приближались к большой, уединенно расположенной ферме, стоявшей в том месте, где начиналась дикая, глухая долина; другого жилья поблизости не было.

— Наши кони,— сказал Мортон,— больше не выдержат, им нужен отдых и корм. Попробуем устроить их здесь.

---

[1] Этот эпизод и восклицание Берли заимствованы из хроник.

Говоря это, он направился к дому. Все свидетельствовало о том, что в нем были люди: из трубы валил густой дым, у дверей виднелись свежие следы подков. В доме слышались голоса. Но все окна нижнего этажа были закрыты ставнями, и когда наши путники постучали в дверь, им никто не ответил. После тщетных просьб впустить их они направились в конюшню или, точнее, сарай с намерением, поставив там лошадей, снова попытаться проникнуть в дом. В сарае они нашли десять — двенадцать лошадей. Измученный вид, рваная сбруя и изрядно потрепанные седла военного образца — все это свидетельствовало о том, что владельцы их — такие же спасшиеся бегством повстанцы, как и вновь прибывшие.

— Эта встреча к добру,— сказал Кадди,— у них куча мяса, дело ясное, потому что вот свежая шкура, что была на быке с полчаса назад, она еще теплая.

Ободренные всем этим, они вернулись к дому и, объявив, что они такие же ковенантеры, как и те, кто заперся изнутри, стали требовать, чтобы им отворили дверь.

— Кто бы вы ни были,— послышался наконец из окна после упорного молчания чей-то грубый, брюзгливый голос,— не мешайте тем, кто скорбит об опустошении и пленении их отчизны, кто занят исследованием причин гнева господня и вероотступничества, дабы убрать с пути нашего камни преткновения, о которые мы споткнулись.

— Это дикие виги с запада,— прошептал на ухо Мортону Кадди,— узнаю их язык. Дьявол меня возьми, если я хочу встретиться с ними.

Однако Мортон продолжал настойчиво требовать, чтобы им отворили, и, так как его уговоры не действовали, он открыл одно из окон и, толкнув легко подавшиеся створки ставен, перешагнул через него в просторную кухню, откуда раздавался услышанный ими голос.

За ним последовал Кадди, пробурчавший сквозь зубы, когда просовывал в окно голову, что здесь, по крайней мере, нет, кажется, на огне горячей похлебки. Господин и слуга оказались в обществе десятка вооруженных людей, сидевших возле огня, на котором готовился ужин, и погруженных, видимо, в благочестивые размышления.

Среди угрюмых и мрачных лиц, освещенных бликами пламени, Мортон без труда узнал некоторых из тех самых фанатиков, которые неизменно противодействовали всем сколько-нибудь умеренным мероприятиям, и вместе с ними их знаменитого пастыря, неистового Эфраима Мак-Брайера, и сумасшедшего

Аввакума Многогневного. Камеронцы не двинулись с места и ни словом, ни жестом не приветствовали своих товарищей по несчастью; они внимательно слушали тихое и мерное бормотанье Мак-Брайера, молившегося о том, чтобы господь всемогущий отвел свою руку от избранного народа и не погубил его в день гнева своего. Они знали о присутствии среди них насильно вломившихся посторонних, об этом можно было судить по угрюмым и негодующим взглядам, которые они иногда исподлобья на них бросали.

Поняв, в какую недружественную компанию он опрометчиво вторгся, Мортон начал подумывать об отступлении, но, оглянувшись, не без тревоги заметил, что у окна, через которое он проник в эту комнату, стоят два дюжих, вооруженных до зубов камеронца. Один из этих не предвещавших ничего доброго часовых шепнул на ухо Кадди:

— Сын бесценной женщины, благословенной Моз Хедриг, не соединяй дольше судьбы своей с судьбой этого исчадия гибели и предательства, иди своей дорогой и поторапливайся, ибо ангел мщения уже за твоею спиной.

При этом он показал на окно, через которое Кадди, не раздумывая, и выпрыгнул, так как полученное им дружеское предупреждение ясно указывало на угрожающую опасность.

«Уж эти мне окна! Не везет мне с ними, и все! — была его первая мысль; второй была мысль о вероятной участи его господина: — Они прикончат его, эти злодеи, и еще будут думать, что сделали доброе дело! Поскачу-ка я назад, в Гамильтон, да погляжу, нет ли кого из наших, чтобы выручить его в трудный час».

Мысленно произнеся эти слова, Кадди поторопился в конюшню и, выбрав лучшую лошадь вместо своего загнанного коня, помчался в задуманном направлении.

Топот его лошади на короткое время нарушил благочестивую сосредоточенность камеронцев. Едва он замер вдали, как Мак-Брайер кончил молиться. Камеронцы, слушавшие его со склоненными головами и опустив глаза, теперь подняли их и устремили на Мортона хмурые взгляды.

— Вы как-то странно смотрите на меня, господа,— сказал он, обращаясь к присутствующим.— Решительно не понимаю, чем это вызвано.

— Стыдись! Стыдись! — вскричал Многогневный, вскакивая со своего места.— Слово, которое ты отринул, станет скалою, что раздавит тебя. Копье, которое ты жаждал сломать, пронзит твое тело. Мы молились, мы взывали к господу, мы

просили его указать нам жертву, чтобы искупить грехи нашей паствы, и вдруг тот, в ком и начало и корень зла, предан господом в наши руки. Как тать, проник он в окно; он — баран, пойманный в чаще, чья кровь станет жертвенным возлиянием, чтобы отвратить кару от церкви, и самое место это будет впредь называться Иегова-Ире, ибо господь предусмотрел здесь заклание. Восстаньте же, вяжите вервием жертву, ведите к рогам жертвенника!

Камеронцы поднялись; Мортон горько пожалел о своей торопливости, приведшей его в их общество. При нем была только шпага, его пистолеты остались в карманах седла, и так как виги располагали огнестрельным оружием, вооруженное сопротивление едва ли могло его спасти. Но вмешательство Мак-Брайера отсрочило его смерть.

— Погодите; не торопитесь, братья мои, не обрушивайте слишком поспешно мечи, дабы кровь невинного не раздавила нас своей тяжестью. Итак,— сказал он, обращаясь к Мортону,— мы сначала поговорим с тобой, мы установим твою виновность и лишь потом отмстим за дело, которому ты изменил. Разве на всех собраниях нашего войска,— продолжал он,— ты не боролся, твердый, как кремень, с истиною?

— Боролся, боролся,— раздались глухие голоса вигов.

— Он всегда настаивал на мире с язычниками,— сказал один.

— И стоял горою за черное и страшное зло индульгенции,— добавил второй.

— И собирался предать наше войско в руки Монмута! — крикнул третий.— И он первый оставил честного и мужественного Берли, когда тот грудью защищал мост. Я видел его на равнине верхом на коне, которого он искровянил шпорами, гораздо раньше, чем прекратилась перестрелка у моста.

— Господа,— сказал Мортон,— если вы хотите одолеть меня криками и отнять мою жизнь, не дав мне ответить, то это, по всей вероятности, в вашей власти. Но, свершив это убийство, вы согрешите и пред богом и пред людьми.

— Говорю вам, выслушайте этого юношу,— сказал Мак-Брайер.— Небо свидетель, что мы скорбели о нем душою, жаждали, чтобы он увидел свет истины, чтобы отдал свои дарования на защиту ее. Но он ослеплен своими суетными и бренными знаниями и презрел свет, сиявший пред ним.

Крики стихли, и Мортон воспользовался наступившей тишиной, чтобы напомнить о своей верности общему делу, кото-

рую он доказал во время переговоров с Монмутом, а также о своем деятельном участии в последовавшей затем битве.

— Я не могу, господа,— сказал он,— во всем и до конца идти с вами, не останавливаясь ни перед чем, как вам того бы хотелось; я не могу предписывать тем, кто разделяет мои религиозные убеждения, применять средства, подавляющие верования других, но никто больше меня не стремится к утверждению нашей законной свободы. Должен добавить, что, если бы в военном совете и другие держались того же мнения или пожелали сражаться в бою бок о бок со мною, мы не бежали бы от неприятеля и не занимались сейчас препирательствами, а вложили бы нынешним вечером в ножны наши мечи или размахивали бы ими, торжественно празднуя решительную победу.

— Он произнес это слово,— отозвался один из присутствующих,— он признался в суетном себялюбии, он признался в эрастианстве. Так пусть же он умрет заслуженной смертью.

— Помолчите еще немного,— сказал Мак-Брайер,— ибо я хочу продлить испытание. Разве не с твоей помощью этот язычник Эвендел дважды ускользнул от плена и смерти? Не ты ли спас Майлса Беллендена и его разбойничий гарнизон от карающего меча?

— Я горд подтвердить, что в обоих случаях ваши слова справедливы.

— Вот! Вы видите,— продолжал Мак-Брайер,— снова уста его произнесли слово. И не совершал ли ты этих дел ради мадианитянки, ради отродья епископальной церкви, приманки, которою сатана завлекает в свою западню? Не свершил ли ты всего этого в угоду Эдит Белленден?

— Не вам,— смело ответил Мортон,— судить о моих чувствах к этой молодой леди, но все, что я сделал, я сделал бы и в том случае, если бы ее и вовсе не существовало на свете.

— Ты дерзко восстаешь против истины,— сказал какой-то мрачный камеронец.— Не хотел ли ты, выпустив из замка старую женщину, эту Маргарет Белленден, и ее внучку, помешать мудрому и благочестивому плану Джона Белфура Берли, который задумал привлечь на нашу сторону Бэзила Олифанта, согласившегося сражаться за нас, если мы отдадим ему мирские владения этой женщины?

— Я ничего не слышал об этом замысле,— ответил Мортон,— и уже поэтому не мог помешать ему. И кроме того, неужели ваша религия позволяет вам прибегать к таким недостойным и безнравственным приемам вербовки сторонников?

— Остановись,— несколько смутившись, сказал Мак-Брайер,— не тебе учить тех, кто ревностно исповедует веру, не тебе судить об обязанностях, возлагаемых на нас служением ковенанту. Итак, ты сам признался в своих прегрешениях и в прискорбном забвении нашего дела. Содеянного тобой достаточно, чтобы погубить войско, будь оно столь же неисчислимо, как песчинки на морском берегу. Мы считаем, что не вправе отпустить тебя целым и невредимым, раз ты отдан в наши руки самим провидением, и притом в то самое время, когда мы молились словами праведного Иисуса Навина: «Что делать нам, когда народ Израиля обращается в бегство перед врагом?» И вот появляешься ты, отданный нам как бы промыслом божиим, чтобы на тебя была обрушена казнь, какая подобает всякому, кто сотворит злое Израилю. Итак, запомни мои слова. Сегодня воскресенье, и мы не обагрим рук в этот день пролитием твоей крови, но когда пробьет двенадцатый час, знай, что время твоего пребывания на земле истекло. Поэтому используй оставшиеся мгновенья, ибо они быстротечны. Братья, возьмите пленника и обезоружьте его.

Это приказание было так неожиданно отдано и так быстро исполнено стоявшими сзади и вокруг Мортона, что, прежде чем он смог оказать какое-либо сопротивление, его схватили, обезоружили и связали руки подпругой. После того как с этим было покончено, воцарилось зловещее, ничем не нарушаемое молчание.

Камеронцы расположились вокруг большого дубового стола, посадив с собой связанного и беспомощного Мортона таким образом, чтобы он мог видеть стенные часы, которым предстояло отзвонить по нем погребальным звоном. Судившие его приняли за еду, предложив поесть и назначенной к закланию жертве, но, как легко поверить, у нее не было аппетита. Поужинав, они снова предались своим благоговейным молитвам. Мак-Брайер, чей безудержный фанатизм не был свободен, быть может, от сомнения и раскаяния, принялся молить божество подтвердить каким-либо знаком, что приготовленная для него кровавая жертва не будет отвергнута. Присутствующие замерли в ожидании: они напряженно всматривались и вслушивались, надеясь на какое-нибудь знамение, которое могло бы быть истолковано как одобрение свыше их образа действий; время от времени, следя за приближением стрелки к роковому мгновению, они бросали мрачные взгляды на циферблат. Глаза Мортона нередко обращались туда же; он с беспощадной ясностью понимал, что ничто не может продлить ему жизнь после того, как стрелка

преодолеет ничтожное расстояние, которое ей еще оставалось пройти по кругу до его смертного часа. Вера в свою религию вместе с непоколебимым понятием чести и сознанием своей невиновности позволили ему провести этот страшный отрезок времени гораздо спокойнее, чем он мог бы предположить, если бы ему заранее было возвещено, что он окажется в таком положении. Нечто похожее он уже испытал, находясь во власти Клеверхауза, но тогда его поддерживало страстное и воодушевляющее чувство своей правоты. Тогда он знал, что многие из присутствующих скорбят о его участи, а иные даже восхищены его поведением. Но теперь он был среди тусклоглазых и жестоких изуверов, чьи хмурые лица вскоре склонятся не только что с безразличием, а с ликованием над его бездыханным телом; теперь у него не было друга, чтобы сказать ему доброе слово или взглянуть на него с сочувствием и ободрить; теперь, подстерегая мгновение, когда покажется из ножен предназначенный его умертвить палаш, обнажаемый с мучительной медлительностью — на какой-нибудь волосок за целую вечность,— чтобы он испил каплю за каплей всю горечь неотвратимой смерти,— теперь, естественно, он не мог сохранять такую же твердость духа, какая прежде не покидала его в моменты опасности. Когда он смотрел на тех, кому предстояло стать его палачами, ему начинало казаться, будто их облик и их черты непрерывно меняются, как это бывает с призраками, которых мы видим в бреду: сами они становились выше и шире, а их лица — расплывчатыми. И так как его возбужденное воображение окрашивало по-своему явления реальной действительности, то ему представлялось, что он окружен скорее сонмом демонов, чем живыми людьми; самые стены, казалось, сочились кровью, и легкое тиканье часов сверлило его мозг с такой громкой и мучительной четкостью, как если бы каждый звук был уколом иглы, вонзавшейся в обнаженный слуховой нерв.

Он с ужасом почувствовал, что, стоя у грани, отделяющей здешний мир от мира грядущего, он утрачивает ясность рассудка. С большим усилием он попытался взять себя в руки и отдаться выполнению своих благочестивых обязанностей, но, не совладав с собой во время этой неравной борьбы со своим естеством и не сумев облечь свои мысли в подобающие случаю выражения, он инстинктивно обратился к молитве о спасении души и о стойкости духа, принятой в англиканском богослужении. Мак-Брайер, члены семьи которого также принадлежали к англиканскому исповеданию, тотчас узнал слова, вполголоса произносимые несчастным пленником.

— Недоставало лишь этого,— сказал он, и его бледные щеки залила краска гнева,— чтобы вырвать с корнем из моего сердца плотское отвращение к пролитию его крови. Он прелатист чистой воды, он только скрывался под маской эрастианства, и все, все, что говорили о нем, не может не быть сущею правдой! Да падет кровь его на главу его, гнусный обманщик! Да отправляется он в Тофет с собранной в кучу жалкой стряпней, которую он называет молитвенником.

— И я также воздвигну против него песнь мою! — вскричал сумасшедший.— Как тень солнечная прошла десять ступеней назад по ступеням Ахазовым, дабы было знамение блаженному Езекии, что господь даровал ему исцеление от недуга, так да пройдет она десять ступеней вперед, чтобы злобный был отсечен от народа, чтобы ковенант воссиял в непорочной своей чистоте.

Он вскочил на стул с проворством безумца и, горя желанием приблизить роковое мгновение, собрался было передвинуть стрелку часов; часть камеронцев схватилась за палаши, чтобы немедленно казнить узника, но в этот момент кто-то остановил Многогневного.

— Погоди,— сказал он,— я слышу шум в отдалении.

— Это журчит ручей на камнях,— сказал один.

— Это шелестит ветер в папоротнике,— сказал другой.

«Это несутся вскачь кони,— сказал сам себе Мортон; положение, в котором он находился, придавало необычайную остроту его слуху.— Дай, боже, чтобы то были мои избавители».

Шум быстро приближался и становился все отчетливее.

— Это кони! — крикнул Мак-Брайер.— Посмотрите, узнайте, кто там!

— Враги! — прокричал тот, кто по его приказанию выглянул в окно.

Вокруг дома послышался частый топот, и раздались громкие голоса. Одни камеронцы вскочили с намерением защищаться, другие — бежать. Одновременно были выбиты двери и окна, и в комнате замелькали красные куртки солдат.

— Бей кровавых мятежников! Помни о корнете Грэме! — кричали со всех сторон.

Кто-то погасил свечи, но слабое мерцание очага позволяло противникам различать друг друга. Прогремело несколько пистолетных выстрелов. Виг, сидевший бок о бок с Мортоном, был поражен пулею в то мгновение, когда поднимался со своего места; падая, он всей своей тяжестью навалился на Мортона, увлек его за собой на пол и, умирая, прикрыл его своим телом.

Это обстоятельство, вероятно, спасло Мортону жизнь во время последовавшей затем рукопашной схватки, в которой стреляли и рубились в течение добрых пяти минут.

— Цел ли пленник? — раздался хорошо знакомый Мортону голос полковника Клеверхауза.— Поищите его и добейте того мятежного пса, что стонет вон там!

Оба приказания были тотчас исполнены, и Мортон, с которого сволокли мертвое тело, был поднят на ноги и попал в объятия верного Кадди, залившегося слезами радости оттого, что кровь, покрывавшая платье его господина, была не его кровью. Пока Кадди развязывал ремни, которыми были стянуты руки Мортона, он успел объяснить ему на ухо тайну столь своевременного прибытия лейб-гвардейцев.

— Я пустился искать кого-нибудь из наших людей, чтобы помочь вам выбраться из лап этих проклятых вигов, и наткнулся на отряд Клеверхауза. Вот я и оказался, как говорится, между чертом и морской пучиной и решил повести его отряд за собой: ведь, рубя народ целый день, они к ночи, верно, устали, а там будет новый день, да и лорд Эвендел не может не прийти вам на выручку, и еще Монмут, как сказали драгуны, дает пощаду всякому, кто о ней просит. Так что будьте спокойны: готов поручиться, теперь у нас дело пойдет на лад.

## ГЛАВА XXXIV

Бей, барабанщик, громче бей,
Пусть слышит целый свет,
Что славы час один ценней
Безвестных долгих лет.

*Аноним*

По окончании этой отчаянной схватки Клеверхауз приказал солдатам вынести трупы, задать корм коням, подкрепиться самим и приготовиться к выступлению на рассвете — ночь они проведут на ферме. Отдав эти распоряжения, он повернулся к Мортону и учтиво, почти ласково, проговорил:

— Если бы вы удостоили хоть некоторого внимания мой вчерашний совет, мистер Мортон, то избежали бы опасности с обеих сторон. Впрочем, я уважаю побуждения, которыми вы руководствовались. Вы военнопленный и находитесь в распоряжении короля и Тайного совета, но все же я предоставлю вам относительную свободу: я удовлетворюсь вашим словом, что вы не попытаетесь бежать.

Мортон пообещал все, что от него требовалось: Клеверхауз вежливо поклонился, огляделся по сторонам и кликнул сержанта.

— Сколько пленных, Хеллидей, и сколько убитых?

— Трое убитых в доме, сэр, двое зарублено во дворе и один в саду — итого шесть; пленных четверо.

— С оружием или безоружные? — спросил Клеверхауз.

— Трое вооружены до зубов,— ответил Хеллидей,— один без оружия — надо полагать, проповедник.

— Вот как, стало быть, трубач лопоухой шайки,— сказал Клеверхауз, равнодушно взглянув на пленных.— С этим мы поговорим завтра. Остальных увести во двор, построить солдат в две шеренги и расстрелять. И еще вот что: не забудь занести в полковой дневник, что такого-то числа трое взятых с оружием расстреляны там-то. Как же называется это место?.. Драмсхинелл, так, кажется. За проповедником присматривать до утра; раз он был взят без оружия, его придется подвергнуть небольшому допросу. Или отправим-ка его лучше в Тайный совет, пусть они возьмут на себя хотя бы малую толику этой отвратительной черной работы. С мистером Мортоном обращаться учтиво, и смотри мне, чтобы люди как следует позаботились о конях. Передай моему вестовому: пусть промоет уксусом плечо Дикарю — седло натерло ему небольшую ссадину.

Все эти столь различные приказания — о жизни и смерти, об охране пленных, о том, чтобы промыть плечо у коня,— были отданы одним и тем же бесстрастным и ровным голосом, причем ни одна интонация не указывала, какое из этих распоряжений сам говорящий рассматривает как наиболее важное.

Камеронцам, еще так недавно жаждавшим совершить казнь над своим пленником, теперь самим предстояло подвергнуться ей. Казалось, они были готовы к немедленной смерти; во всяком случае, ни один из них не обнаружил ни малейших признаков страха, когда им было приказано выйти из комнаты, чтобы тотчас же умереть. В эту роковую минуту их поддерживало присущее им суровое воодушевление, и они молча, не дрогнув, вышли. Лишь один из них, переступая порог, посмотрел Клеверхаузу прямо в глаза и произнес глухим, твердым голосом: «Злодеяние отмстится насильнику», на что Грэм ответил презрительной усмешкой.

Едва пленные покинули комнату, как Клеверхауз сел за наскоро приготовленный для него ужин и, пригласив Мортона последовать его примеру, заметил, что для них обоих день выдался достаточно хлопотный. Мортон отказался от пищи; вне-

запная перемена обстоятельств, переход от края могилы к надеждам на жизнь потрясли его до такой степени, что он чувствовал себя совершенно разбитым. Однако он испытывал жгучую жажду и признался, что ему хочется пить.

— От всей души окажу вам эту услугу,— сказал Клеверхауз.— Вот полный мех эля; он должен быть недурен, если только его умеют варить в этих местах, так как виги никогда не дадут на этот счет маху. За ваше здоровье, мистер Мортон,— продолжал он, наполняя элем два рога — один для себя, другой протягивая своему пленнику.

Мортон поднес рог ко рту и собрался уже выпить его, как вдруг под окном грянул залп, за которым последовали, постепенно замирая, глубокие и глухие стоны, возвестившие о судьбе камеронцев, только что покинувших комнату. Мортон вздрогнул и поставил на стол нетронутый рог.

— Вы еще новичок в этих делах, мистер Мортон,— сказал Клеверхауз, осушив совершенно спокойно свой рог,— впрочем, от этого вы в моих глазах ничего не теряете. Вы еще молодой солдат, но привычка, долг и необходимость примиряют человека со всем.

— Убежден,— сказал Мортон,— что ничто никогда не сможет примирить меня с подобными сценами.

— Вы, пожалуй, мне не поверите,— ответил на это замечание Мортона Клеверхауз,— что в начале моего военного поприща я испытывал такой ужас перед пролитием крови, как, вероятно, никто: мне казалось, что она сочится из моего сердца; а теперь послушайте этих вигов, и они расскажут вам, что ежедневно перед завтраком я выпиваю целый стакан еще теплой человеческой крови[1]. Но, в сущности говоря, мистер Мортон, к чему столько думать о смерти, своей, окружающих или кого бы то ни было? Люди умирают ежедневно и ежеминутно, и колокол, отбивая час, возвещает смерть то одному, то другому. К чему колебаться, укорачивая жизнь других, или хлопотать о продлении собственной? Все в этом мире не более как лотерея; вам предстояло умереть в полуночный час: он пробил — вы живы и невредимы, и жребий на этот раз пал на тех, кто собирался покончить с вами. Не предсмертным мукам должны мы отдавать наши помыслы, не надо бояться развязки, которая

---

[1] Автор не осведомлен, говорили ли это о Клеверхаузе. Но о сэре Роберте Грирсоне из Лэгга, столь же беспощадном преследователе пресвитериан, рассказывали, будто вино в его кубке на глазах у всех превратилось в запекшуюся кровь.

неизбежна и может произойти в любое мгновение; единственное достойное нашей заботы — это память, оставляемая за собою солдатом: она подобна пучку лучей, еще долго освещающих небо после того, как солнце скрылось за горизонтом,— вот все, к чему следует нам стремиться, вот то, что отличает смерть храброго от смерти подлого труса. Когда я размышляю о смерти, мистер Мортон,— насколько этот предмет вообще достоин размышлений,— то мечтаю только о том, чтобы умереть на поле сражения, одержав в жарком бою трудную победу, чтобы, испуская последний вздох, слышать победные клики,— вот что было бы достойною смертью, и больше того — ради такой смерти только и стоило жить.

Пока Грэм развивал эти мысли и глаза его горели огнем воинственности, которая была главнейшей чертой его характера, перед ним внезапно, точно из-под пола, выросла окровавленная фигура, и Мортон узнал в ней дикие и страшные черты уже много раз упоминавшегося нами безумца. Его лицо там, где оно не покрылось дорожками запекшейся крови, было бледно, как лицо призрака, ибо рука смерти уже простерлась над ним. Уставившись на Клеверхауза взглядом, в котором все еще вспыхивал огонек безумия, готовый вот-вот навеки угаснуть, он воскликнул с присущим ему диким порывом:

— Ужели ты веришь в твой лук и твое копье, в твоего коня и в твое знамя? И ужели господь не воздаст тебе за невинную кровь? Ужели ты станешь хвалиться своею мудростью и своею отвагою и могуществом? И господь не осудит тебя? Цари, ради которых ты предал душу свою погибели, будут сброшены со своих тронов и изгнаны из страны, и имена их изникнут в забвении, насмешках, проклятиях и ненависти. А ты, который делил с ними чашу бешенства и, испив из нее, стал безумным,— знай, что желания твоего сердца повлекут тебя к гибели и упования гордыни твоей уничтожат тебя. Вызываю тебя пред суд божий, Джон Грэм, к ответу за эту невинную кровь и еще за океаны ее, пролитые тобой прежде.

Произнося эти слова зычным голосом, он сначала провел по окровавленному лицу рукой, а потом поднял ее вверх и держал в таком положении, пока говорил. Затем, видимо ослабев, он тихо добавил:

— Сколь долго, о господи, святый и истинный, ты будешь терпеть, чтобы кровь святых мучеников твоих вопияла к тебе об отмщении.

Пробормотав последнее слово, он повалился навзничь и, прежде чем его голова успела коснуться пола, был уже мертв.

Мортон был глубоко потрясен этой жуткой сценой и в особенности пророчеством умирающего, которое поразительным образом совпадало с только что выраженным самим Клеверхаузом желанием; впоследствии он нередко думал о словах проповедника, оказавшихся вещими. Два драгуна, свидетели происшедшего, несмотря на то что видали всякие виды и успели привыкнуть к подобным сценам, были немало смущены внезапным появлением этого призрака, развязкою и словами, которые ей предшествовали. Один Клеверхауз, казалось, оставался невозмутимо спокойным. В первый момент, когда Многогневный появился пред ним, он схватился было за пистолет, но, увидев, в каком положении этот несчастный, тотчас опустил руку и с полным бесстрастием слушал его предсмертные выкрики.

Когда он упал наземь, Клеверхауз невозмутимым тоном спросил:

— Как он попал сюда? Отвечай же, болван,— добавил он, обращаясь к тому из драгун, который был ближе,— и не заставляй меня считать тебя жалким трусом, испугавшимся полумертвого человека.

Драгун перекрестился и ответил дрожащим голосом, что, вынося трупы, они не заметили этого мертвеца, потому что во время схватки с воинов свалились плащи и прикрыли его собою.

— Вынеси его вон, ротозей, да смотри, чтобы он тебя, чего доброго, не укусил, в опровержение старой пословицы. Новое дело, мистер Мортон, не правда ли: мертвецы восстают из мертвых и даже сталкивают нас со стульев. Придется потребовать от моих негодяев, чтобы они острее оттачивали клинки, прежде они не допускали такой небрежной работы. Но у нас был сегодня нелегкий день, они устали от своего кровавого дела, и их клинки затупились; думаю, мистер Мортон, что и вам не помешали бы несколько часов отдыха?

Сказав это, он зевнул и, взяв в руки свечу, услужливо поставленную пред ним солдатом, вежливо попрощался с Мортоном и направился в приготовленную ему для ночлега комнату.

Мортону также предоставили на ночь отдельное помещение. Оставшись один, он прежде всего вознес благодарность небу, избавившему его от опасности, и притом при посредстве тех, кто еще так недавно казался ему наиболее страшным и

беспощадным врагом. Он также истово помолился, прося господа наставлять его и руководить им, ибо времена наступили такие, когда отовсюду грозят опасности и когда так легко впасть в заблуждение. Успокоив свою душу в молитве к всевышнему, он отдался сну, в котором очень нуждался.

## ГЛАВА XXXV

Юристы сошлись, обвиненье готово.
И суд на местах,— ужасающий вид.

*«Опера нищих»*

После волнений и потрясений минувшего дня Мортон спал до того крепко, что с трудом вспомнил, где он находится, когда его разбудил топот коней, грубые голоса солдат и резкие звуки труб, играющих зорю. Сейчас же вслед за этим пришел сержант, который очень вежливо сообщил, что генерал (Клеверхауз недавно получил этот чин) почтет для себя удовольствием иметь его своим спутником. В известных обстоятельствах учтивое приглашение есть приказ, и Мортон понял слова сержанта именно в таком смысле. Он поторопился одеться и вышел во двор, найдя своего коня под седлом и верного Кадди у стремени. У него и у Кадди были отобраны пистолеты, но в остальном они ничем не походили на пленных. Мортону к тому же было разрешено остаться при шпаге, ношение которой в те времена служило отличительным признаком дворянского звания. Клеверхауз с видимым удовольствием ехал бок о бок с Мортоном, беседуя с ним и ставя его в тупик всякий раз, когда тот начинал уже думать, что по-настоящему понял его характер. Изящество и учтивость его манер, возвышенные и рыцарские представления о служении воина, способность проникать в самую душу людей — все это изумляло и восхищало всякого, кому приходилось с ним сталкиваться; с другой стороны, холодно-безразличное отношение к произволу и жестокости военных властей казалось несовместимым с его качествами общительного и даже любезного светского человека. Мортон не мог удержаться, чтобы не сопоставить его про себя с Белфуром Берли, и эта мысль так его захватила, что он позволил себе высказать ее вслух, когда они оказались наедине, несколько впереди остального отряда.

— Вы правы,— сказал Клеверхауз, усмехаясь,— вы совершенно правы — мы оба фанатики; но между фанатизмом в

вопросах чести и фанатизмом в мрачных и темных суевериях существует различие.

— Но ведь вы оба проливаете кровь, не зная ни пощады, ни угрызений совести,— не сдержавшись, сказал Мортон.

— Конечно,— ответил Клеверхауз так же спокойно,— все дело в том, какую кровь каждый из нас проливает. Существует различие, смею думать, между кровью просвещенных и почтенных прелатов, образованных людей, храбрых солдат и благородных дворян, с одной стороны, и красной жижицей, застоявшейся в жилах этих распевающих псалмы заводных кукол, сумасшедших демагогов и тупых мужланов. Короче говоря, вовсе не все равно, прольете ли вы бутылку благородного, выдержанного вина или выплеснете кружку отвратительного, мутного эля.

— Ваше разграничение слишком тонко для моего понимания,— ответил Мортон.— Всякая искорка жизни — от бога: и та, что теплится в мужике, и та, что теплится в государе; и кто расточительно и бессмысленно уничтожает созданное руками господними, тот должен, во всяком случае, отвечать за свои действия. Например, почему генерал Грэм сейчас отнесся ко мне более снисходительно, чем тогда, когда мы встретились с ним впервые?

— Почему, хотите сказать, вы избежали расстрела? — ответил Клеверхауз.— Извольте, отвечу вам с полной откровенностью. В прошлый раз я знал только одно, а именно, что имею дело с сыном круглоголового бунтовщика и племянником скаредного мелкого землевладельца-пресвитерианина. Теперь я знаю вас значительно лучше: в вас есть кое-что из тех качеств, которые я уважаю и в друге и в недруге. Со времени нашей встречи у леди Маргарет в замке я узнал о вас много нового, и вы, надо полагать, убедились, что мои осведомители были благожелательны к вам.

— И все же...— сказал Мортон.

— И все же,— прервал его Клеверхауз, угадывая ход его мыслей,— вы хотите сказать, что и теперь вы совершенно такой же, как тогда, когда я впервые вас видел? Это верно; но откуда мне было вас знать? Хотя, строго говоря, даже мое нежелание отложить вашу казнь показывает, насколько высоко я уже тогда оценивал ваши способности.

— Неужели, генерал,— отозвался Мортон,— вы надеетесь на мою признательность за подобные знаки высокого уважения?

— Ну, ну, вы придира,— ответил, смеясь, Клеверхауз.— Я хотел сказать, что считал вас совершенно иным, чем вы

оказались в действительности. Читали ли вы когда-нибудь Фруассара?

— Нет,— ответил Мортон.

— Я, пожалуй, не прочь,— сказал Клеверхауз,— упрятать вас месяцев на шесть в тюрьму, чтобы доставить вам удовольствие познакомиться с этим писателем. Его проза заражает меня бо́льшим пылом, чем любое поэтическое произведение. Благородный каноник! С какой подлинно рыцарской сдержанностью выражает он в прекрасных словах скорбь о храбром и знатном воине, гибель которого не могла не печалить, так он был предан своему королю, благочестив в чистоте своего сердца, отважен в борьбе с врагами и верен своей возлюбленной! И он готов оплакивать гибель подобного перла, такого рыцаря среди рыцарей, независимо от того, принадлежит ли он к тому же стану, что сам Фруассар, или находится среди врагов! И вместе с тем этот пытливый и высокородный хронист совершенно равнодушно повествует о том, что там-то и там-то стерто с лица земли несколько сот подлого мужичья, созданного, чтобы весь свой век пахать эту землю; он относится к этому столь же бесстрастно или, быть может, еще бесстрастнее, чем Джон Грэм Клеверхауз.

— Кстати, в вашей власти, генерал, один пахарь,— сказал Мортон,— и за него, несмотря на все ваше презрение к его роду занятий, который, по мнению некоторых философов, не менее полезен для человечества, чем профессия воина, я смиренно пред вами ходатайствую.

— Вы имеете в виду,— сказал Клеверхауз, заглядывая в памятную книжку,— некоего Хетрика, Хеддерика или, погодите, Хедрига. Да, да... Кутберт, или Кадди, Хедриг, вот он где у меня. О, не беспокойтесь за него, только пусть он ведет себя как полагается. Леди из Тиллитудлема недавно уже просила о нем. Их служанка, кажется, выходит за него замуж. Он отделается совсем легко, если только его упрямство не помешает ему.

— Он, по-видимому, не притязает на мученический венец,— сказал Мортон.

— Тем лучше для него,— заметил Клеверхауз,— но, помимо того, если бы даже этому парню пришлось отвечать за более серьезные преступления, я все же не оставил бы его своею заботой, принимая во внимание безумную храбрость, с какою он бросился вчера вечером в наши ряды, моля прийти вам на помощь. А мое правило не покидать человека, проникшегося ко мне безотчетным доверием. Но, говоря по правде, он уже давно у нас на заметке. Хеллидей, подай-ка нашу черную книгу.

Сержант передал своему командиру этот печальной памяти список, в котором в алфавитном порядке были перечислены неблагонадежные лица. Листая черную книгу, Клеверхауз называл попадавшиеся ему имена.

— Гамблгампшен, священник, пятидесяти лет от роду, принял индульгенцию, замкнутый, скрытный и так далее. Так, так... Ага, вот он здесь... Хартеркэт, объявлен вне закона, проповедник, ревностный камеронец, устраивает сборища среди Кэмпсийских холмов... А, вот наконец и он! Хедриг Кутберт; его мать — пуританка чистой воды, сам он — простой и бесхитростный парень, отважный и деятельный, но не слишком скор на выдумку; руки лучше, чем голова, может быть обращен на путь истинный, но из-за своей привязанности к... (Здесь Клеверхауз посмотрел на Мортона, захлопнул книгу и переменил тон.) Верный и преданный — эти слова для меня значат многое. Можете о нем не заботиться, с ним все обойдется благополучно.

— И с такою душой, как ваша,— сказал Мортон,— вам не претит прибегать к средствам мелочной слежки за неизвестными вам людьми?

— Уж не думаете ли вы, что мы сами занимаемся этим? — высокомерно спросил Клеверхауз.— Это священники ради собственных целей собирают для себя материалы, чтобы управлять своей паствой, они отлично знают всякую паршивую овцу в своем стаде. А знаете ли вы, что я уже целых три года располагаю сведениями о вас?

— В самом деле? — спросил Мортон.— Не разрешите ли ознакомиться с ними?

— Охотно,— сказал Клеверхауз,— теперь это не имеет значения, ведь вы не сможете отомстить священнику, поскольку вам, вероятно, придется покинуть на некоторое время Шотландию.

Это было произнесено тоном полного безразличия. Услышав слова, возвещавшие ему изгнание, Мортон невольно содрогнулся в душе, но, прежде чем он успел собраться с мыслями, Клеверхауз начал читать: «Генри Мортон, сын Сайлеса Мортона, полковника кавалерии шотландского парламента, племянник и прямой наследник Мортона из Милнвуда; образование получил поверхностное, но умен и решителен не по летам; отличается во всех телесных упражнениях; относится с безразличием к формам религии, однако склоняется, очевидно, к пресвитерианству; разделяет далеко идущие и опасные взгляды на свободу мысли и слова, представляя собой нечто среднее между свободомыслящим и фанатиком. Вызывает восхищение

и пользуется влиянием среди сверстников; скромный, тихий, сдержанный, но в душе исключительно смел и непреклонен. Он...» Здесь следуют три красных креста, мистер Мортон, что значит: трижды опасен. Теперь вы видите, насколько важною персоною вас считают... Но что нужно от меня этому парню?

В этот момент к ним приблизился всадник и вручил Клеверхаузу письмо. Пробежав его быстро глазами, он презрительно усмехнулся и велел гонцу передать своему господину, что пленные должны быть отправлены в Эдинбург и что другого ответа не будет. Когда всадник отъехал, Клеверхауз, скривив губы, сказал, обращаясь к Мортону:

— Вот еще один из ваших союзников, что покинули вас, или, было бы правильнее сказать, союзников вашего приятеля Берли. Послушайте, каков молодец: «Дорогой сэр (право, не знаю, когда мы настолько с ним сдружились), не соблаговолит ли ваше превосходительство принять мои скромные поздравления...— да, скажу вам,— по случаю победы, осенившей знамена армии его величества короля. Учтите, что мои люди готовы преследовать и перехватывать беглецов и уже взяли некоторое количество пленных», и так далее. Подписано: Бэзил Олифант... Ведь вам знакомо имя этого человека, не так ли?

— Это какой-то родственник леди Маргарет Белленден, сколько я знаю, —ответил Мортон.

— Да,— сказал Грэм,— и наследник по мужской линии из рода ее отца, хотя он им, как говорится, десятая вода на киселе; и, кроме того, воздыхатель прекрасной Эдит, хотя и отвергнутый, как личность мало достойная. Но самое главное — он преданный и восторженный поклонник поместья Тиллитудлем и всего, что к нему относится.

— Он избрал плохой способ сблизиться с семьей Беллендон, вступив в сношения с нашей злосчастной партией,— сказал Мортон, подавляя готовый вырваться вздох.

— О, этот бесценный Бэзил, мистер Мортон,— сума переметная, кто-кто, а он, поверьте мне, вывернется,— сказал Клеверхауз.— Он разошелся с правительством, потому что не ему присудили владения покойного графа Торвуда, которые его милость из своего собственного имущества отказал своей собственной дочери; он был недоволен леди Маргарет, потому что она не обнаружила ни малейшего желания отдать за него свою внучку; он разошелся во взглядах с прелестной Эдит, потому что ей не нравилась его долговязая, смешная фигура. Зато он вступил в тесную дружбу с Белфуром Берли и собрал целый отряд, чтобы оказать ему помощь, в надежде, что этой помощи

не понадобится, то есть что вы нас вдребезги расколете. А теперь этот подлец делает вид, будто он только и помышлял что о службе королю Карлу, и я убежден, что Тайный совет примет его объяснения за чистую монету, так как он найдет способ приобрести в нем друзей. Кончится тем, что несколько сот этих несчастных бездомных фанатиков будет расстреляно или повешено, а этот пронырливый негодяй останется невредимым, укрывшись плащом, сшитым из его якобы нерушимой верности и богато отделанным лисьим мехом бесстыдного лицемерия.

Так, беседуя, они коротали время. Клеверхауз говорил вполне искренне и обращался с Мортоном не как с пленником, но скорее как с другом и приятным попутчиком. Мортон по-прежнему ничего не знал об ожидающей его участи, но общество этого незаурядного человека, поражавшего его игрою своего живого и проницательного ума и глубоким знанием души человеческой, настолько скрасило проведенные с ним часы, что, лишь попав в плен, избавивший его от двусмысленного и опасного положения среди повстанцев и спасший от последствий их подозрительности и ненависти, он впервые с тех пор, как принял участие в общественной жизни, почувствовал себя свободным от тяжелого бремени, которое постоянно его угнетало. По отношению к своей дальнейшей судьбе он уподобился теперь тому всаднику, который бросил поводья на шею коня и, отдавшись таким образом на волю обстоятельств, освободился, по крайней мере, от необходимости пытаться их направлять. Таковы были настроения Мортона во время этой вынужденной поездки.

Между тем численность их отряда непрерывно росла, так как к ним со всех сторон подходили отдельные кавалерийские группы. Почти каждая из них вела с собою несчастных, попавших в их руки. Наконец они подошли к Эдинбургу.

— Наш Тайный совет,— сказал Клеверхауз,— очевидно, чтобы подчеркнуть свой недавний страх шумными торжествами, постановил устроить нечто вроде триумфального въезда с участием нас, победителей, и наших пленных. Не будучи охотником до подобных зрелищ, я предпочитаю уклониться от своей роли и одновременно освободить вас от вашей.

Сказав это, он передал команду над полком Аллану (теперь подполковнику) и, повернув коня в переулок, въехал в город вместе с Мортоном и двумя-тремя слугами. Прибыв к себе —он обычно жил в Кэнонгейте,— Клеверхауз проводил своего пленника в небольшую комнату, напомнив ему, что в соответствии с данным словом он обязан находиться здесь неотлучно.

Проведя приблизительно четверть часа в размышлениях о превратностях последнего периода своей жизни, Мортон услышал доносившийся снизу, с улицы, оглушительный шум и подошел к окну. Звуки труб, грохот барабанов и литавр вместе с криками и воем толпы возвестили ему, что королевская кавалерия торжественно входит в город, как об этом говорил Клеверхауз. Городские власти в сопровождении стражи с алебардами встретили победителей у ворот и теперь двигались во главе общего шествия. Следом за ними пронесли две головы, надетые на длинные пики; перед каждой из этих забрызганных кровью голов несли руки изрубленных на куски страдальцев; те, кто их нес, издевательства ради, то и дело сближали их между собой в жесте мольбы или молитвы. Это были окровавленные останки двух проповедников, павших в битве у Босуэлского моста. Проследовала телега с помощником палача вместо возницы; на ней находились Мак-Брайер и еще двое пленных, очевидно также священники. Они ехали с непокрытыми головами и были закованы в тяжелые кандалы, но смотрели на окружающих скорее с выражением торжества, чем страха или уныния. Казалось, будто они совершенно бесчувственны и к судьбе павших товарищей, о которой наглядно говорили кровавые трофеи у них перед глазами, и к предстоящей им самим казни, предвещаемой всем, что они видели.

За этими пленными, выставленными на позор и осмеяние зрителей, показался кавалерийский отряд; солдаты размахивали клинками, наполняя просторную улицу возгласами и криками, подхваченными воплями и воем беснующейся толпы, которая в любом крупном городе рада орать и неистовствовать на подобных сборищах. В хвосте, за солдатами, двигалась основная масса пленных, впереди которой находились некоторые из их вождей, подвергавшиеся всевозможным оскорблениям и издевательствам. Иные были привязаны к седлу задом наперед и ехали лицом к хвосту лошади, другие — прикованы к длинным железным брусьям, которые им самим надо было держать в руках, подобно испанским галерникам, направляющимся в тот порт, где им предстоит взойти на корабль [1]. Головы погибших

[1] Дэвид Хэкстон из Рэтилета, раненный и взятый в плен в схватке при Эрс-моссе, в которой пал знаменитый Камерон, при въезде в Эдинбург, «по приказу Тайного совета, был встречен городскими властями у Речных ворот и посажен на непокрытый круп лошади лицом к хвосту. Трех других пленных везли прикованными к одному железному брусу. Так они шли по улице, причем голову мистера Камерона несли впереди них на алебарде».

вождей несли с улюлюканьем впереди тех, кто остался в живых,— иные на пиках и алебардах, иные в мешках, на которых были намалеваны имена павших. Таков был авангард этого жуткого шествия пленных, обреченных, по-видимому, на смерть, хотя на них и не было сан-бенито, как на еретиках, осужденных святой инквизицией на аутодафе.

За ними шла безвестная толпа пленных повстанцев в несколько сот человек; некоторые, несмотря на постигшие их несчастья, сохраняли веру в то дело, за которое пострадали, и были готовы как будто доказать это на эшафоте, другие были мертвенно-бледны, унылы, растерянны и, видимо, задавались вопросом, разумно ли было отдавать себя делу, от которого отшатнулось само провидение; они поглядывали по сторонам, высматривая, куда бы можно было бежать и спастись от роковых последствий своей опрометчивости. Попадались среди них и такие, которые, очевидно, не были в состоянии ни составить себе мнения об этом предмете, ни испытывать надежду, уверенность или страх; истомленные жаждой и усталостью, они брели, словно быки, подгоняемые погонщиками, равнодушные ко всему, кроме того, что их мучило в данный момент, не отдавая себе отчета, гонят ли их на бойню или на пастбище. Этих несчастных с обеих сторон охраняли цепи солдат. Шествие замыкалось главными силами кавалерии. Звуки военной музыки, отражаясь от высоких домов по обеим сторонам улицы, смешивались с победными песнями, ликующими возгласами солдат и дикими воплями городской черни.

Глядя на это ужасное зрелище, узнавая среди окровавленных, несчастных и измученных живых страдальцев лица, которые он часто видел во время этого кратковременного восстания, Мортон почувствовал, как у него болезненно сжалось сердце. Потрясенный и подавленный, опустился он в кресло; из этого состояния его вывел голос верного Кадди.

— Спаси нас господи, сэр,— бормотал невнятно бедняга; его зубы щелкали, как щипцы для орехов, волосы поднялись дыбом, как щетина кабана, лицо было мертвенно-бледно.— Спаси нас господи, сэр! Нам велено немедленно предстать пред Советом! О, господи! Зачем им такой бедняга, как я? Их там столько — знатных и важных лордов! И тут еще матушка притащилась из Глазго, чтобы посмотреть, как я буду ратовать — так она это зовет — за истинную веру, то есть как я стану признаваться во всем и буду за это повешен. Но черта с два, не сделать им из меня дурака, коль я могу придумать кое-что по-

лучше! А вот и сам Клеверхауз! Господи, спаси нас и помилуй, говорю я еще раз!

— Вам нужно немедленно ехать в Совет, мистер Мортон,— сказал Клеверхауз, вошедший в комнату в тот момент, когда Кадди кончал говорить.— Ваш слуга также должен отправиться с вами. Вы можете не тревожиться о своей судьбе. Впрочем, предупреждаю: вам придется увидеть нечто весьма неприятное, такое, от чего я бы вас охотно избавил. Моя карета готова. Едем?

Нетрудно себе представить, что Мортон не осмелился отказаться от этого предложения, как бы мало удовольствия оно ни сулило.

— Могу вам сообщить,— продолжал Клеверхауз, когда они спускались по лестнице,— что вы отделаетесь, в общем, легко, и ваш слуга тоже, лишь бы он сумел придержать язык за зубами.

Услышав эти слова, Кадди пришел в восторг.

— Ну нет! За меня можете не беспокоиться,— сказал он,— разве что матушка вмешается в это дело.

В этот момент в плечо бедного Кадди вцепилась старая Моз, которой удалось пробраться в прихожую.

— Ах, дорогой мой, голубчик мой! — воскликнула она, вешаясь Кадди на шею.— Я радостна и горда, полна скорби и смиренна, и все в одно время, ибо я вижу сына моего, идущего горделиво ратовать перед Советом устами своими за истину, как он ратовал за нее с оружием в руках на поле сражения.

— Тише, матушка, тише! — нетерпеливо закричал Кадди.— Что вы, с ума сошли, что ли! Время ли говорить о таких вещах? Повторяю, не стану я ратовать ни за что. Я уже разговаривал с мистером Паундтекстом и приму декларацию, или как они там ее называют, и если мы это сделаем, то только останемся в выигрыше, он отвечает за себя и за своих прихожан, такой священник — как раз по мне. И ничего не хочу я слышать о ваших проповедях, которые кончаются псалмом на Сенном рынке.

— О Кадди, мальчик мой, что станет со мною, если они сгубят тебя! — воскликнула старая Моз, не зная, о чем следует заботиться больше: о спасении души своего сына или о спасении его тела.— Но только помни, дитятко мое ненаглядное, что ты сражался за веру, и не допусти, чтобы страх утратить здешнюю жизнь заставил тебя отречься от твоей благочестивой борьбы.

— Ах, милая матушка,— отвечал Кадди,— сражался я более чем достаточно, с меня довольно, и, говоря по правде, я устал от этого дела. Навидался я всякого оружия и всяких доспехов: и мушкетов, и пистолетов, и курток из буйволовой кожи, и разного снаряжения, и ничего я так не хочу, как снова взяться за плуг. Не знаю, что могло бы заставить человека сражаться (то есть если он не рассердится), разве что страх, что тебя вздернут или убьют, если ты повернешься спиной.

— Но, дорогой мой Кадди,— продолжала настаивать Моз,— а твои брачные одежды? Ах, голубчик, не оскверни своих брачных одежд!

— Послушайте, матушка, разве вам невдомек, что меня дожидаются? За меня не тревожьтесь,— я знаю получше вашего, что надобно делать, потому что вы несете что-то о браке, а дело идет о том, чтобы не попасть в петлю.

Сказав это, он вырвался из материнских объятий и попросил солдат, которые были к нему приставлены, доставить его возможно скорее в Совет. Клеверхауз и Мортон и без того уже его ожидали.

## ГЛАВА XXXVI

Мой край родной, прощай!
*Лорд Байрон*

Тайный совет Шотландии, со времени объединения королевств практически ставший верховным судилищем этой страны, являясь вместе с тем и высшим органом исполнительной власти, собрался в старинном готическом зале, примыкающем к зданию парламента в Эдинбурге. Когда генерал Грэм вошел в этот зал и занял свое место за столом среди членов Совета, все было готово к открытию заседания.

— Сегодня вы доставили нам, генерал, немало дичи,— сказал председательствующий в Совете важный сановник.— Здесь и трус, чтобы признаться во всем, здесь и задорный боевой петушок, который будет отчаянно защищаться, а как, генерал, прикажете называть третьего?

— Отбрасывая иносказания, я попросил бы вашу светлость назвать его человеком, в котором я лично принимаю участие.

— И вдобавок — вигом? — заметил сановник, высовывая язык, и без того слишком толстый, чтобы помещаться во рту, и скривив свое грубое, отталкивающее лицо в усмешке, которая как нельзя больше к нему подходила.

— Если ваша светлость на этом настаивает, то и вигом, каковым ваша светлость также изволили быть в тысяча шестьсот сорок первом году,— сказал Клеверхауз с обычной для него невозмутимой учтивостью.

— Ага, герцог, попались! — пошутил один из членов Совета.

— Да, да...— ответил герцог, смеясь.— Впрочем, после Драмклога с нашим генералом нельзя разговаривать. Ну что же, начнем, пожалуй. Введите арестованных, а вы, господин секретарь, огласите протокол.

Секретарь прочитал документ, в котором говорилось, что генерал Грэм Клеверхауз и лорд Эвендел берут на себя поручительство в том, что Генри Мортон-младший из Милнвуда уедет за границу и будет оставаться в чужих краях до тех пор, пока не последует изъявление воли его величества, принимая во внимание, что вышепоименованный Генри Мортон участвовал в последнем восстании. В случае нарушения названным Генри Мортоном вышеозначенного условия его поручители уплачивают по десяти тысяч мерков, а сам виновный подлежит смертной казни.

— Принимаете ли вы на этих условиях королевскую милость, мистер Мортон? — спросил герцог Лодердейл, председательствовавший в Совете.

— Мне ничего иного не остается, милорд,— ответил Мортон.

— В таком случае потрудитесь подписать протокол.

Мортон молча подписал протокол, хорошо понимая, что с ним поступили исключительно мягко, если учесть обстоятельства его дела.

Мак-Брайер, которого в этот самый момент внесли привязанным к стулу, так как от слабости он не мог стоять на ногах, увидев, что Мортон ставит свою подпись под какой-то бумагой, решил, что это акт отречения.

— Он довершил свою измену нашему делу, он признал бренную власть земного тирана! — воскликнул он, тяжко вздыхая.— Закатившаяся звезда! Закатившаяся звезда!

— Помолчите, сударь,— сказал герцог,— и приберегите дыхание, чтобы дуть на собственную похлебку; вы ее найдете чертовски горячей, обещаю вам. Позвать сюда того парня, в котором есть, как кажется, крупица здравого смысла. Перескочит канаву одна овца — за ней пойдут и другие.

Ввели Кадди; он не был связан, но его сопровождали два стражника с алебардами. Кадди подвели к столу, рядом с которым сидел Эфраим Мак-Брайер. В умоляющем взоре бедного парня, устремленном на сидящих за судейским столом, можно

было прочитать ужас, внушаемый ему могущественными людьми, пред которыми он предстал, сострадание к товарищам по несчастью и страх перед грозившим ему наказанием. Неуклюже, по-деревенски, он отвесил множество подобострастных поклонов и замер в ожидании грозившей обрушиться на него бури.

— Находились ли вы на поле сражения у Босуэлского моста? — последовал первый вопрос, прогремевший в его ушах.

Кадди собрался было отвечать отрицательно, но, подумав немного, сообразил, что если он будет изобличен во лжи, то это обойдется ему, пожалуй, недешево; поэтому он с чисто каледонской уклончивостью ответил:

— Не могу сказать точно, может, и был.

— Отвечай прямо, мошенник, был или не был? Ты же знаешь, что был.

— Не мне возражать вашей светлости,— ответил на это Кадди.

— Я спрашиваю еще раз, были ли вы на Босуэлском мосту? Да или нет? — сказал герцог, теряя терпение.

— Дорогой сэр,— продолжал упорствовать Кадди,— разве удержишь в памяти, где ты побывал за свою жизнь?

— Говори, негодяй! — вскричал генерал Дэлзэл.— Или я вышибу тебе зубы эфесом вот этой шпаги! Неужели ты думаешь, что мы будем топтаться на месте, хитрить и возиться с тобой целый день, как борзые, выслеживающие зайца? [1]

— Когда так,— сказал Кадди,— раз вам хочется этого, пишите: я не отрицаю, что побывал в этом месте.

— Итак,— сказал герцог,— как вы считаете, является ли участие в этой битве государственным преступлением?

— Как же мне высказать свое мнение, сударь,— ответил осмотрительный пленник,— если дело идет о том, быть ли мне вздернутым или нет? Но не думаю, чтобы это было хоть чуточку лучше.

— Лучше, чем что?

— Чем преступление, как изволит говорить ваша светлость,— ответил Кадди.

---

[1] Передают, что генерал во время допроса ударил одного из пленных вигов эфесом своей шпаги, и притом так сильно, что у того хлынула из носу кровь. Этот бесчеловечный поступок был вызван якобы словами пленника, бросившего в лицо этому надменному старому воину, что он зверь из Московии, привыкший жарить живьем людей. Дэлзэл долгое время находился на русской службе, которая в то время отнюдь не была школой гуманности.

— Вот это называется говорить дело,— заявил его светлость.— Были бы вы довольны, если бы король даровал вам милость и прощение за ваше участие в мятеже при условии, что отныне вы станете посещать церковь и молиться за короля?

— С удовольствием, сэр,— ответил не слишком твердый в своих убеждениях Кадди,— и готов выпить в придачу за его здоровье, если эль будет хороший.

— Каков! — заметил герцог.— Вот это малый сговорчивый. Что же довело тебя до этой беды, приятель?

— Дурной пример, сэр,— отвечал Кадди,— и еще винова-та, с позволения вашей светлости, моя старая, выжившая из ума матушка.

— Ну, бог с тобою, приятель,— ответил на это герцог,— остерегайся в будущем дурного совета. Мне сдается, что ты не таков, чтобы изменить по собственному почину. Записать в протокол, что он освобождается от наказания. Поднесите поближе этого негодяя на стуле.

Мак-Брайера перенесли на то место, где обычно ставили подсудимых для допроса.

— Находились ли вы на поле сражения у Босуэлского моста? — последовал тот же вопрос, что был задан и Кадди.

— Находился,— ответил пленник смелым и решительным тоном.

— Вы были вооружены?

— Нет, не был, я присутствовал в качестве проповедника слова божия, чтобы ободрять тех, кто обнажил меч в защиту дела господня.

— Иными словами, чтобы помогать мятежникам и их подстрекать? — спросил герцог.

— Ты сказал истинно,— ответил на это пленник.

— Хорошо,— продолжал допрашивающий.— Нам желательно знать, видели ли вы среди мятежников Джона Белфура Берли? Вы его, надо полагать, знаете?

— Возношу свою благодарность господу, что знаю его,— ответил Мак-Брайер,— он ревностный и истинно верующий христианин.

— А где и когда вы видели в последний раз эту благочестивую личность? — последовал новый вопрос.

— Я здесь, чтобы отвечать за себя,— заявил с тем же бесстрашием Эфраим Мак-Брайер,— а не затем, чтобы предавать в ваши руки других.

— Мы найдем способ развязать вам язык,— пригрозил Дэлзэл.

— Если вы найдете способ заставить его вообразить, что он на их молитвенном сборище, его язык развяжется и без нас,— заметил Дэлзэлу Лодердейл.— Послушайте, юноша, отвечайте добром: вы слишком молоды, чтобы взваливать на себя такое тяжкое бремя.

— Я презираю ваши угрозы,— бросил в ответ Мак-Брайер.— Это не первое мое заточение, и не впервые я принимаю страдания; и как бы молод я ни был, я прожил достаточно долго, чтобы знать, как надлежит умереть, когда меня призовет господь.

— Допустим, что так; но если вы будете и дальше упрямиться, вам придется подвергнуться кое-каким неприятностям, и вас ожидает нелегкая смерть,— сказал Лодердейл и позвонил в маленький колокольчик, стоявший перед ним на столе.

По этому знаку раздвинулся малиновый занавес, закрывавший нишу или, вернее, одно из тех углублений в стене, которыми изобилует готическая архитектура, и перед глазами присутствующих предстал палач — высокий, страшный, уродливый человек. Он стоял за дубовым столом, на котором лежали тиски для сдавливания пальцев и железный футляр, носивший название шотландского сапога,— приспособление, применявшееся в те жестокие времена для пытки допрашиваемых. Мортон, не ожидавший увидеть такое жуткое зрелище, содрогнулся от ужаса. Нервы Мак-Брайера оказались более крепкими. Он спокойно взглянул на это страшное орудие пытки, и если сама природа заставила его кровь отхлынуть на секунду от щек, душевная стойкость принудила ее с еще большей энергией снова прилить к лицу.

— Известно ли вам, кто это? — спросил Лодердейл тихим, глухим голосом, перешедшем под конец фразы в шепот.

— Полагаю,— ответил Мак-Брайер,— что это гнусный исполнитель ваших кровожадных приговоров над страдальцами божьими. Я одинаково презираю и вас и его и благодарю господа, что мне так же мало страшны мучения, которые этот человек может мне причинить, как приговор, который вы можете мне вынести. Кровь и плоть мои могут содрогаться под тяжестью мук, на которые в вашей власти меня обречь, мое хрупкое естество может проливать слезы и испускать крики, но душа моя прочно утверждена на скале вечности.

— Выполняй свое дело,— приказал палачу герцог.

Палач подошел; он спросил хриплым, отвратительным голосом, какую ногу преступника он должен зажать первою.

— Пусть сам выбирает,— ответил герцог,— я готов пойти на любое благоразумное его решение.

— Поскольку решение предоставляется мне,— заявил узник, вытягивая вперед правую ногу,— берите лучшую: я охотно жертвую ею делу, за которое принимаю страдания [1].

Палач вместе с помощниками заключил ногу пленника в тесный железный сапог, вставил между коленом и краем сапога клин из того же металла и с молотом в руках замер в ожидании приказаний. Хорошо одетый человек, по профессии врач, подошел с противоположной стороны к стулу, к которому был привязан Мак-Брайер, взял его руку в свою, нащупал пульс и приготовился наблюдать за тем, чтобы пытка протекала в соответствии с физическими возможностями его пациента. По окончании этих приготовлений председатель Совета тем же мрачным и глухим голосом повторил свой вопрос:

— Где и когда вы в последний раз видели Джона Белфура Берли?

Вместо ответа узник, возведя к небу глаза и как бы моля его о ниспослании ему силы, прошептал несколько слов; последние из них были ясно слышны:

— ...Ты сказал, что в день власти твоей народ твой пребудет в готовности.

Герцог Лодердейл обвел взглядом членов Совета, как бы спрашивая их мнение; прочитав в их глазах согласие, он кивнул палачу, молот которого тотчас же опустился на клин; загнанный между коленом и краем сапога, он причинил страшную боль, как это можно было судить по лицу пытаемого, ставшему сразу багровым. Палач снова поднял свой молот и приготовился ко второму удару.

— Может быть, вы теперь скажете,— повторил герцог Лодердейл,— где и когда вы в последний раз видели Белфура Берли?

— Вы уже слышали мой ответ,— решительно и твердо сказал несчастный страдалец, и сейчас же молот опустился во второй раз. За вторым ударом последовал третий, потом четвертый. При пятом ударе, когда палач вставил клин бóльших размеров, Мак-Брайер испустил душераздирающий крик.

Мортон, в котором кипела кровь при виде этих нечеловеческих истязаний, не мог дольше сдерживаться; он вскочил, чтобы броситься вперед и помешать палачу, забыв о том, что

---

[1] Так ответил Джеймс Митчел, подвергнутый пытке шотландским сапогом за покушение на жизнь архиепископа Шарпа.

безоружен и что в его положении требуется особая осторожность. Клеверхауз, заметив его волнение, схватил его за плечо и силою удержал на месте. Удерживая его одною рукой и прикрывая его рот другою, он шепнул ему на ухо:

— Вспомните, ради бога, где вы находитесь!

Это движенье Мортона, к счастью для него, осталось незамеченным, так как внимание членов Совета было полностью поглощено разыгравшейся перед ними жуткой сценой.

— Все,— сказал врач,— он потерял сознание: человеческая природа не в состоянии вынести большего.

— Освободите ногу,— приказал герцог и, повернувшись к Дэлзэлу, добавил: — На нем оправдается, пожалуй, старая поговорка — ведь сегодня он едва ли мог бы поехать верхом, хотя и обут в сапоги. Однако пора с ним кончать, не так ли?

— Ну что ж! Велите огласить приговор, и с ним будет покончено. И без того у нас довольно грязной работы.

Чтобы привести узника в чувство, были поспешно применены всевозможные эссенции и настойки, и когда первые слабые вздохи несчастного возвестили, что к нему возвратилось сознание, герцог произнес над ним приговор, как над предателем, уличенным в открытом восстании против властей. Приговоренного должно было отнести из зала суда к месту казни и повесить за шею, а после умерщвления отрубить у него голову и руки и передать их на благоусмотрение Совета [1]. Все движимое и недвижимое имущество и одежду конфисковать и зачислить в доход короля.

— Пристав,— приказал герцог,— повторите приговор обвиняемому.

Должность пристава в те времена, как, впрочем, и много позже, исполнялась in commendam [2] палачом. В его обязанности входило повторить несчастному осужденному приговор, оглашенный до этого судьей; этот приговор, прочитанный гнусною личностью, которой предстояло терзать свою жертву в соответствии с содержавшимися в нем указаниями, звучал в ее

---

[1] Благоусмотрение Совета, который решал, что делать с останками казненных по его приговору, было столь же варварским, как и все остальные его действия. Так, например, публично выставлялись надетые на пики головы проповедников, причем под головами подвязывались обрубленные руки, сложенные в жесте молитвы. Когда была выставлена в таком виде голова знаменитого Ричарда Камерона, кто-то из присутствующих в толпе сказал, что он жил, молясь и проповедуя, а умер, молясь и сражаясь.

[2] По совместительству *(лат.)*.

устах особенно жутко и выразительно. Мак-Брайер едва ли понял содержание слов, сказанных лордом — председателем Совета,— его сознание только-только начинало возвращаться к нему. Но теперь он был в состоянии внимательно вслушиваться в текст приговора и отзываться на то, что бормотал над ним хриплый и отвратительный голос того негодяя, которому надлежало привести его в исполнение. После страшных заключительных слов: «И я произношу это как приговор» — он смело сказал:

— Благодарю, милорды, за дарование мне единственной милости, которой я чаял и которую мог бы от вас принять; благодарю вас за то, что вы предназначили моему разбитому, искалеченному и истерзанному сегодня вашей жестокостью телу такой быстрый конец. Для меня в конце концов почти безразлично: умереть ли на виселице или в тюрьме. Но если бы смерть, пришедшая следом за тем, что я испытал сегодня в вашем присутствии, настигла меня во мраке моей темницы, многие не смогли бы увидеть, какие страдания способен переносить христианин ради правого дела. Итак, я прощаю вас и за то, что вы приказали надо мной сотворить, и за то, что я претерпел. В самом деле, почему бы мне вам не простить, милорды? Из царства хрупкой плоти и бренного праха вы посылаете меня в мир, где все неизмеримо лучше, чем в здешнем, туда, где я буду пребывать вкупе с ангелами и душами праведников: вы посылаете меня из тьмы на ослепительный свет, из обители смертных — в обитель бессмертия, короче говоря, с земли на небо! Если благодарность и прощение умирающего могут послужить вам ко благу, примите их от меня, и пусть последние мгновения вашей жизни будут столь же счастливыми, как мои!

После того как он произнес эти слова, его вынесли, по приказанию герцога, те же стражники, которыми он был принесен в зал; лицо его излучало радость и торжество. Через полчаса он был казнен; он умер с той же восторженной твердостью, с какою прожил свою короткую жизнь.

Заседание Совета закрылось, и Мортон снова оказался в карете наедине с генералом Грэмом.

— Какая твердость, какое мужество! — сказал Мортон, восхищенный поведением на суде Мак-Брайера.— И как жаль, что такое самопожертвование и такой героизм сочетаются в нем с изуверством, свойственным его секте.

— Вы имеете в виду,— спросил Клеверхауз,— его готовность осудить вас на смерть? Чтобы сделать это со спокойной

совестью, ему достаточно было бы вспомнить какой-нибудь текст из Писания, например: «И восстал Финеас и произвел суд», или что-нибудь в этом роде. Но как вы думаете, куда мы теперь направляемся?

— Мне кажется, что мы на пути к Лису,— ответил Мортон.— Можно ли мне до отъезда повидаться с друзьями?

— Вашему дядюшке,— сказал Клеверхауз,— была предоставлена возможность встретиться с вами, но он отказался. Достопочтенный джентльмен пребывает в трепете — и не без основания,— как бы ваше преступление не отразилось на его землях и прочем имуществе. Тем не менее он посылает вам свое благословение и немного денег. Лорд Эвендел все еще тяжело болен. Майор Белленден находится в Тиллитудлеме, он приводит в порядок дела. Эти негодяи произвели страшное опустошение в семейном архиве леди Белленден, к тому же они осквернили и сломали то кресло, которое леди Маргарет зовет троном его священнейшего величества. Быть может, есть еще кто-нибудь, кого бы вы пожелали увидеть?

— Нет,— тяжко вздыхая, ответил Мортон,— нет, это было бы бесполезно. Однако как ни несложны мои сборы к отъезду, без них не обойтись.

— Все, что может понадобиться вам в путешествии и на чужбине, уже приготовлено,— сказал генерал.— Лорд Эвендел подумал об этом заранее. Вот пакет, который он просил отдать в ваши руки. В нем вы найдете рекомендательные письма ко двору штатгальтера, принца Оранского; к ним я добавил несколько писем и от себя. Вы знаете, свои первые походы я проделал у него под началом и впервые понюхал пороху в битве при Сенефе[1]. Тут же вы обнаружите векселя на голландских банкиров, по которым получите деньги на текущие нужды; в дальнейшем деньги будут переводиться по мере надобности.

Ошеломленный и взволнованный тем, что услышал, Мортон взял протянутый ему Клеверхаузом пакет. Его глубоко поразила и огорчила поспешность, с какою осуществлялся указ о его изгнании.

— А как мой слуга? — спросил он.

— О нем позаботятся: его снова устроят, если удастся, на службу к леди Маргарет Белленден. Думаю, что теперь он не станет отлынивать от смотров феодального ополчения и больше

---

[1] Август 1674 года. Клеверхауз отличился в этом деле и был произведен за него в капитаны.

не пойдет к вигам. Но вот мы и на набережной, тут вы найдете ожидающую вас шлюпку.

Все обстояло в точности так, как сказал Клеверхауз. У набережной капитана Мортона ждала шлюпка, нагруженная сундуками и другою поклажей, подобающей путешественникам в его ранге. Клеверхауз пожелал ему на прощание всякого благополучия и счастливого возвращения в Шотландию, когда наступят более спокойные времена.

— Я не забуду,— сказал он,— вашего благородного поведения по отношению к моему другу Эвенделу, и притом в таких обстоятельствах, в каких многие постарались бы устранить его со своего пути.

Еще одно дружеское рукопожатие, и они расстались. Когда Мортон, направляясь к шлюпке, сходил по спуску на пристань, кто-то незаметно сунул ему в руку много раз сложенную, крошечную записку. Он оглянулся. Человек, вручивший ему послание, старательно кутался в плащ; он приложил палец к губам и тотчас исчез в толпе. Это происшествие возбудило в Мортоне любопытство. Взойдя на борт судна, готового отплыть в Роттердам, и застав своих спутников за устройством собственных дел, он воспользовался представившейся возможностью и прочитал эту, так таинственно переданную ему записку. В ней заключалось следующее:

«Мужество, проявленное тобой в роковой день, когда Израиль бежал от врага, до некоторой степени примирило меня с твоим злосчастным влечением к эрастианству. Теперь не время Эфраиму бороться с Израилем. Я знаю, сердце твое принадлежит дщери из стана врагов. Но выкинь из него эту блажь. Где бы я ни находился: в изгнании, на чужбине или на родине, таясь от врагов, или даже в объятиях самой смерти, рука моя будет всегда тяготеть над этой забрызганной нашею кровью, злонамеренною, языческою семьей, и провидение даровало мне средство, чтобы отмерить им их собственной мерой, доведя до разорения и нищеты. Сопротивление, оказанное нам их твердынею, было главной причиной нашего разгрома у Босуэлского моста, и я поклялся собственной душою отомстить им за это. Итак, не думай о ней, а сойдись с нашими изгнанными с родины братьями, сердца которых все еще тянутся к нашей несчастной стране, горя желанием принести ей помощь и спасение от погибели. В Голландии ты найдешь некоторое число честных шотландцев, стремящихся всеми помыслами своими к нашему освобождению. Присоединись к ним, как подобает сыну

мужественного и славного Сайлеса Мортона; ты встретишь у них радушный прием и в память твоего отца, и в уважение к твоим личным заслугам. Если ты и впредь будешь сочтен достойным трудиться на вертограде, ты сможешь в любое время узнать, что я делаю и где нахожусь, спросив Квентина Мак-Кейла Айронгрея в доме благочестивейшей женщины Бесси Мак-Люр, недалеко от трактира, именуемого «Приют», где Нийл Блейн потчует своих посетителей. Вот и все, что хотел сказать тебе тот, кто уповает услышать, что ты в среде наших братьев, и сражаешься с кровавою тиранией, и не склоняешься перед грехом. А пока исполнись терпения. Пусть меч твой будет всегда у бедра, пусть светильник твой неугасимо горит, как у того, кто бодрствует в ночи, ибо тот, кто будет судить гору Исава и превратит лжеверующих в солому, а неверных в жнивье, тот грядет в четвертую стражу в одеждах, забрызганных кровью, и дом Иакова будет отдан на разграбление, а дом Иосифа предан огню. Я тот, кто написал эти строки, кто наложил среди пустынного поля руку на власть имущего».

Странное письмо было подписано тремя буквами: Д. Б. Б.; впрочем, эти инициалы были совершенно излишни, так как Мортон и без того понимал, что это послание могло исходить только от Берли. Оно еще больше укрепило в нем уважение к неукротимому духу этого человека, который с искусством, равным его мужеству и упорству, принимался восстанавливать только что разорванную в клочья сеть заговора. Но Мортон не хотел начинать опасную переписку или возобновлять связь, оказавшуюся для него роковой. Он считал, что угрозы, расточаемые Берли в адрес семьи Белленден, вызваны раздражением из-за успешной обороны Тиллитудлема: и в самом деле, думал он, какое влияние на судьбу этой семьи, когда ее партия торжествует победу, может оказать их потерпевший поражение и скрывающийся противник.

Впрочем, на мгновение в Мортоне все же зародилось сомнение, не известить ли майора или лорда Эвендела о содержащихся в письме Берли угрозах. Поразмыслив, однако, он решил, что, делая это, должен был бы назвать своего тайного корреспондента, так как предупредить об угрозах, не предоставив одновременно средства к их отвращению, то есть не назвав по имени Берли, было бы почти бесполезно; назвать же Берли по имени, думал Мортон, было бы предательством по отношению к человеку, оказавшему ему столько доверия, и притом ради пресечения зла, по всей видимости, лишь воображаемого. По

здравом размышлении он разорвал письмо, записав предварительно имя и местопребывание той, у кого можно было получить сведения о его авторе. Обрывки письма он выбросил в море.

Пока Мортон был занят этими мыслями, судно снялось с якоря, и его белые паруса наполнил попутный северо-западный ветер. Накренившись на один борт, оно стремительно понеслось по волнам, оставляя за собой длинный бурлящий след. Город и гавань, из которого оно вышло в плавание, скрылись в отдалении, холмы, их окружавшие, растаяли в конце концов в голубом небе, и Мортон на долгие годы разлучился с родной землей.

## ГЛАВА XXXVII

А с кем время идет галопом?

*«Как вам будет угодно»*

Какое счастье, что романисты, в отличие от драматургов, не связаны единством времени и места и могут по своему усмотрению ссылать своих персонажей из Афин в Фивы, а если заблагорассудится, то и возвращать их назад. Время, пользуясь сравнением Розалинды, до сих пор размеренно шествовало вместе с нашим героем — ведь с момента появления Мортона в качестве одного из участников стрелкового состязания и до его отъезда в Голландию миновало не больше двух месяцев. Далее наш рассказ обрывается, и в нем — многолетний пробел; теперь мы снова считаем возможным вернуться к нити прерванного повествования, и выходит, что упомянутый промежуток Время покрыло галопом. Итак, желая использовать привилегии моей касты, я прошу читателя подарить вниманием продолжение повествования, возобновляющегося с новой эры нашей истории, то есть с года революции.

Шотландия начала уже оправляться от потрясений, пережитых ею при смене династии, и благодаря разумной терпимости короля Вильгельма благополучно избегла ужасов затяжной гражданской войны. Начало оживать земледелие, и люди, чьи души были приведены в смятение бурными политическими событиями и коренными переменами в управлении церковью и государством, начали приходить в себя и думать о своих привычных делах, вместо того чтобы предаваться политическим спорам. Только горцы продолжали сопротивляться вновь уста-

новленному порядку и с оружием в руках собрались в довольно большом количестве под начальством виконта Данди, известного нашим читателям под именем Грэма Клеверхауза. Но так как среди горцев постоянно происходят волнения, то считали, что эти беспорядки не могут существенно нарушить общего спокойствия государства, пока они не выходят за пределы горных районов. В Нижней Шотландии якобиты, ставшие теперь опальной партией, перестали надеяться на непосредственный успех открытого сопротивления и были принуждены, в свою очередь, устраивать тайные сборища и создавать союзы самообороны. Правительство называло это государственною изменой, тогда как якобиты повсюду кричали, что их преследуют.

Победоносные виги, восстановив в качестве национальной религии пресвитерианство и возвратив общим собраниям церкви прежнее их значение, были тем не менее далеки от тех крайностей, которых требовали камеронцы и наиболее непримиримые из нонконформистов в царствования Карла и Иакова. Они решительно не хотели восстановления Торжественной лиги и ковенанта, и те, кто рассчитывал найти в короле Вильгельме ревностного приверженца ковенантеров, были горько разочарованы, когда, со свойственной его нации флегматичностью, он заявил о своем намерении относиться с терпимостью к любому исповеданию, совместимому с безопасностью государства. Торжественно провозглашенная правительством веротерпимость вызывала негодование среди представителей крайней партии, осуждавшей ее, как нечто прямо противоположное Писанию. Для подкрепления своих узколобых взглядов они приводили многочисленные цитаты, как нетрудно себе представить, вырванные из контекста и взятые, по большей части, из тех предписаний Моисеевых иудеям, которые были направлены на искоренение в обетованной земле язычества. Кроме того, они открыто протестовали против влияния, которое приобрели светские лица на дела церкви благодаря праву осуществлять патронаж, и утверждали, что это — посягательство на ее целомудрие. Они критиковали и осуждали, как чисто эрастианские, многие мероприятия, с помощью которых правительство пыталось вмешаться в управление церковью, и решительно отказывались присягнуть королю Вильгельму и королеве Марии, пока те, в свою очередь, не присягнут Священной лиге и ковенанту, этой великой хартии пресвитерианства, как они его называли.

Таким образом, эта партия по-прежнему роптала и была недовольна; она постоянно твердила об отступничестве властей

и о причинах гнева господня, и если бы эти ее выступления подвергались таким же преследованиям, как в два предыдущих царствования, дело кончилось бы, несомненно, открытым восстанием. Но так как ропщущим была предоставлена возможность беспрепятственно собираться, так как они могли громить, сколько им было угодно, социниан, эрастиан, попустителей и всех отступников от истинной веры, их пыл, не подогреваемый гонениями, постепенно охладевал, число их приверженцев уменьшалось, и они в конце концов превратились в разобщенных между собою глубокомысленных, требовательных к себе и вполне безобидных энтузиастов, неплохим представителем которых был наш старый знакомый Кладбищенский Старик, чьи рассказы послужили основою для моего романа. Впрочем, в годы, непосредственно следовавшие за революцией, камеронцы были еще многочисленной, приверженной крайним политическим убеждениям сектой; правительство благоразумно ее терпело, но вместе с тем старалось ослабить ее влияние. Эти люди были, таким образом, единственной сильной оппозиционной партией в государстве. Вот почему приверженцы епископства и якобиты, несмотря на существовавшую между ними и камеронцами давнюю ненависть и национальную рознь, неоднократно вступали с ними в связь, интриговали и пытались воспользоваться их недовольством, чтобы добиться от них помощи в борьбе за возвращение Стюартов. Поддерживали правительство главным образом народные массы Нижней Шотландии; в своем большинстве они склонялись к умеренному пресвитерианству, разделяя взгляды той партии, которую во времена преследований камеронцы клеймили за принятие индульгенции и исповедание религии на основе акта, изданного Карлом II. Таково было в Шотландии положение партий в первые годы после революции.

В один восхитительный летний вечер какой-то всадник на отличном коне, похожий на военного в большом чине, медленно съезжал вниз извилистой тропой, в конце которой открывался вид на романтические руины замка Босуэл и реку Клайд, красиво извивающуюся среди скал и лесов и омывающую своими водами башни, некогда возведенные Эме де Валансом. Невдалеке виднелся Босуэлский мост. Расстилавшиеся на противоположном берегу обширные поля, где когда-то произошла страшная битва, завершившаяся поражением повстанцев, теперь были столь же спокойны и безмятежны, как поверхность озера в безветренный летний день. Кусты и деревья, росшие кругом в ро-

мантическом беспорядке, едва трепетали под дуновением вечернего ветерка. Даже рокот реки, и он, казалось, сделался глуше, чтобы не нарушать окружающей тишины.

Тропа, по которой спускался всадник, проходила то в тени раскидистых могучих деревьев, то вдоль изгородей и изобильных фруктовых садов, где созревал богатый летний урожай.

Ближайшим строением, привлекшим к себе взоры путника, была довольно большая ферма, или, возможно, усадьба мелкого землевладельца, расположенная на солнечной стороне склона, засаженного яблонями и грушами. В конце тропинки, ведшей к этой скромной усадьбе, стоял небольшой домик, который, судя по расположению, должен был быть сторожкой привратника, хотя все прочее говорило, что это не так. Хижина казалась уютной и удобной и была построена основательнее, чем принято строить в Шотландии. К ней примыкал небольшой сад, где росло несколько ягодных кустов и плодовых деревьев, между которыми был разбит огород. Рядом, на выгоне, паслись корова и шесть овец. У дверей, чванясь и важничая, созывая свое многочисленное семейство, кукарекал петух. Аккуратно сложенные валежник и торф свидетельствовали о том, что жилище хорошо обеспечено на зиму топливом. Легкий голубой дымок, поднимавшийся из трубы над соломенной крышей, медленно расплывался среди зеленых деревьев,— он говорил о том, что в домике готовится ужин. Чтобы дополнить эту мирную картину сельского благополучия и покоя, добавим, что не далее как в двадцати ярдах от дома девочка лет пяти набирала кувшином воду из чудесного, прозрачного, как кристалл, ключа, журчавшего у подножия старого, иссохшего дуба.

Всадник остановил коня и спросил у маленькой нимфы дорогу на Фери-ноу. Девочка, с трудом поняв, что ей говорят, поставила кувшин на землю, откинула со лба белокурые пряди льняных волос, широко открыла круглые голубые глаза и произнесла удивленно: «Что вам угодно?» — неизменный ответ крестьян — если только это можно назвать ответом — на любой заданный им вопрос.

— Я хотел бы знать, где дорога на Фери-ноу.

— Мамочка, мамочка! — закричала маленькая крестьянка и бросилась бегом к дверям дома.— Мамочка, выйди и поговори с джентльменом!

На пороге появилась мать девочки — миловидная молодая деревенская женщина; в ее лице можно было уловить природное лукавство и бойкость, к которым замужество добавило выражение достоинства и домовитости, характерные для большин-

ства замужних крестьянок в Шотландии. На одной руке она держала грудного младенца, другой оправляла передник, за который цеплялся двухлетний бутуз. Старшая девочка — та, которую встретил на тропинке наш путешественник,— сейчас же спряталась за спину матери и теперь то и дело высовывала головку, посматривая на незнакомца.

— Что вам угодно, сударь? — сказала женщина тоном почтительной обходительности, не совсем обычной для людей ее круга, но вместе с тем без малейшего оттенка угодливости.

Путешественник пристально взглянул на нее и ответил:

— Я разыскиваю место под названием Фери-ноу и человека по имени Кутберт Хедриг. Может быть, вы укажете, как мне его найти?

— Это мой муж, сударь,— сказала женщина с приветливой улыбкой.— Не сойдете ли вы с коня и не войдете ли в нашу скромную хижину? Кадди, Кадди (на пороге появился белоголовый мальчуган лет четырех). Сбегай, мой милый, да скажи отцу, что его дожидается один джентльмен. Или погоди! Дженни, ты посмышленее, сбегай, пожалуй, ты; он внизу, в четырехакровом парке. Не сойдете ли с коня, сударь; придется чуточку обождать. И не хотите ли хлеба с сыром или выпить глоточек эля, пока придет наш хозяин? Эль у меня хороший, хоть мне самой и не годится его хвалить. Но работа пахаря не из легких, и им нужно чего-нибудь покрепче для бодрости, вот я и кладу в котел добрую горсточку солода.

Пока незнакомец отказывался от любезно предложенного ему угощения, появился собственною персоною наш старый знакомый — Кадди. В его лице по-прежнему явная простоватость озарялась время от времени искорками сметливости, что свидетельствовало о присущем ему лукавстве, столь частом между деревенскими увальнями. Взглянув на всадника, как на человека совершенно ему незнакомого, он, подобно жене и дочери, начал разговор с неизменного: «Что вам угодно, сударь?»

— Я хочу узнать кое-что об этих местах,— отвечал путешественник,— и мне сказали, что вы можете снабдить меня нужными сведениями.

— Конечно, сударь,— сказал Кадди после некоторого раздумья,— но я хотел бы знать наперед, о чем вы будете спрашивать. В свое время мне пришлось отвечать на столько вопросов и таких каверзных, что, когда бы вы их только слышали, вы не стали бы удивляться моей подозрительности в этих делах. Матушка заставляла меня учить катехизис, и это было большое мучение; потом я постарался выучить кое-что в угоду

моей старой хозяйке о моих восприемниках и восприемницах, но все перепутал и не угодил ни той, ни другой; а когда я стал взрослым, тут уж пошли другие вопросы, которые пришлись мне по душе еще меньше, чем действительное призвание христианина; и только сказав «обещаю и клянусь» по катехизису, я наконец отделался от этих вопросов. Теперь вы видите, сударь, почему я сначала хочу слышать вопросы, а потом уже на них отвечать.

— Меня вам нечего бояться, приятель; я хочу спросить только о положении в ваших краях.

— В наших краях? — подхватил Кадди.— О, все было бы хорошо, если б не этот упрямый сатана Клеверз (теперь они его называют Данди); он все еще, как говорят, бродит в горах со всякими там Доналдами, Дунканами и Дугалдами, которые испокон веков разгуливают без штанов, собираясь сообща с ними повернуть все на старое, когда мы только что стали устраивать наши дела, словно как умные люди. Но ничего, Мак-Кей даст им как полагается, тут нечего и сомневаться, готов поручиться.

— Почему вы так в этом уверены, друг мой? — спросил всадник.

— Я слышал собственными ушами,— отвечал Кадди,— как это было предсказано Клеверзу одним человеком, который три часа был мертвецом, а потом возвратился на землю, чтобы выложить ему начистоту, что он о нем думает. Это было в том месте, что называют Драмсхиннелом.

— В самом деле?..— сказал незнакомец.— Но мне как-то не верится...

— Вы могли бы спросить мою матушку, будь она в живых,— ответил на это Кадди,— она-то мне все и растолковала, ведь я думал, что этот человек был всего-навсего ранен. Во всяком случае, он говорил и об изгнании Стюартов, называя их всех по именам, и об отмщении, готовящемся Клеверзу и его драгунам. Звали его Аввакум Многогневный. Мозги у него были немного набекрень, но все же он был замечательный проповедник.

— Вы живете как будто в богатой и спокойной местности,— сказал незнакомец.

— Да, жаловаться нам, сударь, нечего, когда урожай подходящий,— произнес Кадди.— Но на том мосту кровь когда-то текла такими потоками, как вода под ним не течет, и, если бы вам пришлось это увидеть, вам бы это зрелище не очень понравилось.

— Вы говорите о битве, которая произошла несколько лет назад? Я был в то утро у Монмута, дорогой друг, и частично видел происходящее,— сказал незнакомец.

— В таком случае вам довелось повидать жаркое дело,— заметил Кадди.— Оно навеки избавило меня от желания воевать. Я так и подумал, что вы военный, судя по вашему красному, расшитому галуном кафтану и шляпе с полями.

— А на какой стороне были вы сами, друг мой? — продолжал любознательный незнакомец.

— Ага, молодой человек! — отозвался Кадди, лукаво поглядев на него,— таковым, во всяком случае, этот взгляд показался ему самому.— Что же мне отвечать на этот вопрос, когда я не знаю, кто его задает.

— Одобряю ваше благоразумие, но только оно излишне: я знаю, что вы принимали участие в этом деле как слуга Генри Мортона.

— Верно! — воскликнул изумленный Кадди.— Но как вы про это дознались? Мне, конечно, нечего беспокоиться, потому что солнышко светит теперь в нашу сторону. Хотел бы я, чтобы мой господин был жив и увидел, как все обернулось.

— А что с ним случилось? — спросил незнакомец.

— Он погиб на судне, когда плыл в эту постылую Голландию,— сгинул, как его и не было: все на судне погибли, и мой бедный господин вместе с ними. Ни о ком из них с той поры не было ни слуху ни духу. (Тут Кадди громко вздохнул.)

— Вы были к нему привязаны, не так ли? — продолжал незнакомец.

— А как же иначе? Его лицо манило, как говорится, точно скрипка, ведь кто бы на него ни взглянул, тому он сразу по душе приходился. А какой храбрый солдат! Если б вы видели его на мосту, как он носился взад и вперед, словно летучий дракон, заставляя наших людей сражаться, хотя им этого не слишком хотелось. Там только и были что он да этот виг по имени Берли; когда бы два человека могли выиграть битву, нам бы потом не пришлось платиться за этот день своей шкурой.

— Вы упомянули о Берли. Не слышали, жив ли он?

— Не очень-то много я о нем знаю. Болтают, что он побывал за границей и что с ним наши страдальцы не пожелали встречаться, потому что он убийца архиепископа. Вот он вернулся домой еще упрямее прежнего и, как говорят, порвал со многими пресвитерианами. И даже теперь, когда к нам в последний раз прибыл принц Оранский, Берли не смог добиться ни покровительства, ни должности, потому что с ним никто не захотел

иметь дела из-за его чертова нрава, и с той поры о нем ничего не слыхать. Правда, поговаривают, будто досада и злость сделали его совсем сумасшедшим.

— А скажите...— запинаясь, произнес незнакомец,— знаете ли вы что-нибудь о лорде Эвенделе?

— Знаю ли я что-нибудь о лорде Эвенделе? Знаю ли я? Разве моя молодая леди не живет вон в том доме на горке? И разве она почти что не вышла за него замуж?

— Значит, они не женаты? — торопливо спросил всадник.

— Нет, они, что называется, лишь обручились; я и моя жена были у них свидетелями — тому уже несколько месяцев. Долгонько ему пришлось за нею ухаживать, да, кроме Дженни и меня самого, мало кто знает причину этого. Но почему вам не спешиться? Что мне задирать на вас голову! И потом, на западе, над Глазго, собираются тучи, а сведущие люди считают, что это к дождю.

Действительно, густая черная туча почти закрыла собой заходящее солнце; упало несколько крупных капель дождя, и в отдалении послышались глухие раскаты грома.

«Что за дьявол! — подумал про себя Кадди.— Уж сходил бы с коня или ехал своею дорогой, чтобы остановиться на ночлег в Гамильтоне, пока не полило как из ведра».

Но всадник после своего вопроса продолжал неподвижно сидеть на коне, точно человек, измученный каким-то чрезмерным усилием. Наконец он очнулся и, видимо, сделав над собой еще одно внезапное и мучительное усилие, обратился к Кадди с вопросом, жива ли старая леди.

— Да, жива,— отвечал Кадди,— но очень уж она ослабела. Их дела теперь не те: все как есть изменилось, когда наступили тяжелые времена. Им пришлось много чего вынести и вначале и под конец, они потеряли свой старый замок, и баронство, и землю при ферме, где я когда-то пахал, и основные земли поместья, и мой огород, который мне так хотелось заполучить снова,— и все это, можно сказать, из-за сущего пустяка, из-за каких-то кусков старой овечьей кожи, пропавших в суете при занятии Тиллитудлема.

— Я что-то об этом слышал,— глухо проговорил незнакомец куда-то в сторону.— Я хорошо знаю эту семью и охотно помог бы им. Можете ли вы приютить меня на ночь, приятель?

— Места у нас немного,— сказал Кадди,— но ничего, попытаемся: все лучше, чем ехать под дождем во время грозы, ведь, если позволите сказать откровенно, вид у вас не очень здоровый.

— У меня бывают головокружения,— ответил незнакомец,— но это скоро проходит.

— Думаю, что мы сможем угостить вас неплохим ужином,— сказал Кадди,— и позаботиться о постели для вас. Нехорошо было бы не поделиться тем, что мы сами имеем, но вот с постелями плоховато, потому что у Дженни столько ребят (да благословит господь и их и ее!), что мне, говоря по правде, придется попросить лорда Эвендела — пусть даст нам еще кусочек земли и пристроит что-нибудь к нашему домику.

— О, я неприхотлив,— сказал незнакомец, входя в дом.

— Можете не беспокоиться за вашу лошадку,— заявил Кадди,— с ней все будет в полном порядке. Кому-кому, а мне хорошо известно, как нужно кормить лошадей. А у вас конь хоть куда.

Кадди повел коня в хлев и велел жене позаботиться об устройстве ночлега для незнакомца. Офицер вошел в горницу и сел подальше от очага, повернувшись спиною к небольшому окошку с решеткой. Дженни, или миссис Хедриг, если угодно читателю, предложила ему снять с себя плащ, портупею со шпагой и широкополую шляпу, но он отклонил ее предложение, сославшись на то, что его немного знобит. И чтобы убить время, пока Кадди вернется, он затеял болтовню с ребятишками, старательно избегая любопытных взглядов хозяйки.

## ГЛАВА XXXVIII

О, сколько слез прольешь из глаз,
Пока придет твой смертный час!
Оплачешь дружбу юных лет,
Любовь, которой больше нет.

*Логан*

Кадди скоро вернулся и весело объявил незнакомцу, что его лошадка на славу поужинала и что хозяйка постелет для него в барском доме: там ему будет спокойнее и удобнее, чем у них.

— А кто-нибудь из Белленденов сейчас здесь? — спросил незнакомец глухо и запинаясь.

— Нет, сударь, они уехали вместе со слугами,— теперь у них только двое слуг; все ключи у моей хозяйки, и она вместо ключницы, хотя и не получает жалованья. Она родилась и выросла в этой семье, и ей во всем доверие и полная воля. Если бы они были тут, мы не решились бы сделать это без их позволения, но их нет, и они будут довольны, что мы услужили проезжему джентльмену. Мисс Белленден готова помочь всему свету,

будь ей это по силам, а ее бабка, леди Маргарет, очень уважает дворян, да и бедному люду нет от нее обиды. Что же ты, женка, не торопишься с ужином?

— Ничего, дружок,— ответила Дженни,— ты получишь его в свое время, уж я-то знаю, ты любишь, чтобы похлебка была прямо с огня.

Кадди сначала немного смутился, но потом от души рассмеялся и посмотрел на жену лукавым взглядом. Между супругами начался несущественный для нас разговор, в котором незнакомец не принял участия. Наконец он их внезапно прервал, спросив:

— Не можете ли вы мне сказать, когда состоится свадьба лорда Эвендела?

— Наверно, очень скоро,— быстро проговорила Дженни, не дав мужу собраться с ответом,— она бы уже состоялась, да ее отложили из-за смерти старого майора Беллендена.

— Превосходный был человек,— сказал незнакомец,— еще в Эдинбурге я слышал о его смерти. Что же, он долго болел?

— Он захворал, можно сказать, с той поры, как жену его брата и ее внучку, а его племянницу, выгнали из их собственного дома. И ему пришлось скрепя сердце призанять денег и начать суд, но это случилось в самом конце царствования короля Джеймса, а Бэзил Олифант, который тягался за их имение, превратился в паписта, чтобы понравиться нашим тогдашним правителям, и тут ему уж ни в чем не стало отказу! Так вот, в конце концов закон обратился против обеих леди, хотя они много лет отстаивали свои права; майор после этого больше не поправлялся. А потом прогнали Стюартов, и, хотя ему не за что было их обожать, он все же не смог перенести этого, и это совсем разбило его старое сердце. А потом в Чарнвуд нагрянули кредиторы и обчистили его так, что там ничего не осталось,— майор никогда не был богат: ведь он не мог видеть, чтобы кто-нибудь был в нужде.

— Действительно, он был замечательным человеком,— с грустью сказал незнакомец,— так мне говорили о нем. Значит, обе леди остались и без имущества и без покровителя?

— Нет! Они никогда не будут нуждаться ни в том, ни в другом, пока жив лорд Эвендел,— ответила Дженни,— вот кто показал себя истинным другом, когда они оказались в несчастье. Ведь даже дом, где они живут,— его дом, и ни один мужчина со времен патриарха Иакова, как говаривала моя свекровь, не выслуживал себе жены так долго и так упорно, как этот славный Эвендел.

— Но почему же? — спросил незнакомец, голос которого дрожал от волнения.— Почему же та, которую он так горячо любит, до сих пор не удостоила его этой награды?

— Сначала надо было покончить с тяжбой,— с готовностью ответила Дженни,— а потом были разные семейные обстоятельства.

— Но,— вмешался в разговор Кадди,— ведь была же еще причина, молодая леди...

— Попридержи-ка язык да расправляйся со своей похлебкой,— сказала его супруга.— Я вижу, что джентльмену не по себе: он и не притронулся к нашему грубому ужину; я мигом зарежу ему цыпленка.

— Не надо,— сказал незнакомец,— я попросил бы вас только о стакане воды и хотел бы остаться один.

— Тогда сделайте одолжение, идите следом за мной, я провожу вас в господский дом,— сказала Дженни, зажигая фонарь.

Кадди также предложил свою помощь, но Дженни напомнила, что, «если оставить ребят одних, они, конечно, передерутся и толкнут, чего доброго, друг друга в огонь», и он остался сторожить дом.

Его жена между тем повела незнакомца по узкой, вьющейся по склону холма тропинке, которая, миновав заросли шиповника и жимолости, привела их к калитке небольшого сада. Дженни откинула щеколду, и, пройдя разбитым на старинный лад цветником — с дорожками, окаймленными подстриженным тисом, и с чинными клумбами,— они подошли к застекленной двери, которую Дженни открыла ключом, отворяющим все замки. Она зажгла свечу и, поставив ее на рабочий столик, извинилась перед незнакомцем, что должна уйти на несколько минут, чтобы приготовить для него комнату. Эти приготовления отняли у нее меньше пяти минут; вернувшись, она испугалась, увидев, что незнакомец сидит, наклонившись вперед и опустив на стол голову. Сначала ей показалось, что с ним обморок, но, приблизившись, она поняла по его приглушенным всхлипываниям, что его охватил приступ отчаяния. Она неслышно отступила назад и подождала, пока он не поднял голову; лишь после этого она показалась ему на глаза и, не подавая виду, что замечает его волнение, сообщила, что постель для него приготовлена. Незнакомец посмотрел на нее непонимающим взглядом, как бы силясь постигнуть смысл того, что она сказала. Она повторила свои слова, и тогда, кивнув в знак того, что понял ее, он прошел в комнату, на дверь которой она ему указала. Это была небольшая спальня — в ней останавливался, как

сообщила Дженни, лорд Эвендел, когда приезжал в Ферино.— смежная с крошечным кабинетом в китайском стиле и гостиной, отделявшейся от спальни только деревянной перегородкой. Дженни, пожелав незнакомцу доброго здоровья и доброй ночи, быстро поспешила домой.

— О Кадди! — вскричала она, входя в комнату.— Боюсь, что мы погибли!

— В чем дело? Что с тобой? — отозвался невозмутимый Кадди, принадлежавший к числу тех, кого нелегко взволновать.

— Как ты думаешь, кто этот джентльмен? И зачем только ты его зазвал! — воскликнула Дженни.

— А на кой черт мне знать, кто он такой? Теперь нет больше закона, чтобы не давать убежища и не общаться,— сказал Кадди,— и поэтому виг ли он или тори, какое нам до этого дело?

— Да он расстроит свадьбу лорда Эвендела, если только не случится что-нибудь и того хуже! — сказала Дженни.— Ведь он — первая любовь мисс Эдит, ведь это твой старый хозяин, Кадди.

— Черт побери, жена! — воскликнул Кадди, вскакивая со своего места.— Что же, по-твоему, я слепой, что ли? Да я среди сотни узнаю мистера Гарри Мортона!

— Кадди, дружок,— ответила Дженни,— хоть ты не слепой, да не так приметлив, как я.

— Может быть. Но чего ради ты сейчас тычешь мне этим в глаза? И чем, по-твоему, этот человек похож на нашего мистера Гарри?

— Хорошо, я тебе скажу,— ответила Дженни.— Мне показалось, что он прячет от нас лицо и говорит не своим голосом. Вот я решила испытать его разговорами о старине, и когда я сказала тебе о горячей похлебке, он, правда, не рассмеялся — он теперь для этого слишком важный,— но так лукаво взглянул на тебя, что мне стало ясно: он понимает, в чем дело. И все его огорчения — из-за замужества мисс Эдит, и я никогда в жизни не видала мужчины, который бы так любил — я могла бы сказать: мужчины и женщины. Помню, как плохо стало мисс Эдит, когда она услыхала, что он и ты (безобразник ты этакий!) идете с мятежниками на Тиллитудлем. Что же нам теперь делать?

— Что же мне делать? — сказал Кадди, торопливо натягивая одежду, от которой уже успел частично освободиться.— Пойти, что ли, сейчас же повидать моего господина?

— Ну нет, Кадди, ты никуда не пойдешь,— спокойно и решительно заявила Дженни.

— То есть как это так? Что за черт сидит в этой женщине,— сказал Кадди.— Неужто ты думаешь, что я такой муж, как Джон Томсон, и что мною до самой смерти будут помыкать бабы?

— А каким же мужем тебе хочется быть? И кому же еще тобою командовать, муженек, как не мне? — ответила Дженни.— Погоди, я растолкую тебе все по порядку. Никто, кроме нас с тобою, не знает, что молодой Милнвуд жив,— и так как он упорно скрывается от всех, я думаю, что он приехал сюда, чтобы тотчас уехать обратно, если мисс Эдит вышла замуж или собирается замуж; тогда он не станет больше их беспокоить. Но если мисс Эдит узнает, что он жив, то, даже стоя под венцом с лордом Эвенделом, она ответит священнику «нет», когда нужно будет ответить «да».

— Ну и что же,— проговорил Кадди,— какое мне до этого дело? Если мисс Эдит ее прежний жених нравится больше, чем нынешний, почему она не может переменить решение, как это порою проделывают другие? Ты знаешь, Дженни, Хеллидей и посейчас продолжает твердить, что ты когда-то обещала ему выйти за него замуж.

— Хеллидей — лгун, а ты, Кадди, просто дурень, что слушаешь его враки. А что до молодой леди, то не дай ей бог сделать такой выбор! Можешь не сомневаться, что все золото мистера Мортона — в галунах на его кафтане. Как бы смог он содержать леди Маргарет и еще молодую леди?

— А разве не существует Милнвуда? — возразил Кадди.— Правда, старик отказал доход с него домоправительнице до конца ее дней, потому что не знал ничего про племянника, но стоит только поговорить со старой Уилсон как следует, и они с леди Маргарет могли бы отлично прожить.

— Как бы не так, дружок,— ответила Дженни,— ты их совсем не знаешь, раз думаешь, что такие знатные леди станут жить одним домом с Эли Уилсон, когда они из гордости не принимают помощи даже от самого лорда Эвендела. Нет, нет, если она выберет Мортона, им придется жить походною жизнью.

— Ну, это, конечно, не для старой леди,— заметил Кадди,— ей и одного дня не протянуть в дорожном фургоне.

— И тогда между ними пойдут споры о вигах и тори,— продолжала хитрая Дженни.

— Тут и говорить нечего,— согласился Кадди,— старая леди в некоторых вещах ужасно упрямая.

— А потом, Кадди,— продолжала его супруга, которая предусмотрительно приберегала под конец свой наиболее силь-

ный довод,— если расстроится эта свадьба с лордом Эвенделом, не видать нам ни отдельного дома, ни огорода, ни выгона для коровы. И тогда и мне, и тебе, и нашим дорогим деткам только и останется, что пойти по миру.

Тут Дженни принялась всхлипывать. Кадди не находил себе места, не зная, на что решиться. Наконец он сказал:

— Ладно, жена, не можешь ли ты спокойно, без этого плача, сказать, что же нам в таком случае делать?

— То-то и оно, что ничего,— ответила Дженни.— Делай вид, будто про этого джентльмена тебе ничего не известно, и никогда никому, умоляю тебя, ни словом не обмолвись о том, что он побывал у нас или в господском доме — там, наверху. Знай я, кто он, уступила бы я ему нашу собственную постель, а мы с тобой спали бы в хлеву, пока он не уедет. Но теперь ничего не поделаешь. Нужно пораскинуть умом, как бы завтра утром выпроводить его отсюда, да половчее. Надеюсь, что больше ему не захочется сюда возвращаться.

— Бедный мой хозяин! — воскликнул горестно Кадди.— Значит, мне и поговорить с ним нельзя?

— Ни за что,— ответила Дженни,— ты не обязан его узнавать, и я бы не сказала тебе, кто он такой, если бы не боялась, что при утреннем свете ты его, может быть, и узнаешь.

— Ну, раз так,— сказал Кадди, тяжко вздыхая,— раз так, я лучше пораньше уйду на пахоту; если мне с ним нельзя и поговорить, так лучше уж не быть дома.

— Правильно, дорогой! — ответила Дженни.— Нет никого умнее тебя, если ты чуточку посоветуешься со мной; только никогда не делай ничего по своему разумению.

— Кажется, и впрямь так,— пробормотал Кадди.— Уж всегда-то какая-нибудь старуха, или хозяйка, или еще какая другая женщина, заставляла меня делать все по-своему, а не по-моему,— продолжал он, раздеваясь и укладываясь в постель.— Сначала то была матушка, потом леди Маргарет не давала мне свободно вздохнуть, и они ссорились между собой, и толкали меня сразу на две дороги, и каждая тянула к себе, точно Панч и дьявол, что дерутся за булочника на ярмарке; а теперь я женат,— продолжал он бормотать, заворачиваясь в одеяло,— и моя жена, сдается, совсем уж ведет меня за собой на поводу.

— А разве я веду тебя не лучше, чем все остальные? — сказала Дженни и, заняв место рядом с супругом и погасив свечу, закончила на этом беседу.

Оставив эту чету в объятиях сна, сообщим читателю, что

на следующий день рано утром к Фери-ноу в сопровождении слуг подъехали две амазонки, в которых Дженни, к величайшему своему ужасу, тотчас узнала мисс Белленден и леди Эмили Гамильтон, сестру лорда Эвендела.

— Не сбегать ли мне наверх, чтобы немного прибрать? — сказала Дженни, испуганная этим неожиданным приездом обеих молодых леди.

— Дайте нам ключ от входной двери, и больше ничего нам не нужно: Гьюдьил откроет окна в малой гостиной.

— Малая гостиная на запоре, а замок, как на грех, испортился,— ответила Дженни, сообразив, что эта комната находится рядом со спальней, в которой она поместила вчерашнего гостя.

— Тогда он откроет окна в красной гостиной,— сказала мисс Белленден и направила лошадь к дому, однако не той дорогой, которой Дженни провела Мортона.

«Все пропало,— подумала Дженни,— если мне не удастся выпустить его с черного хода».

И она стала подниматься по склону холма, волнуясь и ломая голову, как бы выпутаться из неприятного положения.

«Уж лучше было сразу сказать, что я пустила туда на ночлег приезжего путешественника,— продолжала она размышлять по дороге.— Но тогда они позвали бы его к завтраку. Господи, спаси и помилуй нас! Что же мне делать? А вон и Гьюдьил разгуливает в саду! — воскликнула она про себя, приближаясь к калитке.— И я не посмею войти с черного входа, пока он отсюда не уберется. О, господи! Что теперь с нами станется!»

Не зная, что предпринять, она подошла к бывшему дворецкому Тиллитудлема, надеясь как-нибудь выпроводить его из сада. Но Джона Гьюдьила не исправили ни понижение в должности, ни прошедшие годы. Как многие нудные люди, он каким-то чутьем угадывал, что́ особенно раздражало его собеседников. Так и на этот раз: все усилия Дженни удалить его под каким-либо предлогом из сада повели только к тому, что он пустил в нем корни не менее прочно, чем любой из кустов. К несчастью, живя в Фери-ноу, Гьюдьил сделался любителем цветоводства, и, предоставив остальные заботы слуге леди Эмили, он, едва приехав, отдал свое внимание прежде всего цветам, которые уже давно взял на свое особое попечение, и теперь тщательно их подвязывал, окапывал и поливал, распространяясь без умолку о достоинствах каждого перед бедною Дженни, стоявшей возле него, трепеща и чуть не плача от страха, досады и нетерпения.

В это злополучное утро судьба, казалось, решила взять верх над Дженни. Попав в дом, обе леди сейчас же заметили, что дверь малой гостиной, комнаты, куда Дженни не хотела их впускать потому, что она была смежною с той, где ночевал Мортон, не только не заперта, но распахнута настежь. Мисс Белленден была слишком погружена в свои невеселые думы, чтобы обратить на это внимание. Велев слуге растворить ставни, она вместе со своею подругой вошла в эту комнату.

— Его все еще нет,— сказала она.— Что это значит? Почему ваш брат так настойчиво добивался, чтобы мы встретились именно здесь? Почему он не приехал в замок Диннан, как предполагал раньше? Сознаюсь, дорогая Эмили, что, несмотря на нашу помолвку и ваше присутствие, я не уверена, что вела себя правильно, уступив его настоянию.

— Эвендел никогда не руководствуется капризом,— отвечала его сестра.— Я уверена, что он привезет веские объяснения своих действий; ну, а если он не сделает этого, тогда... тогда я вам помогу его отчитать.

— Больше всего я опасаюсь,— продолжала Эдит,— что он дал вовлечь себя в какой-нибудь заговор, которых так много в наше смутное и несчастное время. Я знаю, что душой он с этим ужасным Клеверхаузом и его войском; думаю, что уже давно он был бы у них, если бы не кончина моего дяди, доставившая ему из-за нас столько хлопот. Как странно, что, обладая таким тонким умом и так глубоко понимая ошибки свергнутой с престола династии, он готов пожертвовать всем ради ее возвращения.

— Что мне на это сказать? — ответила леди Эмили.— Для Эвендела это дело чести. Наш род всегда был верен короне; сам Эвендел долгое время служил в рядах гвардии; виконт Данди в течение многих лет был его командиром и другом; многие наши родственники поглядывают на Эвендела с явным неодобрением, объясняя его бездеятельность, недостатком отваги. Вы должны знать, дорогая Эдит, что семейные связи и давно сложившиеся склонности значат иногда больше, чем отвлеченные рассуждения. Думаю, впрочем, что Эвендел не станет вмешиваться в эти дела, хотя, говоря по правде, одна вы можете удержать его от этого шага.

— Но разве в моей власти помешать ему? — заметила мисс Белленден.

— Вы можете доставить ему оправдание: пусть люди, вспоминая слова Евангелия, говорят: «Он взял жену и поэтому не мог прибыть к войску».

— Я дала ему слово,— едва слышно сказала Эдит,— но, надеюсь, он не будет меня торопить.

— Нет,— ответила леди Эмили.— Но пусть Эвендел хлопочет сам за себя. А вот и его шаги.

— Останьтесь, ради бога, останьтесь,— сказала Эдит, стараясь удержать леди Эмили.

— Нет, нет,— говорила леди Эмили, выходя из гостиной.— Третий в таких случаях играет глупую роль. Когда подадут завтрак, пошлите за мною: я буду под ивами у реки.

В дверях она столкнулась с лордом Эвенделом.

— Здравствуйте, братец, и прощайте до завтрака,— сказала веселая молодая леди.— Надеюсь, вы объясните леди Белленден, что именно принудило вас обеспокоить ее так рано.

И, не дождавшись ответа, она вышла, оставив их с глазу на глаз.

— А теперь, милорд,— сказала Эдит,— я хотела бы знать, чем вызвано ваше настойчивое желание встретиться здесь, и притом так рано.

Она хотела добавить, что ей не следовало соглашаться на эту встречу, но, взглянув на своего собеседника и увидев, что он необычно взволнован, воскликнула:

— Боже мой, что случилось?

— Верноподданные его величества одержали крупную и решительную победу у Блэр-Этола... Но, увы! Мой храбрый друг, лорд Данди...

— Пал в этом бою? — сказала Эдит, угадывая конец его фразы.

— Верно, совершенно верно: пал, одержав победу, и нет никого, кто был бы равен ему талантами и влиятельностью и мог бы заменить его на службе короля Иакова. Теперь, Эдит, не время мешкать в исполнении моего долга. Я отдал приказание своим подчиненным приготовиться к выступлению и сегодня вечером должен буду с вами расстаться.

— И не помышляйте об этом, милорд,— сказала Эдит,— ваша жизнь нужна вашим друзьям, не рискуйте ею в таком сомнительном предприятии. Что можете сделать вы один с несколькими слугами и арендаторами, которые, может быть, пойдут с вами, против почти всей Шотландии, за исключением горных кланов?

— Выслушайте меня, Эдит,— возразил лорд Эвендел.— Я не так опрометчив, как вы склонны, возможно, считать, и я больше не располагаю собой. Лейб-гвардейцы, с которыми я так долго служил, несмотря на реорганизацию, проведенную

принцем Оранским, и новый офицерский состав, по-прежнему верны своему законному государю (тут он перешел на шепот, точно боялся, что его могут услышать стены), и два кавалерийских полка поклялись бросить службу у узурпатора, когда узнают, что я вдел ногу в стремя, и сражаться вместе со мной. Они ждали, когда Данди спустится с гор; но его нет в живых, и кто же из его преемников решится на этот шаг, пока не будет уверен в поддержке со стороны регулярной армии? Боевой пыл солдат между тем может угаснуть. Я должен заставить их выступить, пока они возбуждены победой, одержанной бывшим их командиром, и хотят отомстить за его безвременную смерть.

— И, рассчитывая на этих солдат, которых вы так хорошо знаете,— сказала Эдит,— вы хотите принять участие в этом отчаянном деле?

— Да,— отвечал лорд Эвендел,— это мой долг. Моя честь и моя верность короне обязывают меня.

— И все ради того государя,— продолжала Эдит,— чьи действия, пока он сидел на престоле, лорд Эвендел решительно осуждал?

— Совершенно верно,— ответил последний,— когда власть находилась в его руках, я как свободный гражданин восставал против его нововведений в управлении церковью и государством; теперь, когда его лишили законных прав, я считаю себя обязанным как верноподданный оказать ему помощь. Пусть придворные и льстецы лебезят перед власть имущими и покидают тех, кого постигли несчастья. Я не стану делать ни то, ни другое.

— Но если вы решились на этот шаг, который, по моему слабому разумению, нельзя назвать иначе, как опрометчивым, зачем вам понадобилось назначить эту встречу в такое необычное время?

— Неужели вам кажется странным,— сказал лорд Эвендел,— что, отправляясь в бой, я хотел попрощаться с моей нареченной невестой? Спрашивать у меня о причинах столь естественной просьбы — значит не доверять моим чувствам и вместе с тем слишком явно выказывать холодность своих собственных.

— Но почему вы хотели встретиться именно здесь, милорд,— спросила Эдит,— и почему в такой тайне?

— Потому,— ответил Эвендел, вкладывая в ее руку письмо,— потому, что у меня есть еще одна просьба, с которой я не посмею к вам обратиться даже после того, как вы ознакомитесь с этим посланием.

Эдит, спеша и волнуясь, пробежала письмо от бабушки.

«Мое дорогое дитя,— писала леди Маргарет (мы сохраняем здесь ее стиль),— никогда еще я не досадовала в большей мере на ревматизм, который не позволяет мне сесть на лошадь, чем теперь, когда я пишу тебе эти строки и когда так хотела бы находиться в том месте, где вскоре будет это письмо, то есть в Ферн-ноу, с единственной дочерью моего бедного, незабвенного Уилли. Но, видно, сам бог не желает, чтобы я была теперь с нею, и я заключаю об этом как по болям, которые в настоящее время переношу, так и по тому, что они не поддаются ни припаркам из ромашки, ни отвару из дикой горчицы, чем я часто помогала другим. Поэтому я должна известить тебя письменно, вместо разговора с глазу на глаз, что молодой лорд Эвендел, выступая в поход по зову чести и долга, обратился ко мне с настоятельной просьбой, чтобы, во исполнение давнего договора, тебя и его, прежде чем он отправится на войну, связали узы священного брака. И поскольку я не вижу разумных возражений против его искательства, то полагаю, что и ты, которая всегда была добрым и послушным ребенком, не станешь выдумывать чего-нибудь, противного разуму. Правда, когда-то в нашем роду свадьбы праздновались более торжественным образом, как и подобает, принимая во внимание нашу знатность, а не келейно и с малым числом свидетелей, словно таясь в углу. Но само небо и обитатели нашего королевства пожелали лишить нас имущества, а короля — трона. Впрочем, уповаю, что бог возвратит корону законному престолонаследнику и обратит его сердце к истинной протестантской епископальной церкви, каковое событие надеюсь увидеть моими собственными старыми глазами так же, как видела королевскую семью в те времена, когда она боролась с такими же сильными мятежниками и самозванцами, как те, что властвуют ныне, то есть когда его священнейшее величество, блаженной памяти Карл II, почтил посещением мой скромный дом в Тиллитудлеме и соблаговолил в нем позавтракать...» и т. д. и т. п.

Мы не станем злоупотреблять терпением наших читателей и приводить полностью многословное послание леди Маргарет. Скажем только о том, что оно кончалось приказанием внучке согласиться на немедленное венчание.

— Я никогда до сих пор не думала,— сказала Эдит, отбрасывая письмо,— что лорд Эвендел способен на неблагородный поступок.

— Неблагородный, Эдит! — воскликнул ее жених.— Так-то вы поняли мое желание назвать вас своею, прежде чем я с вами расстанусь, может быть, навсегда.

— Лорду Эвенделу следовало бы помнить,— сказала Эдит,— что, видя и ценя его постоянство и другие достоинства и понимая, чем мы ему обязаны, я сочла должным уступить его настояниям, но с условием, что меня не будут торопить с браком. А теперь, пользуясь влиянием, которое на меня имеет единственная моя родственница и близкий мне человек, он меня побуждает с нетерпеливой и даже неделикатной настойчивостью немедля назначить срок. В этих настойчивых и назойливых уговорах больше любви к себе самому, нежели благородства.

Лорд Эвендел, глубоко оскорбленный услышанным, несколько раз прошелся по комнате, прежде чем ответить на этот упрек. Наконец он сказал:

— Я мог бы избежать брошенного мне тяжкого обвинения, если бы с самого начала решился объяснить мисс Белленден основную причину обращенной к ней просьбы. Ради себя самой она, наверно, не сочла бы заслуживающими внимания соображения, которые я намерен ей изложить, но она должна учесть интересы леди Маргарет. Моя смерть на поле сражения отдаст мое имущество тем, кто является моими наследниками по закону о майорате. Если мое поведение будет признано государственной изменой, это имущество может быть конфисковано правительством узурпатора в пользу самого принца Оранского или какого-нибудь его фаворита-голландца. И в том и в другом случае мой высокочтимый друг и моя нареченная невеста останутся без покровителя и без средств. Но, обладая правами и доходами леди Эвендел и имея возможность поддерживать престарелую бабушку, Эдит будет до некоторой степени вознаграждена за согласие унаследовать титул и богатство того, кто не может считать себя достойным ее руки.

Эдит, приведенная в замешательство этим непредвиденным доводом, была вынуждена признать, что действия лорда Эвендела объясняются его деликатностью и уважением к ней.

— И все-таки,— сказала она,— упорство, с которым мое сердце тянется к прошлому (она залилась слезами), таково, что я не могу подавить в себе какое-то зловещее внутреннее сопротивление, препятствующее мне, несмотря на все ваши доводы, не откладывая выполнить мое обещание.

— Мы уже много раз обсуждали это печальное обстоятельство,— сказал лорд Эвендел,— и я полагал, дорогая Эдит,

что и ваши и мои столь безуспешные розыски уже давно вас убедили, что ваша печаль бесплодна.

— Бесплодна! Конечно, бесплодна! — сказала Эдит с тяжким вздохом, который вдруг, словно эхо, отозвался в соседней комнате. Уловив этот звук, мисс Белленден вздрогнула, и лорд Эвендел с трудом ее убедил, что она слышала эхо собственного своего вздоха.

— Оно прозвучало странно отчетливо,— сказала она,— и почти зловеще; впрочем, я так расстроена, что меня способен встревожить любой пустяк.

Лорд Эвендел всячески пытался успокоить Эдит и примирить ее с мыслью о браке, который представлялся ему хоть и поспешным, но единственным средством обеспечить ее независимость. Добиваясь своего, он ссылался на их помолвку, на желание и даже повеление ее бабушки, на то, что это доставит ей известные жизненные удобства и независимость; он коснулся также своей давней привязанности, которую он не раз доказывал разнообразными и многочисленными услугами.

Последние Эдит ощущала тем больше, чем меньше он о них говорил, и так как ей нечего было противопоставить его настояниям, кроме беспричинного, но упорного нежелания, о котором ей было неловко упоминать, видя такое великодушие с его стороны, она в конце концов сослалась на то, что в такой краткий срок и в таком месте невозможно устроить обряд венчания. Но лорд Эвендел предусмотрел и это; он оживленно и весело сообщил, что в сторожке их ждут бывший священник его полка с его верным слугою, прежде служившим сержантом в лейб-гвардии, что его сестра также посвящена в тайну и что к списку свидетелей можно добавить Хедрига и его жену, если это будет угодно мисс Белленден. Что касается места их встречи, то он избрал его исключительно с этой целью. Их брак некоторое время не следует разглашать, так как лорду Эвенделу вскоре после венчания предстоит тайно уехать. Если бы их свадьба была публичной, его отъезд непременно привлек бы внимание местных властей, которые объяснили бы его не иначе как участием в каком-нибудь рискованном политическом предприятии. Поспешно рассказав о своих соображениях и намерениях и не дожидаясь ответа, он вышел, чтобы послать к своей невесте сестру и собрать тех, кто должен был присутствовать на церемонии.

Леди Эмили застала свою подругу в слезах, причину которых не понимала, да и не могла бы понять, так как принадлежала к числу девиц, не видящих в замужестве ничего страш-

ного и таинственного. К тому же, разделяя мнение всех знавших лорда Эвендела, она считала, что такой жених никоим образом не может внушать боязнь. Держась подобных взглядов, она исчерпала все до одного доводы и выражения участия и сочувствия, к которым прибегают в этих случаях для ободрения. Но когда леди Эмили обнаружила, что ее будущая невестка глуха ко всем обычным убеждениям и увещаниям, когда она увидела, что частые слезы не переставая катятся по бледным, как мрамор, щекам, когда она почувствовала, что рука, которую она сжимает, чтобы подкрепить свои доводы, похолодевшая и бесчувственная, как у мертвой, не отвечает на ее ласку,— сочувствие уступило в ней место оскорбленной гордости и досаде.

— Должна признаться,— сказала она,— что мне трудно это понять, мисс Белленден. Прошло уже много месяцев, как вы согласились стать женой моего брата, а между тем вы все время откладываете исполнение своего обещания, как будто в этом браке для вас заключается нечто позорное и бесконечно тягостное. Позволю себе заявить от имени лорда Эвендела, что он не станет домогаться руки женщины против ее желания, и хоть я только его сестра, все же берусь утверждать, что ему нет ни малейшей нужды неволить кого бы то ни было совершать насилие над своими чувствами. Простите меня, мисс Белленден, но ваше теперешнее отчаяние не предвещает счастья Эвенделу, и я считаю нужным добавить, что он отнюдь не заслуживает всех этих горестей и сожалений,— они мне кажутся странным вознаграждением за его длительную привязанность, которую он столько раз доказал вам на деле.

— Вы правы, леди Эмили,— сказала Эдит, вытирая слезы и стараясь принять свой обычный вид, хотя ее все еще выдавали дрожащий голос и бледные щеки,— вы совершенно правы: лорд Эвендел не заслуживает подобного отношения ни от кого, и меньше всего от той, кого он подарил своим драгоценным вниманием. Но если я теперь в последний раз поддалась охватившему меня чувству, то меня утешает то, что ваш брат, леди Эмили, знает причину моей нерешительности, я ничего от него не скрыла, и он, по крайней мере, не имеет оснований бояться, что найдет в Эдит Белленден жену, недостойную его привязанности. Но вы все же правы: уступив на мгновение этой бесплодной печали и тяжелым воспоминаниям, я заслужила ваш выговор. Этого больше не будет, я связала свою судьбу с Эвенделом и буду делить ее с ним. Он ни на что не сможет пожаловаться, и его близким не на что будет сердиться; праздные воспоминания о былом не помешают мне внимательно и пре-

данно исполнять мой долг; никакие пустые иллюзии не вызовут сожаления о минувшем...

Произнося эти слова, она медленно подняла глаза, которые до того закрывала рукой, на приоткрытое решетчатое окно, испустила ужасный крик и потеряла сознание. Леди Эмили взглянула туда же и увидела тень мужчины, мелькнувшую у окна. Испуганная больше состоянием бедной Эдит, чем привидением, которое она видела собственными глазами, она принялась звать на помощь. Вскоре на ее крики прибежал лорд Эвендел и вместе с ним священник и Дженни Деннисон. Однако, чтобы привести мисс Белленден в сознание, потребовались сильные средства. Даже после того как она пришла наконец в себя, речь ее была дикой и бессвязной.

— Больше не принуждайте меня,— сказала она, обращаясь к лорду Эвенделу,— это невозможно; небо и земля... живые и мертвые — все против этого не предвещающего добра союза. Возьмите все, на что я способна, возьмите мою преданность, мою дружбу. Я вас буду любить, как сестра, я вам буду служить, как крепостная, но никогда больше не говорите со мною о браке.

Нетрудно представить себе удивление лорда Эвендела.

— Эмили,— сказал он сестре,— это все ты наделала! Будь проклято то мгновение, когда я решил тебя вызвать; какая-нибудь твоя безрассудная выходка довела ее до безумия!

— Честное слово, брат,— сказала леди Эмили,— довольно и тебя одного, чтобы свести с ума всех женщин Шотландии. Твоя возлюбленная намерена водить тебя за нос, а ты нападаешь ни с того ни с сего на сестру, которая для тебя же старалась и уже совсем ее убедила, как вдруг в окно заглянул какой-то мужчина; она, с ее болезненной фантазией, приняла его за тебя или кого-то другого и бесплатно разыграла перед нами великолепную трагическую сцену.

— Какой мужчина? Какое окно? — раздраженно воскликнул лорд Эвендел.— Мисс Белленден не способна дурачить меня, и, что бы тут ни случилось...

— Тише, тише! — сказала Дженни, у которой были свои причины добиваться прекращения дальнейших расспросов.— Ради самого неба, милорд, говорите потише, потому что миледи, кажется, приходит в себя.

Едва оправившись после обморока, Эдит слабым голосом попросила, чтобы ее оставили наедине с лордом Эвенделом. Все вышли из комнаты: Дженни — со своим обычным видом всегда

готового услужить простодушия, священник и леди Эмили — с выражением любопытства.

Как только они удалились, Эдит показала лорду Эвенделу место рядом с собой на диване; следующим движением, несмотря на его удивление и противодействие, она поднесла его руку к губам, потом она соскользнула с дивана и обхватила его колени.

— Простите меня, милорд! — вскричала она.— Простите меня! Я должна поступить очень нечестно по отношению к вам и отказаться от своего торжественного обета. Вам принадлежит моя дружба, мое глубочайшее уважение, моя искренняя благодарность... Вы располагаете бо́льшим — моим словом и моим обещанием... Но простите меня. Я не виновата. Я не люблю вас и не могу выйти за вас, не впадая в грех!

— Вы бредите, дорогая Эдит! — сказал лорд Эвендел в полном смятении.— Вы позволяете своему воображению обманывать вас; ведь это какой-то призрак, порожденный вашей фантазией; тот, кого вы предпочли мне, давно уже в лучшем мире, куда не могут проникнуть ваши бесплодные сожаления, а если бы и проникли, то лишь нарушили бы блаженство, которое он там вкушает.

— Вы ошибаетесь, лорд Эвендел,— сказала Эдит торжественно.— Я не лунатик и не сошла с ума. Нет, я бы сама не поверила, если бы не видела собственными глазами. Но я его видела, я не могу не верить своим глазам.

— Вы его видели! Кого же? — спросил в волнении лорд Эвендел.

— Генри Мортона,— отвечала Эдит, произнося эти слова так, точно они были последними в ее жизни, и едва не теряя сознания.

— Мисс Белленден,— сказал лорд Эвендел,— вы обращаетесь со мной как с глупцом или малым ребенком. Если вы раскаиваетесь в своей помолвке со мною,— продолжал он негодующим тоном,— я не таков, чтобы принуждать вас вопреки вашим склонностям, но прошу вас, разговаривайте со мной как с мужчиной, и давайте оставим эти неуместные шутки.

Он собрался было уйти, но, взглянув на нее и заметив ее блуждающий взор и бледные щеки, понял, что она его не обманывала и действительно чем-то очень напугана. Он переменил тон и употребил все свое красноречие, чтобы ее успокоить и дознаться истинной причины этого страха и возбуждения.

— Я его видела,— говорила она.— Я видела Генри Мортона, он стоял у этого окна и смотрел в комнату в тот самый

момент, когда я готова была отречься от него навсегда. Его лицо осунулось и побледнело; на нем был походный плащ и надвинутая на глаза шляпа; выражение лица было такое же, как в тот страшный день, когда допрашивал его в Тиллитудлеме Клеверхауз. Спросите вашу сестру, спросите леди Эмили, разве она не видела его так же отчетливо, как видела его я. Я знаю, что вызвало его из могилы,— он пришел, чтобы укорить меня, потому что в то время, когда сердце мое было с ним в глубоком и безжизненном море, я собиралась отдать свою руку другому. Милорд, между мною и вами все кончено; будь что будет — та, чей брак тревожит покой мертвецов, не может выйти замуж.

— Боже милостивый! — шагая по комнате, воскликнул лорд Эвендел, сам почти обезумевший от изумления и досады.— Ее ум совсем помутился оттого, что она заставляла себя согласиться на мою несвоевременную, хотя и бескорыстную просьбу. Если не дать ей отдыха и не окружить ее неусыпной заботой, она навеки потеряет здоровье.

В этот момент отворилась дверь, и в комнату влетел Том Хеллидей, который, оставив вместе с лордом Эвенделом во время революции полк, сделался его слугою и чем-то вроде адъютанта. Его лицо было мертвенно-бледно и искажено ужасом.

— Что еще, Хеллидей? — вскричал его господин, вскакивая со стула.— Какие-нибудь новости о...

Он овладел собой и остановился на половине опасной фразы.

— Нет, сэр,— сказал Хеллидей,— нет, сэр, не это, совсем другое: я видел призрак!

— Призрак! Безнадежный болван! — сказал лорд Эвендел, окончательно потеряв терпение.— Кажется, все человечество решило спятить с ума, чтобы увлечь и меня за собой. Какой призрак, ну, отвечай, простофиля?

— Призрак Генри Мортона, начальника вигов во время битвы на Босуэлском мосту,— ответил Хеллидей.— Он промелькнул мимо меня, точно молния, когда я находился в саду.

— Это какое-то наваждение,— сказал лорд Эвендел,— или чьи-то злонамеренные проделки. Дженни, проводите леди в ее комнату, а я попробую расследовать эту историю.

Розыски лорда Эвендела оказались, однако, тщетными. Дженни, которая могла бы, если бы захотела, объяснить происшедшее, имела свой расчет не раскрывать тайны. Дело в том, что, с тех пор как Дженни получила в свою безраздельную собственность деятельного и любящего супруга, ее кокет-

ство бесследно исчезло, но зато расчет стал главной побудительной причиной всех ее действий. Воспользовавшись первыми минутами всеобщего замешательства, она привела в порядок ту комнату по соседству с гостиной, где ночевал Мортон, и уничтожила все признаки его ночного пребывания в ней. Она умудрилась даже затереть следы под окном, в которое, прежде чем покинуть сад, заглянул Мортон, чтобы еще раз увидеть ту, которую он так долго любил и теперь терял навсегда. Было совершенно ясно, что это он пронесся по саду мимо Хеллидея; от старшего мальчика, которому она велела оседлать коня незнакомца и держать его наготове, ей стало известно, что Мортон вбежал в конюшню, бросил мальчику золотой, вскочил на коня и со страшной быстротой помчался по направлению к Клайду. Таким образом, тайна пребывала в лоне ее семейства, и Дженни решила, что там ей надлежит и остаться.

«Конечно,— рассуждала она про себя,— миледи и Хеллидей узнали мистера Мортона, но то было днем, а это совсем не значит, что я также должна была узнать его в сумерки или при свете свечи. И к тому же он все время прятал лицо от Кадди и от меня».

Поэтому на вопросы лорда Эвендела она ответила, что ей ровно ничего не известно. Что касается Хеллидея, то он упорно продолжал стоять на своем, утверждая, что, войдя в сад, встретился с промелькнувшим мимо него привидением, лицо которого выражало гнев и печаль. Хеллидей говорил, что знает Мортона достаточно хорошо: ведь он не раз его охранял, и именно ему было поручено перечислить его приметы, если бы он бежал из-под стражи. А такие лица, как у мистера Мортона, попадаются не так уж часто. Но что заставило его посетить места, где он не был ни повешен, ни расстрелян,— этого он, Хеллидей, не может уразуметь.

Леди Эмили подтвердила, что видела в окне мужское лицо, но на этом и кончались ее показания. Джон Гьюдьил заявил, что nil novit in causa [1]. Он кончил свою работу в саду и пошел приложиться к утренней чарочке как раз в то самое время, когда было замечено привидение. Слуга леди Эмили ожидал приказаний на кухне, и на четверть мили кругом больше никого не было.

Лорд Эвендел вернулся озабоченный и расстроенный: план, выполнение которого, принимая во внимание особые обстоятельства, он считал не менее необходимым в интересах Эдит,

[1] Ничего не знает об этом деле *(лат.)*.

чем для достижения собственного счастья, рушился теперь без видимых и объяснимых причин.

Зная характер Эдит, он не мог подозревать ее в том, что, изменив внезапно решение, она придумала в свое оправдание этот мнимый призрак. Он объяснил бы эту историю игрою ее расстроенного воображения, возбужденного обстоятельствами, в которых она неожиданно оказалась, но показание Хеллидея в точности совпадало с ее словами, а ведь этот последний не имел никаких причин думать о Мортоне больше, чем о комлибо другом, и к тому же ничего не знал о привидении мисс Эдит, когда сам возвестил о своем собственном. С другой стороны, было в высшей степени невероятно, чтобы Мортон, так долго и тщетно разыскиваемый и, по всей вероятности, утонувший на «Свободе», пошедшей ко дну вместе со всем своим экипажем и пассажирами, был цел и невредим и скрывался в стране, где мог бы появиться в открытую, так как новое правительство покровительствовало приверженцам его партии. Когда же лорд Эвендел с большой неохотой поделился своими соображениями со священником, чтобы узнать его мнение, он принужден был выслушать пространную лекцию по демонологии, в которой, сославшись на Дельрио, Бортхуга и Деланкра, писавших о привидениях, а также на различных знатоков гражданского и общего права, рассуждавших о природе свидетельских показаний, ученый джентльмен заявил, что, по его решительному и окончательному суждению, это был или подлинный дух покойного Генри Мортона, возможность чего он, как лицо духовное и как философ, не может ни утверждать, ни оспаривать, или что вышепоименованный Генри Мортон, все еще пребывая in rerum natura [1], появился сегодня утром во плоти и крови, или, наконец, что глаза мисс Белленден и Томаса Хеллидея были введены в заблуждение каким-нибудь поразительным deceptio visus [2], если не исключительным сходством во внешности. Какая из этих гипотез наиболее правдоподобна, ученый муж не брался решать, но ручался своей головой, что вся утренняя суматоха была следствием одной из перечисленных выше причин.

Вскоре, вдобавок ко всем этим тревогам, лорду Эвенделу сообщили, что мисс Белленден тяжело заболела.

— Я не уеду отсюда,— воскликнул он,— пока ее здоровье не перестанет внушать опасения! Я не могу и не должен ее

---

[1] В природе *(лат.)*.

[2] Обманом зрения *(лат.)*.

покидать, ибо каков бы ни был непосредственный повод ее болезни, затеяв этот злосчастный разговор, я был первой ее причиною.

Он остался гостем в Фери-ноу. В глазах общества это было вполне естественно и не нарушало приличий, так как в усадьбе находились его сестра и леди Маргарет Белленден, которая, узнав о болезни внучки, потребовала, несмотря на свой ревматизм, чтобы ее немедленно к ней доставили. Он с нетерпением ожидал, когда, без ущерба для здоровья Эдит, можно будет окончательно объясниться с нею и вслед за тем выехать в лагерь восставших.

«Она не должна,— думал благородный молодой человек,— смотреть на свою помолвку как на насильственное принуждение вступить в брак, одна мысль о котором сводит ее с ума».

## ГЛАВА XXXIX

О поле, о любезный дол,
О рощи сень густая,
Здесь годы детства я провел,
Еще невзгод не зная.

*«Вид издали на Итонский колледж»*

Не только недуги и потребности плоти уравнивают даже самых одаренных людей со всеми остальными. Бывают минуты душевных волнений, когда самый сильный из смертных равен слабейшему из своих собратий. В такие мгновения, уступая своей человеческой сущности, он усугубляет свалившееся на него горе сознанием, что, предаваясь печали, он нарушает те предписания религии и философии, которым стремился подчинять свои страсти и свои действия.

Именно в таком состоянии духа несчастный Мортон покидал Фери-ноу. Знать наверно, что Эдит, которую он любил так давно и которую все еще любит, Эдит, чей образ наполнял его душу долгие годы, готова выйти замуж за соперника дней его юности и что этот соперник имеет все права на ее сердце, так как она, в сущности, не может ему отказать после стольких оказанных им услуг,— это было ему много горше, чем томиться, как до сих пор, в неизвестности, хотя и не явилось для него неожиданностью.

За годы своего пребывания за границей он однажды писал Эдит. Он прощался с нею навеки и заклинал забыть о его существовании. Он просил не отвечать на письмо, но все же долгое

время надеялся, что его просьба не будет исполнена. Его письмо не дошло до той, которой было направлено, и Мортон, не знавший об этом, должен был заключить, что он забыт в соответствии с его собственной исполненной самоотречения просьбой. Все, что, возвратившись в Шотландию, он слышал о мисс Белленден, подготовило его к мысли, что он должен видеть в ней невесту лорда Эвендела. Впрочем, будь она даже свободна от каких бы то ни было обязательств, Мортон, при благородстве своего характера, не стал бы расстраивать их предполагаемый брак, притязая на восстановление своих прав, утраченных в долгой разлуке, не закрепленных за ним согласием ее близких и встречавших тысячу препятствий со стороны множества обстоятельств. Почему же он посетил усадьбу, в которой после своего разорения нашли для себя приют леди Маргарет и ее внучка? Он уступил — и мы вынуждены это признать — неразумному влечению, которое в его положении могло бы захватить и многих других.

Направляясь в родные места, он случайно узнал, что обе леди, мимо усадьбы которых ему предстояло проехать, были в отсутствии. Услышав, что Кадди с женой — их доверенные слуги, он не устоял пред искушением и остановился у порога их хижины, чтобы выяснить, насколько мисс Белленден — увы! теперь уже не его Эдит — отвечает чувствам лорда Эвендела. Мы уже рассказали, к чему повел этот рискованный шаг: покидая Фери-ноу, Мортон знал, что Эдит все еще его любит, но долг и честь принуждали его оставить ее навсегда.

С какими чувствами должен был он воспринимать разговор лорда Эвендела с мисс Эдит, бóльшую часть которого невольно подслушал, пусть читатель представит себе в меру своего воображения, так как мы не решаемся их описывать. Сколько раз порывался он вбежать в комнату, где они находились, или крикнуть: «Эдит, я жив!», но он тотчас же вспоминал, что она связана словом, а он обязан вечною благодарностью лорду Эвенделу (чьим влиянием на Клеверхауза он справедливо объяснял свое избавление от пытки и казни). Все это удерживало его от опрометчивых действий, которые внесли бы разлад в отношения между Эдит и ее женихом, но ничем не могли бы способствовать его счастью. Он поборол свои чувства, хотя в нем каждый нерв содрогался от этой муки.

«Нет, Эдит,— поклялся он мысленно,— я не стану бередить твои раны. Да будет так, как предназначено небом. И я не стану добавлять хотя бы крупицу моей личной скорби к тому бремени, которое ты несешь. Я был мертв для тебя, когда ты свя-

зывала себя обещанием, и ты никогда не узнаешь, что Генри Мортон, твой Генри, жив».

Приняв это решение, но не доверяя себе и стремясь обрести ту душевную твердость, которая, пока до его слуха долетал голос Эдит, могла быть поколеблена в любое мгновенье, он поспешно покинул комнату и, пройдя через маленький кабинет и стеклянную дверь, вышел в сад.

Сколько ни уверял он себя, что его решение окончательно, он не мог оставить это место, где до него продолжали доноситься звуки ее милого голоса, не воспользовавшись возможностью посмотреть хотя бы украдкой в окно и увидеть ее в последний раз. Когда он подошел и заглянул в окно, Эдит сидела с опущенными глазами. Она внезапно их подняла и увидела Мортона. Едва ее душераздирающий крик оповестил об этом предмет ее столь постоянной и столь роковой любви, как Мортон пустился бежать, точно за ним гнались разъяренные фурии. В саду он наткнулся на Хеллидея, но не узнал или даже вовсе его не заметил. Он вскочил на коня и — скорее инстинктивно, чем намеренно — свернул на первую встретившуюся ему тропу, избегая проезжей дороги, что вела в Гамильтон.

Это, видимо, и помешало Эвенделу убедиться в существовании реального Мортона. После известия о решительной победе горцев при Килликрэнки было установлено тщательное наблюдение за всеми дорогами и переправами, чтобы предупредить возможное выступление якобитов Нижней Шотландии. Не забыли выставить часовых и на Босуэлском мосту, и так как эти люди не видели ни одного путешественника, проезжавшего в западном направлении, а их товарищи в деревне Босуэл столь же решительно утверждали, что никто не проезжал и с запада на восток, то призрак, в существовании которого были так твердо убеждены Эдит и Хеллидей, стал для лорда Эвендела еще большей загадкой, и он в конце концов начал склоняться к мысли, что разгоряченное и расстроенное воображение Эдит создало фантастический образ, а Хеллидей, что, впрочем, непостижимо, оказался во власти той же галлюцинации.

Между тем тропа, по которой Мортон мчался со всей быстротой, доступной его сильному и выносливому коню, в несколько секунд привела его к берегу Клайда, где было много конских следов, так как сюда водили на водопой лошадей. Конь, все время шедший галопом, не задерживаясь ни на мгновение, бросился в реку и вскоре достиг быстрины. Он поплыл, и Мортон, движения которого были до этого машинальными, почувствовал, что погружается в холодную воду по самую грудь. Это

напомнило ему, что нужно позаботиться о себе и о благородном животном, которое было под ним. Он отличался во всем, что требовало отваги и ловкости, и переправляться на коне вплавь было для него таким же простым и обычным делом, как скакать по полям и лугам.

Он направил коня вниз по течению, к видневшемуся на той стороне пологому выступу, рассчитывая, что там всего легче выбраться из реки. Первые две попытки, однако, не увенчались успехом; конь, обманутый грунтом, едва не опрокинулся вместе со всадником навзничь. Инстинкт самосохранения даже в самых отчаянных обстоятельствах возвращает нас к душевному равновесию, если только мы не находимся во власти безотчетного ужаса, и тем, что Мортон полностью овладел собой, он был обязан угрожавшей ему опасности. Тщательно выбрав подходящее место, он сделал третью попытку, более успешную, чем предыдущие, и конь со всадником оказались на левом берегу Клайда.

«Но куда,— с горечью в сердце спросил себя Мортон,— куда мне направить путь? Да и не все ли равно, какой точки компаса станет держаться столь горемычный скиталец, как я? Боже милостивый, если бы такое желание не было тяжким грехом, как бы я жаждал, чтобы эти темные воды сомкнулись над моей головой и поглотили воспоминания о былом и мысли о настоящем!»

Едва он выразил в этих скорбных словах отчаяние и нетерпение, вызванные смятением чувств, как тотчас же устыдился своего малодушия. Он вспомнил, сколько раз, среди бесконечных опасностей, осаждавших его почти непрерывно с тех пор, как он ступил на стезю общественного служения, судьба просто чудом сберегала ему жизнь, которую теперь, подавленный своим горем, он так низко ценил.

«Я глупец,— сказал он себе,— я хуже глупца, потому что так дешево ценю жизнь, столько раз и столь поразительным образом сохраненную мне провидением! Ведь кое-что остается в этом мире и для меня — хотя бы сносить свои печали, как подобает мужчине, и помогать тем, кто в этом нуждается. Разве все, что я сейчас видел, что сейчас слышал,— не завершение того, что, как я знал, неизбежно должно случиться? Они оба (он не смел даже мысленно назвать их по имени) — в затруднительных обстоятельствах. Ее лишили наследства, он готов, кажется, броситься в какое-то опасное дело, и, не говори он так тихо, я бы знал в какое. Неужели нельзя им помочь, нельзя их вовремя предостеречь!»

И он принялся упорно думать об этом, заставив себя забыть о собственных бедах и сосредоточить свое внимание на делах Эдит и ее жениха. Внезапно, словно луч света, пробившийся сквозь туман, его осенила мысль о давно забытом письме Белфура Берли.

«Вот кто,— пришел он к выводу,— виновник их разорения. Если этому еще можно помочь, то только через него или получив у него необходимые сведения. Я должен во что бы то ни стало встретиться с ним. Как бы он ни был суров, коварен и фанатичен, все же моя честность и прямота нередко заставляли его уступать. Во всяком случае, я его разыщу, и, кто знает, не повлияют ли добытые мною сведения на судьбу тех, кого я больше никогда не увижу и кто, быть может, никогда не узнает, что я подавляю теперь в себе свои страдания ради их счастья».

Окрыленный этой надеждой, весьма, впрочем, неосновательной, он кратчайшим путем помчался к большой дороге. Зная в долине каждую тропку, так как в юности он здесь постоянно охотился, Мортон, перескочив две-три изгороди, без труда выбрался на дорогу, которая вела к тому самому городку, где происходило празднество «попки». Он ехал в мрачном настроении, но уже не ощущал того отчаяния, которое только что его угнетало; ясное понимание своего долга и готовность к самопожертвованию, даже если они не дают человеку счастья, почти всегда приносят успокоение. Он стал усиленно размышлять о том, как ему найти Берли и можно ли добиться от него сведений, благоприятных для той, чьи интересы он намерен был защищать. В конце концов он решил, что будет действовать в зависимости от обстоятельств их встречи, надеясь, что Берли, разошедшийся, по словам Кадди, со своими единоверцами-пресвитерианами, может быть, не так уж враждебно настроен по отношению к мисс Белленден и теперь согласится употребить власть, которую, судя по его письму, он имеет над ее состоянием, в благоприятном для нее направлении.

Миновал уже полдень, когда наш путник оказался поблизости от усадьбы своего покойного дяди Милнвуда. Окрестные рощи и леса напомнили Мортону о былых радостях и печалях и произвели на него грустное впечатление — мягкое, волнующее и в то же время успокаивающее, такое, какое обычно производит на тонко чувствующую натуру, испытавшую бури и превратности общественной жизни, возвращение в родные места, туда, где протекали детство и юность.

«Старая Элисон,— думал он,— меня не узнает, как не узнала честная супружеская чета, с которой я вчера встретился. Я смогу удовлетворить свое любопытство и тотчас же снова отправиться дальше, не сообщив ей о том, что я жив. Говорят, дядя оставил ей наше родовое гнездо. Что ж? Пусть так! У меня столько настоящего горя, что я не в состоянии сетовать на такую неприятность, как эта. Однако странную, надо признаться, избрал он наследницу, отказав моей доброй старой ворчунье владения если и не прославленных, то все же почтенных предков».

Милнвудский дом, даже в лучшие времена не отличавшийся привлекательностью, теперь, находясь во владении домоправительницы, сделался, казалось, еще более хмурым. Впрочем, все тут было в исправности: на крутой серой крыше не выпала ни одна плитка шифера, в узких окнах не было ни одного выбитого стекла. Трава во дворе разрослась так густо, как будто тут уже долгие годы не ступала нога человека, все двери были тщательно заперты, и та, которая вела в сени, не отворялась, видимо, уже очень давно — по крайней мере, пауки успели заткать паутиной и ее, и железные петли на ней.

Мортон не обнаружил вокруг ни малейшего признака жизни; он долго и громко стучал, прежде чем наконец услышал, как кто-то осторожно приотворяет слуховое окно, через которое в те времена было принято разглядывать посетителей.

Перед ним предстало лицо Элисон со множеством новых морщин в добавление к тем, которые его покрывали, когда Мортон покинул Шотландию; ее голова была повязана простою косынкой, из-под которой выбивались космы седых волос, что не столько украшало ее лицо, сколько придавало ему живописность. Дребезжащим, пронзительным голосом она спросила, что ему нужно.

— Я хотел бы побеседовать с некоей Элисон Уилсон, которая тут проживает,— ответил Генри.

— Ее нет дома,— сказала миссис Уилсон собственной персоной. Состояние ее головного убора внушило, вероятно, ей мысль отрицать себя самое.— К тому же, сударь, вы плохо воспитаны, спрашивая ее в таких невежливых выражениях. Вы могли бы не проглатывать слово миссис и осведомиться о миссис Уилсон Милнвуд.

— Прошу прощения,— сказал Мортон, улыбаясь про себя и подумав, что Эли так же ревниво оберегает собственное достоинство, как оберегала его когда-то.— Прошу прощения, я приезжий и к тому же так долго жил за границей, что почти разучился говорить на родном языке.

— Вы из чужих краев? — спросила Эли.— А не слыхали ли вы чего-нибудь о молодом джентльмене из наших мест, которого зовут Генри Мортон?

— Слышал,— ответил Мортон.— Я слышал это имя в Германии.

— Тогда прошу вас, обождите минутку, голубчик, или... нет... обойдите-ка вокруг дома, там вы найдете дверь — вы увидите, она меньше других; эта дверь на щеколде — она запирается только после заката. Вы откроете ее и войдете, но только не угодите в чан, там темно; потом вы повернете направо, потом идите прямо вперед, потом вы опять повернете направо и окажетесь у лестницы, что ведет в погреб, и тут вы упретесь в дверь малой кухни — это теперь наша милнвудская кухня, и там я вас встречу, и вы сможете совершенно спокойно передать мне все, что хотели бы сообщить миссис Уилсон.

Постороннему человеку, несмотря на подробные указания Эли, было бы трудно благополучно пробраться по этому темному лабиринту бесчисленных переходов от заднего крыльца к малой кухне, но Генри были отлично известны правила плавания по этим проливам, и его не страшила ни Сцилла, притаившаяся с одной стороны в виде чана с водою, ни Харибда, зиявшая с другой стороны узкой винтовой лестницей. Единственное препятствие, с которым он все же столкнулся, был визгливый и яростный лай маленького сердитого спаниеля, когда-то принадлежавшего Мортону; отнюдь не напоминая в этом отношении верного Аргуса, он встретил своего возвратившегося из дальних странствий хозяина как совершенно неизвестную ему личность.

«И эта собачка — тоже,— подумал Мортон, обнаружив, что отвергнут своей былою любимицей.— Я до того изменился, что ни одно живое существо, никто, кого я знал и любил, меня больше не узнает!»

В этот момент он добрался до кухни, и почти тотчас послышался стук высоких каблуков Элисон и аккомпанирующего им костыля, которым она нащупывала ступени, спускаясь по лестнице; это длилось довольно долго, пока наконец она не появилась на кухне.

За это время Мортон имел возможность рассмотреть скромные хозяйственные приготовления, которых было теперь совершенно достаточно для обитателей его родового гнезда. Огонь был разведен таким образом, чтобы поменьше расходовать топлива, хотя окрестности изобиловали каменным углем, и небольшой глиняный горшок, в котором варился обед для старухи и ее

единственной служанки, девочки лет двенадцати, оповещал тонкою струйкой пара, что, несмотря на теперешнее богатство, Эли не сочла нужным улучшить свой стол.

Наконец она показалась, и ее голова, удостоившая Мортона величественным кивком, и лицо, в котором раздражительная брезгливость, укоренившаяся в результате привычки и снисходительности домашних, боролась с природной сердечностью и добродушием, и чепец, и передник, и юбка в синюю клетку — все было совершенно такое же, как у Эли в прежние времена; только кружевная наколка, надетая наспех для гостя, да кое-какие мелкие украшения отличали миссис Уилсон, пожизненную хозяйку Милнвуда, от домоправительницы покойного владельца того же поместья.

— Что вам угодно от миссис Уилсон, сэр? Я миссис Уилсон,— таковы были первые слова, обращенные ею к Мортону, так как пять минут, которые она потратила на свой туалет, возвратили ей, как она полагала, право назваться своим славным именем и поразить гостя ослепительным блеском. Переживания Мортона, взволнованного и воспоминаниями о былом, и мыслями о настоящем, так его поглотили, что ему было бы нелегко ответить на вопрос Элисон даже в том случае, если бы он знал, как отвечать.

К тому же он заранее не придумал, за кого себя выдавать, скрывая свое настоящее имя, и это было добавочной причиной остаться безмолвным. Миссис Уилсон с недоумением и даже тревогой в голосе повторила вопрос:

— Что вам угодно от меня, сэр? Вы сказали, что знали мистера Генри Мортона?

— Простите, сударыня,— ответил Генри,— но я говорил о Сайлесе Мортоне.

Лицо старой женщины вытянулось.

— Значит, вы знали его отца, брата покойного Милнвуда? Но как же вы могли видеть его за границей? Он возвратился домой, когда вас еще и на свете не было. А я думала, что вы сообщите мне новости о бедном мистере Генри.

— О полковнике Мортоне я слышал не раз от отца,— сказал Генри.— Что же касается его сына, то о нем я ничего или почти ничего не знаю; говорили, что он погиб на чужбине во время переезда в Голландию.

— Наверное, так и есть,— сказала со вздохом старушка,— и много слез стоило это моим старым глазам. Его дядя, бедняжка, испустил дух, вспоминая о нем. Он как раз давал мне подробные указания о хлебе, бренди и вине на поминальном обеде

после его похорон, сколько раз нужно послать круговую среди собравшихся (он и живой, и у самой могилы был человек благоразумный, расчетливый, предусмотрительный), и тогда-то он мне сказал: «Эли (он называл меня Эли, ведь мы давненько были знакомы), Эли, будьте бережливы и храните добро: ведь имя Мортонов из Милнвуда заглохло, как последний звук старой песни». И после этого он все слабел и слабел, и впал в забытье, и не проронил больше ни слова, только один раз что-то пробормотал, а что — мы и не разобрали, что-то об оплывшей свече, еще годной в дело. Он никогда не мог смотреть на оплывшую свечку, а тут, как назло, она и была на столе.

Пока миссис Уилсон рассказывала о последних минутах старого скряги, Мортон усердно пытался избавиться от настойчивого любопытства собаки, которая, оправившись от первого изумления и оживив былые воспоминания, после длительного обнюхивания и исследований, начала с радостным визгом кидаться и прыгать на незнакомца, угрожая разоблачить его в любую минуту.

Наконец, потеряв терпение, Мортон не удержался и раздраженно воскликнул:

— Прочь, Элфин! Прочь, сударь!

— Вы знаете, как зовут нашу собаку? — сказала старая дама, пораженная этим внезапным открытием.— Вы знаете, как зовут нашу собаку? А ведь имя у нее необычное. И она вас тоже узнала,— продолжала она еще более взволнованным, пронзительным голосом.— Господи боже! Да ведь это мой мальчик!

Сказав это, бедная женщина повисла на шее Мортона, сжала его в объятиях, начала целовать, словно он и в самом деле был ее сыном, и заплакала от неудержимой радости. Отпираться было решительно невозможно, даже если бы у него хватило на это духу. Он нежно обнял ее и сказал:

— Да, милая Эли, как видите, я жив и здоров, и благодарю вас за вашу всегдашнюю доброту, как прежнюю, так и нынешнюю. Я счастлив, что у меня есть хоть один друг, приветствующий меня при возвращении на родину.

— Друг! — воскликнула Эли.— У вас будет много друзей, потому что у вас будут большие деньги, голубчик, очень большие деньги! Дай бог вам ими получше распорядиться! Но господи боже,— продолжала она, отстраняя Мортона дрожащей рукой и всматриваясь в его лицо, чтобы разглядеть с более удобного для нее расстояния следы, оставленные на нем не столько временем, сколько страданиями,— но господи боже, вы очень, очень переменились, дорогой мой! Лицо у вас бледное, глаза

ввалились, а ваши румяные щеки стали темными и загорели от солнца. О, проклятые войны! Сколько красивых лиц они губят! Когда же вы приехали, голубчик? Где вы были? Что вы там делали? И почему ни разу не написали? Как случилось, что пошел слух о вашей гибели? И почему вы вошли в свой собственный дом тайком, выдавая себя за чужого, и так удивили вашу бедную, старую Эли? — заключила она, улыбаясь сквозь слезы.

Прошло некоторое время, прежде чем улеглось волнение Мортона, и он начал рассказывать доброй старушке историю последних десяти лет своей жизни. Эту историю мы сообщим читателю в следующей главе.

## ГЛАВА XL

Он Омерлеем звался,
Но стал он другом Ричарда, и нынче
Его зовите Рутлендом, миледи.

*«Ричард II»*

Они перешли из кухни в устланную тростниковыми циновками комнату миссис Уилсон, в которой она жила, будучи домоправительницей, и из которой не пожелала переселиться. Здесь, сказала миссис Уилсон, нет опасного для ее ревматизма сквозняка, как в столовой, и здесь ей удобнее, чем в кабинете покойного славного Милнвуда, где ее навещали бы печальные мысли; а что касается большой дубовой гостиной, то ее открывают только затем, чтобы проветрить, вымыть и вытереть пыль, как это всегда делалось у них в доме, да еще, пожалуй, в самые торжественные праздники.

Итак, они устроились в комнате миссис Уилсон среди горшков с соленьями и вареньями всех сортов и всех видов, которые бывшая домоправительница продолжала по привычке заготавливать на зиму, хотя ни она, ни кто другой никогда не притрагивались ко всей этой снеди.

Приспосабливая свой рассказ к уровню понимания слушательницы, Мортон коротко сообщил ей о гибели корабля вместе со всем экипажем и пассажирами, кроме двух-трех простых матросов, которые заранее припасли себе лодку и уже собрались отвалить от судна, когда он спрыгнул к ним с палубы и неожиданно, вопреки их желанию, навязался им в спутники. Высадившись во Флиссингене, он встретился по счастливой случайности с одним пожилым офицером, служившим когда-то вместе

с его отцом. Воздержавшись по совету этого офицера от немедленного отъезда в Гаагу, он отослал имевшиеся у него рекомендательные письма ко двору штатгальтера.

«Наш принц,— сказал ему старый военный,— пока еще вынужден поддерживать добрые отношения со своим тестем, а также с вашим королем Карлом, и если вы явитесь к нему как изгнанник из Шотландии, он не сможет оказать вам поддержку. Поэтому ждите его приказаний и не проявляйте настойчивости; соблюдайте величайшую осторожность, живите уединенно, скрывайтесь под другим именем, избегайте общества беглецов из Британии, и, поверьте мне, вам не придется раскаиваться в вашем благоразумии».

Старый приятель Сайлеса Мортона оказался прав. Прошло немало времени, прежде чем принц Оранский, путешествуя по Объединенным провинциям, прибыл в тот город, где, томясь неизвестностью и своим вынужденным инкогнито, все еще проживал Мортон. Ему была назначена частная аудиенция, во время которой принц отозвался с большой похвалой о его уме, осторожности и широких взглядах на борьбу партий в его отечестве, их задачи и принципы.

«Я охотно оставил бы вас при себе,— заявил Вильгельм,— но это было бы оскорблением Англии. Кое-что я для вас все-таки сделаю, и этим вы обязаны как высказанным вами суждениям, так и представленным рекомендациям. Вот временное назначение в швейцарский полк, стоящий гарнизоном в одной из отдаленных провинций, где вы едва ли встретите своих земляков. Будьте и впредь капитаном Мелвилом и не упоминайте имени Мортона до наступления лучших дней».

— Так началась моя служба,— продолжал рассказывать Мортон.— Мои заслуги не раз, по различным поводам, отмечались его королевским высочеством, пока он не высадился в Британии и не принес нам долгожданного избавления. Его приказ сохранять инкогнито объясняет, почему я не подавал о себе вестей моим немногим шотландским друзьям. Я нисколько не удивляюсь слуху о моей смерти, принимая во внимание кораблекрушение и еще то, что я так и не воспользовался переводными векселями, которые получил благодаря щедрости некоторых друзей,— а это обстоятельство, в свою очередь, также косвенно подтверждало известие о моей гибели.

— Но, дорогой мой,— спросила миссис Уилсон,— неужели при дворе принца Оранского не нашлось шотландцев, которые узнали бы вас? Я всегда думала, что Мортонов из Милнвуда знают по всей стране.

— Меня умышленно отправили служить подальше от больших городов,— сказал в ответ Мортон,— где я и находился довольно долгое время, так что, кроме вас, Эли, с вашей любовью и добротой, едва ли кто-нибудь мог бы узнать юношу Мортона в теперешнем генерал-майоре Мелвиле.

— Мелвил — девичье имя вашей покойной матушки,— сказала миссис Уилсон,— но имя Мортонов все же приятнее для моих старых ушей. И когда вы вступите во владение вашим имением, вам придется вернуть себе и прежнее имя, и прежний титул.

— Я не склонен торопиться ни с тем, ни с другим, Эли, у меня есть причины скрывать еще некоторое время мое существование от всех, кроме вас. Ну, а что касается управления Милнвудом, то оно в хороших руках.

— В хороших руках, голубчик,— повторила вслед за ним Эли,— неужели, говоря это, вы думаете обо мне? И арендная плата, и усадебная земля — сущие мучения для меня! И все же я нипочем не захотела нанять помощника, хотя Уилли Мак-Трикит, стряпчий, и так и этак навязывался и лебезил. Но я кошка слишком старая, чтобы кидаться на соломинку, когда мне ее подсовывают: ему так и не удалось меня обойти, как он обошел многих других. И потом, я все время надеялась, что вы все-таки вернетесь домой; вот я и сидела на каше да молочном супе и берегла добро, как делала, бывало, при жизни вашего бедного дяди. И для меня будет истинным счастьем смотреть, как вы богатеете да ловко управляетесь с вашим имуществом. Вы, верно, научились этому делу в Голландии — ведь они, говорят, бережливый народ, но вам все же придется держать дом чуточку побогаче, чем держал его старый бедный Милнвуд. И еще я советовала бы вам кушать мясное, пусть даже три раза в неделю,— это освобождает желудок от ветров.

— Обо всем этом мы когда-нибудь еще вдоволь поговорим,— сказал Мортон, пораженный редкостным великодушием, уживавшимся в Эли с отвратительной скаредностью, а также странным противоречием между ее страстью копить и ее бескорыстием.— Должен сказать,— продолжал Мортон,— что я прибыл сюда всего на несколько дней с особым и весьма важным поручением от правительства, и потому, Эли, ни слова о том, что вы меня видели. Когда-нибудь после я вам подробно сообщу о моих замыслах и намерениях.

— Пусть будет по-вашему, радость моя; я не хуже других умею молчать, и старый славный Милнвуд хорошо знал это и рассказал, где хранит свои денежки, а люди обычно это таят, как только могут. Но пойдемте, голубчик, я покажу вам наш

дубовый зал, и вы увидите, как он прибран — словно я ожидала вас со дня на день. Я никого туда не пускала и все делала там сама, своими собственными руками. Это было для меня даже некоторым развлечением, хотя глаза мои наполнялись слезами и я не раз говорила себе: чего ради я вожусь с решеткою на камине, с коврами, с подушками да с медными подсвечниками — а их там немало,— ведь те, кому это принадлежит, никогда уже не вернутся домой.

С этими словами она повела его в свое святая святых, которое ежедневно убирала и чистила, так как это было для нее делом чести и отрадою сердца. Мортон, войдя следом за ней в эту комнату, получил выговор за то, что «не вытер сапог», и это доказывало, что Эли все еще не утратила своей привычки повелевать. Оказавшись в дубовом зале, он не мог не вспомнить о чувстве благоговейного страха, с которым вступал сюда мальчиком в тех редких случаях, когда получал на это милостивое соизволение Эли. В те времена он считал, что такого большого зала нигде не найти, разве что в царских чертогах. Не трудно представить себе, что стулья с вышитыми шерстью сиденьями, короткими ножками из черного дерева и высокими спинками утратили в его глазах прежнее обаяние, широкая медная доска перед камином и щипцы для помешивания углей лишились былого великолепия, что зеленые шерстяные ковры не были похожи на шедевры аррасского станка и что вся комната показалась ему темной, угрюмой и безотрадной. Тут можно было увидеть и два хорошо знакомых ему портрета — карикатурное противопоставление двух братьев, столь же непохожих, как те, о которых говорил Гамлет. Эти портреты пробудили в Мортоне множество мыслей и чувств. Один представлял собою изображение его отца, во весь рост, в полном боевом вооружении, в позе, говорившей о его решительном характере; второй изображал его дядю в бархате и парче, и казалось, будто он стыдился своей собственной роскоши, которой был целиком обязан щедрости живописца.

— Странная это была причуда,— сказала Эли,— обрядить почтенного старика в дорогой, роскошный костюм, какого он никогда не носил, вместо мягкого серого домотканого платья с узким кантом на вороте.

В глубине души Мортон вполне разделял ее мнение, так как костюм джентльмена так же мало подходил к неуклюжей фигуре его покойного родственника, как выражение прямоты и благородства — к его лицу жалкого скряги.

Посетив гордость Эли — дубовый зал, Мортон покинул старую домоправительницу, чтобы побывать в соседнем лесу, где

у него издавна были заветные уголки, а миссис Уилсон, воспользовавшись его отсутствием, принялась собственными руками стряпать добавочное блюдо к обеду, который она приготовила для себя. Это обстоятельство, само по себе нисколько не примечательное, стоило между тем жизни одной из милнвудских кур, которая, не случись события столь исключительной важности, как приезд Генри Мортона, кудахтала бы до преклонного возраста, прежде чем Эли могла бы решиться зарезать ее и съесть. Во время обеда вспоминали о прошлом, и Эли говорила о своих планах на будущее, причем она нисколько не сомневалась, что ее молодой господин будет вести хозяйство с той же благоразумной расчетливостью, с какою вел его старый; себе же она отводила роль искусной и опытной домоправительницы. Мортон предоставил милой старушке видеть сны наяву и строить воздушные замки, не сообщая ей пока о своем намерении возвратиться на континент и остаться там навсегда.

Затем он снял с себя военный костюм, который мог помешать ему при розысках Берли, и надел серый камзол и плащ, которые носил прежде, когда жил в Милнвуде; они сохранялись у миссис Уилсон в ореховом сундуке, откуда она их иногда вынимала, чтобы тщательно вычистить и проветрить. Мортон оставил при себе шпагу и пистолеты, так как в те беспокойные времена редко пускались в путь без оружия.

Когда он появился пред миссис Уилсон в этом наряде, она прежде всего обрадовалась, что «это платье ему как раз впору», и хотя он не пополнел,— продолжала она,— все же выглядит более мужественным, чем тогда, когда его увезли из Милнвуда.

Потом она заговорила о том, как выгодно сохранять старое платье, которое она называла «заготовкой для нового», и пустилась в длинный рассказ о бархатном плаще покойного Милнвуда, превращенном сначала в камзол, а затем в пару штанов; и все эти вещи неизменно казались, по ее словам, всякий раз совсем новыми,— но в этот момент Мортон прервал ее повествование о метаморфозах бархатного плаща, заявив, что пора прощаться.

Он очень ее огорчил, сказав, что должен ехать сегодня же.

— Но куда же вы направляетесь? И что собираетесь делать? И почему не хотите провести ночь в своем собственном доме, после того как столько лет не спали под его крышей?

— Я знаю, что это нехорошо, милая Эли, но я должен ехать. Потому-то я и хотел скрыть от вас, кто я такой; я ведь знал, что вы не так-то легко меня отпустите.

— Куда же вы едете? — спросила Эли еще раз.— Видал ли кто такого, как вы: заехал на минутку и опять улетает, словно стрела, выпущенная из лука!

— Так нужно, Эли. Сейчас я еду к Нийлу Блейну в «Приют волынщика»,— ответил Мортон.— Как вы думаете, смогу ли я там заночевать?

— Заночевать? Конечно, сможете,— сказала Эли,— и к тому же с вас за это хорошенько сдерут. Могу только одно сказать — вы потеряли в чужих краях всякий рассудок; подумать только, платить деньги за ужин и за постель, когда и то и другое можно получить даром, и вам еще скажут спасибо, если вы примете приглашение!

— Уверяю вас, Эли,— сказал Мортон, желая положить конец ее настойчивым уговорам,— это очень важное дело: оно может доставить мне много выгод и не угрожает ни малейшим ущербом.

— Не возьму в толк, как это так, если вы начинаете с того, что готовы выбросить на свой ужин, может, два добрых шотландских шиллинга; впрочем, молодые люди надеются добыть деньги, швыряя их безо всякого счету. Мой бедный старый хозяин вел себя куда вернее и никогда с ними не расставался, коль скоро они попадали в его карман.

Настояв на своем, Мортон попрощался с бедной Эли и, вскочив в седло, направился в расположенный невдалеке городок. Предварительно он взял с миссис Уилсон торжественное обещание не обмолвиться о его возвращении ни единым словом, пока она снова не увидит его или о нем не услышит.

«Я вовсе не расточителен,— думал он, медленно продвигаясь к городу,— но если б я поселился с верною Эли, как она об этом мечтает, то не прошло бы недели, как моя нерасчетливость разбила бы сердце этой славной старушки».

## ГЛАВА XLI

А где ж хозяин,
Как вы мне обещали? Я всегда
С хозяином беседую охотно.

*«Путешествие влюбленного»*

Мортон без приключений добрался до городка и остановился в трактире. По дороге он не раз возвращался к мысли о том, как бы платье, которое он носил в юности, по ряду причин более удобное для него, чем военное, не помешало ему сохранить инкогнито. Впрочем, столько лет походов и странствий

так изменили его наружность, что вряд ли кто-нибудь смог бы узнать во взрослом мужчине, лицо которого говорило об уме и решительности, незрелого и робкого юношу, удостоенного когда-то почетного звания Капитана Попки. Разве только какой-нибудь виг из числа тех, кого он водил за собой в сражения, узнает в нем бывшего командира милнвудских стрелков; но от этого риска, если он и вправду существовал, все равно не уберечься.

«Приют» был полон; он, видимо, по-прежнему пользовался доброю славой. Внешний вид и обращение Нийла Блейна, более тучного и менее обходительного, чем прежде, свидетельствовали о том, что его мошна распухла не меньше, чем тело, так как в Шотландии степень предупредительности трактирщика по отношению к гостям его заведения тем меньше, чем больше он преуспевает в делах. Его дочь приобрела вид и манеры ловкой трактирщицы, сохраняющей в атмосфере любви и войны, которая могла бы, казалось, смущать ее при исполнении многотрудных обязанностей, полнейшую невозмутимость. И Нийл и его дочь удостоили Мортона ровно такою дозой внимания, на какую мог рассчитывать путник, путешествующий без слуг, в те времена, когда они были главным отличительным признаком знатности и богатства.

Разыгрывая взятую на себя роль в соответствии со своим внешним видом, он побывал в конюшне, чтобы взглянуть, накормлен ли конь; возвратившись в трактир и подсев к столу в общей комнате (ибо потребовать для себя отдельную было бы в те дни неслыханною причудой), он обнаружил, что находится в том самом памятном ему помещении, где несколько лет назад праздновалась его победа на стрелковом соревновании и где его в шутку произвели в капитаны, что повлекло за собой столько тяжелых последствий.

Конечно, он чувствовал, что очень изменился со времени этого пиршества, и все же, оглядевшись вокруг, увидел, что посетители «Приюта» мало чем отличаются от тех, кто заглядывал сюда прежде. Несколько горожан вливали в себя «капельку бренди», несколько драгун сидели вразвалку за своим мутным элем и проклинали тихие времена, не позволявшие им поднести себе лучшее угощение. Их корнет, правда, не играл в триктрак со священником в рясе, но все-таки был тут как тут и прикладывался к своей чарочке aqua mirabilis [1] в обществе пресвитерианского пастора в сером плаще.

[1] Чудодейственной воды *(лат.)*, то есть водки.

Картина была иная — и вместе с тем та же, действующие лица были другие, но характер происходящего в целом оставался все тем же.

«Пусть человечество, подобно морскому приливу, прибывает и убывает,— размышлял Мортон, наблюдая окружающую картину,— всегда найдется довольно таких, что заполнят освобожденное случаем место, и в обычных житейских занятиях и удовольствиях люди будут сменять друг друга, как листья на том же дереве, с теми же индивидуальными чертами отличия и тем же всеобщим сходством».

Переждав несколько минут, Мортон, знавший по опыту, каким способом обеспечивается любезность трактирщика, велел подать пинту кларета, и когда улыбающийся Нийл Блейн предстал перед ним с кувшином пенящегося, только что нацеженного из бочки вина (в то время еще не принято было разливать вино по бутылкам), он пригласил его присесть рядом и отведать его угощения.

Это приглашение было по душе Нийлу Блейну, но оно его не удивило и не смутило: конечно, не каждый посетитель, за неимением лучшего общества, приглашал его разделить компанию, но все же это случалось нередко. Он присел рядом со своим гостем в уединенном уголке у очага, выпил по его настоянию почти все стоявшее перед ним вино и, выполняя одну из своих обязанностей, принялся выкладывать местные новости — о рождениях, смертях, браках, о переходе поместий из одних рук в другие, о разорении старых родов и о возвышении новых. Но политики — неиссякаемого источника красноречия в наши дни — хозяин «Приюта» явно и старательно избегал и только на прямой вопрос Мортона ответил с видом полного безразличия:

— Гм, да... Тут стоят у нас кое-какие солдаты, иногда больше, иногда меньше. Есть немного немецкой конницы в Глазго; их командира зовут Виттибоди или что-то вроде того, и это, пожалуй, самый мрачный и страшный старый голландец, каких я когда-либо видел.

— Может быть, Виттенбольд? — сказал Мортон.— Такой молчаливый старик с седой головой и черными, коротко подстриженными усами.

— И все время курит,— ответил Нийл.— Я вижу, ваша честь его знает. Он, может, и неплохой человек, не стану спорить, тем более что он все-таки солдат и голландец, но, будь он хоть десять раз генералом и столько же раз Виттибоди, не понимает он толку в волынке: ведь он прервал меня на самой

середине «Торфихенского хоровода», а это лучшее, что когда-нибудь выдувала волынка.

— Ну, а эти молодцы,— сказал Мортон, взглянув на солдат, находившихся в помещении,— они тоже из его части?

— Нет, это шотландские драгуны,— ответил хозяин,— это старые жуки, ребята, которые были раньше у Клеверза и, кто его знает, может, перешли бы снова к нему, будь его руки хоть чуточку подлиннее.

— А ведь говорили, что он убит? — спросил Мортон.

— Говорили,— сказал трактирщик,— вы правы, есть такой слух; но, по моему скромному разумению, дьявол помирает не скоро. Хорошо бы, чтобы и здесь не зевали. Если б он захотел, то спустился бы с гор в один миг, скажем, пока я опрокинул бы в себя этот стакан. А кто ему даст отпор? Эти чертовы негодяи драгуны, свистни он только, тотчас переметнулись бы на его сторону. Конечно, теперь они служат Уилли, как прежде служили Джеймсу, и удивляться, понятно, тут нечему: они дерутся за плату, за что же им еще драться? У них ни кола ни двора, разве не так? Хорошая вещь этот переворот или, как они его называют, революция; народ может теперь говорить, не таясь, в присутствии любого солдата, и не боится, что его за это потащат к ним на гауптвахту или зажмут ему в тиски пальцы, как я зажимаю пробку от бочки.

После короткой паузы Мортон, видя, что язык трактирщика постепенно развязывается, решился, хотя и не без колебания, обратиться к нему с вопросом, имевшим для него большое значение, а именно: знает ли Блейн проживающую где-то поблизости женщину по имени Элизабет Мак-Люр.

— Знаю ли я Бесси Мак-Люр? — ответил трактирщик, ухмыляясь, как ухмыляются решительно все трактирщики.— Как же мне не знать Бесси Мак-Люр, сестру первого мужа моей собственной покойной жены (мир праху ее!). Славная она женщина, но уж очень замучили ее всякие беды: двух сыновей, двух дюжих красивых парней, потеряла она во время гонений, как их теперь называют, и тихо и безропотно перенесла свое горе, никого не браня, никого не виня. Если есть какая почтенная женщина на всем белом свете, так это Бесси Мак-Люр. Потерять двух сыновей, как я сказал, и после этого целый месяц терпеть у себя бражничающих драгун — ведь кто бы ни взял верх, тори ли, виги ли, они ставят на постой этих ребят к трактирщикам,— и вот, говорю, потерять двух сыновей...

— Так эта женщина держит трактир?

— Постоялый двор, и очень убогий,— ответил Блейн, самодовольно оглядывая свое заведение,— варит жидкий и слабенький эль и продает его тем, кто с дороги да с жажды выпьет всё что угодно. Но там вы не увидите ни бойкой торговли, ни того, что называется процветающей гостиницей.

— А могли бы вы дать мне кого-нибудь, кто бы меня туда проводил? — спросил Мортон.

— Разве ваша честь не останется у меня ночевать? Вряд ли вы найдете у Бесси какие-нибудь удобства,— сказал Нийл, расположение которого к родственнице его покойной жены не заходило так далеко, чтобы посылать ей постояльцев из своего собственного трактира.

— Я должен встретиться у нее с одним моим другом,— ответил Мортон,— и заехал к вам лишь затем, чтобы проглотить чарку-другую и расспросить о дороге.

— Вашей чести было бы много удобнее,— заметил трактирщик с профессиональной настойчивостью,— послать кого-нибудь к Бесси и позвать вашего друга сюда.

— Говорю вам, хозяин,— нетерпеливо ответил Мортон,— ваше предложение меня никак не устраивает; я должен сейчас же отправиться к этой Мак-Люр и хотел бы, чтобы вы нашли для меня провожатого.

— Раз так, сэр, будьте спокойны, никто вам не станет перечить,— сказал Нийл с разочарованием в голосе.— Но на кой черт вам провожатый, когда только и нужно, что проехать мили две или около этого вниз по реке, по той же дороге, по которой ездят в Милнвуд, а потом свернуть на первую разбитую и заброшенную тропу, что ведет в горы,— да вы ее сразу узнаете по старому ясеню у ручья на самой развилке,— а затем держаться этой самой тропы; вы не сможете пропустить постоялый двор Бесси Мак-Люр, потому что черта с два найдешь там другой какой-нибудь дом или другое строение на десять шотландских миль, а это не меньше, чем двадцать английских. Очень жаль, что ваша честь намерены покинуть мой кров на ночь глядя. Но золовка моей жены — достойная женщина, и то, что плывет в руки друга, то не в убыток.

Мортон расплатился по счету и отправился в путь. Закат застиг его у старого ясеня, где от дороги ответвлялась тропа, уводившая в горные пустоши.

«Здесь,— говорил он себе,— начались мои злоключения. Именно здесь, в ночь нашей первой встречи с Белфуром Берли, когда мы уже совсем собрались разъехаться, он получил тревожное предупреждение, что на дорогах его подстерегают

солдаты. Именно здесь, под этим ясенем, сидела старуха, сообщившая ему об опасности. Как странно, однако, что моя судьба так тесно переплелась с судьбой этого человека, и притом безо всякого участия с моей стороны, только из-за того, что я исполнил долг честного человека! Дай бог, чтобы я смог обрести скромный покой и душевный мир там же, где их утратил».

Размышляя подобным образом то вслух, то про себя, он направил коня вверх по тропе.

Только в сумерки достиг он узкой лощины, прежде заросшей лесом, а теперь голой и пустынной, с редкими деревьями, сохранившимися на обрывистых склонах или повисшими между скал и огромных камней, куда не добирались ни люди, ни скот,— точно рассеянные племена покоренной страны, загнанные в каменные твердыни бесплодных гор. Но и эти деревья, чахлые и хилые, не росли и не крепли, а скорее горестно прозябали, да и то лишь затем, чтобы свидетельствовать о бывшем тут когда-то ландшафте. Но между ними несся ревущий поток, свежий и стремительный, одухотворяя и оживляя все окружающее; ведь только горная речка в состоянии сделать это с безжизненным и диким пейзажем, и уроженцам таких мест недостает ее даже тогда, когда они созерцают спокойные извивы величественной реки, текущей среди плодородных равнин у роскошных дворцов. Дорога шла вдоль русла потока, то открывавшегося глазам путника, то скрывавшегося от них и дававшего о себе знать лишь неистовым шумом воды среди камней или в расщелинах скал, кое-где преграждавших ему путь.

«Что же ты ропщешь? — говорил Мортон, охваченный восторгом и грезя вслух.— К чему сердиться на скалы, останавливающие твой бег на какое-нибудь мгновение? Впереди — море, оно примет тебя в свое лоно. И у человека впереди — вечность, и она его примет, после того как он завершит свой беспокойный и торопливый путь по долине времени. Как твое бессильное беснование — ничто по сравнению с могучими валами безбрежного океана, так и надежды, заботы, страхи, радости и печали — ничто в сравнении с тем, что будет нас занимать в течение страшной и бесконечной чреды веков».

Размышляя таким образом, наш путник миновал это унылое место. Холмы, отойдя от речки, образовали небольшую зеленую долину; здесь он увидел крошечное хлебное поле и хижину, стены которой возвышались над землей на какие-нибудь пять футов. Ее соломенная крыша, позеленевшая от времени, плесени и пышно разросшейся сочной травы, кое-где пострада-

ла от двух коров, которых манила эта аппетитная зелень, отвлекая порой от более естественного и законного пастбища. Безграмотная, кое-как намалеванная вывеска оповещала путника, что тут он сможет и сам закусить, и покормить лошадь, и, несмотря на убогий вид хижины, это предложение не могло не казаться заманчивым, принимая во внимание пустынность и дикость тропы, по которой, направляясь к хижине, двигался путник, и высокие, голые горы, в гордом отчаянье высившиеся за этим убежищем.

«Именно в таком месте,— подумал Мортон,— и подобает жить доверенному лицу Белфура Берли».

Подъехав к хижине, он заметил сидевшую на ее пороге хозяйку — до этого она была от него скрыта огромным, пышно разросшимся ольховым кустом.

— Добрый вечер, матушка,— сказал путешественник,— это вы миссис Мак-Люр?

— Элизабет Мак-Люр, сэр, обездоленная вдова,— услышал Мортон в ответ.

— Могли бы вы приютить у себя на ночь путешественника?

— Пожалуйста, сэр, если вы удовольствуетесь вдовьим хлебом и солью.

— Я был солдатом, добрая женщина,— сказал Мортон,— и довольствуюсь малым.

— Солдатом, сэр? — переспросила старуха.— Дай вам господи более праведное занятие.

— Но эту профессию считают почетной, матушка. Надеюсь, вы не станете думать обо мне дурно только из-за того, что она была и моею.

— Я никого не сужу, сэр,— ответила женщина,— к тому же по вашему голосу чувствуется, что вы порядочный человек. Но я видела столько зла, содеянного в этой стране солдатами, что даже довольна, что не вижу всего этого незрячими моими глазами.

Только теперь Мортон заметил, что перед ним слепая.

— А не причиню ли я вам беспокойства? — сказал он сочувственно.— Заниматься вашим делом с такою болезнью, должно быть, трудно.

— Нет, сэр,— ответила старая женщина,— дома я хожу почти свободно, да мне еще девочка помогает, а за вашей лошадкой присмотрят драгуны, когда вернутся с объезда, и это будет стоить сущие пустяки. Они теперь стали повежливее, чем прежде.

Мортон сошел с коня.

— Пегги, птичка моя,— проговорила старая женщина, обращаясь к девочке лет двенадцати, появившейся в этот момент перед ними,— отведи лошадь этого джентльмена в конюшню, отпусти ей подпругу, разнуздай и дай ей сенца, пока не вернутся драгуны. Пожалуйте, сэр, входите,— продолжала она,— хоть дом мой и беден, но зато чист.

Мортон вошел вслед за ней в хижину.

## ГЛАВА XLII

И так говорила старушка-мать.
А слезы — ручьем из глаз:
«На эту охоту, Джонни, сынок,
Пошел ты в недобрый час».

*Старинная баллада*

Войдя в хижину, Мортон увидел, что старая хозяйка сказала правду. Внутри хижина была много лучше, чем можно было ожидать по ее наружному виду. Здесь было чисто и даже уютно, особенно в средней комнате, в которой, как сказала хозяйка, ее гостю предстояло поужинать и провести ночь. Ему подали еду, какая нашлась в трактире, и хотя есть ему не хотелось, он согласился поужинать, чтобы завязать разговор. Несмотря на свою слепоту, старушка сама прислуживала ему за столом и как будто инстинктом находила все, что ей требовалось.

— Есть ли у вас еще кто-нибудь, кроме этой славной девочки, чтобы обслуживать постояльцев? — начал Мортон.

— Нет, сэр,— ответила старая хозяйка,— я живу одна, как вдовица из Сарепты Сидонской. Здесь места пустынные, проезжих немного, я не привыкла держать прислугу. Когда-то у меня было двое пригожих сыновей, которые присматривали за всем. Но бог дал, бог и взял, да святится имя его! — продолжала она, подняв свои незрячие глаза к небу.— Прежде я была побогаче (то есть в отношении земных благ), даже после того, как потеряла моих сыновей, но это было до последнего переворота.

— В самом деле,— сказал Мортон.— А вы пресвитерианка, голубушка?

— Да, сэр, и возношу благодарность за свет божественной истины, который повел меня по праведному пути,— отвечала хозяйка.

— В таком случае,— продолжал гость,— революция принесла вам только хорошее.

— Если она принесла хорошее нашей стране,— ответила старая женщина,— и свободу исповедания, как велит совесть, то не важно, что́ именно принесла она бедному слепому червю вроде меня.

— Но все же,— заметил Мортон,— чем она могла вам повредить?

— Это долгая история, сэр,— ответила со вздохом хозяйка.— Поздно ночью, за шесть недель или около того перед битвой у Босуэлского моста, один молодой джентльмен остановился у дверей этой убогой хижины, изнуренный и истекающий кровью от ран, бледный и измученный скачкой, и его лошадь еле передвигала ноги: за ним гнались по пятам, и он был одним из наших врагов. А что я должна была сделать? Вы сами были солдатом и, верно, скажете, что я просто-напросто глупая старая женщина, но я его накормила, перевязала ему раны и скрывала у себя, пока не миновала погоня.

— Но кто,— спросил Мортон,— смеет вас осуждать за это?

— Не знаю, как вам и ответить,— сказала слепая.— Кое-кто из наших людей сердится на меня. Они говорят, что я должна была с ним поступить, как Иаиль поступила с Сисарою. Но ведь я не имела повеления господа проливать кровь человека, а спасти его мне подобало, как женщине и христианке. И потом, они говорили, что у меня нет чувства материнской любви, раз я спасла того, кто принадлежал к шайке разбойников, зверски убивших обоих моих сыновей.

— Как это зверски убивших?

— Да, сэр, хотя, может, вы и назовете это иначе. Один из них пал с мечом в руке, сражаясь за поруганный ковенант, а другой... о, они схватили его и расстреляли на лужайке у нашего дома, на глазах его матери! Мои старые глаза ослепила вспышка от выстрелов, и, мне кажется, они стали слабеть с этого ужасного дня, а горе, и разбитое сердце, и слезы, которые не высыхали, еще больше помогли моему недугу. Но увы! Если бы я предала молодую кровь лорда Эвендела мечу его беспощадных врагов, я все равно не воскресила бы ни моего Ниниана, ни моего Джонни.

— Лорда Эвендела? — спросил пораженный Мортон.— Значит, вы спасли лорда Эвендела?

— А как же,— ответила Бесси Мак-Люр.— Потом он был очень добр ко мне, подарил мне корову с теленком и дал со-

лоду, муки и денег, и никто не смел тронуть меня, пока он был в силе. Но мы живем на земле, что принадлежит к Тиллитудлему, хоть это и совсем отдаленный участок, а за поместье долго судились леди Маргарет Белленден и теперешний наш хозяин Бэзил Олифант. Лорд Эвендел держал сторону старой леди, потому что он любил мисс Белленден, ее внучку, говорят, одну из самых добрых и самых красивых девушек в целой Шотландии. Но им пришлось уступить, и Бэзил получил и замок и землю, а потом пришла революция, и кто же переменил кожу быстрее, чем наш теперешний лэрд? Сейчас он говорит, что испокон веку был вигом, а прикидывался папистом, потому что так было нужно. Сейчас он выплыл, а лорд Эвендел пошел ко дну: он слишком горд и отважен, чтобы сгибаться по ветру, хотя многие, так же как и я, знают, что, какова бы ни была его вера, он не был врагом наших людей, когда мог заступиться за них, и был гораздо добрее, чем Бэзил Олифант, который всегда плыл по течению. Но лорда Эвендела отстранили ото всех дел, и смотрели на него косо, и не спрашивали ни о чем его мнения. И тогда Бэзил, человек мстительный, решил вредить ему во всем, в чем только мог, и стал разорять и притеснять бедную слепую вдову Бесси Мак-Люр, которая спасла лорду Эвенделу жизнь и к которой он был так добр и внимателен. Но только Бэзил ошибся, если этого добивался, потому что не скоро лорд Эвендел услышит от меня хоть слово о том, что они продали корову за арендную плату, которую я им не была должна, или поставили ко мне на постой драгун, хотя сейчас в наших краях совсем тихо, или о чем другом, что может его огорчить,— мне нипочем терпеливо нести свое бремя, потому что эти потери — самая малая его часть.

Удивленный и тронутый этим терпеливым, благородным и великодушным смирением, Мортон не мог удержаться, чтобы не осыпать проклятиями тупого мерзавца, который не постеснялся прибегнуть к такой подлой мести.

— Не проклинайте его, сэр,— сказала старая женщина,— я слышала, как один славный человек говорил, что проклятие — точно камень, брошенный вверх, и чаще всего падает на голову того, кто его произносит. Но если вы знаете лорда Эвендела, предупредите его, чтобы он поберегся, потому что я слышала странные разговоры среди солдат, которые стоят у меня, и в этих разговорах его имя часто упоминается; а один из них уже дважды побывал в Тиллитудлеме. Он вроде любимчика у хозяина, хотя в прежние времена был в наших

краях одним из самых жестоких гонителей пресвитериан (за исключением разве сержанта Босуэла) — его зовут Инглис[1].

— Я всем сердцем желаю благополучия лорду Эвенделу,— сказал Мортон,— и вы можете на меня рассчитывать, я найду способ сообщить ему об этих подозрительных обстоятельствах, а взамен, дорогой друг, разрешите спросить вас о следующем: что вам известно о Квентине Мак-Кейле Айронгрее?

— О ком? — спросила слепая женщина удивленно и встревоженно.

— О Квентине Мак-Кейле Айронгрее,— повторил Мортон.— Разве в этом имени есть что-нибудь, вселяющее тревогу?

— Нет, нет,— ответила, колеблясь, хозяйка гостиницы,— но когда о нем спрашивает незнакомый, и к тому же солдат! Господи, спаси нас и помилуй! Какая еще беда теперь разразится над нами!

— От меня — никакой, уверяю вас в этом,— сказал Мортон,— тот, о ком я вас спрашиваю, может меня не бояться, если, как я имею основание думать, этот Квентин Мак-Кейл Айронгрей не кто иной, как Джон Белф...

— Не называйте его по имени,— сказала вдова, прикладывая палец к губам.— Я вижу, вы знаете его тайну, а также его пароль, и не стану от вас таиться. Но, ради бога, говорите потише. Во имя неба, я верю, что, разыскивая его, вы не желаете ему зла! Но вы сказали, что были солдатом?

— Я сказал правду, но ему нечего меня опасаться. Я командовал отрядом в битве у Босуэлского моста.

---

[1] Злодейства этого человека или, точнее, чудовища, упоминаются на одной из надгробных плит, приводить в порядок которые было наслаждением для Кладбищенского Старика. Я уже не помню, как звали убитого, но обстоятельства, при которых погиб этот мученик, настолько подействовали на мое детское воображение, что нижеследующий текст эпитафии, я в этом уверен, почти точно воспроизводит ее, хотя я не видел оригинала уже более сорока лет:

Здесь жертву Питер Инглис поразил.
Он больше тигром, чем шотландцем был,
Сын ада, жертве отрубив главу,
Он сапогом толкнул ее в траву.
И голова, которой бы корону,
Мячом футбольным стала солдафону.

В письмах Данди также неоднократно встречается имя капитана Инглиша, или Инглиса, командира одного из кавалерийских отрядов.

— В самом деле? — сказала старуха.— И верно, в вашем голосе есть что-то такое, что внушает доверие. Вы говорите быстро и без запинок, как честный человек.

— Надеюсь, что я и в самом деле такой,— сказал Мортон.

— Не обижайтесь на меня, сэр,— продолжала миссис Мак-Люр,— в наши печальные времена брат поднимает руку на брата, и *он* остерегается теперешнего правительства, пожалуй, не меньше, чем прежних гонителей.

— Неужели? — спросил изумленный Мортон.— Я об этом не знал. Я только что прибыл из-за границы.

— Я вам расскажу и об этом,— сказала слепая и стала напряженно прислушиваться; ее поза показывала, насколько способность познавать явления внешнего мира переместилась в ней из органов зрения в органы слуха: вместо того чтобы бросить вокруг себя опасливый взгляд, она опустила лицо и повела головой, стремясь убедиться, что вокруг нет ни малейшего шороха.— Я вам расскажу и об этом,— продолжала она.— Вы ведь знаете, как боролся он за возрождение ковенанта, сожженного рукой палача, поруганного и похороненного в черствых сердцах этого косного и глухого народа. И вот, когда он прибыл в Голландию, он не встретил там ни внимания и благодарности от сильных мира сего, ни дружбы и поддержки благочестивых, а он имел право рассчитывать на то и другое; принц Оранский не удостоил его своих милостей, духовные лица — общения. Нелегко было снести это тому, кто столько страдал и так много сделал,— может быть, даже больше, чем много,— но разве мне об этом судить? Он вернулся ко мне и потом в убежище, где нередко скрывался в трудные времена, особенно перед славным днем победы при Драмклоге, и я никогда не забуду, как он пробирался туда каждую ночь в течение года, кроме того вечера после стрелкового состязания, когда молодой Милнвуд стал Капитаном Попки; но и тогда это я предупредила его.

— Вот как! — воскликнул Мортон.— Так, стало быть, это вы сидели в красном плаще у дороги и сказали ему, что на тропе — лев?

— Господи боже! Кто же вы? — сказала старуха, прерывая в изумлении свой рассказ.— Но кто бы вы ни были,— продолжала она спокойнее,— вы не знаете обо мне ничего дурного, разве только то, что я всегда готова была спасать как друга, так и врага.

— Я и не думаю вас обвинять, миссис Мак-Люр; моею целью было вам показать, что я достаточно хорошо осведомлен

о делах этого человека и что вы можете, не опасаясь, доверить мне и все остальное. Рассказывайте, пожалуйста, дальше.

— В вашем голосе есть что-то властное,— сказала слепая,— но он звучит все же приятно. Мне остается сказать немногое. Стюарты были свергнуты с трона, и теперь вместо них на нем сидят Вильгельм и Мария, но о ковенанте нет и помину, точно это мертвая буква. Они признали священников, что приняли индульгенцию, они признали эрастианскую Генеральную Ассамблею некогда чистой и торжествующей церкви Шотландии, и сделали это от всей души. А наши честные поборники скрижалей закона считают, что это нисколько не лучше, а даже хуже, чем открытый произвол и вероотступничество во времена гонений, потому что от этого черствеют и притупляются души и алчущим вместо сладостного слова господня дают пресные отруби. И голодное, истощенное создание божие, садясь в воскресное утро пред кафедрой, жаждет услышать то, что подвигнуло бы его на великое дело, а его пичкают праздной болтовней о нравственности, болтовней, которую насильно запихивают в его уши...

— Короче говоря,— сказал Мортон, желая пресечь эти страстные обличения, которые славная старуха, столь же ревностная в вопросах веры, сколько и в человеколюбивых делах, могла, вероятно, продолжать беспредельно,— короче говоря, вы не расположены примириться с новым правительством, и Берли одного мнения с вами?

— Многие наши братья, сэр, говорят, что мы сражались за ковенант, и постились, и возносили молитвы, и претерпевали страдания ради этой великой национальной лиги, но где же все то, ради чего мы претерпевали страдания, и сражались, и постились, и возносили молитвы? И тут некоторые подумали: нельзя ли добиться чего-нибудь, возвратив трон прежнему королевскому дому на новых условиях и основаниях; ведь сколько я понимаю, короля Джеймса сбросили в конце концов из-за спора, который затеяли с ним англичане, защищая семерых нечестивых прелатов. Таким образом, хоть часть народа поддерживала новую власть и они образовали полк под начальством графа Ангюса, наш честный друг и другие, стоявшие за чистоту веры и свободу совести, решили не принимать участия в борьбе с якобитами, прежде чем выяснят, что у них на уме, опасаясь, как бы не рухнуть на землю, словно стена, связанная негашеною известью, или как тот, кто уселся между двух стульев.

— Странное, однако, выбрали они место,— заметил Мортон,— где искать свободы совести и чистоты веры.

— Ах, дорогой сэр! — сказала хозяйка.— Дневной свет рождается на востоке, а духовный может родиться на севере, ибо что нам, слепым смертным, ведомо?

— И Берли поехал на север в поисках света? — спросил ее гость.

— Вот именно, сэр, и он видел самого Клеверза, которого теперь зовут Данди.

— Как! — вскричал изумленный Мортон.— Когда-то я готов был бы поклясться, что такая встреча должна одному из них стоить жизни!

— Нет, нет, сэр; в смутные времена, сколько я знаю,— сказала миссис Мак-Люр,— случаются внезапные перемены: Монтгомери, и Фергюсон, и еще многие были злейшими врагами короля Иакова, а теперь они на его стороне. Так вот, Клеверз тепло встретил нашего друга и послал его посоветоваться с лордом Эвенделом. Но тут-то между ними и вышел разрыв, потому что лорд Эвендел не пожелал его видеть, и слышать, и повести с ним разговор; и теперь он злится, и в бешенстве грозит отомстить лорду Эвенделу, и не хочет ни о чем слышать, кроме как о том, чтобы сжечь его заживо или убить. Эти припадки гнева — они еще больше растравляют его ум и служат на пользу врагу.

— Врагу? Какому врагу? — переспросил Мортон.

— Какому врагу? Вы близко знакомы с Джоном Белфуром Берли и не знаете, что у него часто бывают жестокие бои со злым духом? Вам не приходилось видеть его в одиночестве с Библией в руке и с обнаженным палашом на коленях? Вам не случалось спать с ним в одном помещении и слышать, как он борется в своих сновидениях с кознями сатаны? Плохо же вы его знаете, если видели только при дневном свете, потому что никому не под силу были бы те посещения и сражения, которые выпадают на его долю. Я видела, как после такой борьбы он так ослабел и трясся, что его мог бы одолеть даже малый ребенок, а с волос на его лоб так текло, как никогда не течет с моей бедной соломенной крыши даже после летнего ливня.

Слушая миссис Мак-Люр, Мортон вспомнил, каким застал спящего Берли на сеновале в Милнвуде, рассказы Кадди о том, что он помешался, и слухи, ходившие среди камеронцев, которые нередко не без гордости толковали о душеспасительных трудах Берли и о его борьбе с врагом человеческим. Сопоставив

все это, он пришел к выводу, что и сам Берли — жертва своих иллюзий, хотя, наделенный от природы умом сильным и проницательным, не только скрывает свои суеверные представления от тех, в чьих глазах они могли бы набросить тень на его умственные способности, но усилием воли, доступным, как считают, страдающим эпилепсией, в состоянии задерживать наступление очередного припадка, пока не останется в одиночестве или с людьми, во мнении которых эта одержимость может только его возвысить. Можно было предположить,— и это вытекало из рассказа миссис Мак-Люр,— что оскорбленная гордость, разбитые надежды и неудачи той партии, которой он служил с такой самозабвенной преданностью, усилили присущий ему фанатизм и довели его до временного безумия. Действительно, в те странные времена такие люди, как сэр Гарри Уйэн, Гаррисон, Овертон и другие, находясь во власти самых диких и необузданных грез, на общественном поприще вели себя в трудных обстоятельствах не только со здравомыслием и мужеством в опасностях, но и выказывали при этом поразительную силу ума и настоящую доблесть. Все остальное, сказанное миссис Мак-Люр, укрепило Мортона в этих выводах.

— На рассвете,— сказала она,— пока не встали солдаты, моя маленькая Пегги поведет вас к нашему другу. Но вам придется переждать, пока минет опасный час, как это он сам называет, и только тогда входите к нему в убежище. Пегги скажет, когда можно будет войти. Она хорошо знает его повадки, потому что уже давно носит ему кое-какие вещи, без которых он не мог бы существовать.

— Но где же тайник, в котором этот несчастный обрел для себя убежище?

— О, это ужасное место,— ответила слепая старуха,— в таком месте, наверное, еще не скрывалось ни одно создание божье. Оно называется Черная пропасть в Линклейтере — унылое место, но наш друг любит его больше других, потому что оно часто его спасало; я убеждена, он предпочел бы его хоромам с коврами и пуховой постелью. Но вы сами увидите. Много лет назад я там побывала. Я была тогда глупой проказливою девчонкой и не задумывалась над тем, что может из этого выйти. Не нужно ли вам чего-нибудь, сэр, перед тем, как вы ляжете отдыхать? Ведь вам придется тронуться в путь, как только забрезжит свет.

— Нет, ничего не нужно,— ответил Мортон, и они расстались.

Сотворив на ночь молитву, Мортон бросился на кровать; в дремоте он слышал топот коней, когда драгуны возвращались с объезда, и, истомленный столькими треволнениями, тотчас крепко заснул.

## ГЛАВА XLIII

Они вошли в пещеру. Там во мгле
Отверженный, сидевший на земле,
Был в мрачное раздумье погружен.

*Спенсер*

Едва солнечные лучи осветили верхушки гор, как в дверь скромной комнаты, где ночевал Мортон, слегка постучали, и тоненький детский голосок окликнул его:

— Не угодно ли вам пойти к водопаду, пока не поднялись в доме?

Он вскочил с постели, поспешно оделся и вышел к своей маленькой провожатой. Девочка быстро скользила впереди него в сером тумане, нависшем над болотами и холмами. Они шли по диким местам, не по дороге, а просто вверх по течению речки, не следуя, впрочем, за всеми ее извивами. Ландшафт становился все более пустынным и диким, и наконец с обеих сторон долины остались лишь вереск да скалы.

— Еще далеко? — спросил Мортон.

— Около мили,— ответила девочка.

— И ты часто пускаешься в это трудное путешествие, моя крошка?

— Когда бабушка посылает меня к пропасти с молоком и другой едой,— ответила Пегги.

— А ты не боишься ходить одна по этой дикой дороге?

— Что вы, сэр, нисколько,— ответила провожатая.— никто не тронет такую маленькую, да и бабушка говорит, что нам нечего бояться, когда мы творим доброе дело.

«Защищена невинностью, как тройною броней»,— подумал Мортон и молча пошел следом за ней.

Вскоре они подошли к зарослям терна и ежевики, разросшимся там, где некогда были дубы и березы. Здесь провожатая Мортона круто свернула с открытых вересковых полян и вывела его овечьей тропой прямо к потоку. Сиплый, грозный рев уже подготовил его к открывшейся перед ним картине, но все же ее нельзя было наблюдать без изумления и даже ужаса. Миновав кустарник, сквозь который проходила узкая извилистая тропа,

Мортон оказался наверху плоской скалы, нависшей над пропастью глубиною не меньше ста футов; темный горный поток стремительно падал вниз и исчезал в глубокой, черной, зияющей бездне. Глаз тщетно пытался различить место его падения; взор улавливал только полосу отвесно несущейся пены, проникнуть дальше ему мешали выступы громоздящихся друг на друга утесов, окружавших водопад и скрывавших пучину, куда низвергались его разъяренные воды; еще ниже, на расстоянии, может быть, четверти мили, виднелся вьющийся лентой поток, выходивший из ущелья на более ровное место. Но до этого места воды потока скрывались из виду, словно над ними были перекинуты своды пещеры, и действительно, крутые и нависшие выступы скал, среди которых они во тьме пробивали себе путь, сближались между собою и почти смыкались над их течением.

Пока Мортон созерцал эту картину яростного безумия, стремившегося, казалось, укрыться от постороннего взора в окружающих рощах и расщелинах, куда низвергалась вода, его спутница, стоявшая за ним на площадке скалы, откуда лучше всего был виден во всем своем грозном величии водопад, потянула его за рукав и что-то ему сказала, чего он не мог расслышать; наклонившись к ней, он разобрал, как она говорила: «Слушайте, слушайте,— это он!»

Мортон прислушался, и из самой пропасти, в которую падали воды, среди рева и грохота, донеслись до него вскрики, вопли и даже отрывочные слова, как если бы терзаемый демон потока присоединял свои жалобы и стенания к голосу его бушующих вод.

— Нам сюда,— сказала девочка,— сэр, если угодно, следуйте за мной, но смотрите не оступитесь.

Смело и проворно, легким и привычным движением, она соскользнула с площадки, на которой стояла, и, пользуясь углублениями и едва заметными выступами в скале, начала спускаться по ней прямо в пропасть. Крепкий, смелый и ловкий, Мортон, не колеблясь, двинулся вслед за нею: но ему нужно было все время искать опору и для рук и для ног, так как при этом опасном спуске нельзя было обходиться без рук,— это и помешало ему смотреть по сторонам. Но когда они спустились футов на двадцать и до водоема, принимавшего в себя водопад, оставалось еще футов шестьдесят или семьдесят, его провожатая остановилась. Оказавшись снова возле нее, он огляделся и увидел, что их положение столь же романтично, сколь и опасно. Они стояли теперь почти против самого водопада; выше их, приблизительно на одну четверть его высоты, находилась верхняя точка пропасти,

в которую с грохотом устремлялся водопад; ниже, на три четверти его высоты, виднелся темный, глубокий, мятущийся водоем, принимавший в себя его воды. Обе страшные точки — та, откуда начиналось падение еще сплошной водной громады, и темная, мрачная пучина, которая ее поглощала,— были теперь прямо пред ним, как и вся стена вихрящейся пены, отрывающейся от первой из этих точек и клокочущей и кипящей во второй. Они были так близко от величественного потока, что их осыпали брызги и почти оглушал его рев. Но рядом с низвергающейся водой, в каких-нибудь трех ярдах от водопада, через бездну был перекинут старый, разбитый бурями дуб, как будто случайно сюда упавший; то был мост, ужасающе узкий и ненадежный. Верхушка дерева лежала на той площадке, где стояли Мортон и его спутница; нижняя часть, комель,— на выступе скалы по ту сторону пропасти; он был, вероятно, закреплен, но Мортон не видел, где именно. Из-за этого выступа, то вспыхивая, то затухая, расходились багровые отблески; искрясь и переливаясь в струях падающей воды и местами окрашивая ее в малиновый цвет, они придавали им причудливое, зловещее освещение, составлявшее контраст с освещением верхней части каскада, озаренной лучами восходящего солнца, которые даже в полдень не могли осветить и третьей части всего водопада. Пока он рассматривал это зрелище, девочка еще раз потянула его за рукав (теперь разговаривать было совсем невозможно) и, указав рукою на дуб и на выступ скалы, дала понять, что он должен перебраться на противоположную сторону.

Мортон с изумлением посмотрел на нее; ему было известно, что гонимые в предыдущие царствования пресвитериане находили убежища в лесах и уединенных долинах, в пещерах и среди речных порогов — в местах самых необычных и самых пустынных; он слыхал о приверженцах ковенанта, скрывавшихся долгое время у Доблина, и на диких высотах Полмуди, и в еще более жуткой пещере, называющейся Крихоплином, в Клозбернском приходе, но его воображение никогда и отдаленно не представляло себе ужаса этих убежищ, и он был удивлен, что эта причудливая и романтическая местность до сих пор была ему неизвестна, при всем его интересе к таким чудесам природы. Впрочем, он тотчас сообразил, что тайна этого труднодоступного и дикого места, служившего укрытием для преследуемых проповедников и нонконформистов, тщательно оберегалась теми немногими пастухами, которые могли о нем знать.

Оторвавшись от этих мыслей, он принялся обдумывать, как ему переправиться по этому опасному и жуткому мосту, влаж-

ному и скользкому от непрерывно садившейся на него водяной пыли и висящему над бездною глубиною в семьдесят футов. Между тем его провожатая, очевидно ради того, чтобы придать ему смелости, не задумываясь, легко и свободно прошлась туда и обратно. Позавидовав маленьким босым ножкам, находившим опору на шероховатой поверхности дуба с большею легкостью, чем это было возможно его тяжелым ботфортам, Мортон все же решился попытать счастья; устремив взгляд в одну точку на той стороне, не давая голове закружиться, стараясь не замечать ни шума, ни пенящихся, сверкающих вод, он благополучно переправился по ненадежному мосту и оказался у входа в небольшую пещеру по ту сторону пропасти. Здесь Мортон остановился; при красном свете очага, в котором горел уголь, он мог рассмотреть обитателя этой пещеры, оставаясь незамеченным им, так как стоял в тени, отбрасываемой скалой. То, что он увидел, заставило бы менее решительного и отважного человека отступиться от затеянного им предприятия.

Берли, отличавшийся от прежнего лишь страшной всклокоченной бородой, стоял посередине пещеры; в одной руке он держал закрытую на застежки Библию, в другой — обнаженный палаш. Его фигура, смутно освещаемая красными отблесками раскаленного угля, казалась обликом самого сатаны в огненном Пандемониуме; его слова, насколько их можно было расслышать, были бессвязны, его жесты — неистовы. В полном одиночестве, в почти неприступном месте, он вел себя как человек, сражающийся со своим смертельным врагом. «Ага! Вот он, вот он! — вскрикивал Берли, взмахивая при каждом слове сверкающим палашом, которым изо всех сил поражал пустой и бесстрастный воздух.— Разве я тебе этого не говорил? Я сопротивлялся, и ты бежал меня! Трус, вот ты кто... приди ко мне со всеми своими ужасами... приди со всеми совершенными мной злодеяниями, которые для меня страшнее всего,— того, что есть между створками этой книги, достаточно, чтобы спасти меня от кары. Что ты бормочешь там о седых волосах? Я был прав, его нужно было убить,— чем зрелее зерно, тем оно ближе к жатве. Ты ушел? Ушел? Я всегда знал, что ты трус. Ха, ха, ха!»

С этими дикими возгласами он опустил палаш и замер на месте, как безумец, очнувшийся от припадка.

— Опасное время прошло,— сказала подошедшая к Мортону девочка.— Оно редко продолжается после того, как солнце поднимется над горами; можете войти и разговаривать с ним. Я подожду вас на другой стороне водопада,— он не позволяет, чтобы к нему входили вдвоем.

Медленно и осторожно, готовый, если понадобится, отразить нападение, вошел Мортон в пещеру и предстал перед своим бывшим соратником.

— Как! Ты опять здесь, хотя время твое миновало? — вскрикнул Берли, увидев вошедшего. Он взмахнул палашом; лицо его выражало ни с чем не сравнимый ужас, к которому примешивалось бешенство одержимого.

— Я явился к вам, мистер Белфур,— сказал Мортон спокойным и твердым голосом,— чтобы возобновить знакомство, прервавшееся после битвы у Босуэлского моста.

Как только Берли понял, что перед ним Мортон во плоти и крови, а он понял это с поразительной быстротой, он сразу же овладел своим разгоряченным, неистовым воображением, так как власть над собой была одною из самых поразительных черт этого необыкновенного человека. Он опустил палаш, спокойно вложил его в ножны и пробормотал что-то о сырости и утренней свежести, заставивших старого солдата поупражняться с оружием, чтобы согреть остывшую кровь.

— Ты замешкался, Генри Мортон, и пришел на сбор винограда после того, как пробил двенадцатый час. Согласен ли ты пожать эту руку в знак товарищества и дружбы и стать отныне одним из тех, кто не оглядывается на троны и на династии, но придерживается лишь одних заветов Писания?

— Я удивлен,— сказал Мортон, избегая прямого ответа,— что вы, по прошествии стольких лет, узнали меня.

— Черты тех, кто должен трудиться бок о бок со мною, запечатлены в моем сердце,— ответил Берли.— И, кроме сына Сайлеса Мортона, мало кто решился бы навестить меня здесь, в этой неприступной твердыне. Ты видишь этот подъемный мост, созданный самой природой? — добавил он, указывая на переброшенный через пропасть ствол старого дуба.— Один пинок ногою, и он низвергнется в бездну, оставив врагов по ту сторону в полном бессилии и отдавая того из них, кто будет по эту, во власть еще не знавшего себе равных в единоборстве.

— В этих мерах самозащиты,— заметил Мортон,— вы едва ли теперь нуждаетесь.

— Едва ли нуждаюсь? — переспросил Берли.— Как не нуждаюсь, если враги во плоти и крови объединились против меня на земле, а сам сатана... Но не в этом дело,— добавил он, сам себя прерывая.— Достаточно и того, что я люблю это убежище, мою пещеру Одолламскую, и не сменил бы ее известковых сводов на красивые комнаты в замке графов Торвудов вместе с их обширными землями и баронским титулом. Впрочем, пока

ты не избавишься от нелепого бреда юности, можешь думать иначе.

— Вот об этих самых владениях я и хочу с вами поговорить,— сказал Мортон.— Я не сомневаюсь, что найду в мистере Белфуре того же вдумчивого и разумного человека, которого я знал в те времена, когда наших братьев терзали раздоры.

— Вот как,— сказал Берли,— такова, в самом деле, твоя надежда? Может быть, ты объяснишься яснее.

— Тогда в двух словах,— сказал Мортон.— Использовав известные средства,— нетрудно догадаться какие,— вы оказали тайное, но пагубное влияние на судьбу леди Маргарет Беллендеи и ее внучки в пользу низкого и наглого вероотступника Бэзила Олифанта, которому обманутый вами закон отдал во владение принадлежащее им по праву имущество.

— Ты утверждаешь? — сказал Берли.

— Да, я утверждаю,— ответил Мортон,— и теперь вы не станете отрицать то, что собственноручно писали.

— Предположим, что я и не отрицаю,— ответил Белфур.— Предположим, что твое красноречие в силах меня убедить отступиться от сделанного по здравом и длительном размышлении. В чем же тут выгода для тебя? Неужели ты все еще не утратил надежды овладеть светловолосой девицею с ее большим и богатым наследством?

— У меня нет этой надежды,— спокойно отвечал Мортон.

— Ради кого же ты осмелился на такое трудное дело, ради кого хочешь отнять добычу у доблестного, стремишься унести пищу из логова льва и вырвать лакомый кусок из пасти пожирающего его? Ради кого ты взялся за разгадывание загадки труднее, чем загадка Самсона?

— Ради лорда Эвендела и его нареченной невесты,— твердо ответил Мортон.— Люди, мистер Белфур, лучше, чем вы себе представляете, и поверьте, что среди них бывают такие, кто готов пожертвовать своим счастьем ради счастья других.

— Раз так, клянусь моею живою душой,— вскричал Берли,— раз так, то хоть у тебя борода и ты создан, чтобы лететь в бой на коне и обнажать меч, ты — покорная, лишенная всякого самолюбия кукла, оставляющая оскорбление безнаказанным. Ты хочешь помочь этому проклятому Эвенделу овладеть любимой тобою женщиной? Ты хочешь наделить их богатством и наследством, и ты думаешь, что найдется другой человек, оскорбленный еще глубже твоего, но столь же немощный духом, с такою же, как у тебя, холодною кровью, так же пресмыкаю-

щийся во прахе земном, и ты смеешь надеяться, что этот другой человек — Джон Белфур?

— Что касается моих чувств,— спокойно заявил Мортон,— то я отвечаю за них только пред небом. Мне кажется, мистер Белфур, что вам вполне безразлично, владеет ли этим имением Бэзил Олифант или лорд Эвендел.

— Ты заблуждаешься,— сказал Берли,— оба они во мраке, оба не знают света, как те, чьи глаза никогда не открывались навстречу дню. Но Бэзил Олифант — Навал, Димас, низкий негодяй, богатством и силой которого располагает тот, кто угрожает ему их лишением. Он стал приверженцем истинной веры потому, что ему не дали земель Тиллитудлема, он стал папистом, чтобы прибрать их к рукам, он прикинулся эрастианином, чтобы их снова не отняли у него, и он будет подвластен мне, пока у меня документ, при помощи которого их могут у него отобрать. Эти земли — удила между его челюстями, и кольцо, продетое сквозь его ноздри; уздечка и повод в моих руках, и я могу направлять его, куда мне покажется нужным. Вот почему они будут принадлежать Олифанту до тех пор, пока я не найду искреннего и верного друга, которому смогу отдать их во владение. А лорд Эвендел — это язычник, сердце которого словно кремень, а чело — как адамант; блага земные сыплются на него, как листья на мерзлую землю, а он с бесстрастием будет смотреть, как их унесет первый же порыв ветра. Языческие добродетели подобных ему для нас опаснее, чем гнусная алчность тех, кто, руководствуясь своей выгодой, должен влечься за нею и потому, раб корысти, может быть призван трудиться на винограднике, хотя бы ради того, чтобы заслужить свою греховную мзду.

— Это могло бы иметь кое-какой смысл несколько лет назад,— сказал Мортон,— и я понял бы ваши доводы, хотя никогда не соглашусь считать их справедливыми. Но к чему при создавшемся в стране положении сохранять за собой влияние, которое невозможно употребить на полезные цели? В нашей стране мир, свобода, веротерпимость — чего же вам больше?

— Чего больше? — воскликнул Берли, вырвав палаш из ножен с такой быстротой, что Мортон едва не вздрогнул.— Взгляни на эти зазубрины, их всего три, не так ли?

— Как будто бы так,— ответил Мортон,— но что из этого следует?

— Кусочек стали, отщербившийся при первом ударе, остался в черепе клятвопреступника и предателя, который первый ввел епископальную церковь в Шотландии; вторую зазубрину оставило ребро нечестивого негодяя, самого смелого и лучшего

воина, сражавшегося за прелатистов при Драмклоге; вот эта третья — от удара по каске одного капитана, защищавшего Холирудскую капеллу, когда народ поднялся во времена революции. Я рассек его голову до зубов, разрубив сталь и череп. Большие дела свершило это оружие, и каждый его удар служил делу освобождения церкви. Этот палаш,— продолжал он, вкладывая его снова в ножны,— должен свершить еще большее: он должен срубить эту гнусную и губительную ересь эрастианства, отомстить за поругание подлинной свободы нашей шотландской церкви во всей ее чистоте, восстановить ковенант в сиянии его славы — и тогда пусть он ржавеет и разрушается рядом с костьми своего владельца!

— У вас нет ни средств, ни людей, мистер Белфур, чтобы свергнуть нынешнее правительство,— сказал Мортон.— Народ, за исключением кучки дворян-якобитов, в общем, доволен; и вы, конечно, не станете объединяться с теми, кто намерен использовать вас исключительно в своих целях.

— Напротив,— ответил Берли,— мы заставим их служить нашим целям. Я побывал в лагере у этого язычника Клеверза, подобно тому как будущий царь Израиля посетил филистимлян, я договорился с ним о восстании, и если бы не этот подлый Эвендел, эрастиане были бы теперь изгнаны со всего запада... Я бы его убил,— продолжал он с мрачным, угрожающим видом,— даже если бы он ухватился за рог алтаря! Если бы ты,— продолжал он более спокойным тоном,— сын моего старого друга, был женихом Эдит Белленден и пожелал приложить руку к великому делу с рвением, равным твоему мужеству, то не думай, что я предпочел бы дружбу Бэзила Олифанта дружбе с тобой; тогда ты имел бы возможность при помощи этого документа (он достал какой-то пергамент) вернуть ей владения ее предков. Это я и хотел сказать тебе, когда видел, как отважно ты бьешься у рокового моста. Девушка любила тебя, и ты ее — также.

Мортон твердо ответил:

— Не стану обманывать вас, мистер Белфур, чтобы достигнуть своего. Я пришел сюда убедить вас восстановить справедливость, а не ради собственной выгоды. Я ошибся, и я скорблю о вас; и о вас я скорблю даже больше, чем о тех, кто из-за вас пострадал.

— Итак, ты отклоняешь мое предложение? — спросил Берли с загоревшимися гневом глазами.

— Отклоняю,— ответил Мортон.— Когда бы вы были действительно человеком чести и совести, каким хотите казаться, вы,

несмотря ни на что, возвратили бы этот пергамент лорду Эвенделу, памятуя об интересах законной наследницы.

— Никогда, пусть он лучше погибнет! — воскликнул Берли, бросая документ в горевшую рядом с ним груду угля и затаптывая его каблуком.

Пергамент курился, корчился и трещал в пламени; Мортон бросился, чтобы его спасти. Но Берли удержал Мортона, и они стали бороться. Оба были сильны. Мортон был подвижнее и моложе, но Берли все же справился с ним и не дал ему спасти документ. Когда он превратился в пепел, они отпустили друг друга, и фанатик, рассвирепевший во время схватки, посмотрел на Мортона диким, горевшим жаждою мщения взглядом.

— Ты проник в мою тайну! — воскликнул он.— И либо ты станешь моим, либо умрешь!

— Я презираю ваши угрозы,— сказал Мортон,— мне вас жалко, и я ухожу.

Но не успел он повернуться к выходу, как Берли опередил его, столкнул ногой ствол старого дуба и, пока он с грохотом и треском падал в пучину, обнажил палаш и прокричал голосом, перекрывшим рев водопада и грохот падающего дерева:

— А теперь выбирай: сражайся, сдавайся или умри! — И, став у выхода из пещеры, он взмахнул палашом.

— Я не стану сражаться с тем, кто спас жизнь моему отцу,— сказал Мортон,— я не научился выговаривать слово «сдаюсь», но жизнь свою я спасу, как сумею.

Сказав это, он проскочил, прежде чем Берли понял его намерение, у него за спиной и, с отличавшей его юношескою ловкостью перепрыгнув через страшную бездну, отделявшую вход в пещеру от выступа противоположной скалы, оказался по ту сторону пропасти, спасшись от своего приведенного в ярость противника. Он сразу же поднялся по скале, и оглянувшись назад, увидел застывшего от изумления Берли, который, опомнившись, с бешенством неудовлетворенного гнева поспешно скрылся в пещере.

Мортон понимал, что душа этого несчастного человека, непрерывно переходившего от несбыточных надежд ко мраку отчаяния, утратила в конце концов равновесие и что теперь в его поведении была доля безумия, которое казалось тем более странным, что сочеталось с силой мысли и ловкостью, с какою он преследовал свои дикие цели. Поднявшись наверх, Мортон нашел свою провожатую смертельно напуганной падением дуба. Он ей сказал, что это произошло случайно, а она, со своей стороны,

уверила его в том, что обитатель пещеры от этого нисколько не пострадает, так как у него есть материал для нового моста.

Необычайные происшествия этого утра еще не окончились. Приближаясь к хижине миссис Мак-Люр, девочка вскрикнула от изумления, увидев бредущую им навстречу бабушку, никогда не уходившую так далеко от дома.

— О сэр, сэр! — проговорила старуха, услышав приближающиеся шаги.— Если вы любите лорда Эвендела, то помогите ему немедленно, или уже будет поздно! Слава тебе господи, что, отняв мое зрение, ты оставил мне слух. Пойдемте этой дорогой... вот здесь... и ступайте как можно бесшумнее. Пегги, голубка моя, беги оседлать джентльмену коня; выведи его тихонько в кустарник и там вместе с ним подожди.

Миссис Мак-Люр подвела Мортона к маленькому окошку, через которое, сам оставаясь незамеченным, он разглядел двух драгун, сидевших за утренней кружкой эля и занятых разговором.

— Чем больше я думаю,— сказал один из драгун,— тем меньше у меня лежит к этому душа, Инглис; Эвендел был хороший офицер и друг нашего брата солдата; и хотя нам досталось за бунт в Тиллитудлеме, но, честное слово, Фрэнк, поделом.

— Черт меня побери, если я когда-нибудь ему это забуду! — ответил второй.— Вот теперь-то я и прижму ему хвост.

— Полно, друг! Лучше забудь и прости. Лучше иди с ним вместе в поход да присоединись к этим горлапящим горцам. Немало хлеба съели мы у короля Джеймса.

— Ты просто осел, выступлению, как вы его называете, никогда не бывать — время упущено. Хеллидей увидал привидение, мисс Белленден упала в обморок неведомо отчего, или еще какая-нибудь чертова чепуха, а дело нельзя больше откладывать ни на день, и та птичка, что пропоет первою, получит поживу.

— И это верно,— ответил его товарищ.— Ну, а этот парень, как его, Бэзил Олифант, прилично заплатит?

— По-королевски, приятель,— ответил Инглис.— Он ненавидит Эвендела, как никого на всем свете, и, кроме того, боится его из-за одного темного дельца. Если мы уберем лорда с дороги, то все, как надеется Бэзил, окончательно останется у него.

— Но будут ли у нас полномочия и достанет ли сил? — спросил первый драгун.— Мало кто пойдет против милорда, и его может сопровождать кто-нибудь из наших ребят.

— Ты, Дик, всего-навсего трусливый дурак,— ответил на это Инглис.— Он спокойно живет в Фери-ноу, чтобы не вызы-

вать подозрений. Олифант — здешний судья, он прихватит с собой кое-кого из своих, на кого может по-настоящему положиться, да, кроме того, мы с тобой. Олифант говорит, что может взять еще одного отчаянного головореза из вигов, по имени Квентин Мак-Кейл, который давненько имеет зуб против лорда Эвендела.

— Ладно, ладно, ты мой командир, тебе лучше знать,— сказал рядовой, по-солдатски решая сомнения своей совести.— А если что-нибудь будет не так...

— Я все возьму на себя,— сказал Инглис.— Ну что ж, еще кувшин эля — и в Тиллитудлем? Эй, Бесс, слепая, где ты? Куда черт унес эту старую ведьму?

— Задержите их, сколько сможете,— прошептал Мортон, всовывая кошелек в руку хозяйки.— Теперь самое главное — выиграть время.

Торопливо шагая к кустарнику, где девочка держала наготове его коня, он напряженно думал: «В Фери-ноу? Нет, я не смогу их защитить. Нужно скакать прямо в Глазго. Виттенбольд, который командует там войсками, охотно даст кавалерийский отряд и обеспечит содействие гражданских властей. По дороге я извещу обо всем Эвендела».

— Ну, Муркопф,— сказал он, обращаясь к коню,— сегодня ты должен показать свою быстроту и выносливость.

## ГЛАВА XLIV

Но оторвать померкнувших очей
Не мог он от Эмилии своей;
Лежал он молча и уже без сил,
Потом сжал руку ей и дух свой испустил.

*«Паламон и Арсит»*

Нездоровье приковало Эдит к постели на весь тот памятный день, когда ее так сильно потрясло внезапное появление Мортона. На следующее утро, узнав, что она чувствует себя много лучше, лорд Эвендел снова вернулся к своему решению покинуть Фери-ноу. Незадолго до полудня в комнату Эдит вошла леди Эмили, необычно сдержанная и серьезная. Поздоровавшись, она заметила, что хоть ее новость и тяжела для нее самой, но снимет с мисс Белленден немалое бремя.

— Мой брат,— сказала она,— сегодня уезжает из Фери-ноу.

— Уезжает! — воскликнула мисс Белленден, пораженная этим известием.— Надеюсь, к себе?

— Я имею основания предполагать, что он задумал более дальнее путешествие,— ответила леди Эмили.— Что может его теперь здесь удерживать?

— Боже милостивый! — воскликнула Эдит.— Зачем я родилась на горе всем, кто мужествен и благороден! Что нужно сделать, чтобы удержать его от этого рокового шага? Я сейчас выйду к нему. Скажите, что я умоляю его поговорить со мною перед отъездом.

— Это бесполезно, мисс Белленден. Но я скажу ему о вашем желании.

Она вышла с тем же безразличным видом, с каким вошла, и сообщила брату, что мисс Белленден чувствует себя лучше и изъявляет желание сойти вниз и повидаться с ним до отъезда.

— Я думаю,— добавила она с раздражением,— что надежда в скором будущем избавиться от нашего общества принесла исцеление ее расшатанным нервам.

— Сестра,— сказал лорд Эвендел,— ты несправедлива или завидуешь.

— Несправедлива, Эвендел, возможно, но я никогда не думала,— сказала она, взглянув на себя в зеркало,— что меня могут упрекнуть в зависти, не имея на то более веских причин. Но пойдем к леди Маргарет; она готовит настоящее пиршество. Тут можно было бы накормить целый отряд, если б он у тебя был.

Лорд Эвендел молча последовал за нею в гостиную, зная, что бесполезно бороться с ее предубеждением и оскорбленной гордостью. Стол был накрыт под тщательным наблюдением леди Маргарет и уставлен всякими яствами.

— Вряд ли вы будете утверждать, милорд, что вы сегодня утром позавтракали; перед отъездом вам нужно отведать хотя бы того, что в нынешних обстоятельствах могут предложить обитатели этого скромного дома, которые перед вами в таком долгу. А я люблю, чтоб, уезжая на охоту или по делу, молодые люди как следует подкреплялись, и я говорила об этом его священнейшему величеству, когда он завтракал в Тиллитудлеме в году от рождества Христова тысяча шестьсот пятьдесят первом, и его священнейшее величество изволил ответить на это, подняв и выпив за мое здоровье кубок рейнвейна: «Леди Маргарет, вы говорите, совсем как оракул горной Шотландии». Таковы были подлинные слова его величества короля, так что ваша честь мо-

жет судить, опираюсь ли я на высокий авторитет, когда настаиваю, чтобы молодые люди не отказывались от завтрака.

Нетрудно догадаться, что значительную часть этой речи почтенной леди лорд Эвендел пропустил мимо ушей, так как напрягал слух в ожидании легких шагов Эдит. Его рассеянность, вполне, впрочем, естественная, обошлась ему дорого. Пока леди Маргарет исполняла обязанности радушной хозяйки, роль, которую она играла с большим удовольствием и искусством,— к ней подошел Джон Гьюдьил, прервавший ее на полуслове. Как обычно, возвещая хозяйке дома о приходе лица незначительного, он сказал:

— Там один хотел бы переговорить с вашей милостью.

— Один? Что это еще за один? Разве у него нет своего имени? Вы так разговариваете со мной, словно я держу лавочку и выхожу к каждому, лишь только мне свистнут.

— Да, сударыня, у него есть свое имя,— ответил Джон,— но только вашей милости неприятно его услышать.

— Что это значит? Какую чепуху вы городите!

— Это Теленок Джибби, миледи,— сказал Джон сверхпочтительным тоном, хотя обычно позволял себе отступления от этикета, полагаясь на свои заслуги старого, преданного слуги, не покинувшего господ в беде.— Если уж ваша милость стоит на своем, так это не кто иной, как Теленок Джибби, который пасет за мостом коров Эдди Хеншоу; в Тиллитудлеме его звали Гусенком Джибби, и он отправился на боевой смотр и там...

— Помолчите немного, Джон,— сказала старая леди, с достоинством поднимаясь из-за стола,— вы позволяете себе дерзость, полагая, что я стану разговаривать с этим человеком. Пусть он сообщит о своем деле либо вам, либо Хедригу.

— Он и слышать об этом не хочет, миледи; он твердит, что пославший его велел передать эту вещь только вам или лорду Эвенделу, никому другому. По правде говоря, он не очень-то трезвый, да и остался таким же дурачком, каким был.

— В таком случае гоните его,— сказала леди Маргарет,— и прикажите ему прийти завтра утром, когда протрезвится. Наверно, он хочет попросить у нас какой-нибудь милости, как бывший слуга нашего дома.

— Может статься, миледи: он, бедняга, в лохмотьях.

Гьюдьил еще раз сделал попытку выяснить, в чем состояло поручение, данное Джибби: оно действительно было исключи-

тельной важности, так как то были несколько строк Мортона к лорду Эвенделу, извещавшие последнего о грозящей ему со стороны Олифанта опасности и умолявшие либо немедленно искать спасения в бегстве, либо выехать в Глазго и отдаться властям, где он, Мортон, мог бы обеспечить ему покровительство. Эта наспех составленная записка была вручена Мортоном Джибби, которого он увидел вместе с находившимся под его опекою стадом у моста. Он велел ему сразу же идти в Фери-ноу и передать ее в руки лорда Эвендела, подкрепив свое поручение двумя долларами.

Но судьбе, видно, было угодно, чтобы участие Джибби в делах семейства Белленден в качестве гонца или в качестве воина неизменно кончалось неудачно. Как назло, он застрял в кабаке, чтобы проверить, хорошие ли монеты дал ему его наниматель, и притом так основательно, что, когда добрался до Фери-ноу, скудная доля рассудка, отпущенная ему природой, была окончательно потоплена в эле и бренди. Вместо того чтобы спросить лорда Эвендела, он пожелал говорить с самой леди Маргарет, имя которой было более привычно для его слуха. Его к ней не допустили, и Джибби, пошатываясь, поплелся назад, оставив письмо у себя и выполнив в точности инструкции Мортона в одном-единственном пункте, и именно в том, в котором нарушить их было бы весьма кстати.

Через несколько минут после его ухода в гостиную вошла Эдит. Она и лорд Эвендел были смущены этой встречей; леди Маргарет, которой, не сообщая о происшедшем, сказали только о том, что их брак на время отложен из-за недомогания ее внучки, объясняла охватившее их смущение робостью жениха и невесты и, чтобы их не стеснять, затеяла светский разговор с леди Эмили. Воспользовавшись удобным моментом, Эдит, лицо которой стало мертвенно-бледным, невнятно и сбивчиво прошептала лорду Эвенделу, что ей нужно сказать ему несколько слов. Он предложил ей руку и проводил в маленькую комнатку, которая, как мы уже сообщали, находилась рядом с гостиной. Усадив ее в кресло и усевшись возле нее, он приготовился слушать.

— Я очень смущена, милорд,— были первые слова, которые она смогла выговорить, да и то с трудом.— Я, право, не знаю, что́ я должна сказать и как к этому приступить.

— Если мое присутствие для вас тягостно,— мягко сказал лорд Эвендел,— то вскоре вы от него избавитесь.

— Значит, вы решили, милорд, пуститься на эту отчаянную затею в содружестве с этими отчаянными людьми, несмотря

на свой трезвый и проницательный ум, несмотря на настояния ваших друзей, несмотря на верную гибель, которая вас ожидает?

— Прошу прощения, мисс Белленден, но даже ваши увещания не могут меня удержать, раз дело идет о моей чести. Мои кони оседланы, мои слуги готовы к походу, и сигнал к восстанию будет подан, как только я прибуду в Килсайт! И если меня призывает моя судьба, я не стану бежать от нее. Умереть,— добавил он, беря ее руку,— вызвав в вас сострадание, раз я не смог добиться любви, для меня тоже немалое утешение.

— О милорд, останьтесь! — произнесла Эдит голосом, проникшим ему в самое сердце.— Кто знает, быть может, время принесет разъяснение странным событиям, которые так меня потрясли, и мои возбужденные нервы, может быть, успокоятся. О, не торопитесь навстречу гибели! Оставайтесь с нами, будьте нашей опорой и надейтесь на всесильное время!

— Слишком поздно, Эдит,— сказал лорд Эвендел.— Было бы очень неблагородно злоупотребить вашим расположением и вашими добрыми чувствами. Я знаю: любить меня вы не можете; ваша скорбь так сильна, что она вызвала образ умершего или отсутствующего; это говорит о вашем чувстве к другому, и чувстве настолько глубоком, что мне остается рассчитывать лишь на вашу дружбу и благодарность.

В этот момент в комнату ворвался запыхавшийся и испуганный Кадди.

— О милорд, прячьтесь, они окружили дом! — было его первое восклицание.

— Кто они? — спросил лорд Эвендел.

— Кавалерийский отряд во главе с Бэзилом Олифантом,— торопливо ответил Кадди.

— Прячьтесь, милорд! — повторила за Кадди перепуганная насмерть Эдит.

— Клянусь небесами, не стану я прятаться! — вскричал лорд Эвендел.— Какое право имеет этот мерзавец осаждать меня в чужом доме или останавливать на дороге? Я проложу себе путь даже в том случае, если придется сразиться с целым полком; скажите Хеллидею и Хентеру, пусть выводят коней... А теперь прощайте, Эдит! — Он обнял ее и нежно поцеловал. Затем, вырвавшись из рук леди Эмили и леди Маргарет, пытавшихся его удержать, он выбежал из дома и вскочил на коня.

Все были в смятении; женщины, крича, бросились к окнам; отсюда они могли разглядеть кучку всадников, из которых, видимо, лишь двое были солдаты. Они были уже на открытом лугу

перед хижиной Кадди, где начинался подъем к усадьбе; и медленно, соблюдая меры предосторожности, приближались к дому, ожидая, очевидно, встретить сопротивление.

— Он может спастись, он еще может спастись! — повторяла Эдит.— О, если бы он свернул на боковую дорогу!

Но лорд Эвендел, решив грудью встретить опасность, которая его отважной душе представлялась меньше действительной, приказал слугам следовать за ним по пятам и спокойно направился вниз по главной аллее. Старый Гьюдьил побежал за оружием; Кадди схватил ружье, выданное ему для охраны дома, и последовал за лордом Эвенделом. Поспешившая на тревогу Дженни тщетно цеплялась за его платье, суля ему смерть на плахе или на виселице «за то, что суется в чужие дела».

— Замолчи, сучья дочь,— рявкнул Кадди,— кажется, говорю тебе по-шотландски. Разве чужое дело смотреть, как лорда Эвендела прикончат у меня на глазах? — Сказав это, он махнул рукой и понесся вниз по аллее. Впрочем, сообразив по дороге, что, за отсутствием Джона Гьюдьила, он окажется единственным пехотинцем, он занял выгодную позицию за оградой, вставил новый кремень, взвел курок и, прицелившись в хозяина Бэзила, как он его называл, приготовился к действию.

Как только лорд Эвендел выехал из аллеи, отряд Олифанта расступился, чтобы его окружить. Их начальник и еще трое хорошо вооруженных людей, из которых двое были драгуны, а третий одет в деревенское платье, не сдвинулись с места. Впрочем, крепкое сложение, хмурое, злое лицо и решительные движения третьего свидетельствовали, что он — наиболее опасный противник из всех. И тот, кому доводилось встречать его прежде, без труда узнал бы в нем Белфура Берли.

— За мной! — приказал лорд Эвендел слугам.— И если нам помешают, делайте то же, что я.— Он направил коня легкою рысью прямо на Олифанта и уже собирался его спросить, на каком основании тот загораживает ему путь, как Олифант закричал: «Стреляйте в предателя!» — и все четверо одновременно разрядили свои карабины в несчастного лорда. Он пошатнулся в седле, вытащил из кобуры пистолет, но не смог выстрелить и свалился с коня, раненный насмерть. Его слуги вскинули карабины: Хентер выпалил наудачу, Хеллидей, смелый и решительный парень, прицелился в Инглиса и уложил его наповал. В то же мгновение из-за ограды раздался еще один выстрел, отомстивший за смерть лорда Эвендела, так как пуля попала в лоб

Бэзилу Олифанту, и он замертво упал на землю. Его люди, пораженные столь быстрым возмездием, не трогались с места, не зная, что предпринять, но Берли, загоревшийся боевым пылом, воскликнул: «Смерть мадианитянам!» — и с палашом в руке бросился на Хеллидея. В этот момент послышался топот, и кавалерийский отряд, несясь во весь опор по дороге из Глазго, начал разворачиваться на роковом поле. Это были драгуны, которых вел голландский генерал Виттенбольд, сопровождаемый Мортоном и представителем гражданских властей.

Предложению немедленно сдаться, сделанному во имя бога и короля Вильгельма, повиновались все, за исключением Берли, который, надеясь скрыться, повернул коня и пустил его вскачь. Несколько солдат под командою офицера бросились за ним в погоню, но только двоим, чьи кони оказались выносливее, почти удалось настигнуть его. Он дважды, не торопясь, обернулся в седле и, разрядив сначала один, а потом и второй пистолет, ускакал от преследователей, смертельно ранив одного из драгун и подстрелив лошадь другого. Так он скакал до Босуэлского моста, где, на его беду, ворота оказались запертыми и под сильной охраной. Повернув, он примчался к берегу Клайда и, отыскав подходящее место, устремился в воду; пули преследователей, стрелявших из карабинов и пистолетов, свистели вокруг него, и когда он был уже на середине реки, в него одна за другою попали две пули. Почувствовав, что опасно ранен, он поворотил коня назад к левому берегу, показывая жестами, что сдается. Кавалеристы прекратили стрельбу, дожидаясь его возвращения. Двое из них въехали в воду, чтобы схватить его и обезоружить. Но вскоре выяснилось, что он хотел отомстить, а не сдаться и спасти себе жизнь. Приблизившись к обоим солдатам, он собрал последние силы и нанес одному из драгун страшный удар по голове, сваливший того с седла. Второй, дюжий и мускулистый, в то же мгновение уцепился за Берли. Тот, в свою очередь, сдавил ему горло, словно тигр, который, издыхая, не выпускает добычи, и оба, упав с коней во время схватки, оказались в воде. Их увлекло течением. За ними тянулся кровавый след. Стоявшие на берегу видели, как они дважды оказывались на поверхности воды; голландец пытался плыть, но Берли не выпускал его из рук, решившись, видимо, погубить его вместе с собой. Их трупы были найдены на четверть мили ниже по течению Клайда. Так как освободить драгуна из цепких объятий Берли можно было, лишь обрубив последнему руки, их поспешили зарыть в одной общей могиле, на которой и посейчас сохраняется нескладный надгробный камень с высеченной на нем еще более

нескладной эпитафией [1]. И пока душа этого мрачного фанатика летела в небо, чтобы отдать отчет в своем земном бытии, душа храброго и благородного лорда Эвендела также покидала его бренное тело. Увидев, что произошло с лордом Эвенделом, Мортон спрыгнул с коня, чтобы оказать посильную помощь своему сраженному насмерть другу. Тот сразу его узнал, но, не в силах что-либо выговорить, дал понять знаками, чтобы его перенесли в дом. Это было сделано со всею возможной осторожностью; его окружили опечаленные друзья. Впрочем, шумное горе леди Эмили намного уступало безмолвной скорби Эдит. Еще не зная о присутствии Мортона, она заключила в объятия умирающего. Она не знала и о том, что судьба, отнимая у нее одного преданного поклонника, возвращала ей, словно воскресшего из мертвых, другого,— до тех пор пока лорд Эвендел, взяв их руки в свои, не сжал их с глубоким чувством и не соединил вместе, после чего возвел к небу взор, как бы моля о благословении их союза, откинулся на подушки и тотчас испустил дух.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я решил было освободить себя от труда писать заключительную главу, предоставив читателю дорисовать в своем воображении все происшедшее после смерти лорда Эвендела. Но, понимая, что нарушение сочинителем давней традиции, даже если оно удобно и ему и читателям, вызовет неудовольствие, я, признаюсь, был в большом затруднении, когда, к моему счастью, меня пригласила на чашку чая мисс Марта Баксбоди, еще не

---

[1] Благородный читатель! Я попросил моего почтенного друга Питера Праудфута, странствующего торговца, известного многим в стране честностью и порядочностью не менее, чем своими муслинами, батистами и мелким товаром, чтобы при первой поездке в эти места он достал мне точную копию упомянутой эпитафии. Согласно его сообщению, которому я не имею оснований не доверять, она звучит следующим образом:

Здесь камень прах святой хранит,
Джон Белфур Берли здесь лежит,
Он полон пламенного рвенья,
За лигу требовал отмщенья,
В бою при Магусе он был,
Он Джеймса Шарпа умертвил,
И здесь, голландцами сражен,
Был в воды Клайда брошен он.

старая женщина, с большим успехом занимавшаяся в течение добрых сорока лет изготовлением дамских нарядов для Гэндерклю и окрестностей. Зная ее пристрастие к повестям подобного рода, я попросил ее просмотреть накануне моего посещения эти разрозненные в то время листы и помочь мне опытом, который она накопила, прочитав все книги в трех библиотеках для чтения в Гэндерклю и двух соседних городках, где бывают базары. И когда с трепещущим сердцем я предстал перед нею в назначенный вечер, я нашел ее весьма склонной удостоить меня похвального отзыва.

— Никогда еще,— сказала она, протирая очки,— ни один роман, кроме «Истории Джемми и Дженни Джессеми», не приводил меня в такое волнение,— но там действительно настоящий пафос. А что касается вашего плана отказаться от заключения, то он никуда не годится. На протяжении вашего повествования вы сколько угодно можете щекотать наши нервы, но, если вы не обладаете талантом автора «Юлии де Рубинье», никогда не омрачайте конца. Пусть в последней главе блеснет солнечный луч: это совершенно необходимо.

— Мне было бы очень легко, сударыня, повиноваться вашему пожеланию: ведь обе четы, в которых вы по своей доброте принимаете столько участия, прожили долгую счастливую жизнь, произведя на свет сыновей и дочерей.

— Нет нужды, сэр,— сказала она с упреком,— пускаться в подробности относительно их супружеских радостей. Но почему бы вам не сказать несколько слов об ожидавшем их счастье?

— Но, сударыня,— возразил я,— вы же знаете, что всякая книга становится менее интересной по мере того, как автор подходит к концу; тут то же, что с вашим чаем. Это превосходный зеленый чай, но в последней чашке он неизбежно окажется и более слабым, и менее вкусным. Если я нахожу, что последняя чашка не становится лучше оттого, что на ее дне вы обычно находите нерастаявший сахар, то я также думаю, что рассказ, выдыхаясь к концу, может быть только испорчен нагромождением различных подробностей, которые и без того должны быть ясны читателю,— и это даже в том случае, если автор не пожалеет на них своих самых ярких эпитетов.

— Это не так, мистер Петтисон,— сказала почтенная леди,— вы состряпали заключительные главы вашей истории очень поспешно и крайне неловко, я сказала бы, что вы сметали их неизящно, на живую нитку, и я в моем деле задала бы хорошую трепку даже самой молоденькой ученице, выпустившей из своих рук такую скверную и неряшливую работу. Если вы не

исправите этой грубой ошибки, рассказав нам подробно о свадьбе Мортона и Эдит и о том, что стало с другими действующими лицами вашей повести, начиная с леди Маргарет и кончая Гусенком Джибби, предупреждаю вас, никто не скажет, что вы добросовестно сделали вашу работу.

— Ну что же,— ответил я.— у меня такое обилие материала, что я, вероятно, смогу удовлетворить ваше любопытство, сударыня, если только вы не потребуете уж очень мелких подробностей.

— В таком случае,— сказала она,— первое и самое важное: получила ли леди Маргарет свое состояние и свой замок?

— Да, сударыня, получила, и притом самым простым путем: как наследница своего достопочтенного кузена Бэзила Олифанта, не оставившего после себя завещания. Таким образом, после смерти того, кто при жизни так упорно и коварно ее преследовал, ее состояние не только осталось в прежних размерах, но и несколько возросло. Джон Гьюдьил, восстановленный в своей давней должности, стал еще более важным, чем прежде, а Кадди с величайшим восторгом занялся обработкой земель Тиллитудлема и водворился в своей старой хижине, но, как человек осторожный, никогда не хвалился тем метким выстрелом, который возвратил и его госпоже, и ему их прежние резиденции. «В конце концов,— сказал он Дженни, от которой у него не было тайн,— старый Бэзил Олифант был двоюродным братом моей госпожи, и к тому же лицом значительным; правда, насколько я понимаю, он действовал против закона, не предъявив приказа о задержании и не предложив лорду Эвенделу сдаться, и хотя я столько же думаю о том, что его укокошил, как если бы пристрелил куропатку, все же лучше об этом помалкивать». Он не только умолчал о своем подвиге, но искусно поддерживал слухи, будто это сделал старый Гьюдьил, за что и получил изрядную толику стаканчиков бренди, поднесенных ему дворецким, который, резко отличаясь характером от благоразумного Кадди, был склонен скорее преувеличивать, чем преуменьшать свою доблесть. Слепая вдова была обеспечена до конца своей жизни; позаботились и о маленькой провожатой Мортона к водопаду. Что касается...

— Но какое отношение имеет все это к свадьбе, к свадьбе главных действующих лиц?..— прервала меня мисс Баксбоди, нетерпеливо постукивая по своей табакерке.

— Свадьба Мортона и мисс Белленден была отложена на несколько месяцев, потому что их обоих глубоко опечалила смерть лорда Эвендела. А потом они поженились.

— Надеюсь, не без согласия леди Маргарет, сударь? — спросил непреклонный критик.— Я люблю книги, поучающие молодых людей повиноваться воле родителей. В середине романа молодым людям не возбраняется влюбляться без их согласия, но в конце концов они все же должны получить их благословенье на брак. Даже старый Делвил и тот принял в семью Сесили, хотя она и была дочерью человека низкого происхождения.

— И здесь, сударыня, произошло то же самое,— подтвердил я.— Леди Маргарет ответила согласием на предложение Мортона, хотя старый ковенантер, его отец, долгое время ее немало смущал. Эдит была ее единственным упованием, и она хотела видеть ее счастливой. Мортон, или Мелвил-Мортон, как чаще его называли, стоял так высоко во мнении света и был во всех отношениях такой завидною партией, что она отказалась от своих прежних предубеждений и утешилась мыслью о том, что браки заключаются на небесах, как ей заметил, по ее словам, его священнейшее величество блаженной памяти король Карл II, когда она показывала ему портреты ее прадеда Фергюса, третьего графа Торвуда, красивейшего мужчины своего времени, и его второй жены, графини Джейн, горбатой и одноглазой. Таково было замечание его величества короля, говорила она, в одно памятное ей на всю жизнь утро, когда он почтил ее посещением и изволил у нее завтракать...

— Достаточно,— сказала мисс Баксбоди, снова прерывая меня.— Если она приводила столь авторитетное мнение, чтобы объяснить свое согласие на мезальянс, то и у меня нет никаких возражений. Ну, а как же старая миссис... как же ее зовут... домоправительница?

— Миссис Уилсон, сударыня? — ответил я.— Она стала, быть может, самой счастливой из всех, ибо один раз в году, но, заметьте, не больше мистер и миссис Мелвил-Мортон в весьма торжественной обстановке обедали в большом зале с дубовой панелью; в подобных случаях открывались, в другое время завешенные, штофные обои, расстилался ковер и на стол ставились огромные медные канделябры, увитые лавровыми листьями. Приготовления к этому ежегодному пиршеству заполняли ее мысли на протяжении полугода; остальные полгода старая Элисон наводила порядок после состоявшегося обеда, так что один день удовольствия давал ей работу на целый год.

— А Нийл Блейн? — спросила мисс Баксбоди.

— Дожил до преклонного возраста, попивал бренди и эль за счет своих посетителей, независимо от их убеждений, пел

песни вигов и якобитов по желанию трактирных гостей и накопил столько денег, что после его кончины Дженни смогла выйти замуж за мелкого землевладельца. Надеюсь, сударыня, ваши вопросы исчерпаны, так как, по правде говоря...

— А Гусенок Джибби, сударь? Что стало с Гусенком Джибби, услуги которого оказались чреватыми такими последствиями для действующих лиц вашей истории?

— Учтите, моя дорогая мисс Баксбоди (извините за фамильярность), прошу вас, учтите, что даже память прославленной Шахразады, этой королевы рассказчиков, не смогла вместить всех подробностей. Я не вполне осведомлен обо всем, что случилось с Гусенком Джибби, но я склонен думать, что он и есть некий Гилберт Даден, иначе Теленок Джибби, которого секли, возя по всему Гамильтону, за кражу курицы.

Мисс Баксбоди поставила левую ногу на решетку перед камином, откинулась на спинку стула и устремила взгляд в потолок. Заметив, что она впадает в задумчивость, я испугался, не готовится ли она продолжать дознание, и потому, взявшись за шляпу, поспешил пожелать ей покойной ночи, пока демон критицизма не подсказал ей новых вопросов. Таким же образом, любезный читатель, принося благодарность за ваше терпение, не изменившее вам вплоть до этого часа, я беру на себя смелость покинуть вас до следующей встречи.

# ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

ПЕРЕВОД Н. АРБЕНЕВОЙ

## ВВЕДЕНИЕ

Когда сержант Мор Мак-Элпин жил среди нас, он был самым уважаемым из обитателей Гэндерклю. Субботним вечером в общем зале гостиницы «Уоллес» никто не вздумал бы оспаривать его право на самый уютный уголок у камелька. Да и наш пономарь Джон Дайруорд никогда бы не допустил, чтобы кто-либо занял место на первой скамье, слева от кафедры, где сержант имел обыкновение сидеть во время воскресной службы. В церковь Мак-Элпин неизменно являлся в тщательно вычищенном синем военном мундире. Две медали на груди, а также пустой правый рукав свидетельствовали о бранных подвигах старого воина. Его обветренное лицо, седые волосы, заплетенные в жидкую косичку, как в старину носили военные, и несколько наклоненная к левому плечу голова — дабы лучше слышать слова проповеди — выдавали и ремесло и немощи ветерана. Рядом с ним сидела его сестра Дженет, маленькая опрятная старушка в чепце и клетчатом пледе, какие носят шотландские горцы, и не спускала глаз со своего брата, которого почитала величайшим человеком на земле; во время проповеди она проворно находила в его Библии с серебряными застежками те места, которые читал или разъяснял священник.

Должно быть, именно то обстоятельство, что достойный сержант был окружен в Гэндерклю почетом и уважением людей всех сословий, и побудило его избрать нашу деревню местом своего постоянного пребывания, ибо это отнюдь не входило в его первоначальные намерения.

Ревностной службой в разных странах мира он добился звания артиллерийского сержанта и считался одним из самых испытанных и надежных солдат в шотландском ополчении. Пуля, раздробившая ему руку во время похода в Испанию, положила конец его военному поприщу, и он вышел в отставку, получив пенсию инвалида и приличное вознаграждение из общественных фондов. Вдобавок сержант Мор Мак-Элпин был человеком не только храбрым, но и предусмотрительным; из своих сбережений и денежных наград он составил небольшой капиталец, который и поместил в трехпроцентные консоли.

Он вышел в отставку, намереваясь насладиться своими скромными доходами в горной долине на диком севере Шотландии; там он некогда пас стада овец и коз, пока не заслышал бой барабана и не последовал за ним, сдвинув набекрень свой берет горца, с тем чтобы уже не отставать от него в течение почти сорока лет. В памяти сержанта эта глухая долина осталась прекраснейшим уголком земли: красоту ее не могли затмить никакие картины природы, виденные им в его странствиях. Даже Счастливая долина принца Расселаса — и та показалась бы ему жалкой по сравнению с ней. И вот он приехал в родные места и нашел только бесплодное ущелье, окруженное голыми утесами, по которому стремительно неслась горная речка. Но не это было самое печальное: огни тридцати очагов погасли, от его отчего дома осталось только несколько замшелых камней, родная речь почти забылась, древний род, принадлежностью к которому он так гордился, нашел убежище за океаном. Один арендатор с южного предгорья, три пастуха в серых пледах и шесть овчарок населяли теперь эту долину, где в пору его детства, хорошо ли, плохо ли, но жило свыше двухсот человек.

Однако в доме нового арендатора сержанта Мак-Элпина ожидала радостная встреча, согревшая его сердце. По счастью, его сестра Дженет питала столь глубокую уверенность, что брат ее когда-нибудь возвратится домой, что отказалась покинуть родину вместе со всей семьей. Мало того, она даже согласилась — правда, не без чувства уязвленной гордости — поступить в услужение к незваному пришельцу с предгорья; впрочем, по словам Дженет, ее хозяин, даром что сакс, обращался с ней хорошо. Это неожиданное свидание с сестрой почти примирило сержанта Мак-Элпина со всеми разочарованиями, выпавшими на его долю, хотя он едва удерживался от слез, слушая, как Дженет с красноречием, присущим лишь женщинам северных гор, рассказывала горестную повесть об изгнании их семьи.

Она долго и обстоятельно описывала, как тщетно пытались они продлить срок аренды, просили принять арендную плату вперед, хотя это и привело бы их на грань нищеты,— лишь бы им разрешили прожить свой век и умереть на родной земле. Не преминула она сообщить брату о тех знамениях, которые предвещали изгнание кельтского племени и приход чужестранцев. Еще за два года до отъезда семьи в завываниях ночного ветра в ущелье Балахра явственно слышалась песня «Нам нет возврата», которую, по обычаю, поют переселенцы, прощаясь с родными берегами. Зловещие крики пастухов с предгорья и лай их овчарок часто раздавались в окутанных туманом горах задолго до появления пришельцев. Старый бард, последний из кельтских бардов, сложил песню об изгнании коренных обитателей ущелья, от которой слезы навернулись на глаза закаленного воина; первая строфа этой песни звучала приблизительно так:

Зачем, зачем, о сын предгорья,
Зачем ты покинул свой край родной?
Зачем принес ты горцам горе
В долины, где раньше царил покой? [1]

Горе бедного сержанта усугублялось еще тем, что виновником этих печальных событий было то самое лицо, которое, по преданию и по общему мнению, почиталось преемником древних предводителей клана; прежде сержант Мор с гордостью доказывал при помощи генеалогических вычислений, в каком родстве он состоит с этим лицом. Теперь в его чувствах произошла прискорбная перемена.

Когда Дженет кончила свой рассказ, он встал и зашагал по комнате.

— Я не могу и не хочу проклинать его,— сказал сержант Мак-Элпин.— Он потомок и наследник моих прадедов. Но отныне никто из смертных не услышит его имя из моих уст.

И он сдержал слово: до его последнего часа никто не слыхал, чтобы он помянул своего корыстного и безжалостного повелителя.

Сержант провел день в печальных воспоминаниях, но бодрость духа, которая помогла ему преодолеть столько опасностей, и теперь взяла верх над жестоким разочарованием.

---

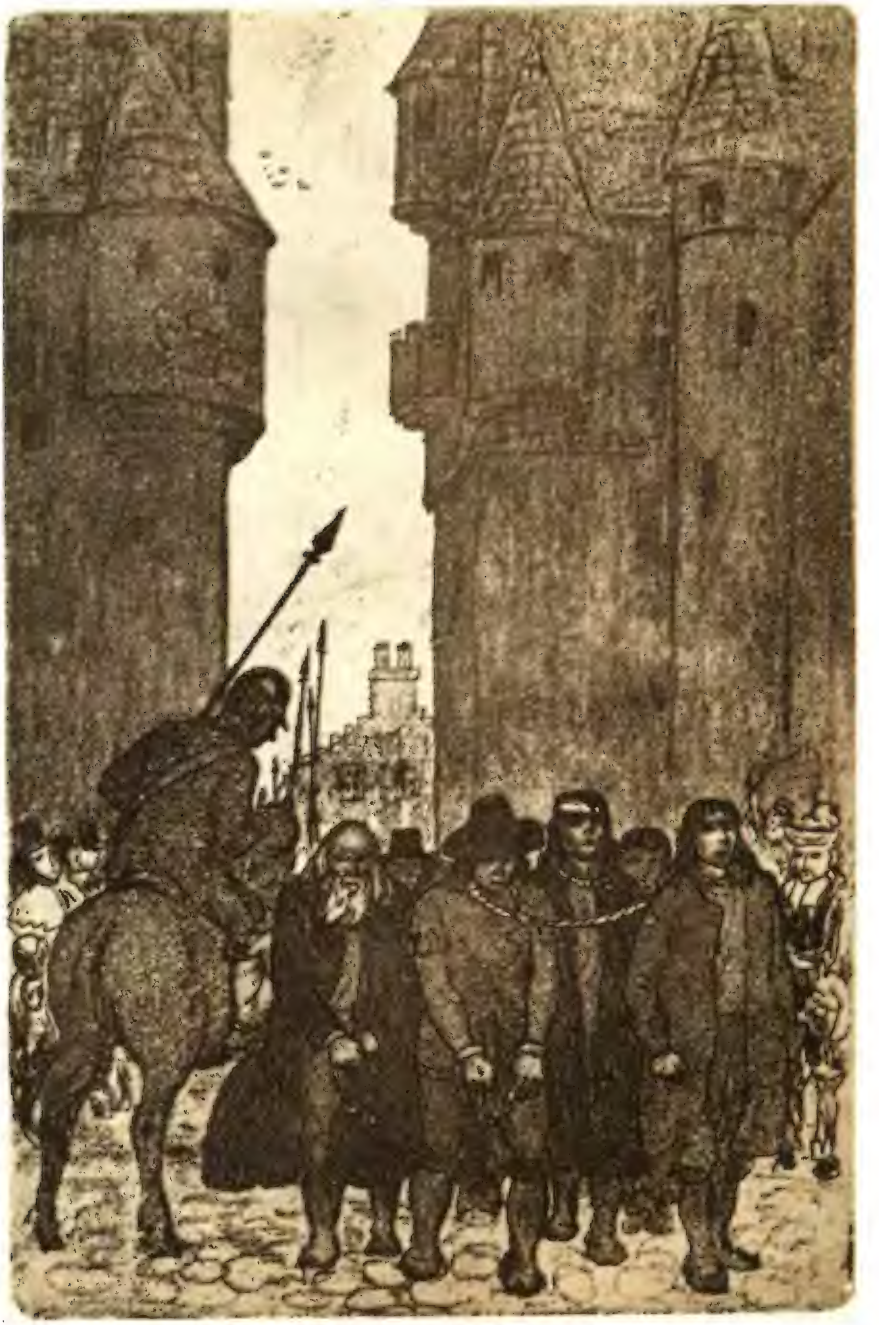
[1] Стихотворные переводы в «Легенде о Монтрозе», кроме особо оговоренных, выполнены Б. Лейтиным.

— Мы поедем,— объявил он,— за океан, туда, где наши родные назвали канадскую долину именем ущелья наших предков. Дженет,— добавил он,— подшей свои платья, как это делают женщины, отправляясь с войском в поход. И не говори, что это далеко. Черт возьми! Не такие путешествия и походы я проделывал даже тогда, когда в этом было меньше надобности, чем сейчас.

С этим намерением он покинул родные горы и вместе с сестрой добрался до Гэндерклю, лежащего на пути в Глазго, откуда он думал отплыть в Канаду. Но тем временем наступила зима, и сержант рассудил, что лучше дождаться весны, когда откроется навигация по заливу Святого Лаврентия, и решил провести у нас последние месяцы своего пребывания в Англии. Как мы уже сказали, почтенный ветеран был принят с должным уважением всеми слоями общества; и когда наступила весна, старик уже так обжился в нашей деревне, что и не возвращался к мысли о Канаде. К тому же Дженет боялась пускаться в море, а сам он все сильнее чувствовал приближение старости, да и долгая ратная служба давала себя знать. Поэтому Мак-Элпин пришел к выводу, как он признался нашему священнику и моему достойному патрону, мистеру Клейшботэму, что «лучше остаться с добрыми друзьями, чем уехать туда, где, возможно, будет хуже».

Таким образом, он поселился в Гэндерклю, к величайшей радости, как мы уже говорили, всех его обитателей, для которых он стал незаменимым толкователем газет, правительственных извещений и бюллетеней, сущим оракулом, искусно раскрывающим смысл всех военных событий, прошлых, настоящих и даже будущих.

Правда, не всегда рассуждения сержанта Мак-Элпина отличались строгой последовательностью. Так, например, он был убежденным якобитом, по той причине, что его отец и четверо родичей воевали на стороне короля в сорок пятом году; но он был не менее убежденным приверженцем короля Георга, потому что на службе у этого монарха он сам приобрел свое маленькое состояние, а его три брата сложили головы; так что вам грозила опасность навлечь на себя гнев старика и в том случае, если бы вы назвали принца Карла претендентом и если бы вы неуважительно отозвались о короле Георге. Не станем отрицать также и того обстоятельства, что в те дни, когда сержант получал проценты со своего капитала, ему случалось засиживаться в гостинице «Уоллес» дольше, чем это было совместимо с строгой умеренностью и его личной выгодой; ибо в такие вечера



«Пуритане»

посетители столь усердно угождали ему, распевая якобитские песни, проклиная Бонапарта и осушая стаканы в честь герцога Веллингтона, что сержант не только расплачивался за всю выпивку, но даже зачастую одалживал небольшие суммы своим коварным собутыльникам. После таких возлияний, как он сам выражался, когда мысли его снова обретали ясность, он неизменно возносил хвалу богу и герцогу Йоркскому, благодаря которым ныне старому служаке несравненно труднее разориться от излишеств, нежели это было в дни его молодости.

Должен сказать, что не в гостинице «Уоллес» искал я общества сержанта Мак-Элпина. Но иногда на досуге я сопровождал старика в его утренней или вечерней прогулке, которую он называл смотром и на которую, если только позволяла погода, являлся с неизменной точностью, как будто только что пробили зорю. Утром он всегда прогуливался на кладбище под вязами, «ибо,— как он говорил,— я столько лет прожил бок о бок со смертью, что не вижу причин разнакомиться с ней». Под вечер его можно было увидеть на берегу реки, невдалеке от лужайки, где белили холсты; окруженный деревенскими политиками, старый ветеран, вооружившись очками, читал газету, растолковывал своим слушателям военные выражения, для вящей наглядности чертя тростью по земле. Иногда его обступала ватага школьников, которых он либо обучал артикулам, либо, к некоторому неудовольствию родителей, посвящал в тайны пиротехники (как это именуется в энциклопедии); в этом деле он был большой знаток, и во всех торжественных случаях деревня поручала ему устройство фейерверка.

Чаще всего я встречался со стариком во время его утренней прогулки. И когда я смотрю на дорожку, окаймленную высокими тенистыми вязами, мне так и мерещится, что он с тростью в руке идет навстречу размеренным шагом, расправив плечи, готовый отдать мне честь... Но его уже нет в живых, и он покоится рядом со своей верной Дженет под третьим вязом, если считать от западного угла кладбищенской ограды.

Беседы с сержантом Мак-Элпином имели для меня большую прелесть не только потому, что он рассказывал мне о своей богатой приключениями кочевой жизни; от него узнал я множество преданий северных горцев, которые он в детстве запоминал со слов своих родителей и усомниться в истинности которых он и сейчас, на склоне лет, почел бы ересью. Немало этих преданий относилось к походам Монтроза, под чьим зна-

менем, по-видимому, отличились и некоторые предки сержанта. Как ни странно, но, несмотря на то что именно в междоусобицах того времени горцы стяжали себе наибольшую военную славу, впервые показав свое превосходство над южными шотландцами, о войнах Монтроза было создано гораздо меньше легенд, чем о других, нередко менее значительных событиях. Вот почему я с великой радостью слушал рассказы моего друга о любопытных чертах той эпохи; в них сказалась тяга к фантастическому и сверхъестественному, присущая и моему собеседнику, и тем далеким временам; я предоставляю читателю полную свободу выбора — чему верить и чему не верить, однако с условием, чтобы он не подвергал сомнению исторические события моего повествования, ибо эти события, как и все те, которые я уже ранее имел честь предложить его вниманию, соответствуют истине.

## ГЛАВА I

Здесь каждый веровать привык
В священный текст мечей и пик.
А спор решать — прием любимый
Здесь пушек гром непогрешимый,
И догмы в ум вбивать крепки
Апостольские кулаки.

*Батлер*

Начало нашего повествования относится ко времени великой и кровавой гражданской войны, потрясавшей Англию в XVII веке.

Междоусобные распри еще не коснулись Шотландии, хотя политические разногласия уже делили ее обитателей на два лагеря: многие шотландцы, недовольные своим правительством, осуждали принятое им решение — послать в Англию многочисленные войска на поддержку английского парламента; они намеревались при первом удобном случае объявить себя приверженцами короля и, если бы им не удалось привлечь на свою сторону большую часть населения Шотландии, добиться хотя бы возвращения армии генерала Лесли из Англии. К этому стремилось главным образом северное дворянство, оказавшее упорное сопротивление принятию Торжественной лиги и ковенанта, а также большинство предводителей горных кланов, которые понимали, что их собственная власть зависит от прочности королевского престола, и к тому же питали глубокую неприязнь к пресвитерианскому вероучению; кроме того, эти горные кланы находились на той низкой ступени общественного развития, когда любая война кажется более желательной, нежели мир.

Такое состояние умов предвещало бурные события, и обычные набеги северных горцев, опустошавших юго-восточное предгорье, постепенно принимали характер открытых военных действий, составлявших как бы часть общего стратегического плана войны.

Люди, которые стояли у власти, знали о надвигавшейся опасности и тщательно готовились к тому, чтобы во всеоружии встретить и отразить ее. Впрочем, они не без удовлетворения отмечали то обстоятельство, что среди роялистов до сих пор не появилось ни одного достаточно популярного вождя, который мог бы сплотить вокруг себя армию или хотя бы объединить под своей властью те разрозненные отряды, которые страсть к грабежу побуждала к враждебным действиям, пожалуй, не меньше, чем политические убеждения. Правительство надеялось, что размещение достаточного количества войск в предгорье, примыкающем к границам Верхней Шотландии, сдержит воинственный пыл главарей горных кланов и что северные бароны, поддерживающие парламент,— как, например, граф Маршал, старинный род Форбсов, Лесли, Ирвины, Гранты и другие пресвитерианские кланы,— не только сумеют одолеть клан Огилви и прочих роялистов из Ангюса и Кинкэрдина, но даже и обуздать могущественный род Гордонов, власть которых была так же безгранична, как их ненависть к пресвитерианству.

У правительства было немало врагов в горах Западной Шотландии, но, по общему мнению, мощь этих враждебно настроенных кланов была сломлена и воинственный дух их вождей усмирен благодаря огромному влиянию маркиза Аргайла, который пользовался полным доверием шотландского парламента; могущество маркиза в горных районах, и ранее почти безграничное, еще более укрепилось благодаря уступкам, которые ему удалось вырвать у короля во время последних мирных переговоров. Всем было известно, что маркиз Аргайл — скорее искусный политик, нежели отважный воин, и более способен плести тонкие политические интриги, нежели усмирять крамольных горцев, однако численность подвластного ему клана и отвага верных ему предводителей могли с лихвой возместить недостаток доблести у вождя; Кэмбелы уже не раз одерживали победу над соседними кланами, и можно было думать, что побежденные не скоро решатся снова помериться силами со столь могущественным противником.

Итак, удерживая в своих руках самую богатую часть королевства — весь юг и запад Шотландии, а также графство

Файф с плодородными землями, и насчитывая многочисленных и могущественных сторонников даже в областях, расположенных севернее залива Форт и реки Тэй, шотландский парламент полагал, что опасность не столь уж велика, и не видел необходимости менять свою политику; менее всего он был склонен отозвать из Англии двадцатитысячную армию, посланную на подмогу братскому английскому парламенту, помощь которой оказалась столь существенной, что роялисты вынуждены были перейти к обороне в пору своего наибольшего торжества и успеха.

Причины, побудившие в то время шотландский парламент принять столь непосредственное и деятельное участие в английской междоусобной войне, подробно изложены нашими историками, но, может быть, стоит здесь вкратце напомнить о них. Со стороны короля не было никаких новых обид или поползновений на права шотландцев, и мир, заключенный Карлом Первым со своими шотландскими подданными, ничем не был нарушен; но правители Шотландии прекрасно понимали, что король принял мирные условия только под давлением английского парламента и под угрозой их собственных вооруженных сил. Правда, после заключения мира король Карл посетил столицу своего древнего королевства, признал новое устройство церкви и удостоил почестей и наград многих предводителей враждебной ему партии, особенно ожесточенно боровшихся против него. Однако шотландцы опасались, что милости, столь неохотно расточаемые, будут вновь отобраны при первом же удобном случае. Неудачи английского парламента вызывали тревогу в Шотландии: здесь отлично понимали, что, если бы Карлу удалось с помощью военной силы усмирить своих английских подданных, он не замедлил бы отомстить шотландцам за то, что они подали пример неповиновения, первыми подняв оружие против короля.

Таковы были политические соображения, побудившие шотландцев отправить войско в Англию; цель похода была открыто провозглашена в манифесте шотландского правительства, в котором излагались причины, заставившие его оказать столь своевременную и существенную помощь английскому парламенту. Английский парламент, говорилось в манифесте, уже выказал Шотландии свою дружбу и будет ее выказывать и впредь; король, правда, дал шотландцам ту религию, которую они пожелали, но нет никаких оснований полностью доверять королевским обещаниям, ибо слова короля не всегда соответствуют его действиям. «Наша совесть,— говорилось в заключение,— и бог, ко-

торый выше нашей совести, да будут нам свидетели, что мы желаем только мира для обоих народов во славу божию и к чести короля, когда, соблюдая закон, усмиряем и караем тех, кто является зачинщиками смут в Израиле, дьявольскими подстрекателями,— Кор, Валаамов, Доиков, Рабсаков, Аманов, Товиев и Санаваллатов нашего времени, и, совершив сие, мы не пойдем далее. И мы, во исполнение сих благочестивых намерений, не прибегали к посылке войска в Англию, покуда все другие средства, кои мы могли измыслить, не потерпели неудачи, и нам осталось лишь это последнее и единственное средство».

Предоставив казуистам решать вопрос, имеет ли право одна из сторон нарушать торжественный договор только на том основании, что она подозревает возможность такого нарушения другой стороной, мы перейдем к двум другим обстоятельствам, оказавшим на шотландский народ и его правителей не менее сильное влияние, чем сомнения в искренности добрых намерений короля.

Прежде всего — состав и характер шотландского войска, возглавляемого обедневшим и недовольным дворянством. Большинство офицеров этой армии выучилось своему ремеслу на материке, во время германских войн. Мало-помалу они почти утратили не только представление о различии политических убеждений, но и понятие о различии между странами и, движимые одной только корыстью, чистосердечно полагали, что первейший долг солдата — верность государству или монарху, которые ему платят, независимо от того, за правое или неправое дело они сражаются и каково их личное отношение к той или другой из враждующих сторон. Вот какую суровую оценку дает Гроций подобным людям: «Nullum vitae genus est improbius, quam eorum, qui sine causae, respectu mercede conducti, militant» [1].

Для этих наемников, как и для захудалых дворян, которые делили с ними командные должности и легко перенимали их убеждения, успех недавнего кратковременного вторжения в Англию в 1641 году был достаточным основанием желать повторения столь выгодного похода. Хорошее жалованье и вольный постой в Англии оставили глубокий след в памяти этих искателей приключений, и надежда на контрибуцию в размере восьмисот пятидесяти фунтов стерлингов в день оказывала на

[1] Нет более бесчестного образа жизни, чем у воюющих ради платы, без уважения к делу, которому они служат *(лат.)*.

них более сильное воздействие, нежели любые соображения государственного или нравственного порядка.

Но если войско стремилось в Англию, охваченное жаждой наживы, то большинство шотландского народа воодушевляло нечто другое. Споров — и устных и на бумаге — относительно формы церковной власти было так много, что этот вопрос занимал умы гораздо сильнее, нежели догматы протестантского вероучения, признаваемые и той и другой стороной. Наиболее ревностные приверженцы епископальной церкви и сторонники пресвитерианства в своей нетерпимости не уступали папистам, и ни те, ни другие не допускали возможности спасения вне лона своей церкви. Тщетны были все попытки разъяснить этим фанатикам, что, если бы создатель христианской веры считал какую-либо форму церковной власти необходимой для спасения души, об этом было бы сказано в Евангелии с такой же точностью, как в книгах Ветхого завета. Обе партии продолжали стоять на своем с таким ожесточением, словно указания самого неба подтверждали их правоту. Епископ Лод в дни своего могущества сам подлил масла в огонь, попытавшись навязать шотландскому народу церковные обряды, чуждые его духу и традициям. Успешное противодействие этим попыткам и победа пресвитерианской религии, естественно, усилили приверженность к ней всего народа, видевшего в этой победе свое, народное, торжество. Лига и ковенант, признанный большинством шотландцев и затем силой меча введенный во всем Шотландском королевстве, имели своей главной целью учреждение догматов пресвитерианской церкви и разгром еретиков и вероотступников; добившись в своей стране водворения этого «златого светильника», шотландцы возымели великодушное и братское намерение воздвигнуть подобный же в Англии. Они предполагали, что это легко осуществить, если послать на помощь английскому парламенту значительный отряд шотландского войска. В то время в английском парламенте оппозицию возглавляла многочисленная и могущественная партия пресвитериан, тогда как индепенденты и прочие сектанты, которые впоследствии, при Кромвеле, взялись за меч и свергли власть пресвитериан как в Шотландии, так и в самой Англии,— предпочитали пока тайно выжидать под защитой более могучей и богатой партии. Поэтому введение единой религии и единой церкви в Англии и в Шотландии казалось делом столь же благим, сколь и желательным.

Прославленный сэр Генри Уэйн, уполномоченный вести переговоры о союзе между Англией и Шотландией, понял, ка-

кое огромное влияние эта приманка имела на умы шотландцев; будучи сам ревностным индепендентом, он сумел одновременно и возбудить и обмануть пламенные надежды пресвитериан, взяв на себя обязательство преобразовать англиканскую церковь «согласно слову божию и сообразно устройству наилучших реформированных церквей». Ослепленные своим фанатизмом, не питая и тени сомнения в Jus difinum [1] своих церковных установлений и не допуская мысли, чтобы подобные сомнения могли явиться у кого бы то ни было, шотландский парламент и шотландская церковь решили, что под этими словами подразумевается не что иное, как введение пресвитерианства. Они продолжали пребывать в своем заблуждении до тех пор, пока сектанты, не нуждаясь более в их помощи, не дали им понять, что эти слова могут быть истолкованы и в пользу индепендентства и любого иного вероучения, лишь бы власть имущие признали его «согласным со словом божиим и сообразным с устройством реформированных церквей». Столь же неприятно поразило обманутых шотландцев то обстоятельство, что английские сектанты стремились к свержению монархии, тогда как шотландцы намеревались только ограничить королевскую власть, отнюдь не упраздняя самого престола. Однако в этом отношении они поступили, как те неосторожные врачи, которые в начале болезни пичкают своего пациента таким множеством лекарств, что доводят его до полного истощения, когда уже никакие средства не в состоянии вернуть ему силы.

Но эти события в то время были еще делом будущего. Пока что шотландский парламент считал свое соглашение с Англией справедливым, разумным и благочестивым, и военные действия, предпринятые им, развивались весьма успешно. После соединения шотландского войска с войсками Ферфакса и Манчестера парламентская армия осадила Йорк и дала решительное сражение при Марстон-муре, в котором принц Руперт и маркиз Ньюкаслский были разбиты наголову. Правда, в этой победе на долю шотландских союзников выпало меньше славы, нежели того могли бы пожелать их соотечественники. Шотландская конница под предводительством Дэвида Лесли сражалась храбро и разделила честь победы с отрядом индепендентов, дравшихся под началом Кромвеля; но престарелый граф Ливен, один из шотландских генералов, сильным натиском принца Руперта был обращен в бегство и находился уже на расстоянии тридцати миль от поля битвы на пути в Шотландию, когда до

[1] Божественном праве *(лат.)*.

него дошла весть о том, что парламентские войска одержали блестящую и полную победу.

Отправка армии в помощь английским пресвитерианам для похода против короля, ослабив мощь шотландского парламента, способствовала волнениям среди противников пресвитерианства, о чем мы упомянули в начале этой главы.

## ГЛАВА II

Достала мать для сына еле-еле
Лишь латы мужа вместо колыбели.
Под лязг их ржавый погружаясь в сон,
На жесткость лат не жаловался он.
Во сне пройдя войны грядущей беды,
Проснувшись, он уж дрался до победы.

*Холл, «Сатиры»*

Однажды поздним летним вечером, в те тревожные времена, о которых мы только что говорили, хорошо вооруженный молодой человек, видимо знатного рода, верхом на добром коне медленно поднимался по одному из тех крутых ущелий, которые соединяют горную Шотландию с равнинами Пертшира [1]. Его сопровождали двое слуг — один из них вел в поводу навьюченную лошадь. Некоторое время путникам пришлось ехать вдоль берега горного озера, в глубоких водах которого отражались багряные лучи заходящего солнца. Неровная тропинка, по которой не без труда продвигались всадники, то пряталась в чаще старых берез и дубов, то вилась по краю обрыва, под выступами могучих скал. В иных местах горы, окаймлявшие северный берег живописного озера, возвышались сплошной, но менее отвесной стеной, и склоны их были покрыты темно-пурпуровым ковром вереска. В мирные времена столь романтичный пейзаж имел бы, несомненно, большую прелесть в глазах путника; но тот, кому приходится путешествовать в исполненные тревог и сомнений дни, мало обращает внимания на живописные картины природы.

Там, где лесная тропинка расширялась, знатный всадник ехал рядом с одним или обоими своими слугами и вел с ними серьезную беседу: сословные различия легко стираются между людьми, когда они подвергаются общей опасности. Предметом

[1] Некоторое представление о нем можно себе составить по живописному ущелью Лени близ Каллендера, в графстве Ментейт.

беседы служили намерения предводителей кланов, населяющих этот дикий край, и вероятность их участия в предстоящих политических столкновениях.

Путешественники не проехали и половины пути вдоль озера, и молодой вельможа только что указал своим спутникам вправо, на крутой подъем, где дорога, оставляя в стороне берег, сворачивала в ущелье,— как вдруг они увидели одинокого всадника, ехавшего прямо навстречу им. Отблеск солнечных лучей на его шлеме и латах свидетельствовал о том, что незнакомец в полном вооружении, и наши путники не могли пропустить его мимо, не допросив.

— Надо узнать, кто он такой и куда направляется,— сказал молодой вельможа.

Пришпорив коня, он поскакал впереди своих слуг так быстро, как только позволяла неровная дорога, к месту, где тропинка, пролегающая вдоль берега, пересекалась дорогой, ведущей к ущелью; тем самым он лишил незнакомца возможности свернуть в сторону и избегнуть встречи с ним.

Одинокий всадник, заметив скачущих к нему трех верховых, тоже было прибавил шагу, но, увидев, что те остановились и, выстроившись в ряд, преградили ему дорогу,— осадил коня и стал медленно продвигаться вперед, так что обе стороны имели полную возможность хорошенько рассмотреть друг друга. Под незнакомцем была прекрасная лошадь, отлично приспособленная к военной службе и тяжести, которую ей приходилось нести; всадник же сидел в своем боевом седле так уверенно, словно никогда не покидал его. На голове всадника красовался блестящий стальной шлем с плюмажем, на груди — плотный панцирь, непроницаемый для мушкетных пуль, спина была защищена кирасой из более легкой стали. Эти доспехи вместе со стальными рукавицами и со стальными же нарукавниками, доходившими до самого локтя, были надеты поверх кожаного камзола.

Впереди, на луке седла, была укреплена пара пистолетов, размером значительно больше обыкновенных; они имели около двух футов длины и заряжались пулями весом в одну двадцатую фунта. На кожаном с широкой серебряной пряжкой поясе всадника слева висел длинный обоюдоострый меч с прочной рукояткой и лезвием, рассчитанным на то, чтобы и рубить и колоть; справа был прицеплен кинжал дюймов восемнадцати длиной; за спиной, на двух перевязях крест-накрест, висели мушкетон и патронташ с пулями. Стальные набедренники, спускавшиеся до самого верха высоченных ботфортов, завершали полное боевое вооружение кавалериста того времени.

Наружность самого незнакомца вполне соответствовала его боевым доспехам, с которыми он, по-видимому, давно свыкся. Он был выше среднего роста и достаточно крепкого сложения, чтобы свободно выносить тяжесть своего наступательного и оборонительного оружия. На вид ему было за сорок, и вся его внешность изобличала в нем человека решительного, воина, закаленного в боях, оставивших на его теле немало рубцов и шрамов.

Шагах в тридцати от группы всадников он остановил коня и приподнялся на стременах, видимо стараясь угадать намерения противника; передвинув мушкетон, он взял его в правую руку, готовясь пустить в ход, если того потребуют обстоятельства. Во всех отношениях, кроме численности, он имел явное преимущество перед теми, кто, по-видимому, возымел намерение преградить ему дорогу. Правда, предводитель маленького отряда ехал на прекрасном коне и был одет в богато расшитый кожаный камзол — полувоенную одежду того времени; но на его слугах были лишь простые, из домотканого сукна, куртки, которые едва ли могли защитить их от удара меча, нанесенного крепкой рукой. К тому же никто из них не имел при себе иного оружия, кроме палаша и пистолетов, без которых благородные господа, как и их слуги, редко пускались в путь в те тревожные времена.

С минуту обе стороны внимательно присматривались друг к другу; затем молодой вельможа задал вопрос, обычный для того времени в устах каждого путника при встрече с незнакомцем:

— Вы за кого?

— Сначала вы сами мне скажите, за кого вы? — отвечал воин.— Более сильная сторона должна высказываться первой.

— Мы за бога и за короля Карла,— отвечал молодой вельможа.— Теперь объявите свою партию, раз уж вы знаете нашу.

— Я за бога и за свое знамя,— отвечал всадник.

— За какое знамя? — спросил предводитель маленького отряда.— Кавалер или круглоголовый? За короля или за ковенант?

— Скажу вам по чести, сэр,— отвечал воин,— мне не хотелось бы говорить вам неправду, ибо это недостойно дворянина и воина. Но чтобы ответить на ваш вопрос вполне искренне, я должен раньше сам решить, к какой из партий, ныне враждующих между собой, я примкну окончательно, а этого я еще не могу сказать с уверенностью.

— Я полагаю,— сказал молодой вельможа,— что, когда речь идет о верности престолу и религии, ни один дворянин, ни

один честный человек не может долго колебаться в выборе партии.

— Поистине, сэр,— возразил воин.— если вы это говорите с намерением оскорбить меня, задеть мою честь или благородное происхождение, то я с радостью приму ваш вызов и готов сразиться один против вас троих. Но если вы просто желаете вступить со мной в логические рассуждения, каковым я в молодости обучался в эбердинском духовном училище, то я готов доказать по всем правилам логики, что, откладывая на время свое решение принять ту или иную сторону в этих распрях, я поступаю не только как подобает честному человеку и дворянину, но и как должен поступить человек благоразумный и осторожный, впитавший с юных лет мудрость гуманитарных наук и затем удостоившийся чести воевать под знаменем непобедимого Северного Льва — великого Густава-Адольфа и многих других храбрых военачальников, как лютеран и кальвинистов, так и папистов и арминиан.

Переговорив со своими спутниками, молодой предводитель сказал:

— Я охотно побеседую с вами, сэр, относительно столь животрепещущего вопроса и буду весьма рад, если мне удастся склонить вас в пользу того дела, которому я сам служу. Сейчас я направляюсь к одному из своих друзей, дом которого находится примерно в трех милях отсюда; если вы согласитесь сопровождать меня, вы найдете там удобный ночлег. А наутро никто не помешает вам продолжать путь, если вы не соизволите присоединиться к нам.

— А кто может мне в этом поручиться? — спросил осторожный воин.— Человек должен знать, с кем он имеет дело, иначе он легко может попасть впросак.

— Я граф Ментейт,— отвечал молодой вельможа,— и я надеюсь, что моя честь может служить достаточной порукой.

— Слову дворянина, носящего такое громкое имя, можно верить,— отвечал воин. Одним движением он перекинул мушкетон за спину, по-военному отдал честь молодому графу и, продолжая разговаривать, подъехал к нему ближе.— Надеюсь,— сказал он,— что мои собственные заверения в том, что я останусь добрым товарищем — bon camarado — вашей светлости как при мирных обстоятельствах, так и в минуту опасности, не будут отвергнуты с пренебрежением в эти тревожные времена, когда, как говорится, голове надежнее быть в стальном шлеме, чем в мраморном дворце.

— Уверяю вас, сэр,— отвечал лорд Ментейт,— что, глядя на вас, я вполне могу оценить, как приятно находиться под вашей охраной; но я надеюсь, что вам на сей раз не придется проявлять вашу доблесть, ибо в доме, куда я намерен доставить вас, нас ожидает радушный и дружеский прием и хороший ночлег.

— Хороший ночлег, милорд, всегда является желанным,— заметил воин,— и выше его, пожалуй, можно поставить только хорошее жалованье или хорошую добычу, не говоря уже, конечно, о дворянской чести или выполнении воинского долга. И сказать по правде, милорд, ваше великодушное предложение мне тем более по сердцу, что я не знал, где мне с моим бедным товарищем (тут он потрепал по шее своего коня) найти пристанище на эту ночь.

— В таком случае разрешите узнать,— спросил лорд Ментейт,— кому мне посчастливилось служить квартирмейстером?

— Извольте, милорд,— отвечал воин.— Мое имя — Дальгетти, Дугалд Дальгетти, ритмейстер Дугалд Дальгетти из Драмсуэкита, к услугам вашей светлости. Это имя вам могло встретиться на страницах «Gallo Belgicus» [1], или в «Шведском вестнике», или, если вы читаете по-голландски, в «Fliegenden Mercoeur» [2], издаваемом в Лейпциге. Родитель мой своей расточительностью довел наше прекрасное родовое поместье до полного разорения, и к восемнадцати годам мне больше ничего не оставалось, как переправить свою ученость, приобретенную в эбердинском духовном училище, свою благородную кровь и дворянское звание да пару здоровых рук и ног в Германию, чтобы в ратном деле искать счастья и пробивать себе дорогу в жизнь. Да будет вам известно, милорд, что мои руки и ноги пригодились мне куда более, нежели знатный род и книжная премудрость. И пришлось же мне потаскаться с пикой, когда я служил простым солдатом под началом сэра Людовика Лесли! Тогда я так крепко затвердил воинский устав, что до самой смерти не забуду! Бывало, сэр, выстаиваешь в трескучий мороз по восьми часов в сутки — с полудня до восьми часов вечера — в карауле у дворца, в полном вооружении: в стальных латах, шлеме и рукавицах; и все это лишь за то, что я, проболтав лишнюю минутку с квартирной хозяйкой, опоздал на перекличку.

— Однако, сэр,— возразил лорд Ментейт,— вам, без сомнения, доводилось бывать и в жарком деле, а не только нести службу на морозе, как вы изволите рассказывать?

---

[1] «Галло-Бельгийского листка» *(лат.)*.

[2] «Летучем Меркурии» *(голл.)*.

— Об этом, милорд, мне самому не пристало говорить, но тот, кто дрался под Лейпцигом и под Лютценом, может сказать, что он побывал в бою; тот, кто был свидетелем взятия Франкфурта, Шпангейма, и Нюрнберга, и прочих городов, имеет кое-какое понятие об осадах, штурмах, атаках и вылазках.

— Но ваши труды и ваши заслуги, сэр, были, без сомнения, должным образом вознаграждены повышением по службе.

— Не скоро, милорд, не скоро! — отвечал Дальгетти.— Но по мере того как редели ряды наших славных соотечественников и старые воины, предводители доблестных шотландских полков, слывших грозой Германии, погибали один за другим — кто от чумы, кто на поле брани,— мы, их питомцы, по наследству занимали освободившиеся места. Я, сэр, прослужил шесть лет рядовым в дворянской роте и три года копьеносцем; от алебарды я отказался, считая это ниже своего дворянского достоинства, и, наконец, был произведен в прапорщики лейб-гвардии королевской Черной конницы. После этого я дослужился до чина лейтенанта, а затем ритмейстера под начальством непобедимого монарха, оплота протестантской веры, Северного Льва, грозы австрийцев, победоносного Густава-Адольфа.

— Насколько я вас понимаю, капитан Дальгетти... Кажется, этот чин соответствует иноземному званию ритмейстера?

— Совершенно верно,— отвечал Дальгетти,— ритмейстер означает командир отряда.

— Так вот,— продолжал лорд Ментейт,— если я вас правильно понял, вы все же оставили службу у этого великого государя?

— После его смерти,— возразил Дальгетти,— только после его смерти, милорд, когда долг уже больше не удерживал меня в рядах его войска. Признаюсь вам откровенно, милорд, в этом войске было многое, что не так-то легко переварить благородному воину. Жалованье ритмейстеру, к примеру, полагается не бог весть какое, всего каких-нибудь шестьдесят талеров в месяц; однако непобедимый Густав никогда, бывало, не выплачивал более одной трети этой суммы, да и та выдавалась в виде ссуды; хотя — если считать по справедливости — сам великий монарх, в сущности, брал у нас взаймы остальные две трети. И мне случалось быть свидетелем того, как целые полки немцев и голштинцев поднимали бунт на поле сражения и, точно какие-нибудь конюхи, орали: «Гельд, гельд!» — что означало

требование денег,— вместо того чтобы бросаться в бой, как это делали наши молодцы, отважные шотландцы, которые никогда не роняли своей чести ради презренной корысти.

— Но разве солдатам не выплачивали долг в установленные сроки? — спросил лорд Ментейт.

— Могу заверить вас честью, милорд,— отвечал Дальгетти,— что ни в какие сроки и никаким образом ни один крейцер не был нам возмещен! Лично я никогда не имел в кармане и двадцати талеров за все время службы у непобедимого Густава; разве что посчастливится во время штурма, при взятии города или селения, когда доблестный воин, хорошо знакомый с правилами ведения войны, всегда найдет случай поживиться.

— Я скорее удивляюсь тому, что вы так долго прослужили в шведских войсках, сэр,— сказал лорд Ментейт,— нежели тому, что вы в конце концов оставили эту службу.

— И вы совершенно правы, сэр,— отвечал капитан,— но этот великий король и полководец, Северный Лев и оплот протестантской веры, так ловко выигрывал сраженья, брал города, захватывал страны и взимал контрибуции, что служить под его началом было истинным наслаждением для каждого дворянина, избравшего благородное ремесло воина. Я сам, милорд, был комендантом целого Дункельшпильского графства на Нижнем Рейне, жил во дворце пфальцграфа, распивал с товарищами лучшие вина из его погреба, взимал контрибуции, производил реквизации и получал доходы, не забывая облизывать пальчики, как полагается всякому доброму повару. Но, увы, все это пошло прахом, как только наш великий полководец, сраженный тремя пулями, пал под Лютценом. Убедившись, что колесо фортуны повернулось в другую сторону, что займы и ссуды попрежнему идут из нашего жалованья, а все случайные источники доходов иссякли, я подал в отставку и перешел на службу к Валленштейну, поступив в ирландский полк Уолтера Батлера.

— А позвольте узнать,— спросил лорд Ментейт, видимо заинтересованный рассказом доблестного воина,— как вам понравилось служить новому господину?

— Весьма понравилось,— отвечал капитан,— весьма! Не могу сказать, чтобы император платил лучше великого Густава. И колотили нас изрядно. Мне не раз приходилось на собственной шкуре испытывать хорошо знакомые мне шведские перышки; ваша светлость должны знать, что это не что иное, как раздвоенные заостренные колья с железными наконечниками,

выставляемые впереди отряда, вооруженного пиками, для защиты от натиска конницы. Эти самые шведские перышки хоть и выглядят очень красиво и напоминают кустарник или подлесок, а мощные пики, выстроенные в боевом порядке позади них, похожи на высокие сосны в лесной чаще,— далеко не так приятны на ощупь, как гусиные перья. Однако, несмотря на тяжелые удары и легковесное жалованье, доблестный воин может преуспеть на службе у императора, ибо там к его случайной наживе не так придираются, как в шведской армии. И если офицер исправно выполняет свой долг на поле сражения, то ни Валленштейн, ни Паппенгейм, ни блаженной памяти старик Тилли не стали бы выслушивать жалобы поселян или бюргеров на поведение солдат или их командира, ежели бы те позволили себе обобрать их до нитки. Так что опытный воин, умеющий, как говорят у нас в Шотландии, «приложить голову свиньи к хвосту поросенка», может высосать из населения все то, что ему недоплачивает император.

— Все сполна, конечно, да еще с лихвой,— заметил лорд Ментейт.

— Без сомнения, милорд,— подтвердил Дальгетти с достоинством,— ибо вдвойне позорно было бы для воина-дворянина, если бы он запятнал свое доброе имя из-за безделицы.

— Скажите, пожалуйста, сэр,— продолжал лорд Ментейт,— что же, собственно, заставило вас покинуть столь выгодную службу?

— А вот что, сэр,— отвечал воин.— Был у нас в полку ирландец, майор О'Киллигэн, и как-то вечером мы крепко поспорили с ним о том, кто лучше и более достоин уважения — шотландцы или ирландцы. Наутро он вздумал отдавать мне приказания, держа жезл на отлете и концом вверх, вместо того чтобы опустить его концом вниз, как это подобает офицеру, когда он говорит с подчиненным, равным ему по званию, хотя бы и младшим по должности. По сему случаю мы дрались на дуэли; а так как после дознания наш полковник Уолтер Батлер изволил подвергнуть своего соотечественника более легкому взысканию, нежели меня, то я, оскорбленный этой несправедливостью, вышел в отставку и перешел на службу к испанцам.

— Надеюсь, эта перемена оказалась для вас к лучшему? — спросил лорд Ментейт.

— Сказать по правде,— отвечал ритмейстер,— сетовать мне не приходилось. Жалованье нам выдавали довольно аккуратно, благо деньги поставлялись богатыми фламандцами и валлонами

из Нидерландов. Постой был отличный, фламандские пшеничные булки куда вкуснее ржаного шведского хлеба, а рейнское вино мы имели в таком изобилии, в каком, бывало, я не видывал и черного ростокского пива в лагере Густава. Сражений не было, обязанностей было немного, да и те — хочешь выполняй, хочешь нет, как угодно. Отличное житье для воина, несколько утомленного походами и битвами, стяжавшего ценой собственной крови достаточную славу, чтобы иметь право отдохнуть и пожить в свое удовольствие.

— А нельзя ли узнать,— снова спросил лорд Ментейт,— почему вы, находясь в столь завидном — судя по вашим словам — положении, все же покинули службу в испанских войсках?

— Примите во внимание, милорд,— ответил капитан Дальгетти,— что испанцы спесивы сверх всякой меры и отнюдь не умеют ценить по заслугам благородного иностранца, который соблаговолил служить в их рядах. А ведь любому честному воину обидно, ежели его затирают и обходят по службе, отдавая предпочтение какому-нибудь надутому сеньору, который, когда дело коснется того, чтобы первым броситься в атаку с копьем наперевес, охотно пропустит вперед шотландца! Кроме того, сэр, у меня совесть была неспокойна в отношении религии.

— Я никак не думал, капитан Дальгетти,— заметил граф Ментейт,— что старый воин, столько раз менявший службу, может быть особенно щепетилен в этом вопросе.

— Да я, милорд, вовсе и не щепетилен,— сказал капитан,— ибо я полагаю, что решать подобные вопросы как за меня, так и за любого храброго воина входит в обязанности полкового священника, тем более что, насколько мне известно, и делать-то ему больше нечего, а жалованье и довольствие он как-никак получает. Но тут был особый случай, милорд,— так сказать, casus improvisus [1], когда возле меня не было священника моего вероисповедания, который мог бы дать мне добрый совет. Короче говоря, я вскоре убедился, что, хотя на мою принадлежность к протестантской церкви и смотрели сквозь пальцы, ибо я хорошо знал свое дело и в военных вопросах был опытнее всех донов нашего полка, вместе взятых,— однако, когда мы стояли гарнизоном, от меня требовалось, чтобы я вместе со всеми ходил к обедне. А я, милорд, как истый шотландец, притом же воспитанник эбердинского духовного училища, при-

[1] Непредвиденный случай *(лат.)*.

вык считать обедню худшим примером папизма, слепого идолопоклонства и не желал потворствовать этому своим присутствием. Правда, я посоветовался со своим почтенным соотечественником, неким отцом Фэйтсайдом из шотландского монастыря в Вюрцбурге...

— И я надеюсь,— заметил лорд Ментейт,— что вы получили точные разъяснения у этого святого отца?

— Как нельзя более точные,— отвечал капитан Дальгетти,— принимая во внимание, что мы с ним распили добрую полдюжину рейнского и опорожнили около двух кувшинов киршвассера. Отец Фэтсайд объявил мне, что, по его разумению, для такого закоренелого еретика, как я, уже все едино — ходить или не ходить к обедне, ибо я и без того обречен на вечную погибель, как нераскаявшийся грешник, упорствующий в своей преступной ереси. Несколько смущенный таким ответом, я обратился к голландскому пастору реформатской церкви, и тот сказал, что, по его мнению, религия не запрещает мне ходить к обедне, ибо пророк разрешил Нееману, могущественному вельможе, военачальнику сирийскому, сопровождать своего повелителя в храм Риммона, языческого бога, сиречь идола, и поклониться ему, когда царь обопрется на его руку. Но и этот ответ не удовлетворил меня, прежде всего потому, что нельзя же все-таки равнять помазанного царя Сирии с нашим испанским полковником, которого я мог бы сбить с ног одним щелчком, а главное, я не нашел ни в одной статье воинского устава указаний на то, что я обязан ходить к обедне; кроме того, мне не было предложено никакого возмещения, ни в виде дополнительного жалованья, ни в виде особого вознаграждения, за ущерб, который я нанес бы своей душе.

— Так что вы опять переменили службу? — спросил Ментейт.

— Ваша правда, милорд. И, после нескольких кратковременных попыток послужить двум-трем другим государям, я даже одно время состоял на службе у голландцев.

— И что же, эта служба пришлась вам по вкусу?

— Ах, милорд! — воскликнул воин.— Поведение голландцев в дни платежа должно бы служить примером для всей Европы! Тут уж ни займов, ни ссуд, ни проволочек, ни обмана: все точно рассчитано и выплачено, как в банке. Квартиры отличные, довольствие превосходное; но уж зато, сэр, голландцы — народ аккуратный, щепетильный, ничем не дадут поживиться! Так что уж если какой-нибудь простолюдин пожалуется на пробитый череп или кабатчик — на разбитый кувшин, а глу-

пая девчонка запищит чуть погромче, честного воина притянут к ответу, да не перед своим военным судом, который мог бы разобраться в его проступке и наложить должное взыскание, а перед каким-нибудь бургомистром из ремесленников низкого звания, а тот начнет угрожать тюрьмой, виселицей и еще невесть чем, как будто бы он имеет дело с одним из своих презренных толстопузых мужланов. Никак я не мог ужиться с этими неблагодарными плебеями; они хоть и не могут собственными силами защищать свою страну, однако не дают благородному иностранцу, состоящему у них на службе, ничего, кроме скудного жалованья. А кто же, знающий себе цену, не предпочтет такому порядку привольное житье и почтительное обращение? Вот я и решил расстаться с мингерами. А тут прослышал я, к великой моей радости, что нынче летом найдется мне дело по душе в моих родных краях,— вот я и явился сюда, как говорится, словно нищий на брачный пир, дабы предложить моим возлюбленным соотечественникам свой многолетний боевой опыт, добытый в чужих странах. Теперь ваша светлость знает вкратце историю моей жизни, за исключением деяний, совершенных мной на поле брани, при осадах, штурмах и атаках, но о них скучно рассказывать, да и, пожалуй, приличнее было бы вам услышать об этом из других уст, нежели из моих собственных.

## ГЛАВА III

Министрам толковать законы надо...
Бой — жребий мой, а хлеб — моя награда.
Ландскнехт одно лишь знает на войне:
Кто платит вдвое, тот и прав вдвойне.

*Донн*

Тропинка постепенно становилась все у́же и продвижение по ней все затруднительнее, так что разговор между обоими спутниками сам собой оборвался, и лорд Ментейт, придержав лошадь, стал тихо переговариваться со своими слугами. Капитан Дальгетти, очутившись теперь впереди маленького отряда, медленно и с большим трудом взбирался по крутому и каменистому склону; проехав с четверть мили, они наконец достигли высокогорной долины, орошаемой стремительным потоком; зеленеющие свежей травой отлогие берега были достаточно широки, и всадники продолжали путь конь о конь.

Лорд Ментейт не замедлил возобновить прерванную беседу.

— Мне думается,— сказал он, обращаясь к капитану Дальгетти,— что благородный кавалер, столь долгое время сопровождавший доблестного шведского короля в его походах и питающий вполне понятное презрение к голландским штатам жалких ремесленников, должен был бы, не задумываясь, принять сторону короля Карла, отдав ему предпочтение перед теми худородными круглоголовыми ханжами и негодяями, которые взбунтовались против его власти.

— Вы рассуждаете логично, милорд,— отвечал Дальгетти,— и caeteris paribus[1] я, пожалуй, был бы склонен взглянуть на это дело вашими глазами. Но у нас на юге есть хорошая поговорка: «Словами репу не подмаслишь». Возвратившись на родину, я понаслушался разных разговоров и убедился в том, что честный воин может свободно принять в этой междоусобной войне ту сторону, которая покажется ему наиболее выгодной. «Верность престолу»,— говорите вы, милорд. «Свобода!» — кричат по ту сторону предгорья. «За короля!» — орут одни. «За парламент!» — ревут другие. «Да здравствует Монтроз!» — провозглашает Доналд, подбрасывая вверх свою шапочку. «Многие лета Аргайлу и Ливену!» — кричит Сондерс на юге, размахивая шляпой с пером. «Сражайся за епископов!» — подстрекает священник в стихаре и мантии. «Твердо стой за пресвитерианскую церковь!» — восклицает пастор в кальвинистской шапочке и белом воротнике. Все это хорошие слова, прекрасные слова! Но чья сторона лучше — не могу решить. Одно могу сказать, что мне частенько приходилось драться по колено в крови за дела и похуже...

— В таком случае, капитан Дальгетти,— промолвил граф,— если вам кажется, что обе стороны правы, не будете ли вы так любезны сообщить нам, чем вы намерены руководствоваться при окончательном выборе?

— Два соображения решат дело, милорд,— отвечал капитан.— Во-первых, которая из двух сторон будет более нуждаться в моих услугах; а во-вторых — и это условие вытекает из первого,— которая из двух сторон лучше вознаградит меня за мои услуги. Откровенно говоря, милорд, в настоящее время оба эти соображения скорее склоняют меня на сторону парламента.

— Прошу вас объяснить, какие причины заставляют вас так думать,— возразил лорд Ментейт,— и, может быть,

---

[1] При прочих равных условиях *(лат.)*.

мне удастся выставить против них более веские доказательства.

— Сэр,— начал капитан Дальгетти,— я не буду глух к вашим уговорам, если это окажется совместимо с моей честью и личной выгодой. Дело в том, милорд, что в этих диких горах собирается, или уже собрался, большой отряд шотландских горцев, сторонников короля. А вам, сэр, хорошо известны нравы наших горцев. Я не отрицаю, что это народ крепкий телом и стойкий духом, который умеет хорошо сражаться на свой лад; но они воюют как дикари и о настоящей военной тактике и дисциплине знают не больше, чем древние скифы или американские индейцы нашего времени. Они и понятия не имеют о том, что такое немецкий рожок или барабан, как поют сигналы: «В поход!», «Тревога!», «На приступ!», «Отбой!», или играют утреннюю или вечернюю зорю, или отдают еще какую-нибудь команду; а звуки их проклятой скрипучей волынки, которые они сами якобы отлично понимают, совершенно непостижимы для слуха испытанного воина, привыкшего воевать по всем правилам военного искусства. Стало быть, вздумай я командовать этой ордой головорезов в юбках, никто бы меня не понял, а хоть бы и поняли,— судите сами, милорд, могу ли я рассчитывать на послушание этих полудиких горцев, которые привыкли почитать своих танов и предводителей, выполнять их волю и не желают повиноваться военному начальству? Если бы я, к примеру, стал их учить строиться в каре, то есть становиться в шеренги так, чтобы число людей в каждом ряду соответствовало квадратному корню всего числа людей,— что мог бы я ожидать в награду за сообщение столь драгоценной тайны военной тактики, кроме удара кинжалом в живот за то, что поместил какого-нибудь Мак-Элистера Мора, Мак-Шимея или Капперфэ на фланге или в арьергарде, тогда как он желает находиться в авангарде? Поистине, хорошо сказано в Священном писании: «Не мечи бисера перед свиньями, ибо они обратятся на тебя и растерзают тебя».

— Я полагаю, Андерсон,— обратился лорд Ментейт к одному из своих слуг, ехавших за ним следом,— вам нетрудно будет убедить этого джентльмена в том, что мы нуждаемся в опытных офицерах и гораздо более склонны воспользоваться их знаниями, нежели он, по-видимому, предполагает.

— С вашего позволения,— проговорил Андерсон, почтительно приподняв шапку,— когда подоспеет ирландская пехота, которую мы поджидаем и которая, вероятно, уже высадилась в

Западной Шотландии, нам понадобятся опытные воины для обучения новобранцев.

— Что же, я рад, весьма рад послужить у вас,— заявил Дальгетти.— Ирландцы — славные ребята, лучше и не надо на поле сражения! Однажды, при взятии Франкфурта-на-Одере, мне довелось видеть отряд ирландцев; он один выдержал натиск врага и, действуя мечом и копьем, отбил два шведских полка, желтый и голубой, из числа наиболее стойких, сражавшихся под знаменами бессмертного Густава. И хотя храбрый Хепберн, отважный Ламсдейл, бесстрашный Монро и другие начальники прорвались в город в другом месте, но если бы мы повсюду встретили подобное сопротивление, то нам пришлось бы отступить с большими потерями и малым успехом. Вот почему эти отважные ирландцы, хоть и были, как водится, преданы смерти все до единого, все же заслужили бессмертную славу и почет. И вот ради них я люблю и уважаю всех, принадлежащих к этой нации, которую почитаю первой после моих соотечественников — шотландцев.

— Думаю, что почти наверное могу обещать вам службу офицера в ирландской армии,— сказал Ментейт,— если вы согласитесь принять сторону короля.

— Однако,— возразил капитан Дальгетти,— второй и наиболее существенный вопрос еще ждет ответа; ибо, хотя я и считаю, что не пристало воину говорить лишь о презренных деньгах и о жалованье, как это делают подлые наемники, немецкие ландскнехты, о которых я уже имел случай упоминать, и хотя я с мечом в руках готов доказать, что почитаю честь выше любого жалованья, вольного постоя и легкой наживы,— однако, contrario [1], поскольку солдатское жалованье есть вознаграждение за его службу, благоразумному и осмотрительному воину надлежит заранее удостовериться, какую мзду он получит за свои труды и из каких средств она будет выплачиваться. И поистине, милорд, по всему, что я здесь видел и слышал, мне ясно, что мошна-то в руках парламента. Горцев, пожалуй, легко ублаготворить, если разрешить им угонять скот; что касается ирландцев, то ваша светлость и ваши благородные союзники могут, конечно, по старому военному обычаю, выплачивать им жалованье так редко и в таком малом размере, как вам заблагорассудится. Однако такой способ оплаты неприменим к благородному кавалеру, коим являюсь, к примеру, я, ибо мы должны

[1] С другой стороны *(лат.)*.

содержать своих лошадей, слуг, оружие, снаряжение и не можем, да и не хотим, идти воевать за свой счет.

Андерсон — слуга, который уже и раньше вступал в разговор,— почтительно обратился к своему господину.

— Я полагаю, милорд,— сказал он,— что, с вашего разрешения, я мог бы кое-что сообщить капитану Дальгетти, что помогло бы рассеять его второе сомнение так же легко, как и первое. Он спрашивает нас, где мы достанем денег для выплаты жалованья; но, по моему скромному разумению, источники богатств открыты для нас так же, как и для пресвитериан. Они облагают страну налогами по своему усмотрению и расхищают имущество друзей короля; нагрянув на южную часть страны во главе наших горцев и ирландской пехоты, мы найдем немало разжиревших предателей; награбленное ими добро пополнит нашу военную казну и пойдет на уплату жалованья нашему войску. Кроме того, начнутся конфискации, и король, жалуя конфискованные поместья отважным воинам, сражающимся под его знаменами, наградит своих друзей и заодно накажет своих врагов. Короче говоря, тот, кто присоединится к круглоголовым псам, будет получать грошовое жалованье, а тот, кто станет под наши знамена, может надеяться на титул рыцаря, барона или графа, если посчастливится.

— Вы когда-нибудь служили, любезный друг? — спросил капитан Дальгетти, обращаясь к Андерсону.

— Недолго, сэр, только во время наших междоусобиц,— скромно отвечал тот.

— И никогда не служили ни в Германии, ни в Нидерландах? — продолжал Дальгетти.

— Не имел чести,— отвечал Андерсон.

— Должен признать, что слуга вашей светлости обнаруживает весьма здравый, разумный взгляд на военное дело,— заметил Дальгетти, обращаясь к лорду Ментейту.— Правда, то, что он предлагает, несколько не по правилам и сильно смахивает на шкуру неубитого медведя. Однако я приму его слова к сведению.

— И хорошо сделаете,— сказал лорд Ментейт.— У вас впереди целая ночь для размышлений, ибо мы уже приближаемся к дому, где, ручаюсь, вас ожидает радушный прием.

— А это сейчас будет весьма кстати,— отвечал капитан,— ибо у меня еще ничего не было во рту со вчерашнего утра, кроме простой овсяной лепешки, да и ту мне пришлось разделить с моим конем. Я так отощал, что даже вынужден был затянуть пояс потуже, опасаясь, как бы он не соскользнул с меня!

## ГЛАВА IV

Когда-то (их не встретишь ныне!)
Бродили горцы здесь в долине.
Был каждый ловок, крепко сбит,
При нем кинжал, палаш и щит.
В штанах коротких щеголяя,
Бродили в Лохэбере, в Скае,
Накинув плед, надев берет...
Вы знали их? Хорош портрет?

*Местон*

Разговаривая таким образом, путники подъехали к холму, поросшему старым пихтовым лесом. Верхние обнаженные ветви самых высоких деревьев вырисовывались на фоне вечернего неба, пламенея в лучах заходящего солнца. В самой чаще леса высились башни, вернее сказать — печные трубы господского дома, называемого замком, куда держали путь наши всадники.

По обычаю того времени, дом состоял из двух узких строений под островерхой крышей, пересекающихся крест-накрест под прямым углом. Две сторожевые вышки и башенки по углам крыши, сильно напоминающие перечницы, давали усадьбе право именоваться замком Дарнлинварах. Главное здание и прилежащие к нему службы были обнесены низкой каменной оградой.

Приблизившись, путники заметили, что обитателями замка были приняты меры предосторожности, необходимые в столь смутные и тревожные времена: в стенах и в каменной ограде были пробиты новые бойницы; на окнах появились перекрещивающиеся железные прутья, похожие на тюремные решетки. Ворота во двор были заперты на все засовы, и лишь после долгих переговоров одна из створок открылась, и перед путниками появилось двое слуг, здоровенных горцев, вооруженных с ног до головы и готовых, подобно Битию и Пандору в «Энеиде», преградить путь любому опасному пришельцу.

Когда путешественников наконец впустили во двор, они увидели еще новые приготовления к обороне: вокруг стен шли подмостки для мушкетонов, а несколько легких пушек, так называемых фальконетов, были размещены в угловых и боковых башнях.

Толпа слуг в национальной шотландской одежде тотчас же выбежала из дому; одни бросились принимать у приехавших лошадей, другие выстроились у входа, готовые проводить гостей во внутренние покои. Однако капитан Дальгетти отказался от

всех предложенных ему услуг и пожелал самолично позаботиться о своем коне.

— Таков уж мой обычай, друзья мои,— всегда самому ставить в конюшню моего Густава (ибо это имя я дал ему в честь моего непобедимого военачальника). Мы старые друзья и боевые товарищи, и так же как мне служат его ноги, ему служит мой язык, требуя для него то, в чем он нуждается.— С этими словами капитан Дальгетти без дальнейших церемоний проследовал в конюшню за своим скакуном.

Ни лорд Ментейт, ни его спутники не оказали подобного внимания своим коням и, поручив их заботам прислуги, вошли в дом. Здесь, в темных сводчатых сенях, в числе прочей разнородной утвари красовалась огромная бочка дешевого пива, а около нее стояло несколько деревянных не то ковшей, не то чарок с двумя ручками, словно приглашая всех, кто пожелает, воспользоваться ими. Лорд Ментейт без всяких церемоний вынул из бочки втулку, напился сам и передал чарку Андерсону, который последовал примеру своего господина, предварительно выплеснув, однако, остатки пива из чарки и слегка ополоснув ее.

— Кой черт! — возмутился старый слуга-горец.— Он, видите ли, не может пить после своего хозяина, не вымыв чашки и не расплескав пива. Пропади ты пропадом!

— Я вырос во Франции,— отвечал Андерсон,— а там ни один человек не станет пить из чашки после другого, разве только после молодой женщины.

— А ну их к черту, выдумают тоже! — сказал Доналд.— А по мне, если пиво доброе, не все ли тебе равно, чьи усы побывают в чашке раньше твоих?

Товарищ Андерсона выпил пиво, не соблюдая церемоний, столь возмутивших Доналда, и оба они последовали за своим господином в зал с низкими каменными сводами, служивший, по обычаю шотландских знатных семейств, местом сбора для всех обитателей замка. Там было полутемно — тусклый свет исходил только от огромного очага в дальнем углу, где тлели куски торфа; из-за пронизывающей сырости зал отапливали даже в летние месяцы. Два-три десятка щитов, столько же шотландских палашей и кинжалов, пледы, кремневые ружья, мушкеты, луки и арбалеты, секиры, посеребренные латы, стальные шлемы и шишаки, старинные кольчуги — рубашки из металлической сетки с такими же капюшонами и рукавами — все это вперемежку висело по стенам и могло бы в течение целого месяца служить развлечением любому члену наших обществ любителей

старины. Но в те времена подобные предметы были слишком привычны, чтобы привлекать внимание посетителей замка.

Посреди зала стоял громоздкий дубовый стол, на котором Доналд с почтительным радушием поспешил расставить предназначавшееся для лорда Ментейта угощение, состоявшее из молока, масла, козьего сыра, кувшина пива и фляги шафранной водки, между тем как младший по должности слуга готовил такую же закуску на нижнем конце стола — для спутников приезжего гостя. Расстояние между верхним и нижним концом стола считалось, по понятиям того времени, достаточной дистанцией между господином и слугой, даже если первый и принадлежал, как граф Ментейт, к знатному роду. Во время этих приготовлений гости отогревались у огня: молодой граф стоял у самого очага, а слуги — на некотором расстоянии от него.

— Что вы скажете о нашем спутнике, Андерсон? — обратился лорд Ментейт к своему слуге.

— Малый хоть куда,— ответил Андерсон,— если правда все то, что он о себе рассказывает. Неплохо бы нам иметь десятка два таких молодцов, чтобы хоть как-нибудь обтесать наших ирландцев.

— Я держусь иного мнения, Андерсон,— возразил лорд Ментейт.— Я полагаю, что этот Дальгетти — одна из тех ненасытных пиявок, которые, насосавшись крови в чужих странах, возвращаются на родину, чтобы упиться кровью своих соотечественников. Стыд и позор всей этой своре продажных вояк! Они на всю Европу ославили шотландцев, этим именем называют теперь презренных наемников, которые не знают ни чести, ни убеждений, а только свое месячное жалованье и готовы изменить любому знамени по воле случая или ради более высокой платы; их жадности и корыстолюбию, их погоне за чужим добром и беспечной жизнью мы в немалой доле обязаны той междоусобной войной, которая заставляет нас обратить наши мечи против своих же собратьев. У меня едва хватило терпения слушать болтовню этого наемного гладиатора, хотя вместе с тем я с трудом удерживался от смеха над его беспримерной наглостью!

— Прошу прощения, ваша светлость,— сказал Андерсон,— но я позволю себе посоветовать вам при теперешних обстоятельствах умерить порывы вашего благородного негодования: мы, к сожалению, не можем осуществить своих намерений без помощи тех, кто движим более низкими побуждениями, нежели наши. Мы не можем отказаться от услуг таких молодцов, как наш при-

ятель — капитан Дальгетти. Изъясняясь библейским слогом святош из английского парламента, мы говорим: «Сыны Зеруаха еще слишком опасны для нас».

— Стало быть, мне и впредь придется притворяться,— сказал лорд Ментейт,— как я делал это до сих пор, поняв ваш намек. Но я с удовольствием послал бы этого молодца ко всем чертям!

— Да, милорд,— заключил Андерсон,— помните, что укус скорпиона лечат, приложив к ранке другого, раздавленного скорпиона. Но тише... Нас могут услышать.

Одна из дверей зала отворилась, и на пороге показался рослый мужчина, чья гордая осанка и уверенная поступь, равно как его одежда и орлиное перо на шапочке, изобличали человека высокого звания. Он медленно подошел к столу, не обращая внимания на Ментейта, который поздоровался с ним, назвав его Алланом.

— Не нужно сейчас с ним заговаривать,— шепнул графу старый слуга.

Вошедший сел на пустую скамью перед очагом и, вперив неподвижный взгляд в рдеющие угли, погрузился в глубокое раздумье. Его мрачный взгляд, дикое и исступленное выражение лица выдавали в нем человека, который так поглощен собственными мыслями, что не замечает окружающего. Будь это житель Нижней Шотландии, такая угрюмая суровость — быть может, следствие уединенной и аскетической жизни — могла бы быть приписана религиозному фанатизму; но шотландские горцы редко страдали этим духовным недугом, столь распространенным в ту пору среди англичан и обитателей Нижней Шотландии. Впрочем, и у горцев были свои предрассудки, затуманивавшие их разум нелепыми бреднями так же сильно, как пуританство затуманивало умы их соседей.

— Ваша милость,— повторил старый слуга, приблизившись к лорду Ментейту и говоря еле слышным шепотом,— вам лучше сейчас не обращаться к Аллану — рассудок его помрачен.

Лорд Ментейт кивнул головой и уже больше не делал попыток заговорить с молчаливым хозяином.

— Не сказал ли я,— внезапно произнес последний, выпрямившись во весь рост и пристально глядя на старого слугу,— не сказал ли я, что прибудут четверо? А здесь их только трое.

— Верно, так ты сказал, Аллан,— отвечал старый горец,— и четвертый уже идет сюда из конюшни, громыхая железом. Он точно краб в скорлупе — и грудь, и спина, и бедра, и ноги у

него в латах. А куда прикажешь посадить его — подле Ментейта или на нижнем конце стола, рядом с его почтенными слугами?

Лорд Ментейт сам ответил на этот вопрос, указав на стул рядом с собой.

— А вот и он,— объявил Доналд, увидев входящего в зал капитана Дальгетти.— Надеюсь, в ожидании более сытной трапезы, господа не откажутся закусить хлебом и сыром. Как только хозяин со своими гостями, прибывшими из Англии, вернется с охоты, наш повар Дугалд угостит вас жареной козлятиной и дикой олениной.

Между тем капитан Дальгетти вошел в комнату и, подойдя прямо к стулу, стоявшему рядом со стулом лорда Ментейта, облокотился на спинку. Андерсон и его товарищ почтительно ожидали в конце стола разрешения занять свои места; трое или четверо горцев, под надзором старого Доналда, сновали взад и вперед, расставляя на столе принесенные яства, или стояли за стульями гостей, ожидая приказаний.

В самый разгар этих приготовлений Аллан внезапно вскочил с места и, выхватив из рук слуги светильник, поднес его к самому лицу Дальгетти, сурово и внимательно разглядывая его.

— Вот уж поистине,— промолвил Дальгетти с некоторой досадой, когда Аллан, молча покачав головой, прекратил свой осмотр,— мы с этим молодцом, надо думать, сразу узнаем друг друга, доведись нам снова встретиться!

Тем временем Аллан решительным шагом направился к нижнему концу стола и, осветив лицо Андерсона и его товарища, подверг их столь же тщательному осмотру. Постояв с минуту в глубоком раздумье, он потер рукой лоб, потом вдруг схватил Андерсона за руку и, прежде чем тот успел оказать малейшее сопротивление, повел — вернее, потащил — его к свободному месту на верхнем конце стола. Молча указав Андерсону на пустой стул, Аллан с той же стремительностью повлек капитана Дальгетти к противоположному концу стола. Капитан, взбешенный такой вольностью обращения, попытался оттолкнуть Аллана; но, несмотря на свое богатырское сложение, он оказался слабее исполина-горца, и тот с такой силой отбросил его, что капитан отлетел на несколько шагов и растянулся во весь рост, огласив каменные своды грохотом своих доспехов. Поднявшись на ноги, он прежде всего выхватил меч и бросился на Аллана, который, скрестив на груди руки, ожидал его нападения с презрительным равнодушием. Лорд Ментейт и его

спутники поспешили стать между противниками, стараясь успокоить их, тогда как слуги замка, сорвав со стен оружие, уже готовились принять участие в схватке.

— Он не в своем уме,— прошептал Ментейт на ухо капитану,— совсем помешанный, нет никакого смысла вступать с ним в ссору.

— Если ваша светлость ручается за то, что он non compos mentis [1],— отвечал Дальгетти,— что, впрочем, вполне подтверждается его обращением и поступками, то дело должно на этом кончиться, ибо безумец не может ни нанести обиды, ни дать удовлетворения на поле чести. Но могу вас заверить, если бы я уже успел подкрепиться и пропустить бутылочку рейнского, я бы так легко не поддался ему. И, право, жаль, что он слаб рассудком, будучи таким дюжим молодцом, который должен отлично владеть копьем, моргенштерном [2] или любым иным оружием.

Итак, мир был восстановлен, и гости уселись за стол в прежнем порядке, уже более не нарушаемом Алланом, который вернулся на скамью у очага и вновь погрузился в свои думы. Лорд Ментейт, обратившись к старейшему из слуг, поспешил завести с ним беседу, чтобы сгладить впечатление от недавнего происшествия.

— Ты говоришь, Доналд, что твой господин отправился в горы и вместе с ним приезжие англичане?

— Именно так, как ваша милость изволит говорить; он охотится в горах, и с ним два англичанина, один из них — сэр Майлс Масгрейв, другой — Кристофер Холл, оба из Камрайка,— так, кажется, они назвали свою местность.

— Холл и Масгрейв? — переспросил лорд Ментейт, взглянув на своих спутников.— Их-то мы и хотели видеть.

— А вот я,— сказал Доналд,— желал бы никогда не видеть их в наших краях, ибо они явились сюда только затем, чтобы пустить нас по миру.

---

[1] Не в здравом уме *(лат.)*.

[2] Так назывался род булавы, или палицы, которой пользовались в первой половине семнадцатого века при защите проломов и брешей в стенах. Когда во время осады Штральзунда немцы, насмехаясь над шотландцами, уверяли, что, по слухам, из Дании пришел корабль, доставивший им груз курительных трубок, «один из наших солдат,— рассказывает полковник Роберт Мунро,— выставив из-за стены моргенштерн — толстую дубину, окованную железом, подобно древку алебарды, с шарообразным наконечником, утыканным железными шипами,— сказал: «Вот какими трубками мы будем вышибать из вас дух, когда вы вздумаете идти на приступ».

— Что с тобой, Доналд? — удивился лорд Ментейт.— Ты прежде никогда не скупился на мясо и пиво. И хоть они и англичане, но вряд ли съедят весь скот, который пасется на лугах твоего хозяина.

— А хоть бы и съели! — отвечал Доналд.— Это бы с полбеды. Здесь у нас немало преданных людей, которые не дадут нам голодать, пока на землях между замком и Пертом пасется хоть один козленок. Тут дело похуже — об заклад побились!

— Об заклад? — с удивлением повторил лорд Ментейт.

— Вот то-то и оно! — продолжал Доналд, горя желанием выложить свои новости лорду Ментейту, с любопытством ожидавшему рассказа старика.— Ведь ваша милость — родня нашим господам и друг семьи, да к тому же вы вскорости и так об этом услышите, почему мне не рассказать вам сейчас? Так вот, коли угодно знать, когда наш хозяин в последний раз ездил в Англию,— а ездит он туда чаще, нежели того хотели бы его друзья,— он был приглашен в дом этого самого сэра Майлса Масгрейва; и там, изволите ли видеть, было поставлено на стол шесть шандалов, и, говорят, эти шандалы вдвое больше тех, что стоят в Данблейнской церкви: и не какие-нибудь медные, железные или оловянные, а чистого серебра... Уж и гордости у этих англичан — просто не знают, куда девать ее! Вот и начали они поддразнивать нашего хозяина, будто он никогда не видывал такого богатства в своей нищей стране; а наш хозяин, разгневавшись, что при нем поносят его родину, поклялся как истый шотландец, будто у него дома, в его замке, еще больше шандалов, да таких, каких и не бывало в домах Камберленда; Камберленд она называется — местность-то ихняя.

— Слова, достойные верного сына своей родины,— заметил лорд Ментейт.

— Так-то оно так,— сказал Доналд,— но лучше бы его милость на сей раз попридержал язык; ведь если при англичанах сболтнешь что-нибудь лишнее, они сейчас же и заставят тебя биться об заклад, да так быстро, что кузнец не успел бы лошадь подковать. Вот и пришлось моему хозяину либо взять свои слова обратно, либо прозакладывать две сотни мерков. Конечно, он принял заклад, чтобы не срамиться перед этими господами. А теперь вот нужно раскошеливаться! Оттого, думается мне, он и не торопится возвращаться домой.

— Судя по тому, что мне известно о вашем фамильном серебре,— заметил лорд Ментейт,— твой хозяин, Доналд, наверняка потеряет свою ставку.

— Верно, верно, ваша милость. А где он денежки возьмет — ума не приложу,— он уже занимал направо и налево. Я советовал ему потихоньку упрятать обоих англичан вместе с их слугами в подземелье под башней и держать их там до тех пор, покуда они сами не откажутся от заклада,— да хозяин и слушать не хочет.

При этих словах Аллан вскочил с места, большими шагами подошел к старому слуге и громовым голосом произнес:

— Да как ты смел давать моему брату такие подлые советы? И как ты смеешь говорить, что он проиграет ставку, если ему угодно было побиться об заклад?

— Твоя правда, Аллан Мак-Олей,— отвечал старик.— Не дело, чтоб сын моего отца перечил сыну твоего отца, и, стало быть, господин мой, надо думать, выиграет заклад! Да только я-то хорошо знаю, что в доме у нас не найдется ни одного шандала, кроме старых железных светильников, которые остались со времен лорда Кеннета, и оловянных подсвечников, которые ваш батюшка заказывал старику Уилли Уинки; а что до серебра, то сам черт не сыщет в доме ни одной унции, если не считать старой молочной кружки вашей покойной матушки, да и та без крышки и одна ножка сломана.

— Молчи, старик! — гневно крикнул Аллан.— А вас, господа, если ваша трапеза окончена, я попрошу покинуть зал; я должен все приготовить к приему наших английских гостей.

— Идемте,— шепнул старый слуга, дернув за рукав лорда Ментейта.— На него нашло,— добавил он, указывая глазами на Аллана,— теперь ему нельзя перечить.

Все вышли из зала, и Доналд проводил Ментейта и капитана Дальгетти в одну сторону, а один из младших слуг повел обоих спутников лорда в другую. Едва Ментейт успел войти в небольшую комнату, нечто вроде кабинета, как явился сам владелец замка, Ангюс Мак-Олей, в сопровождении английских гостей. Встреча была самая дружеская, ибо лорд Ментейт был хорошо знаком с обоими англичанами; а капитан Дальгетти, представленный лордом Ментейтом, был радушно принят хозяином дома. Но после первых радостных приветствий лорд Ментейт не мог не заметить, что чело его друга омрачено печалью.

— Вы, вероятно, уже слышали,— сказал сэр Кристофер Холл,— что дело, затеянное нами в Камберленде, окончилось неудачей? Милиция не захотела двинуться в Шотландию, а ваши ушастые пуритане порядком потрепали наших друзей в южных графствах. И вот, прослышав, что вы здесь зашевелились, мы с Масгрейвом, не желая сидеть дома сложа руки,

прибыли сюда, чтобы повоевать вместе с вашими молодцами в юбках и пледах.

— Надеюсь, вы захватили с собой оружие, людей и казну? — улыбаясь, спросил Ментейт.

— Всего каких-нибудь десятка два солдат, которых мы оставили в последней деревушке предгорья,— отвечал Масгрейв.— Да и то, если бы вы знали, с каким трудом нам удалось притащить их туда!

— Что касается денег,— заметил другой англичанин,— то мы рассчитываем пополнить казну с помощью нашего друга и любезного хозяина.

При этих словах Мак-Олей весь покраснел и, отведя Ментейта в сторону, выразил ему свою досаду по поводу глупого положения, в которое попал по своей вине.

— Я уже слышал об этом от Доналда,— сказал лорд Ментейт, едва сдерживая улыбку.

— Черт бы побрал старика,— сказал Мак-Олей.— Он готов разболтать все, что угодно, хоть бы это стоило человеку жизни. Впрочем, и для вас, милорд, в этом ничего веселого нет, ибо я очень рассчитываю на ваше дружеское и братское расположение и надеюсь, что вы, как близкий родственник, поможете мне расплатиться с этими английскими пудингами. Иначе, скажу вам напрямик, вы на перекличке недосчитаетесь Мак-Олея, ибо, будь я проклят, если не продамся пресвитерианам скорее, нежели взгляну в глаза этим господам, не расплатившись с ними! Мне и так уж будет несладко, ибо я и убыток потерплю, и хвастуном перед всеми явлюсь.

— Вам, конечно, небезызвестно, милорд, что и мои денежные дела не блестящи в настоящее время,— возразил граф Ментейт.— Но вы можете быть уверены, что я сделаю все возможное, чтобы помочь вам, во имя нашего старинного родства, соседства и дружбы.

— Благодарю вас!.. Очень, очень вас благодарю!..— сказал Мак-Олей.— А поскольку эти деньги так или иначе пойдут на службу королю, то не все ли равно, кто их внесет — вы, они или я сам? Ведь все мы дети одного отца, не правда ли? Но вы должны еще помочь придумать какую-нибудь разумную отговорку; иначе мне придется обнажить шпагу, ибо я не потерплю, чтобы меня в моем собственном доме назвали обманщиком и хвастуном, тогда как, видит бог, я только хотел поддержать честь своего рода и своей отчизны.

Во время их разговора в комнату вошел Доналд с таким сияющим лицом, какого трудно было ожидать от него в ту ми-

**«Легенда о Монтрозе»**

нуту, когда столь печальная участь угрожала карману и достоинству его господина.

— Кушанье подано, и свечи зажжены,— произнес старый слуга с особым ударением на последних словах.

— Черт побери, что он хочет сказать? — заметил Масгрейв, взглянув на своего соотечественника.

Лорд Ментейт вопросительно посмотрел на хозяина дома, но в ответ на его взгляд Мак-Олей только недоумевающе покачал головой.

В дверях произошла небольшая задержка, вызванная спором, кому пройти первому. Лорд Ментейт настоял на том, чтобы уступить гостям это право, принадлежащее ему в силу его высокого звания; он сослался на то, что он у себя на родине и к тому же свой человек в этом доме. Итак, оба английских гостя первыми вступили в зал, где глазам их представилось необычайное зрелище. Огромный дубовый стол был весь заставлен сытными мясными кушаньями, а вокруг него в надлежащем порядке были размещены стулья. За каждым стулом стоял слуга-горец, исполинского роста, в национальном костюме и в полном вооружении. Каждый горец держал в правой руке обнаженный меч острием вниз, а в левой — пылающий факел. Факелы были сделаны из особого вида сосны, произрастающей на болотах Шотландии. Дерево это настолько смолисто, что, расщепленное и высушенное, оно отлично заменяло горцам свечи. Картина, открывшаяся взорам гостей, была поистине внушительная: пламя горящих факелов отбрасывало багровый свет на суровые лица горцев, на их необычную для постороннего глаза одежду и сверкающее оружие; густые клубы дыма поднимались под самые своды, образуя над залом как бы воздушный дымчатый шатер.

Прежде чем гости пришли в себя от изумления, Аллан выступил вперед и, не вынимая палаша из ножен, указал им на горцев с зажженными факелами.

— Взгляните, благородные гости,— сказал он торжественно,— каковы шандалы в доме моего брата, каков старинный обычай в нашем древнем роде; ни один из этих горцев не знает иного закона, кроме воли своего вождя! Так дерзнете ли вы, господа, сравнить этих людей с самым драгоценным металлом, извлекаемым из недр земли? Что вы на это скажете, господа? Выиграли вы заклад или проиграли?

— Проиграли, проиграли! — весело воскликнул Масгрейв.— Мои собственные серебряные шандалы уже давно расплавлены и обращены в новобранцев; хорошо, если они окажутся хотя бы

вполовину надежнее этих. Извольте, сэр,— продолжал он, обращаясь к хозяину,— получайте ваши деньги; кошельки наши немного отощают, но ничего не поделаешь — долг чести нужно платить!

— Да будет проклят отцом сын моего отца,— прервал его Аллан,— если он примет от вас хоть пенни! Достаточно того, что вы не притязаете на выигрыш!

Лорд Ментейт горячо поддержал Аллана, и старший Мак-Олей охотно присоединился к их мнению, заявив, что вся затея была сущим вздором, о котором не стоит больше говорить. Англичане из вежливости стали было спорить, но быстро согласились обратить все дело в шутку.

— А теперь, Аллан, прошу тебя удалить твои светильники,— сказал хозяин дома.— Наши английские гости достаточно насмотрелись на них и предпочтут пообедать при свете старых оловянных подсвечников, не задыхаясь от дыма.

Тотчас же, по знаку Аллана, живые шандалы, вложив свои мечи в ножны и держа их концом вверх, один за другим вышли из зала, после чего хозяева и гости приступили к пиршеству [1].

## ГЛАВА V

В нем было столько смелости и страсти
И в гневе был он так неукротим,
Что сам отец, предчувствуя несчастье,
Просил, чтоб он бесстрашием своим
Зверей не трогал, досаждая им.
Но сын хотел, чтоб, укрощенный словом,
И лев на брюхе ползал перед ним,
И тигр свирепый уходил бы с ревом,
Угрозу чуя в окрике суровом.

*Спенсер* [2]

В те времена чревоугодие англичан вошло в поговорку среди шотландцев, но за обедом в замке Дарнлинварах аппетит английских гостей никак не мог идти в сравнение с чудовищной прожорливостью Дальгетти, хотя сей доблестный воин уже успел проявить немалое упорство и решительность, когда бросился в атаку на легкую закуску, предложенную приезжим по

[1] Точно такое пари, по слухам, держал Мак-Доналд Кинпох и вышел из запутанного положения точно таким же способом, как здесь рассказано.

[2] Перевод И. Миримского.

их прибытии в замок. За обедом он не проронил ни слова; и лишь после того, как почти все яства были убраны со стола, он соблаговолил объяснить своим сотрапезникам, не без удивления наблюдавшим за ним, какие причины побуждают его столь стремительно и основательно насыщаться.

— Привычку есть быстро,— сказал он,— я по необходимости приобрел за столом стипендиатов эбердинского духовного училища, ибо там, если не работать челюстями, как кастаньетами, очень легко остаться ни с чем. А что касается обилия поглощаемой мною пищи,— продолжал капитан,— то да будет вам, господа, известно, что долг каждого коменданта крепости — пополнять запасы всеми доступными ему средствами, заготовляя столько провианта и оружия, сколько могут вместить склады,— на тот случай, если придется выдерживать непредвиденную осаду. Согласно этому правилу, я полагаю, что если перед воином стоит вкусная и обильная снедь, то он поступит вполне разумно, насытившись дня на три вперед, ибо никто не знает, когда ему снова доведется пообедать.

Хозяин дома выразил свое одобрение подобной предусмотрительности и посоветовал капитану запить глотком бренди и бутылкой кларета поглощенные им мясо и дичь, на что тот охотно согласился.

После того как было убрано со стола и все слуги вышли — за исключением пажа, который остался в зале, чтобы в случае надобности принести что-нибудь или позвать кого-нибудь, одним словом, исполняя обязанности современного колокольчика,— разговор перешел на политические темы и положение в стране; лорд Ментейт обстоятельно и подробно расспрашивал о том, какие именно кланы должны прибыть на предстоящий сбор сторонников короля.

— Все зависит от того, милорд, кто станет во главе,— отвечал Мак-Олей,— ибо вам должно быть известно, что, если несколько наших северных кланов соединятся, они не всегда склонны подчиняться одному из своих вождей, да и, по правде говоря, кому бы то ни было. Ходят слухи, будто Колкитто — младший Колкитто, иначе говоря, Аластер Мак-Доналд — переправится из Ирландии с отрядом людей графа Энтрима; они высадились в Кайле и дошли до Эрднамурхана. Им следовало уже быть здесь, но я предполагаю, что они задержались в пути, соблазнившись легкой поживой, и теперь занимаются грабежами.

— Может быть, Колкитто и будет вашим вождем? — спросил лорд Ментейт.

— Колкитто! — сказал Аллан Мак-Олей презрительно.— Кто говорит о Колкитто? На свете есть только один человек, за которым мы все пойдем,— это Монтроз.

— Но о Монтрозе нет ни слуху ни духу со времени нашей неудачной попытки поднять восстание на севере Англии,— возразил сэр Кристофер Холл.— Полагают, что он возвратился в Оксфорд, чтобы получить от короля новые указания.

— В Оксфорд? — заметил Аллан, презрительно усмехнувшись.— Я бы вам сказал, где он... Да не стоит, скоро сами узнаете.

— Знаешь, Аллан,— сказал лорд Ментейт,— этак ты выведешь из терпения всех друзей. Твоя мрачность становится просто невыносимой. Впрочем, мне понятна причина,— добавил он, засмеявшись,— должно быть, ты сегодня еще не видел Эннот Лайл?

— Как ты сказал? Кого я не видел? — хмуро спросил Аллан.

— Эннот Лайл, волшебную фею пения и музыки,— отвечал граф.

— Бог свидетель, я рад бы никогда больше не видеть ее,— вздохнув, сказал Аллан,— лишь бы такой запрет был наложен и на тебя!

— Почему же именно на меня? — небрежно спросил Ментейт.

— А потому,— отвечал Аллан,— что у тебя на лбу написано, что вы погубите друг друга.— С этими словами он встал и покинул комнату.

— Давно это с ним? — спросил лорд Ментейт, обращаясь к старшему Мак-Олею.

— Третьи сутки,— отвечал Ангюс,— припадок уже кончается, завтра ему будет лучше. Однако, гости дорогие, не наполнить ли нам чарки? За здоровье короля! Да здравствует король Карл! И пусть подлый изменник, который откажется от этого тоста, сложит свою голову на плахе!

Тост был немедленно принят, за ним последовал второй, и третий, и четвертый — все в том же духе, предложенные столь же торжественно. Капитан Дальгетти, однако, счел нужным сделать оговорку.

— Милостивые государи,— сказал он,— я присоединяюсь к вашим заздравным тостам, primo [1] — из уважения к этому по-

---

[1] Во-первых *(лат.)*.

чтенному и гостеприимному крову, и secundo [1] — потому, что я inter pocula [2] не считаю нужным быть особо щепетильным в вопросах политики; но предупреждаю, что, согласно предварительному уговору с его светлостью, я оставляю за собой право, невзирая на сегодняшние тосты, завтра же поступить на службу к пресвитерианам, буде мне так заблагорассудится.

Услышав такое неожиданное заявление, Мак-Олей и его английские гости с изумлением и гневом посмотрели на капитана; но лорд Ментейт быстро восстановил спокойствие, пояснив обстоятельства дела и условия договора.

— Я надеюсь,— добавил он в заключение,— что нам удастся привлечь капитана Дальгетти на нашу сторону и заручиться его поддержкой.

— А если нет,— сказал хозяин дома,— то я, в свою очередь, предупреждаю: никакие обстоятельства, ни даже то, что он нынче ел мою хлеб-соль и пил со мной бренди, бордоское вино и шафранную настойку, не помешают мне рассечь ему голову до самого шейного позвонка.

— Сделайте одолжение,— отвечал капитан,— если только мой меч не сумеет защитить мою голову, что ему уже не раз удавалось, и притом в таких случаях, когда мне угрожала бóльшая опасность, нежели ваша вражда.

Тут лорду Ментейту снова пришлось вмешаться, и после того, как согласие было не без труда восстановлено, его скрепили обильными возлияниями.

Однако лорд Ментейт, сославшись на усталость и нездоровье, встал из-за стола раньше, чем это было принято в замке, к немалому разочарованию храброго капитана, который, помимо всего прочего, пристрастился в Нидерландах к вину и приобрел способность поглощать невероятное количество крепких напитков.

Хозяин дома самолично проводил гостей в галерею, служившую спальней, где стояла большая кровать под клетчатым пологом; вдоль стены помещалось несколько ларей или, вернее, длинных корзин; три из них были набиты свежим вереском и, видимо, предназначались в качестве постелей для гостей.

— Мне едва ли нужно объяснять вам, милорд,— сказал Мак-Олей, отведя Ментейта в сторону,— как у нас обычно устраивают ночлег для гостей. Но, скажу вам откровенно, мне не хотелось оставлять вас на ночь наедине с этим немецким

---

[1] Во-вторых *(лат.)*.

[2] За стаканом вина *(лат.)*.

бродягой, и я приказал приготовить постели вашим слугам подле вас. Чем черт не шутит, милорд! В наше время можно лечь спать целым и невредимым, со здоровой глоткой, способной пропустить любое количество бренди, а наутро оказаться с перерезанным горлом, зияющим, как вскрытая устрица.

Лорд Ментейт, сердечно поблагодарив хозяина за его заботы, сказал, что сам хотел просить о таком распорядке, ибо хотя он нимало не опасается насилия со стороны капитана Дальгетти, но все же всегда предпочитает иметь Андерсона поближе к себе, потому что это не простой слуга, а человек весьма достойный.

— Я прежде не видал у вас этого Андерсона,— заметил Мак-Олей.— Вы, вероятно, наняли его в Англии?

— Да,— отвечал лорд Ментейт.— Завтра вы его увидите, а пока желаю вам спокойной ночи.

Мак-Олей, попрощавшись с гостями, покинул галерею; он сделал было попытку пожелать спокойной ночи также и капитану Дальгетти, но, заметив, что внимание храброго воина всецело поглощено кувшином с поссетом, не стал прерывать столь похвальное занятие и удалился без дальнейших церемоний.

Почти тотчас же после его ухода явились слуги лорда Ментейта. Милейший капитан, несколько отяжелевший от выпитого вина и тщетно пытавшийся расстегнуть пряжки своего панциря, обратился к Андерсону со следующей речью, прерываемой частой икотой:

— Андерсон, дружище, ты, наверное, читал в Священном писании: «Пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся...» Конечно, это не похоже на команду... Но суть дела в том, что мне придется спать в моих доспехах, как тем честным воинам, которые уснули навеки, если ты не поможешь мне расстегнуть вот эту пряжку.

— Помоги ему снять латы, Сибболд,— сказал Андерсон другому слуге.

— Клянусь святым Андреем! — в изумлении воскликнул капитан, круто повернувшись на каблуках.— Простой слуга, наймит, получающий четыре фунта в год и лакейскую ливрею, считает для себя унизительным услужить ритмейстеру Дугалду Дальгетти, владельцу Драмсуэкита, изучавшему гуманитарные науки в эбердинском духовном училище и состоявшему на службе у монархов доброй половины европейских государств!

— Капитан Дальгетти,— сказал лорд Ментейт, которому, видно, суждено было в этот вечер играть роль миротворца,— прошу вас принять во внимание, что Андерсон никогда и нико-

му не прислуживает, кроме меня; но я охотно сам помогу Сибболду расстегнуть ваш панцирь.

— Слишком много чести, милорд,— возразил Дальгетти,— хотя, быть может, вам и не мешало бы поучиться снимать и надевать военные доспехи. Я натягиваю и стягиваю свои, как перчатку; вот только нынче, хоть я и не ebrius [1], но, как говорили древние, vino ciboque gravatus [2].

Тем временем капитан уже был освобожден от своих доспехов и теперь, стоя перед очагом с выражением пьяного глубокомыслия на лице, предавался размышлениям о событиях минувшего вечера. Больше всего, по-видимому, его занимала личность Аллана Мак-Олея.

Так ловко суметь обойти этих англичан! Выставить вместо шести серебряных шандалов — восемь голоштанных горцев с горящими факелами! Да ведь это верх находчивости! Умнейшая выдумка, просто фокус!.. А говорят, что он сумасшедший! Боюсь, милорд (капитан покачал головой), что хоть он вам и родня, а придется мне признать, что он в своем уме, и либо поколотить его хорошенько за насилие, совершенное над моей личностью, либо вызвать его на поединок, как подобает оскорбленному дворянину.

— Если вы согласны в столь позднее время выслушать длинный рассказ,— отвечал лорд Ментейт,— то я могу сообщить вам о некоторых обстоятельствах, которыми сопровождалось появление на свет Аллана Мак-Олея, и вы сами поймете, почему нельзя так строго судить его и требовать от него удовлетворения.

— Длинный рассказ на ночь глядя, милорд,— отозвался капитан Дальгетти,— да чарочка вина и теплый ночной колпак — лучшее снотворное. А потому, если вашей светлости угодно взять на себя труд рассказывать, я буду иметь честь быть вашим терпеливым и признательным слушателем.

— Думаю, что и вам, Андерсон, и тебе, Сибболд,— обратился лорд Ментейт к своим слугам,— очень хочется услышать об этом странном человеке; и я полагаю, что лучше мне удовлетворить ваше любопытство, чтобы вы в случае надобности знали, как обращаться с ним. Подсаживайтесь-ка все поближе к огню.

Собрав вокруг себя слушателей, лорд Ментейт присел на край широкой кровати, а капитан Дальгетти, вытерев капельки

---

[1] Пьян *(лат.)*.

[2] Отягчен вином и едой *(лат.)*.

молочного напитка с усов и бороды и повторив несколько раз первый стих лютеранского псалма «Всякое дыхание да хвалит господа...» — улегся в одну из приготовленных постелей; высунув из-под одеяла взлохмаченную голову, он слушал рассказ молодого графа, находясь в блаженном состоянии полупьяной дремоты.

— Отец Ангюса и Аллана,— начал свой рассказ лорд Ментейт,— происходил из почтенного и древнего рода и был предводителем одного из северных кланов — немногочисленного, но стяжавшего добрую славу; его супруга, мать обоих братьев, была женщиной благородного происхождения, из хорошей семьи, если мне дозволено будет так говорить об особе, родственной мне по крови. Ее брат, смелый и достойный молодой человек, получил от короля Иакова Шестого звание лесничего и, наряду с другими привилегиями, право охоты на королевской земле, примыкавшей к его поместью. Пользуясь этим правом и защищая его, он имел несчастье навлечь на себя вражду одного из тех горных кланов, которые занимаются разбоем и о которых вы, капитан, вероятно, слышали.

— Как не слыхать,— отвечал капитан, с трудом открывая слипающиеся глаза.— Еще в бытность мою в эбердинском духовном училище Дугалд Гарр пошаливал в Гарюхе, а Фаркерсоны — на берегах Ди, клан Чэттен — на землях Гордонов, а Гранты и Камероны — во владениях Морея. А после того понасмотрелся я на хорватов и пандуров в Паннонии и Трансильвании. Видел и казаков с польской границы. Видел я и всяких разбойников, бандитов и грабителей со всех концов света; так что имею кое-какое понятие о том, каковы ваши отчаянные горцы!

— Клан, с которым дядя Ангюса и Аллана с материнской стороны находился во вражде,— продолжал лорд Ментейт,— был просто шайкой бездомных разбойников, прозванных Сынами Тумана за их вечные скитания по горам и долам. Это жестокие и отчаянные люди, мстительные и неистовые в своих диких страстях, не знающие узды, налагаемой цивилизованным обществом. Несколько человек из этого клана подстерегли злополучного лесничего в то время, как он охотился в горах без своих слуг, неожиданно напали на него и зверски убили, подвергнув бесчеловечным истязаниям. Затем разбойники отрубили лесничему голову и в порыве бесшабашного удальства решили подкинуть ее в замок зятя лесничего. Хозяина не было дома, и жене его поневоле пришлось принять непрошеных гостей, перед которыми она побоялась закрыть двери своего

дома. Сынам Тумана было подано угощение, и они, улучив удобную минуту, вынули из пледа голову своей жертвы, поставили ее на стол и вложили в ее безжизненные уста кусок хлеба, предлагая откушать с того самого стола, за которым убитый не раз пировал. Хозяйка дома, покинувшая комнату, чтобы позаботиться об ужине, вошла в эту самую минуту и, увидя голову своего брата, стремглав бросилась в лес, испуская дикие вопли. Злодеи, удовлетворенные успехом своей жестокой выходки, удалились. Перепуганные слуги, едва придя в себя от охватившего их ужаса, кинулись во все стороны разыскивать свою несчастную госпожу, но она исчезла бесследно. Злополучный муж возвратился домой на другой день и с помощью своих людей предпринял более тщательные поиски как вблизи замка, так и в отдаленных окрестностях, но, увы, и эти поиски оказались тщетными. Все говорили, что, помешавшись от ужаса, бедная женщина, вероятно, бросилась с обрыва в реку или утонула в глубоком озере, расположенном на расстоянии мили от замка. Ее гибель вызвала всеобщую скорбь, тем более что она была на шестом месяце беременности; старшему ее сыну, Ангюсу, было в ту пору полтора года. Однако я, кажется, утомил вас, капитан Дальгетти, и вас как будто клонит ко сну?

— Нисколько,— отвечал воин,— я и не думал засыпать. Просто я лучше слышу с закрытыми глазами. Этому я научился, когда стоял на часах.

— Уж наверное,— шепнул лорд Ментейт Андерсону,— начальник караула не раз тыкал в него алебардой, чтобы заставить его открыть глаза!

Однако роль рассказчика, по-видимому, пришлась молодому графу по вкусу, и он продолжал свое повествование, обращаясь преимущественно к своим слугам и не уделяя больше никакого внимания задремавшему ветерану.

— Все окрестные бароны,— снова начал Ментейт,— поклялись отомстить за это страшное злодеяние. Объединившись с зятем убитого и другими его родственниками, они выследили Сынов Тумана и умертвили их с не меньшей жестокостью, чем те умертвили лесничего. Разделив между собой семнадцать отрубленных голов — трофеи кровавой расправы,— союзники выставили их на воротах своих замков, на съедение воронам; немногие уцелевшие Сыны Тумана перебрались в еще более безлюдные места, отступив в глубь страны.

— Направо равняйсь, кругом шагом марш! Отступить на прежние позиции! — вдруг закричал капитан Дальгетти.

Последние слова графа, видимо, пробудили в его дремлющем сознании слова привычной команды, но, тут же очнувшись, капитан стал уверять, что все время с глубочайшим вниманием следил за каждым словом рассказчика.

— Каждое лето,— продолжал лорд Ментейт, пропуская мимо ушей извинения капитана,— здесь угоняют коров на горные пастбища, на подножный корм; крестьянские девушки и служанки окрестных замков ходят туда доить коров утром и вечером. Однажды служанки этого дома, к великому своему ужасу, заметили, что за ними издали наблюдает какая-то бледная, истощенная женщина; по облику она очень напоминала их покойную госпожу, и, конечно, они решили, что это ее дух. Те, кто похрабрее, все же решились приблизиться к этому бледному призраку, но женщина с диким криком бросилась от них прочь и исчезла в чаще леса. Уведомленный о случившемся, хозяин замка, захватив с собой людей, поспешил на поиски, и ему удалось преградить беглянке путь к отступлению в горы и задержать несчастную женщину; но — увы! — рассудок ее был безнадежно помрачен. Как она существовала во время своих блужданий по лесу — осталось неизвестным; предполагают, что она питалась кореньями и дикими ягодами, которыми изобилуют наши леса в летнюю пору; но простой народ был убежден, что либо она питалась молоком диких ланей, либо она обязана своим спасением волшебству и что кормили ее, вероятно, лесные феи. Ее появление на пастбище объяснить было нетрудно. Из чащи леса она увидела, как доят коров, и так как наблюдение за молочным хозяйством всегда было ее любимым занятием, то привычка взяла свое, несмотря на душевный недуг.

В положенное время несчастная женщина произвела на свет мальчика, который, по-видимому, не только не пострадал от невзгод, перенесенных матерью, но был, по всем признакам, необыкновенно здоровым и крепким ребенком. Бедная мать после родов пришла в себя — к ней вернулся рассудок; но былая веселость и ясность духа были утрачены навсегда. Аллан был ее единственной отрадой. Она окружала его непрестанной заботой; нет сомнения в том, что многие суеверия и предрассудки, к которым тяготеет его угрюмая и страстная натура, были внушены ему в раннем детстве матерью. Она скончалась, когда ему шел десятый год. Последние ее слова были сказаны ему с глазу на глаз, но, бесспорно, она завещала ему отомстить Сынам Тумана за смерть дяди; и он свято хранит этот завет.

С того часа поведение Аллана круто изменилось. Прежде он не разлучался с матерью, слушал ее полубезумные речи, рассказывал ей свои сны, питая свое воображение, вероятно от природы расстроенное, столь обычными среди шотландских горцев дикими и жуткими суевериями, которым его мать особенно предавалась после злодейского убийства брата. Вследствие такого воспитания мальчик рос диким, нелюдимым. Часто уходил один в лесную чащу и больше всего на свете боялся общества сверстников. Помню, как однажды — хотя я несколькими годами моложе Аллана — отец привез меня сюда погостить; никогда не забуду того удивления, которое вызвал во мне этот маленький отшельник, отклонявший малейшую мою попытку втянуть его в игры, свойственные нашему возрасту. Помню, как его отец жаловался моему на угрюмый нрав Аллана, однако он говорил, что не считает себя вправе отнять у жены мальчика, лишить ее единственного утешения в жизни. К тому же забота о ребенке развлекала ее и, по-видимому, предотвращала возврат страшного недуга, поразившего несчастную женщину. И вот тотчас после смерти матери в характере и поведении мальчика произошла резкая перемена. Правда, он по-прежнему оставался угрюмым и задумчивым, по-прежнему случалось, что он часами не произносил ни одного слова и не обращал внимания на окружающих,— но теперь он иногда сам искал общества молодежи своего клана, которого раньше тщательно избегал. Он принимал участие во всех их забавах и играх и благодаря своей необыкновенной физической силе вскоре стал первенствовать во всех играх своего брата и прочих юношей, несмотря на то что был моложе их. Те, кто прежде относился к нему с презрением, начали уважать его, хотя и недолюбливали. И если прежде Аллана считали изнеженным, мечтательным мальчиком, то теперь его соперники в играх и физических упражнениях жаловались, что, возбужденный борьбой, он подчас готов обратить эти игры в драку, вместо того чтобы видеть в них предмет дружеского состязания в силе. Однако я, кажется, обращаюсь к невнимательным ушам,— прервал свою речь лорд Ментейт, ибо мощный храп капитана Дальгетти не оставлял сомнений в том, что доблестный ветеран пребывает в объятиях Морфея.

— Если вы имеете в виду уши этой храпящей свиньи, милорд,— заметил Андерсон,— то они в самом деле глухи ко всему, что бы ни говорилось; но так как здесь не место для более серьезной беседы, то я надеюсь, что вы не откажете в

любезности продолжить ваш рассказ для нас с Сибболдом. В судьбе бедного юноши таится глубокий и зловещий смысл.

— Так слушайте,— продолжал лорд Ментейт.— Физическая сила и дерзость Аллана с годами развилась еще более. В пятнадцать лет он уже не признавал ничьей власти, не терпел ни малейшего надзора, что глубоко тревожило его отца. Под предлогом охоты юноша дни и ночи пропадал в лесу, хотя далеко не всегда возвращался домой с дичью; старик был тем более обеспокоен, что некоторые из Сынов Тумана, пользуясь усиливающимся брожением в стране, отважились вернуться в свои прежние логовища, а он считал небезопасным возобновлять враждебные действия против них. Мысль о том, что Аллан в своих скитаниях может подвергнуться нападению этих мстительных разбойников, служила постоянным источником тревоги для его отца.

Я сам был свидетелем трагической развязки, будучи в то время гостем этого замка. Аллан с рассветом ушел в лес; я тщетно пытался разыскать его там; наступила темная, ненастная ночь, а он все не возвращался домой. Отец его, чрезвычайно встревоженный, решил наутро послать людей на розыски сына; но вдруг, в то время как мы сидели за ужином, дверь отворилась, и в зал уверенной поступью, гордо подняв голову, вошел Аллан. Старик, хорошо зная строптивый нрав и безрассудство сына, ничем не выразил своего неудовольствия, только заметил, что вот я на охоте убил крупного оленя и воротился домой засветло, а он, Аллан, пробыл в горах до полуночи и пришел, видимо, с пустыми руками.

— Так ли? — с гневом спросил Аллан.— Я сейчас докажу, что вы не правы.

Только тут мы заметили, что руки и лицо у него забрызганы кровью, и мы с нетерпением ждали его объяснений. Вдруг он отвернул полу своего пледа, выкатил на стол, видимо, только что отрубленную, окровавленную человеческую голову и крикнул: «Лежи здесь, где до тебя лежала голова более достойного мужа!»

По резким чертам, всклокоченным рыжим волосам и бороде, в которых пробивалась седина, отец Аллана и другие присутствующие сразу узнали голову Гектора — одного из самых известных предводителей Сынов Тумана, наводившего на всех ужас своей необычайной силой и свирепостью; он участвовал в убийстве злополучного лесничего, дяди Аллана, и только благодаря отчаянному сопротивлению и необыкновенному проворству ему удалось спастись от гибели, постигшей

большинство его товарищей. Вы понимаете, что все мы онемели от изумления; но Аллан не пожелал удовлетворить наше любопытство, и мы могли только догадываться о том, что он, по всей вероятности, одолел разбойника лишь после ожесточенной борьбы, ибо вскоре обнаружилось, что сам он получил во время схватки несколько ран. После этого происшествия были приняты все меры, чтобы уберечь его от кровавой мести разбойников; но ни раны, ни строжайший запрет отца, ни засовы на дверях его комнаты и на воротах замка не могли помешать Аллану искать встречи с теми, кто больше всех жаждал его смерти. Он убегал из дому ночью через окно своей комнаты и, словно в насмешку над заботами отца, приносил то одну, то сразу две отрубленные головы Сынов Тумана. В конце концов даже этих людей обуял страх перед неистребимой ненавистью и безудержной отвагой, с какой Аллан приближался к их убежищам. Видя, что он, не задумываясь, вступает в борьбу, каково бы ни было превосходство противника, они пришли к убеждению, что на нем заговор и он находится под особым покровительством волшебных сил. «Ни ружье, ни кинжал, ни целый дурлах [1] — ничто его не берет»,— говорили они. Причина этой неуязвимости крылась, по общему мнению, в необычайных обстоятельствах, при которых он появился на свет. Дело дошло до того, что даже пятеро или шестеро отчаянных головорезов, заслышав охотничий клич Аллана или звук его рога, обращались в бегство.

Однако Сыны Тумана не унимались и по-прежнему разбойничали, нанося семейству Мак-Олеев, их родичам и друзьям громадный ущерб. Это вызвало необходимость нового похода против них, в котором и мне довелось принять участие; нам удалось застать их врасплох, закрыть одновременно все перевалы и ущелья занятой ими местности; и мы, как водится, жестоко расправились с ними, убивая и сжигая все на своем пути. В этих свирепых войнах между кланами редко щадят даже женщин и детей. Одна только маленькая девочка, с улыбкой глядевшая на занесенный над ней кинжал, по моей настоятельной просьбе избегла мщения Аллана. Мы привезли ее в замок, и здесь она выросла под именем Эннот Лайл; и, уж верно, милей этой девочки вы не нашли бы среди маленьких фей, пляшущих при лунном свете на вересковой лужайке. Аллан долгое время не выносил присутствия ребенка, пока в его пылком воображении не зародилась уверенность, вызван-

[1] Дурлах — колчан; буквально — мешок со стрелами.

пая, вероятно, ее необычайной красотой, что она не связана кровным родством с ненавистным ему племенем, а была сама захвачена в плен во время одного из разбойничьих набегов; в таком предположении, в сущности, нет ничего невозможного, но Аллан верит в него, как в Священное писание. Его особенно восхищает ее искусство в музыке; игра Эннот Лайл на арфе по своему совершенству превосходит исполнение лучших музыкантов страны. Вскоре все заметили, что игра Эннот оказывает благотворное влияние на помраченный рассудок Аллана и разгоняет его тоску, подобно тому как в древности музыка разгоняла тоску иудейского царя. У Эннот Лайл такой кроткий нрав, ее простодушная веселость столь восхитительна, что все в замке обращаются с ней скорее как с сестрой хозяина дома, нежели как с бедным приемышем, живущим здесь из милости. Поистине невозможно не плениться ею, видя ее искренность, живость и ласковую приветливость.

— Будьте осторожны, милорд! — заметил Андерсон, улыбаясь.— Столь восторженные похвалы не доведут до добра. Аллан Мак-Олей, судя по вашему описанию, вряд ли окажется безопасным соперником.

— Пустяки! — сказал лорд Ментейт, рассмеявшись и в то же время, однако, сильно покраснев.— Аллану чужды волнения любви. Что касается меня,— продолжал он серьезно,— темное происхождение Эннот не позволяет мне питать надежды на брак с нею, а беззащитность девушки ограждает ее от иных притязаний.

— Слова, достойные вас, милорд! — сказал Андерсон.— Но, надеюсь, вы доскажете нам вашу увлекательную повесть?

— Она почти окончена,— промолвил лорд Ментейт.— Мне осталось только добавить, что благодаря огромной силе и храбрости, решительному и неукротимому нраву и еще потому, что, по общему мнению, которое он сам всячески поддерживает, он пользуется покровительством сверхъестественных сил и может предсказывать будущее,— Аллан Мак-Олей окружен в клане гораздо большим почетом, нежели его старший брат. Ангюс, бесспорно, человек достойный и храбрый, но не выдерживает сравнения со своим необыкновенным младшим братом.

— Такая личность,— заметил Андерсон,— должна, несомненно, оказывать огромное влияние на умы наших горцев. Мы должны во что бы то ни стало заручиться содействием Аллана, милорд. С его отчаянной отвагой и даром предвидения...

— Тсс,— шепнул лорд Ментейт,— сова просыпается.

— Я слышу, вы говорите о deuteroscopia, сиречь о ясно-

видении,— проговорил капитан.— Помню, блаженной памяти майор Мунро рассказывал мне, как волонтер в его роте, славный солдат Мардох Макензи, уроженец Ассинта, предсказал смерть Доналда Тафа из Лохэбера и нескольких других лиц, а также самого майора при внезапной атаке во время осады Штральзунда...

— Я часто слышал об этом даре,— заметил Андерсон,— но всегда считал тех, кто себе приписывает его, либо безумцами, либо просто обманщиками.

— Не могу причислить ни к тем, ни к другим своего родственника Аллана Мак-Олея,— возразил лорд Ментейт.— Он слишком часто проявляет проницательность и здравомыслие, в чем вы сегодня вечером имели случай убедиться, чтобы назвать его безумцем; а его высокое понятие о чести и его мужественный нрав, бесспорно, снимают с него обвинение в умышленном обмане.

— Итак, вы, ваша светлость, верите в его способность предрекать будущее? — спросил Андерсон.

— Отнюдь нет,— отвечал молодой граф.— Я полагаю, что просто он сам внушает себе, будто прорицания, которые в действительности лишь плод здравых наблюдений и раздумий, подсказаны ему какими-то сверхъестественными силами, точно так же как религиозные фанатики принимают игру своего воображения за откровение свыше. Во всяком случае, если это объяснение не удовлетворяет вас, Андерсон, я ничего лучшего не могу придумать; да, кстати, после такого утомительного путешествия нам всем давно уже пора спать.

## ГЛАВА VI

Облик грядущего — тенью пред нами!

*Кэмбел*

Утром гости, ночевавшие в замке, поднялись спозаранку, и лорд Ментейт, переговорив со своими слугами, обратился к капитану, который, усевшись в уголок, начищал свои доспехи крупным песком и замшей, мурлыча себе под нос песню, сложенную в честь непобедимого Густава-Адольфа:

Пусть носятся ядра, гремит канонада,
Вы смерти не бойтесь, вам слава — награда!

— Капитан Дальгетти,— сказал лорд Ментейт,— настало время, когда мы с вами должны либо распрощаться, либо стать товарищами по оружию.

— Надеюсь, однако, не раньше, чем мы позавтракаем? — спросил капитан Дальгетти.

— А я думал, что вы запаслись провиантом, по крайней мере, дня на три,— заметил граф.

— У меня еще осталось немного места для мяса и овсяных лепешек,— отвечал капитан,— а я никогда не упускаю случая пополнить свои запасы.

— Однако,— возразил лорд Ментейт,— ни один разумный полководец не потерпит, чтобы парламентеры или посланцы нейтральной стороны оставались в его лагере дольше, чем это позволяет осторожность; поэтому нам необходимо точно узнать ваши намерения, после чего мы либо отпустим вас с миром, либо будем приветствовать вас как своего соратника.

— Коли на то пошло,— сказал капитан,— я не намерен оттягивать капитуляцию лицемерными переговорами (как это отлично проделал сэр Джеймс Рэмзи при осаде Ганнау в лето от рождества Христова тысяча шестьсот тридцать шестое) и откровенно признаюсь, что если ваше жалованье придется мне так же по душе, как ваш провиант и ваше общество, то я готов тотчас же присягнуть вашему знамени.

— Жалованье мы теперь можем назначить очень небольшое,— отвечал лорд Ментейт,— ибо выплачивается оно из общей казны, которая пополняется теми из нас, у кого есть кое-какие средства. Я не имею права обещать капитану Дальгетти больше полталера в сутки.

— К черту все половинки и четвертушки! — воскликнул капитан.— Будь на то моя воля, я не позволил бы делить пополам этот талер, так же как женщина на суде Соломона не позволила разрубить пополам свое собственное дитя.

— Это сравнение едва ли уместно, капитан Дальгетти, ибо я уверен, что вы скорее бы согласились разделить талер пополам, нежели отдать его целиком вашему сопернику. Впрочем, я могу обещать вам целый талер, с тем что задолженность будет покрыта по окончании похода.

— Ох, уж эта задолженность! — заметил капитан Дальгетти.— Вечно обещают покрыть ее и никогда не держат слова. Что Испания, что Австрия, что Швеция — все поют одну и ту же песню! Вот уж дай бог здоровья голландцам: хоть они никуда не годные солдаты и офицеры, но зато платить — мастера! И, однако, милорд, если бы я мог удостовериться в том, что

мое родовое поместье Драмсуэкит попало в руки какого-нибудь негодяя из числа пресвитериан, которого в случае нашего успеха можно было бы признать изменником и отобрать у него землю, то я, пожалуй, согласился бы воевать заодно с вами, так сильно я дорожу этим плодородным и красивым уголком.

— Я могу ответить на вопрос капитана Дальгетти,— сказал Сибболд, второй слуга графа Ментейта,— ибо если его родовое поместье Драмсуэкит не что иное, как пустынное болото, лежащее в пяти милях к югу от Эбердина, то я могу ему сообщить, что его недавно купил Элпас Стрэкен, отъявленный мятежник, сторонник парламента.

— Ах он лопоухий пес! — воскликнул капитан Дальгетти в бешенстве.— Кто дал ему право покупать наследственное имение, принадлежавшее нашему роду в течение четырех столетий! Cynthius aurem vellet [1], как говорили у нас в духовном училище; это означает, что я за уши вытащу его из дома моего отца! Итак, милорд, отныне моя рука и мой меч принадлежат вам; я весь ваш, телом и душой, пока смерть нас не разлучит или до конца ближайшего похода: смотря по тому, что наступит раньше.

— А я,— сказал молодой граф,— скреплю наш договор, выдав вам жалованье за месяц вперед.

— Это даже лишнее,— заявил Дальгетти, торопясь, однако, припрятать деньги в карман.— А теперь я должен спуститься вниз, осмотреть свое боевое седло и амуницию, позаботиться, чтобы Густаву дали корму, и сообщить ему, что мы с ним снова поступаем на службу...

— Хорош наш новый союзник! — обратился лорд Ментейт к Андерсону, как только капитан вышел.— Боюсь, что нам от него будет мало чести.

— Зато он умеет воевать по-новому,— заметил Андерсон,— а без таких офицеров нам едва ли удастся достигнуть успеха в нашем предприятии.

— Сойдем-ка и мы вниз,— отвечал лорд Ментейт,— посмотрим, как идет сбор, ибо я слышу шум и суету в замке.

Когда они вошли в зал, где слуги почтительно стояли у стен, лорд Ментейт обменялся приветствием с хозяином и его английскими гостями; Аллан, сидевший у очага на той же скамье, что и накануне вечером, не обратил на вошедших ни малейшего внимания.

---

[1] Кинфий дернет за ухо *(лат.)*.

В это время старик Доналд поспешно вбежал в комнату.

— Посланный от Вих-Элистер Мора;[1] он прибудет сегодня к вечеру.

— А много ли с ним людей? — спросил Мак-Олей.

— Двадцать пять — тридцать человек,— отвечал Доналд,— его обычная свита.

— Навали побольше соломы в большом сарае,— приказал хозяин.

Тут, спотыкаясь, вбежал в зал другой слуга и объявил о приближении сэра Гектора Мак-Лина, «прибывающего с большой свитой».

— Этих тоже в большой сарай,— распорядился Мак-Олей,— только в другом углу, а то они, того и гляди, передерутся.

Снова появился Доналд; лицо старика выражало полную растерянность.

— Видно, народ взбесился,— заявил он.— Мне думается, все горцы поднялись с места. Эван Дху из Лохиеля будет здесь через час, а сколько с ним людей — один бог ведает.

— Отведи им помещение в солодовне,— сказал хозяин.

Слуги не успевали докладывать о прибытии все новых и новых вождей, из которых ни один не согласился бы пуститься в путь без свиты в шесть-семь человек. При каждом новом имени Ангюс Мак-Олей отдавал приказание отвести помещение для вновь прибывающих: конюшни, сеновал, скотный двор, сараи — словом, все службы радушно предоставлялись на эту ночь в распоряжение гостей. Появление Мак-Дугала Лорна, приехавшего, когда все уже было занято, привело хозяина в немалое замешательство.

— Что же, черт возьми, теперь делать, Доналд? — промолвил он.— В большом сарае, пожалуй, поместилось бы еще человек пятьдесят, если бы потеснее уложить их друг на дружку; но они пустят в ход ножи из-за того, кому где лежать, и к утру мы застанем в сарае кровавое месиво.

— О чем тут думать? — сказал Аллан, вскакивая и подходя к брату со свойственной ему стремительностью.— Разве у нынешних шотландцев тело слабее или кровь жиже, чем у их отцов? Выкати им бочку асквибо — вот им и ужин. Вереск будет им ложем, пледы — постелью, чистое небо — пологом. И если прибудет хоть тысяча горцев — всем хватит места на широком лугу!

---

[1] Родовое имя Мак-Доннела Гленгарри.

— Аллан прав,— заметил его брат.— Странно,— добавил он, обращаясь к Масгрейву,— что Аллан, который, говоря между нами, не совсем в своем уме, часто оказывается разумнее всех нас, вместе взятых! Понаблюдайте за ним.

— Да,— продолжал Аллан, вперив мрачный взор в глубину зала,— пусть начнут с того, чем кончат. Многие из тех, что нынче уснут здесь на вереске, когда подуют осенние ветры, будут лежать на этом лугу, не чувствуя стужи и не сетуя на холодную постель.

— Не предсказывай, брат! — воскликнул Ангюс.— Ты накличешь беду.

— А чего же иного ты ждешь? — спросил Аллан, и вдруг глаза его закатились, судорога пробежала по всему телу, и он упал на руки Доналда и старшего брата, уже ожидавших припадка и потому успевших подхватить больного.

Они усадили его на скамью и поддерживали под руки, пока он не пришел в себя и не попытался снова заговорить.

— Ради бога, Аллан,— обратился к нему брат, хорошо знавший, какое тяжелое впечатление могли произвести на гостей его пророчества,— не говори ничего, что могло бы лишить нас мужества!

— Я ли могу лишить вас мужества? — спросил Аллан.— Пусть каждый идет навстречу своей судьбе, как я иду навстречу своей. Чему быть, того не миновать. И много славных побед одержим мы на поле брани, прежде чем выйдем к месту последнего побоища или взойдем на черную плаху.

— Какое побоище? Какая плаха? — послышались голоса со всех сторон, ибо Аллан давно заслужил среди горцев славу ясновидца.

— Вы и так слишком скоро это узнаете,— отвечал Аллан.— А теперь оставьте меня. Я устал от ваших вопросов.— Он прижал руку ко лбу, оперся локтем о колено и погрузился в глубокое раздумье.

— Пошли за Эннот Лайл и вели принести арфу,— шепнул Ангюс своему слуге.— А вас, господа, прошу пожаловать к столу; надеюсь, вы не побрезгуете нашим неприхотливым завтраком.

Все, кроме Ментейта, последовали за гостеприимным хозяином. Молодой граф остановился в глубокой амбразуре одного из окон.

Вскоре в комнату неслышно скользнула Эннот Лайл; она вполне оправдывала слова лорда Ментейта, назвавшего ее са-

мым воздушным, волшебным созданьем, когда-либо ступавшим по зеленой лужайке в лучах лунного света. Она была мала ростом и потому казалась очень юной, и хотя ей уже шел восемнадцатый год, ее можно было принять за тринадцатилетнюю девочку. Ее прелестная головка, кисти рук и ступни так хорошо гармонировали с ее ростом и легким, воздушным станом, что сама царица фей Титания едва ли могла бы найти более достойное воплощение. Волосы у Эннот были несколько темнее того, что принято называть льняными, и густые кудри красиво обрамляли ее нежное лицо, выражавшее простодушную веселость. Если ко всему этому добавить, что девушка, несмотря на свою сиротскую долю, казалась самым жизнерадостным и счастливым существом на свете, читателю станет понятным то внимание, которым она была окружена. Эннот Лайл была всеобщей любимицей; она появлялась среди суровых обитателей замка, «словно луч солнца над мрачной морской пучиной»,— как выразился о ней, пребывая в поэтическом настроении, сам Аллан,— вселяя в окружающих кроткую радость, которой было переполнено ее сердце.

Когда Эннот показалась на пороге, лорд Ментейт вышел из своего убежища и, подойдя к молодой девушке, приветливо пожелал ей доброго утра.

— Доброго утра и вам, милорд,— вспыхнув, отвечала она и с улыбкой протянула ему руку.— Не часто мы видим вас в замке в последнее время. А сейчас, боюсь, вы приехали сюда не с мирными намерениями.

— Во всяком случае, Эннот, я не помешаю вам наслаждаться музыкой,— возразил лорд Ментейт,— хотя мое появление в замке, быть может, и внесет разлад. Бедняге Аллану сейчас нужны ваша игра и ваше пение.

— Мой избавитель,— сказала Эннот Лайл,— имеет право на мое скромное дарование, так же как и вы, милорд,— вы ведь тоже мой избавитель: вы принимали самое горячее участие в спасении моей жизни, которая сама по себе не имела бы никакой цены, если бы я не могла быть хоть чем-нибудь полезной моим покровителям.

С этими словами она села на скамью, недалеко от Аллана Мак-Олея, и, настроив свою небольшую арфу — размером около тридцати дюймов,— запела, аккомпанируя себе. Она напевала старинную гэльскую мелодию, и слова этой песни, на том же языке, были очень древнего происхождения. Мы прилагаем ее здесь в переводе Секундуса Макферсона, эсквайра из Гленфоргена; и хотя перевод подчинен законам английского стихосло-

жения, мы надеемся, что он не менее достоверен, чем перевод Оссиана, сделанный его знаменитым однофамильцем.

1

Нам беду сулить готовы
Вороны, сычи и совы.
Спит больной. Летите прочь!
Крик ваш слушал он всю ночь.
Прочь в руины, в подземелья.
В чащу зарослей, в ущелья —
В царство мрака! Чу, с высот
Жаворонок песню льет!

2

Убегайте в топь, в леса,
Волк-шатун, юла-лиса!
Близок хлев, а в нем — ягнятки,
Убегайте без оглядки,
Не оставив и следа.—
День идет, а с ним — беда.
Слышите: вдали, у лога,
Будят эхо звуки рога.

3

Как призрак тает, все бледнея,
Луна с рассветом. Злая фея,
Фантом, пугающий в пути
Скитальцев робких, прочь лети!
Гаси свой факел, дух бесплотный,
Он в топь ведет во тьме болотной,
Ты отплясал, твой срок истек —
Уже в лучах горит восток.

4

Рой грешных мыслей, черных дум,
Во сне гнетущих вялый ум.
Отхлынь от спящего. Так тает
Туман, когда заря блистает.
И ты, злой дух, чей страшный вид
Нам кровь и сердце леденит,
Шпорь вороного! Убирайся
И с ликом солнца не встречайся!

Во время пения Аллан Мак-Олей постепенно пришел в себя и начал сознавать, что происходит кругом. Глубокие мор-

щины на лбу разгладились, и черты его, искаженные душевной болью, стали спокойней. Когда он поднял голову и выпрямился, выражение его лица, оставаясь глубоко печальным, утратило, однако, прежнюю дикость и жестокость, и теперь Аллан казался мужественным, благородным и не лишенным привлекательности, хотя его отнюдь нельзя было назвать красивым. Густые темные брови уже не были угрожающе сдвинуты, а его серые глаза, перед тем исступленно сверкавшие зловещим огнем, смотрели теперь спокойно и твердо.

— Слава богу,— произнес он после минутного молчания, когда замерли последние звуки арфы.— Рассудок мой больше не затемнен... Туман, омрачавший мою душу, рассеялся...

— За эту счастливую перемену, брат Аллан,— сказал лорд Ментейт, подходя к нему,— ты должен благодарить не только господа бога, но и Эннот Лайл.

— Благородный брат мой Ментейт,— отвечал Аллан, вставая со скамьи и здороваясь с графом столь же почтительно, сколь и приветливо,— хорошо знает мой тяжкий недуг и по доброте своей не посетует на то, что я столь поздно приветствую его как гостя этого замка.

— Мы с тобой такие старые знакомые, Аллан,— сказал лорд Ментейт,— и к тому же такие добрые друзья, что всякие церемонии между нами излишни, но сегодня здесь соберется добрая половина всех горных кланов, а с их вождями, как тебе известно, необходимо соблюдать все правила учтивости. Как же ты отблагодаришь Эннот за то, что она сделала тебя способным принять Эвана Дху и еще невесть сколько гостей в шапках с перьями?

— Чем он отблагодарит меня? — сказала Эннот, улыбаясь.— Да, уж надеюсь, не меньше, чем самой лучшей лентой с ярмарки в Дуне.

— С ярмарки в Дуне, Эннот? — печально повторил Аллан.— Много прольется крови, прежде чем наступит этот день, и, быть может, мне не суждено увидеть его. Но хорошо, что ты напомнила мне о том, что я давно хотел сделать.

С этими словами он вышел из комнаты.

— Если он будет продолжать в том же духе,— заметил лорд Ментейт,— вам придется постоянно держать наготове вашу арфу, милая Эннот.

— Надеюсь, что нет,— грустно промолвила Эннот.— Этот припадок длился очень долго и, вероятно, не скоро повторится.

Как ужасно видеть человека от природы великодушного и доброго и пораженного столь жестоким недугом!

Она говорила так тихо, что лорд Ментейт невольно подошел поближе и слегка наклонился к ней, чтобы лучше уловить смысл ее слов. При неожиданном появлении Аллана они так же невольно отшатнулись друг от друга с виноватым видом, словно застигнутые врасплох во время разговора, который они хотели бы сохранить в тайне от него. Это не ускользнуло от внимания Аллана; он резко остановился в дверях, лицо его исказилось, глаза грозно сверкнули; но это длилось лишь одно мгновение. Он провел по лицу своей широкой мускулистой рукой, точно желая стереть все следы гнева, и подошел к Эннот, держа в руке небольшой дубовый ларчик с причудливой инкрустацией.

— Будь свидетелем, лорд Ментейт,— сказал Аллан,— что я дарю Эннот Лайл этот ларец и все, что в нем хранится. Это немногие драгоценности, принадлежавшие моей покойной матери. Пусть вас не удивляет, что большой цены они не имеют,— жена шотландского горца редко владеет дорогими украшениями.

— Но это же фамильные драгоценности,— кротко и смущенно произнесла Эннот, отстраняя ларец.— Я не могу принять их.

— Они принадлежат лично мне, Эннот,— прервал ее Аллан.— Моя мать, умирая, завещала их мне. Это все, что я могу назвать своим, кроме пледа и палаша. Возьми эти безделушки, мне они не нужны, и сохрани их в память обо мне... если мне не суждено вернуться с этой войны...

С этими словами он открыл ларец и подал его Эннот.

— Если эти вещи имеют хоть какую-нибудь ценность,— продолжал он,— располагай ими, они поддержат тебя, когда этот дом погибнет в огне и тебе негде будет приклонить голову. Но, прошу тебя, сохрани одно кольцо на память об Аллане, который за твою доброту отблагодарил тебя как мог, если и не сделал всего того, что бы желал.

Тщетно старалась Эннот Лайл удержать подступившие к глазам слезы в то время, как она говорила:

— Одно кольцо я приму от тебя, Аллан, как память о твоей доброте к безродной сиротке; но не заставляй меня брать ничего больше, ибо я и не хочу и не могу принять столь драгоценного подарка.

— Тогда выбирай,— сказал Аллан,— быть может, ты и права; остальное будет превращено в нечто более полезное для тебя же самой.

— И не думай об этом! — сказала Эннот, выбрав одно колечко, показавшееся ей самым малоценным из всех украшений.— Сохрани их для своей будущей невесты или для невесты твоего брата... Боже мой! — воскликнула она, глядя на кольцо.— Что это я выбрала?

Аллан бросил на кольцо быстрый взгляд, исполненный тревоги и страха: на эмалевом поле кольца был изображен череп над двумя скрещенными кинжалами. Увидев эту эмблему, Аллан так горестно вздохнул, что Эннот невольно выпустила кольцо из рук, и оно покатилось по полу. Лорд Ментейт поднял его и подал дрожавшей от страха Эннот.

— Бог свидетель,— торжественно произнес Аллан,— что твоя, а не моя рука поднесла ей этот зловещий подарок! Это траурное кольцо, которое моя мать носила в память о своем убитом брате.

— Я не боюсь дурных примет,— сказала Эннот, улыбаясь сквозь слезы,— и ничто, полученное из рук моих покровителей (так Эннот любила называть Аллана и лорда Ментейта), не может принести несчастья бедной сироте.

Она надела кольцо на палец и, перебирая струны арфы, запела веселую песенку, бывшую в то время в большой моде,— неизвестно какими судьбами эта песенка, отмеченная всеми признаками изысканной и вычурной поэзии эпохи Карла Первого, попала прямо с какого-нибудь придворного маскарада в дикие горы Пертшира:

Не в звездах вся судьба людей,
Их жизни перемены,—
Гляди, гадая, чародей,
В глаза моей Елены.

Но не сули мне, звездочет,
Измены и разлуки.
Чтоб не изведать в свой черед
Такой же горькой муки.

— Она права, Аллан,— сказал лорд Ментейт,— и конец этой песенки справедливо говорит о том, как тщетны все наши попытки заглянуть в будущее.

— Нет, она не права,— мрачно возразил Аллан,— хотя ты, столь легкомысленно отвергающий мои предостережения, может быть, и не увидишь, как сбудется это знамение. Не смейся так презрительно,— продолжал он,— или, впрочем, смейся сколько тебе угодно, скоро твоему веселью будет положен предел!

— Твои пророчества меня не устрашат, Аллан,— сказал лорд Ментейт.— Как бы коротка ни была отпущенная мне жизнь, нет того ясновидца, который мог бы увидеть ее конец.

— Замолчите, ради всего святого! — воскликнула Эннот, прерывая его.— Ведь вы же знаете его нрав и знаете, что он не терпит...

— Не бойся, Эннот,— сказал Аллан, перебивая ее.— Мысли мои ясны и душа спокойна. Что касается тебя, Ментейт,— продолжал он, обращаясь к графу,— то знай: мои взоры искали тебя на полях сражений, усеянных телами горцев из Верхней и Нижней Шотландии так густо, как густо усеяны грачами ветви этих вековых деревьев.— И он указал на рощу, видневшуюся за окном.— Мои взоры искали тебя, но твоего трупа там не было... Мои взоры искали тебя в рядах захваченных в плен и обезоруженных воинов, выстроенных во дворе старинной полуразрушенной крепости; залп за залпом вражеские пули сыпались на них... взвод за взводом они падали, как сухие осенние листья... но тебя не было среди них... Я видел, как воздвигают помосты и готовят плахи; видел землю, посыпанную опилками, священника с молитвенником и палача с топором,— но и здесь мои взоры не нашли тебя.

— Так, значит, мне судьбой предназначена виселица! — сказал лорд Ментейт.— Однако я надеюсь, что меня избавят от петли, хотя бы из уважения к моему старинному роду.

Он произнес эти слова небрежным тоном, но в них сквозили любопытство и тайная надежда получить ответ; ибо желание заглянуть в будущее нередко овладевает даже теми, кто отказывается верить в самую возможность подобных пророчеств.

— Твое знатное имя не понесет бесчестья ни от тебя, ни от твоей смерти. Трижды видел я, как горец наносит тебе удар кинжалом в грудь,— такова участь, уготованная тебе судьбой.

— Скажи мне, каков этот горец,— сказал лорд Ментейт,— и я избавлю его от труда выполнять твое пророчество, если только плед его не окажется непроницаемым для пули или для острия меча.

— Оружие едва ли спасет тебя,— отвечал Аллан,— и я не могу удовлетворить твое желание: видение упорно отвращало от меня свое лицо.

— Да будет так,— сказал лорд Ментейт.— И пусть оно останется в тумане, которым окутано твое предсказание. Это

не помешает мне весело пообедать среди ваших пледов, кинжалов и юбок.

— Может быть, оно и так,— отвечал Аллан,— и, может быть, ты прав, что наслаждаешься минутами, которые для меня отравлены предчувствием грядущих бед. Но запомни,— продолжал он,— вот это оружие, то есть такое оружие, как это,— Аллан дотронулся до рукоятки своего кинжала,— решит твою участь.

— А пока что,— заметил лорд Ментейт,— ты, Аллан, до того перепугал Эннот Лайл, что вся кровь отхлынула у нее от лица. Оставим же этот разговор, мой друг, и обратимся к тому, что мы оба понимаем одинаково хорошо,— пойдем посмотрим, как идут наши военные приготовления.

Они присоединились к обществу Ангюса Мак-Олея и его английских гостей, и в тотчас же начавшемся обсуждении военных планов Аллан проявил ясность ума, трезвость и точность мышления, казалось бы совершенно несовместимые с теми мистическими настроениями, во власти которых он только что находился.

## ГЛАВА VII

Лишь Альбин во гневе палаш обнажит —
Строй неколебимых ее окружит.
Морея и Раналда смелые кланы —
Шотландские пледы, береты, тартаны...

*«Пророчество Лохиеля»*

Замок Дарнлинварах, где в это утро царило особое оживление представлял собой поистине блестящее зрелище.

Предводители различных кланов, как полагалось в торжественных случаях, появлялись в сопровождении многочисленной свиты и отрядов телохранителей; они приветствовали владельца замка, а также друг друга, выказывая при этом либо чрезвычайную радость, либо высокомерие и холодную вежливость, в зависимости от того, в дружеских или враждебных отношениях находились в последнее время их кланы. Каждый предводитель, как бы мало ни было значение его клана, явно считал себя вправе ожидать от остальных проявления тех знаков почтения, которые подобали самостоятельному и независимому суверену; с другой стороны, сильные и могущественные вожди, не ладившие между собой по причине недавних распрей или исконной вражды, улещали своих маломощных собратьев, дабы на всякий случай заручиться их помощью и

поддержкой. Поэтому сбор предводителей кланов в замке Дарнлинварах весьма напоминал древние ландтаги священной империи, где самый захудалый барон, все владения которого ограничивались замком, торчащим на голой скале, и сотней-другой акров земли вокруг, притязал на ранг суверенного государя и на соответствующее этому рангу место среди высших сановников страны.

Свита каждого предводителя клана располагалась обычно отдельно от него, в отведенном для нее помещении, однако вождь оставлял при себе своего пажа, который прислуживал ему, следуя за ним как тень и исполняя малейшее требование своего повелителя.

Во дворе замка можно было наблюдать довольно своеобразную картину. Горцы, съехавшиеся со всех концов Верхней Шотландии, с островов, из горных ущелий и долин, поглядывали друг на друга издали, кто с любопытством, кто с затаенным чувством зависти, а кто и с явным недоброжелательством. Но самым поразительным явлением на этом сборище, по крайней мере для непривычного слуха южанина, было состязание волынщиков. Каждый из этих воинственных менестрелей был глубоко убежден в превосходстве своего клана и чрезвычайно гордился своим искусством; сначала они играли бравурные пиброхи, стоя впереди своих отрядов. Но затем, наподобие тетеревов, которые, как говорят охотники, к концу лета токуют, то есть собираются стаями, привлеченные ликующим клекотом своих собратьев,— все волынщики, распустив свои пледы и клетчатые юбочки так же победоносно, как птицы распускают свои хвосты, начинали понемногу приближаться друг к другу на такое расстояние, чтобы дать возможность соперникам оценить их игру.

Гордо и вызывающе глядя друг на друга, они изо всех сил дули в свои визгливые инструменты и извлекали из них такие пронзительные звуки (причем каждый наигрывал свой излюбленный мотив), что, если бы какой-нибудь музыкант-итальянец был похоронен даже за десять миль от этих мест, он, наверное, восстал бы из гроба, чтобы убежать подальше.

Между тем в большом зале замка происходило тайное совещание всех предводителей кланов. Среди них были люди весьма знатные и влиятельные; многих привлекла сюда искренняя преданность королю, других — ненависть к жестокому и могущественному Аргайлу, который занимал первенствующее положение в стране и все сильнее притеснял своих менее удачливых соседей. И в самом деле, маркиз, человек весьма ода-

репный, располагавший большой властью, имел, однако, столь существенные недостатки, что оттолкнул от себя большинство предводителей горных кланов. Благочестие его носило характер мрачный и фанатичный; честолюбие не знало пределов, и многие из подчиненных ему вождей жаловались на его мелочность и скупость. Добавим к этому, что, хотя он был уроженцем гор, из старинного рода, до и после него прославившегося своей доблестью, Джилспай Грумах [1] (этим прозвищем он обязан был своему косоглазию, и так его и величали на севере, где не знают ни титулов, ни званий) слыл скорее тонким политиком, нежели храбрым воином. Он и его род были особенно ненавистны Мак-Доналдам и Мак-Линам, двум многочисленным кланам, которые, хоть и враждовали исстари между собой, объединились в общей ненависти к Кэмбелам, или — как их все называли — к Сынам Диармида.

Собравшиеся вожди некоторое время безмолвствовали, ожидая, чтобы кто-нибудь начал первым. Наконец один из самых могущественных предводителей заговорил:

— Мы были приглашены сюда, Мак-Олей, для совещания по важным вопросам, касающимся короля и государства; и мы желаем знать, кто возьмет на себя обязанность изложить собранию суть дела.

Мак-Олей, не отличавшийся красноречием, высказал пожелание, чтобы эту обязанность взял на себя лорд Ментейт. Скромно, но вместе с тем с большим воодушевлением молодой лорд начал свою речь, сказав, что он предпочел бы, чтобы предложения, которые он намерен внести, исходили от лица более известного и почтенного, нежели он. Но если уж на его долю выпала эта честь, он должен сообщить собранию, что те, кто желает сбросить с себя постыдное ярмо, которое слепой фанатизм стремится надеть им на шею, не должны терять ни минуты.

— Сторонники ковенанта,— продолжал он,— уже дважды вооружались против своего монарха и вынудили его удовлетворить все их требования, как разумные, так и не разумные. И после того как их военачальники были осыпаны наградами и почестями, после того как, вслед за милостивым посещением его величеством своего родного края перед отбытием в Англию, было всенародно провозглашено, что «довольный король возвращается от довольного народа»,— после всего этого, без какой-либо уважительной причины, а лишь из-за догадок и подо-

[1] Grumach — злополучный.

зрений, столь же оскорбительных для короля, сколь неосновательных по существу, эти же самые люди выслали сильную армию на помощь мятежному английскому парламенту, хотя эти междоусобные распри так же мало касаются шотландцев, как войны в Германии. И хорошо еще,— продолжал лорд Ментейт,— что поспешность, с какой они совершили это предательство, помешала узурпаторам, захватившим в свои руки управление Шотландией, разглядеть опасность, которой они тем самым подвергали самих себя. Армия, посланная в Англию под начальством Ливена, состоит из старых, испытанных ветеранов; это цвет того войска, которое было набрано в Шотландии во время двух последних войн...

Тут капитан Дальгетти попытался было встать, чтобы разъяснить присутствующим, какое количество опытных офицеров, искушенных в германских войнах, должно было, по его точным сведениям, находиться в войсках графа Ливена. Но Аллан Мак-Олей одной рукой удержал его на месте, приложив, в знак молчания, указательный палец другой руки к своим губам, и хоть не без труда, но предотвратил вмешательство бравого воина. Капитан Дальгетти бросил на своего соседа негодующий и полный презрения взгляд, впрочем нисколько того не смутивший, и лорд Ментейт беспрепятственно продолжал свою речь.

— Настал час,— сказал он,— наиболее благоприятный для того, чтобы каждый честный, преданный королю шотландец мог доказать, что в этой измене повинна только горсточка своекорыстных и честолюбивых мятежников, а также слепой фанатизм, проповедуемый с пятисот церковных кафедр и бурным потоком разлившийся по всей Нижней Шотландии.

Лорд Ментейт сообщил также, что он получил письма с севера, от маркиза Хантли, которые он охотно покажет каждому из присутствующих вождей. Этот вельможа, столь же преданный королю, сколь могущественный, готов оказать самое горячее содействие общему делу, и к нему готов присоединиться могущественный граф Сифорт. Подобные же заверения пришли от графа Эйрли и от клана Огилви из Ангюсшира; нет сомнения в том, что все они, вместе с кланами Хэйсов, Лейтов, Барнетов и прочими преданными королю дворянами, сядут на коней, и силы их будут более чем достаточны для устрашения северных мятежников, которые уже не раз имели случай испытать на себе их доблесть в прошлых битвах.

— К югу от залива Форт и реки Тэй,— продолжал Ментейт,— у короля немало приверженцев; недовольные вынуж-

денной присягой, принудительным рекрутским набором, непосильными налогами, несправедливо назначаемыми и неравномерно взимаемыми, изнемогая под гнетом деспотического управления парламента и инквизиторской власти пресвитерианских священнослужителей, они только и ждут, когда взовьется королевское знамя, чтобы взяться за оружие. Дуглас, Трекуэр, Роксбург, Юм — все они преданы делу короля и сумеют оказать противодействие влиянию пресвитериан на юге; а присутствующие среди нас двое знатных и почтенных англичан могут поручиться за поддержку графств Камберленд, Уэстморленд и Нортумберленд. Против столь многочисленного и доблестного войска южные ковенантеры могут выставить лишь неотесанных новобранцев: пастухов западных графств да пахарей и ремесленников с юга. Что касается западных гор, то там парламент не имеет приверженцев, за исключением одного человека, хорошо всем известного и одинаково всем ненавистного. Но кто же из присутствующих, при виде доблести, могущества и знатности собравшихся здесь вождей, хотя на миг усомнится в том, что они могут победить любое войско, которое выставит против них Джилспай Грумах?

В заключение лорд Ментейт сообщил, что армия обеспечена крупными денежными средствами и вооружением (при этих словах Дальгетти навострил уши); что для обучения солдат, которым понадобится преподать военное ремесло, приглашены опытные военачальники, один из которых находится в данное время среди присутствующих (тут капитан Дальгетти приосанился и обвел взглядом собрание); что многочисленный отряд вспомогательных войск из Ирландии, снаряженный графом Энтримом в Улстере, благополучно высадился на шотландском берегу, с помощью войска Раналда захватил и укрепил замок Мингарри и, несмотря на попытку Аргайла преградить ему путь, ускоренным маршем направляется сюда.

— Теперь остается только одно,— сказал Ментейт,— чтобы собравшиеся здесь благородные вожди, отбросив все мелочные побуждения, объединились ради общего дела. Разошлите огненные кресты по своим кланам, соберите все свои силы, не теряя ни минуты, не давая неприятелю ни подготовиться, ни опомниться от страха, который охватит его при первых звуках ваших волынок. Я сам, хоть и не могу причислить себя к наиболее богатым и могущественным дворянам Шотландии, чувствую себя обязанным отстоять честь своего древнего и благородного рода, сражаясь за независимость древней и благородной нации, и готов пожертвовать жизнью и всем своим достоянием

ради этого великого дела. И если те, кто могущественнее меня, проявят не меньшую преданность нашему делу, то я не сомневаюсь в том, что они заслужат благодарность своего короля и признательность потомства.

Громкие крики одобрения раздались в ответ на речь лорда Ментейта; это свидетельствовало о том, что все присутствующие разделяют высказанные им чувства; однако, когда шум утих, собравшиеся продолжали переглядываться, как будто еще что-то оставалось недосказанным. Пошептавшись с соседями, с ответным словом выступил убеленный сединами старик, преклонный возраст которого давал ему право на всеобщее уважение, хоть он и не принадлежал к могущественным предводителям кланов.

— Тан ментейтский! — заговорил он.— Ты хорошо сказал, и нет среди нас ни одного, в чьей груди не горели бы те же чувства. Но не только сила побеждает в сражении; ум полководца, не менее чем рука воина, ведет к победе. Я спрашиваю тебя: кто же поднимет и будет держать знамя, вокруг которого ты призываешь нас объединиться? Уж не думаешь ли ты, что мы пошлем воевать наших сыновей и лучших людей из наших кланов, не зная заранее, кому мы вверяем их жизнь? Неужели мы пошлем на убой тех, кого, по законам божеским и человеческим, мы призваны охранять? Где королевский указ, в силу которого его вассалы призываются к оружию? Какими бы простаками и невеждами нас ни считали, мы все же имеем понятие о правилах ведения войны, а также о законах нашей отчизны; и мы не намерены нарушать мир в Шотландии иначе, как по особому повелению короля и под предводительством военачальника, достойного вести в бой таких людей, какие ныне собрались здесь.

— Где вы найдете такого вождя,— сказал предводитель другого клана, вставая с места,— если не обратитесь к человеку, облеченному властью самим монархом, владеющему по своему рождению наследственным правом предводительствовать войском любого клана Верхней Шотландии? И кто этот вождь, как не отпрыск славного рода Вих-Элистер Мора?

— Я признаю, что нам нужен достойный предводитель,— резко прервал его другой вождь,— но не согласен с таким выводом. Если Вих-Элистер Мор желает, чтобы его считали наместником короля, пусть докажет, что его кровь краснее моей!

Лорд Ментейт бросился между ними, уговаривая и заклиная их помнить о том, что интересы Шотландии, ее свобода и

дело короля — важнее личных ссор из-за превосходства по рождению, власти и могуществу. Многие из присутствующих, не желавшие признавать главенства ни того, ни другого из спорящих, поддержали Ментейта, и решительнее всех высказался прославленный Эван Дху.

— Я прибыл со своих озер,— сказал он,— как поток устремляется по горному склону, не для того, чтобы поворотить вспять, а для того, чтобы выполнить свое назначение. Не тем послужим мы отчизне и королю Карлу, что будем оглядываться на свои старые споры. Я подам свой голос за того военачальника, которого назначит сам король и который, без сомнения, будет обладать всеми достоинствами, необходимыми для предводительства людьми, подобными нам. Он должен быть знатного рода, дабы мы не унизили себя, повинуясь ему; мудрым и опытным, дабы уберечь от опасности наших людей; храбрейшим из храбрых, дабы не пострадала наша честь; хладнокровным, твердым и решительным, дабы удержать нас в тесном союзе. Таков должен быть человек, который станет нашим главой. Готов ли ты, тан ментейтский, сказать нам, где найти такого вождя?

— Есть только один такой вождь,— произнес Аллан Мак-Олей.— Вот он,— добавил он, кладя руку на плечо Андерсона, стоявшего позади Ментейта,— здесь, перед нами!

В ответ на это среди присутствующих поднялся недоуменный и негодующий ропот, но Андерсон, откинув капюшон, закрывавший ему лицо, выступил вперед и сказал:

— Я не имел намерения слишком долго оставаться немым свидетелем этого военного совета, однако нетерпение моего друга заставило меня открыться несколько раньше, чем я предполагал. Достоин ли я высокого звания, возлагаемого на меня этой грамотой, и сумею ли я оправдать доверие короля,— покажет будущее. Вот приказ, скрепленный большой государственной печатью, на имя Джеймса Грэма, графа Монтроза, принять начальство над всеми войсками, которые будут призваны на службу его величества в шотландском королевстве.

Единодушный крик одобрения огласил зал. И в самом деле, никому иному, кроме Монтроза, не согласились бы подчиниться кичливые горцы. Старинная наследственная вражда его рода и рода маркиза Аргайла служила порукой тому, что он поведет войну решительно, а его слава блестящего и бесстрашного полководца вселяла надежду на благоприятный исход кампании.

**«Легенда о Монтрозе»**

## ГЛАВА VIII

> Наш замысел таков, что лучше не придумаешь. Друзья у нас верные и преданные. Славный замысел, славные друзья, можно надеяться на успех. Превосходный замысел, очень хорошие друзья.
>
> *«Генрих VI», ч. I*

Не успели смолкнуть возгласы радостного удивления, как со всех сторон раздались голоса, требовавшие тишины для оглашения королевского указа; и тотчас же, из уважения к высочайшему рескрипту, все обнажили головы, а до этой минуты собравшиеся сидели в шапках,— вероятно, потому, что никто не хотел первым оказать другому эту честь. Указ, весьма пространный и подробный, уполномочивал графа Монтроза призвать к оружию подданных его величества для усмирения мятежа, который подняли некоторые предатели и смутьяны против своего короля, тем самым изменив долгу верности и нарушив мир между обоими королевствами. Всем местным властям предписывалось повиноваться Монтрозу и оказывать помощь в его предприятии; сам граф получал право издавать приказы и постановления, карать провинившихся, миловать преступников, назначать и сменять правителей и военачальников. Словом, это была грамота, облекавшая Монтроза самой полной властью, какой монарх может наделить своего подданного.

Как только Монтроз закончил чтение, собравшиеся вожди одобрительными возгласами подтвердили свою готовность подчиниться воле короля. Монтроз не только выразил собранию свою признательность за столь лестный прием,— он поспешил поблагодарить каждого из присутствующих в отдельности. Все самые влиятельные предводители кланов были с давних пор знакомы ему лично, но он обратился даже к наименее знатным, обнаружив при этом отличное знание их прозвищ и знакомство с прошлым и настоящим каждого клана, что показывало, как тщательно он изучал нравы и обычаи горцев и как давно готовился к той высокой должности, которую теперь занял.

Сейчас, когда граф Монтроз расхаживал по залу, подходя по очереди к каждому из присутствующих, особенно резко бросалось в глаза несоответствие между его изящными манерами, выразительными чертами лица, благородной осанкой — и грубой простотой его одежды. Как это часто бывает, лицо Монтро-

за было одним из тех лиц, которые ничем не поражают с первого взгляда, но становятся тем привлекательней, чем дольше в них всматриваешься. Он был немного выше среднего роста, но превосходно сложен, обладал большой физической силой и редкой выносливостью. Здоровье у него было поистине железное, и это помогало ему переносить тяготы труднейших кампаний, во время которых он, словно простой солдат, подвергал себя всем опасностям и лишениям походной жизни. Ловкий, искусный в военных упражнениях и в мирных играх, он держался с той непринужденной грацией, которая свойственна людям, привыкшим приспосабливаться к любому положению.

Его длинные каштановые волосы, по обычаю, принятому среди знатных роялистов того времени, были расчесаны на прямой пробор и падали вдоль щек локонами, причем один завиток, на два или три дюйма длиннее остальных, спускался на лоб, указывая на то, что Монтроз следовал моде, против которой мистер Принн, как истый пуританин, почел своим долгом написать целый трактат под названием: «Непривлекательность локонов, долженствующих привлекать любовь». Лицо Монтроза было из тех, обаяние которых заключено не в правильности линий, а в своеобразии всего облика. Орлиный нос, большие проницательные серые глаза и здоровый румянец искупали некоторую тяжеловатость и неправильность нижней части лица, и поэтому наружность Монтроза была не лишена приятности. Но все, кому довелось видеть его в минуты, когда его взор светился вдохновением, кто слышал его пламенную речь,— восхищались его красотой, хотя, судя по сохранившимся до сего времени портретам, это было некоторым преувеличением. Во всяком случае, именно такое впечатление он произвел на собрание горных вождей, а, как известно, на вершине общественной лестницы всегда придается весьма большое значение внешности.

Объявив свои полномочия, Монтроз в дальнейшей беседе рассказал присутствующим, каким опасностям он подвергался, выполняя возложенное на него дело. Вначале он предполагал собрать отряд приверженцев короля на севере Англии, откуда они должны были, исполняя приказ маркиза Ньюкаслского, выступить в Шотландию. Однако нежелание англичан перейти границу и промедление графа Энтрима, который должен был высадиться со своим ирландским войском в заливе Солуэй, помешали Монтрозу выполнить это намерение. Другие его планы тоже потерпели крушение, и ему пришлось скрываться под чужим именем, дабы благополучно пробраться через Нижнюю

Шотландию, в чем ему оказал любезное содействие его родственник, граф Ментейт. Каким образом Аллан Мак-Олей сумел узнать его, он не пытался объяснить. Те, кто верил в пророческий дар Аллана, таинственно улыбались; но сам Аллан ответил только, что «граф Монтроз не должен удивляться тому, что его знают тысячи людей, которых он, конечно, не всегда может помнить».

— Клянусь своей воинской честью,— воскликнул капитан Дальгетти, улучив наконец минутку, чтобы вставить слово,— я почитаю за счастье и горжусь тем, что случай привел меня обнажить меч под начальством вашей светлости; и я готов забыть весь свой гнев, и досаду, и злобу против мистера Аллана Мак-Олея и великодушно простить ему, что он вчера оттащил меня на нижний конец стола. Правда, сегодня он говорил как человек, находящийся в здравом уме, так что я в глубине души пришел к убеждению, что он не имеет никакого права пользоваться преимуществом невменяемого. Но так как я перенес унижение ради благородного графа, моего будущего военачальника, я заявляю при всех, что признаю всю справедливость оказанного ему предпочтения и сердечно приветствую Аллана, как своего будущего bon camarado.

Произнеся эту речь, которой многие не поняли, а другие не слушали, капитан Дальгетти, не снимая рукавицы, схватил Аллана за руку и крепко потряс ее; Аллан ответил на это рукопожатие, сжав, словно тисками, руку капитана с такой силой, что железные чешуйки рукавицы впились тому в тело.

Капитан Дальгетти мог бы, пожалуй, усмотреть в этом новое оскорбление, если бы в то время, как он встряхивал пораненную руку и дул на нее, его внезапно не позвал сам граф Монтроз.

— Да будет вам известно, капитан Дальгетти... или, лучше сказать, майор Дальгетти...— проговорил он,— что ирландцы, которым предстоит перенять у вас ваш военный опыт, находятся сейчас всего в нескольких милях от нас.

— Наши охотники,— сказал Ангюс Мак-Олей,— посланные за дичью для дорогих гостей, слышали о появлении в наших краях отряда иноземцев, которые будто бы не говорят ни по-английски, ни на чисто гэльском наречии и с трудом объясняются с нашим населением; они идут в боевом порядке, при оружии и, как слышно, под предводительством Элистера Мак-Доналда, более известного под кличкой Колкитто-младший.

— Это, несомненно, наш отряд! — отозвался Монтроз.— Надо немедленно выслать им навстречу гонцов, чтобы их проводили сюда и помогли им.

— Последнее будет нелегко сделать,— заметил Ангюс Мак-Олей,— ибо до меня дошли сведения, что они, кроме мушкетов и небольшого количества боевых припасов, нуждаются решительно во всем: у них нет ни денег, ни обуви, ни одежды.

— Нет никакой надобности заявлять об этом столь громогласно,— сказал Монтроз.— Как только мы достигнем Глазго, мы позаботимся о том, чтобы тамошние ткачи-пуритане не замедлили снабдить их достаточным количеством тонкого сукна. А если в свое время пасторам удалось своими проповедями выманить у шотландских старух их запасы домотканого полотна, из которого повстанцы понаделали палаток в лагере при Данзлоу[1], то надеюсь, что и я сумею повлиять на них и заставить этих святош повторить свой патриотический дар, а их мужей — этих лопоухих мошенников — порастрясти свои кошельки!

— Что касается оружия,— начал капитан Дальгетти,— если ваша светлость позволит старому воину высказать свое мнение, я полагаю, что лишь одна треть войска должна быть вооружена мушкетами; для остальных я отдал бы предпочтение моему любимому оружию — пике: она пригодна как при сопротивлении конной атаке, так и при наступлении на пехоту. Простой кузнец может выковать сотню наконечников в день, а в лесу достаточно деревьев для древков. Я утверждаю, что, согласно всем правилам ведения войны, батальон, вооруженный пиками, построенный по образцу батальонов великого Северного Льва, бессмертного Густава-Адольфа, способен победить даже македонскую фалангу, о которой мне приходилось читать в духовном училище, когда я еще пребывал в древнем городе Эбердине. Далее, осмелюсь заранее предсказать...

Тут тактические выкладки капитана были внезапно прерваны Алланом Мак-Олеем, который торопливо произнес:

— Место нежданному и нежеланному гостю!

В ту же минуту двери зала распахнулись, и взорам собравшихся предстал убеленный сединами старик весьма почтенного вида; в его фигуре чувствовалась величавость и даже властность. Его гордая осанка, весь его облик выдавали человека, привыкшего повелевать. Войдя, он окинул строгим, почти

---

[1] Сторонники ковенанта стояли лагерем под Данзлоу во время смуты 1639 года.

грозным взглядом собравшихся вождей. Наиболее могущественные и знатные из них ответили на этот взгляд презрительным равнодушием, но некоторые дворяне помельче, из западных округов, несомненно, готовы были провалиться сквозь землю.

— К кому из вас я должен обратиться как к предводителю? — спросил старик.— Или вы еще не успели избрать то лицо, которое должно занимать этот пост, столь же опасный, сколь почетный?

— Обращайтесь ко мне, сэр Дункан Кэмбел,— отвечал Монтроз, выступив вперед.

— К вам? — произнес Дункан Кэмбел с некоторым пренебрежением.

— Да, ко мне,— повторил Монтроз,— к графу Монтрозу, если вы не узнаете меня.

— Да вас и нелегко узнать в одежде конюха,— проговорил Дункан Кэмбел.— Впрочем, мне следовало бы догадаться, что только под тлетворным влиянием вашей светлости — известного возмутителя Израиля — могло быть созвано это безрассудное собрание людей, совращенных с пути истинного.

— Я отвечу вам,— сказал Монтроз,— в духе ваших же пуритан. Я не возмущал народа Израиля, а смутил только тебя и дом отца твоего. Но прекратим наши пререкания, они никому не интересны, кроме нас самих, и послушаем, какие вести привезли вы нам от вашего вождя Аргайла, ибо я полагаю, что на наше собрание вы явились от его имени.

— От имени маркиза Аргайла,— отвечал сэр Дункан Кэмбел,— от имени шотландского парламента я спрашиваю вас, что означает сие странное сборище? Если оно имеет целью нарушение мира в стране — больше подобало бы честным людям и добрым соседям предупредить нас, дабы мы могли принять меры.

— Странные дела творятся ныне в Шотландии,— сказал Монтроз, отворачиваясь от Дункана Кэмбела и обращаясь ко всему собранию.— С каких это пор именитые и знатные шотландцы не имеют права собираться в доме своего общего друга без вмешательства и допроса со стороны наших правителей, желающих знать предмет нашего совещания? Помнится мне, что наши предки имели обыкновение съезжаться на охоту в горах либо собираться вместе ради другой какой-нибудь цели, не испрашивая предварительного разрешения ни у великого Мак-Каллумора, ни у кого-либо из его эмиссаров или приспешников.

— Были такие времена в Шотландии,— отозвался один из западных вождей,— и таковые настанут вновь, когда непрошеные гости, захватившие наши исконные владения, принуждены будут довольствоваться своим озерным краем и перестанут налетать на нас, как стая прожорливой саранчи.

— Должен ли я понимать это так,— спросил Дункан,— что все ваши воинственные замыслы направлены только против моего клана? Или же Сыны Диармида должны пострадать заодно со всем мирным и добропорядочным населением Шотландии?

— Я желал бы,— вскочив с места, крикнул свирепого вида предводитель одного из кланов,— задать только один вопрос рыцарю Арденвору, прежде чем он станет продолжать свои дерзкие расспросы. Уж не о двух ли он головах, что не побоялся явиться к нам с оскорбительными речами?

— Друзья! — воскликнул Монтроз.— Прошу вас сохранять спокойствие! Лицо, посланное к нам для переговоров, имеет право свободно высказаться и может рассчитывать на полную неприкосновенность. А уж если сэр Дункан Кэмбел так настойчив, то я готов сообщить ему, что он находится среди верных слуг короля, созванных мною именем и властью его величества, в силу высочайших полномочий, возложенных на меня.

— Стало быть,— промолвил Дункан Кэмбел,— у нас начинается настоящая междоусобная война? Я слишком старый солдат, чтобы эта мысль могла испугать меня; но было бы к чести лорда Монтроза, если бы в настоящем деле он меньше считался со своим собственным честолюбием и больше думал бы о спокойствии отечества.

— Личным своим честолюбием и личными интересами руководствуются те, сэр Дункан,— возразил Монтроз,— кто довел страну до ее теперешнего состояния и вызвал необходимость применения крутых мер, на которые мы сейчас решаемся против своей воли.

— И какое же место среди этих честолюбцев,— спросил Дункан Кэмбел,— мы предоставим благородному графу, некогда столь ревностно преданному парламенту, что в тысяча шестьсот тридцать девятом году он первым переправился вброд через реку Тайн во главе своего полка и атаковал королевское войско? Если я не ошибаюсь, ведь это он огнем и мечом вводил ковенант в городах и селах Эбердина?

— Я понимаю ваш презрительный намек, сэр Дункан,— сдержанно возразил Монтроз,— и только отвечу вам, что если искреннее раскаяние может искупить грехи молодости и мое

излишнее доверие к лукавым наветам честолюбивых лицемеров, то да простятся мне преступления, в которых вы меня обвиняете. Я приложу все свои силы, дабы заслужить прощение; я с мечом в руках готов пролить свою кровь во искупление моих заблуждений,— а более того не может ни один смертный!

— Я сожалею, милорд,— проговорил Дункан,— что должен передать подобные речи маркизу Аргайлу. Впрочем, маркиз уполномочил меня сказать, что согласен — во избежание кровавых распрей, которые неизбежно возникнут между горными кланами вследствие войны,— установить мир к северу от границы горных районов, ибо в Шотландии и без того достаточно места для драки и нет необходимости соседям уничтожать друг друга и разрушать наследственные угодья.

— Столь миролюбивого предложения,— отвечал Монтроз, улыбаясь,— вполне можно было ожидать от человека, личное поведение которого всегда было гораздо более миролюбиво, нежели те распоряжения, которые он отдавал. И если бы условия такого мирного соглашения были установлены по всей справедливости и если бы мы могли быть уверены,— а это, сэр Дункан, необходимо,— что ваш маркиз честно будет соблюдать эти условия, я, со своей стороны, не прочь поддержать мир, ибо впереди нас ждет война. Но вы, сэр Дункан, слишком старый и слишком опытный воин, чтобы мы могли позволить вам стать свидетелем наших приготовлений. Поэтому, как только вы отдохнете и подкрепите ваши силы, мы попросим вас возвратиться в Инверэри, а вместе с вами отправим уполномоченного для уточнения условий мира среди горцев — на тот случай, если маркиз искренне его желает.

В знак согласия Дункан Кэмбел наклонил голову.

— Милорд,— продолжал Монтроз, обращаясь к Ментейту,— будьте любезны позаботиться о сэре Дункане Кэмбеле Арденворе, пока мы здесь обсудим, кто должен будет отправиться вместе с ним к его начальнику. Прошу, Мак-Олей, оказать нашему гостю надлежащее гостеприимство.

— Я тотчас же распоряжусь,— сказал Аллан Мак-Олей, вставая с места и подходя ближе.— Я люблю сэра Дункана Кэмбела; в былые дни мы вместе страдали, и я этого не забыл.

— Милорд,— обратился к графу Ментейту Дункан Кэмбел,— мне прискорбно видеть, что вы, в столь юные годы, дали вовлечь себя в такое отчаянное и мятежное предприятие!

— Я молод, это правда,— отвечал Ментейт,— однако достаточно жил, чтобы уметь отличить добро от зла, верность от мятежа; и чем раньше я вступлюсь за правое дело, тем лучше и дольше послужу ему!

— И вы, мой друг, Аллан Мак-Олей! — продолжал Дункан, взяв Аллана за руку.— Неужели мы должны называть друг друга врагами, мы, которые столь часто сражались вместе против общего недруга? — Затем, обращаясь к собранию, он добавил: — Прощайте, господа, многим из вас я искренне желаю добра, и ваш отказ принять условия мирного соглашения глубоко огорчает меня. Пусть всевышний рассудит нас,— произнес он, возведя глаза к небу,— и укажет, кто прав: мы ли в своих мирных побуждениях или те, кто стремится посеять междоусобную распрю!

— Аминь! — отвечал Монтроз.— Пред этим судом мы все готовы предстать.

Дункан Кэмбел покинул зал в сопровождении Аллана Мак-Олея и лорда Ментейта.

— Вот истый Кэмбел,— сказал ему вслед Монтроз.— Все они таковы: мягко стелют, да жестко спать!

— Простите, милорд,— возразил Эван Дху,— хоть мы и враждуем с его родом, но я не раз имел случай убедиться, что рыцарь Арденвор храбр в бою, честен в мирное время и искренен в своих советах.

— Таков он, несомненно, по своей натуре,— ответил Монтроз,— но сейчас он действует по наущению своего вождя — маркиза, самого лживого человека, когда-либо жившего на земле. И знаете что, Мак-Олей,— продолжал он, понизив голос,— дабы он не смутил неопытный ум Ментейта и затуманенный рассудок вашего брата, пошлите к ним музыкантов — музыка мешает уединенной беседе.

— Какие у меня музыканты! — отвечал Мак-Олей.— Был один-единственный волынщик, да и тот надорвался, желая перещеголять троих сотоварищей по искусству. Впрочем, я могу послать туда Эннот Лайл с ее арфой.— И он покинул зал, чтобы отдать распоряжение.

Между тем среди собравшихся возник горячий спор о том, кто возьмет на себя опасное поручение сопровождать Дункана на его обратном пути в Инверэри. Невозможно было возложить эту обязанность на кого-либо из лиц высшего звания, привыкших считать себя по достоинству равными самому Мак-Каллумору; для прочих, которые не могли выставить ту же отговорку, это поручение все же казалось неприемлемым. Можно было

подумать, что замок Инверэри — своего рода долина смерти, такое отвращение выказывали даже наименее знатные вожди при одной мысли приблизиться к нему. После некоторого замешательства истинная причина была наконец высказана, а именно: кто бы из родовитых горцев ни принял на себя это поручение, маркиз, несомненно, затаит против того злобу и при первом же удобном случае заставит его горько раскаяться в своем поступке.

Монтроз, хотя и считал, что предложение перемирия не более как стратегическая уловка со стороны Аргайла, все же не решился отклонить его в присутствии тех, кого оно столь близко касалось; поэтому он предложил возложить это опасное и почетное дело на капитана Дальгетти, не принадлежавшего ни к одному горному клану и не имевшего владений в Верхней Шотландии, на которые могла бы обрушиться месть Аргайла.

— Однако у меня все же есть шея,— откровенно заявил Дальгетти.— А что, коли ему вздумается на мне сорвать свою досаду? Мне известен случай, когда честного парламентера вздернули на виселицу, как шпиона. Римляне тоже не очень-то милостиво расправились с послами при осаде Капуи, хотя, впрочем, я где-то читал, что им всего-навсего отсекли руки и носы, выкололи глаза и отпустили с миром.

— Клянусь честью, капитан Дальгетти,— воскликнул Монтроз,— если маркиз, вопреки правилам войны, осмелится применить к вам малейшее насилие, то я отомщу ему так, что содрогнется вся Шотландия!

— Но бедному Дальгетти от этого не станет легче! — возразил капитан.— Впрочем, coragio! [1] — как говорят испанцы. Имея в виду землю обетованную, сиречь мое поместье Драмсуэкит,— mea paupera regna [2], как мы говорили в эбердинском училище,— я не намерен отказываться от поручения вашей светлости, ибо считаю, что честный воин должен повиноваться своему командиру, не страшась ни виселицы, ни меча.

— Благородные слова! — отвечал Монтроз.— И если вам угодно будет отойти со мной в сторону, я сообщу вам условия, которые вы должны будете изложить Мак-Каллумору и на основании которых мы согласны не трогать его горных владений.

Не будем утруждать читателя подробностями. Условия были составлены в уклончивых выражениях и рассчитаны

---

[1] Мужайся! *(искаж. исп.)*

[2] Мои нищие владения *(лат.)*.

только на то, чтобы пойти навстречу предложению, которое, по мнению Монтроза, было сделано с единственной целью выиграть время. Когда капитан Дальгетти, получив от Монтроза все необходимые указания и откланявшись по-военному, направился было к двери, граф знаком вернул его обратно.

— Надеюсь,— сказал он,— мне незачем напоминать офицеру, служившему под знаменем великого Густава-Адольфа, что от него, как от лица, посланного для мирных переговоров, требуется нечто большее, нежели простая передача условий, и что его военачальник вправе ожидать по его возвращении кое-каких сведений о положении дел в лагере противника, насколько они окажутся в поле его зрения. Короче говоря, капитан Дальгетти, вам следует быть un peu clair-voyant [1].

— Верьте мне, ваша светлость,— отвечал капитан, придав грубым чертам своего лица неподражаемое выражение лукавства и смышлености,— если только они не наденут мне на голову мешок, что иногда проделывают с честными воинами, заподозренными в том самом, за чем вы посылаете меня,— ваша светлость может рассчитывать на точный доклад обо всем, что Дальгетти удастся увидеть или услышать, будь то хотя бы количество ладов в волынках Мак-Каллумора или число клеток на его пледе и штанах.

— Отлично! — отвечал Монтроз.— Прощайте, капитан Дальгетти, и помните, что женщина обычно излагает свою главную мысль лишь в приписке к письму; так же и я хотел бы, чтобы вы считали последние мои слова самой важной частью возложенного на вас поручения.

Дальгетти еще раз многозначительно ухмыльнулся и, ввиду предстоящего утомительного путешествия, пошел позаботиться о дорожном провианте для себя и для своего коня.

У дверей конюшни,— ибо он неизменно в первую очередь заботился о своем Густаве,— капитан Дальгетти увидел Ангюса Мак-Олея и сэра Майлса Масгрейва, осматривавших его коня. Похвалив ноги и стать лошади, оба в один голос начали отговаривать капитана от намерения совершить утомительное путешествие верхом на столь прекрасном скакуне.

Ангюс расписывал самыми мрачными красками дорогу — вернее, те дикие тропы, которыми капитану придется проби-

---

[1] Немного проницательнее *(франц.)*.

раться по Аргайлширу, те жалкие хижины и лачуги, в которых ему предстоит останавливаться на ночлег, где невозможно добыть никакого фуража для лошади, если только она не пожелает глодать прошлогодний бурьян. Он решительно утверждал, что после такого странствования конь окажется совершенно непригодным для военной службы.

Англичанин энергично поддерживал мнение Ангюса и готов был прозакладывать душу и тело дьяволу, уверяя, что это просто грех — тащить с собой коня, стоящего хотя бы грош, в столь пустынный и негостеприимный край. Капитан Дальгетти с минуту пристально смотрел сначала на одного, потом на другого, а затем, как бы в нерешительности, спросил их: что же они посоветуют ему делать с Густавом при таких обстоятельствах?

— Клянусь рукой моего отца, любезный мой друг,— отвечал Мак-Олей,— если вы оставите коня на моем попечении, вы можете быть совершенно спокойны, что он будет и кормлен и холен, как подобает такому прекрасному и замечательному скакуну, и по возвращении вы застанете его гладким, как луковка, прокипяченная в масле.

— А если достопочтенный воин пожелает расстаться со своим скакуном за умеренную мзду,— сказал Майлс Масгрейв,— то у меня в кошельке еще побрякивают остатки от серебряных шандалов, и я с радостью готов переправить их в его карман.

— Короче говоря, мои почтенные друзья,— проговорил капитан Дальгетти, вновь поглядывая на своих собеседников с насмешливой прозорливостью,— я вижу, что вы оба не прочь были бы оставить себе что-нибудь на память о старом воине в том случае, если бы Мак-Каллумору вздумалось повесить его на воротах своего замка. И, несомненно, в таком случае для меня было бы весьма лестно, что такой благородный и честный кавалер, как сэр Майлс Масгрейв, или такой почтенный и гостеприимный предводитель клана, как наш любезный хозяин, окажется моим душеприказчиком.

Оба джентльмена поспешили торжественно заверить капитана, что у них и в мыслях не было подобных намерений, но между тем все так же продолжали распространяться о непроходимости горных дорог. Ангюс Мак-Олей невнятно бормотал какие-то труднопроизносимые гэльские названия, обозначавшие особенно опасные перевалы, ущелья, пропасти, вышки и стремнины, через которые, по его словам, лежал путь к Инверэри, а подошедший к конюшне старый Доналд не преминул

подтвердить рассказ своего хозяина, всплескивая руками, возводя глаза к небу и качая головой при каждом гортанном звуке, произносимом Ангюсом. Но все это не переубедило непоколебимого капитана.

— Почтенные друзья мои,— сказал он.— Мой Густав далеко не новичок в этом деле и привык к опасным путешествиям в горах Богемии; а дороги в этих горах (не в обиду будь сказано тем стремнинам и ущельям, о которых упоминает мистер Ангюс, и всем ужасам, о которых предупреждает сэр Майлс, никогда не видавший их) могут поспорить с наихудшими дорогами в Европе. К тому ж моя лошадь обладает прекрасным и общительным нравом, и хотя она не пьет вина, охотно разделяет со мной краюху хлеба и едва ли будет страдать от голода там, где можно будет достать сухарь или пресную лепешку. И чтобы покончить с этим делом, прошу вас, друзья мои, полюбоваться на походного коня сэра Дункана Кэмбела, который стоит тут в стойле перед нами, такой сытый и гладкий! А в ответ на высказанное вами беспокойство обо мне я честью могу вас заверить, что во время нашего совместного путешествия мы с Густавом начнем страдать от голода не раньше, чем конь сэра Дункана и его ездок.

С этими словами капитан наполнил большую меру овсом и подошел с ней к своему коню; Густав тихонько заржал, прядая ушами, и несколько раз ударил копытом о землю, словно желая показать, какая тесная дружба связывает его с хозяином. Он не прикоснулся к овсу, пока не ответил на ласку своего господина, лизнув ему руки и лицо. После такого обмена приветствиями конь усердно принялся за еду, с быстротой, изобличавшей старую военную привычку; а Дальгетти, полюбовавшись минут пять своим боевым товарищем, произнес:

— Да будет все это впрок твоему честному сердцу, мой Густав! А теперь я и сам пойду подкрепить свои силы перед походом.

Затем он вышел из конюшни, предварительно поклонившись англичанину и Ангюсу Мак-Олею. Оставшись одни, они некоторое время молча смотрели друг на друга, а потом разразились дружным хохотом.

— Этот малый пройдет сквозь огонь и воду,— заявил сэр Майлс Масгрейв.

— Я тоже так думаю,— отвечал Мак-Олей,— особенно если ему удастся выскользнуть из рук Мак-Каллумора так же легко, как он выскользнул из наших...

— Неужели вы думаете,— сказал англичанин,— что маркиз не сочтет нужным в лице капитана Дальгетти уважать законы цивилизованной войны?

— Не более, чем я счел бы нужным уважать распоряжение ковенантеров,— отвечал Мак-Олей.— Но, однако, пойдем, мне пора вернуться к гостям.

## ГЛАВА IX

...Избрали их во время бунта,
Когда закон — не то, что подобает,
А то, что неизбежно. В лучший час
Сказать бы надо: «То, что подобает,
Должно таким остаться неизбежно»,—
И в прах их власть низвергнуть.

*«Кориолан»* [1]

В небольшой комнате, вдали от гостей, собравшихся в замке, лорд Ментейт и Аллан Мак-Олей почтительно ухаживали за Дунканом Кэмбелом, потчуя его всевозможными яствами. В своей беседе с Алланом Дункан предавался воспоминаниям о некоей облаве, предпринятой ими сообща против Сынов Тумана, с которыми рыцарь Арденвор, так же как и семейство Мак-Олей, был в смертельной, непримиримой вражде. Однако Дункан очень скоро постарался свести разговор на причины своего приезда в замок Дарнлинварах.

Ему крайне прискорбно видеть, говорил он, что друзья и соседи, которым следовало бы стоять плечом к плечу, готовы вступить в драку из-за дела, столь мало их касающегося.

— Не все ли равно вождям горных кланов,— продолжал он,— кто одержит верх — король или парламент? Не лучше ли предоставить им самим уладить свои разногласия, не вмешиваясь в их дела, а тем временем, воспользовавшись удобным случаем, укрепить свою собственную власть настолько, чтобы впоследствии на нее не могли посягнуть ни король, ни парламент?

Он напомнил Аллану Мак-Олею, что меры, предпринятые в предыдущее царствование якобы для примирения горных округов, в сущности, были направлены к уничтожению патриархальной власти вождей; при этом он упомянул о пресловутых поселениях так называемых файфских предпринимателей

[1] Перевод И. Миримского.

на острове Льюисе как о части заранее обдуманного плана, которым предусматривалось расселение чужестранцев среди кельтских племен, с тем чтобы постепенно уничтожить их древние обычаи, образ правления и лишить их наследства отцов [1].

— А между тем,— продолжал Дункан, обращаясь к Аллану,— именно ради поддержания деспотической власти монарха, взлелеявшего подобные намерения, шотландские вожди собираются затеять ссору и обнажить меч против своих соседей, родичей и исконных союзников.

— Не ко мне,— сказал Аллан,— а к моему брату, старшему сыну моего отца и наследнику нашего дома, надлежит вам, рыцарь Арденвор, обращаться с такими словами. Правда, я брат Ангюса, но, как таковой, я только первый член нашего клана и своим добровольным и полным подчинением его воле должен подавать пример остальным.

— Причина войны,— вмешался лорд Ментейт,— несравненно более глубокая, нежели предполагает сэр Дункан Кэмбел. Дело не исчерпывается саксами и гэлами, горами и предгорьем, Верхней и Южной Шотландией. Вопрос о том, будем ли мы и дальше терпеть неограниченную власть, присвоенную горсточкой людей, ничем не лучше нас самих, вместо того чтобы вновь признать законную власть государя, против которого они восстали. А что касается, в частности, положения горных кланов,— продолжал он,— прошу извинения у сэра Дункана Кэмбела за откровенность, но мне совершенно ясно, что единственным последствием незаконного захвата власти будет непомерное распространение могущества одного клана за счет независимости прочих вождей в горных округах Шотландии.

— Не стану возражать вам, милорд,— сказал Дункан Кэмбел,— ибо мне известно ваше предубеждение, и я знаю, откуда оно исходит; однако позвольте сказать вам, что, будучи главой одной из соперничающих ветвей рода Грэмов, я, как и многие другие, знавал некоего графа Ментейта, который

[1] В царствование Иакова VI была сделана довольно странная попытка цивилизовать самую северную окраину Гебридского архипелага. Сей монарх отдал остров Льюис, подобно какому-нибудь неизведанному и дикому краю, во владение нескольким дворянам из южных округов Шотландии (преимущественно из графства Файф), получивших название предпринимателей, которые должны были колонизировать остров и обосноваться там. Вначале это предприятие было довольно успешным, но коренные жители острова, главным образом кланы Мак-Леод и Мак-Кензи, восстали против приезжих авантюристов и умертвили большинство из них.

не потерпел бы ни руководства в политике, ни командования над собой со стороны графа Монтроза.

— Не надейтесь, сэр Дункан, разжечь мое тщеславие наперекор моим убеждениям,— надменно ответил лорд Ментейт.— Мои предки получили из рук короля свой титул и свое звание; и это никогда не помешает мне сражаться за короля под началом человека, достойного быть главнокомандующим более, чем я. Меньше всего допустил бы я, чтобы чувство мелкой зависти помешало мне отдать свою руку и свой меч в распоряжение самого храброго, самого честного, самого доблестного мужа среди нашего шотландского дворянства.

— Жаль,— проговорил Дункан Кэмбел,— что вы к этому похвальному слову не можете добавить «самого верного, самого постоянного». Но я не намерен вступать с вами в спор, милорд,— добавил он, движением руки как бы отмахиваясь от дальнейших пререканий,— ваш жребий брошен. Позвольте мне только выразить свое глубокое сожаление по поводу горестной участи, на которую природная опрометчивость Ангюса Мак-Олея и ваше влияние, милорд, обрекают моего молодого друга Аллана вместе со всем кланом его отца и многими другими храбрыми людьми.

— Жребий брошен для всех нас, сэр Дункан,— хмуро произнес Аллан, отвечая собственным мрачным мыслям.— Железная рука неумолимого рока выжгла у нас на челе печать нашей судьбы задолго до того, как мы научились выражать свои желания или могли бы шевельнуть пальцем в свою защиту. Будь это иначе, как мог бы ясновидящий узнавать будущее по смутным предчувствиям, которые преследуют его во сне и наяву? Провидеть можно только то, что должно совершиться неизбежно.

Дункан Кэмбел собрался ему ответить, и, вероятно, оба горца пустились бы в самые непроходимые дебри метафизики, если бы в это мгновение не отворилась дверь и в комнату не вошла Эннот Лайл с арфой в руках. Независимость вольной дочери гор была в ее походке и в ее взгляде, ибо, выросшая в постоянном общении с Ангюсом и его младшим братом, с лордом Ментейтом и другими юношами, посещающими замок Дарнлинварах, она не испытывала того смущения, которое молодая девушка, воспитанная среди одних женщин, испытывает — или считает нужным выказать — в мужском обществе.

Она была одета по-старинному, ибо новые моды редко проникали в северные горы и еще с большим трудом могли бы найти доступ в замок, населенный почти одними мужчи-

нами, единственными занятиями которых была война и охота. Однако одежда Эннот не только была ей к лицу, но и довольно роскошна. Ее открытый спереди корсаж из голубого сукна с высоким воротником был украшен богатой вышивкой и серебряными пряжками, которые при желании можно было застегнуть. Широкие рукава доходили только до локтя и заканчивались золотой бахромой. Из-под этой верхней одежды,— если ее можно так назвать,— выглядывала голубая шелковая рубашка, также богато расшитая, но несколько более светлого оттенка, нежели корсаж. Юбка была из шелковой шотландки, в клетках которой преобладал голубой цвет, что значительно смягчало обычную пестроту шотландского тартана с его резким контрастом различных цветов. Вокруг шеи Эннот обвивалась старинная серебряная цепочка, и на ней висел ключ, которым она настраивала свой инструмент. Из-под воротника был выпущен узенький рюш, заколотый у горла довольно дорогой брошью, некогда подаренной девушке лордом Ментейтом. Густые светлые кудри почти закрывали ее смеющиеся глаза, в то время как она, улыбаясь и слегка краснея, объявила, что Мак-Олей приказал осведомиться, не желают ли гости послушать музыку. Сэр Кэмбел с удивлением и большим интересом смотрел на прелестное видение, так неожиданно прервавшее его спор с Алланом.

— Неужели,— шепотом спросил он Аллана,— это прелестное и изящное создание принадлежит к числу домашних музыкантов вашего брата?

— О нет! — поспешил ответить Аллан и добавил с легкой запинкой: — Она... она... наша близкая родственница... И мы относимся к ней,— продолжал он уже более уверенно,— как к приемной дочери нашей семьи.

Он поспешно встал и с той почтительной учтивостью, которую способен выказать любой горец, когда считает это нужным, уступил свое место Эннот и принялся угощать ее всем, что стояло на столе, с усердием, явно рассчитанным на то, чтобы показать Дункану Кэмбелу ее высокое положение. Но если таково было намерение Аллана, то оно оказалось излишним. Сэр Дункан не спускал глаз с Эннот, и взор его выражал несравненно более глубокий интерес, нежели обычное внимание к особе благородного происхождения. Эннот даже смутилась под пристальным взглядом старого рыцаря; она не без некоторого колебания настроила свой инструмент и, ободряемая взглядом лорда Ментейта и Аллана, исполнила следующую кельтскую балладу, которую наш друг мистер Секундус

Макферсон, о чьей любезности уже упоминалось выше, перевел на английский язык:

СИРОТА

Над замком стих ноябрьский град.
Над мглою серых стен
Луч солнца заиграл, и в сад
Выходит леди Энн.

Под дубом сирота сидит.
Лохмотья лишь на ней,
И, не растаяв, град блестит
Меж спутанных кудрей.

«О госпожа, счастливы те,
Кого ласкала мать.
Но кто поможет сироте
Печаль ее унять?!»

«Дай боже никому не знать
Сиротского житья,
Но трижды горше потерять
И мужа и дитя.

Двенадцать лет назад я в ночь
Бежала от врагов
И потеряла крошку-дочь
У Фортских берегов».

«О госпожа, прошли как тень
Двенадцать лет тоски,
С тех пор как сеть в Бригитты день
Тащили рыбаки.

И был сетями извлечен
Ребенок чуть живой.
Смотри же, пред тобою он
С протянутой рукой».

Ее целует леди Энн:
«О дочь, ты вновь со мной!
Вовеки будь благословен
Бригитты день святой!»

И вот уж девочка в шелках,
Богат ее наряд...
И вместо града в волосах
Жемчужины блестят [1].

[1] Перевод И. Миримского.

Во время исполнения баллады лорд Ментейт с удивлением заметил, что пение Эннот Лайл производит на сэра Дункана Кэмбела гораздо более сильное впечатление, нежели можно было бы ожидать от человека его возраста и такого сурового нрава. Он знал, что северные горцы несравненно более чувствительны к песням и сказкам, чем их соседи, жители предгорья. Но даже это обстоятельство, думал он, едва ли могло служить причиной того смущения, с каким старик отвел глаза от певицы, точно не желая позволить им любоваться столь чарующим зрелищем. Еще менее можно было ожидать, что в чертах лица, обычно выражавших гордость, трезвую рассудительность и привычку повелевать, отразится столь сильное волнение, вызванное, казалось бы, таким незначительным поводом. Лицо старого рыцаря все более омрачалось, седые косматые брови хмурились, на глаза навернулись слезы. Он сидел молча, застыв в неподвижной позе, в течение двух-трех минут после того, как замер последний звук песни. Потом он поднял голову и взглянул на Эннот Лайл, как бы намереваясь заговорить с ней; внезапно изменив свое намерение, он обернулся к Аллану, видимо желая о чем-то спросить его,— но в это время дверь отворилась, и на пороге появился хозяин дома.

## ГЛАВА X

Был день их странствий мрачен, хмур, уныл,
И каждый холм опасность им сулил.
Но был вдвойне опасен и суров
Дом, где они нашли ночлег и кров.

*«Путники», поэма*

Поручение, возложенное на Ангюса Мак-Олея, было, видимо, такого рода, что выполнить его стоило хозяину немалого труда; и лишь после того, как он, путаясь в словах, несколько раз начинал свою речь, ему наконец удалось сообщить сэру Дункану Кэмбелу, что воин, который должен сопровождать его, ожидает в полном снаряжении и все готово для их немедленного отъезда в Инверэри. Сэр Дункан Кэмбел в негодовании поднялся с места; оскорбление, заключавшееся в этом известии, в один миг рассеяло чувствительное настроение, навеянное музыкой.

— Мог ли я ожидать,— начал он, гневно глядя на Ангюса Мак-Олея,— мог ли думать, что в наших горах найдется предводитель клана, который в угоду саксу предложит рыцарю Ар-

денвору покинуть его замок в ту пору, когда солнце уже клонится к закату, и прежде, нежели осушен второй кубок вина. Прощайте, сэр! Пища со стола невежи нейдет впрок! И знайте, что если мне еще когда-либо доведется посетить замок Дарнлинварах, то я приду с обнаженным мечом в одной руке и пылающим факелом — в другой!

— Милости просим,— отвечал Ангюс.— Клянусь, что приму вас с честью. И, будь с вами хоть пятьсот Кэмбелов, я позабочусь приготовить для всех вас такое угощение, что вам не придется жаловаться на отсутствие гостеприимства в Дарнлинварахе!

— Благодарю за предупреждение! — промолвил сэр Дункан.— Ваша склонность прихвастнуть слишком хорошо известна, и никто не станет ронять свое достоинство, прислушиваясь к вашим угрозам. Вам, милорд, и Аллану, заместившему моего невежу хозяина, приношу искреннюю благодарность. А вам, моя красавица,— продолжал он, обращаясь к Эннот Лайл,— позвольте выразить мою признательность за то, что вы оживили родник, иссякший уже много лет тому назад.

С этими словами он покинул комнату и отдал приказание позвать своих людей. Ангюс Мак-Олей, смущенный и вместе с тем глубоко задетый обвинением в недостатке гостеприимства, что считалось самым большим оскорблением для горца, не вышел провожать сэра Дункана во двор замка, где старый вождь садился на своего коня, подведенного к крыльцу. В сопровождении шести всадников и в обществе капитана Дальгетти, который ожидал его, держа Густава в поводу, в полной боевой готовности, но не садился в седло до появления рыцаря Арденвора,— сэр Дункан покинул замок.

Путешествие было долгим и утомительным, но отнюдь не сопровождалось теми чрезмерными лишениями, которые предрекал старший Мак-Олей. По правде говоря, сэр Дункан умышленно уклонялся от тех тайных и более коротких горных троп, которыми быстро можно было достигнуть с запада Аргайлского графства, ибо его родич, маркиз Аргайл, нередко хвастал, что и за сто тысяч крон не согласился бы, чтобы кто-нибудь из смертных знал те пути, по которым враждебное войско могло бы проникнуть в глубь его владений.

Поэтому сэр Дункан Кэмбел тщательно избегал горных троп и, спустившись в предгорье, направился к ближайшей морской гавани, где всегда стояло наготове несколько полупалубных галер. Маленький отряд отплыл на одном из этих кораблей, взяв на борт и Густава, который настолько привык к разнооб-

разным похождениям, что путешествовал по морю и по суше столь же спокойно, как и его хозяин.

Благодаря попутному ветру они быстро продвигались вперед на парусах и на веслах; и на следующий день рано утром капитану Дальгетти, помещавшемуся в небольшой каюте под палубой, было сообщено, что галера стоит под стенами замка сэра Дункана Кэмбела.

Поднявшись на палубу, он в самом деле увидел возвышавшийся перед ним замок Арденвор. Это была мрачная четырехугольная крепость внушительных размеров и очень высокая, стоявшая на скале, далеко выдававшейся в морской залив — вернее, морской рукав,— куда они вошли накануне вечером. Высокая стена с угловыми башнями защищала замок со стороны суши, в то время как со стороны моря замок так близко подступал к краю отвесной скалы, что там едва оставалось место для батареи из семи пушек, предназначенной для защиты крепости от нападения с залива; впрочем, эта батарея была расположена слишком высоко, чтобы оказать какую-либо существенную помощь в новейших условиях ведения войны.

Восходящее солнце поднималось из-за старой крепости; ее тень легла на воды озера, затемняя палубу галеры, по которой расхаживал капитан Дальгетти, ожидавший с некоторым нетерпением сигнала сойти на берег. Сэр Дункан Кэмбел, как ему было сообщено, уже находился в стенах своего замка; но никто не внял предложению капитана Дальгетти последовать за ним на берег; слуги заявили, что ему надлежит подождать разрешения или приказа рыцаря Арденвора.

Вскоре приказ был получен: показалась лодка, на носу которой стоял волынщик с вышитым на левом рукаве кафтана серебряным гербом рыцаря Арденвора и что есть мочи наяривал на волынке фамильный марш Кэмбелов, под названием «Кэмбелы идут!». Он прибыл, чтобы сопровождать посланца Монтроза в замок Арденвор.

Расстояние между галерой и берегом было столь незначительно, что едва ли была необходимость в восьми дюжих гребцах в беретах, коротких куртках и клетчатых штанах, чьи дружные усилия направили лодку в узкий заливчик, где ей полагалось причалить, так быстро, что капитан Дальгетти едва успел заметить, как она отделилась от борта корабля. Несмотря на сопротивление Дальгетти, два гребца подхватили его, усадили на спину третьему и, перейдя мелководье вброд, благополучно доставили капитана на берег у подножия скалы, на которой стоял замок. В передней грани этой скалы виднелось нечто вроде вхо-

да в низкую пещеру, по направлению к которой гребцы собирались было тащить нашего друга, но он, не без труда вырвавшись из их рук, объявил, что не сделает ни шагу, пока не убедится в том, что Густав благополучно доставлен на берег. Гребцы ничего не могли уразуметь из слов капитана, пока один из них, кое-как понимавший по-английски, вернее — немного знавший южношотландское наречие, не воскликнул: «Стой! Да ведь это он о своей лошади. И что она ему далась!» Дальнейшие возражения со стороны капитана Дальгетти были прерваны появлением самого сэра Дункана Кэмбела у входа пещеры. Он любезно предложил капитану Дальгетти воспользоваться гостеприимством замка Арденвор и заверил его честью, что слуги будут обращаться с Густавом соответственно тому великому имени, которое тот носит, не говоря уже о высоком достоинстве его господина. Несмотря на эти заверения, капитан Дальгетти все еще колебался, желая лично убедиться, какая участь ждет его боевого товарища; но тут двое гребцов подхватили капитана под руки, двое других принялись подталкивать сзади, в то время как пятый восклицал: «Да он рехнулся! Не слышит, что ли, что сам хозяин замка приглашает его к себе в гости? Это ли не великая честь для него!»

Понуждаемый таким образом, капитан Дальгетти мог лишь через плечо поглядывать на галеру, где он покинул товарища своих бранных подвигов. Через несколько минут он очутился в полной темноте, на лестнице, которая, начинаясь в упомянутой нами пещере с низким сводом, спиралью вилась в самых недрах скалы.

— Проклятые горцы, дикари! — вполголоса бормотал капитан.— Что со мною станется, если Густав, тезка непобедимого Льва Протестантской унии, будет изувечен их корявыми руками?

— Не беспокойтесь об этом,— произнес в темноте голос сэра Дункана, который оказался гораздо ближе, чем предполагал капитан,— мои люди привыкли ходить за лошадьми, чистить их, грузить и снимать с галеры, и вы вскоре увидите своего Густава целым и невредимым, каким он был в ту минуту, когда вы расстались с ним.

Капитан Дальгетти достаточно знал правила приличия, чтобы позволить себе и дальше пререкаться с хозяином замка, какие бы сомнения втайне ни волновали его душу. Поднявшись на несколько ступенек вверх по лестнице, он увидел свет, падавший из дверного пролета, и через железную решетку вышел на открытую галерею, высеченную в скале. Пройдя по ней шесть или восемь ярдов, он очутился перед второй дверью, также защищенной железной решеткой, за которой лестница снова углублялась в скалу.

— Великолепнейший проход! — заметил капитан.— Одного орудия или даже просто нескольких мушкетов вполне достаточно, чтобы защитить замок от любого нападения.

Сэр Дункан Кэмбел ничего не ответил ему; но в следующую минуту, когда они вступили во вторую галерею, он постучал о стены палкой, сначала с одной, потом с другой стороны входа. Зловещий гул, раздавшийся в ответ на эти удары, ясно показал капитану Дальгетти, что по обеим сторонам прохода установлены пушки, направленные на галерею, где они только что прошли, хотя амбразуры, через которые в случае надобности мог быть открыт огонь, были с внешней стороны тщательно прикрыты камнями и дерном. Поднявшись по второй лестнице внутри скалы, капитан Дальгетти и сэр Дункан вновь оказались на открытой площадке и пошли по галерее, которую легко можно было обстрелять ружейным огнем или пушками в том случае, если бы кто-либо, пришедший сюда с враждебными намерениями, дерзнул продвинуться дальше. Третья лестница, также высеченная в скале, но без верхнего перекрытия, привела их наконец на батарею, расположенную у подножия башни. Эта последняя лестница была также очень узкая и крутая, и, не говоря о том, что ее можно было легко обстрелять сверху, одного-двух отважных бойцов, вооруженных пиками или секирами, было бы вполне достаточно, чтобы защитить проход против сотни осаждающих; ибо на ступеньках лестницы два человека не смогли бы поместиться рядом, а самая лестница не была ограждена перилами со стороны отвесной скалы, у подошвы которой с грохотом разбивались волны морского прибоя. Словом, для защиты этой древней кельтской крепости были приняты такие решительные меры, что человек со слабыми нервами и подверженный головокружениям лишь с трудом проник бы в замок, даже если бы обитатели не оказали ему ни малейшего сопротивления.

Капитан Дальгетти, старый, испытанный воин, не был подвержен такой слабости и, едва вступив во двор замка, начал клясться всеми святыми, что из всех мест, какие ему довелось защищать во время его многочисленных походов, укрепления замка сэра Дункана больше всего напоминают знаменитую крепость Шпандау в Бранденбургской Марке. Однако он неодобрительно отозвался о расположении пушек и заметил, что, «если орудия, как галки или морские чайки, торчат на самой вершине утеса, они больше оглушают своим шумом, нежели наносят чувствительный урон врагу».

Сэр Дункан, ничего не отвечая, повел капитана в замок. Вход в него был защищен подъемной решеткой и окованной же-

лезом дубовой дверью, между которыми оставалось пустое пространство в толщину стены.

Войдя в зал, стены которого были увешаны гобеленами, капитан Дальгетти продолжал выражать свое неодобрение. Однако он тотчас умолк, увидев на столе превосходный завтрак, и с жадностью набросился на еду. Насытившись, он обошел весь зал и, заглядывая поочередно в каждое окно, тщательно осмотрел местность вокруг замка. Затем он возвратился к своему креслу, развалился в нем и, вытянув ногу, стал похлопывать хлыстом по высокому ботфорту с развязностью плохо воспитанного человека, разыгрывающего непринужденность в высшем обществе. Тут он снова принялся излагать свое непрошеное мнение.

— Видите ли, сэр Дункан,— начал он,— ваш дом, несомненно, укреплен совсем недурно, однако, на взгляд опытного воина, все же нельзя сказать, что он выдержит длительную осаду. Ибо, сэр Дункан, если позволите обратить ваше внимание, со стороны суши над вашим домом возвышается, или господствует, как говорим мы, военные, вон тот кругленький холм, на котором неприятель может установить такую батарею пушек, что вам волей-неволей через сорок восемь часов придется капитулировать, если только бог не сотворит для вас чудо.

— Здесь нет дорог, по которым можно было бы подвезти пушки для осады Арденвора,— сухо ответил сэр Дункан.— Мой замок окружен топями и непроходимыми болотами, и даже вы со своим конем не проберетесь иначе, как по узким тропинкам, которые можно заградить в течение нескольких часов.

— Вам угодно так думать, сэр Дункан,— возразил капитан,— но мы, военные люди, полагаем, что там, где есть морской берег, есть и свободный доступ: когда нельзя подвезти пушки и боевые припасы сухим путем, их легко доставить морем к тому месту, где их нужно пустить в ход. Нет такого замка, как бы надежно ни было его местоположение, который мог бы считаться неуязвимым — вернее сказать, неприступным. И я заверяю вас, сэр Дункан, что бывали случаи, когда двадцать пять человек благодаря дерзкому и неожиданному нападению брали с бою крепость, защищенную не хуже вашего Арденвора, и убивали, захватывали в плен или задерживали в качестве заложников целый гарнизон, вдесятеро превышавший их численностью.

Невзирая на светское воспитание и умение скрывать свои чувства, сэр Дункан был все же явно уязвлен и раздосадован замечаниями, которые капитан Дальгетти высказывал с простодушной важностью, избрав предметом беседы такую область, в которой считал себя способным блеснуть и, как говорится,

«сказать свое слово», нимало не думая о том, приятно это хозяину или нет.

— Вам незачем объяснять мне, капитан Дальгетти,— произнес сэр Дункан несколько раздраженным тоном,— что крепость может быть взята приступом, если ее недостаточно доблестно защищают или защитники ее захвачены врасплох. Надеюсь, что моему скромному жилищу не грозит ни то, ни другое, даже если бы сам капитан Дальгетти вздумал осаждать его.

— И все же, сэр Дункан,— не унимался разошедшийся вояка,— я по-дружески советовал бы вам возвести форт на том холме и выкопать за ним глубокий ров или траншею, что нетрудно сделать, заставив работать окрестных крестьян; доблестный Густав-Адольф столь же часто воевал лопатой и заступом, как копьем, мечом и мушкетом. Мой совет вам также — укрепить упомянутый форт не только рвом или канавой, но и частоколом, так называемым палисадом.

Тут сэр Дункан, окончательно выведенный из терпения, покинул комнату; но неугомонный капитан последовал за ним до дверей и, возвышая голос по мере того, как его хозяин удалялся, продолжал разглагольствовать, пока тот еще мог его слышать:

— А этот частокол, или палисад, следует искусно соорудить с выходящими внутрь углами и бойницами или зубцами для стрелков, так что если бы неприятель... Ах он невежа! Северный дикарь! Все они надуты, как павлины, и упрямы, как козлы... Упустить такой случай, когда он мог превратить, хоть и не по всем правилам военного искусства, свой дом в неприступную крепость, о которую любая осаждающая армия обломала бы себе зубы! Однако,— продолжал капитан, высунувшись в окно и глядя вниз, на полоску земли у подножия скалы,— я вижу, что они благополучно доставили Густава на берег. Славный мой конь! Я бы узнал его гордо вскинутую голову среди целого эскадрона! Я должен пойти взглянуть, как они его устроят.

Но едва он вышел во двор и стал спускаться по лестнице, ведущей к морю, как двое часовых, скрестив свои секиры, дали понять, что ему грозит опасность.

— Черт побери! — воскликнул воин.— Ведь я не знаю пароля. А объясняться с ними на их тарабарском наречии я не мог бы даже под страхом смерти.

— Я вас выручу, капитан Дальгетти,— произнес сэр Дункан, который, появившись неизвестно откуда, вновь приблизился к нему.— Мы вместе пойдем и посмотрим, как там устроили вашего любимца.

С этими словами сэр Дункан повел капитана Дальгетти вниз по лестнице к берегу моря; обогнув утес, они очутились перед конюшнями и прочими службами замка, приютившимися за выступом скалы. Тут капитан Дальгетти обратил внимание на то, что со стороны суши замок был огражден глубоким горным ущельем, частично созданным природой, частично искусственно углубленным, и доступ в замок через него был возможен только по подъемному мосту.

И все же, несмотря на то что сэр Дункан с торжествующим видом указал ему на эти надежные меры защиты, капитан Дальгетти продолжал твердить о необходимости возвести форт на холме Драмснэб — круглой возвышенности на восток от замка, ибо оттуда замок мог быть осыпан градом пушечных ядер, начиненных огнем по способу, изобретенному польским королем Стефаном Баторием. Благодаря своей остроумной выдумке этот монарх до основания разрушил великий город Москву — столицу Московии. Правда, капитан Дальгетти признался, что сам никогда не видел этого новшества, но тут же добавил, что «с превеликим удовольствием посмотрел бы, как действуют такие ядра против замка Арденвор или какой-либо иной крепости». При этом он заметил, что «столь интересный опыт не может не порадовать каждого истинного любителя военного искусства».

Сэру Дункану Кэмбелу удалось наконец отвлечь капитана Дальгетти от этого разговора тем, что он привел его в конюшню, где разрешил ему по собственному усмотрению позаботиться о Густаве. После того как это было самым тщательным образом исполнено, капитан Дальгетти выразил желание возвратиться в замок, заметив, что время до обеда, который, по его расчетам, должен быть подан около полудня, он намерен употребить на чистку своих доспехов, несколько потускневших от морского воздуха, ибо он опасается, как бы неопрятный вид не уронил его в глазах Мак-Каллумора.

На обратном пути в замок капитан Дальгетти не преминул предостеречь сэра Дункана Кэмбела от великого ущерба, который тот может понести при внезапном нападении неприятеля, если его лошади, рогатый скот и амбары с хлебом окажутся отрезанными и уничтоженными. Поэтому он снова настоятельно советовал ему возвести форт на холме, носящем название Драмснэб, и предлагал свои дружеские услуги для составления плана. В ответ на все его бескорыстные советы сэр Дункан удовольствовался тем, что, приведя своего гостя в предназначенную для него комнату, сообщил, что звон колокола известит его о времени обеда.

## ГЛАВА XI

Так это, Болдвин, замок твой? Печально
Флаг траурный над башней он простер,
Вспененных вод сверканье помрачая.
Когда бы жил я здесь, смотрел на мглу,
Которая пятнает лик природы,
И слушал чаек крик и ропот волн —
Я б лучше быть хотел в лачуге жалкой
Под ненадежным кровом бедняка.

*Браун*

Доблестный ритмейстер охотно посвятил бы свой досуг изучению окрестностей замка сэра Дункана, дабы воочию убедиться в степени его неприступности. Но дюжий часовой с секирой в руках, поставленный у дверей его комнаты, весьма выразительным жестом дал ему понять, что он находится как бы в почетном плену.

«Странное дело,— думал про себя Дальгетти,— как хорошо эти дикари знают правила военной тактики. Кто бы мог ожидать, что им известен принцип великого и божественного Густава-Адольфа, считавшего, что парламентер должен быть наполовину посланником, наполовину лазутчиком?»

Покончив с чисткой своего оружия, Дальгетти спокойно уселся в кресло и занялся вычислением тех сумм, которые он получит в конце шестимесячной кампании, если ему будут платить по полталера в сутки. Решив эту задачу, он приступил к извлечению квадратного корня из двух тысяч, чтобы вычислить, по скольку человек нужно ставить в шеренгу, чтобы построить полк в каре.

Его математические выкладки были прерваны веселым трезвоном обеденного колокола, и тот самый горец, который только что исполнял обязанности часового, теперь, в роли церемониймейстера, ввел его в зал, где стол, накрытый на четыре прибора, являл все признаки шотландского хлебосольства. Сэр Дункан вошел в зал, ведя под руку свою супругу — высокую увядшую, печальную женщину в глубоком трауре. За ними следовал пресвитерианский пастор в женевской мантии и черной шелковой шапочке, так плотно сидевшей на его коротко остриженных волосах, что их почти не было видно, вследствие чего открытые торчащие уши казались чрезмерно большими. Такова была безобразная мода того времени, отчасти послужившая поводом к презрительным прозвищам — круглоголовые, лопоухие псы и тому подобное, которыми надменные приверженцы короля щедро награждали своих политических врагов.

Сэр Дункан представил своего гостя жене, которая ответила на его военное приветствие строгим и молчаливым поклоном, и трудно было решить, какое чувство — гордость или печаль — преобладало в этом движении. Священник, которому был затем представлен капитан, бросил на него взгляд, исполненный недоброжелательства и любопытства.

Капитан, привыкший к худшему обхождению, к тому же со стороны лиц гораздо более опасных, не обратил особого внимания на косые взгляды хозяйки и пастора и всей душой устремился к громадному блюду вареной говядины, дымившемуся на другом конце стола. Но атаку — как выразился бы капитан — пришлось отложить до окончания весьма длинной молитвы, после каждого стиха которой Дальгетти хватался за нож и вилку, словно за копье или мушкет во время наступления, и вновь принужден был нехотя опускать их, когда велеречивый пастор начинал новый стих молитвы. Сэр Дункан слушал молитву вполне благопристойно, хотя ходили слухи, будто он присоединился к сторонникам ковенанта скорее из преданности своему вождю, нежели из искренней приверженности к свободе или пресвитерианству. Зато супруга его слушала молитву с чувством глубокого благоговения.

Обед прошел в почти монашеском молчании. Капитан Дальгетти не имел обыкновения пускаться в разговоры, пока его рот был занят более существенным делом; сэр Дункан не проронил ни слова, а его супруга лишь изредка обменивалась замечаниями с пастором, впрочем, так тихо, что ничего нельзя было расслышать.

Но когда кушанья были убраны со стола и на их месте появилось вино различных сортов, капитан Дальгетти, не имея уже веских причин для молчания и устав от безмолвия присутствующих, предпринял новую атаку на своего хозяина по поводу все того же предмета:

— Касательно той горки или возвышенности, вернее — холма, называемого Драмснэбом, мне было бы весьма лестно побеседовать с вами, сэр Дункан, о характере укрепления, которое следовало бы на нем возвести; должен ли это быть остроугольный или тупоугольный форт? По этому поводу мне довелось слышать ученый спор между великим фельдмаршалом Бэнером и генералом Тифенбахом во время перемирия.

— Капитан Дальгетти,— сухо прервал его сэр Дункан,— у нас в горах не принято обсуждать военные дела с посторонними лицами. А мой замок, думается мне, выдержит нападение и более сильного врага, нежели та армия, которую могут выста-

вить против него злополучные воины, оставшиеся в Дарнлинварахе.

При этих словах хозяйка дома тяжело вздохнула, словно они вызвали в ее памяти какие-то мучительные воспоминания.

— Всевышний даровал,— торжественно произнес пастор, обращаясь к ней,— и он же отъял. Желаю вам, миледи, еще долгие годы благословлять имя его.

На это поучение, предназначавшееся, видимо, для нее одной, миледи отвечала наклоном головы, более смиренным, нежели капитан Дальгетти мог бы ожидать от нее. Предполагая, что теперь она будет более общительна, он немедленно обратился к ней:

— Не удивительно, что ваша милость изволили приуныть при упоминании о военных приготовлениях, которые, как я неоднократно замечал, порождают смущение в сердцах женщин всех наций и почти всех состояний. Однако Пентесилея в древности, а равно Жанна д'Арк и еще некоторые другие женщины были совсем иного рода. А когда я служил у испанцев, мне говорили, будто в прежние времена герцог Альба составил из девушек, следовавших за его войском, особые tertias (называемые у нас полками) и назначил им офицеров и командиров из их же женского сословия, под руководством военачальника, называемого по-немецки Hureweibler, что значит в переводе: «командир над девками». Правда, это были особы, которых нельзя ставить на одну доску с вашей милостью, так сказать quae quaestum corporibus faciebant[1], как мы в эбердинском училище имели обыкновение называть Джин Дрокилс; французы их называют куртизанками, а у нас в Шотландии...

— Миледи избавит вас от дальнейших разъяснений, капитан Дальгетти,— прервал его хозяин довольно сурово, а священник добавил, что подобные речи скорее пристало слышать в кордегардии, среди нечестивых солдат, нежели за столом почтенного дворянина, в присутствии знатной дамы.

— Прошу прощения, святой отец или доктор,— aut quocumque alio nomine gaudes[2], ибо да будет вам известно, что я обучен правилам учтивой речи,— сказал, нимало не смущаясь, доблестный парламентер, наливая вино в объемистый кубок.— Я не вижу оснований для вашего упрека, ибо я упомянул об этих turpes personae[3] не потому, что считаю их личность и за-

---

[1] Те, кто наживается, торгуя телом *(лат.)*.

[2] Или каким другим именем ты имеешь удовольствие называться *(лат.)*.

[3] Безнравственных личностях *(лат.)*.

пятне надлежащим предметом беседы в присутствии миледи, но просто случайно, par accidens — в виде примера, дабы указать на их храбрость и решительность, усугубленные, без сомнения, отчаянными условиями, в которых им приходится жить.

— Капитан Дальгетти,— произнес сэр Дункан,— нам придется прекратить этот разговор, ибо мне необходимо сегодня вечером закончить кое-какие дела, чтобы иметь возможность сопровождать вас завтра в Инверэри, а следовательно...

— Завтра сопровождать в Инверэри этого человека! — воскликнула миледи.— Не может этого быть, сэр Дункан! Неужели вы забыли, что завтра день печальной годовщины и что он должен быть посвящен печальному обряду?..

— Нет, не забыл,— отвечал сэр Дункан.— Может ли быть, чтобы я когда-нибудь забыл об этом? Но наше тревожное время требует, чтобы я без промедления препроводил этого офицера в Инверэри.

— Однако, надеюсь, вы не имеете намерения лично сопровождать его? — спросила миледи.

— Было бы лучше, если бы я это сделал,— отвечал сэр Дункан.— Впрочем, я могу завтра послать письмо Аргайлу, а сам выехать на следующий день. Капитан Дальгетти, я сейчас напишу письмо, в котором объясню маркизу ваши полномочия и ваше поручение, и попрошу вас завтра рано утром быть готовым для поездки в Инверэри.

— Сэр Дункан Кэмбел,— возразил Дальгетти,— я полностью и всецело в вашей власти; тем не менее прошу вас не забывать о том, что вы запятнаете свое имя, ежели допустите, чтобы мне как уполномоченному вести мирные переговоры была нанесена малейшая обида,— clam, vi, vel precario [1]. Я не говорю, что это может случиться с вашего согласия, но вы отвечаете даже в том случае, если не проявите достаточной заботы, чтобы помочь мне избежать этого.

— Моя честь будет вам порукой, сэр,— отвечал сэр Дункан Кэмбел,— а это более чем достаточное ручательство. А теперь,— продолжал он, вставая из-за стола,— я должен подать вам пример и удалиться на покой.

Хотя час был еще ранний, Дальгетти почувствовал себя вынужденным последовать этому примеру, но, как искусный полководец, он решил воспользоваться хотя бы минутным промедлением, которое случай предоставлял ему.

---

[1] Будь то тайно, с намерением или случайно *(лат.)*.

— Верю вашему благородному слову,— произнес он, наливая себе вина,— и пью за ваше здоровье, сэр Дункан, и за продолжение вашего знатного рода!

Глубокий вздох был единственным ответом на эти слова.

— А теперь, сударыня,— продолжал капитан, вновь поспешно наполняя свой кубок,— позвольте выпить за ваше драгоценное здоровье и исполнение всех ваших благих желаний! Затем, ваше преподобие, я наполняю чашу (тут он не преминул согласовать свои слова с делом) и пью за то, чтобы утопить в вине все неприязненные чувства, которые могли бы возникнуть между вами и капитаном, правильнее сказать — майором Дальгетти. А так как во фляге осталась еще одна чарочка, я выпиваю последнюю каплю за здоровье всех честных кавалеров и храбрых воинов... Ну вот, теперь фляга пуста, и я готов, сэр Дункан, последовать за вашим слугой или часовым к месту моего отдохновения.

Он получил милостивое разрешение удалиться, причем было сказано, что, так как вино пришлось ему, по-видимому, по вкусу, то в его комнату будет прислана вторая фляга, которая поможет ему с приятностью коротать часы одиночества.

Едва капитан достиг предназначенной ему комнаты, как это обещание было исполнено, а появившаяся вслед за тем закуска в виде паштета из оленины вполне примирила его с отсутствием общества и пребыванием в почетном заключении.

Тот же самый слуга, по-видимому — дворецкий, который приносил угощение, передал капитану Дальгетти запечатанный пакет, перевязанный, согласно обычаю того времени, шелковым шнурком и адресованный в самых почтительных выражениях «высокородному и могущественному властителю Арчибалду, маркизу Аргайлу, лорду Лорнскому и прочая». Подавая пакет, дворецкий в то же время уведомил капитана, что ему надлежит рано утром отправиться верхом в Инверэри, прибавив, что письмо сэра Дункана послужит ему одновременно и рекомендацией и пропуском в пути. Не забывая о том, что, помимо обязанности парламентера, ему было поручено собрать все нужные сведения, и желая ради собственной безопасности узнать причину, побудившую сэра Дункана отправить его вперед одного, капитан Дальгетти со всей осторожностью, подсказанной ему большим жизненным опытом, осведомился у слуги, какие именно обстоятельства задерживают сэра Дункана дома на следующий день. Слуга, родом из предгорья, ответил, что сэр Дункан и его супруга имеют обыкновение отмечать суровым постом и молитвой день печальной годовщины, когда их замок подвергся внезап-

нему нападению и их четверо детей были жестоко умерщвлены шайкой горцев. Все это произошло во время отсутствия самого сэра Дункана, находившегося в походе, предпринятом маркизом против Мак-Линов, владевших островом Мэлл.

— Поистине,— сказал на это капитан,— милорд и миледи имеют основания для поста и молитвы. Все же я позволю себе заметить, что, если бы сэр Дункан внял совету какого-нибудь опытного воина, искушенного в деле укрепления уязвимых мест, он построил бы форт на небольшом холме, находящемся слева от подъемного моста. И преимущества этого я могу сейчас доказать тебе, мой почтенный друг. Допустим, к примеру, что этот паштет представляет собой крепость. Скажи, кстати, как тебя зовут, дружище?

— Лоример, ваша милость,— отвечал слуга.

— За твое здоровье, почтенный Лоример! Так вот, Лоример, допустим, что этот паштет будет главным центром или цитаделью защищаемой крепости, а эта мозговая кость — форт, возводимый на холме...

— Простите, сударь,— прервал его Лоример,— я, к сожалению, не могу дольше оставаться и дослушать ваши объяснения, ибо сейчас прозвонит колокол. Сегодня вечером в замке совершает богослужение достопочтенный мистер Грэнингаул, духовник маркиза Аргайла; а так как из шестидесяти человек домашней челяди всего семеро понимают южношотландский язык, неудобно было бы одному из них отсутствовать, да и миледи была бы мной весьма недовольна. Вот тут, сударь, трубки и табачок, если вам угодно будет затянуться дымком; а если еще что-нибудь потребуется, все будет доставлено часа через два, по окончании службы.— С этими словами Лоример покинул комнату.

Едва он удалился, как раздались мерные удары башенного колокола, призывавшего обитателей замка на молитву; в ответ со всех концов замка послышались звонкие женские голоса вперемежку с низкими мужскими; громко разговаривая на местном гортанном наречии, слуги спешили в часовню по длинному коридору, куда выходили многочисленные двери из жилых комнат,— в том числе и дверь из помещения, занимаемого капитаном Дальгетти.

«Бегут, словно на перекличку,— подумал капитан,— и если все обитатели замка будут присутствовать на параде, я мог бы пока немножко прогуляться, подышать свежим воздухом да кстати проверить свои наблюдения относительно уязвимых мест этой крепости».

Итак, когда все вокруг стихло, он отворил дверь своей комнаты, и только было решился переступить порог, как сразу же увидел в конце коридора своего приятеля — часового, приближавшегося к нему, не то насвистывая, не то напевая какую-то гэльскую песенку. Показать свое смущение было бы и неразумно и недопустимо для военного человека. Поэтому капитан с самым независимым видом стал насвистывать шведский сигнал к отбою еще громче, нежели часовой насвистывал свою песенку, и, притворившись, что он выглянул лишь на минуту, чтобы глотнуть свежего воздуха, шаг за шагом отступил в свою комнату и, когда часовой почти поравнялся с ним, захлопнул дверь перед самым его носом.

«Очень хорошо,— подумал про себя капитан.— Сэр Дункан упразднил мое честное слово тем, что приставил ко мне сторожей, ибо, как говорилось у нас, в эбердинском училище, fides et fiducia sunt relativa [1], и если он не доверяет моему слову, то и я не чувствую себя обязанным держать его, если по каким-либо обстоятельствам мне вздумается нарушить его. Честное слово, бесспорно, теряет свою силу, как только взамен его вступает в действие сила физическая».

Итак, утешая себя метафизическими рассуждениями, на которые его толкнула бдительность часового, ритмейстер Дальгетти возвратился в отведенные ему покои. Вечер он провел, деля свое время между теорией и практикой военного дела, а именно: то предавался тактическим вычислениям, то решительно шел на приступ паштета и фляги с вином.

На рассвете его разбудил Лоример, явившийся с весьма обильным завтраком и объяснивший, что, как только капитан подкрепится, он должен отправиться в Инверэри, ибо лошадь и проводник уже дожидаются его. Капитан воспользовался любезным предложением хлебосольного дворецкого и, покончив с завтраком, направился к выходу. Проходя по замку, он увидел, что в большом зале слуги занавешивают стены черным сукном, и заметил своему спутнику, что такое убранство ему довелось видеть, когда тело бессмертного Густава-Адольфа было выставлено в замке Вольгаст, и, следовательно, по его разумению, это свидетельствует о строжайшем соблюдении самого глубокого траура.

Когда капитан Дальгетти сел в седло, он увидел, что его окружают пять или шесть Кэмбелов, которые были приставлены к нему в качестве не то провожатых, не то конвойных. Все хорошо вооруженные, они находились под командой начальника,

---

[1] Верность и доверие — понятия относительные *(лат.)*.

**«Легенда о Монтрозе»**

который, судя по гербу на щите и короткому петушиному перу на шапочке, а также по напускаемой им на себя важности, был, вероятно, дунье-вассал, то есть член клана высокого ранга; величавая осанка его говорила о том, что он состоит в довольно близком родстве с хозяином, а именно приходится ему десятиюродным или, в крайнем случае, двенадцатиюродным братом. Однако капитан Дальгетти не имел ни малейшей возможности получить какие-нибудь сведения как по этому, так и по любому другому вопросу, ибо ни начальник отряда, ни один из его подчиненных не говорили по-английски. Капитан ехал верхом, а военный конвой сопровождал его пешком; но столь велико было их проворство и столь многочисленны естественные препятствия, встречавшиеся на пути всадника, что пешие не только не отставали от капитана, а, напротив, ему было трудно поспевать за ними. Он заметил, что они изредка поглядывают на него, словно опасаясь его попыток к бегству; и однажды, когда капитан слегка замешкался, переправляясь вброд через ручей, один из слуг стал поджигать фитиль своего ружья, давая ему понять, чтобы он лучше не пытался отставать от отряда. Дальгетти чувствовал, что подобное бдительное наблюдение за его особой не предвещает ничего хорошего; но делать было нечего, ибо попытка убежать от своих спутников в этой непроходимой и совершенно незнакомой ему местности была бы просто безумием. Поэтому он терпеливо продвигался вперед по пустынному и дикому краю, пробираясь по тропинкам, известным лишь пастухам да гуртовщикам, и поглядывая не с удовольствием, а с неприязнью на те живописные горные ущелья, которые в настоящее время привлекают со всех концов Англии многочисленных туристов, желающих усладить свои взоры величием горных красот Шотландии и ублажить свои желудки своеобразными кушаньями шотландской кухни.

Наконец отряд достиг южного берега великолепного озера, над которым возвышался замок Инверэри. Начальник затрубил в рог, и звуки его прокатились мощными отголосками по прибрежным скалам и лесам, послужив сигналом для хорошо оснащенной галеры, которая, выйдя из глубокой бухты, где она была укрыта, взяла на борт весь отряд, включая и Густава. Это смышленое четвероногое, видавшее виды в своих многочисленных странствиях по морю и по суше, взошло на корабль и сошло на берег с достоинством воспитанного человека.

Плывя по зеркальной поверхности озера Лох-Файн, капитан Дальгетти мог бы любоваться одним из великолепнейших зрелищ, созданных природой. Он мог бы заметить, как реки-

соперницы Эрей и Ширей впадают в озеро, беря начало каждая в своем собственном темном и лесистом ущелье. Он мог бы увидеть на склоне холма, отлого поднимающегося над озером, древний готический замок, чьи причудливые очертания, зубчатые стены, башни, внешние и внутренние дворы были куда более живописны, нежели теперешние массивные и однообразные постройки. Он мог бы любоваться дремучими лесами, на много миль простиравшимися вокруг этого грозного, но поистине царственного жилища, и взор его мог бы насладиться стройным силуэтом пика Дэникоик, который, отвесно подымаясь от самого озера, упирался в небо своей препоясанной туманами вершиной, где, подобно орлиному гнезду, примостилась сторожевая башня, усугублявшая грозное величие древней твердыни.

Все это и еще многое другое мог бы заметить капитан Дальгетти, будь он к тому расположен. Но, надо признаться, доблестного капитана, позавтракавшего на рассвете, больше всего занимали дымок, вившийся из трубы замка, и предвкушение обильного провианта — как он обычно называл то, что этот дымок ему сулил.

Галера вскоре причалила к неровному молу, соединявшему озеро с маленьким городком Инверэри, в те далекие времена представлявшим собой лишь жалкое скопище хижин, среди которых там и сям были разбросаны редкие каменные дома. Городок простирался вверх от берега Лох-Файна до главных ворот замка, и картина, представившаяся глазам путников, отбила бы аппетит и заставила содрогнуться всякого, кто обладал бы менее мужественным сердцем и более слабыми нервами, нежели ритмейстер Дугалд Дальгетти, драмсуэкитский дворянин без поместья.

## ГЛАВА XII

Он все презрел — и нравы и законы,—
Сей наглый ум, для черных дел рожденный.
Неутомимый, злой, благопристойный,
У власти — зверь, в опале — беспокойный.

*«Авессалом и Ахитофель»*[1]

Селение Инверэри, ныне чистенький провинциальный городок, в те времена жалким видом своих домишек и хаотическим расположением немощеных улиц вполне отвечал характеру сурового семнадцатого столетия.

[1] Перевод И. Миримского.

Но еще более страшную черту той эпохи являла собой довольно просторная, неправильной формы базарная площадь, расположенная на полпути между пристанью и грозными воротами замка с его мрачным порталом, подъемными решетками и боковыми башнями. Посередине площади стояла грубо сколоченная виселица, на которой болталось пять мертвецов, из коих двое, судя по одежде, были уроженцами Нижней Шотландии; трое остальных были закутаны в национальные пледы горцев Верхней Шотландии. Две-три женщины сидели у подножия виселицы и, видимо, оплакивали покойников, вполголоса распевая поминальные молитвы. Впрочем, зрелище это было, очевидно, столь обычным, что не привлекало внимания местных жителей, ибо, столпившись вокруг капитана Дальгетти, они с любопытством рассматривали его воинственную фигуру, блестящие доспехи, рослого коня и даже не оглядывались на виселицу, украшавшую базарную площадь их селения.

Посланец Монтроза отнесся к делу не столь равнодушно, и, услышав два-три слова, произнесенных по-английски одним из горцев довольно миролюбивого вида, он тотчас же осадил Густава и обратился к горцу:

— Я вижу, у вас тут поработал начальник военной полиции. Не скажешь ли ты мне, за что казнены эти преступники?

Говоря это, Дальгетти взглянул на виселицу, и горец, поняв вопрос скорее по выражению его лица, нежели по произнесенным словам, тотчас же ответил:

— Трое — горцы-разбойники, мир праху их! — Тут он перекрестился.— А двое— с предгорья; чем-то они прогневили Мак-Каллумора,— и, с равнодушным видом отвернувшись от Дальгетти, пошел прочь, не дожидаясь дальнейших расспросов.

Дальгетти пожал плечами и поехал дальше, тем более что десятиюродный брат сэра Дункапа Кэмбела начал проявлять признаки нетерпения.

У ворот замка его ожидало другое, не менее страшное свидетельство феодальной власти. За частоколом, или палисадом, возведенным, по-видимому, совсем недавно в качестве дополнительного укрепления ворот, защищенных с обеих сторон двумя пушками мелкого калибра, было небольшое огороженное место; посреди него стояла плаха, а на ней лежал топор. То и другое было залито свежей кровью, а рассыпанные кругом опилки отчасти изобличали, отчасти скрывали следы недавней казни.

В то время как Дальгетти смотрел на это новое доказательство жестокости, начальник конвоя внезапно дернул его за полу кожаной куртки, чтобы привлечь его внимание, и указал пальцем

и кивком головы на высокий шест, на котором торчала человеческая голова, принадлежавшая, несомненно, казненному. Злобная усмешка, скользнувшая по лицу горца в то время, как он указывал на это ужасное зрелище, не предвещала ничего хорошего.

Дальгетти спешился у ворот замка, и Густава тотчас увели, не позволив капитану лично проводить его до конюшни, как он к тому привык.

Это устрашило храброго воина гораздо больше, чем вид орудий насильственной смерти.

«Бедный Густав! — подумал он про себя.— Если со мной случится недоброе, то уж лучше бы я оставил его в Дарнлинварахе, а не брал с собой к этим дикарям, которые едва умеют отличить голову лошади от ее хвоста. Но иногда долг заставляет человека расставаться с самым для него близким и дорогим...

Пусть ядра грохочут. гремит канонада,
Вы смерти не бойтесь. вам слава — награда.
Исполним же долг свой. добудем победу
Святой нашей вере и славному шведу!»

Усыпив до некоторой степени свои опасения заключительной строфой военной песни, капитан последовал за своим проводником в кордегардию замка, где толпились вооруженные горцы. Его предупредили, что он должен оставаться здесь, пока о его прибытии не будет доложено маркизу. Чтобы придать своему сообщению больше веса, отважный капитан передал начальнику конвоя пакет от сэра Дункана Кэмбела, пытаясь как можно лучше разъяснить ему знаками, что пакет должен быть вручен маркизу в собственные руки. Тот кивнул головой и удалился.

Капитан провел около получаса в кордегардии, где он вынужден был либо с презрением отворачиваться, либо дерзко отвечать на пытливые и вместе с тем враждебные взгляды вооруженных горцев, у которых его внешность и воинские доспехи вызывали любопытство, так же как его личность и происхождение — явную ненависть. Все это капитан переносил с чисто военным хладнокровием, пока, по истечении указанного выше срока, не появился человек, одетый в черное бархатное платье, с золотой цепью на шее — наподобие современного эдинбургского судьи; но это был всего-навсего дворецкий маркиза. Войдя в комнату, он почтительно и торжественно пригласил капитана последовать за ним, чтобы предстать перед его господином.

В покоях, через которые им пришлось проходить, толпились слуги и гости разного чина и звания — вероятно, приглашенные умышленно, дабы ослепить посланника Монтроза и дать

ему почувствовать, сколь велико могущество и великолепие дома Аргайлов по сравнению с соперничающим с ним домом Монтрозов. В одном из залов было полно лакеев в коричнево-желтых ливреях — то были цвета дома Аргайлов; выстроившись шпалерами, они безмолвно глазели на проходившего мимо них капитана Дальгетти. В другом зале собрались знатные горцы и представители младших ветвей кланов; они развлекались игрой в шахматы, в триктрак и в другие игры, едва отрываясь, чтобы бросить любопытный взгляд на незнакомца. Третий зал был полон дворян из предгорья и военных, состоявших, по-видимому, при особе маркиза, и, наконец, в четвертом — аудиенц-зале — находился сам маркиз, окруженный почетной стражей, свидетельствовавшей о его высоком звании.

Этот зал, двойные двери которого распахнулись, чтобы пропустить капитана Дальгетти, представлял собой длинную галерею со сводчатым потолком над открытыми стропилами, балки которых были богато украшены резьбой и позолотой; стены были увешаны гобеленами и фамильными портретами. Галерею освещали стрельчатые готические окна с массивным переплетом в виде колонок и с цветными стеклами, пропускавшими тусклый свет сквозь нарисованные кабаньи головы, галеры, палицы и мечи, являвшие собой геральдические знаки могущественного дома Аргайлов и эмблемы почетных наследственных должностей — верховного судьи Шотландии и камергера королевского двора, издревле занимаемых членами этого рода. В верхнем конце великолепной галереи стоял сам маркиз, окруженный пышной толпой северных и южных дворян, среди которых находилось два-три духовных лица, приглашенных, вероятно, для того, чтобы они могли воочию убедиться в приверженности его светлости к пресвитерианству.

Сам маркиз был одет по моде того времени, неоднократно запечатленной на портретах Ван-Дейка. Но одежда маркиза была строга и однотонна и скорее богата, нежели нарядна. Его смуглое лицо, изборожденный морщинами лоб и потупленный взор придавали ему вид человека, постоянно погруженного в размышления о важных государственных делах и в силу этой привычки сохранявшего многозначительное и таинственное выражение, даже когда ему нечего было скрывать. Его косоглазие, которому он был обязан своим прозвищем — Джилспай Грумах, было менее заметно, когда он смотрел вниз, что и явилось, вероятно, одной из причин, почему он редко поднимал глаза. Он был высок ростом и очень худ, но держался с величавым достоинством, как это подобало его высокому положению. Была

какая-то холодность в его обращении и что-то зловещее во взгляде, хотя он и говорил и вел себя с обычной учтивостью людей своего круга. Он был кумиром своего клана, возвышению которого много способствовал; но в той же мере его ненавидели горцы других кланов, ибо одних он уже успел обобрать, другие опасались его будущих посягательств на их владения, и все трепетали перед его все возрастающим могуществом.

Мы уже упоминали о том, что, появившись среди своих советников, чинов своего двора и пышной свиты своих вассалов, союзников и подчиненных, маркиз Аргайл, вероятно, рассчитывал произвести сильнейшее впечатление на капитана Дугалда Дальгетти. Но сей доблестный муж подвизался на военном поприще в Германии в эпоху Тридцатилетней войны, а в те времена отважный и преуспевающий воин был ровней великим мира сего. Шведский король и, по его примеру, даже надменные немецкие князья нередко смиряли свою гордость и, не будучи в состоянии удовлетворить денежные требования своих воинов, задабривали их всяческими привилегиями и знаками внимания. Капитан Дугалд Дальгетти мог с полным правом похвастать тем, что на пирах, задаваемых в честь монархов, ему не раз доводилось сидеть рядом с коронованными особами, и поэтому его трудно было смутить и удивить даже такой пышностью, какой окружил себя Мак-Каллумор. Капитан по своей натуре отнюдь не отличался скромностью — напротив, он был столь высокого о себе мнения, что, в какую бы компанию он ни попал, самоуверенность его возрастала соответственно окружающей обстановке, и он чувствовал себя столь же непринужденно в самом высшем обществе, как и среди своих обычных приятелей. Его высокое мнение о своей особе в значительной степени зиждилось на его благоговении перед воинским званием, которое — по его словам — ставило доблестного воина на одну доску с императором.

Поэтому, будучи введен в аудиенц-зал маркиза, он скорее развязно, нежели учтиво, направился в верхний конец галереи и подошел бы вплотную к Аргайлу, если бы тот движением руки не остановил его. Капитан Дальгетти повиновался, небрежно отдал честь и обратился к маркизу:

— Доброе утро, милорд! Или, точнее говоря,— добрый вечер! Beso a usted las manos [1], как говорят испанцы.

— Кто вы такой, сэр, и что вам здесь нужно? — спросил маркиз ледяным тоном, чтобы положить конец оскорбительной фамильярности капитана

[1] Целую ваши руки *(исп.)*.

— Вот это прямой вопрос, милорд,— сказал Дальгетти,— на который я отвечу, как подобает благородному воину, и притом peremptorie [1], как говорилось у нас в эбердинском духовном училище.

— Узнай, кто он и зачем он здесь, Нийл,— угрюмо произнес маркиз, обращаясь к одному из дворян.

— Я избавлю почтенного джентльмена от труда наводить справки,— сказал посланец Монтроза.— Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкита, бывший ритмейстер в различных войсках, а ныне майор какого-то там ирландского полка. Прибыл же я сюда в качестве парламентера от имени высокородного и могущественного лорда, графа Джеймса Монтроза, и от других знатных особ, поднявших оружие во славу его величества. Итак, да здравствует король Карл!

— Вы, очевидно, не знаете, где вы находитесь и какой опасности подвергаетесь, позволяя себе шутить с нами,— снова обратился к нему маркиз,— если так отвечаете мне, будто я малое дитя или глупец! Граф Монтроз заодно с английскими мятежниками; и я подозреваю, что вы один из тех ирландских бродяг, которые явились в нашу страну, чтобы огнем и мечом разорить ее, как это делалось и раньше под предводительством сэра Фелима О'Нейла.

— Милорд,— возразил капитан Дальгетти,— я отнюдь не бродяга, хоть и майор ирландского полка; это могут засвидетельствовать непобедимый Густав-Адольф, этот Северный Лев, Банер, Оксенстьерн, доблестный герцог Саксен-Веймарский, Тилли, Валленштейн, Пикколомини и другие великие полководцы, как почившие, так и ныне здравствующие; а что касается благородного графа Монтроза, прошу вашу светлость прочесть вот эту верительную грамоту, дающую мне полномочия вести с вами переговоры от имени достопочтенного военачальника.

Маркиз мельком взглянул на документ за подписью и печатью Монтроза, который капитан Дальгетти вручил ему, и, с презрением бросив его на стол, обратился к окружающим с вопросом: чего заслуживает тот, кто открыто признает себя посланником и доверенным лицом низких предателей, поднявших оружие против государства?

— Высокой виселицы и короткой расправы,— таков был готовый ответ одного из придворных.

— Я попросил бы почтенного дворянина, только что высказавшего свое мнение, не слишком торопиться с заключениями,—

---

[1] Вполне определенно *(лат.)*.

сказал Дальгетти,— а вашу светлость — быть осмотрительнее при утверждении подобных приговоров, памятуя, что таковые могут быть вынесены лишь людям низших сословий, а не храбрым воинам, которые по долгу службы подвергают свою жизнь опасности при исполнении обязанностей парламентера так же неизбежно, как во время осады, атаки и в битвах всякого рода. И хотя при мне нет ни трубача, ни белого флага, по той причине, что наша армия еще не имеет необходимого снаряжения, тем не менее почтенные дворяне и вы, ваша светлость, должны согласиться со мной, что неприкосновенность посла, явившегося для мирных переговоров, ограждается не трубным гласом, который есть лишь звук пустой, или белым флагом, который сам по себе не что иное, как старая тряпка,— а доверием пославшего и самого посланного к чести тех, кому направлено послание, и убеждением, что в лице посла будут уважены как jus gentium [1], так и правила войны.

— Вы здесь не для того, чтобы учить нас правилам войны,— промолвил маркиз,— которые не могут и не должны быть применены к бунтовщикам и мятежникам, а для того, чтобы понести должное наказание за дерзость и глупость, побудившие вас доставить коварное послание верховному судье Шотландского королевства, который обязан за это преступление предать вас смертной казни.

— Господа,— обратился к окружающим капитан Дальгетти, которому весьма мало нравился такой оборот дела,— прошу вас не забывать, что вам придется отвечать жизнью и имуществом перед графом Монтрозом за малейший ущерб, нанесенный мне или моему коню вследствие такого неслыханного образа действий, и что он будет вправе отомстить вам, посягнув на вашу жизнь и на ваше имущество.

Эта угроза была встречена презрительным смехом, а один из Кэмбелов заметил: «Далеко отсюда до Лохоу», что было излюбленной поговоркой их клана и означало, что их старинные наследственные владения недосягаемы для вражеского нашествия.

— Однако, господа,— продолжал злополучный капитан, отнюдь не желавший быть приговоренным без суда и следствия,— хоть и не мне решать, далеко ли отсюда до Лохоу, поскольку я чужой человек в этих краях, но, что гораздо ближе к делу, я надеюсь, вы примете во внимание, что за мою неприкосновенность ручался своим честным словом благородный дворянин вашего

[1] Международное право *(лат.)*.

собственного клана — сэр Дункан Кэмбел Арденвор. И прошу вас не забывать, что, посягнув на мою неприкосновенность, вы тем самым покроете позором его честное и благородное имя!

Это заявление оказалось, по-видимому, совершенно неожиданным для большинства присутствующих, ибо они начали перешептываться между собой, а лицо маркиза, несмотря на его умение скрывать свои чувства, выразило нетерпение и досаду.

— Правда ли, что сэр Дункан Арденвор поручился своей честью за неприкосновенность этого человека, милорд? — спросил один из Кэмбелов, обращаясь к маркизу.

— Я этому не верю,— отвечал маркиз,— впрочем, я еще не успел прочесть его письмо.

— Мы просим вашу светлость сделать это,— заметил другой член клана Кэмбелов.— Наше доброе имя не должно быть запятнано из-за этого приятеля.

— Ложка дегтя может испортить бочку меда,— промолвил один из пасторов.

— Ваше преподобие,— обратился к нему капитан Дальгетти,— так как ваше замечание может послужить мне на пользу, я охотно прощаю вам ваше нелестное сравнение; я также охотно извиняю джентльмена в красной шапке, назвавшего меня приятелем, вероятно, с целью меня оскорбить. Я не позволил бы так величать себя, если бы неоднократно не слышал обращения «друг-приятель» от своих собратьев по оружию — великого Густава-Адольфа, того Северного Льва, и других прославленных полководцев как в Германии, так и в Нидерландах. Что касается поручительства сэра Дункана Кэмбела, я готов прозакладывать свою голову, что он завтра же подтвердит мои слова, как только прибудет сюда.

— Если в самом деле ожидается скорое прибытие сэра Дункана, милорд,— сказал один из заступников капитана,— было бы жаль раньше времени предрешать судьбу этого бедняги.

— И, кроме того,— подхватил другой,— да простит мне ваша светлость мое почтительное вмешательство,— вам все же следовало бы ознакомиться с содержанием письма рыцаря Арденвора и узнать, на каких условиях он прислал сюда этого майора Дальгетти, как он себя именует.

Все столпились вокруг маркиза и вполголоса совещались между собой, то по-английски, то на гэльском языке. Патриархальная власть предводителей кланов была очень велика, а власть маркиза Аргайла, облеченного всеми наследственными правами блюстителя правосудия, была неограниченна. Но и в самом деспотическом правлении бывают сдерживающие об-

стоятельства того или иного порядка. Таким сдерживающим обстоятельством, полагающим предел произволу кельтских вождей, была необходимость ублажать своих родичей, которые командовали боевыми отрядами своих кланов во время войны и составляли нечто вроде родового совета в мирное время. Сейчас маркиз счел нужным прислушаться к доводам своего сената или, точнее, старейшин клана Кэмбелов и, выступив из окружавшей его толпы, отдал приказание отвести пленника в надежное место.

— Пленника?! — воскликнул Дальгетти, изо всех сил пытаясь отбиться от двух горцев, которые уже несколько минут как подошли к нему сзади вплотную и только ждали приказания, чтобы схватить его. Капитан действовал так энергично, что едва не очутился на свободе, и маркиз Аргайл, изменившись в лице, отступил на шаг и схватился за рукоятку своей шпаги, а несколько членов его клана самоотверженно бросились между ним и пленником, который мог на него напасть. Однако горцы оказались сильнее и, обезоружив несчастного капитана, поволокли его по длинным и мрачным переходам, пока не достигли низкой боковой двери, окованной железом, за которой находилась вторая — деревянная. Старый угрюмый горец с длинной седой бородой отпер одну за другой обе двери, за которыми обнаружилась очень узкая и крутая лестница, ведущая вниз. Стража столкнула капитана с первых ступенек и, отпустив его, предоставила ему ощупью добираться вниз; это оказалось довольно трудной и даже опасной задачей, ибо, после того как обе двери захлопнулись, пленник остался в полной темноте.

## ГЛАВА XIII

Кто б ни явился в этот храм,
Достоин сожаленья,
Когда, смирясь, не склонит там
Пред господом колени.

*Бернс, «Эпиграмма на посещение Инверэри»*

Итак, оставшись в потемках и очутившись в довольно неопределенном положении, капитан Дальгетти со всеми возможными предосторожностями начал спускаться вниз, надеясь в конце лестницы найти место, где можно было бы отдохнуть. Но, несмотря на всю свою осмотрительность, он все-таки оступился

и последние четыре-пять ступеней миновал столь стремительно, что едва удержался на ногах. А в конце лестницы он споткнулся о какой-то мягкий тюк, который при этом пошевелился и застонал, отчего капитан окончательно потерял равновесие; сделав еще несколько неверных шагов, он упал на четвереньки на каменный пол сырого подземелья.

Придя в себя, капитан Дальгетти прежде всего пожелал узнать, на кого он наткнулся.

— Еще месяц тому назад это был человек,— отвечал глухой, надтреснутый голос.

— А кто же он теперь,— спросил Дальгетти,— если считает приличным, свернувшись в клубок, укладываться на последней ступеньке лестницы, так что благородный воин, попавший в беду, рискует разбить себе нос по его милости?

— Кто он теперь? — отвечал тот же голос.— Теперь он жалкий ствол, у которого одну за другой обрубили все ветви и которому все равно, когда его самого вырвут с корнем и расколют на поленья для печки.

— Друг мой,— сказал Дальгетти,— мне жаль тебя, но paciencia! [1] — как говорят испанцы. Однако, если бы ты не лежал здесь бревном, как ты себя величаешь, я не ободрал бы себе кожу на руках и коленях.

— Ты воин,— отвечал ему друг по несчастью,— а жалуешься на ушибы, о которых мальчишка не стал бы тужить!

— Воин? — повторил капитан.— А как ты узнал в этой чертовой темноте, что я воин?

— Я слышал звон твоих доспехов, когда ты падал,— отвечал узник,— а теперь вижу, как они блестят. Когда ты насидишься в темноте так долго, как я, глаза твои привыкнут различать самую маленькую ящерицу, ползающую по полу.

— Лучше бы уж черт их выколол! — воскликнул Дальгетти.— Коли на то пошло, я предпочел бы веревку на шею, краткую солдатскую молитву и прыжок с лестницы. Однако скажи мне, собрат по несчастью, каков здесь провиант? Чем тебя тут кормят?

— Хлеб да вода один раз в день,— отвечал голос.

— Сделай милость, дружище, дай мне отведать твоего хлеба,— сказал Дальгетти.— Надеюсь, мы будем добрыми друзьями, сидя вместе в этой отвратительной дыре.

— Хлеб и кувшин с водой там в углу,— отвечал узник,— направо, в двух шагах от тебя. Возьми и ешь на здоровье. Мне земная пища уже не нужна.

---

[1] Терпение *(исп.)*.

Не дожидаясь вторичного приглашения, Дальгетти ощупью нашел провизию и принялся жевать черствую овсяную лепешку с не меньшим аппетитом, чем, как нам известно, он уплетал самые изысканные блюда.

— Этот хлеб,— бормотал он с набитым ртом,— не слишком вкусен; впрочем, он лишь немногим хуже того, который мы ели во время знаменитой осады Бербена, когда доблестный Густав-Адольф расстроил все замыслы славного Тилли, этого грозного, закаленного в боях старца, прогнавшего с поля сражения двух королей, а именно — Фердинанда Богемского и Христиана Датского. А что касается воды, то хоть она и не отличается свежестью, я все же выпью за твое быстрейшее освобождение, дружище, не забывая и о своем собственном; я искренне сожалею о том, что это не рейнское вино или не пенистое любекское пиво, что более пристало бы для подобного тоста.

Болтая таким образом, Дальгетти в то же время усердно работал челюстями и быстро уничтожил провизию, которую великодушие или, вернее, равнодушие его товарища по несчастью предоставило его ненасытному желудку. Покончив с этим, капитан завернулся в свой плащ и, усевшись в углу подземелья, где он мог одновременно прислониться к двум стенкам (ибо, не преминул он заметить, с юных лет имел пристрастие к удобным креслам), принялся расспрашивать своего сотоварища по заключению.

— Почтенный друг мой,— начал капитан,— так как мы с тобою сейчас сожители, то нужно нам поближе познакомиться. Я Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкита и прочая; служу в чине майора в полку верноподданных ирландцев и являюсь чрезвычайным послом высокородного и могущественного лорда, графа Джеймса Монтроза. Прошу тебя теперь назвать свое имя.

— Тебе от этого не станет легче,— отвечал его менее говорливый собеседник.

— Предоставь мне самому судить об этом,— возразил капитан.

— Ну так знай: меня зовут Раналд Мак-Иф, что значит: Раналд Сын Тумана.

— Сын Тумана! — воскликнул Дальгетти.— Я бы сказал — сын непроглядного мрака. Ну, Раналд,— коли таково твое имя,— как же ты попал в лапы правосудия? Проще говоря, какой черт тебя сюда занес?

— Мои несчастья и мои преступления,— отвечал Раналд.— Знаешь ли ты рыцаря Арденвора?

— Знаю этого почтенного мужа,— сказал Дальгетти.

— А не знаешь ли ты, где он сейчас? — спросил Раналд.

— Сегодня он постится в Арденворе,— отвечал чрезвычайный посол,— чтобы иметь возможность пировать завтра в Инверэри. Если же он почему-либо не осуществит своего намерения, мое дальнейшее пребывание на земле станет несколько сомнительным.

— Так передай ему, что его злейший враг и в то же время его лучший друг просит его заступничества,— промолвил Раналд.

— Откровенно говоря, я желал бы передать ему менее двусмысленную просьбу,— возразил Дальгетти.— Сэр Дункан не большой любитель разгадывать загадки.

— Трусливый сакс! — воскликнул узник.— Скажи ему, что я тот ворон, который пятнадцать лет тому назад налетел на его укрепленное гнездо и растерзал его потомство... Я тот охотник, который отыскал волчье логово на скале и задушил всех волчат... Я предводитель той шайки, которая, день в день, ровно пятнадцать лет тому назад напала врасплох на его замок Арденвор и предала мечу четверых его детей.

— Поистине, мой почтенный друг, коли таковы твои заслуги, которыми ты думаешь снискать милость сэра Дункана, то я предпочел бы умолчать о них, ибо я имел случаи наблюдать, что даже неразумные твари питают злобу к тем, кто причиняет вред их детенышам,— а тем более человек и христианин никогда не простит насилия, совершенного над членами его семейства! Но будь так любезен, скажи мне, с какой стороны ты произвел нападение на замок? Уж не с того ли холма, называемого Драмснэбом, который я считаю самым подходящим местом для атаки, если он не будет защищен возведенным на нем фортом?

— Мы влезли на скалу по лестницам, сплетенным из ивовых ветвей и молодых побегов,— сказал узник,— которые спустил нам наш сообщник, член нашего клана: полгода прослужил он в замке для того, чтобы в ту ночь упиться сладостью мщения. Сова ухала над нами, пока мы висели между небом и землей; морской прибой бушевал у подножия скалы, разбив в щепы наш челн; но ни один из нас не дрогнул. Наутро лишь кровь и пепел остались там, где еще накануне царили мир и довольство.

— Славная ночная атака, что и говорить, Раналд Мак-Иф! Хорошо задумано и достойным образом выполнено... Тем не менее я начал бы натиск со стороны небольшого возвышения под названием Драмснэб. Но ведь вы ведете беспорядочную войну, на скифский лад, дружище Раналд; вы воюете примерно как турки, татары и другие азиатские народы. А какова же причи-

на, каков был повод к этой войне, так сказать teterrima causa?[1] Объясни мне, пожалуйста, Раналд.

— Род Мак-Олей и другие западные кланы так сильно притесняли нас, что нам стало небезопасно оставаться на своих землях.

— Ага! — заметил Дальгетти.— Я уже как будто кое-что слышал об этих делах. Не вы ли воткнули хлеб с сыром в рот человеку, у которого уже не было желудка, чтобы его переварить?

— Значит, ты слышал о том, как мы отомстили надменному лесничему?

— Помнится, что-то слышал,— отвечал Дальгетти,— и притом совсем недавно. Веселая это была шутка — набить хлебом рот покойнику, но, пожалуй, уж слишком грубая и дикая, по понятиям цивилизованных людей, не говоря уж о бесполезном расходовании съестных припасов. Не раз случалось мне видеть, друг Раналд, как во время осады или блокады живой солдат был бы счастлив получить ту корку хлеба, которую ты, Раналд, потратил зря, всунув ее в зубы мертвецу.

— Сэр Дункан напал на нас,— продолжал Мак-Иф.— Брат мой был убит, его голова торчала на зубчатой стене, через которую мы лезли... Я поклялся отомстить, а такой клятвы я еще никогда не нарушал.

— Так-то оно так,— отвечал Дальгетти,— и каждый истый воин согласится с тобой, что нет ничего слаще мщения; но мне что-то невдомек: каким образом вся эта история может побудить сэра Дункана вступиться за тебя? Разве что он попросит маркиза изменить способ твоей казни: не просто повесить тебя, подтянув за шею, а сначала колесовать и переломать тебе кости лемехом плуга или умертвить при помощи какой-нибудь еще более жестокой пытки. Был бы я на твоем месте, Раналд, я бы не напоминал о себе сэру Дункану и, сохранив про себя свою тайну, попросту дал бы вздернуть себя, как это делали твои предки.

— Выслушай меня, чужестранец! — сказал горец.— У сэра Дункана, рыцаря Арденворского, было четверо детей. Трое из них погибли под ударами наших кинжалов, но четвертый остался жив. И дорого бы дал старик, чтобы покачать на коленях это оставшееся в живых дитя, вместо того чтобы ломать мои старые кости, которым все равно, как он утолит свою жажду мщения. Одно только слово,— если бы я захотел произнести его,— превратило бы день скорби и поста в радостный день благодарения

[1] Омерзительнейшая причина *(лат.)*.

богу и преломления хлеба. О, я по себе это знаю! Стократ дороже мне мой Кеннет, который гоняется за бабочками на берегах Овена, нежели все десять моих сыновей, лежащие в сырой земле или питающие своими трупами хищных птиц.

— Я полагаю, Раналд,— заметил Дальгетти,— что те трое молодцов, которых я видел на базарной площади подвешенными за шею, наподобие вяленой трески, до некоторой степени знакомы тебе?

Последовало короткое молчание, прежде чем горец произнес в сильном волнении:

— То были мои сыновья, чужестранец, мои сыновья! Кровь от крови моей, кость от кости моей! Быстроногие, бьющие без промаха, непобедимые, пока Сыны Диармида не одолели их численностью! И зачем я стремлюсь пережить их? Старому стволу легче, когда выкорчевывают его корни, нежели когда падают обрубленные нежные ветви. Но Кеннет должен быть взращен для мщения... Старый орел должен научить орленка когтить своего врага. Ради него я готов выкупить свою жизнь и свободу, открыв мою тайну рыцарю Арденвору.

— Тебе легче будет этого достигнуть,— произнес третий голос, вмешиваясь в разговор,— если ты доверишь свою тайну мне.

Все горцы суеверны.

— Враг рода человеческого среди нас! — воскликнул Раналд Мак-Иф, вскакивая на ноги. Цепи загремели при его попытке отступить как можно дальше от того места, откуда раздался голос.

Страх его до некоторой степени передался капитану Дальгетти, который принялся повторять разноязычный запас заклинаний, когда-либо им слышанных, причем помнил он не более одного-двух слов из каждого.

— In nomine domini! [1] — как говорилось у нас в училище. Santisima madre de Dios! [2] — как это там у испанцев... Alle guten Geister loben den Herrn! [3] — сказано у святого псалмопевца, в переводе доктора Лютера.

— Полно вам причитать,— произнес тот же голос.— Хоть я и появился здесь несколько необычным образом, однако я такой же смертный, как и вы, и появление мое может быть для вас

---

[1] Во имя господне! *(лат.)*
[2] Пресвятая матерь божья! *(исп.)*
[3] Всякое дыхание хвалит господа! *(нем.)*

весьма полезным в вашем теперешнем положении, если вы не погнушаетесь выслушать мой совет.

При этих словах незнакомец слегка приоткрыл свой фонарь, и при слабом его свете капитану Дальгетти с трудом удалось рассмотреть, что собеседник, так таинственно присоединившийся к ним и вмешавшийся в их разговор,— человек высокого роста, в ливрейном плаще служителей маркиза. Прежде всего капитан взглянул на его ноги, но не увидел ни раздвоенного копыта, которое шотландские легенды приписывают черту, ни лошадиной подковы, по которой черта узнают в Германии. Несколько успокоившись, капитан спросил незнакомца, как он попал к ним.

— Ибо,— добавил он,— если бы вы воспользовались дверью, мы услышали бы скрип ржавых петель, а ежели вы пролезли сквозь замочную скважину, то, кем бы вы ни прикидывались, сэр, поистине вас невозможно причислить к полку живых.

— Это моя тайна,— отвечал незнакомец,— и я не раскрою ее вам, пока вы этого не заслужите, сообщив мне в обмен ваши тайны. Тогда, может быть, я сжалюсь над вами и выведу вас тем же путем, каким сам проник сюда.

— В таком случае это будет, конечно, не замочная скважина,— сказал капитан Дальгетти,— ибо мой панцирь застрял бы в ней, даже если предположить, что пролез бы шлем. Что касается тайны, то у меня лично нет никакой, да и чужих немного. Но поведайте нам, какие тайны хотелось бы вам услышать от нас, или, как обычно говорил профессор Снафлгрик в эбердинском духовном училище: «Выскажись, дабы я познал тебя».

— До вас еще не дошла очередь,— отвечал незнакомец, наводя фонарь на изможденное, угрюмое лицо и высохшую фигуру старого горца, который, прижавшись к дальней стене подземелья, как будто все еще сомневался, точно ли перед ним живое существо.— Я кое-что принес вам друзья,— произнес незнакомец уже более дружелюбным тоном,— чтобы вы могли подкрепиться: если вам предстоит умереть завтра, это еще не причина, чтобы уже не жить сегодня вечером.

— Конечно, конечно, не причина! — подхватил капитан Дальгетти, немедленно принимаясь извлекать содержимое небольшой корзинки, которую незнакомец принес под своим плащом, в то время как горец, то ли от недоверия, то ли из гордости, не обратил никакого внимания на лакомые куски.— За твое здоровье, дружище! — провозгласил капитан, успевший покончить с огромным куском жареной козлятины и принявшийся теперь за флягу с вином.— А как твое имя, любезный?

— Мардох Кэмбел, сэр,— отвечал слуга.— Я лакей маркиза, а при случае исполняю обязанности помощника дворецкого.

— Ну так еще раз — за твое здоровье, Мардох! — сказал Дальгетти.— Именной тост в твою честь принесет тебе счастье! Если не ошибаюсь, это винцо — калькавелла? Итак, почтеннейший Мардох, беру на себя смелость заявить, что ты заслуживаешь быть старшим дворецким, ибо ты выказал себя в двадцать раз более опытным, нежели твой хозяин, по части снабжения продовольствием честных джентльменов, попавших в беду. На хлеб и на воду — вот еще что выдумал! Этого было бы вполне достаточно, Мардох, чтобы пустить дурную славу о подземельях господина маркиза. Но я вижу, тебе хочется побеседовать с моим другом Раналдом Мак-Ифом. Не обращай на меня внимания — я удалюсь в уголок, забрав с собой эту корзиночку, и ручаюсь, мои челюсти будут так громко работать, что мои уши ничего не услышат.

Несмотря на такое обещание, бравый воин, однако, постарался не пропустить ни слова из этой беседы,— то есть, по его собственному выражению, он «насторожил уши, как Густав, когда тот слышит звук открываемого закрома с овсом». Благодаря тесноте подземелья ему удалось подслушать следующий разговор.

— Известно ли тебе, Сын Тумана, что ты выйдешь отсюда только для того, чтобы быть повешенным? — спросил Кэмбел.

— Те, кто мне всего дороже, уже совершили этот путь раньше меня,— отвечал Мак-Иф.

— Так, значит, ты ничего не хочешь сделать для того, чтобы избежать этого пути? — продолжал спрашивать посетитель.

Узник долго гремел своими цепями, прежде чем ответить на этот вопрос.

— Много готов я сделать,— промолвил он наконец,— но не ради спасения моей жизни, а ради того, кто остался в долине Стратхэвен.

— А что же бы ты сделал, чтобы отвратить от себя сей страшный час? — снова спросил Мардох.— Мне все равно, по какой причине ты желал бы его избежать.

— Я сделал бы все, что может сделать человек, сохранив свое человеческое достоинство.

— Ты еще считаешь себя человеком,— сказал Мардох,— ты, совершавший деяния хищного волка?

— Да,— отвечал разбойник,— я такой же человек, какими были мои предки. Живя под покровом мира, мы были кротки, как агнцы; но вы сорвали этот покров и теперь называете нас

волками? Верните нам наши хижины, сожженные вами, наших детей, умерщвленных вами, наших вдов, которых вы уморили голодом; соберите с виселиц и с шестов изуродованные трупы и побелевшие черепа наших родичей, верните их к жизни, дабы они могли благословить нас,— тогда, и только тогда, мы станем вашими вассалами и вашими братьями. А пока этого нет — пусть смерть, и кровь, и обоюдная вражда воздвигнут черную стену раздора между нами!..

— Итак, ты ничего не хочешь сделать, чтобы получить свободу? — повторил свой вопрос Мардох.

— Готов пойти на все, но никогда не назовусь другом вашего племени! — отвечал Мак-Иф.

— Мы гнушаемся дружбой грабителей и разбойников,— возразил Мардох,—и не унизились бы до нее. В обмен на твою свободу я требую от тебя одного: скажи, где дочь и наследница рыцаря Арденвора?

— Чтобы вы, по обычаю Сынов Диармида, обвенчали ее с каким-нибудь нищим родичем вашего господина? — промолвил Раналд.— Разве долина Гленорки до сего часа не взывает о мщении за насилие, совершенное над беззащитной девушкой, которую ее родные сопровождали ко двору государя? Разве ее провожатые не были вынуждены спрятать ее под котел, вокруг которого они сражались, пока все до одного не полегли на месте? И разве девушка не была доставлена в этот злосчастный замок и выдана замуж за брата Мак-Каллумора? И все это только из-за ее богатого наследства! [1]

— Пусть это правда,— сказал Мардох.— Она заняла положение, которого сам король Шотландии не мог бы предоставить ей. Впрочем, это к делу не относится. Дочь сэра Дункана Арденвора — нашего рода, она не чужая нам; и кто, как не Мак-Каллумор, предводитель нашего клана, имеет право узнать о ее судьбе?

— Так ты от его имени вопрошаешь меня об этом? — спросил разбойник.

Слуга маркиза отвечал утвердительно.

— И вы не причините никакого зла этой девушке? Она и так уже достаточно пострадала по моей вине.

— Никакого зла, даю тебе слово христианина,— отвечал Мардох.

---

[1] Такое предание существует о наследнице клана Кэлдеров, которая была похищена так, как это описано выше, а затем выдана замуж за Дункана Кэмбела. От них пошел род кавдорских Кэмбелов.

— И в награду мне будет дарована жизнь и свобода? — спросил Сын Тумана.

— Таково наше условие.

— Так знай же, что девочка, которую я спас из жалости во время набега на укрепленный замок ее отца, воспитывалась у нас, как приемная дочь нашего племени, пока на нас не напал в ущелье Боллендатхил этот дьявол во образе человека, наш заклятый враг Аллан Мак-Олей, по прозванию Кровавая Рука, вместе с леннокской конницей под предводительством наследника Ментейтов.

— Так, значит, она очутилась во власти Аллана Кровавой Руки,— промолвил Мардох,— она, считавшаяся дочерью твоего племени? Тогда, без сомнения, его кинжал обагрился ее кровью, и ты не сообщил мне ничего такого, что могло бы спасти твою жизнь.

— Если моя жизнь зависит только от ее жизни,— отвечал разбойник,— то я спасен, ибо она жива. Но мне грозит другая опасность — вероломство Сына Диармида.

— Это обещание не будет нарушено,— сказал Кэмбел,— если ты можешь поклясться, что она жива, и укажешь мне, где она находится.

— В замке Дарнлинварах,— отвечал Раналд Мак-Иф,— под именем Эннот Лайл. Я не раз слышал о ней от моих родичей, которые вновь посещают свои родные леса, и еще совсем недавно я видел ее своими собственными старыми глазами.

— Ты? — воскликнул Мардох в изумлении.— Как же ты, предводитель Сынов Тумана, решился приблизиться к дому твоего заклятого врага?

— Так знай же, Сын Диармида,— отвечал разбойник,— я сделал больше того — я был в зале замка, переодетый арфистом с пустынных берегов Скианахского озера. Я пришел туда с намерением вонзить кинжал в сердце Аллана Кровавой Руки, пред которым трепещет наше племя; а потом я предал бы себя в руки божии. Но я увидел Эннот Лайл в ту самую минуту, когда я уже схватился за кинжал. Она тронула струны арфы и запела одну из песен Сынов Тумана, которой выучилась, живя у нас. В этой песне я услышал шум наших зеленых дубрав, где в старину нам так привольно жилось, и журчание ручейков, светлые воды которых некогда радовали нас. Рука моя замерла на рукоятке кинжала, глаза увлажнились слезами — и час жестокого мщения миновал. А теперь, Сын Диармида, скажи мне — разве я не уплатил выкупа за свою голову?

— Да, если только ты говоришь правду,— отвечал Мардох.— Но какие доказательства можешь ты привести?

— Да будут небо и земля свидетелями,— воскликнул разбойник,— он уже измышляет способ, как бы нарушить свое слово!

— Нет,— возразил Мардох,— все обещания будут выполнены, когда я буду уверен в том, что ты сказал мне правду... А сейчас мне нужно сказать еще несколько слов другому пленнику.

— Всегда и всюду — мягко стелют, да жестко спать,— проворчал узник, снова бросившись ничком на пол подземелья.

Между тем капитан Дальгетти, не проронивший ни одного слова во время этого разговора, делал про себя следующие замечания:

«Что нужно от меня этому хитрецу? У меня нет детей — ни своих, насколько мне известно, ни чужих, о которых я мог бы ему рассказывать сказки. Но пусть спрашивает — придется ему порядком попрыгать, прежде чем удастся зайти во фланг старому вояке».

И, словно солдат, готовящийся с пикой в руках защищать брешь в стене крепости, капитан весь подобрался в ожидании нападения — настороженно, но без страха.

— Вы гражданин мира, капитан Дальгетти,— начал Мардох Кэмбел,— и не можете не знать нашей старой шотландской поговорки: «Gif-gaf» [1], которая к тому же существует у всех народов и во всех армиях.

— В таком случае я ее, наверно, слыхал,— отвечал Дальгетти,— ибо, за исключением турок, почти нет такого монарха в Европе, в войсках которого я бы не служил: я даже подумывал было, не поступить ли мне к Бетлену Габору или к янычарам.

— Как человек опытный и без предрассудков, вы, конечно, сразу меня поймете,— продолжал Мардох,— если я вам скажу, что ваше освобождение будет зависеть от вашего прямого и честного ответа на некоторые пустяковые вопросы, касающиеся благородных лордов, с которыми вы недавно расстались: в каком состоянии их армия? Какова численность их войск и род оружия? И что вам известно о плане предстоящей кампании?

— Только для того, чтобы удовлетворить твое любопытство? — спросил Дальгетти.— И без каких-либо иных целей?

---

[1] На староанглийском языке: ka me ka thee — то есть взаимная услуга.

— Без малейших! — отвечал Мардох.— Что нужды такому бедняге, как я, знать о планах их похода?

— Ну, так задавай вопросы,— сказал Дальгетти,— и я буду отвечать на них peremptorie.

— Много ли ирландцев идет на соединение с мятежником Монтрозом?

— Вероятно, тысяч десять,— отвечал капитан Дальгетти.

— Десять тысяч! — в сердцах воскликнул Мардох.— Нам известно, что в Арднамурхане высадилось не более двух тысяч.

— Стало быть, ты знаешь больше меня,— невозмутимо отвечал капитан Дальгетти,— а я еще не видал их в строю или хотя бы с оружием в руках.

— А сколько людей думают выставить кланы? — спросил Мардох.

— Сколько удастся собрать,— отвечал капитан.

— Вы, сударь, не отвечаете на мой вопрос,— заметил Мардох.— Говорите прямо — тысяч пять будет?

— Вероятно, что-нибудь в этом роде,— отвечал Дальгетти.

— Вы играете своей жизнью, сэр, если вздумали шутить со мной,— сказал Мардох.— Стоит мне свистнуть, и через десять минут ваша голова будет болтаться на подъемном мосту.

— Но скажите по чести, мистер Мардох,— заметил капитан,— разумно ли с вашей стороны расспрашивать меня о военных тайнах нашей армии, с которой я подрядился проделать весь поход? Если я научу вас, как разбить Монтроза, что станется с моим жалованьем, наградами и моей долей добычи?

— А я повторяю вам,— отвечал Кэмбел,— что если вы будете упрямиться, то ваш поход начнется и кончится шествием на плаху, воздвигнутую у ворот замка нарочно для таких проходимцев, как вы. Если же вы будете честно отвечать на мои вопросы, я готов принять вас к себе... то есть к Мак-Каллумору на службу.

— А хорошо ли он платит? — спросил капитан Дальгетти.

— Он удвоит ваше жалованье, если вы согласитесь вернуться к Монтрозу и действовать там по его указаниям.

— Жаль, что я не познакомился с вами, сэр, прежде чем договорился с ним,— произнес Дальгетти как бы в некотором раздумье.

— Напротив, теперь-то я и могу предложить вам более выгодные условия,— сказал Кэмбел,— конечно, если вы будете верным слугой.

— Верным слугою вам — значит изменником Монтрозу,— отвечал капитан.

— Верным слугою религии и порядка,— возразил Мардох,— а это оправдывает любой обман, к которому приходится прибегать.

— А что маркиз Аргайл,— я спрашиваю на тот случай, если бы вздумал перейти к нему на службу,— добрый ли он начальник? — спросил Дальгетти.

— Как нельзя добрее,— промолвил Кэмбел.

— И щедрый для своих офицеров? — продолжал капитан.

— Щедрее его нет человека в Шотландии,— отвечал Мардох.

— Честен и благороден в исполнении принятых на себя обязательств? — продолжал Дальгетти.

— Самый честный дворянин, какой только существует на свете! — заявил Мардох.

— Никогда еще не приходилось мне слышать о нем так много лестного,— заметил Дальгетти.— Вы, вероятно, с ним близко знакомы или, быть может, вы и есть маркиз? Лорд Аргайл,— внезапно воскликнул капитан, бросаясь на переодетого вельможу,— именем короля Карла, вы арестованы, как изменник! Если вы попытаетесь звать на помощь — я сверну вам шею!

Нападение капитана на маркиза было столь внезапно и неожиданно, что капитану удалось в один миг повалить его; одной рукой Дальгетти плотно прижал маркиза к полу подземелья, а другой схватил за горло, готовый задушить его при малейшей попытке позвать на помощь.

— Лорд Аргайл,— сказал капитан Дальгетти,— теперь моя очередь ставить условия капитуляции. Если вам будет угодно показать мне потайной ход, через который вы проникли сюда, я вас отпущу, при условии, что вы останетесь моим locum tenens [1] — как говорилось у нас в эбердинском училище,— пока ваш тюремщик не придет проведать своих узников. Если нет — я сначала задушу вас,— меня этому искусству научил один польский гайдук, бывший когда-то невольником в турецком серале,— а затем постараюсь найти способ выбраться отсюда.

— Негодяй! Не за мою ли доброту ты хочешь умертвить меня? — прохрипел Аргайл.

---

[1] Заместителем *(лат.)*.

— Нет, не за вашу доброту, милорд,— отвечал Дальгетти,— но, во-первых, чтобы научить вашу светлость обращению с дворянином, который явился к вам, имея охранную грамоту, а во-вторых, чтобы предостеречь вас от опасности делать неблаговидные предложения честному воину, в целях соблазнить его и подбить на то, чтобы до истечения срока изменить тому знамени, которому он в данное время служит.

— Пощади мою жизнь,— молвил Аргайл,— и я сделаю все, что ты хочешь.

Дальгетти, однако, продолжал держать маркиза за горло, слегка сжимая пальцы, когда задавал вопрос, а потом отпуская их настолько, чтобы дать маркизу возможность ответить.

— Где находится потайная дверь? — спросил капитан.

— Подними фонарь, освети угол справа от себя — и ты увидишь железный щиток, прикрывающий пружину,— отвечал маркиз.

— Отлично. А куда ведет этот ход?

— В мой кабинет, где дверь скрыта гобеленом,— отвечал распростертый на полу вельможа.

— А как оттуда добраться до ворот?

— Через парадный зал, прихожую, лакейскую, кордегардию...

— И всюду полным-полно солдат, слуг и домочадцев? Нет, милорд, на это я не согласен. Разве у вас не имеется такого же потайного выхода к воротам, как сюда, в подземелье? Я видел такие в Германии.

— Есть ход через часовню,— произнес маркиз,— прямо из моего кабинета.

— А какой нынче пароль для часовых?

— «Меч левита»,— отвечал маркиз.— Но если ты поверишь моему честному слову, я пойду с тобой, проведу мимо часовых и дам тебе полную свободу, снабдив пропуском.

— Я еще мог бы поверить вам, милорд, если бы ваша шея не почернела от моих пальцев, а при таких обстоятельствах — beso las manos a usted, как говорят испанцы. Впрочем, пропуском вы можете меня снабдить. В вашем кабинете, вероятно, имеются письменные принадлежности?

— Конечно; и бланки для пропуска, которые остается только подписать. Я немедленно все для тебя сделаю,— сказал маркиз.— Идем!

— Слишком много чести для меня,— возразил Дальгетти.— Пусть уж лучше ваша светлость останется под охраной моего почтенного приятеля Раналда Мак-Ифа; поэтому прошу вас,

позвольте мне подтащить вас поближе к его цепям. Почтеннейший Раналд, ты сам видишь, как обстоят дела. Не сомневаюсь, что мне удастся выпустить тебя на свободу. А пока — делай так же, как я: возьми высокородного и могущественного вельможу за глотку, запустив руку под воротник,— вот так; а если он вздумает сопротивляться или кричать — не стесняйся, друг мой Раналд, нажимай крепче; если же дело дойдет до ad deliquium, Раналд, то есть если он потеряет сознание,— то это не беда, принимая во внимание, что он и твою и мою глотку предназначил для более жестокой участи.

— Если он заговорит или начнет отбиваться,— сказал Раналд,— он умрет от моей руки.

— Правильно, Раналд, хорошо сказано! Догадливый приятель, понимающий тебя с полуслова, дороже золота.

Оставив, таким образом, маркиза на попечении своего нового союзника, Дальгетти нажал пружину, и потайная дверь немедленно распахнулась без малейшего шума — так хорошо были пригнаны и смазаны ее петли. Обратная сторона двери была снабжена весьма крепкими болтами и засовами, около которых висело несколько ключей, предназначенных, вероятно, для того, чтобы отмыкать замки на кандалах. Узкая лестница, поднимавшаяся в толще стены замка, кончалась, как и говорил маркиз, у двери его кабинета, замаскированной коврами. Подобные тайные ходы не были редкостью в старинных феодальных замках; они давали возможность владельцу крепости, как некогда Дионисию Сиракузскому, подслушивать разговоры своих пленников или, при желании, переодевшись, навещать их, как это имело место в настоящем случае, столь неудачно закончившемся для маркиза.

Предварительно просунув голову в дверь, чтобы убедиться, что путь свободен, капитан вошел в кабинет, поспешно взял один из лежавших на столе бланков, перо и чернильницу, мимоходом прихватил кинжал маркиза и шелковый шнур от портьеры и снова спустился по лестнице в подземелье. Прислушавшись у дверей темницы, он различил сдавленный голос маркиза, делавшего заманчивые предложения Раналду, в надежде получить от него разрешение поднять тревогу.

— Ни за целый лес с оленями, ни за тысячу голов скота,— отвечал разбойник,— ни за все угодья, когда-либо принадлежавшие Сынам Диармида, не нарушу я слова, которое дал закованному в железо.

— Закованный в железо,— проговорил Дальгетти, входя,— премного тебе благодарен, Мак-Иф. А этот благородный лорд

сейчас будет связан; но сначала мы заставим его подписать пропуск на имя майора Дугалда Дальгетти и его проводника — если он не хочет сам получить пропуск на тот свет.

При тусклом свете фонаря маркиз заполнил пропуск и скрепил его своей подписью, как ему указал капитан.

— А теперь, друг мой,— сказал Дальгетти,— скинь свою верхнюю одежду, то есть дай-ка сюда твой плед, Раналд. Я хочу завернуть в него Мак-Каллумора и превратить его на время в одного из Сынов Тумана. Нет, уж позвольте мне завернуть вас с головой, милорд, чтобы предотвратить возможность ваших неуместных криков... Вот так! Теперь он укутан на славу... Руки прочь, или, ей-богу, я всажу вам в сердце ваш же собственный кинжал! Вы будете связаны не более не менее как шелковым шнуром, милорд, как подобает вашему высокому званию!.. Ну, теперь он спокойно может лежать так, пока кто-нибудь не придет освободить его. Если он приказал подать нам поздний обед, Раналд, он же сам от этого пострадает... В котором часу, дружище Раналд, приходит обычно тюремщик?

— Не раньше, чем солнце склоняется к закату,— отвечал Мак-Иф.

— Итак, в нашем распоряжении целых три часа,— заметил предусмотрительный капитан.— Теперь приступим к твоему освобождению.

Прежде всего понадобилось осмотреть цепи, которыми был прикован Раналд. Их удалось отомкнуть одним из ключей, висевших за потайной дверью; вероятно, их вешали здесь на тот случай, если бы маркизу вздумалось лично, без помощи тюремщика, отпустить заключенного или перевести его в другое место. Разбойник потянулся, расправил онемевшие руки и вскочил на ноги, счастливый вновь обретенной свободой.

— Возьми ливрейный плащ этого благородного узника,— приказал капитан Дальгетти,— надень его и следуй за мной.

Разбойник повиновался. Они поднялись по потайной лестнице, предварительно заперев за собой дверь в подземелье, и благополучно добрались до кабинета маркиза [1].

---

[1] Ненадежное положение феодального дворянства породило целую систему шпионажа в их замках. Сэр Роберт Кэри рассказывает, что, переодевшись в платье одного из тюремщиков, он выслушал полную исповедь из уст своего узника Джорди Бурна, которого тут же велел повесить в награду за откровенное признание. В прекрасном замке Нэуорте имеется потайная лестница из покоев лорда Уильяма Говарда, по которой он мог спускаться в подземелье замка в точности так, как в этой главе спустился маркиз Аргайл.

## ГЛАВА XIV

Таков был вход и лестница...
Куда же дальше?
Но кто уверен, что умрет на суше,
Пренебрегает компасом и картой,
Без штурмана вверяясь океану.

*«Бренновальтская трагедия»* [1]

— Поищи потайной выход через часовню, Раналд,— сказал капитан,— а я должен здесь просмотреть кое-что.

С этими словами он одной рукой схватил пачку самых секретных документов Аргайла, а другой — кошелек с золотом, лежавший вместе с бумагами в ящике массивного бюро, дверцы которого были гостеприимно растворены. Капитан не преминул воспользоваться и шпагой, и пистолетами с пороховницами и пулями, висевшими тут же на стене.

— Разведка и военная добыча,— сказал Дальгетти, засовывая в карманы захваченное добро.— Каждый честный воин должен позаботиться о первой — для своего начальника, о второй — для самого себя. Это шпага работы Андреа Феррара, а пистолеты, пожалуй, лучше моих. Но честный обмен — не есть грабеж. Нельзя безнаказанно подвергать опасности воина, да еще совершенно безосновательно, милорд! Легче, легче, Раналд. Куда это ты собрался, мудрый Сын Тумана?

Было самое время приостановить решительные действия Мак-Ифа, ибо, не найдя достаточно быстро потайного хода и потеряв, по-видимому, всякое терпение, он сорвал со стены меч и щит и собрался идти прямо в парадный зал, с явным намерением так или иначе пробить себе дорогу сквозь все препятствия.

— Стой, пока жив! — шепнул ему на ухо Дальгетти, схватив его за плечо.— Нам нужно постараться не выдать себя. Прежде всего запрем эту дверь — как будто Мак-Каллумор пожелал уединиться в своем кабинете,— а затем я сам произведу рекогносцировку и отыщу потайной ход.

Заглядывая за висевшие на стенах ковры, капитан в конце концов обнаружил потайную дверь, а за ней коридор, после нескольких поворотов упиравшийся в другую дверь, которая, не-

[1] Перевод Т. Казмичевой.

сомненно, вела в часовню. Но каково было изумление и неудовольствие капитана Дальгетти, когда по ту сторону двери он ясно услышал зычный голос пастора, произносившего проповедь.

— Так вот что заставило этого негодяя указать нам именно этот путь! — сказал капитан.— Не мешало бы вернуться и перерезать ему глотку.

Все же он тихонько отворил дверь, выходившую на маленькую галерею с высокой решеткой, которой, по-видимому, пользовался только сам маркиз; все занавеси были плотно задернуты — вероятно, для того, чтобы все думали, будто маркиз усердно молится, в то время как он занимался своими мирскими делами. В галерее никого не было, ибо по обычаю, существовавшему в знатных домах того времени, все семейство маркиза занимало другую галерею, несколько ниже той, которая предназначалась для владельца замка. Обследовав все это, капитан Дальгетти решил притаиться здесь, тщательно заперев за собой дверь.

Никогда еще — хотя, может быть, это и очень дерзкое предположение — проповедь не была выслушана с бóльшим нетерпением и меньшим благочестием, чем на сей раз,— по крайней мере, одним из присутствующих. С чувством, близким к отчаянию, капитан вынужден был слушать все эти «в-шестнадцатых, в-семнадцатых, в-восемнадцатых» и «в заключение». Но даже поучение нельзя читать до бесконечности (ибо эти проповеди назывались поучениями), и пастор наконец умолк, не преминув отвесить глубокий поклон в сторону верхней галереи, отнюдь не подозревая, кого он почтительно приветствует. Судя по той поспешности, с какой все стали расходиться, домочадцы маркиза едва ли получили большее удовольствие от богослужения, нежели сгоравший от нетерпения капитан Дальгетти. Правда, большинство молящихся составляли горцы, не понимавшие ни единого слова из проповеди пастора; но, по особому приказанию Мак-Каллумора, все без исключения обитатели замка обязаны были присутствовать на богослужении и беспрекословно выполнили бы это приказание, даже если бы проповедником оказался турецкий имам.

Однако, после того как часовня мгновенно опустела, пастор еще долго расхаживал взад и вперед по готическим приделам, не то размышляя о только что произнесенной проповеди, не то обдумывая новое поучение для следующего раза. Как ни был отважен Дальгетти, он не мог сразу решить, что ему делать. Но

время шло, и с каждой минутой увеличивалась опасность, что их бегство будет обнаружено тюремщиком, если ему вздумается посетить подземелье раньше обычного. В конце концов он шепотом приказал Раналду, следившему за каждым его движением, идти следом за ним, сохраняя полное спокойствие, и с непринужденным видом спустился по лестнице, которая вела из галереи в часовню. Человек менее опытный, чем Дальгетти, попытался бы проскользнуть мимо достопочтенного пастора, в надежде, что тот его не заметит. Но капитан, предвидевший всю опасность в случае провала такой попытки, не спеша пошел прямо навстречу священнику и, обнажив голову, намеревался с почтительным поклоном пройти мимо. Каково же было его удивление, когда, взглянув на проповедника, он узнал того самого духовника, с которым накануне обедал в замке Арденвор! Но он тут же нашелся и, прежде чем пастор успел открыть рот, обратился к нему первый.

— Я не мог,— сказал он,— покинуть этот дом, не высказав вам, ваше преподобие, мою смиренную благодарность за проповедь, которой вы сегодня осчастливили нас.

— Я не заметил вас в церкви, сэр,— возразил пастор.

— Его светлости маркизу было угодно почтить меня местом в его личной галерее,— скромно молвил Дальгетти.

Священник почтительно склонил голову, зная, что подобной чести удостаиваются только лица очень высокого звания.

— За время моей скитальческой жизни,— продолжал капитан,— мне доводилось неоднократно слушать проповедников различных вероисповеданий — лютеран, евангелистов, реформатов, кальвинистов и прочих, но никогда еще не слышал я проповеди, подобной вашей.

— Не проповеди, а поучения, достопочтенный сэр,— произнес пастор,— наша церковь называет это поучением.

— Как ни называй,— сказал Дальгетти,— во всяком случае, это было ganz fortre flieh [1], как говорят немцы; и я не могу уехать, не засвидетельствовав вам, как глубоко взволновала меня ваша душеспасительная проповедь и как я искренне раскаиваюсь в том, что вчера за вечерней трапезой я как будто не выказал достаточного уважения, подобающего вашей особе.

— Увы, достопочтенный сэр,— отвечал пастор,— в сем мире мы блуждаем, как тени в долине смерти, не зная, с кем нас мо-

[1] Превосходно *(искаж. нем.)*.

жет столкнуть судьба. Поистине нет ничего удивительного, если мы подчас пренебрегаем теми, кому оказали бы глубокое уважение, знай мы, с кем имеем дело. Вас я склонен был принимать скорее за безбожного приверженца короля, нежели за благочестивого человека, почитающего господа бога даже в лице ничтожнейшего слуги его.

— Таков уж мой обычай, ученейший муж! — отвечал Дальгетти.— Ибо, состоя на службе у бессмертного Густава-Адольфа... Впрочем, я, кажется, отвлекаю вас от ваших благочестивых размышлений? — На сей раз затруднительные обстоятельства, в которых капитан очутился, победили в нем желание поговорить о шведском короле.

— Ничуть, достопочтенный сэр,— возразил пастор.— Позвольте вас спросить, каков был распорядок у этого великого государя, чья память так дорога каждому протестантскому сердцу?

— Утром и вечером барабан созывал нас на молитву, сэр, точно так же, как на перекличку; и если солдат проходил мимо капеллана, не поклонившись ему, то его на целый час сажали на деревянную кобылу. Позвольте, сэр, пожелать вам доброго вечера — я принужден покинуть замок, ибо пропуск мне уже вручен Мак-Каллумором.

— Подождите минутку, сэр! — остановил его проповедник.— Не могу ли я чем-нибудь засвидетельствовать мое глубокое уважение ученику великого Густава-Адольфа и столь прекрасному ценителю благочестивого красноречия?

— Ничем, сэр, ничем,— отвечал капитан,— вот разве только попрошу вас указать мне ближайшую дорогу к воротам, да еще, раз уж вы так любезны,— присовокупил он с необыкновенной дерзостью,— не прикажете ли слуге подвести туда моего коня — темно-серого мерина; стоит только кликнуть: «Густав!» — и он насторожит уши. Сам я не знаю, где помещаются конюшни, а мой проводник,— добавил он, взглянув на Раналда,— не говорит по-английски.

— Спешу исполнить вашу просьбу и услужить вам,— сказал пастор.— А вам ближе всего будет пройти по этому сводчатому коридору.

«Да будет благословенно твое непомерное тщеславие! — подумал капитан.— А то я уже побаивался, что придется пуститься в путь без моего Густава».

И в самом деле, пастор проявил такое усердие ради столь превосходного ценителя благочестивого красноречия, что, в то время как Дальгетти объяснялся с часовым у подъемного моста,

предъявляя свой пропуск и сообщая пароль, слуга подвел ему коня, оседланного и готового к дальнейшему пути.

Во всяком другом месте внезапное появление капитана на свободе после того, как он на глазах у всех был отправлен в тюрьму, вызвало бы подозрение и повело к расспросам; но подчиненные и домочадцы маркиза привыкли к загадочным поступкам своего господина, и часовые попросту решили, что капитан был освобожден самим маркизом, давшим ему какое-нибудь тайное поручение. Поэтому, услышав от капитана пароль, они беспрепятственно пропустили его.

Дальгетти медленно поехал по базарной площади городка Инверэри; Раналд, в качестве слуги, шел рядом с его лошадью. Проходя мимо виселицы, старик взглянул на болтавшиеся тела и в отчаянии заломил руки. И взгляд и движение были мгновенны, но в них отразилась глубокая скорбь. Быстро подавив волнение, Раналд на ходу шепнул что-то одной из женщин, которая, подобно Ресфе, дочери Аия, сторожила мертвые тела и оплакивала эти жертвы феодального произвола и жестокости. Женщина вздрогнула при звуке его голоса, но тотчас овладела собой и вместо ответа слегка наклонила голову.

Выехав из города, Дальгетти продолжал путь, раздумывая, следует ли ему попытаться захватить либо нанять лодку, чтобы переправиться через озеро, или же лучше углубиться в лес и там скрываться от преследования. В первом случае он рисковал быть настигнутым немедленно: галеры маркиза с высокими реями, обращенными к подветренной стороне, стоявшие наготове у причала, отнимали у него всякую надежду уйти от них на обыкновенной рыбачьей лодке. Если же он выбрал бы второе — то как найти пропитание и надежное убежище в этом диком и незнакомом ему краю? Город остался позади, а капитан все еще не мог решить, где ему искать спасения, и начинал подумывать, что, бежав из темницы инверэрского замка — что само по себе было поистине отчаянным поступком,— он выполнил лишь наиболее легкую часть своей трудной задачи. Если бы его теперь поймали, участь его была бы решена, ибо личное оскорбление, которое он нанес человеку столь могущественному и мстительному, могло быть искуплено только немедленной позорной смертью. Пока он предавался этим невеселым размышлениям и озирался вокруг в явной нерешительности, Раналд Мак-Иф внезапно спросил его, в какую сторону он намерен направиться.

— Вот в том-то и дело, мой почтенный попутчик,— отвечал Дальгетти,— я сам не знаю, что тебе на это ответить. Право же,

Раналд, сдается мне, что лучше бы нам с тобой остаться в темнице на черном хлебе и воде до приезда сэра Дункана, который хотя бы уж ради собственной чести сумел бы вызволить меня оттуда.

— Слушай меня, сакс! — отвечал Мак-Иф.— Не жалей, что променял смрадное дыхание темницы на свежий воздух под открытым небом. А главное, не раскаивайся в том, что оказал услугу Сыну Тумана. Доверься мне, и я головой ручаюсь за твою безопасность.

— Можешь ты провести меня через эти горы и доставить обратно в армию Монтроза? — спросил Дальгетти.

— Могу,— отвечал Мак-Иф.— Нет никого, кто бы так хорошо знал эти горные проходы, пещеры, ущелья, заросли и дебри, как знает их любой из Сынов Тумана! В то время как другие ползают по долинам, вдоль берегов озер и рек, мы преодолеваем отвесные кручи в непроходимых горах и ущельях, откуда берут начало горные потоки. И никакая свора ищеек Аргайла не нападет на наш след в дремучей чаще, через которую я проведу тебя.

— Если так, дружище Раналд, то ступай вперед,— сказал Дальгетти,— ибо в этих водах я не берусь спасти корабль от гибели.

Итак, свернув в лес, простиравшийся на многие мили вокруг замка, разбойник пошел вперед столь стремительно, что Густав едва поспевал за ним крупной рысью, причем Раналд так часто менял направление, сворачивая то вправо, то влево, что капитан Дальгетти вскоре потерял всякое представление о том, где он находится и в какую сторону держит путь. Тропинка, постепенно становившаяся все у́же, вдруг окончательно затерялась в зарослях и лесном молодняке. Вблизи слышен был рев горного потока, почва стала неровной, топкой, и ехать дальше оказалось совершенно невозможно.

— Черт побери! — воскликнул Дальгетти.— Что же теперь делать? Неужели мне придется расстаться с Густавом?

— Не беспокойся о своем коне,— сказал разбойник,— ты скоро получишь его обратно.

Он тихонько свистнул, и из чащи терновника, словно звереныш, выполз полуголый мальчик, еле прикрытый клетчатой тряпкой; густая шапка спутанных волос, подвязанных кожаным ремешком, служила ему единственной защитой от солнца и непогоды; он был ужасающе худ, и серые сверкающие глаза, казалось, занимали на его изможденном лице вдесятеро больше места, чем им полагалось.

— Отдай своего коня мальчику,— сказал Раналд Мак-Иф,— твое спасение зависит от этого.

— Ох-ох-ох! — воскликнул капитан в отчаянии.— Неужто я должен поручить Густава такому конюху?

— В своем ли ты уме, что тратишь время на разговоры! — сказал Раналд.— Мы ведь не на дружеской земле, чтобы на досуге прощаться с конем, точно с родным братом. Говорю тебе, ты получишь его обратно; но — даже если бы тебе суждено было никогда больше не увидеть этого мерина — разве твоя жизнь не дороже самого лучшего жеребца, когда-либо рожденного кобылой?

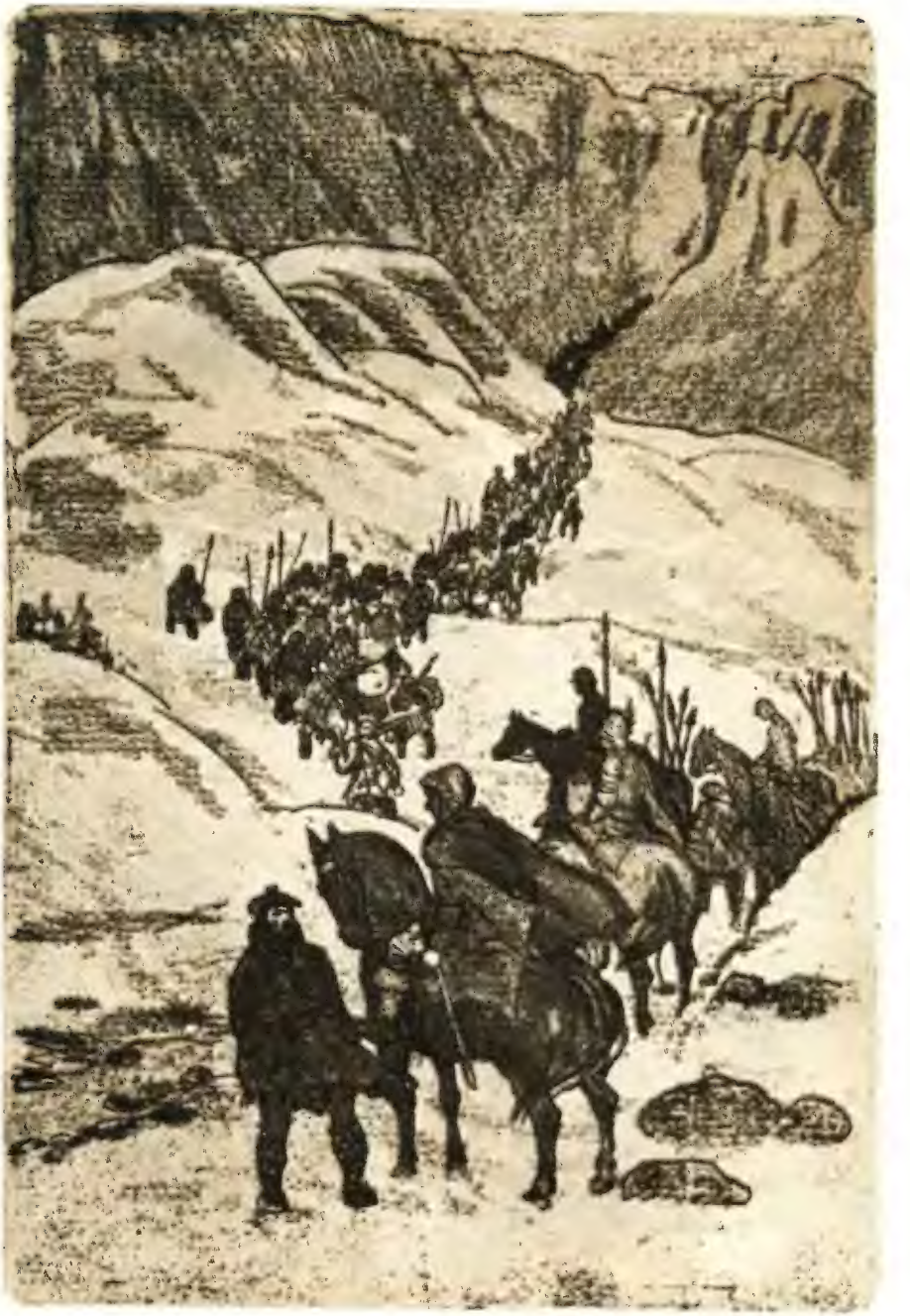
— Что правда, то правда, дружище,— вздохнув, согласился Дальгетти.— Но если бы ты только знал цену моему Густаву и все, что нам пришлось пережить и выстрадать вместе!.. Смотри, он поворачивает голову, чтобы еще раз взглянуть на меня! Будь с ним поласковее, мой славный голоштанник, а я уж тебя отблагодарю!

С этими словами, чуть не плача, капитан бросил горестный взгляд на Густава и последовал за своим проводником.

Однако это оказалось не так-то легко, и вскоре от Дальгетти потребовалась такая ловкость, на которую он не был способен. Прежде всего, как только капитан расстался со своим конем, ему пришлось, хватаясь за свисающие ветви и торчащие из земли корни, спуститься с высоты восьми футов в русло потока, по которому Сын Тумана повел его. Они карабкались через огромные камни, продирались сквозь заросли терновника и боярышника, взбирались и спускались по крутым склонам. Все эти препятствия и еще много других быстроногий и полуобнаженный горец преодолевал с проворством и ловкостью, возбуждавшими искреннее удивление и зависть капитана Дальгетти; он же, обремененный стальным шлемом, панцирем и другими доспехами, не говоря уж о тяжелых ботфортах, в конце концов настолько обессилел, что присел на камень перевести дух и начал объяснять Раналду Мак-Ифу разницу между путешествием expeditus [1] и impeditus [2], как эти военные выражения толковались в эбердинском училище. Вместо ответа горец положил ему руки на плечо и указал назад, в ту сторону, откуда дул ветер. Дальгетти ничего не мог различить, ибо сумрак быстро надвигался, а они находились в это время на дне глу-

[1] Налегке *(лат.)*.

[2] С поклажей *(лат.)*.



**«Легенда о Монтрозе»**

бокого оврага. В конце концов Дальгетти явственно расслышал глухие удары большого колокола.

— Это, должно быть, набат,— сказал он.— Sturmglocke, как говорят немцы.

— Он возвещает час твоей смерти,— отвечал Раналд,— если ты помедлишь еще немного. Ибо каждый удар этого колокола стоит жизни честному человеку.

— Поистине, Раналд, мой верный друг,— сказал Дальгетти,— не стану отрицать, что таков может быть вскоре и мой собственный удел, ибо я совершенно выдохся (будучи, как я уже объяснял тебе, impeditus, ибо, будь я expeditus, пешее хождение не затруднило бы меня ни чуточки), и мне остается только залечь в этом кустарнике и спокойно ждать участи, уготованной мне небом. Убедительно прошу тебя, дружище Раналд, позаботься о самом себе, а меня предоставь моей судьбе, как сказал Северный Лев, бессмертный Густав-Адольф, мой незабвенный начальник (о котором ты, наверно, слыхал, Раналд, если даже не слыхивал ни о ком другом), обращаясь к Францу Альберту, герцогу Саксен-Лауенбургскому, будучи смертельно ранен в сражении под Лютценом. К тому же не советую тебе терять окончательно надежду на мое спасение, Раналд, ибо я, воюя в Германии, попадал и не в такие переделки, особливо помню я случай во время злополучной битвы под Нерлингеном, после которой я перешел на другую службу.

— Хоть бы ты поберег дыхание сына твоего отца и не тратил понапрасну время на пустые россказни! — прервал его Раналд, выведенный из терпения многословием капитана.— Если бы твои ноги могли двигаться так же быстро, как твой язык, то еще можно было бы надеяться, что ты нынче ночью приклонишь голову на подушку, не орошенную твоей собственной кровью.

— В твоих словах определенно чувствуется военная сноровка,— отвечал капитан,— хотя выражаешься ты слишком резко и непочтительно по отношению к офицеру в высоком чине. Но я склонен простить такую вольность во время похода, принимая во внимание, что в войсках всех народов мира допускаются послабления в подобных случаях. А теперь, мой друг Раналд, веди меня дальше, ввиду того, что я немного отдышался, или, выражаясь более точно: i prae, sequar[1], как обычно говорилось у нас в эбердинском училище.

---

[1] Иди впереди, я последую за тобой *(лат.)*.

Догадавшись о намерении капитана скорее по его жестам, нежели поняв из его слов, Сын Тумана снова пустился в путь, безошибочно, словно инстинктивно, находя дорогу и уверенно ведя капитана вперед через самую непроходимую чащу, какую только можно себе представить. Едва передвигая ноги в тяжелых ботфортах, стесненный в своих движениях стальными набедренниками, рукавицами, нагрудником и кирасой, не считая толстого кожаного камзола, который был надет под всеми этими доспехами, разглагольствуя всю дорогу о своих прежних подвигах,— хотя Раналд и не обращал на его болтовню ни малейшего внимания,— капитан Дальгетти с трудом поспевал за своим проводником. Так они прошли значительное расстояние, как вдруг по ветру донесся до них громкий сиплый лай, каким охотничья собака дает знать, что она напала на след добычи.

— Окаянный пес,— воскликнул Раналд,— твоя глотка никогда не предвещала ничего доброго Сыну Тумана! Будь проклята сука, породившая тебя! Вот уже напала на наш след! Но поздно, подлая тварь, исчадье адово: олень успел добраться до стада.

Раналд тихонько свистнул, и ему так же тихо ответили с вершины горного склона, по которому они поднимались. Ускорив шаг, они наконец достигли вершины, и капитан Дальгетти при ярком свете только что взошедшей луны увидел отряд из десяти — двенадцати горцев и примерно столько же женщин и детей, которые встретили Раналда Мак-Ифа бурными изъявлениями радости; капитан догадался, что окружавшие их люди были Сыны Тумана. Место, где они расположились, вполне соответствовало их прозвищу и их образу жизни. Это была нависшая над пропастью скала, вокруг которой вилась очень узкая тропинка, едва заметная с вершины.

Раналд быстро и взволнованно рассказывал что-то сынам своего племени, после чего мужчины один за другим стали подходить к Дальгетти и пожимать ему руку, и женщины теснились вокруг него, шумно выражая свою благодарность и чуть ли не целуя край его одежды.

— Они клянутся тебе в верности,— сказал капитану Раналд Мак-Иф,— в благодарность за добро, которое ты нынче сделал нам.

— Довольно об этом, Раналд,— отвечал Дальгетти,— довольно! Скажи им, что я не люблю рукопожатий: это путает все понятия о чинах и званиях в военном деле. А что касается целования рукавиц, одежды и тому подобное, мне вспоминается, как бессмертный Густав-Адольф, проезжая по улицам

Нюрнберга, где его таким же образом приветствовал народ (чего он, конечно, был гораздо более достоин, нежели бедный, но честный кавалер, вроде меня), обратился к толпе с упреком, сказав: «Если вы будете поклоняться мне, как божеству,— кто может поручиться, что мщение небес не обрушится на мою голову и не докажет вам, что я смертный?» Так, значит, ты намерен здесь укрепиться и оказать сопротивление нашим преследователям, друг Раналд? Voto a Dios[1], как говорят испанцы, прекрасная позиция, пожалуй, лучше позиции для небольшого отряда я еще не видывал за все время своей службы: враг не может приблизиться по этой дороге, не оказавшись под обстрелом пушки или мушкета. Но, Раналд, верный товарищ мой, у тебя, насколько я могу судить, нет пушки, да и мушкетов я что-то не вижу у этих молодцов. Так с какой же артиллерией ты намереваешься защищать проход, прежде чем дело дойдет до рукопашной? Поистине, Раналд, это выше моего понимания.

— Защитой нам будет отвага и оружие наших предков,— отвечал Мак-Иф, указывая на своих людей, вооруженных луками и стрелами.

— Лук и стрелы! — воскликнул Дальгетти.— Ха, ха, ха! Неужто вернулись времена Робина Гуда и Маленького Джона? Лук и стрелы! Вот уж сто лет, как ничего подобного не было видано в цивилизованной войне. Лук и стрелы! А почему бы не навой ткача, как во времена Голиафа? Подумать только: Дугалд Дальгетти, владелец Драмсуэкита, дожил до того, что собственными глазами увидел людей, вооруженных луками и стрелами! Бессмертный Густав-Адольф никогда бы этому не поверил! Ни Валленштейн... ни Батлер... ни старик Тилли. Что ж, друг Раналд, коли у кошки только и есть что когти... Стрелы так стрелы! Постараемся воспользоваться ими как можно лучше. Но так как я совершенно не знаю поля обстрела и дальнобойности столь допотопной артиллерии, то придется тебе по собственному усмотрению определить наилучшую диспозицию; ибо о том, чтобы я принял командование,— что я сделал бы с большим удовольствием, если бы вы сражались по-христиански,— не может быть и речи, поскольку вы сражаетесь, как древние нумидийцы. Впрочем, я, конечно, приму участие в предстоящей схватке, пустив в ход пистолеты, ввиду того что мой карабин, к несчастью, остался на седле у Густава. Покорно благодарю вас,— продолжал он, обращаясь к одному из горцев,

[1] Клянусь богом *(исп.)*.

протянувшему было ему свой лук.— Дугалд Дальгетти может сказать о себе то, что заучил в эбердинском училище:

Non eget Mauris jaculis, neque arcu,
Nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra... [1] —

что означает...

Раналд Мак-Иф вторично прервал многословие разболтавшегося капитана, дернув его за рукав и указывая вниз, на ущелье. Лай ищейки раздавался все ближе и ближе, и теперь уже можно было различить голоса людей, следовавших за ней и перекликавшихся между собой, когда они разъезжались в разные стороны: либо для того, чтобы ускорить свое продвижение вперед, либо для того, чтобы более тщательно обыскать заросли на своем пути. Они явственно приближались с каждой минутой. Тем временем Мак-Иф предложил капитану сбросить свои доспехи и дал ему понять, что женщины сумеют их спрятать в надежном месте.

— Прошу прощения, сударь,— возразил Дальгетти,— но это не принято в иностранных войсках. Я, например, помню, какой выговор бессмертный Густав-Адольф закатил финским кирасирам, лишив их барабана за то, что они позволили себе на марше снять свои кирасы и сдать их в обоз. И они до тех пор не имели права бить в барабан перед полком, пока не отличились в битве под Лейпцигом. Такой урок трудно забыть, так же как и слова бессмертного Густава-Адольфа, воскликнувшего: «Я узнаю, в самом ли деле мои офицеры любят меня, когда увижу, что они надевают латы: ибо, если мои офицеры будут убиты, кто же поведет моих солдат к победе?» Тем не менее, друг Раналд, я не прочь был бы избавиться от своих несколько тяжеловатых сапог, если бы мог чем-нибудь заменить их; ибо я не убежден в том, что мои подошвы достаточно загрубели, чтобы я мог босиком ходить по камням и колючкам, как это, видимо, делает твоя команда.

Стащить с капитана громоздкие сапожищи и натянуть на его ноги башмаки из оленьей шкуры, которые один из горцев тут же скинул и уступил ему,— было делом одной минуты, и Дальгетти сразу же почувствовал огромное облегчение. Он только было посоветовал Раналду Мак-Ифу выслать двух или

---

[1] Не нужны тому ни копье злых мавров,
Ни упругий лук, ни колчан с запасом
Стрел ядовитых... *(лат.).*
*(Перевод А. Семенова-Тян-Шанского)*

трех человек вниз, на разведку, и в то же время несколько развернуть фронт, поставив по одному стрелку на правый и левый фланги в качестве наблюдательных постов,— как вдруг собачий лай раздался совсем близко, предупреждая о том, что погоня находится уже у края ущелья. Наступила мертвая тишина, ибо, как ни был капитан болтлив в иных случаях,— сидя в засаде, он отлично понимал необходимость притаиться и хранить молчание.

Луна освещала каменистую тропинку и нависшие над ней выступы скалы, вокруг которой она вилась; там и сям ветки разросшегося в расселинах скал кустарника и карликовых деревьев, свешиваясь над самым краем пропасти, затемняли лунный свет. На дне мрачного ущелья, в глубокой тени, чернели густые заросли, напоминавшие своими неясными очертаниями волны скрытого туманом океана. По временам из самых недр этого мрака, со дна пропасти, доносился отчаянный лай, многократным эхом отдававшийся в окрестных горах и лесах. А временами наступала полнейшая тишина, нарушаемая лишь плеском горного ручейка, который то низвергался со скалы, то прокладывал себе более спокойное русло вдоль ее склона. Изредка снизу доносились приглушенные человеческие голоса; погоня, по-видимому, не наткнулась еще на узкую тропинку, которая вела к вершине утеса, а если и обнаружила ее, то не решалась воспользоваться ею из-за страшной крутизны, неверного освещения и возможности засады.

Наконец показались неясные очертания человеческой фигуры, которая, поднимаясь из мрака, со дна пропасти, и постепенно вырисовываясь в бледных лучах лунного света, начала медленно и осторожно пробираться вверх по каменистой тропинке. Очертания ее стали настолько явственны, что капитан Дальгетти разглядел не только самого горца, но и длинное ружье, которое он держал в руках, и пучок перьев, украшавший его шапочку.

— Tausend Teufel![1] Что это я ругаюсь, да еще перед самой смертью! — пробурчал капитан себе под нос.— Что теперь с нами будет, если они явились с огнестрельным оружием, а мы можем их встретить лишь стрелами?

Но в ту самую минуту, когда горец достиг выступа скалы, примерно на полпути подъема, и, остановившись, подал знак оставшимся внизу, чтобы они следовали за ним,— просвистела стрела, выпущенная из лука одним из Сынов Тумана, и, про-

[1] Тысяча чертей! *(нем.)*

низив горца, нанесла ему такую тяжелую рану, что он, не сделав ни малейшей попытки к спасению, потерял равновесие и полетел вниз головой прямо в пропасть. Треск сучьев, которые он ломал по пути, и глухой звук падения тела вызвали крик ужаса и удивления у его спутников. Сыны Тумана, ободренные паникой, которую произвел среди преследователей их первый успех, ответили на этот крик громкими, радостными криками и, подойдя к краю утеса, неистовыми воплями и угрожающими жестами старались устрашить противника, показывая ему свою храбрость, численность и готовность защищаться. Даже привычная осторожность военного не помешала капитану Дальгетти вскочить с места и крикнуть Раналду громче, чем подсказывало благоразумие:

— Qué bueno[1], приятель! — как сказал бы испанец. Да здравствует арбалет! Теперь, по моему скромному разумению, следует вывести вперед одну шеренгу, чтобы занять позицию...

— Южанин! — крикнул голос снизу.— Целься в южанина! Я вижу, как блестит его панцирь.

В то же мгновение раздались три мушкетных выстрела; одна пуля скользнула по надежному стальному нагруднику, прочности которого капитан неоднократно бывал обязан спасением своей жизни, а вторая пробила левый набедренник и свалила его с ног. Раналд тотчас же подхватил его на руки и оттащил от края пропасти, в то время как капитан сокрушенно говорил:

— Сколько раз я твердил и бессмертному Густаву-Адольфу, и Валленштейну, и Тилли, и другим военачальникам, что, по моему слабому разумению, набедренники следует делать такими, чтобы их не пробивали пули.

Промолвив несколько слов на гэльском языке, Мак-Иф передал раненого на попечение женщин, находившихся в тылу маленького отряда, и хотел было возвратиться к месту битвы, но Дальгетти удержал его, крепко схватив за конец пледа.

— Не знаю, чем все это кончится, но я прошу тебя сообщить графу Монтрозу, что я умер как достойный соратник бессмертного Густава... И прошу тебя... не рискуй покидать теперешнюю позицию... даже с целью преследования неприятеля, в случае если одержишь временно верх... и... и...

Тут Дальгетти, потеряв много крови, стал заметно слабеть, и Мак-Иф, воспользовавшись этим обстоятельством, высвободил конец своего пледа из его руки и вложил в нее конец плаща одной из женщин. Капитан крепко ухватился за него,

[1] Как хорошо *(исп.)*.

воображая, что Раналд по-прежнему внимает тактическим наставлениям, которыми он продолжал сыпать, пока у него хватало сил, хотя слова его с каждой минутой становились все более бессвязными.

— Главное, дружище, не забудь выставить мушкетеров впереди отряда с пиками, секирами и мечами. Держитесь, драгуны, на левом фланге! Что я говорил? Да, вот что! Раналд, если решишь отступать, оставь несколько горящих фитилей на ветках деревьев,— будет казаться, что стреляют... Но я совсем забыл... ведь у вас нет ни фитилей, ни кремневых ружей... только лук и стрелы... лук и стрелы... ха, ха, ха!..

Тут капитан окончательно выбился из сил и, засмеявшись, откинулся назад, ибо он, искушенный в науке современной войны, никак не мог примириться с мыслью о применении столь устаревшего оружия. Прошло много времени, прежде чем он очнулся от забытья; и мы теперь оставим его на попечении Дочерей Тумана, оказавшихся добрыми и внимательными сиделками, невзирая на свою дикую внешность и угловатые движения.

## ГЛАВА XV

Раз ты не запятнал стыдом
Измены честь свою,
Тебя прославлю я пером
И шпагой восхвалю.

Я послужу тебе, подав
В веках пример другим.
Из рук моих ты примешь лавр,
Все ревностней любим.

*Монтроз, «Стихи»* [1]

Мы вынуждены, хотя и не без некоторого сожаления, временно покинуть храброго капитана Дальгетти на произвол судьбы, предоставив ему залечивать свои раны, и постараемся вкратце описать военные действия Монтроза, вполне признавая, что они достойны более подробного изложения и более искусного историка. При содействии вождей горных кланов, с которыми мы уже познакомились раньше, и главным образом благодаря присоединению Мерри, Стюартов и других кланов Этола, с особенным рвением поддерживавших короля, Монтрозу вскоре удалось собрать войско в две-три тысячи горцев, к которым он присоединил ирландцев под начальством Колкитто.

[1] Перевод Т. Казмичевой.

Этот последний, которого, к великому недоумению комментаторов, великий поэт Мильтон упоминает в одном из своих сонетов, носил имя Элистера, или Александра, Мак-Донела [1] и, будучи уроженцем одного из шотландских островов, приходился сродни графу Энтримскому, по милости которого и был назначен командующим ирландскими войсками. Во многих отношениях он был вполне достоин подобного отличия. Он был отважен и неустрашим до безрассудства, крепкого сложения и весьма деятелен, в совершенстве владел оружием и всегда был готов первым подать пример самой отчаянной храбрости. В противовес этим достоинствам нельзя не упомянуть, что он был неопытен в военной тактике, к тому же самоуверен и завистлив, из-за чего его личная доблесть редко содействовала успехам Монтроза. Но обаяние внешних качеств человека столь сильно действует на воображение дикого народа, что беспримерная смелость и отвага этого воина производили куда большее впечатление на горцев, нежели военное мастерство и рыцарское благородство маркиза Монтроза. В горных ущельях Верхней Шотландии до сего времени еще сохранились многочисленные предания и легенды, связанные с именем Элистера Мак-Донела, тогда как имя Монтроза упоминается среди горцев очень редко.

Сборный пункт, к которому Монтроз в конце концов стянул свое небольшое войско, находился в Стратерне, на границе горных районов Пертшира, откуда маркиз мог угрожать главному городу этого графства.

Неприятель был готов встретить Монтроза надлежащим образом. Аргайл во главе своих горцев шел по пятам ирландцев, двигаясь с запада на восток, и, действуя силой, страхом

---

[1] Книга Мильтона под названием «Тетрахордон» была, как известно, высмеяна богословами, собравшимися в Уэстминстере, и другими лицами по причине ее мудреного названия, а Мильтон в своем сонете отплатил им той же монетой, перечисляя варварские шотландские имена, к которым междоусобная война приучила слух англичан.

И чем же легче Мак-Донел, Галасп
Иль, например, Гордон или Колкитто?
Где задохнулся бы Квинтилиан,
Там, сэры, пустяки для бритта.

«Можно предполагать,— говорит епископ Ньютон,— что это были известные личности среди шотландских священников, которые стояли за ковенант». Между тем Мильтон просто хотел высмеять варварские шотландские имена вообще и назвал без разбора Галаспа, одного из апостолов ковенанта, рядом с Колкитто и Мак-Донелом, его злейшим врагом (оба имени принадлежали одному лицу).

или уговорами, успел собрать достаточное войско, чтобы дать сражение Монтрозу. Жители Нижней Шотландии также были готовы к войне по причинам, о которых мы уже упоминали в начале нашего рассказа. Войско, состоявшее из шести тысяч пехоты и шести-семи тысяч всадников, кощунственно называвшее себя воинством божьим, было спешно набрано в графствах Файф, Ангюс, Перт, Стерлинг и в соседних с ними округах. В прежние времена, пожалуй еще даже при предыдущем короле, было бы вполне достаточно значительно меньших сил, чтобы защитить границы Нижней Шотландии от натиска куда более грозной армии, нежели та, которой командовал Монтроз; но времена сильно изменились за последнее пятидесятилетие. Прежде жители предгорья вели непрерывную войну, так же как и горцы, но были более дисциплинированны и лучше вооружены. Излюбленный боевой порядок шотландцев несколько напоминал македонскую фалангу. Пехота, вооруженная длинными пиками, образовывала плотное каре, неуязвимое даже для тяжеловооруженной конницы того времени. Понятно, что пехота не могла быть смята беспорядочным натиском пеших горцев, вооруженных лишь для ближнего боя палашами, плохо снабженных огнестрельным оружием и вовсе не имеющих артиллерии.

Такой способ ведения войны существенно изменился благодаря введению мушкетов в войсках Нижней Шотландии; но мушкеты, в то время еще не имевшие штыков, представляли опасность лишь на расстоянии и служили плохой защитой при атаке врага. Правда, пика еще не совсем вышла из употребления в шотландской армии, но она уже не была излюбленным ее оружием и не внушала прежнего доверия тем, кто ею пользовался. Тогдашний знаток военной тактики Дэниел Лэптон даже посвятил целую книгу преимуществам мушкета перед пикой.

Это нововведение началось еще со времени войн Густава-Адольфа, войска которого с такой поспешностью совершали переходы, что его армии пришлось очень быстро отказаться от пики и заменить ее огнестрельным оружием. Неизбежным следствием этого новшества — вместе с созданием постоянной армии, благодаря чему военное дело стало ремеслом,— было введение дисциплины и чрезмерно сложной системы военного обучения, где условным выражениям команды соответствовали различные операции и маневры. Малейшее нарушение правил неизбежно приводило к замешательству и путанице. Таким образом, война, как она теперь велась большей частью европей-

ских армий, приобретала в значительно большей мере, нежели раньше, характер профессии или мастерства, для овладения которым необходимы были предварительная практика и опыт. Таковы были естественные последствия создания постоянной армии почти повсеместно, и прежде всего в Германии, в эпоху ее длительных войн; военная наука заменила то, что можно бы назвать естественной дисциплиной феодального ополчения.

Таким образом, ополченцы Нижней Шотландии оказались в положении, вдвойне невыгодном по сравнению с горцами. Они лишились пики — того оружия, которое в руках их предков столь часто отражало стремительный натиск горцев, и вынуждены были подчиняться правилам новой и сложной науки, быть может вполне пригодной в регулярных войсках, где она могла быть изучена в совершенстве, но сбивавшей с толку ополченцев, малознакомых с ней и плохо понимавших ее. В наше время так много сделано в смысле возврата к первоначальным принципам тактики и упразднения педантизма в военном деле, что нам легко понять неблагоприятные условия, в каких приходилось воевать плохо обученным ополченцам, которым внушалось, что успех военной операции всецело зависит от точного соблюдения правил военной тактики, усвоенных ими, по всей вероятности, лишь настолько, чтобы видеть свои ошибки, не зная, однако, как исправить их. Нельзя также отрицать того, что в отношении военного искусства и воинственного духа южные шотландцы в семнадцатом веке значительно уступали своим соотечественникам — северянам.

С давних времен, вплоть до слияния обеих корон, вся Шотландия — Верхняя и Нижняя — постоянно была ареной войн, либо междоусобных, либо с внешним врагом; и едва ли нашелся бы хоть один среди отважных жителей Шотландии в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет, кто не был бы готов — и по влечению сердца, и согласно закону — взяться за оружие при первом кличе своего сюзерена или по приказу короля.

В 1645 году действовал тот же закон, что и сто лет назад, но поколения, выросшие за это время, были воспитаны в совершенно ином духе. Люди привыкли мирно сидеть среди своих виноградников и под сенью смоковниц, и призыв к оружию означал для них неприятную перемену жизни.

Южане, жившие в близком соседстве с горцами, находились в постоянном и невыгодном для себя общении с этими беспокойными обитателями горных высот, которые бесчинствовали, угоняли скот, разоряли дома и мало-помалу приобрели явное

превосходство над ними путем непрерывных нападений. Жители предгорья, расселенные далеко от горных округов и, следовательно, меньше подвергавшиеся разорительным набегам, наслушавшись преувеличенных толков о злодеяниях горцев, обычаи, язык и платье которых резко отличались от их собственных, почитали их за дикарей, не знающих ни страха, ни милосердия.

При таком предвзятом мнении, в совокупности с менее воинственным духом и слабым знанием новейшей военной науки, заменившей их бесхитростный способ воевать, южные шотландцы оказались на поле сражения в крайне невыгодном положении по сравнению с горцами. В противоположность этому, горцы, унаследовавшие оружие и бесстрашие своих предков и сохранившие свою собственную, простую и привычную тактику, с полным сознанием своей силы и уверенностью в победе бросались на врагов, для которых плохо усвоенные правила новой науки служили — как некогда воинские доспехи Саула Давиду — скорее препятствием, нежели помощью, «ибо они к ним не привыкли».

Вот при таких-то неблагоприятных условиях, с одной стороны, и при явном преимуществе, с другой,— что несколько уравновешивалось разницей в численности и наличием артиллерии и конницы,— произошло сражение между силами Монтроза и войсками лорда Илхо под Типпермуром.

Пресвитерианское духовенство не пожалело сил, чтобы поднять дух своих сторонников, так, например, один из проповедников, обратившись с увещанием к войскам в самый день сражения, не побоялся объявить солдатам, что если когда-либо господь бог глаголал его устами, то он именем господним обещает им в этот день великую и верную победу. Кроме того, царила уверенность, что конница и артиллерия обеспечат полный успех, ибо эти новые роды оружия уже не раз приводили горцев в замешательство. Местом сражения было открытое вересковое поле, не дававшее никаких преимуществ ни той, ни другой стороне, кроме того, что позволяло коннице пресвитериан действовать с успехом.

Никогда еще битва, имевшая столь важное и решающее значение, не была так легко и быстро выиграна. Конница южан пошла было в атаку, но — оттого ли, что она была сразу же отброшена мушкетным огнем, или потому, что, как говорили, южные дворяне неохотно воевали против короля,— она не сумела смять горцев, не имевших даже штыков или пик для своей защиты, и отступила в беспорядке. Монтроз сразу же оценил этот успех и поспешил воспользоваться им. Он отдал

приказ всей своей армии перейти в наступление, что она и сделала с дикой и отчаянной отвагой, присущей горцам. Только один офицер пресвитерианских войск, вышколенный в итальянских походах, оказал на правом фланге стойкое сопротивление. По всей остальной линии горцы прорвались при первом же натиске; и как только это преимущество было достигнуто, южане оказались совершенно неспособными противостоять в рукопашном бою своим более ловким и сильным противникам. Многие южане были убиты на месте, и такое множество людей погибло во время преследования, что, судя по донесениям, в этот день было уничтожено более трети всего пресвитерианского войска. Впрочем, в числе погибших следует считать немалое число тучных горожан, задохнувшихся на бегу при отступлении и умерших без единой раны [1].

Победители завладели Пертом и захватили крупные денежные суммы, а также большой запас оружия и снаряжения. Но все эти несомненные успехи сопровождались почти непреодолимыми затруднениями, неизбежно возникавшими в отрядах горцев. Никакими силами нельзя было убедить горные кланы в том, что они являются солдатами регулярного войска и должны действовать в соответствии с этим. Даже много позднее, в 1745—1746 годах, когда претендент Карл-Эдуард острастки ради приказал расстрелять одного солдата за дезертирство, горцы, составлявшие его армию, были столь же возмущены этим поступком, сколь и напуганы. Они никак не могли признать справедливым закон, в силу которого можно было лишить человека жизни только за то, что он ушел домой, когда ему не захотелось больше оставаться в армии. Таков был обычай их предков: как только кончалось сражение, они считали кампанию законченной; если сражение было проиграно, они спешили укрыться в своих горах; если выиграно — возвращались домой, дабы в надежном месте спрятать свою добычу. Иногда у них находились какие-нибудь неотложные дела: надо было присмотреть за скотиной, засеять поля или собрать урожай, иначе их семьи умерли бы с голоду. В любом случае их службе в армии временно наступал конец; и хотя их очень легко было призвать обратно, соблазнив надеждой на новые подвиги и новую добычу, но тем временем благоприятный слу-

[1] Мы считаем нужным указать источник, где сообщается о столь удивительном происшествии: «Многие горожане были убиты — например, двадцать пять домовладельцев в Сент-Эндрю; а многие задохнулись во время бегства и умерли, не будучи ранены» (см. «Письма Бэйли», т. II, стр. 92).

чай бывал обычно безвозвратно упущен. Это обстоятельство — даже если бы история не подтверждала этого — служит неоспоримым доказательством того, что, ведя войну, горцы никогда не стремились к завоеваниям, а добивались только временных преимуществ или оружием разрешали какую-нибудь ссору. По этой же причине Монтрозу, невзирая на все его блестящие победы, так и не удалось добиться прочного положения в Нижней Шотландии, и даже те из южных вельмож и дворян, которые склонны были принять сторону короля, не доверяли Монтрозу и неохотно вступали в ряды армии, носившей столь случайный и непостоянный характер, опасаясь, что горцы в любую минуту, обеспечив себе отступление в горы, могут бросить на произвол судьбы присоединившихся к ним и оставить их в руках разъяренного и превосходящего численностью неприятеля. Этим же объясняются внезапные походы, которые Монтроз вынужден был предпринимать с целью пополнения своей армии, и непрочность военных успехов, нередко вынуждавшая его отступать перед только что разбитым врагом.

Если среди читателей найдутся лица, заинтересовавшиеся этим повествованием не только ради развлечения, то приведенные выше замечания могут оказаться достойными их внимания.

Именно вследствие этих причин — равнодушия южных роялистов и временного ухода горцев из армии — Монтроз, даже после решительной победы под Типпермуром, оказался не в состоянии сразиться со второй армией, которую Аргайл двинул против него с запада. В этот критический момент, решив возместить недостаток сил быстротой маневрирования, Монтроз внезапно повернул от Перта к Данди, а когда этот город не впустил его, перебросил свои войска к северу и пошел на Эбердин, где он рассчитывал соединиться с Гордонами и другими роялистами. Но пыл его союзников сильно охлаждал страх перед мощным корпусом пресвитериан численностью до трех тысяч человек под командованием лорда Берли. Однако Монтроз смело атаковал это войско, вдвое превосходившее числом его собственные силы. Сражение произошло под самыми стенами города, и доблестные приверженцы Монтроза вновь одержали победу, несмотря на все неблагоприятные условия.

Но такова была судьба этого великого полководца: неизменно стяжая славу, он редко пожинал плоды своих побед. Едва он успел дать небольшую передышку своим войскам в Эбердине, как оказалось, с одной стороны, что Гордоны вряд ли решатся примкнуть к нему,— по причинам, указанным выше, а также по чисто личным соображениям их вождя, маркиза

Хантли; с другой стороны, Аргайл, силы которого пополнились несколькими примкнувшими к нему южными дворянами, выступал против Монтроза во главе армии, значительно превосходившей все те, с которыми Монтрозу до сих пор приходилось сражаться. Правда, эти войска двигались очень медленно, вследствие осторожного нрава своего начальника, но именно потому, что осмотрительность Аргайла была хорошо известна, самый факт его продвижения вызывал тревогу, ибо доказывал, что он идет во главе непреодолимо мощной армии.

Монтрозу оставался только один путь к отступлению, и он воспользовался им. Он ушел в горы, где не боялся преследования; кроме того, он был уверен, что в каждом ущелье сумеет найти и вернуть в армию тех, кто временно покинул ее ряды, чтобы припрятать свою военную добычу. В том и состоял необычный характер войска, возглавляемого Монтрозом: с одной стороны, победы его часто давали пустячные результаты, с другой, вопреки самым неблагоприятным обстоятельствам, он всегда мог обеспечить себе отступление, собрать новые силы и снова идти против врага, с которым он еще совсем недавно не мог тягаться.

На сей раз он отступил к Баденоху и, быстро пройдя весь этот округ, а затем смежное с ним графство Этол, начал беспокоить пресвитериан рядом последовательных нападений в самых неожиданных местах, чем вызвал такую тревогу, что парламент слал своему главнокомандующему, маркизу Аргайлу, приказ за приказом, требуя во что бы то ни стало начать наступление и разгромить армию Монтроза.

Повелительные требования со стороны правительства пришлись не по вкусу высокомерному вельможе и отнюдь не отвечали его медлительному и осторожному образу действий. Поэтому он не обращал на них внимания и ограничивался тем, что сеял рознь между Монтрозом и немногими его союзниками из южных дворян, которых и так уже утомили тяготы военного похода в горах, вынуждавшего их к тому же бросать свои поместья на милость пресвитериан. В эту пору многие из них покинули лагерь Монтроза. Но зато к нему присоединились значительные силы сторонников, более близких ему по духу и несравненно лучше приспособленных к ведению войны в создавшихся условиях; это подкрепление состояло из многочисленного отряда горцев, которых Колкитто, нарочно для этого посланный, завербовал в Аргайлшире. Среди наиболее видных из этих горцев можно назвать Джона Мойдарта, прозванного вождем клана Раналдов, Стюартов из Аппина, клан

Грегоров, клан Мак-Нэбов и другие семьи, менее значительные. Благодаря этому подкреплению армия Монтроза так грозно разрослась, что Аргайл не пожелал более командовать войсками его противников и возвратился в Эдинбург, где сложил с себя полномочия под тем предлогом, что ему не дали военного снаряжения, какое ему требовалось. Из Эдинбурга маркиз отправился в Инверэри, дабы в полной безопасности управлять своими вассалами и родичами, твердо полагаясь на то, что «далеко отсюда до Лохоу!» — как гласила старинная поговорка его клана.

## ГЛАВА XVI

Отряд был заперт, словно в западне:
Вперед пойдешь — скалистых гор вершины,
Назад пойдешь — дремучий лес в огне,
А по бокам — болотные трясины.
И понял граф: все гибельны пути,
И он зовет начальника к себе.
Они решили лишь вперед идти,
Вручив себя изменчивой судьбе.

*«Флодденское поле», старинная песня*[1]

Монтроз был теперь во всеоружии и мог совершить блестящий поход, если бы ему удалось склонить к этому свои доблестные, но непостоянные войска и их непокорных вождей. Путь к предгорью был открыт, и не было больше армии, способной остановить Монтроза, ибо сторонники Аргайла покинули войско пресвитериан, как только их начальник ушел со своего поста, а многие из других отрядов, утомленные войной, воспользовались тем же случаем, чтобы разойтись по домам. Итак, Монтрозу оставалось только спуститься по долине реки Тэй, одному из самых удобных горных проходов, и появиться в предгорье, чтобы пробудить в южанах дремлющий дух рыцарства и верности королю, воодушевлявший шотландское дворянство севернее залива Форт. Овладев этими южными округами,— мирным ли путем или с помощью военных действий,— Монтроз получил бы в свое распоряжение богатую и плодородную область королевства, что дало бы ему возможность вовремя выплачивать жалованье своим солдатам и тем сохранить более или менее постоянное войско; он мог бы дойти до Эдинбурга, а оттуда, быть может, и до английской границы, где рассчиты-

[1] Перевод И. Миримского.

вал снестись с не побежденными еще боевыми силами короля Карла.

Таков был план военных действий, с помощью которых могла быть одержана верная победа и обеспечен успех делу короля. Это отлично понимал честолюбивый и отважный полководец, уже заслуживший своею доблестью титул «великого маркиза». Но совсем иными соображениями руководствовались многие из его сторонников и, быть может, оказывали тайное и не осознанное им самим влияние на его собственные чувства.

Вожди западных кланов, находившиеся в армии Монтроза, почти все без исключения считали победу над маркизом Аргайлом истинной и непосредственной целью похода. Почти все они испытали на себе гнет его власти; почти все, уведя с собой в армию боеспособных людей своего клана, тем самым оставили свои семейства и свое имущество без защиты от его мести; все до единого жаждали ослабления его могущества; и, наконец, многие из них были столь близкими соседями Аргайла, что могли надеяться в случае победы урвать в свою пользу часть его земель. Для этих вождей захват замка Инверэри со всеми владениями маркиза был делом несравненно более важным и желательным, нежели взятие Эдинбурга. Взятие столицы Шотландии могло доставить их людям лишь единовременную выплату жалованья или немного добычи, тогда как захват замка Инверэри обеспечил бы самим вождям безнаказанность за прошлое и безопасность на будущее.

Помимо чисто личных побуждений, сторонники похода на Инверэри приводили вполне разумные доводы, а именно, что хотя сейчас силы Монтроза численностью превосходят силы неприятеля, но по мере удаления от горных областей будут постепенно уменьшаться, и тому не одолеть войско пресвитериан, которое те могут собрать из жителей предгорья и солдат местных гарнизонов; с другой же стороны, одержав решительную победу над Аргайлом, Монтроз не только даст возможность своим западным союзникам вывести за собой ту часть ратных людей, которых они в противном случае должны будут оставить для охраны своих семейств, но и привлечет под свои знамена многие кланы, давно сочувствующие его делу и не примыкающие к нему лишь из страха перед Мак-Каллумором.

Все эти соображения, как уже говорилось выше, находили некоторый отклик в душе Монтроза, хотя и несколько противоречили его благородной натуре. С давних пор дом Аргайлов и дом Монтрозов соперничали друг с другом, и им неоднократно доводилось сталкиваться как в политических, так и в ратных

делах; значительные привилегии, которых добились Аргайлы, делали их предметом зависти и неприязни другого дома, члены которого, сознавая свои равные права и заслуги, считали себя обделенными. Мало того — нынешние главы обоих семейств соперничали друг с другом с самого начала междоусобной войны.

Монтроз, считавший себя более одаренным, нежели Аргайл, и оказавший большие услуги пресвитерианам в начале войны, ожидал, что они предоставят ему первое место как на политическом, так и на военном поприще; парламент, однако, нашел более надежным отдать это место человеку с ограниченными способностями, но пользующемуся бóльшим влиянием в стране. Оказанное Аргайлу предпочтение было тяжкой обидой для Монтроза; он не простил пресвитерианам и еще менее склонен был простить Аргайлу, которого ему предпочли. Поэтому вся ненависть, на какую был способен человек пылкого нрава в те суровые времена, побуждала Монтроза отомстить заклятому врагу своего рода и своему личному недругу. Очень вероятно, что эти личные причины оказали на него немалое влияние, когда он убедился, что большинство его приверженцев гораздо более расположено идти в поход на земли Аргайла, нежели предпринять более решительные шаги, без промедления двинувшись на юг.

Но как ни велик был для Монтроза соблазн напасть на владения Аргайла, ему не легко было отказаться от попытки победоносного вторжения в Нижнюю Шотландию. Он неоднократно созывал всех главных вождей на военный совет, силясь побороть их противодействие и, быть может, свои собственные тайные желания. Он указывал им на то, что даже для горцев почти невозможно подступиться к Аргайлширу с восточной стороны, по горным тропам, едва проходимым для пастухов и охотников за красным зверем, и через перевалы, малоизвестные даже тем кланам, которые жили поблизости. Все трудности похода еще усугублялись временем года: приближался декабрь, можно было ожидать, что горные дороги, и без того малодоступные, станут совершенно непроходимыми из-за снежных буранов. Однако эти доводы не удовлетворяли и не убеждали вождей, продолжавших настаивать на том, что воевать нужно по старинке, то есть гнать с собой скотину, которая, как гласит гэльская поговорка, «пасется на вражеских лугах».

Совет был распущен поздно ночью, однако никакого решения вынесено не было, кроме того, что вожди, стоявшие за нападение на Аргайла, обещали выбрать из своих людей надежных проводников для предстоящего марша.

Монтроз удалился в хижину, служившую ему походной палаткой, и растянулся на подстилке из сухого папоротника — единственном ложе, которое могло быть ему предоставлено. Но желанный покой не приходил: честолюбивые мечты гнали прочь сновидения. То ему рисовалось, будто он водружает королевское знамя на военной цитадели Эдинбурга, оказывает помощь монарху, корона которого зависит от его, Монтроза, побед, и получает в награду все преимущества и привилегии от короля, чью благодарность он заслужил. Потом эти мечты, сколь ни были они заманчивы, бледнели перед видениями утоленной мести и торжества над личным врагом. Захватить Аргайла врасплох в его инверэрской твердыне, сокрушить в его лице одновременно исконного врага своего рода и главный оплот пресвитерианства, показать парламенту, как он ошибся, вознеся Аргайла и унизив Монтроза,— такая картина была слишком соблазнительна для воображения феодала, обуреваемого жаждой мщения, чтобы он мог легко от нее отказаться.

В то время как Монтроз предавался столь противоречивым размышлениям, солдат, стоявший на часах у входа в хижину, доложил ему, что двое неизвестных просят разрешения переговорить с его светлостью.

— Кто они такие,— спросил Монтроз,— и что побудило их явиться в столь поздний час?

На эти вопросы часовой, ирландец из отряда Колкитто, не мог толком ответить своему начальнику, поэтому Монтроз, который в военное время не считал возможным кому-либо отказывать в приеме, дабы не упустить случая получить важные сведения, распорядился осторожности ради поставить вооруженную охрану, а сам приготовился встретить поздних гостей. Его камердинер едва успел зажечь факелы, а сам Монтроз едва успел подняться со своего ложа, как в хижину вошли двое неизвестных; один из них был одет в рваную замшевую куртку, какие носят в предгорье; другой, высокий старик, изможденное лицо которого было столь сильно обветрено, что приобрело свинцовый оттенок, кутался в клетчатый плащ горца.

— Что привело вас ко мне, друзья? — спросил Монтроз, причем пальцы его невольно нащупали рукоять пистолета, ибо беспокойные времена и поздний час, естественно, внушали опасения, и даже благопристойная наружность посетителей не содействовала тому, чтобы эти опасения рассеялись.

— Честь имею,— сказал человек в куртке,— поздравить вас, мой благородный генерал и достопочтенный лорд, с великими победами, которые вы одержали с тех пор, как судьба

разлучила нас. Чудесное было дело, эта схватка под Типпермуром; тем не менее я позволил бы себе посоветовать...

— Прежде чем продолжать,— прервал его маркиз,— не будете ли вы так любезны сообщить мне, кто удостаивает меня чести давать мне советы?

— По правде говоря, милорд,— отвечал незваный посетитель,— я полагал, что в этом нет нужды, ибо не так уж давно я поступил к вам на службу и вы обещали мне чин майора с жалованьем полталера в сутки и столько же по окончании похода; и я имею смелость надеяться, что ваша светлость не забыли ни своего обещания, ни моей особы.

— Любезный друг мой, майор Дальгетти! — сказал Монтроз, успевший тем временем узнать своего гостя.— Вы должны принять во внимание, какие важные события произошли за это время, если лицо друга могло выскользнуть из моей памяти; да к тому же это скудное освещение... Но все условия будут выполнены. А какие новости вы привезли мне из Аргайлшира, милейший майор? Мы считали вас погибшим, и я уже готовился жестоко отомстить этой старой лисе, поправшей в вашем лице все правила войны.

— Поистине, милорд,— отвечал Дальгетти,— я не желал бы, чтобы мое возвращение приостановило исполнение вашего справедливого и мудрого намерения; ибо если я сейчас стою здесь, то это отнюдь не по милости и не по доброй воле маркиза, и я совсем не намерен быть его заступником перед вами. Своим спасением я обязан милосердному небу и той несравненной ловкости, с которой я, как старый и опытный воин, сумел совершить побег. Но, помимо неба, помощь в этом деле оказал мне вот этот старый горец, которого я осмеливаюсь поручить особому вниманию вашей светлости, как орудие спасения вашего покорного слуги Дугалда Дальгетти, наследника поместья Драмсуэкит.

— Услуга, достойная благодарности,— промолвил маркиз,— и, без сомнения, будет должным образом вознаграждена.

— Преклони колено, Раналд,— сказал майор Дальгетти (как мы должны теперь величать его).— Преклони колено и поцелуй руку его светлости!

Но предписанная этикетом церемония приветствия не была в обычае у горцев, и Раналд ограничился тем, что, скрестив на груди руки, слегка наклонил голову.

— Да будет вам известно, милорд,— продолжал майор Дальгетти важно и покровительственным по отношению к Раналду тоном,— бедняга сделал все, что было в его слабых силах,

чтобы защитить меня от моих врагов, не имея в качестве метательного снаряда ничего лучшего, кроме лука и стрел, чему ваша светлость едва ли поверит.

— Вы увидите немало этого оружия и в моем лагере,— отвечал Монтроз,— и мы считаем его весьма пригодным [1].

— Пригодным, милорд? — воскликнул Дальгетти.— Да простит мне ваша светлость мое крайнее изумление... Лук и стрелы! Не посетуйте на мою смелость и позвольте мне посоветовать вам заменить при первой же возможности это оружие мушкетами. Но должен вам сказать, что сей честный горец не только защитил меня, но и приложил все старания к тому, чтобы меня вылечить, ибо при отступлении я был ранен; и его заботы обо мне заслуживают того, чтобы я с благодарностью препоручил его особому вниманию и попечению вашей светлости.

— Как твое имя, дружище? — спросил Монтроз, обращаясь к горцу.

— Мне нельзя назвать его,— отвечал горец.

— Он хочет сказать,— пояснил майор Дальгетти,— что желал бы сохранить свое имя в тайне, ибо в былые дни он овладел неким замком, убил детей его владельца и совершил ряд других поступков, которые, как вашей светлости хорошо известно, совершаются сплошь и рядом во время войны, но которые не возбуждают особого доброжелательства со стороны родственников пострадавшего к виновнику его несчастий. Я по своему долгому военному опыту знаю, что крестьяне часто предавали смерти храбрых воинов единственно за то, что они позволяли себе кое-какие военные вольности в их стране.

— Понимаю,— сказал Монтроз.— Этот человек во вражде с кем-нибудь из наших сторонников. Отправьте его в кордегардию, а мы пока подумаем, как лучше всего защитить его.

— Слышишь, Раналд,— с видом превосходства обратился к нему майор Дальгетти,— его светлость желает держать со мной тайный совет, а тебе надлежит отправиться в кордегардию. Да ведь он, бедняга, не знает, где что находится! Он еще молодой солдат, хотя и старый человек. Я сейчас препоручу его одному из часовых и немедленно возвращусь к вашей светлости.

Так Дальгетти и сделал и быстро возвратился в хижину.

---

[1] К сведению любителей стрельбы из лука можем сообщить, что не только многие горцы в войске Монтроза были вооружены этими древними метательными снарядами, но даже в Англии во время великих гражданских войн еще иногда пользовались этим оружием, некогда составлявшим гордость и славу отважных британских йоменов.

Прежде всего Монтроз стал расспрашивать Дальгетти о его пребывании в Инверэри и внимательно выслушал его ответ, несмотря на неудержимое многословие майора. Маркизу потребовалось немало усилий, чтобы выслушать рассказ до конца; но он прекрасно знал, что, если хочешь извлечь нужные сведения из доклада посла, такого, как Дальгетти, нужно дать ему выговориться. Долготерпение маркиза было в конце концов вознаграждено: в числе прочей военной добычи, которую майор позволил себе захватить в замке, была пачка личных бумаг Аргайла. Ее-то майор и вручил своему начальнику. Впрочем, этим Дальгетти и ограничился, ибо нет никаких указаний на то, чтобы он в своем донесении упомянул о кошельке с золотом, который он присвоил себе одновременно с изъятием вышеупомянутой пачки. Сняв со стены один из факелов, Монтроз немедленно погрузился в чтение бумаг, среди которых нашел, по-видимому, нечто, подогревшее его личную ненависть к сопернику.

— Ах, он не боится меня? — проговорил он.— Так он узнает меня... Он спалит мой замок Мардох? Первым запылает Инверэри... Чего бы я не дал за проводника через ущелье Страт-Филлан!

Как сильно ни любовался собою Дальгетти, он все же достаточно хорошо знал свое дело, чтобы сразу догадаться, о чем думает Монтроз. Тотчас же прервав свои разглагольствования по поводу схватки, имевшей место в горах, и раны, полученной им при отступлении, он повел речь о том, что больше всего занимало Монтроза.

— Если ваша светлость желает проникнуть в Аргайлшир,— сказал Дальгетти,— то этот бедняга Раналд, о котором я говорил вам, вместе со своими детьми и родичами знает в этом краю каждую тропинку, ведущую к замку Инверэри как с восточной, так и с северной стороны.

— В самом деле? — воскликнул Монтроз.— Но какие у вас основания доверять его знаниям?

— С разрешения вашей светлости,— отвечал Дальгетти,— в течение тех недель, что я провел среди его племени, залечивая свою рану, мы были вынуждены несколько раз перекочевывать с места на место, ибо Аргайл неоднократно возобновлял попытки завладеть особою офицера, облеченного доверием вашей светлости. Таким образом, я имел случай оценить необыкновенное знание местности этими людьми и то проворство, с каким они то отступали, то продвигались вперед. И когда наконец я оправился настолько, что мог вновь встать под знамена вашей светлости, то этот простой, честный малый, Раналд Мак-

Иф, провел меня сюда такими путями, по которым мой конь Густав (если ваша светлость изволит его помнить) прошел совершенно беспрепятственно. Вот тогда-то я и сказал себе, что если бы во время похода в западных горах понадобился проводник, лазутчик или разведчик, то более опытных людей, нежели Раналд и его спутники, трудно было бы найти.

— А можете ли вы поручиться за верность и преданность этого человека? — спросил Монтроз.— Как его зовут и кто он такой?

— Он злодей и разбойник по ремеслу и, кажется, убийца и душегуб,— отвечал Дальгетти,— а зовут его Раналд Мак-Иф, что означает: Раналд, Сын Тумана.

— Мне что-то помнится это имя,— проговорил Монтроз задумчиво.— Не эти ли Сыны Тумана совершили какое-то злодейство в семье Мак-Олеев?

Майор Дальгетти заговорил об убийстве лесничего, и превосходная память Монтроза тотчас подсказала ему все подробности этой кровавой вражды.

— Очень досадно,— сказал Монтроз,— что между этими людьми и домом Мак-Олеев такая непримиримая вражда. Аллан выказал много мужества в нынешних походах, к тому же он имеет огромное влияние на умы своих соотечественников благодаря мрачной таинственности своего поведения и речей. Мне не хотелось бы вызывать его неудовольствие, это могло бы иметь очень неприятные последствия. А между тем эти люди были бы нам весьма полезны, и если, как вы утверждаете, на них можно вполне положиться...

— Я ручаюсь за них своим жалованьем и наградами, своим конем и оружием, своей головой и шеей,— сказал майор,— а вашей светлости известно, что больше этого честный воин не может сказать даже про родного отца.

— Все это прекрасно,— возразил Монтроз,— но, поскольку вопрос этот чрезвычайной важности, я хотел бы знать, на чем покоится ваша столь твердая уверенность?

— Короче говоря, милорд,— отвечал майор,— они не только не польстились на недурное вознаграждение за мою голову, которым Аргайл удостоил меня, не только не посягнули на мое личное имущество, на которое, наверное, позарились бы солдаты любой регулярной армии в Европе, не только возвратили мне моего коня, весьма ценного, как ваша светлость изволит знать,— но я не мог никакими силами убедить их принять от меня ни одного стайвера, дойта или мараведи в уплату за беспокойство и в возмещение расходов, которых требовал уход

за мной. Они решительно отказались от звонкой монеты, предложенной от всего сердца, а это редко приходится видеть в христианской стране.

— Согласен,— сказал Монтроз,— что поведение их по отношению к вам может служить залогом их надежности; но как предотвратить вспышку смертельной вражды между ними и Алланом Мак-Олеем? — С минуту он помолчал и вдруг неожиданно добавил: — Я совсем забыл, что я-то уже поужинал, а вы, майор, путешествовали всю ночь.

Он приказал слугам подать вина́ и закуску. Майор Дальгетти с аппетитом выздоравливающего, к тому же недавно покинувшего горные ущелья, не заставил себя долго просить и с жадностью накинулся на еду; маркиз, налив себе кубок вина и выпив его за здоровье майора, заметил, что, как ни скромен провиант в его лагере, майору Дальгетти, по-видимому, приходилось довольствоваться еще худшей пищей во время своих странствований по Аргайлширу.

— Можете быть уверены, ваша светлость,— с полным ртом отвечал почтенный майор,— вкус черствого хлеба и затхлой воды, которыми угощал меня Аргайл, до сих пор у меня во рту, а пища, которую доставляли мне Сыны Тумана,— хоть эти бедные, беспомощные создания и старалйсь изо всех сил,— не шла мне впрок, так что, когда я надевал свои доспехи, которые, кстати, мне пришлось бросить ради удобства дальнейшего путешествия, мое тело болталось в них, как прошлогодний сморщенный орех в своей скорлупе.

— Вам нужно скорее вернуть потерянное, майор Дальгетти.

— По правде говоря,— сказал майор,— мне это едва ли удастся, если только мне не будет выдано жалованье, ибо, смею вас уверить, ваша светлость, те сорок два фунта веса, которые я сейчас потерял, были приобретены мной за счет жалованья, аккуратно выплачивавшегося правительством Голландии.

— В таком случае,— промолвил Монтроз,— вы сейчас достигли веса, при котором вам легче будет совершать походы. Что же касается жалованья, то дайте нам одержать победу, майор. Только одержать победу — и тогда все желания, и ваши и наши, исполнятся... А пока налейте себе еще вина.

— За здоровье вашей светлости,— провозгласил майор, наполняя кубок до самых краев, дабы выказать свою преданность,— за победу над всеми врагами, а главное — над Аргайлом! Надеюсь вырвать собственноручно второй клок волос из его бороды,— однажды мне уже удалось ее пощипать.

— Прекрасно,— отвечал Монтроз.— Но возвратимся к вопросу об этих людях — Сынах Тумана. Вы, разумеется, понимаете, Дальгетти, что об их присутствии и о том, с какой целью мы намерены их использовать, никто не должен знать, кроме нас с вами?

Майор, в восторге от этого знака особого доверия со стороны своего начальника,— на что Монтроз и рассчитывал,— прижал ладонь к губам и важно кивнул головой.

— А много ли спутников у Раналда? — спросил маркиз.

— Насколько мне известно,— отвечал майор Дальгетти,— их всего человек восемь или десять мужчин и несколько женщин и детей.

— Где они сейчас находятся? — продолжал спрашивать маркиз.

— В ушелье, мили за три отсюда,— отвечал майор,— в ожидании приказа вашей светлости. Я не почел удобным привести их в лагерь без вашего на то соизволения.

— И хорошо сделали,— сказал Монтроз,— им лучше оставаться там, где они сейчас, или даже поискать себе убежище подальше отсюда. Я пошлю им денег, хотя у меня их сейчас маловато.

— В этом нет никакой надобности,— возразил майор Дальгетти.— Вашей светлости стоит лишь намекнуть, что Аллан направляется в ту сторону, и мои приятели, Сыны Тумана, немедленно сделают «направо кругом» и поспешат дать тягу.

— Это едва ли будет очень любезно с нашей стороны,— сказал Монтроз.— Лучше все-таки послать им немного денег — они смогут купить коров, для того чтобы прокормить женщин и детей.

— Поверьте, они сумеют приобрести себе коров гораздо более дешевым способом,— заметил майор.— Впрочем, как будет угодно вашей светлости.

— Пусть Раналд Мак-Иф выберет двух-трех людей понадежнее,— сказал Монтроз,— которым можно доверять и которые умеют держать язык за зубами; они-то и будут служить нам проводниками под командой своего главаря. Пусть они завтра же на рассвете явятся ко мне, и постарайтесь, если возможно, чтобы они не догадались о моих намерениях и не разговаривали друг с другом наедине. А у этого старика есть дети?

— Все они убиты или повешены,— отвечал майор,— а было что-то около дюжины; у него остался только один внук, бойкий и смышленый мальчонка. Я никогда не видел его иначе как с камнем, который он готов швырнуть во что попало. Если

верить этой примете, то, как Давид, который имел обыкновение метать гладкие камешки, добытые со дна потока, он со временем будет храбрым воином.

— Этого мальчика, майор Дальгетти, я возьму себе в пажи,— сказал маркиз.— Надеюсь, что у него хватит ума сохранить свое имя в тайне?

— Ваша светлость может не беспокоиться,— отвечал Дальгетти.— Эти пострелята, едва вылупившись из яйца...

— Так вот,— прервал его Монтроз,— этот мальчик будет нам залогом верности деда, и если тот оправдает наше доверие, то мои заботы о судьбе мальчика будут ему наградой. А теперь, майор Дальгетти, я разрешаю вам удалиться на покой; завтра вы приведете ко мне Мак-Ифа и представите под именем и званием, которое он сам себе выберет. Я предполагаю, что его ремесло научило его всяким уловкам, в противном случае мы посвятим в свои планы Джона Мойдарта; у него есть здравый смысл, практичность и сообразительность, и он, вероятно, позволит этому старику на некоторое время выдавать себя за члена его клана. Что касается вас, майор, то мой камердинер будет на сегодняшний вечер вашим квартирмейстером.

Майор Дальгетти с легким сердцем откланялся и вышел, весьма польщенный оказанным ему приемом и в восторге от милостивого обращения своего нового начальника, который, как он пространно объяснил Раналду Мак-Ифу, своим поведением весьма напоминает ему бессмертного Густава-Адольфа — Северного Льва и оплот протестантской веры.

## ГЛАВА XVII

Построившись, войска пошли вперед...
И вслед ему с тоской смотрел народ.
И голод стал на берегу, как пес,
И горы снегу громоздил мороз.
А он все шел, наперекор лишеньям...

*«Тщета человеческих желаний»* [1]

На рассвете следующего дня Монтроз принял у себя в хижине старика Раналда и долго и подробно расспрашивал его о возможности проникнуть в графство Аргайл. Он записал его ответы, чтобы затем сличить их с показаниями двух его спутников, которых старик представил ему как очень опытных и

[1] Перевод И. Миримского.

надежных людей. Оказалось, что сведения всех троих полностью совпадают; однако, не удовлетворившись этим и считая, что в таком деле нужна особая предосторожность, маркиз сравнил полученные им сведения с теми, которые ему удалось собрать среди вождей, живших поблизости от места предстоящего вторжения; убедившись, что все сведения точно совпадают, он решил действовать, вполне полагаясь на них.

Только в одном Монтроз нашел нужным изменить свое первоначальное решение. Считая неудобным оставлять при себе юного Кеннета из опасения, что, если тайна его происхождения раскроется, таким поступком могут оскорбиться многочисленные кланы, которые питают ненависть к Сынам Тумана, Монтроз предложил майору Дальгетти принять мальчика под свое покровительство; а так как он высказал свою просьбу, основательно «сдобрив» ее — под предлогом приобретения одежды для юноши,— такое решение удовлетворило всех.

Перед самым завтраком, получив от Монтроза разрешение удалиться, майор Дальгетти отправился на поиски своих старых знакомых, лорда Ментейта и братьев Мак-Олеев; ему не терпелось поскорее сообщить им о своих приключениях и узнать от них подробности совершенного похода. Можно легко себе представить, с какой искренней радостью он был встречен людьми, для которых появление всякого нового лица было приятным разнообразием среди скуки лагерной жизни. Только один Аллан Мак-Олей весь как-то съежился при встрече со своим прежним знакомцем; однако, когда старший брат стал расспрашивать его о причине такого поведения, он не мог ничего объяснить, кроме того, что ему претит присутствие человека, который так недавно находился в обществе Аргайла и прочих врагов. Майор Дальгетти был несколько встревожен тем, что Аллан со свойственной ему сверхъестественной прозорливостью угадал, что он недавно находился среди враждебных Аллану людей; однако он вскоре успокоился, убедившись, что прозорливость ясновидца не всегда бывает непогрешимой.

Так как Раналд Мак-Иф поступил в распоряжение майора Дальгетти и находился под особым его покровительством, майору необходимо было представить его тем людям, с которыми ему предстояло чаще всего общаться. Свою одежду старик успел уже сменить на другую и вместо клетчатого пледа своего клана облачился в одежду, которую обычно носили жители отдаленных островов: нечто вроде жилета с рукавами и пришитой к нему юбкой. Это платье спереди имело шнуровку сверху донизу и несколько напоминало так называемый полонез, который

до сих пор носят в Шотландии дети в семьях низших сословий. Узкие клетчатые штаны и шапочка довершали этот костюм, который был хорошо знаком старожилам прошлого столетия, видавшим его на уроженцах дальних островов, ставших под знамена графа Мара в 1715 году.

Майор Дальгетти, искоса поглядывая на Аллана, представил Раналда Мак-Ифа под вымышленным именем Раналда Мак-Джиллихурона из Бенбекулы, бежавшего вместе с ним из подземелья маркиза Аргайла. Он отрекомендовал его как искусного арфиста и певца, а также как превосходного ясновидца или прорицателя. Делая это сообщение, майор Дальгетти мялся и запинался, и это было столь непохоже на его обычную самоуверенность и развязность, что, несомненно, возбудило бы подозрения Аллана Мак-Олея, не будь его внимание всецело поглощено изучением лица незнакомца. Пристальный взгляд Аллана так смутил Раналда Мак-Ифа, что рука его невольно стала нащупывать рукоятку кинжала, словно он ждал нападения, как вдруг Аллан, перейдя через всю хижину, подошел к нему и подал ему руку в знак дружеского приветствия. Они уселись рядом и начали о чем-то беседовать вполголоса. Ни Ментейт, ни Ангюс Мак-Олей нисколько не были этим удивлены, ибо горцы, почитающие себя ясновидцами, составляют своего рода масонское братство и при встречах поверяют друг другу тайны своего пророческого дара.

— Скажи мне, омрачают ли видения твою душу? — спросил Аллан у своего нового знакомца.

— Омрачают, как тень, которая набегает на луну, когда она в середине неба и пророки предвещают недобрые времена.

— Пойди сюда,— сказал Аллан,— отойдем подальше, я хочу поговорить с тобой наедине, ибо я не раз слышал, что на ваших далеких островах видения бывают гораздо более явственными и яркими, нежели у нас, живущих слишком близко к саксам.

Пока они предавались своим мистическим рассуждениям, в хижину вошли два англичанина и радостно объявили Ангюсу Мак-Олею, что уже отдан приказ всем приготовиться к немедленному выступлению на запад. Сообщив эту новость, они весьма любезно приветствовали своего старого знакомого, майора Дальгетти, которого они сразу узнали, и осведомились о здоровье его скакуна Густава.

— Покорно благодарю вас, джентльмены,— отвечал майор,— Густав здоров, хотя, как и его хозяин, несколько

похудел и ребра его заметно обозначились по сравнению с тем временем, когда вы так любезно предлагали мне от него отделаться в Дарнлинварахе. Впрочем, могу вас заверить, что, прежде нежели вы совершите один или два перехода, к которым вы, по-видимому, готовитесь с большим удовольствием, вам, мои любезные рыцари, придется порастрясти некоторую долю вашего английского мясца и, по всей вероятности, оставить позади парочку-другую английских лошадок.

Оба джентльмена заявили во всеуслышание, что им совершенно безразлично, что они найдут и что оставят позади, лишь бы сдвинуться с мертвой точки и перестать блуждать взад и вперед по графствам Ангюс и Эбердин в погоне за неприятелем, который не хочет ни драться, ни отступать.

— Если поход объявлен,— сказал Ангюс Мак-Олей,— то мне пора отдать приказания своим людям, а также позаботиться об Эннот Лайл, ибо путь во владения Мак-Каллумора будет куда более долгим и опасным, нежели предполагают эти сливки камберлендского рыцарства.

С этими словами он вышел из хижины.

— Эннот Лайл? — удивился Дальгетти.— Разве она участвует в походе?

— Еще бы,— отвечал сэр Джайлс Масгрейв, переводя взгляд с лорда Ментейта на Аллана Мак-Олея,— мы не можем ни тронуться в путь, ни дать сражения, ни наступать, ни отступать без мановения руки нашей царицы арф.

— Царицы мечей и щитов,— сказал бы я,— возразил другой англичанин,— ибо сама леди Монтроз не могла бы пожелать бóльших почестей: при ней состоят четыре девушки и столько же голоногих пажей, готовых к ее услугам.

— А как вы думали? — промолвил Аллан, внезапно обернувшись и прервав разговор с горцем.— Сами вы разве покинули бы невинную девушку, свою подругу детства, на произвол судьбы, под угрозой погибнуть от голода или умереть насильственной смертью? Ныне на доме моих предков не осталось крыши; наши посевы уничтожены, наш скот угнан; и вы должны благодарить господа бога, что, прибыв из менее суровой и более цивилизованной страны, в этой жестокой войне подвергаете опасности лишь свою собственную жизнь, не беспокоясь о том, что враг выместит свою злобу на беззащитных семьях, оставленных дома.

Англичане добродушно согласились с тем, что в этом отношении все преимущества на их стороне, после чего все разошлись и вернулись к своим делам и обязанностям.

Аллан несколько задержался, продолжая расспрашивать неохотно отвечавшего ему Раналда по поводу одного обстоятельства в своих видениях, которое его крайне удивляло.

— Неоднократно,— говорил Аллан,— посещало меня видение горца, который вонзал свой нож в грудь Ментейта, того молодого дворянина в расшитом золотом алом плаще, который только что вышел отсюда. Но как я ни старался, хотя всматривался до тех пор, пока мои глаза чуть не вылезали из орбит, я не мог разглядеть лицо этого горца или хотя бы догадаться, кто бы это мог быть; а между тем его облик казался мне хорошо знакомым.

— А не пробовал ли ты перевернуть свой плед,— спросил Раналд,— как это делают опытные ясновидцы в таких случаях?

— Пробовал,— отвечал Аллан глухим голосом и содрогаясь, словно от душевной боли.

— И в каком обличье являлся призрак? — спросил Раналд.

— Тоже с перевернутым пледом,— отвечал Аллан так же глухо и встревоженно.

— Так знай же,— молвил Раналд,— что твоя собственная рука, и ничья другая, совершит деяние, чья тень привиделась тебе.

— Сто раз эта мысль смущала меня,— отвечал Аллан,— но этого не может быть! Если бы даже я сам прочел это пророчество в книге судеб, я сказал бы все то же: этого не может быть! Мы связаны кровными узами и еще во сто крат более тесными узами: мы стояли плечом к плечу в сражении, и наши мечи обагрялись кровью общего врага... Нет, этого не может быть, чтобы я поднял руку на него!

— И все же это будет,— сказал Раналд,— хотя причина твоего деяния скрыта во мраке грядущего. Ты говоришь,— продолжал он, с трудом подавляя собственное волнение,— что, подобно охотничьим псам, вы плечом к плечу преследовали добычу... А разве ты никогда не видел, как псы кидаются друг на друга и грызутся над трупом поверженного оленя!

— Это ложь! — воскликнул Аллан, вскакивая с места.— Это не предзнаменование неизбежной судьбы, а искушение злого духа, восставшего из адской бездны!

С этими словами он поспешно вышел из хижины.

— Поделом тебе! — сказал Сын Тумана, торжествующе глядя ему вслед.— Зазубренная стрела вошла тебе под ребро! Души убиенных, возвеселитесь! Ибо недалеко то время, когда мечи ваших убийц обагрятся их же собственной кровью!

На следующее утро все было готово, и Монтроз быстрым

маршем повел войска вверх по течению реки Тэй. Его отряды беспорядочным потоком разлились по живописной долине озера Тэй, у истоков реки того же названия. Местность эта была населена Кэмбелами, но не вассалами Аргайла, а потомками другой ветви родственного дома Гленорхи, ныне известной под именем Брэдалбейнов. Захваченные врасплох, они не могли оказать никакого сопротивления, и им пришлось быть безучастными свидетелями того, как угоняли их стада. Продвигаясь таким образом в направлении озера Лох-Дохарт и разоряя все на своем пути, Монтроз дошел до того места, откуда начинался самый трудный этап его похода.

Для современной армии, даже при наличии хороших военных дорог, которые сейчас ведут через Тейндрам к истокам озера Лох-Оуи, переход по обширным горным пустыням был бы делом весьма затруднительным. Но в те времена, и еще долгое время спустя, в этих местах вообще не было ни тропок, ни дорог, и, в довершение всего, горы были уже покрыты снегом. Величественное зрелище являли собой эти горные массивы, уступами громоздившиеся друг на друга; первые ряды их сверкали ослепительной белизной, тогда как на более отдаленных вершинах лежал розоватый отблеск заходящего зимнего солнца. Самая высокая вершина, Бен-Круахан, словно твердыня горного духа, высилась над цепью гор, и ее сверкающий белизной конус был виден на много миль вокруг.

Солдаты Монтроза не принадлежали к числу людей, которых могла бы устрашить величественная и грозная картина, развернувшаяся перед ними. Многие из них принадлежали к той древней породе горцев, которые не только охотно улеглись бы спать на снегу, но сочли бы излишней роскошью подложить себе под голову ком снега вместо подушки. Кровавая месть и богатая добыча ожидали их по ту сторону снеговых гор, и их не пугали никакие трудности перехода. Кроме того, Монтроз не давал им пасть духом. Он приказал волынщикам идти в авангарде и играть старинный шотландский пиброх под названием «Hoggil nam bo» (что означает: «По снежным сугробам мы идем за добычей...»), пронзительные звуки которого так часто устрашали жителей долины Леннокс[1]. Войска продвигались с быстротой, присущей горцам, и вскоре углубились в опасный проход, через который Раналд взялся их провести; старик шел впереди войска с небольшим отрядом разведчиков.

---

[1] Военный марш Мак-Фарленов, воинственного и хищного клана, расселенного по западным берегам озера Лох-Ломонд.

Силы человека кажутся особенно ничтожными, когда они противостоят величию грозных стихийных сил. Победоносная армия Монтроза, наводившая ужас на всю Шотландию, теперь, пробиваясь через этот страшный горный проход, казалась ничтожной горсточкой скитальцев, которых вот-вот поглотит разверстая пасть ущелья, готовая сомкнуться за ними. Сам Монтроз уже начинал было раскаиваться в своей дерзкой затее, когда, взглянув вниз с высоты первой достигнутой им вершины, он увидел свою разбросанную по склонам маленькую армию. Трудность продвижения вперед была столь велика, что линия войска сильно растягивалась и промежутки между авангардом, центром и арьергардом становились все больше,— это было и неудобно и опасно. Монтроз с беспокойством вглядывался в каждый выступ скалы, опасаясь, что за ним притаился неприятель, готовый защищаться, и впоследствии он неоднократно повторял, что если бы Страт-Филланский перевал был защищен сотней-другой мужественных людей, то это не только приостановило бы его наступление, но вся его армия подверглась бы опасности быть уничтоженной. Однако беззаботность, погубившая не одну сильную страну и надежную крепость, предала и на сей раз владения Аргайла в руки его врагов. Вторгшемуся неприятелю приходилось считаться на своем пути только с естественными препятствиями и со снегопадами, которые, на его счастье, не были слишком обильными. Как только армия Монтроза достигла вершины горного хребта, отделяющего Аргайлшир от Брэдалбейнского округа, она ринулась вниз и напала на открывшиеся перед нею долы с яростью, не оставляющей сомнений в том, какие намерения побудили горцев совершить этот трудный и чреватый опасностями поход.

Монтроз разделил свою армию на три отряда, дабы захватить большее пространство и посеять бóльшую панику: одним из отрядов командовал предводитель клана Раналд, второй был поручен командованию Колкитто, а третий остался под начальством самого Монтроза. Затем он проник во владения Аргайла с трех сторон. Никакого сопротивления оказано не было. Первые вести о вражеском нашествии принесли пастухи, бежавшие с горных пастбищ, где были застигнуты врасплох; жители не выступили на защиту своих владений, они были рассеяны, обезоружены, убиты неприятелем. Майор Дальгетти, посланный вперед, на приступ Инверэри, с тем небольшим отрядом конницы, которым располагало войско, действовал настолько успешно, что чуть не захватил самого Аргайла, как он выражался,

inter pocula [1], и только стремительное бегство на галере спасло маркиза от смерти или позорного плена. Но бедствия, которых избежал Аргайл, обрушились всею тяжестью на его клан и на его владения. Опустошение, произведенное Монтрозом в этом злосчастном краю, хоть и вполне отвечало духу времени и обычаям страны, однако справедливо отмечается историками как темное пятно на деяниях и личности Монтроза.

Между тем Аргайл явился в Эдинбург и подал жалобу парламенту. Правительство немедленно собрало значительную армию под командованием генерала Бэйли, способного и надежного сторонника парламента, разделившего свои полномочия с прославленным сэром Джоном Урри, наемным воином, как и Дальгетти, который уже дважды за время гражданской войны успел перейти со стороны на сторону и которому суждено было до ее окончания переметнуться еще и в третий раз. Между тем Аргайл, пылая негодованием, приступил к набору своих собственных многочисленных войск, чтобы отплатить заклятому врагу. Его главный штаб находился в Данбартоне, где вскоре собрался большой отряд, состоявший преимущественно из его родичей, подчиненных и слуг. Соединившись с Бэйли и Урри, подоспевшими туда же во главе весьма значительных регулярных сил, Аргайл приготовился к походу на Аргайлшир, намереваясь жестоко покарать дерзкого захватчика его наследственных владений.

Но в то время как эти две грозные армии соединились для совместного наступления, Монтроз вынужден был покинуть разоренный им край, ибо узнал о приближении третьей армии, созданной на севере под командованием графа Сифорта, который после некоторых колебаний стал на сторону парламента и с помощью испытанных воинов Инверэрского гарнизона, собрав большое войско, угрожал теперь Монтрозу из Инвернесшира. Отрезанный в разоренном и враждебно настроенном краю, теснимый со всех сторон превосходящими силами наступающего неприятеля, Монтроз очутился в трудном положении, и гибель его казалась неминуемой. Но именно при этих обстоятельствах деятельная и решительная натура великого маркиза проявилась во всем своем блеске, вызвав восторг и ликование его друзей и ужас и изумление его врагов. Словно по волшебству, Монтроз собрал свое рассеянное по всему графству войско, занятое грабежом и разбоем. И едва лишь оно было собрано, как Аргайл и его союзники — правительственные генералы — получили све-

[1] За стаканом вина *(лат.)*.

**«Легенда о Монтрозе»**

дения, что роялисты, внезапно покинув пределы Аргайлшира, отступили на север и ушли в безлюдные и непроходимые Лохэберские горы.

Военачальники, сражавшиеся против Монтроза, тотчас же поняли, что план его заключается в том, чтобы дать сражение Сифорту и по возможности уничтожить его войско прежде, чем они успеют подойти к нему на выручку. Это вызвало соответствующие изменения в их стратегических планах. Предоставив Сифорту самому разделываться с Монтрозом, Урри и Бэйли вновь отделили свои войска от ополчения Аргайла; имея под своей командой преимущественно конницу и части южношотландской армии, они двинулись вдоль южного склона Грэмпиенского горного хребта к востоку, в графство Ангюс, с намерением пробраться оттуда в Эбердиншир, наперерез Монтрозу, в случае если он сделает попытку ускользнуть в этом направлении.

Аргайл со своим кланом и прочими отрядами решил идти следом за Монтрозом, дабы Монтроз, с кем бы ему ни пришлось сражаться — с Сифортом или Бэйли и Урри,— оказался между двух огней благодаря этой третьей армии, которая на безопасном расстоянии станет угрожать ему с тыла.

С этой целью Аргайл снова двинулся в сторону Инверэри, на каждом шагу убеждаясь в необычайной жестокости, с какой враждебные ему кланы расправлялись с его людьми и разоряли его владения. И каковы бы ни были благородные чувства горцев,— а такие чувства у них были,— милосердия к побежденным они не знали. Но именно благодаря этому безжалостному опустошению страны войско пополнялось новыми сторонниками. Среди горцев и по сию пору существует поговорка: «Чей дом сожжен — тот должен стать солдатом», и сотни оставшихся без крова жителей этих злополучных гор и долин не видели теперь иного выхода, как обрушить на других все бедствия, которые им самим пришлось претерпеть, и иного счастья в будущем — кроме сладости мщения.

Таким образом, войска Аргайла пополнялись благодаря тем самым обстоятельствам, которые послужили к разорению его страны, и вскоре Аргайл очутился во главе трех тысяч храбрых и энергичных солдат под началом дворян из его собственного рода, славившихся своей доблестью. Его ближайшими помощниками были сэр Дункан Кэмбел Арденвор и сэр Дункан Кэмбел Охенбрэк [1] — опытный и закаленный в боях воин, которого

[1] Лицо историческое.

он нарочно для этого отозвал из Ирландии, где в ту пору шла война. Трезвый ум самого Аргайла, однако, умерял воинственный пыл его более отважных соратников, и было решено, несмотря на усиление армии, придерживаться прежнего плана действия, а именно: осторожно преследовать Монтроза, куда бы он ни направился, избегая столкновений, пока не представится удобный случай напасть на него с тыла, в то время как он будет с фронта отбиваться от другого врага.

## ГЛАВА XVIII

Песнь походная Доналда Черного,
Песнь походная Черного Доналда,
Чу! Волынки! Развернуто знамя
На свиданье друзей в Инверлохи [1].

Военная дорога, соединяющая цепь укреплений и идущая в направлении Каледонского канала, в настоящее время открыла доступ в горную долину, вернее — глубокую расселину, пересекающую почти весь остров; некогда эта расселина, несомненно, представляла собой морской залив, и до сего времени в ней сохранилась система озер, посредством которых современная техника соединила Северное море с Атлантическим океаном. Дороги и тропинки, по которым местные жители обычно пробирались через эту обширную горную долину, зимой 1645/46 года находились в том же состоянии, в каком их впоследствии застал некий ирландский военный инженер, которому было предложено преобразовать их в удобные военные дороги. Панегирик ему начинается и, насколько мне помнится, заканчивается следующим двустишием:

Взглянуть бы вам, что было здесь до Уэда.
Дороги эти — рук его победа [2].

Но как ни были плохи эти дороги, Монтроз избегал даже их и вел свою армию, точно стадо диких оленей, с горы на гору, из чащи в чащу, так что врагу невозможно было выследить его передвижения. В то же время сам Монтроз имел точнейшие сведения о неприятеле — благодаря дружественно расположенным к нему кланам Камеронов и Мак-Донелов, через горные владения которых следовала его армия. Был отдан строжайший

[1] Перевод Т. Казмичевой.
[2] Перевод И. Миримского.

приказ следить за передвижениями войск Аргайла, и все сведения о его приближении должны были немедленно сообщаться самому главнокомандующему.

Была лунная ночь, и Монтроз, в полном изнеможении после дневного перехода, лег спать в жалкой лачуге, служившей ему палаткой. Он проспал не более двух часов, когда кто-то дотронулся до его плеча. Открыв глаза, он по статной фигуре и глухому голосу сразу узнал вождя клана Камеронов.

— У меня есть новости для вас,— проговорил вошедший,— они заслуживают того, чтобы вы встали и выслушали их.

— Иных нельзя и ожидать от Мак-Илду,— отвечал Монтроз, называя вождя его родовым именем.— Хорошие вести или дурные?

— Решайте сами,— сказал Мак-Илду.

— А достоверны ли они? — спросил Монтроз.

— Да,— отвечал Мак-Илду,— иначе их сообщил бы вам кто-нибудь другой... Так знайте же: мне наскучило сопровождать этого злосчастного Дальгетти с его горсточкой конницы, которая задерживает меня на целые часы и заставляет плестись со скоростью хромого барсука,— и я, захватив с собой шестерых своих людей, ушел за четыре мили вперед, в направлении Инверлохи; тут мне повстречался Ян Гленрой, который ходил в разведку. Аргайл идет на Инверлохи во главе трехтысячного войска отборных солдат под начальством самых доблестных Сынов Диармида. Вот мои вести — они достоверны. Добрые это вести или дурные — решайте сами.

— Разумеется, добрые,— живо и весело отвечал Монтроз,— голос Мак-Илду всегда приятен для слуха Монтроза, и особенно приятен, когда предрекает хорошую схватку. Сколько нас числом?

Он приказал подать огня и без труда удостоверился в том, что большая часть его войска, как обычно, разошлась по домам, чтобы припрятать свою добычу, и при нем осталось всего каких-нибудь тысяча двести — тысяча четыреста человек.

— Немногим больше одной трети армии Аргайла,— сказал Монтроз, помолчав,— и притом горцы против горцев! С божьей помощью и во славу короля я бы, не колеблясь, дал сражение, будь у меня хоть один против двух.

— Тогда отбросьте колебания,— сказал Камерон,— ибо когда ваши трубы протрубят сбор к нападению на Мак-Каллумора, ни один человек в наших ущельях не останется глух к этому призыву. Гленгарри, Киппох, я сам — все мы готовы

огнем и мечом поразить того негодяя, который посмел бы под любым предлогом отстать от нас. Завтра или послезавтра настанет день великой битвы, и каков бы ни был исход, всякий, кто носит имя Мак-Донелов или Камеронов, будет принимать в ней участие.

— Хорошо сказано, мой благородный друг,— промолвил Монтроз, пожимая ему руку.— И я был бы просто трусом, если бы, имея таких союзников, посмел еще сомневаться в успехе! Мы повернем обратно и пойдем навстречу Мак-Каллумору, который преследует нас по пятам, как ворон, надеясь расклевать остатки нашей армии, если более храбрый враг сумеет одолеть ее! Велите созвать всех вождей и начальников, а вы, первый принесший нам весть о столь радостном событии,— ибо оно будет таковым! — вы, Мак-Илду, укажете нам лучшую и наикратчайшую дорогу.

— С охотой,— отвечал Мак-Илду.— Если я указал вам путь, по которому вы могли отступать в этой пустыне, то теперь я тем охотнее научу вас, как пробиться навстречу врагу!

Началась всеобщая суматоха, и по всему лагерю вожди кланов торопливо подымались со своих жестких постелей, на которых искали хоть краткого отдыха.

— Вот уж не думал,— сказал майор Дальгетти, поднятый с ложа, состоявшего из охапки вереска,— что так трудно расставаться с постелью, ничуть не менее жесткой, нежели веник, которым подметают конюшню. Но, конечно, имея в своей армии всего лишь одного-единственного человека, по-настоящему сведущего в военном деле, его светлость маркиз волей-неволей должен возлагать на меня тяжелые обязанности.

Рассуждая таким образом, он явился на военный совет, где Монтроз обычно выслушивал майора довольно внимательно, несмотря на его многословие и педантизм,— отчасти потому, что Дальгетти и в самом деле обладал хорошим знанием военного дела и большим опытом, а отчасти потому, что это избавляло Монтроза от необходимости всецело присоединяться к мнениям горных вождей и давало ему лишние основания оспаривать эти мнения, когда они противоречили его собственным взглядам. Узнав, о чем идет речь, Дальгетти радостно приветствовал предложение повернуть навстречу Аргайлу; он сравнил этот план с отважным решением великого Густава-Адольфа, когда тот напал на герцога Баварского и дал возможность своим войскам поживиться в этой плодородной стране, несмотря на то что с севера ему угрожала огромная армия Валленштейна, набранная в Богемии.

Предводители Гленгарри, Киппох и Лохил, чьи кланы, известные своей храбростью и военной доблестью, жили по соседству с предполагаемым театром военных действий, послали огненный крест своим вассалам, призывая каждого, кто мог владеть оружием, явиться к наместнику короля и стать под знамена своих вождей в походе на Инверлохи. Приказ был дан весьма торжественно и выполнен быстро и охотно. Воинственный дух горцев, их преданность королю,— ибо в их глазах король был вождем, которому изменили члены его клана,— а также их слепое повиновение воле предводителей привлекли в войска Монтроза не только всех жителей в округе, которые способны были носить оружие, но даже некоторых из тех, кто по своему возрасту мог бы уже считаться неспособным владеть им. В первый день похода, когда армия двигалась прямиком через горы Лохэбера, о чем неприятель даже и не подозревал, силы Монтроза продолжали расти; из каждого ущелья выходили люди и вливались в ряды войска, становясь под знамена своих вождей. Эти пополнения поднимали дух армии, ибо вскоре оказалось, что численность ее увеличилась более чем на одну четверть, как и предсказывал доблестный вождь клана Камеронов.

Тем временем Аргайл во главе своего храброго войска продвинулся вдоль южного берега озера Лох-Ил и дошел до реки Лохи, соединяющей это озеро с озером Лох-Лохи. Старинный замок Инверлохи, некогда, по преданию, королевская крепость, все еще представлял собой надежное укрытие для главной квартиры, а в окрестной долине, где река Лохи вливается в озеро Лох-Ил, было достаточно места для того, чтобы армия Аргайла могла стать здесь лагерем. На баржах был подвезен провиант, так что во всех отношениях армия находилась в самых выгодных условиях, каких можно было желать и ожидать. Аргайл, совещаясь с Охенбрэком и Арденвором, высказал полную уверенность в том, что Монтроз на краю гибели, что войско его будет таять по мере продвижения на восток по трудным дорогам; что, если он двинется на запад, он наткнется на Урри и Бэйли; если на север, то попадет в лапы Сифорта; а если он вздумает где-нибудь остановиться, то будет атакован всеми тремя армиями сразу.

— Меня отнюдь не радует, милорд, что Джеймс Грэм будет разбит без нашего участия,— сказал Охенбрэк.— Он оставил в Аргайлшире такую память по себе, что я сгораю от нетерпения рассчитаться с ним за каждую каплю пролитой им крови. Я не люблю платить такие долги чужими руками.

— Вы слишком щепетильны,— отвечал Аргайл.— Не все ли равно, от чьей руки прольется кровь Грэмов? Важно одно, чтобы перестала литься кровь Сынов Диармида. А вы как думаете, Арденвор?

— Я полагаю, милорд,— отвечал сэр Дункан,— что желание Охенбрэка скоро исполнится и он будет иметь полную возможность лично свести свои счеты с Монтрозом. До наших аванпостов дошли сведения, будто Камероны стягивают все свои силы в отрогах Бен-Невиса; по-видимому, они идут на соединение с Монтрозом, а отнюдь не собираются прикрывать его отступление.

— Они попросту замышляют какой-нибудь набег,— сказал Аргайл.— Все это козни Мак-Илду, которые он именует «преданностью королю». Они, по-видимому, рассчитывают просто напасть на наши аванпосты или помешать нашему завтрашнему переходу.

— Я выслал лазутчиков по всем направлениям,— сказал сэр Дункан,— чтобы получить самые точные сведения; мы скоро узнаем, правда ли, что они сосредоточивают свои силы, где именно и с какими намерениями.

До позднего часа не было никаких вестей; и лишь когда взошла луна, заметная суета в лагере и вслед за тем шум в самом замке возвестили о том, что получены важные сообщения. Некоторые из лазутчиков, высланных Арденвором, возвратились, не собрав никаких сведений, кроме неясных слухов о каком-то движении во владениях Камеронов. Говорили, будто в отрогах Бен-Невиса слышатся те непонятные и зловещие звуки, которыми горцы иногда предупреждают о надвигающейся буре. Другие разведчики, чье усердие завело их дальше в глубь страны, были изловлены и убиты или уведены в плен жителями ущелий, в которые они пытались проникнуть. В конце концов, ввиду быстрого продвижения вперед армии Монтроза, его авангард наткнулся на аванпосты Аргайла, и после небольшой перестрелки из мушкетов и арбалетов обе стороны отступили к своим главным силам, чтобы сделать донесение и получить дальнейшие приказания.

Сэр Дункан Кэмбел и Охенбрэк немедленно вскочили на коней и помчались проверять аванпосты, между тем как Аргайл поддержал свою славу опытного главнокомандующего, выстроив главные силы на равнине, ибо было совершенно ясно, что атаки следует ждать в ту же ночь или не позднее утра. Монтроз с такими предосторожностями расположил свои войска в горных ущельях, что никакие попытки, предпринятые Охенбрэком и

Арденвором, не помогли им установить в точности силы противника. Однако можно было предполагать, что при любом подсчете силы Монтроза все же меньше их собственных, и они возвратились к Аргайлу, чтобы сообщить ему свои соображения; но сей вельможа отказался поверить, что Монтроз сам ведет против него войско. Это было бы чистым безумием, уверял он, на какое не способен даже Джеймс Грэм при всей своей безрассудной самонадеянности, и Аргайл не сомневался в том, что имеет против себя лишь своих исконных врагов — Гленко, Киппоха и Гленгарри; или же что Мак-Вориф с Макферсонами собрали отряд, значительно меньший по численности, нежели его собственное войско,— а следовательно, ему быстро удастся рассеять его или заставить капитулировать.

Сторонники Аргайла были настроены очень бодро и пылали жаждой мщения за разгром, которому недавно подверглась их страна; ночь прошла в тревожном ожидании и в надежде, что вместе с зарею наступит желанный час возмездия. На аванпостах обеих армий стояли недремлющие часовые, и солдаты Аргайла спали в том боевом порядке, которого должны были держаться на следующий день.

Бледные лучи занимающегося утра едва осветили вершины горных громад, когда военачальники обеих армий начали готовиться к предстоящему бою. Это было второго февраля 1646 года. Войска Аргайла были выстроены в две шеренги неподалеку от того места, где река, впадая в озеро, образует угол, и являли зрелище внушительное и грозное. Охенбрэк охотно начал бы сражение, атаковав аванпосты неприятеля, но Аргайл, придерживаясь более осторожной тактики, предпочитал принять бой, нежели наступать самому. Вскоре послышались сигналы, возвещающие о том, что им недолго придется ждать. Кэмбелы услышали доносившиеся из горных ущелий воинственные напевы различных кланов, идущих в атаку. Громко отдавался в горах боевой клич Камеронов, начинающийся зловещим обращением к волкам и воронам: «Идите ко мне, и я накормлю вас мертвечиной». Клан Гленгарри не оставался безмолвным, отчетливо звучал его воинственный призыв на языке шотландских бардов; и уже явственно можно было разобрать звуки боевых маршей других кланов, появляющихся на выступах гор, откуда они начинали спускаться в долину.

— Вот видите,— сказал Аргайл своим приближенным,— я вам говорил, что нам придется иметь дело только с нашими соседями. Джеймс Грэм не посмел показать нам свое знамя.

В это самое мгновение раздались громкие звуки труб, игравших туш, которым шотландцы, по заведенному издревле обычаю, приветствовали королевский штандарт.

— По этому сигналу вы можете судить, милорд,— промолвил сэр Кэмбел,— что тот, кто выдает себя за наместника короля, находится среди своих солдат.

— И он, по-видимому, ведет за собой конницу,— присовокупил Охенбрэк,— чего я не предполагал. Но неужели это устрашит нас, милорд, когда перед нами враг, которому мы должны отмстить за обиды?

Аргайл молчал, поглядывая на свою руку, висевшую на перевязи после неудачного падения с лошади во время последнего перехода.

— Воистину, милорд,— с жаром воскликнул Арденвор,— вы в настоящее время не можете владеть ни мечом, ни пистолетом! Вам необходимо удалиться на галеру; ваша жизнь дорога нам, ибо вы мозг нашего клана... Ваша рука, рука воина, не может сейчас быть нам полезна.

— Нет,— отвечал Аргайл, в душе которого гордость боролась с малодушием.— Да не посмеет никто сказать, что маркиз Аргайл бежал перед Монтрозом. Если я не могу сражаться, то, по крайней мере, я хочу умереть среди своих сынов.

Прочие вожди клана Кэмбелов в один голос заклинали и умоляли своего главнокомандующего предоставить на сей день командование Арденвору и Охенбрэку и наблюдать за сражением издали, находясь в безопасности. Мы не решаемся запятнать честь Аргайла, обвинив его в трусости, ибо, хотя его жизненный путь и не был отмечен особыми подвигами, он с таким достоинством и хладнокровием держался в час своей трагической смерти, что поведение его в этой битве, как и в некоторых других случаях, следует скорее приписать нерешительности, нежели недостатку мужества. История знает немало таких примеров: когда глухому, несмелому голосу сердца, нашептывающему человеку, что его жизнь еще нужна ему, вторят голоса окружающих, уверяя, что жизнь его не менее нужна и для общего блага,— даже более отважные люди, нежели Аргайл, могут поддаться искушению.

— Прошу вас, проводите его до галеры, сэр Дункан,— сказал Охенбрэк своему родичу,— долг обязывает меня позаботиться о том, чтобы его нерешительность не передалась кому-нибудь из нас.

С этими словами он устремился в ряды воинов, уговаривая, приказывая и заклиная их помнить о своей былой славе и ны-

нешнем превосходстве; помнить о мщении, которым они насладятся в случае успеха, и не забывать об участи, которая ожидает их в случае поражения; пламенными словами старался он заронить в души солдат искру того огня, который горел в его груди.

Тем временем Аргайл медленно, как бы нехотя, следовал за своим услужливым родичем, увлекавшим его на берег озера, откуда его препроводили на галеру; стоя на палубе, он — правда, без риска, зато и без славы — наблюдал за развернувшимися в долине боевыми действиями.

Несмотря на то что времени терять было нельзя, сэр Кэмбел Арденвор постоял на берегу, провожая глазами корабль, увозивший его военачальника с поля сражения. Трудно выразить словами чувства, волновавшие его в ту минуту: предводитель рода был как бы отцом всего клана, и ни один из членов его не дерзал судить своего вождя, как судил бы любого другого из смертных. К тому же Аргайл, жестокий и суровый с чужими, был щедр и милостив к своим родичам, и благородное сердце рыцаря Арденвора обливалось кровью при мысли о том, как будет истолковано поведение маркиза.

«Может быть, так оно и лучше,— мысленно произнес он, стараясь подавить волнение.— Но... из сотни его предков я не знаю ни одного, кто покинул бы поле сражения, пока реет знамя Диармидов, угрожая заклятому врагу».

Громкие крики заставили его оглянуться, и он поспешил возвратиться на свой пост на правом фланге небольшой армии Аргайла.

Отсутствие Аргайла не прошло незамеченным и для его бдительного врага, который, занимая позицию на более возвышенном месте, мог наблюдать за всем, что происходило внизу. Увидев нескольких всадников, скачущих в направлении озера, он понял, что отступающие — люди высокого звания.

— Они уводят лошадей подальше, чтобы уберечь их от опасности,— заметил Дальгетти,— как это делают все осмотрительные воины. Вон сэр Дункан Кэмбел на гнедом мерине, которого я облюбовал себе в качестве запасного коня.

— Вы ошибаетесь, майор,— возразил Монтроз с презрительной усмешкой,— они спасают своего драгоценного вождя. Немедленно дайте сигнал к атаке! Передайте приказ по рядам! Благородные вожди — Гленгарри, Киппох, Мак-Вориф,— вперед! Майор Дальгетти, скачите к Мак-Илду и скажите ему, чтобы он немедленно наступал, и возвращайтесь обратно ко мне с нашей конницей: пусть она вместе с ирландцами останется в резерве.

## ГЛАВА XIX

Как пену тысячной волны — утес, так встретил Инисфейла Лохлин.

*Оссиан* [1]

Трубы и волынки, эти громогласные глашатаи кровопролития и смерти, грянули разом, подавая сигнал к наступлению; им в ответ раздался дружный крик более двух тысяч воинов и звонкое эхо, прокатившееся по горам и долам позади них. Воины Монтроза тремя колоннами устремились вниз из темных ущелий, скрывавших их до сих пор от взора неприятеля, и с отчаянной решимостью бросились на Кэмбелов, стойко ожидавших нападения. За атакующими колоннами под начальством Колкитто шли ирландцы, составлявшие резерв. Они несли королевский штандарт; тут же был сам Монтроз; с флангов, под командой Дальгетти, шла конница, около пятидесяти всадников, каким-то чудом сохранившая относительную боеспособность.

Правую колонну роялистов вел Гленгарри, левую — Лохил, а центром командовал граф Ментейт, который предпочел сражаться в пешем строю в одежде горца, нежели оставаться в тылу в рядах конницы.

С дикой яростью, вошедшей в поговорку, горцы стремительно бросились в атаку; они стреляли из ружей и выпускали свои стрелы почти в упор по неприятелю, который мужественно выдерживал их натиск. Будучи лучше вооружены огнестрельным оружием, нежели противник, и стоя на месте,— следовательно, имея возможность вернее целиться,— сторонники Аргайла наносили своим огнем гораздо больше урона, нежели терпели сами. Убедившись в этом, роялистские кланы бросились в рукопашный бой и в двух местах смяли ряды неприятеля. В сражении с регулярными войсками это привело бы к победе; но здесь горцы шли против горцев, и род оружия, а также искусство владеть им были одинаковы с обеих сторон.

Схватка была отчаянной. Лязг сталкивающихся мечей и звон щитов под ударами секир смешивались с дикими криками горцев, которые они обычно испускают во время боя, пляски и любого состязания в силе. Многие противники были знакомы между собой и старались перещеголять друг друга либо из личной ненависти, либо из более благородного чувства — соревнования в доблести. Ни одна из сторон не уступала ни пяди, и

[1] Перевод Т. Казмичевой.

места убитых (а убитых было немало с обеих сторон) тотчас же занимали другие воины, рвавшиеся в первые ряды, навстречу опасности. Пар, точно от кипящего котла, поднимался в зимнем морозном воздухе и носился над сражающимися.

Так обстояло дело на правом фланге и в центре, без каких-либо решительных результатов, кроме множества убитых и раненых с той и другой стороны.

На правом фланге Кэмбелов рыцарь Арденвор добился некоторого преимущества благодаря своему боевому опыту и численному превосходству сил. Он обошел роялистов с фланга в тот момент, когда они ринулись в атаку, так что они очутились под перекрестным огнем с фронта и тыла и, несмотря на отчаянные усилия их начальника, пришли в замешательство. Тогда сэр Дункан отдал приказ атаковать неприятеля и, таким образом, совершенно неожиданно перешел в наступление в ту самую минуту, когда казалось, он сам должен подвергнуться нападению. Подобная перемена положения всегда вносит смятение и часто приводит к роковым последствиям. Но тут подоспели ирландцы, бывшие в резерве, и под их сильным и непрерывным огнем рыцарь Арденвор потерял свое преимущество и вынужден был удовлетвориться оборонительными действиями. Тем временем маркиз Монтроз, пользуясь прикрытием редкого березняка и дыма, поднимавшегося над полем от частых залпов ирландских мушкетов, крикнул Дальгетти, чтобы тот следовал за ним со своей конницей, и, зайдя с правого фланга или даже в тыл врага, приказал шести трубачам трубить атаку. Звуки кавалерийских труб и топот скачущей конницы произвели на правом фланге Аргайла такое смятение, какого не могли бы произвести никакие иные звуки. В те времена горцы испытывали, подобно перуанцам, суеверный страх перед конницей и имели довольно своеобразное представление о том, каким способом обучают коней военному ремеслу. Поэтому, как только ряды их оказались внезапно смятыми и среди них появились существа, внушавшие им смертельный страх, всеобщая паника охватила горцев, несмотря на все попытки сэра Дункана образумить их. Поистине достаточно было одного майора Дальгетти, закованного в непроницаемые доспехи и поднимавшего Густава на дыбы, что делало более увесистым каждый его удар, чтобы новизна этого зрелища устрашила тех, кто никогда не видел ничего похожего на верхового коня, если не считать низкорослой лошадки, ковыляющей под тяжестью горца, вдвое выше ее самой.

Отброшенные было роялисты вновь перешли в наступление; ирландцы, сохраняя строй, поддерживали непрерывный и со-

крушительный огонь. Сторонники Аргайла не устояли: смешав ряды, они обратились в бегство, большая часть бежала по направлению к озеру, остальные бросились врассыпную. Поражение правого фланга, само по себе решающее, оказалось непоправимым из-за смерти Охенбрэка, который пал, пытаясь восстановить порядок.

Рыцарь Арденвор, собрав отряд в две-три сотни человек, преимущественно знатных дворян, славившихся своей доблестью (считалось, что в роду Кэмбелов больше знатных дворян, нежели в любом другом из горных кланов), с беспримерным мужеством пытался прикрыть беспорядочное отступление своих солдат. Но это только привело к гибели их же самих, ибо противник вновь и вновь нападал со свежими силами, разъединяя их и принуждая отбиваться поодиночке, пока наконец им больше ничего не оставалось, как дорого продать свою жизнь, оказывая врагу сопротивление до последнего дыхания.

— Почетный плен, сэр Дункан! — воскликнул Дальгетти, увидев своего недавнего радушного хозяина, с двумя родичами отбивавшегося от нескольких теснивших их горцев. Дабы подкрепить свое предложение, майор поскакал к нему с поднятым палашом. Вместо ответа сэр Дункан выстрелил в него в упор из пистолета, но пуля, не задев Дальгетти, попала прямо в сердце благородного Густава, и тот, мертвый, рухнул на землю. Раналд Мак-Иф, бывший среди горцев, теснивших сэра Дункана, воспользовался этим случаем, чтобы сразить старого рыцаря своим мечом в то мгновение, когда тот отвернулся, чтобы выстрелить в майора.

Но тут появился Аллан Мак-Олей. Кроме Раналда, все горцы, сражавшиеся в этой части поля, были из отряда его старшего брата.

— Мерзавцы! — закричал Аллан.— Кто из вас посмел это сделать, когда я строго-настрого приказал захватить рыцаря Арденвора живым?

Полдюжины ловких рук, спешивших обобрать поверженного рыцаря, оружие и роскошная одежда которого вполне соответствовали его высокому званию, мгновенно прекратили свое занятие, и в то же время три голоса стали наперебой оправдываться, сваливая всю вину на «островитянина», как они называли Раналда Мак-Ифа.

— Проклятый пес! — крикнул Аллан, в порыве гнева забывая о том, что Раналд его собрат по ясновидению.— Ступай вперед и не смей его больше трогать, если не хочешь погибнуть от моей руки!

Теперь они были почти наедине, ибо угрозы Аллана Мак-Олея разогнали людей его клана, а все прочие устремились к озеру, сея ужас и смятение на своем пути и оставляя позади только убитых и умирающих. Искушение было слишком велико для мстительной натуры Мак-Ифа.

— Моя смерть от твоей руки, по локоть обагренной кровью моих родичей,— произнес он, отвечая на угрозу Аллана не менее угрожающим тоном,— не более вероятна, чем твоя гибель от моей руки! — И в ту же минуту он нанес Аллану удар столь молниеносно, что тот едва успел подставить свой щит.

— Негодяй! — воскликнул Аллан.— Что это значит?

— Я, Раналд, Сын Тумана! — отвечал мнимый островитянин, нанося Аллану второй удар, и между ними завязалась отчаянная борьба. Но, видимо, Аллану на роду было написано карать сынов этого дикого племени в отмщение за страдания своей матери, ибо исход этой схватки был такой же, как и всех предыдущих. После нескольких яростных ударов с той и другой стороны Раналд Мак-Иф упал, тяжело раненный в голову, и Мак-Олей, наступив ему на грудь ногой, намеревался пронзить его палашом, как вдруг кто-то сильным толчком отвел клинок смертоносного оружия. Это сделал не кто иной, как Дальгетти, который, будучи оглушен падением и придавлен мертвым телом своего коня, только сейчас высвободил из-под него свои ноги и окончательно пришел в себя.

— Уберите прочь оружие,— сказал он Аллану,— и не трогайте этого человека, ибо он состоит на службе у его светлости маркиза Монтроза, и здесь я отвечаю за его безопасность! И должен вам сказать, что, по военным законам, ни один честный воин не имеет права во время сражения сводить свои личные счеты,— flagrante bello, multo majus flagrante proelio [1].

— Глупец! — сказал Аллан.— Поди прочь и не дерзай становиться между тигром и его добычей!

Но, вместо того чтобы повиноваться, Дальгетти перешагнул через простертого на земле Мак-Ифа и дал понять Аллану, что если тот называет себя тигром, то ему придется иметь дело со львом. Этого было вполне достаточно, чтобы вся ярость воинственного ясновидца обрушилась на того, кто помешал ему утолить свою жажду мщения, и между обоими противниками завязалась жестокая драка.

Схватка между Алланом и Раналдом прошла незамеченной, ибо личность последнего была мало известна среди солдат Мон-

[1] В разгар войны, а тем более в разгар сражения *(лат.)*.

троза, но поединок между Алланом и Дальгетти, которых все хорошо знали, привлек всеобщее внимание и, к счастью, и самого Монтроза, который прибыл сюда, чтобы собрать свою конницу и продолжать преследование неприятеля на берегах озера Лох-Ил. Понимая, к каким роковым последствиям могут привести размолвки среди воинов его небольшой армии, он поскакал к месту происшествия и, увидев поверженного Мак-Ифа, над которым стоял Дальгетти, пытаясь защитить его от Аллана, Монтроз мгновенно догадался о причине ссоры и тотчас нашел средство прекратить ее.

— Стыдитесь! — сказал он.— Виданное ли дело, чтобы благородные воины ссорились между собой на поле победоносного сражения! Да вы с ума сошли! Или, может, опьянели от славы, которую вы оба стяжали сегодня?

— Это не моя вина, ваша светлость,— отвечал Дальгетти.— Во всех европейских армиях я был известен как bonus socius [1], bon camarado, но тот, кто тронет человека, за жизнь которого я отвечаю...

— А тот,— заговорил Аллан, перебивая майора,— кто дерзнет помешать моему справедливому мщению...

— Стыдитесь, джентльмены! — повторил Монтроз.— У меня для вас обоих найдутся дела поважнее, нежели любая личная ссора, которую вы можете разрешить между собой в другое, более подходящее время. Майор Дальгетти, извольте преклонить колено!

— Колено? — воскликнул Дальгетти.— Я еще никогда не слышал такой команды, разве только с церковной кафедры. Впрочем, в шведских войсках первые ряды действительно становятся на одно колено, но лишь тогда, когда полк бывает построен в шесть рядов.

— Тем не менее,— повторил Монтроз,— именем короля Карла и его наместника приказываю вам преклонить колено.

Когда Дальгетти весьма неохотно повиновался, Монтроз слегка ударил его по плечу шпагой и торжественно произнес:

— В награду за доблестную службу в нынешней битве именем и властью государя нашего короля Карла посвящаю тебя в рыцари; будь храбр, предан и удачлив! А теперь, сэр Дугалд Дальгетти, за дело! Соберите ваших всадников, сколько можете, и преследуйте неприятеля, который бежит вдоль берега озера.

---

[1] Верный союзник *(лат.)*.

Не рассеивайте свои силы и не забирайтесь слишком далеко, но не давайте врагам соединиться, что вам будет не слишком трудно. На коня, сэр Дугалд, и исполняйте свой долг!

— Но где же я возьму коня? — промолвил новопосвященный рыцарь.—Бедный мой Густав почил на ложе славы, как и его великий тезка! А я рыцарь, или Ritter[1], как говорят немцы, но ездить мне не на чем.

— Этому горю можно помочь,— сказал Монтроз, спешиваясь.— Дарю вам своего коня, который считается неплохим; только прошу вас приступить скорее к делу, которое вы выполняете столь искусно.

Рассыпаясь в благодарностях, сэр Дугалд вскочил на коня, столь великодушно ему предоставленного, и, попросив его светлость не забывать, что он оставляет на его попечение Раналда Мак-Ифа, немедленно приступил к исполнению возложенного на него поручения с величайшим пылом и усердием.

— А вы, Аллан Мак-Олей,— сказал Монтроз, обращаясь к горцу, который, опираясь на свой палаш, воткнутый в землю, с презрительной усмешкой мрачно наблюдал за посвящением в рыцари своего противника,— вы, стоящий выше обыкновенных людей, движимых жаждой наживы, грабежа и личных наград, вы, чьи глубокие знания сделали вас незаменимым нашим советником,— вас ли я застаю в драке с таким человеком, как Дальгетти, ради того чтобы погасить последние проблески жизни в столь жалком противнике, лежащем во прахе перед вами? Придите в себя, мой друг! У меня есть другое дело для вас. Эта победа, если мы сумеем закрепить ее, привлечет Сифорта на нашу сторону. Не измена королю, а лишь неверие в успех нашего дела побудило его поднять оружие против нас. Это оружие после нашей победы может быть привлечено на нашу сторону. Я намерен прямо отсюда, с поля сражения, отправить к нему моего доблестного друга, полковника Гея, но ему должен сопутствовать кто-нибудь из дворян Верхней Шотландии, равный Сифорту по знатности рода и который своим высоким положением и личными качествами может внушить уважение к себе. Вы не только самое подходящее лицо для этого весьма важного поручения, но так как вы не занимаете должности командира в наших войсках, то мне легче отпустить вас, нежели одного из начальников отряда. Вам известны все проходы и ущелья в горах, так же как нравы и обычаи каждого клана.

---

[1] Немецкое слово Ritter, соответствующее латинскому eques, первоначально означало просто «всадник».

Идите же на правый фланг к Гею, он уже получил от меня указания и ждет вас. Вы найдете его среди людей Гленморрисона. Будьте ему проводником, переводчиком и помощником.

Аллан Мак-Олей устремил на маркиза мрачный, испытующий взор, словно желая убедиться в том, что за этим внезапным поручением не кроется какой-то тайный смысл. Но Монтроз, превосходно умевший читать чужие мысли, так же искусно скрывал свои собственные. Он считал необходимым ради спокойствия в лагере удалить Аллана на несколько дней, дабы — как того требовала честь маркиза — оградить от опасности людей, служивших ему проводниками; что касается до ссоры Аллана с Дальгетти, то Монтроз не сомневался, что ее легко будет уладить. Аллан беспрекословно удалился и лишь просил маркиза позаботиться о сэре Дункане Кэмбеле; Монтроз тотчас же приказал перенести тяжелораненого рыцаря в безопасное место. Он также распорядился относительно Мак-Ифа и велел перенести его в отряд ирландцев и позаботиться о нем, но не допускать к нему ни одного горца из какого бы то ни было клана.

Затем маркиз вскочил на коня, подведенного ему одним из слуг, и поехал осматривать поле битвы. Победа оказалась гораздо более полной, чем он мог ожидать, и превзошла его самые пылкие надежды. Добрая половина трехтысячной храброй армии Аргайла полегла на поле сражения или была рассеяна. Многих отступавших оттеснили в ту часть равнины, где река образует озеро, и оттуда не было пути ни для отступления, ни для бегства: несколько сот человек, загнанных в озеро, утонули. Из уцелевших одни спаслись по реке вплавь, другие бежали вдоль берега озера, покинув поле брани в самом начале сражения. Немногие укрылись в древней крепости Инверлохи, но, не имея ни провианта, ни надежды на помощь, они решили сдаться, поставив условием, что им разрешат мирно разойтись по домам. Их оружие, знамена и обоз — все досталось победителям.

Такого страшного разгрома еще не знали Сыны Диармида,— так в Верхней Шотландии именовали Кэмбелов,— род их всегда славился тем, что был столь же удачлив, сколь и предусмотрителен в своих замыслах и храбр при выполнении их. В числе погибших насчитывалось не менее пятисот дунье-вассалов — то есть дворян, хотя и незнатных, но происходящих из уважаемых и хорошо известных, семей. Однако в глазах большинства членов клана даже эти страшные потери бледнели перед позором, которым покрыл их честное имя глава клана, чья галера бесславно снялась с якоря, как только поражение стало неминуемым, и на всех парусах и веслах унеслась вниз по озеру.

## ГЛАВА XX

Был в ущелье грохот битвы
Еле слышен нам вдали:
Впереди — война и ужас,
Кровь и смерть за ними шли.

*Пенроуз*[1]

Блестящая победа Монтроза над его могущественным соперником досталась ему не без потерь, хотя они и составляли всего лишь десятую часть того урона, который понес враг. Мужество и стойкость Кэмбелов стоили жизни многим храбрым воинам противника: еще больше было раненых, и среди них — отважный граф Ментейт, командовавший центром. Впрочем, рана его была легкая и не помешала ему благородно передать своему главнокомандующему знамя Аргайла, которое он выхватил из рук знаменосца, одолев его в единоборстве. Монтроз горячо любил своего юного сородича, в чьей душе сохранились проблески великодушного, бескорыстного рыцарства, отличавшего героев давно минувших дней и столь непохожего на мелочную расчетливость и себялюбие наемников, из которых состояли армии большинства европейских стран; в Шотландии, поставлявшей наемных солдат почти всем государствам мира, этот торгашеский дух был особенно силен.

Монтроз, по натуре не чуждый рыцарским чувствам, хотя жизненный опыт научил его пользоваться для своих целей слабостями своих ближних, не стал расточать перед Ментейтом ни похвал, ни обещаний, а, крепко прижав его к груди, воскликнул: «Мой доблестный брат!» Этот порыв искренного восхищения взволновал Ментейта более глубоко и радостно, чем если бы его заслуги были отмечены в военном рапорте, посланном самому королю.

— Сейчас, по-видимому, я более ничем не могу быть вам полезен, милорд,— сказал Ментейт.— Позвольте мне исполнить долг человеколюбия. Я слышал, что рыцарь Арденвор у нас в плену и тяжело ранен.

— И поделом ему,— заявил подошедший сэр Дугалд Дальгетти с важностью, приобретенной вместе с новым званием.— Не он ли пристрелил моего доброго коня в ту минуту, когда я предлагал ему почетный плен! А такой поступок, должен сказать, скорее изобличает в нем невежественного горца, дикаря,

---

[1] Перевод Б. Томашевского.

у которого не хватило ума возвести форт для защиты своего допотопного замка, нежели почтенного воина знатного рода.

— Так, значит, мы должны выразить вам соболезнование по поводу гибели славного Густава? — спросил Ментейт.

— Вот именно, милорд,— отвечал Дальгетти с глубоким вздохом.— Diem clausit supremum [1], как говорилось у нас в эбердинском училище. Однако уж лучше такой конец, нежели завязнуть в трясине или провалиться в снежный сугроб, как какое-нибудь вьючное животное; такая участь, несомненно, ожидала его, если бы зимняя кампания затянулась. Но его светлости было угодно (здесь он отвесил поклон в сторону Монтроза) пожаловать мне взамен Густава благородного коня, которого я позволил себе назвать Вознагражденная Верность — в память сего достопримечательного события.

— Я надеюсь, что Вознагражденная Верность, как вы называете мою лошадь, окажется исправно обученной ратному делу,— заметил маркиз.— Но я должен вам напомнить, что в Шотландии в наше время за верность чаще награждают петлей на шею, нежели конем.

— Вашей светлости угодно шутить. Но должен сказать, что Вознагражденная Верность нисколько не уступает Густаву в военном искусстве и к тому же несравненно красивее его. Правда, своим воспитанием она не может похвастаться; но это оттого, что она до сих пор бывала только в дурном обществе.

— Уж не имеете ли вы в виду его светлость? — заметил Ментейт.— Стыдитесь, сэр Дугалд!

— Да было бы вам известно, милорд,— с важностью ответил рыцарь,— что я никогда не позволил бы себе такого невежества! Но я хочу лишь сказать, что его светлость общается со своим конем только во время учения, как и со своими солдатами; а потому он может вымуштровать и того и других и научить их военным маневрам; на основании этого я и говорю, что сей благородный конь прекрасно обучен. Но так как воспитание приобретается лишь в частной жизни, я склонен полагать, что ни один солдат не может позаимствовать лоску из разговоров со своим капралом или сержантом и что, соответственно, нрав Вознагражденной Верности вряд ли смягчился или улучшился в обществе конюхов его светлости, которые обычно угощают доверенных их попечению животных пинками, ударами и непристойной бранью, вместо того чтобы ласкать и холить их. Вследствие этого добродушные от природы четвероногие неред-

[1] Он закончил свой последний день *(лат.)*.

ко становятся человеконенавистниками и до конца жизни обнаруживают несравненно более сильное желание лягать и кусать своего хозяина, нежели любить и почитать его.

— Мудрость глаголет вашими устами,— сказал Монтроз.— Если бы при эбердинском училище была учреждена академия для воспитания лошадей, никому, кроме сэра Дальгетти, не следовало бы доверять там кафедры.

— Тем более,— шепнул Ментейт на ухо Монтрозу,— что, будучи ослом, он приходился бы несколько сродни своим студентам.

— А теперь, с разрешения вашей светлости,— сказал новоиспеченный рыцарь,— я пойду отдать последний долг моему старому собрату по оружию.

— Уж не для того ли, чтобы совершить обряд погребения? — спросил маркиз, не зная, как далеко может завести сэра Дугалда привязанность к своему коню.— Подумайте, ведь даже наших храбрых солдат придется хоронить наспех.

— Да простит меня ваша светлость,— отвечал Дальгетти,— но мои намерения далеко не столь возвышенны. Я просто спешу поделить наследство моего бедного Густава с птицами небесными, предоставив им мясо и взяв себе шкуру. Из нее, в знак памяти о любимом друге, я намерен сшить себе куртку и штаны по татарскому образцу, чтобы носить их под доспехами, ибо мое платье находится сейчас в плачевном состоянии. Увы, мой бедный Густав! Как жаль, что ты еще лишний часок не прожил на свете и не удостоился чести носить на своей спине благородного рыцаря!

Дальгетти хотел было удалиться, но Монтроз окликнул его.

— Сэр Дугалд, вряд ли кто-либо опередит вас в осуществлении ваших добрых намерений по отношению к вашему старому другу и соратнику,— сказал Монтроз,— а потому прошу вас вместе с моими ближайшими друзьями отведать запасов Аргайла, которые в изобилии нашлись в его замке.

— С величайшей охотой, ваша светлость,— отвечал Дугалд,— ибо ни обед, ни обедня никогда не мешают делу. Кстати, мне нечего опасаться, что волки и орлы примутся нынешней ночью за моего Густава, ибо у них есть чем поживиться и помимо него. Но,— добавил он,— поскольку я буду находиться в обществе двух почтенных английских рыцарей и других особ рыцарского звания из свиты вашей светлости, я очень просил бы вас осведомить их о том, что отныне и впредь я имею право первенства перед всеми, ибо я был посвящен в рыцари на поле сражения.

«Черт бы его побрал! — проворчал про себя Монтроз.— Только я успел потушить огонь, как он снова раздувает его...»

— По этому вопросу, сэр Дугалд,— продолжал он вслух, обращаясь к Дальгетти,— я считаю себя обязанным осведомиться о мнении его величества; а в моем стане все должны быть равны, как рыцари Круглого Стола, и занимать места за трапезой по солдатской поговорке: кто первый сел, тот первый съел.

— Так уж я позабочусь о том, чтобы сегодня сэр Дугалд не занял первого места,— тихо сказал Ментейт маркизу.— Сэр Дугалд,— добавил он, повышая голос,— вы говорите, что ваше платье поизносилось; не наведаться ли вам в обоз неприятеля, вон туда, где стоит часовой? Я видел, как оттуда тащили прекрасную пару из буйволовой кожи, расшитую спереди шелками и серебром.

— Voto a Dios! — как говорят испанцы,— воскликнул майор.— Пожалуй, еще какой-нибудь нищий юнец воспользуется этим добром, пока я тут попусту болтаю!

Надежда поживиться богатой добычей сразу вышибла из головы рыцаря всякую мысль о Густаве и о предстоящем пиршестве, и, пришпорив Вознагражденную Верность, Дальгетти поскакал по полю сражения.

— Скачет, собака, не разбирая дороги! — заметил Ментейт.— Наступает на лица и топчет тела людей, которые были куда лучше его. Столь же падок до чужого добра, как ястреб до мертвечины. И такого человека называют воином! А вы, милорд, нашли его достойным славного рыцарского звания,— если таковым его еще можно считать в наше время,— из рыцарской цепи вы сделали собачий ошейник.

— А что мне было делать? — возразил Монтроз.— У меня не было под рукой полуобглоданной кости, чтобы бросить ему, а задобрить его было необходимо: я не могу травить зверя один, а у этого пса есть свои достоинства.

— Если природа и наделила его таковыми,— заметил Ментейт,— то образ жизни совершенно извратил их, оставив ему одно чрезмерное себялюбие. Верно, что он щепетилен в вопросах чести и отважен в бою, но только потому, что без этих качеств он не мог бы продвигаться по службе. Даже его доброжелательство — и то не бескорыстно: он готов защищать своего товарища, пока тот держится на ногах; но если он упадет, сэр Дугалд не остановится перед тем, чтобы воспользоваться его кошельком так же, как он спешит превратить шкуру Густава в кожаную куртку.

— Все это, может быть, и так,— отвечал Монтроз,— но зато весьма удобно командовать солдатом, чьи побуждения и душевные порывы могут быть вычислены с математической точ-

ностью. Такой тонкий ум, как ваш, друг мой, способный воспринимать множество впечатлений, столь же недоступных пониманию этого человека, сколь непроницаем для пуль его панцирь,— вот что требует чуткого внимания того, кто дает вам совет.

Внезапно переменив тон, Монтроз спросил Ментейта, когда он в последний раз виделся с Эннот Лайл.

Молодой граф ответил, густо покраснев:

— Я не видел ее со вчерашнего вечера. Впрочем...— добавил он с запинкой,— сегодня мельком, примерно за полчаса до начала боя.

— Любезный Ментейт,— начал Монтроз очень мягко,— если бы вы были одним из ветреных кавалеров, щеголяющих при дворе, которые в своем роде такие же себялюбцы, как наш милейший Дальгетти, разве я стал бы докучать вам расспросами об этой маленькой любовной интрижке? Над ней бы можно было только весело посмеяться. Но здесь мы в волшебной стране, где сети, крепкие как сталь, сплетаются из женских кос, и вы как раз тот самый сказочный рыцарь, которого легко ими опутать. Эта бедная девушка прелестна и обладает талантами, способными пленить вашу романтическую натуру. Я не допускаю мысли, чтобы вы хотели обидеть ее, но ведь вы не можете жениться на ней?

— Милорд,— отвечал Ментейт,— вы уже не в первый раз повторяете эту шутку,— ибо так я понимаю ваши слова,— но вы заходите слишком далеко! Эннот Лайл — девушка неизвестного происхождения, пленница, вероятно дочь какого-нибудь разбойника, и живет из милости в доме Мак-Олеев...

— Не сердитесь на меня, Ментейт,— сказал Монтроз, прерывая его,— вы, кажется, любите классиков, хотя и не получили образования в эбердинском училище, и, вероятно, помните, сколько благородных сердец было покорено пленными красавицами?

Movit Ajacem, Telamone natum,
Forma captivae dominum Tecmessae [1].

— Одним словом, я очень обеспокоен всем этим. Быть может, я не стал бы тратить время на то, чтобы досаждать вам своими наставлениями,—продолжал он, нахмурившись,— если бы дело касалось только вас и Эннот Лайл; но у вас есть опасный соперник в лице Аллана Мак-Олея. И кто знает, до чего его может довести

---

[1] Также и Аякс, Теламона отпрыск,
Пленной был склонен красотой Текмессы *(лат.)*.
*(Перевод А. Семенова Тян-Шанского)*

ревность. Мой долг — предупредить вас, что размолвка между вами может очень пагубно отразиться на вашей службе королю.

— Милорд,— отвечал Ментейт,— я знаю, что вы искренне желаете мне добра; думаю, что вы будете вполне удовлетворены, если я сообщу вам, что мы с Алланом Мак-Олеем уже обсудили этот вопрос. Я объяснил ему, что я не мог бы и помыслить о том, чтобы посягнуть на честь беззащитной девушки; с другой стороны, ее темное происхождение не позволяет мне мечтать о чем-либо ином. Я не скрою от вашей светлости, как не скрыл от Аллана, что, будь Эннот Лайл благородного происхождения, я не задумался бы дать ей свое имя и титул. Но при теперешних обстоятельствах это невозможно. Надеюсь, это объяснение удовлетворит вашу светлость, как оно удовлетворило человека менее благоразумного.

Монтроз пожал плечами.

— И что же,— сказал он,— вы оба, точно истые герои романа, сговорились между собой боготворить одну и ту же возлюбленную, как идолопоклонники — своего кумира, и ни один из вас не должен притязать на большее?

— Я этого не утверждаю, милорд,— отвечал Ментейт,— я только сказал, что при теперешних обстоятельствах,— и нет никаких оснований предполагать, что они когда-нибудь изменятся,— мой долг по отношению к моей семье и к самому себе запрещает мне быть для Эннот Лайл кем-либо иным, нежели другом и братом. Но прошу вашу светлость извинить меня,— сказал он, взглянув на свою руку, которую он перевязал носовым платком,— мне пора подумать о царапине, полученной сегодня.

— Вы ранены? — с тревогой спросил Монтроз.— Дайте я посмотрю. Увы! Я, вероятно, даже и не узнал бы об этой ране, если бы не сделал попытки нащупать и исследовать другую, более глубокую и мучительную. Мне искренне жаль вас, Ментейт. Я и сам в жизни знавал... Но стоит ли будить давно уснувшую печаль...

С этими словами он крепко пожал руку молодому графу и направился к замку.

Эннот Лайл, как многие жительницы Верхней Шотландии, обладала некоторыми познаниями по части медицины и даже хирургии. Вполне понятно, что здесь не делали разницы между хирургией и медициной и что те немногие способы врачевания, которые были известны, применялись преимущественно женщинами и стариками, успевшими приобрести большой опыт благодаря постоянной практике. Заботы, которыми сама Эннот Лайл, ее служанки и другие помощницы окружали находящих-

ся под ее присмотром раненых, принесли много пользы во время тяжелого похода. Она оказывала услуги как друзьям, так и врагам, и охотнее всего тем, кто в них более нуждался.

В одном из покоев замка Эннот Лайл тщательно наблюдала за приготовлением целебных трав, которые прикладывали к ранам, выслушивала донесения женщин о состоянии больных, вверенных их попечению, и распределяла лекарства, имевшиеся в ее распоряжении, когда в комнату внезапно вошел Аллан Мак-Олей. Она невольно вздрогнула, ибо до нее дошли слухи, будто он покинул лагерь, чтобы выполнить какое-то поручение. Как ни привыкла она к мрачному выражению его лица, оно показалось ей на сей раз мрачнее обычного. Аллан молча стоял перед ней, и она почувствовала необходимость заговорить первой.

— Я думала,— сказала она,— что ты уже уехал.

— Мой спутник ждет меня,— отвечал Аллан,— я сейчас еду.

Но он продолжал стоять перед ней, держа ее за руку так крепко, что, хотя ей и не было больно, она чувствовала его необычайную физическую силу: его рука сжимала ее запястье, словно железными тисками.

— Не принести ли мне арфу? — спросила она робким голосом.— Не... не... надвигается ли мрак на твою душу?

Вместо ответа он подвел ее к окну, откуда открывался вид на поле битвы. Оно было сплошь усеяно трупами и ранеными, мародеры торопливо срывали одежду с этих жертв войны и феодальных распрей с таким хладнокровием, как будто они были существа другой породы и их самих завтра же, быть может, не ожидала та же участь.

— Нравится тебе это зрелище? — спросил Мак-Олей.

— Оно отвратительно! — воскликнула Эннот, закрывая лицо руками.— Как мог ты заставить меня смотреть на такое?

— Ты должна привыкнуть к этому,— отвечал он,— если ты намерена оставаться с этим обреченным войском... Скоро, скоро будешь ты искать на таком же поле тело моего брата... и Ментейта... и мое собственное... Впрочем, это тебе будет безразлично... ведь ты не любишь меня.

— Сегодня ты впервые упрекнул меня в бессердечии,— сквозь слезы сказала Эннот.— Ведь ты мой брат... мой избавитель... мой защитник... как же я могу не любить тебя? Но я вижу, что мрак надвигается на твою душу, позволь мне принести арфу.

— Постой! — сказал Аллан, все еще не выпуская ее руки.— Откуда бы ни являлись мои видения — с неба, или из ада, или

из царства бесплотных духов, или же, как думают саксы, это только обман разгоряченного воображения,— сейчас я не в их власти. Я говорю языком естественного, зримого мира... Ты любишь не меня, Эннот! Ты любишь Ментейта... И ты любима им... А Аллан для тебя не более, нежели любой из мертвецов, распростертых на этом вересковом поле.

Едва ли эти странные речи открыли что-нибудь новое той, к кому они были обращены. Нет женщины, которая при подобных обстоятельствах не сумела бы давным-давно угадать, какие чувства к ней питают. Но когда Аллан столь внезапно сорвал покров со своей тайны, как ни был он тонок, Эннот поняла, чего можно ожидать от его неистовой натуры, и сделала попытку опровергнуть возведенное на нее обвинение:

— Ты роняешь свое достоинство и честь, оскорбляя столь беззащитное существо, которое к тому же волею судьбы всецело в твоей власти. Ты знаешь, кто я и что я, и знаешь, что ни от Ментейта, ни от тебя я не имею права выслушивать иных слов, кроме дружеских. Ты знаешь, какому злосчастному роду я, должно быть, обязана своим появлением на свет.

— Не верю я этому! — пылко воскликнул Аллан.— Никогда еще кристальная струя не била из грязного источника.

— Но если в этом есть хоть малейшее сомнение,— возразила Эннот,— ты не должен так говорить со мной.

— Знаю,— промолвил Мак-Олей,— это ставит преграду между нами... Но я знаю также, что эта преграда не столь безнадежно отделяет тебя от Ментейта... Послушай меня, любимая! Покинем зрелище этих страданий и смерти, поедем со мной в Кинтейл. Я поселю тебя в доме благородной леди Сифорт, или же тебя доставят под надежной охраной в Айколмкил, в святую обитель, где женщины, по обычаю наших предков, заняты служением богу.

— Ты сам не знаешь, что говоришь,— возразила Эннот.— Пуститься в такой дальний путь вдвоем с тобой, под твоей охраной,— это значило бы забыть о том, что приличествует молодой девушке. Я останусь здесь, Аллан, здесь, под защитой благородного Монтроза. А когда его войска дойдут до предгорья, я найду способ освободить тебя от присутствия той, которая по неведомой ей причине лишилась твоего расположения.

Аллан продолжал молча стоять перед ней, словно не зная, уступить ли чувству сострадания или дать волю гневу, который вызывало в нем ее упорство.

— Эннот,— сказал он наконец,— ты хорошо знаешь, как мало истины в твоих словах о моих чувствах к тебе. Ты поль-

зуешься своей властью надо мной и радуешься моему отъезду, ибо никто больше не будет подсматривать за тобой и Ментейтом. Но берегитесь оба! — добавил он грозно.— Ибо слыхал ли кто, чтобы Аллану Мак-Олею была нанесена обида и он не отплатил за нее в десять раз более страшной местью!

Он с силой стиснул ее руку, надвинул шапку до самых бровей и быстрым шагом вышел из покоя.

## ГЛАВА XXI

Вскоре вы ушли.
И я узнала, что во мне есть сердце
И что оно трепещет от любви!
Да, то была любовь, не вожделенье!
И лишь вблизи от вас иль рядом с вами
Жить и дышать — вот все, что нужно мне!

*«Филастр»* [1]

Признание Аллана в любви и его вспышка ревности показали Эннот Лайл, какая страшная пропасть разверзлась перед нею. Ей чудилось, будто она скользит по самому краю этой пропасти, не зная, где найти пристанище, у кого искать защиты. Она давно уже поняла, что любит Ментейта не как брата; и могло ли быть иначе, если вспомнить их близость с самых детских лет, личные качества молодого дворянина, постоянное внимание к ней, его мягкий нрав и обходительность, столь непохожую на обращение суровых воинов, среди которых она жила. Но любила она любовью тихой, робкой и мечтательной, которая довольствуется счастьем возлюбленного, не питая для себя никаких надежд. Гэльская песенка, которую она часто напевала, хорошо выражает ее чувства, и мы охотно приводим здесь эти строки в переводе даровитого и злополучного Эндрю Мак-Доналда:

Делить твой жребий сладко было б мне,
Будь ты, как я, рожденным в скромной доле.
Везде с тобой, куда б в одном челне
Ни влек нас ветер, веющий на воле.

Разлучены законом роковым,
Мы разошлись — нас ждет судьба иная.
Пускай твоя легка — живу одним:
Молиться за того, кому верна я.

[1] Перевод Б. Томашевского.

Ту боль, что сердце глупое пронзит,
Когда надежда навсегда покинет,
Ту боль не выдаст горький стон обид,
И лепет жалоб на устах застынет.

И по тропам оставшихся мне дней
Пусть плакальщицей бледной не бреду я,
Пока я знаю, что еще больней
От слез моих тому, кого люблю я [1].

Неожиданный порыв Аллана разрушил ее романтические грезы о беззаветной, тайной любви, не требующей награды. Она уже и раньше опасалась Аллана, невзирая на всю свою признательность ему; к тому же она видела, что ради нее он всегда старался обуздать свой надменный и жестокий нрав. Но теперь Аллан внушал ей непреодолимый ужас, вполне оправданный тем, что она знала о нем и о его прошлом. При всем благородстве своей натуры он не умел умерять своих страстей, он ходил по замку и владениям своих предков, словно укрощенный лев, которому не смеют прекословить, дабы не разбудить в нем его кровожадные инстинкты. Уже много лет никто не противоречил его желаниям и не пытался хотя бы усовестить его, и, должно быть, только природный здравый смысл,— который он проявлял во всем, если не считать его мистических настроений,— помешал ему стать бедствием и угрозой для всего края. Но Эннот не пришлось долго предаваться своим невеселым думам, ибо пред ней внезапно предстал сэр Дугалд Дальгетти.

Легко можно себе представить, что весь уклад жизни доблестного воина не подготовил его к тому, чтобы блистать в женском обществе; он сам смутно понимал, что язык казармы, кордегардии и учебного плаца не подходит для беседы с дамами. Единственная мирная пора его жизни протекла в эбердинском училище, но он уже успел забыть то немногое, чему там выучился, за исключением собственноручной починки белья и искусства с необыкновенной быстротой поглощать пищу, ибо и в том и в другом ему неустанно приходилось упражняться. И все же именно обрывки воспоминаний о том, чему он научился в это мирное время своей жизни, служили ему источником вдохновения для беседы, когда он оказывался в обществе женщин; иными словами, речь его становилась книжной, как только она переставала быть солдатской.

— Сударыня,— начал он,— перед вами точное подобие копья Ахилла, один конец которого обладал свойством наносить

[1] Перевод Т. Казмичевой.

рану, а другой — заживлять оную; свойство, которое не присуще ни испанским пикам, ни алебардам, ни протазанам, ни секирам, ни палицам и вообще ни одному из современных видов холодного оружия.

Эту тираду Дальгетти произнес дважды; но так как в первый раз Эннот едва слушала его, а во второй не поняла ни слова, ему пришлось выразиться яснее.

— Я хочу сказать, сударыня,— пояснил он,— что, будучи причиной тяжелой раны, нанесенной в сегодняшнем сражении одному почтенному рыцарю, поелику он, против всяких правил войны, пристрелил из пистолета моего коня, нареченного Густавом в честь великого шведского короля,— я желал бы доставить одному рыцарю облегчение, каковое вы, сударыня, могли бы ему оказать, ибо вы, подобно языческому богу Эскулапу (майор, вероятно, имел в виду Аполлона), искусны не только по части музыки и пения, но и в более высоком деле врачевания... Opifer que per orbem dicor [1].

— Если бы вы только были так добры объяснить мне, что вам угодно,— проговорила Эннот, слишком опечаленная, чтобы забавляться витиеватой галантностью сэра Дугалда.

— Это не так-то легко, сударыня,— отвечал рыцарь,— ибо я несколько запамятовал правила грамматики. Но, впрочем, попробую. Dicor, приставив ego, означает: «Я называем...» Opifer? Opifer? Припоминаю: signifer [2] и furcifer... [3] Кажется, opifer означает в данном случае Д. М.— то есть «доктор медицины».

— Нынче хлопотливый день для всех нас,— сказала Эннот,— не можете ли вы просто сказать, что вам от меня нужно?

— Только одно,— отвечал сэр Дугалд,— чтобы вы навестили моего собрата — рыцаря и приказали бы своей девушке отнести ему какое-нибудь лекарство для раны, которая, как выражаются ученые, угрожает нанести damnum fatale [4].

Эннот Лайл никогда не медлила, когда кто-нибудь нуждался в ее помощи. Осведомившись о ране старого вождя, чья благородная наружность столь поразила ее в замке Дарнлинварах, она поспешила к нему, радуясь, что может забыть о своих горестях в облегчении чужих страданий.

Сэр Дугалд весьма торжественно проводил Эннот Лайл в комнату больного, где, к своему изумлению, она застала лорда Ментейта. Она невольно вспыхнула при встрече с ним и, чтобы

---

[1] И слыву я по всему свету целителем *(лат.)*.
[2] Знаменосец *(лат.)*.
[3] Мошенник, негодяй *(лат.)*.
[4] Роковой ущерб *(лат.)*.

скрыть свое смущение, немедленно принялась осматривать рану рыцаря Арденвора; она тотчас же убедилась, что ее искусство недостаточно, чтобы залечить ее. Что касается сэра Дугалда, то он немедленно возвратился в большой сарай, где на полу, среди прочих раненых, лежал Раналд, Сын Тумана.

— Вот что, дружище,— сказал ему рыцарь,— как я говорил тебе раньше, я готов сделать все, чего ты ни пожелаешь, во искупление той раны, которую ты получил, будучи под моей охраной. Поэтому, по твоей настоятельной просьбе, я послал Эннот Лайл ухаживать за рыцарем Арденвором, хотя убей меня бог, если я знаю, зачем тебе это понадобилось. Мне помнится, ты что-то говорил мне об их кровном родстве; но у воина в моем чине и звании есть дела поважнее, чем забивать себе голову вашими дикарскими родословными.

И надо отдать справедливость майору Дальгетти: он никогда не занимался чужими делами, не расспрашивал, не слушал и ничего не запоминал, если это не имело прямого отношения к военному искусству и не было так или иначе связано с его собственными интересами: в этих случаях память никогда не изменяла ему.

— А теперь, любезный Сын Тумана,— продолжал майор,— не можешь ли ты мне сказать, куда девался твой многообещающий внук, ибо я больше не видел его с тех пор, как он помог мне снять доспехи после окончания сражения; за свою нерадивость он заслужил хорошую порку.

— Он здесь, неподалеку,— отвечал раненый разбойник,— только не вздумай поднять на него руку; он уже мужчина и способен за каждый ярд ременной плетки отплатить тебе футом закаленной стали.

— Весьма непристойная угроза,— заметил сэр Дугалд,— но я кое-чем тебе обязан, Раналд, и на сей раз прощаю тебе.

— Если ты считаешь, что обязан мне,— сказал разбойник,— то в твоей власти отплатить мне, пообещав исполнить еще одну мою просьбу.

— Дружище Раналд,— отвечал Дальгетти,— знаю я эти обещания! Читал я когда-то в глупых книжках, как простодушные рыцари со своими обещаниями попадали впросак. Поэтому, Раналд, рыцари стали осторожнее и никогда ничего не обещают, пока не уверятся, что они могут сдержать слово, не нажив себе хлопот и неприятностей. Ты, может быть, пожелаешь, чтобы я пригласил нашу лекарку осмотреть твою рану, но ты должен принять во внимание, Раналд, что неопрятность помещения, где ты находишься, может некоторым образом отразиться на чистоте

ее наряда, а в этом отношении, как тебе известно, женщины крайне щепетильны. Будучи в Амстердаме, я потерял расположение супруги первого министра, вытерев сапоги о шлейф ее черного бархатного платья, который я принял за половик, потому что она распустила его чуть ли не на всю комнату.

— Я не прошу тебя звать сюда Эннот Лайл,— отвечал Мак-Иф,— а прошу перенести меня в покои, где она ухаживает за рыцарем Арденвором. Мне нужно сообщить им нечто, весьма важное для них обоих.

— Собственно говоря,— возразил Дальгетти,— доставить разбойника в покои, где находится благородный рыцарь, значит нарушить порядок чинопочитания. Рыцарское звание было издревле и в некоторых отношениях считается еще и теперь наивысшим воинским чином, независимо от офицерских чинов, получаемых по назначению. Однако услуга, о которой ты просишь, такая безделица, что я не хочу отказывать тебе в ней.

С этими словами он отдал распоряжение шести солдатам перенести Мак-Ифа на своих плечах в покои сэра Дункана Кэмбела, а сам поспешил вперед, дабы объяснить рыцарю причину такого поступка. Но солдаты так проворно справились с порученным им делом, что нагнали майора и, войдя в комнату со своей страшной ношей, положили Мак-Ифа на пол, прежде чем Дальгетти успел открыть рот. Черты лица разбойника, грубые от природы, были сейчас искажены болью; руки его и скудная одежда были перепачканы кровью — своей и чужой,— ничья заботливая рука не смыла ее, хотя рана и была перевязана.

— Ты ли тот, кого люди называют рыцарем Арденвором? — заговорил Раналд, с мучительным усилием повернув голову в сторону ложа, на котором лежал его недавний противник.

— Да,— отвечал сэр Дункан,— что тебе нужно от человека, часы которого сочтены?

— Мои часы равняются минутам,— отвечал разбойник.— Тем большую милость оказываю я тебе, ибо я отдаю их тому, чья рука всегда была занесена надо мной, хотя моя рука была занесена еще выше.

— Твоя рука выше моей! Раздавленный червь! — сказал старый рыцарь, глядя сверху вниз на своего жалкого противника.

— Да,— отвечал разбойник твердым голосом,— моя рука простерлась выше. В смертельной схватке между нами раны, нанесенные мною, были глубже, хоть и твоя рука не бездействовала и разила беспощадно. Я — Раналд Мак-Иф, Раналд, Сын Тумана. Та ночь, когда я предал огню твой замок, превра-

тив его в груду пепла, развеянную по ветру, завершается нынешним днем, когда тебя поразил меч моих праотцев... Вспомни все зло, которое ты причинил нашему племени... Никто, кроме тебя,— и еще одного,— не был так жесток с нами. Но тот будто бы заговорен и недоступен нашему мщению... Мы скоро узнаем, правда ли это.

— Милорд Ментейт,— произнес сэр Дункан, приподнимаясь на своем ложе,— этот человек — отъявленный злодей, он враг короля и парламента, поправший законы божеские и человеческие, разбойник из племени Сынов Тумана, заклятый враг моего и вашего дома и рода Мак-Олеев. Надеюсь, вы не потерпите, чтобы мои последние минуты были омрачены торжеством этого дикаря?

— Ему будет воздано по заслугам,— отвечал Ментейт.— Немедленно унесите его отсюда.

Сэр Дугалд вступился было за Раналда, напомнив об его услугах в качестве проводника и о своем поручительстве за его безопасность, но резкий, хриплый голос разбойника перебил его речь.

— Нет! — заговорил старик.— Пусть пытка и петля, пусть труп мой повиснет между небом и землей, на корм коршунам и орлам с горы Бен-Невис!.. Ни этот высокомерный рыцарь, ни горделивый тан никогда не узнают тайны, которую я один мог бы им поведать,— тайны, от которой бы радостно взыграло сердце Арденвора, будь он хоть при последнем издыхании, и за обладание которой граф Ментейт отдал бы все земли своего графства. Подойди сюда, Эннот Лайл,— продолжал он, приподнявшись с неожиданной силой,— не бойся того, к кому ты ласкалась в дни своего детства. Скажи этим гордецам, которые презирают в тебе отпрыск моего древнего рода, что в тебе нет ни одной капли нашей крови, что ты рождена не среди Сынов Тумана, а в шелку и бархате, и мягче твоей колыбели не стояло в их самых богатых хоромах.

— Именем бога заклинаю тебя! — воскликнул Ментейт, трепеща от волнения.— Если тебе известно происхождение этой девушки, облегчи свою совесть перед смертью, поведай нам твою тайну, прежде чем покинуть этот мир!

— И с последним вздохом благословить моих врагов? — промолвил Мак-Йф, злобно взглянув на него.— Таковы правила, которые проповедуют ваши священники, но когда и где следуете вы этим правилам? Я не расстанусь с моей тайной, пока не узнаю, какая ей цена. Что дал бы ты, рыцарь Арденвор, чтобы услышать, что всуе предавался ты посту и молитве и что

есть на свете отпрыск твоего рода? Я жду твоего ответа... Отвечай, или я не скажу более ни слова.

— Я отвечу тебе,— сказал сэр Дункан голосом, в котором боролись недоверие, ненависть и тревога,— я отвечу тебе, что, не знай я ваше дьявольское отродье, в котором спокон веку были одни обманщики и убийцы... Но если на сей раз ты говоришь правду, я был бы готов простить тебе все обиды, которые ты мне нанес.

— Слышите? — сказал Раналд.— Немалая ставка для Сына Диармида! А ты, благородный тан? Молва идет в лагере, будто ты готов ценой жизни и всех своих владений купить весть о том, что Эннот Лайл родилась не среди гонимого племени, а происходит из древнего рода, не менее знатного, нежели твой собственный? Так слушайте же!.. Но не из любви к вам нарушаю я свое молчание... Было время, когда я ценой своей тайны купил бы свободу, а ныне я готов обменять ее на то, что для меня дороже свободы, дороже жизни... Эннот Лайл — самое младшее, единственное оставшееся в живых дитя рыцаря Арденвора, спасенное в ту пору, когда все и вся в его замке было предано огню и мечу.

— Правду ли он говорит? — воскликнула Эннот Лайл, не помня себя от волнения.— Или это бред безумного?

— Дитя мое,— отвечал Раналд,— если бы ты дольше жила среди нас, ты научилась бы лучше распознавать голос правды. Этому молодому лорду и рыцарю Арденвору я предъявлю такие доказательства истинности моих слов, что сомнения их рассеются. А теперь — удались отсюда. Я любил твое младенчество, у меня нет ненависти к твоей юности: никто не станет ненавидеть цветущую розу за то, что она выросла на терновом кусту; и только ради тебя одной готов я пожалеть о том, что вскоре неминуемо должно произойти. Но тот, кто хочет отомстить своему врагу, не должен печалиться оттого, что и невинный будет вовлечен в погибель.

— Он подал добрый совет, Эннот,— сказал лорд Ментейт.— Ради всего святого, удалитесь отсюда! Если... если в этом есть доля правды, ваша встреча с сэром Дунканом, ради вас обоих, должна быть подготовлена иначе!

— Я не расстанусь с отцом, если правда, что я обрела его! — промолвила Эннот.— Я не могу покинуть его в столь страшную минуту.

— Ты всегда найдешь во мне отца,— прошептал сэр Дункан.

— В таком случае,— сказал Ментейт,— я прикажу перенести Мак-Ифа в соседний покой и сам выслушаю его показа-

ния. Сэр Дугалд Дальгетти, не откажите мне в любезности быть моим помощником и свидетелем.

— С удовольствием, милорд,— отвечал сэр Дугалд.— Готов быть и помощником и свидетелем — кем угодно. Никто не может быть вам полезнее меня, ибо всю эту историю я уже слышал месяц тому назад в замке Инверэри; но все эти набеги на разные замки путаются у меня в голове, тем паче что она занята более важными делами.

Услышав это откровенное признание, сделанное майором в то время, когда они выходили из комнаты вслед за солдатами, выносившими разбойника, лорд Ментейт с нескрываемым гневом и презрением взглянул на Дальгетти, но доблестный рыцарь, преисполненный несокрушимого самодовольства, не обратил на это ни малейшего внимания.

## ГЛАВА XXII

Я волен, как дикарь, дитя свободы,
Что жил среди нетронутой природы,
Не зная рабства черные невзгоды.

*«Завоевание Гренады»* [1]

Граф Ментейт выполнил свое намерение и самым тщательным образом проверил рассказ Раналда Мак-Ифа, подтвержденный показаниями двух его родичей, которые вместе с ним несли обязанности проводников при войске. Эти показания Ментейт сопоставил с подробностями о разгроме замка и уничтожении семьи рыцаря Арденвора, которые сообщил сам сэр Дункан Кэмбел; и можно с уверенностью сказать, что старик ничего не забыл, рассказывая о страшном событии, имевшем столь гибельные последствия. Нужно было во что бы то ни стало установить, не вымышлена ли вся эта история разбойником с целью выдать девушку своего племени за дочь и законную наследницу рыцаря Арденвора.

Может быть, и неразумно было поручать расследование этого дела Ментейту, столь страстно желавшему, чтобы рассказ Раналда подтвердился, но ответы Сынов Тумана были вполне определенны, просты, ясны и точно совпадали между собой. Упоминалось родимое пятно, которое, как было известно, имелось у малолетней дочери сэра Дункана и которое было обнаружено на левом плече Эннот Лайл. Все помнили, что после по-

[1] Перевод И. Миримского.

жара, когда подобрали жалкие останки убитых детей, труп девочки нигде не был найден. Другие неоспоримые доказательства, которые нет необходимости перечислять, заставили не только Ментейта, но и столь беспристрастного судью, как Монтроз, окончательно убедиться в том, что Эннот Лайл, скромная воспитанница в доме Мак-Олеев, обращавшая на себя внимание только своей красотой и талантом, отныне по праву займет место законной наследницы Арденвора.

В то время как Ментейт спешил сообщить радостную весть тем лицам, которых она ближе всех касалась, Раналд Мак-Иф выразил желание поговорить со своим сыном, как он обычно называл внука.

— Вы найдете его в том сарае, куда меня сначала положили,— сказал он.

После долгих поисков маленького дикаря нашли свернувшимся в клубок на куче соломы в углу сарая и привели к деду.

— Кеннет,— сказал ему старый разбойник,— выслушай предсмертное слово родителя — твоего отца. Один воин с предгорья и Аллан Кровавая Рука покинули лагерь несколько часов тому назад и направились к Каперфе. Гонись за ними, как ищейка гонится за раненым оленем,— переплыви озеро, взберись на гору, проберись сквозь чащу лесную — пока не настигнешь их.

По мере того как старик говорил, лицо мальчика становилось все мрачнее, и наконец рука его легла на рукоять ножа, засунутого за кожаный ремень, которым был стянут его ветхий плед.

— Нет,— продолжал старик,— не от твоей руки должен он погибнуть. Они станут расспрашивать тебя, что нового в лагере. Скажи им, что Эннот Лайл оказалась дочерью Дункана Арденвора; что тан Ментейт намерен обвенчаться с ней и что ты послан позвать гостей на свадьбу. Не жди их ответа, скройся из глаз, как молния, поглощенная черной тучей. А теперь ступай, возлюбленное дитя моего любимого сына! Никогда больше не увижу я твоего лица, не услышу шороха твоих легких шагов... Постой минутку и выслушай мой последний завет. Помни об участи нашего племени и свято чти обычаи Сынов Тумана. Теперь нас осталась только горсточка, нас силой оружия гонят из каждой долины, нас преследуют все кланы, которые владычествуют на землях, где некогда предки их рубили дрова и носили воду для наших прародителей. Но в дремучих лесах, в сердце наших гор, ты, Кеннет, сын Ирахта, храни незапятнанной свободу, которую я завещаю тебе в наследство. Не променяй ее ни на пышную одежду, ни на каменные палаты, ни на уставленный

яствами стол, ни на пуховую постель... На горных вершинах и в глубине долин, в довольстве и нищете, в дни жаркого лета и суровой зимы — будь свободен, Сын Тумана, как твои прадеды! Не имей господина, не признавай закона, не принимай платы и сам не держи наемников; не строй хижины, не ограждай пастбища, не засевай пашни; пусть горный олень будет твоим стадом, а если и этого не станет, отбирай добро у наших угнетателей — англичан и у тех шотландцев, которые в душе не лучше англичан и более дорожат своими стадами и отарами, нежели честью и свободой. Благо нам, что это так, ибо тем больше простору для нашего мщения. Помни о тех, кто делал добро нашему племени, и плати им за услугу собственной кровью, если в том будет нужда. Кто бы ни пришел к тебе из рода Мак-Айенов, хотя бы с отрубленной головой королевского сына, укрой его, пусть бы даже вся армия короля-отца гналась за ним, ибо в минувшие годы мы нашли мирный приют в Гленко и Арднамурхане, но Сыны Диармида, род Дарнлинварах, дом Ментейтов... Слушай, Сын Тумана: мое проклятье падет на твою голову, если ты пощадишь хоть одного из них, когда наступит их час! А этот час близок, ибо они поднимут меч друг на друга и, побежденные, будут искать спасения в тумане,— и сыны его поразят их. А теперь ступай... Отряхни прах с ног своих на пороге жилища, где собираются люди, все равно — для мира или для войны. Прощай, возлюбленный сын мой! И да настигнет тебя смерть, как твоих прадедов,— прежде чем недуг, увечье или старость сломят силу твоего духа!.. Ступай... Ступай... Живи свободным... Плати добром за добро... Мсти врагам своего племени!

Юный дикарь наклонился и поцеловал в лоб своего умирающего деда; но, приученный с детства подавлять всякое внешнее проявление душевных волнений, он ушел, не проронив ни слова, не пролив ни одной слезы, и вскоре был уже далеко за пределами лагеря Монтроза.

Дугалд Дальгетти, присутствовавший при этом прощании, был весьма мало удовлетворен поведением Мак-Ифа.

— Мне кажется, дружище Раналд,— сказал он,— что ты избрал не вполне правильный путь для умирающего. Приступ, атака, резня, поджог предместий — все это, конечно, повседневное занятие воина и оправдывается необходимостью, ибо он делает это по долгу службы; что касается, в частности, поджога, то можно сказать, что во всех укрепленных городах предместья кишат предателями. Поскольку ясно, что военное ремесло особливо угодно небесам, мы, несомненно, можем надеяться на спасение души, хотя и совершаем ежедневно столь страшные дела.

Но скажу тебе, Раналд: во всех европейских войсках так уж заведено, что умирающий воин не похваляется подобными делами и не завещает своим собратьям совершать их; напротив, он кается в них и читает молитву или просит помолиться за него. И если хочешь, я обращусь к капеллану его светлости с просьбой сотворить молитву над тобой. Впрочем, в мои обязанности отнюдь не входит наставлять тебя, но, быть может, это облегчит твою совесть, если ты помрешь как добрый христианин, а не как турок, что ты, видимо, намерен сделать.

Вместо ответа умирающий (ибо смерть быстро приближалась к Раналду Мак-Ифу) попросил приподнять его, чтобы он мог взглянуть в окно. Густой зимний туман, весь день окутывавший вершины скал, теперь спускался по всем склонам, клубясь в горных ущельях и долинах, где зубчатые черные кряжи, словно пустынные острова, высились в молочно-белом океане.

— Дух Тумана! — промолвил Раналд Мак-Иф.— Ты, кого наше племя зовет отцом и покровителем! Когда кончатся мои муки, прими в свое облачное жилище того, кому ты столь часто давал приют при его жизни!

С этими словами он откинулся на руки поддерживающих его и молча повернулся лицом к стене.

— Сдается мне,— сказал Дальгетти,— что друг мой Раналд в душе немногим лучше язычника.— И он повторил свое предложение пригласить доктора Уишарта, капеллана при войсках Монтроза.

— Человек он умный,— продолжал Дальгетти,— и мастер своего дела; он тебе отпустит все твои грехи раньше, чем я успею выкурить трубку.

— Южанин,— сказал умирающий,— не говори мне больше о священнике,— я умираю со спокойной душой. Был ли у тебя когда-нибудь враг, против которого оружие бессильно, которого и пуля не берет, и стрела не пронзает, чье обнаженное тело непроницаемо для меча и кинжала, как твой стальной панцирь? Слыхал ли ты когда-нибудь о таком противнике?

— Весьма часто, когда служил в Германии,— отвечал сэр Дугалд.— Был один такой в Ингольштадте: его не брали ни сталь, ни свинец. Солдаты прикончили его прикладами своих мушкетов.

— Вот на такого неуязвимого врага,— продолжал Раналд, не слушая майора,— чьи руки обагрены самой дорогой для меня кровью, я наслал муку душевную, ревность, отчаяние, внезапную смерть; а если не смерть, то жизнь — страшнее самой смерти! Такова будет участь Аллана Кровавой Руки, когда он узнает,

что Эннот Лайл — невеста Ментейта. И нет у меня иных желаний, как только увериться в том, что это свершится, и тем усладить мою смерть от его кровавой руки.

— Ежели так,—сказал майор,—то ничего с тобой не поделаешь. Но я позабочусь, чтобы как можно меньше людей тебя видели, ибо я считаю, что твой способ собираться на тот свет не может служить хорошим примером для солдат христианской армии.

С этими словами Дальгетти вышел из комнаты, и вскоре затем Сын Тумана окончил свое земное существование.

Тем временем Ментейт, оставив наедине вновь обретших друг друга отца и дочь, глубоко взволнованных неожиданно раскрывшейся тайной их родства, горячо обсуждал с Монтрозом последствия этого события.

— Я понял бы теперь,— сказал маркиз,— если бы даже не догадывался об этом раньше, что открытие, дорогой Ментейт, очень близко касается вашего личного счастья. Вы любите эту девушку, оказавшуюся знатной наследницей, и она отвечает вам взаимностью. Происхождение ее безупречно; достоинства не уступают вашим. И тем не менее — подумайте!.. Сэр Дункан — фанатик или, во всяком случае, пресвитерианин; он поднял оружие против короля. Он сейчас с нами только в качестве пленного, а я опасаюсь, что это лишь начало долгой междоусобной войны. Время ли теперь — подумайте, Ментейт,— просить руки его дочери? И есть ли у вас надежда, что он станет вас слушать?

Любовь, самый ловкий и красноречивый из адвокатов, подсказала графу Ментейту тысячу ответов на эти возражения. Он сказал Монтрозу, что рыцарь Арденвор никогда не был ханжой ни в религии, ни в политике; упомянул о своей хорошо известной и не раз доказанной преданности делу короля и дал понять, что его брак с наследницей Арденвора может привлечь на их сторону новых приверженцев престола. Он напомнил о тяжелой ране сэра Дункана и о том, какая опасность угрожает Эннот в стране Кэмбелов, ибо в случае смерти ее отца или иной долгой болезни она очутится под опекой Аргайла, а это положит предел всем его (Ментейта) надеждам, если он не пойдет на то, чтобы приобрести благорасположение Аргайла и получить его согласие на брак с Эннот ценой собственной измены королю.

Монтроз в конце концов внял этим доводам и согласился с тем, что хотя дело это трудное, но чем скорее оно будет сделано, тем больше пользы принесет сторонникам короля.

— Я желал бы,— сказал он,— чтобы этот вопрос уже был решен так или иначе и прекрасная Брисеида покинула лагерь до возвращения нашего северного Ахилла, Аллана Мак-Олея. Я бо-

юсь его неистового нрава, Ментейт, и потому лучше всего отпустить сэра Дункана под честное слово в его замок, с тем чтобы вы в качестве почетного конвоя сопровождали его и Эннот. Почти весь путь можно проделать по воде, чтобы не растревожить рану сэра Дункана, а ваша рана, мой друг, достаточно почетное оправдание для временной отлучки из лагеря.

— Ни за что! — воскликнул Ментейт.— Даже если я должен отказаться от надежды, только что мелькнувшей предо мной, ни за что не покину я лагерь вашей светлости, пока над ним реет королевский штандарт! Я заслуживал бы, чтобы эта пустячная царапина загноилась и я лишился бы правой руки, когда позволил бы себе под предлогом столь легкой раны покинуть войско в такое время.

— Это ваше решение незыблемо? — спросил Монтроз.

— Так же незыблемо, как гора Бен-Невис,— отвечал Ментейт.

— В таком случае,— сказал Монтроз,— вы должны, не теряя времени, объясниться с рыцарем Арденвором. Если его ответ будет благоприятным, я сам поговорю с Ангюсом Мак-Олеем, и мы обсудим способ удержать брата подальше от армии, пока он не примирится с мыслью о постигшем его разочаровании. Дай-то бог, чтобы его посетило какое-нибудь дивное видение, которое вытравило бы из его памяти образ Эннот Лайл! Вы, вероятно, считаете это невозможным, Ментейт?.. А теперь вернемся к своим обязанностям: идите служить Купидону, а я пойду служить Марсу.

Они расстались, и, как было условлено, Ментейт на другое утро попросил разрешения у раненого рыцаря Арденвора переговорить с ним наедине и сообщил ему о своем желании просить руки его дочери. Об их взаимных чувствах сэр Дункан догадывался, но не ожидал, что Ментейт так скоро выскажет свои намерения. Старик начал с того, что он и так уже, быть может, слишком много предается семейным радостям в то время, когда его клан претерпел столь тяжелый урон и унижение, и что поэтому ему не хотелось бы при столь бедственных обстоятельствах думать о дальнейшем преуспеянии своего дома. Однако после настоятельных просьб Ментейта сэр Дункан просил дать ему несколько часов на размышление, дабы он мог посоветоваться с дочерью относительно столь важного дела.

Исход их беседы оказался благоприятным для Ментейта. Сэр Дункан Кэмбел видел, что счастье его вновь обретенной дочери всецело зависит от соединения с возлюбленным; и он отлично знал, что если брак не будет немедленно заключён, то

Аргайл найдет тысячу способов воспрепятствовать этому союзу, который казался весьма желательным рыцарю Арденвору. Душевные качества Ментейта не оставляли желать ничего лучшего, а его положение в обществе благодаря богатству и знатности рода было столь высоко, что, в глазах сэра Дункана, оно с лихвой искупало различие их политических убеждений. К тому же, даже если бы собственное мнение об этом браке было не вполне благоприятно, он все же не решился бы упустить случай исполнить желание своей чудом найденной дочери. Помимо всего прочего, к такому решению его заставило прийти чувство фамильной гордости: было бы несколько унизительно представить свету наследницу Арденвора как бедную воспитанницу и музыкантшу, жившую из милости в поместье Дарнлинварах. Ввести же ее в свет в качестве нареченной невесты или законной супруги графа Ментейта, полюбившего ее в дни безвестности, было бы достаточно веским доказательством того, что она всегда была достойна положения, до которого теперь возвысилась.

Под влиянием всех этих соображений сэр Дункан Кэмбел объявил влюбленным о своем согласии на их брак; их должен был обвенчать капеллан армии Монтроза — с наивозможной скромностью — в часовне замка Инверлохи. Было решено, что, когда Монтроз со своей армией двинется дальше,— о чем со дня на день ждали приказа,— молодая графиня уедет со своим отцом в его замок и останется там до тех пор, пока политическая обстановка в стране не позволит Ментейту с честью покинуть военную службу. Однажды придя к такому решению, сэр Дункан Кэмбел не стал слушать свою дочь, в смущении просившую отложить бракосочетание, и оно было назначено на вечер следующего дня — через двое суток после сражения.

## ГЛАВА XXIII

Деву мою синеокую взял Агамемнон жестокий,
Ту, что за подвиги ратные в дар ниспослали мне боги.

*«Илиада»* [1]

По многим причинам было необходимо поставить Ангюса Мак-Олея в известность о счастливой перемене в судьбе недавней его воспитанницы Эннот Лайл, которую он в течение долгих лет окружал нежными заботами; и Монтроз, взявший на себя

[1] Перевод И. Миримского.

это поручение, сообщил ему все подробности необыкновенного события. Со свойственной ему беспечностью и легкомыслием Ангюс выразил больше радости, нежели удивления, по поводу выпавшего на долю Эннот счастья; он не сомневался, что она будет вполне его достойна и, воспитанная в духе преданности королю, передаст вместе с рукой и сердцем владения своего сурового фанатика отца какому-нибудь честному роялисту.

— Я бы ничего не имел против того, чтобы мой брат Аллан попытал счастья,— добавил он,— невзирая на то, что сэр Дункан Кэмбел единственный человек, когда-либо попрекнувший хозяев Дарнлинвараха в недостатке гостеприимства. Эннот Лайл всегда умела разгонять мрачные мысли Аллана, и — кто знает — может быть, женившись, он стал бы таким же человеком, как и все.

Монтроз поспешил прервать эти радужные мечты, сообщив Ангюсу, что наследница Арденвора уже просватана и, с согласия ее отца, не сегодня-завтра будет обвенчана с графом Ментейтом; и в знак глубокого уважения к Ангюсу Мак-Олею, бывшему столь долгое время покровителем невесты, он, Монтроз, просит его присутствовать при совершении брачного обряда.

При этом известии Мак-Олей нахмурился и гордо выпрямился, всем своим видом показывая, что он обижен.

Он считает, заявил он, что его неустанное попечение и заботы о молодой девушке во время ее многолетнего пребывания под его кровлей заслуживают несколько бóльшего внимания, нежели приглашение на свадьбу. По его мнению, он был вправе ожидать, чтобы с ним, по крайней мере, посоветовались. Он искренне желает добра Ментейту, так искренне, как, может быть, никто иной, но он находит, что тот поступил в этом случае несколько опрометчиво. Чувства Аллана и молодой девушки ни для кого не были тайной, и он, со своей стороны, отказывается понимать, как она, даже не обсудив ни с кем своего решения, могла пренебречь чувством благодарности, на которую брат его имел большее право, чем кто-либо другой.

Монтроз, отлично понимая, к чему все это клонится, убедительно просил Ангюса быть благоразумным и подумать о том, что едва ли удалось бы уговорить рыцаря Арденвора отдать руку своей единственной наследницы Аллану, который при всех своих неоспоримо превосходных качествах имеет еще другие свойства характера, настолько затмевающие первые, что все окружающие страшатся его.

— Милорд,— возразил Ангюс Мак-Олей,— у моего брата, как и у каждого из нас, смертных, есть свои достоинства и недостатки; но он самый лучший, самый храбрый воин в вашем вой-

ске — каков бы ни был его соперник,— и поэтому не заслуживает того, чтобы вы, ваша светлость, а также его близкий родственник и молодая особа, которая всем обязана ему и его семейству, столь мало посчитались с его личным счастьем.

Тщетно пытался Монтроз заставить Ангюса взглянуть на дело с другой стороны — Ангюс упорно стоял на своем; а он был из тех людей, которые, забрав себе что-либо в голову, не поддаются уже никаким убеждениям. Тогда Монтроз переменил тон и предостерег Ангюса от каких-либо поступков, которые могли бы нанести вред делу короля. Он выразил настойчивое желание, чтобы Аллану не мешали выполнить возложенное на него поручение, весьма почетное для него самого и чрезвычайно важное для интересов короля; он высказал надежду, что старший брат ничего не будет сообщать Аллану, дабы не создавать повода к раздорам и не отвлекать его мыслей от столь важного дела.

Ангюс отвечал довольно мрачно, что он не подстрекатель и не зачинщик ссор и предпочел бы играть роль миротворца. Брат его не хуже других умеет постоять за себя, а что касается сообщений, то всем хорошо известно, что Аллан получает вести из своих особых источников, помимо обыкновенных гонцов. При этом Ангюс добавил, что он нисколько не будет удивлен, если Аллан появится среди них раньше, чем его можно было бы ожидать.

Единственное, чего удалось добиться Монтрозу, было обещание Ангюса не вмешиваться: столь добродушный при всех иных обстоятельствах, Ангюс становился непреклонен, когда дело касалось его гордости, выгоды или предрассудков. Маркизу ничего не оставалось, как прекратить разговор.

Можно было думать, что гораздо охотнее согласится быть свидетелем брачной церемонии и, уж разумеется, не откажется от свадебного пиршества другой гость, а именно сэр Дугалд Дальгетти, которого Монтроз счел нужным пригласить, как участника всех предшествующих событий. Однако и сэр Дугалд выказал заметное колебание; посматривая на локти своей куртки и протертые колени кожаных штанов, он пробормотал слова благодарности за приглашение, обещая по возможности воспользоваться им, предварительно посоветовавшись с женихом. Монтроз был несколько озадачен, но почел ниже своего достоинства выразить неудовольствие и предоставил сэру Дугалду действовать по собственному усмотрению. Тот немедленно отправился в комнату жениха, который из своего скудного походного гардероба пытался выбрать платье, наиболее пригодное для предстоящего венчанья. Войдя, сэр Дугалд торжественно поздравил Ментейта

с предстоящим бракосочетанием, свидетелем которого, добавил он, к великому своему сожалению, быть не может.

— Говоря откровенно,— продолжал он,— я просто опозорил бы вас своим присутствием: у меня нет свадебного наряда; дыры, прорехи и продранные локти в одежде гостя могли бы быть приняты за плохое предзнаменование для вашей будущей семейной жизни; и, если хотите знать правду, милорд, вы отчасти сами виноваты, ибо зря послали меня взять кожаное платье из добычи, доставшейся Камеронам: вы могли с таким же успехом послать меня вытаскивать фунт масла из пасти терьера. Меня встретили, милорд, занесенными мечами и кинжалами и рычаньем на тарабарском наречии, которое они именуют своим языком. Что до меня, то я считаю горцев ничуть не лучше настоящих язычников и был сильно возмущен тем, каким образом мой приятель Раналд Мак-Иф час тому назад соизволил отправиться в свой последний поход.

Находясь в том счастливом состоянии, когда человека все веселит, Ментейт отнесся к жалобам сэра Дугалда как к забавной шутке. Он попросил майора принять в подарок прекрасный кожаный камзол.

— Я хотел было сам надеть его,— сказал граф,— ибо он показался мне наименее устрашающим из всех моих воинских одеяний, а другой одежды у меня здесь нет.

Сэр Дугалд рассыпался в извинениях, уверяя, что ни в коем случае не хочет лишать... и так далее и так далее...— пока ему вдруг не пришла в голову счастливая мысль, что, по военным правилам, графу приличествует венчаться в панцире и нагруднике, как венчался принц Лео Виттельбахский с младшей дочерью старого Георга Фридриха Саксонского в присутствии доблестного Густава-Адольфа, Северного Льва и прочая и прочая. Ментейт весело рассмеялся и полностью согласился с майором, обеспечив себе таким образом хотя бы одно довольное лицо на свадебном пиру. Ментейт надел парадную кирасу, прикрыв ее бархатным камзолом и голубым шарфом, повязанным через плечо, согласно и своему званию, и моде того времени.

Все приготовления были закончены. По обычаю страны, жених и невеста не должны были видеться до той минуты, когда они вместе предстанут перед алтарем. Уже пробил час, назначенный для венчания, и жених в маленьком преддверии перед часовней дожидался маркиза, который согласился быть его шафером. Непредвиденные дела задерживали маркиза, и Ментейт с понятным нетерпением ждал его прихода. Услышав, как отворяется дверь, он сказал шутливо:

— Вы опаздываете на парад.

— Не рано ли я пришел? — отвечал Аллан Мак-Олей, врываясь в комнату.— Обнажи шпагу, Ментейт, и защищайся, как мужчина, или умри, как собака!

— Ты не в своем уме, Аллан! — воскликнул Ментейт, пораженный не столько внезапным появлением ясновидца, сколько его неистовой яростью.

Щеки Аллана покрылись мертвенной бледностью, глаза готовы были выскочить из орбит, на губах выступила пена, он метался по комнате, как бесноватый.

— Лжешь, предатель! — кричал он в исступлении.— Ты лжешь сейчас, как лгал мне раньше. Вся твоя жизнь — одна только ложь!

— Разве я неправду сказал, назвав тебя безумцем? — сказал Ментейт с возмущением.— Иначе твоя жизнь немногого бы стоила. В какой лжи ты обвиняешь меня?

— Ты мне сказал,— ответил Мак-Олей,— что не женишься на Эннот Лайл. Гнусный предатель! Она уже ждет тебя у алтаря.

— Это ты говоришь неправду,— возразил Ментейт.— Я сказал, что ее темное происхождение — единственное препятствие к нашему браку; это препятствие устранено. А кто ты такой, чтобы ради тебя я отказался от своего счастья?

— Так обнажи шпагу,— сказал Мак-Олей.— Говорить нам больше не о чем.

— Не сейчас и не здесь,— отвечал Ментейт.— Ты меня знаешь, Аллан... Подожди до завтра, и мы будем драться сколько тебе угодно.

— Сейчас... сию минуту... или никогда! — сказал Мак-Олей.— Твой час пробил, я не дам тебе больше торжествовать, Ментейт! Заклинаю тебя нашим кровным родством, нашим общим делом и общими битвами, обнажи шпагу и защищай свою жизнь!

С этими словами он схватил графа за руку и стиснул ее с такой неистовой силой, что кровь выступила у того из-под ногтей. Ментейт резко оттолкнул его, воскликнув:

— Прочь, безумец!

— Итак, да сбудется мое предвидение! — сказал Аллан и, выхватив кинжал, со всей своей исполинской силой ударил им графа в грудь.

Острие клинка скользнуло вверх по стальному панцирю и глубоко вонзилось между плечом и шеей; сила удара сразила Ментейта, и он упал, обливаясь кровью. В эту минуту Монтроз

вошел в преддверие, а привлеченные шумом свадебные гости в испуге и недоумении отворили двери часовни; но прежде чем Монтроз понял, что случилось, Аллан Мак-Олей стремительно промчался мимо него и с быстротой молнии сбежал по лестнице замка.

— Стража! Ворота на запор! — крикнул Монтроз.— Держите его! Убейте, если будет сопротивляться! Клянусь, он умрет, будь он мне хоть брат родной!

Но Аллан вторым ударом кинжала уложил на месте часового, словно горный олень промчался через весь лагерь, преследуемый всеми, кто слышал приказ Монтроза, бросился в реку, переплыл ее и, выйдя на берег, вскоре исчез из виду, скрывшись в лесу.

В тот же вечер брат его Ангюс вместе со всем своим кланом, покинув лагерь Монтроза, отправился домой и никогда уж больше не присоединялся к его войскам.

Об Аллане же ходила молва, что он чуть ли не назавтра после совершенного злодеяния ворвался в один из залов замка Инверэри, где в это время Аргайл собрал военный совет, и бросил на стол свой окровавленный кинжал.

— Кровь Джеймса Грэма? — спросил Аргайл, с диким злорадством и вместе с тем со страхом глядя на внезапного посетителя.

— Это кровь его любимца,— отвечал Мак-Олей,— кровь, которую мне было предначертано пролить, хотя я охотнее отдал бы свою собственную.

Промолвив эти слова, Аллан повернулся, выбежал вон из комнаты и тотчас покинул замок; и с этой минуты ничего достоверно не известно о его судьбе. Говорят, будто вскоре после этого видели, как Кеннет, внук Раналда Мак-Ифа, с тремя другими Сынами Тумана переплывал озеро Лох-Файн, и, по мнению многих, они выследили Аллана и настигли его в чаще леса, где он и погиб от их руки. Другие утверждали, что Аллан Мак-Олей покинул Шотландию, постригся в монахи и умер в одном из картезианских монастырей. Но и то и другое мнение ничем, кроме догадок, не подтверждалось.

Однако месть его оказалась не столь полной, как он, вероятно, думал, ибо Ментейт, хотя и раненный столь тяжело, что жизнь его долго находилась в опасности, избежал рокового конца благодаря тому, что, следуя совету майора Дальгетти, облачился перед бракосочетанием в стальную кирасу. Но служба его в армии Монтроза кончилась; было решено, что он отправится вместе со своей нареченной супругой, чуть было не став-

шей печальной вдовицей, и с тяжелораненым будущим тестем, сэром Дунканом, в замок Арденвор. Дальгетти сопровождал их до берега озера и при расставании не преминул напомнить Ментейту о необходимости возвести форт на холме Драмснэб, дабы защитить новоприобретенное наследство его супруги.

Они благополучно совершили путешествие, и спустя несколько недель Ментейт настолько оправился, что мог обвенчаться с Эннот в замке ее отца.

Горцы были несколько озадачены тем, что Ментейт выздоровел, несмотря на пророчество ясновидца, а наиболее испытанные прорицатели даже сердились на него за то, что он не умер. Многие же, напротив, считали, что пророчество все-таки исполнилось, ибо рана Ментейта была нанесена той самой рукой и тем самым оружием, которые являлись Аллану в его видениях. Что касается кольца с мертвой головой, то все сошлись на том, что оно и послужило предзнаменованием смерти отца невесты, прожившего всего несколько месяцев после свадьбы дочери. Впрочем, маловеры утверждали, что все это лишь пустые бредни, что видения Аллана были не что иное, как игра его больного воображения, что он давно уже видел в Ментейте своего счастливого соперника, и его необузданная страсть внушила ему мысль об убийстве.

Здоровье Ментейта все же не позволило ему быть участником блестящих, но кратковременных успехов Монтроза, и когда этот доблестный полководец распустил свое войско и покинул Шотландию, Ментейт решил вести мирную жизнь у семейного очага; так он прожил до самой реставрации Стюартов. После этого события он занимал в стране положение, соответствующее его званию, жил долго и счастливо, окруженный уважением и любовью, и умер в глубокой старости.

Наши dramatis personae[1] столь немногочисленны, что, за исключением Монтроза, чья жизнь и дела — достояние истории, нам остается упомянуть только о судьбе сэра Дугалда Дальгетти. Этот честный воин продолжал с педантичной точностью нести свои обязанности и получать жалованье, пока в числе других не попал в плен в битве при Филипхоу. Ему предстояло разделить участь своих собратьев — офицеров, присужденных к смертной казни,— не столько по приговору гражданского или военного суда, сколько по обвинению с церковной кафедры, ибо духовенство решило пролить кровь во искупление грехов всей

---

[1] Действующие лица *(лат.)*.

страны, и их постигла кара, которой некогда подверглись ханаанеяне.

Однако несколько офицеров из предгорья, служивших в войсках парламента, вступились за Дальгетти и убедили свое начальство, что его военное искусство может пригодиться в их армии, а уговорить его переменить службу будет нетрудно. Но они неожиданно натолкнулись на решительный отказ. Дальгетти заявил, что поступил на службу к королю на определенный срок, и до истечения этого срока не может быть и речи о переходе в другую армию. Сторонники ковенанта, однако, не признавали таких тонкостей, и Дальгетти грозила опасность стать мучеником не ради тех или иных политических убеждений, а лишь из-за своих собственных понятий о долге наемного солдата. К счастью, его друзья высчитали, что оставалось всего каких-нибудь две недели до истечения срока его контракта, нарушить который никакие силы земные не могли заставить майора, хотя не было ни малейшей надежды на его возобновление. Не без труда удалось выхлопотать ему отсрочку казни на эти две недели, по прошествии которых он охотно согласился подписать новые условия, поставленные его доброжелателями. Таким образом, он очутился в войсках парламента и дослужился до чина майора в отряде Гилберта Кэра, обычно называемом Пресвитерианской конницей.

О дальнейшей его судьбе нам ничего не известно, кроме того, что он наконец овладел своим родовым поместьем Драмсуэкит, взяв его, однако, не в бою, а мирно вступив в брак с Ханной Стрэхен, особой довольно почтенного возраста и вдовой того самого пресвитерианина, который некогда присвоил себе его владения.

По-видимому, сэр Дугалд пережил революцию, ибо не столь давнее предание повествует о том, как он колесил по всей округе — очень старый, очень глухой, но по-прежнему плетущий нескончаемые бредни о бессмертном Густаве-Адольфе, этом Северном Льве и оплоте протестантской веры.

# ПРИМЕЧАНИЯ

Романы «Пуритане» («Old Mortality») и «Легенда о Монтрозе» («A Legend of Montrose»), входящие в цикл «Рассказы трактирщика» («Tales of My Landlord»), относятся к начальному этапу творчества Скотта-романиста, до того прославившегося как поэт. Их появление сопряжено с довольно любопытной историей.

Свой первый роман «Уэверли, или Шестьдесят лет тому назад» (1814) Скотт издал анонимно, причиною чему послужили два обстоятельства. Во-первых, в то время роман считался если не «низменным» жанром, то, во всяком случае, уступающим по значению жанрам поэтическим, и Скотт опасался, что, издав «Уэверли» под собственным именем, он в известной мере подорвет свою репутацию поэта. Вторая и, пожалуй, главная причина заключалась в следующем. В XVIII и начале XIX века в большом ходу были всякого рода литературные мистификации и фальсификации, доходили даже до того, что фабриковали письма и дневники Шекспира. Не чужд был склонности к мистификации и Вальтер Скотт — достаточно сказать, что все стихотворные эпиграфы к главам его романов, где в подписях вместо имени автора стоит просто «старая пьеса» или «старая баллада», написаны им самим. Следующие его романы — «Гай Мэннеринг» (1815) и «Антикварий» (1816) — были подписаны «Автор Уэверли». Романы эти сразу же приобрели огромный успех у публики, и вопрос их атрибуции волновал самые широкие круги читателей. О личности автора, тогда обычно называемого «Великим Незнакомцем», догадывались многие, сам же он не открывался никому, кроме некоторых близких друзей.

Вскоре Скотт решил создать себе вторую литературную маску. В 1816 году под общей рубрикой «Рассказы трактирщика» были изданы два новых произведения Скотта: повесть «Черный карлик» и роман «Пуритане». Чтобы окончательно «замести следы», Скотт печатал «Рассказы трактирщика» не в издательствах Бадлантайна и Констебля, как другие свои романы, а в издательстве Блэквуда. Рукописи их были яко-

бы проданы издателю неким Джедедией Клейшботэмом, провинциальным школьным учителем и приходским клерком, написаны же были его помощником Питером Петтисоном по рассказам хозяина местного трактира. Это дало Скотту возможность позабавиться полупародийными стилизациями предисловий и примечаний, написанных от лица Клейшботэма.

На этот раз мистификация не удалась. Если подлинный автор и не был опознан, то все единодушно сошлись во мнении, что автор «Уэверли» и автор «Рассказов трактирщика» — одно лицо. Издатель Джон Марри в письме к Скотту заявил, что автор романов — «или Скотт, или дьявол». Скотт не признался и тут, взамен чего предложил Марри написать рецензию на новые романы, которая и появилась в издаваемом последним журнале «Куортерли ревью». Скотт судил о «новоявленном авторе» достаточно строго; значительную часть рецензии занимало опровержение разбора «Пуритан», сделанного неким доктором Мак-Кри, где анонимный автор обвинялся в несправедливом освещении ковенантеров. В той же рецензии Скотт сделал весьма «прозрачный» намек на то, что истинный автор романов — его родной брат Томас, тогда живший в Канаде.

Скотт считал «Пуритан» своим лучшим созданием. В некоторых письмах, подчеркивая, что автор — не он, Скотт отзывался о книге как о «воистину очень хорошем» и «совершенно необычайном произведении» и признавался, что в течение многих лет ничто не заставляло его так смеяться, как некоторые эпизоды этого повествования.

«Пуритане» — первый роман Скотта, написанный целиком по книжным материалам. По сравнению с его предыдущими романами, он отличается гораздо большей широтой охвата действительности, яркостью и разнообразием выведенных в нем характеров. Именно в этом романе впервые отчетливо выразилось значение Скотта, по словам В. Г. Белинского давшего «историческое и социальное направление новейшему европейскому искусству» [1]. Не случайно, по свидетельству П. Лафарга, Маркс считал «Пуритан» образцовым произведением [2].

Закреплением творческих завоеваний Скотта явилась «Легенда о Монтрозе» (1819), изданная в третьем выпуске «Рассказов трактирщика» вместе с романом «Ламмермурская невеста». Оба эти романа Скотт диктовал во время чрезвычайно тяжелой болезни и впоследствии сам признавался, что из-за этого «Легенда о Монтрозе» написана неровно. И все же «Легенда о Монтрозе» отличается всеми достоинствами, характерными для прозы Скотта: проникновением в суть исторических событий, поразительной пластикой описаний, яркостью и темпераментностью массовых сцен, а главное, тем, что можно назвать «архео-

[1] В. Г. Белинский, Собр. соч. в 3-х томах, т. 2, М. 1948, стр. 300.
[2] «Маркс и Энгельс об искусстве», т. 2, М. 1957, стр. 582.

логией характера» и что, по сути дела, и составляет основу исторического жанра как такового. Особенно заслуживает быть отмеченным образ наемного солдата Дугалда Дальгетти — одно из самых ярких и незабываемых созданий великого романиста.

После третьего выпуска «Рассказов трактирщика» Скотту, который «возвысил роман до степени философии истории» [1], окончательно было предоставлено почетное место в истории мировой литературы.

Как «Пуритане», так и «Легенда о Монтрозе» были впервые изданы на русском языке в 1824 году — подобно другим его произведениям, в переводах с французских переводов: «Шотландские пуритане», перевод В. Соца, Москва, типография Селивановского; и «Выслужившийся офицер, или Война Монтроза», Москва, типография Кузнецова (переводчик не назван). Ранние русские переводы Скотта В. Г. Белинский охарактеризовал как «безобразные и чудовищные» [2]. Тем не менее популярность Скотта в России всегда была огромна, и она, разумеется, только возросла при появлении переводов, выполненных непосредственно с оригинала. Романы, включенные в настоящий том, подобно другим произведениям Скотта, издавались на русском языке неоднократно, как отдельными книгами, так и в составе собраний сочинений, из которых наиболее полным, научно авторитетным и ценным в отношении качества переводов является: Вальтер Скотт, Собрание сочинений в двадцати томах. Под общей редакцией Б. Г. Реизова, Р. М. Самарина, Б. Б. Томашевского, Гослитиздат, М.—Л. 1960—1965. Тексты романов В. Скотта, выбранных для настоящего издания, воспроизводятся по указанному Собранию сочинений.

Мы знаем восторженные отзывы о Скотте, данные Пушкиным, Гоголем, Денисом Давыдовым (состоявшим со Скоттом в переписке) и другими русскими писателями. Большой похвалою Скотту служат несколько строк из «Героя нашего времени» Лермонтова. Вспомним — накануне дуэли с Грушницким Печорин принимается читать «Пуритан»:

«...я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом... Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?..

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились» [3].

Немало глубоких и метких замечаний о Скотте принадлежит В. Г. Белинскому, очень высоко ценившему великого шотландского писателя. «По художественному достоинству своих романов,— писал Белинский,— Вальтер Скотт стоит наряду с величайшими творцами всех веков и народов» [4].

*В. Рогов*

---

[1] О. Бальзак, Собр. соч. в 15-ти томах, т. 1, М. 1951, стр. 5.
[2] В. Г. Белинский, op. cit., стр. 576.
[3] М. Ю. Лермонтов, Полн. собр. соч., т. 4, М.—Л. 1948, стр. 127.
[4] В. Г. Белинский, op. cit., стр. 40.

Стр. 21—22. *Ковенантеры* — сторонники независимой пресвитерианской церкви в Шотландии. В 1558 г. шотландские протестанты, объединившись для защиты своего исповедания, составили так называемый ковенант (covenant — по-английски — договор, соглашение), в котором декларировали свою решимость отстаивать пресвитерианское исповедание от посягательств со стороны католической реакции и англиканской церкви. В 1638 г. старый ковенант был подтвержден новым. Ковенант 1638 г.— документ, в котором содержится торжественная клятва шотландских пресвитериан бороться с абсолютизмом Карла I в вопросах религии и отстаивать пресвитерианство в Шотландии в том виде, в каком оно было установлено в эпоху Реформации. Карл I, стремившийся подчинить короне шотландскую церковь, как это имело место в Англии, встретил упорное сопротивление своим планам. Ковенант объединил широкие народные массы. Переговоры, которые вел в Шотландии по поручению короля герцог Гамильтон, не привели ни к чему. В Шотландии разразилось восстание, известное в истории под названием «епископских войн». В 1643 г. шотландские ковенантеры заключили с лондонскими пресвитерианами, партия которых играла в то время руководящую роль в парламенте, договор о совместной борьбе против роялистов. Этот договор, то есть Торжественная лига и ковенант, содержал в себе пункт о введении в Англии церковных порядков, близких к шотландским. Выполняя свои обязательства, шотландцы в 1644 г. оказали английскому парламенту помощь вооруженными силами.

Стр. 22. *Камеронцы* — последователи пресвитерианского проповедника Ричарда Камерона, основателя непримиримой по отношению к англиканству религиозной секты. Отказываясь повиноваться Карлу II, отрицая его авторитет в вопросах религии и отвергая индульгенцию (см. прим. к стр. 66—67), Камерон в 1680 г. «объявил войну» правительству Карла II. В одной из стычек с правительственным отрядом Камерон был убит (1680).

*Иаков II* (1633—1701) — английский король с 1685 по 1688 г., изгнанный из пределов Англии революцией 1688 г., возведшей на престол его зятя, голландского штатгальтера Вильгельма Оранского. Кратковременное царствование Иакова II отмечено усилением в стране позиций католицизма и гонениями на пресвитериан.

*Аргайл* Арчибалд — сын маркиза Аргайла, шотландского политического деятеля, казненного правительством Карла II после Реставрации, в 1661 г. Обвиненный в государственной измене и осужденный на смертную казнь, Аргайл бежал в Голландию (1681). В 1685 г. он возглавил шотландский отряд экспедиции, направленной эмигрантами одновременно в Англию и Шотландию с целью свержения Иакова II, пре-

емника на английском престоле недавно умершего Карла II. Высадившись в Шотландии, он не смог, однако, поднять восстание; вскоре его отряд был рассеян, а сам он схвачен, осужден и казнен в Эдинбурге в том же 1685 г.

*Монмут* Джеймс Скотт (1649—1685) — побочный сын Карла II. Занимал при Карле II ряд крупных военных постов, в частности был главнокомандующим правительственных войск в Шотландии во время подавления восстания ковенантеров, описанного в «Пуританах». Монмут тем не менее пользовался симпатиями пресвитериан, видевших в нем возможного наследника престола и связывавших с ним надежды на прекращение религиозных преследований. В 1683 г. Монмут был обвинен в государственной измене за участие в заговоре, прощен Карлом II, но изгнан из Англии. В 1685 г. одновременно с Аргайлом он был направлен эмигрантами в Англию. Высадившись в Англии, Монмут провозгласил себя королем, был разбит при Седжмуре и, несмотря на покаянное письмо, направленное им королю Иакову II, казнен в Лондоне в 1685 г.

*Прелатисты* — сторонники англиканской церкви, управляемой епископами, или прелатами.

*Виги* — в XVII в. шотландские пресвитериане, противники Стюартов.

Стр. 24. *Беньян* Джон (1628—1688) — известный английский писатель, автор романа «Странствия паломника». Беньян — страстный проповедник пуританства, идеологии поднимающейся английской буржуазии XVII в. Человек из народа, по профессии медник, убежденный демократ и республиканец, он с восемнадцати лет служил в армии Кромвеля. После Реставрации Беньян отбыл двенадцать лет тюремного заключения, во время которого и написал свою книгу.

Стр. 25. *...в памятный 1715 год...*— Речь идет о восстании 1715 г., поднятом шотландскими якобитами (приверженцами дома Стюартов) в интересах Карла-Эдуарда, сына Иакова II. Возглавлял это восстание граф Мар, за которым пошли горные кланы. Восстание не было поддержано населением равнинной Шотландии, и к концу года правительственные войска разгромили повстанцев. В горной части Шотландии вплоть до середины XVIII века сохранялись почти нетронутыми феодальные отношения, и в этом — объяснение реакционной роли горцев во время буржуазной революции и их участия во всех последующих реакционных восстаниях якобитов.

*...зимой 1745/46 года...*— В 1745 г. в горной Шотландии вспыхнуло еще одно восстание якобитов, стремившихся возвести на английский престол Карла-Эдуарда, сына упоминавшегося в предыдущем примечании претендента. Вскоре после подавления восстания (1746) были уничтожены кланы и проведены различные мероприятия, способство-

вавшие ликвидации в горной Шотландии феодализма. Якобитское восстание 1745—1746 гг.— последняя попытка Шотландии отделиться от Англии.

Стр. 26. *Карл II* — сын казненного короля Карла I. После смерти Кромвеля (1658) возвратился из эмиграции в Англию и в 1660 г. был коронован. Реставрация сопровождалась массовыми репрессиями по отношению к деятелям республики, реакцией во всех областях политической и общественной жизни, усилением религиозной нетерпимости. В Шотландии во время Реставрации произошел ряд больших и мелких восстаний. Религиозное движение здесь сочеталось с освободительной борьбой против англичан и борьбою буржуазии (в Шотландии в этот период еще очень слабой) в союзе с ремесленниками (страдавшими от экономического застоя) и крестьянством (разоренным «огораживаниями») против земельной аристократии, судорожно цеплявшейся за свои феодальные права и привилегии.

Стр. 29. *Старый Нол* — прозвище Оливера Кромвеля (1599—1658), вождя английской буржуазной революции 1642—1660 гг.

*Протектор* — титул Кромвеля с 1653 г.

*Господин Молчание* — еще одно прозвище Кромвеля.

Стр. 31. *Нарушить спящих вечный сон?* — Джон Лэнгхорн (1735—1779), английский поэт. Цитата взята из поэмы «Мертвец».

Стр. 34. *Хемпден* Джон (1594—1643) — двоюродный брат Кромвеля, революционный деятель, боровшийся с епископальной церковью и во многом содействовавший уничтожению епископата (1643). Избранный в парламент. Хемпден стоял на страже интересов умеренных слоев буржуазии, готовых на компромисс с королевской властью. Впрочем, когда выяснилось, что компромисс невозможен, Хемпден как член Комитета безопасности развил кипучую деятельность, организуя и снаряжая армию для борьбы с роялистами. В битве при Челгров-филде (1643) Хемпден был смертельно ранен.

*Хупер* Джон — епископ глостерский, протестант, сожжен, как еретик, в 1555 г.

*Лэтимер* Хью (1485—1555) — епископ вустерский, протестант, сожжен, как еретик, в 1555 г.

Стр. 37. *...правилу царя Соломона...*— В. Скотт имеет в виду следующие слова из так называемых притчей Соломона (Библия): «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его».

Стр. 42. *Драйден* Джон (1631—1700) — английский поэт и драматург.

Стр. 43. *Лорд-лейтенант* — командующий вооруженными силами графства.

*Шериф* — глава администрации графства.

*...кальвинистские взгляды...*— Кальвинисты — последователи Жана Кальвина (1509—1564), одного из наиболее видных деятелей Реформации. Наибольшее распространение кальвинизм получил во французской Швейцарии (родина Кальвина) и во Франции, среди французских протестантов (гугенотов). Кальвин требовал от своих приверженцев сурового аскетизма и нетерпимости ко всем инакомыслящим.

Стр. 44. *Королевское местечко* (англ. borough) — населенный пункт, имеющий право посылать своих представителей в парламент.

Стр. 45. *Монтроз* Джеймс Грэм, маркиз (1612—1650) — вождь контрреволюции в Шотландии; активно боролся с ковенантерами. В 1643—1645 гг. одержал ряд побед, но в конце концов был разбит при Филипхоу, после чего был вынужден бежать из Шотландии. В 1650 г. высадился в Шотландии с намерением поднять восстание в интересах Карла II, но был схвачен и казнен в Эдинбурге.

Стр. 46. *Красные куртки* — прозвище, данное английским солдатам, так как они носили мундиры красного цвета.

*Килсайт и Типпермур* — места битв Монтроза с ковенантерами.

Стр. 48. *...на злосчастном поле под Вустером...*— Битва под Вустером (1651) закончилась решительной победой Кромвеля над роялистами.

Стр. 49. Ла *Кальпренед* Готье (1610—1663) — французский писатель, автор романов и драм. Упоминаемый в тексте роман «Клеопатра» — одно из наиболее известных произведений Кальпренеда.

*Скюдери* Мадлена (1607—1701) — французская писательница, автор многотомных романов так называемого прециозного стиля. Скюдери пользовалась в свое время большой известностью. Наиболее знаменитый ее роман — «Артамен, или Кир Великий» (1649—1653).

*...рухнул вниз, доспехами звеня* — цитата из поэмы шотландского поэта Томаса Кэмбела (1777—1844) «Утехи надежды».

Стр. 52. *Мальволио* — персонаж из комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», слуга Оливии. В. Скотт имеет в виду 5 сцену III акта этой комедии, где Мальволио, размечтавшись и представив себе великолепие, среди которого ему предстоит жить, говорит: «...семеро моих слуг послушным движением направляются за ним (дядюшкой Тоби); тем временем я хмурю брови и, быть может, завожу мои часы».

Стр. 53. *Данбар, Инеркейтинг* — населенные пункты, близ которых происходили битвы Монтроза с ковенантерами.

*Марстон-мур, Филипхоу* — населенные пункты, где происходили битвы роялистов и ковенантеров.

*Круглоголовые* — презрительное прозвище, данное роялистами пуританам и сторонникам Кромвеля в Долгом Парламенте (1640—1653). Пуритане коротко стригли волосы и не носили пышных локонов, как кавалеры, то есть роялисты.

Стр. 55. *Роланд* — главный герой поэмы Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд».

Стр. 57. *...не иначе, как Гаем-трактирщиком.*— Гай-трактирщик получил это прозвище, очевидно, в память о Гае Гракхе, народном трибуне Древнего Рима, пламенном ораторе, человеке твердых принципов.

Стр. 59. *...бесчестного возлюбленного несчастной королевы Марии...* — Речь идет о графе Босуэле, убийце супруга Марии Стюарт — Дарнлея. Через несколько месяцев после убийства последовал брак Марии с Босуэлом. С этого времени начались ее злоключения. Восставшими подданными она была свергнута с престола и заточена в замке Лох-Левен. Бежав оттуда, она перебралась в Англию, где королева Елизавета, продержав ее восемнадцать лет в заключении, в конце концов осудила на смерть. В 1587 г. Мария Стюарт была казнена.

Стр. 61. *...на кобылке, выращенной из желудя...*— Речь идет о принятом в те времена дисциплинарном взыскании, состоявшем в том, что провинившегося солдата сажали на большую деревянную лошадь и держали его на ней с мушкетами, подвязанными к ногам.

Стр. 63. *Рабсак* — имя упоминаемого в Библии посланца царя ассирийского. Рабсак хулил и поносил израильского бога; в языке пуритан Рабсак — олицетворение наглости и нечестия.

Стр. 66. *Путь к славной смерти или к торжеству.*— Хотя этот эпиграф и приписан автором Джеймсу Даффу, он, как считают, сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 66—67. *Индульгенция.*— Под этим названием известен опубликованный в 1672 г. декрет Карла II, предоставлявший на известных условиях право свободного богослужения всем без различия исповеданиям. Так как этот декрет имел в виду не только пресвитериан всевозможных толков, но и католиков, он вызвал бурю негодования, и в 1673 г. Карл II под давлением парламента вынужден был издать так называемый Акт о присяге (Test Act), согласно которому всякое должностное лицо обязано было присягнуть, что оно не верит в таинство пресуществления, один из основных догматов католицизма.

Стр. 67. *...перед золотым тельцом...*— Берли говорит об одном из золотых тельцов, поставленных, по библейской легенде, царем израильским Иеровоамом в Вефиле и Дане.

Стр. 68. *Велиал* — по христианской мифологии, дьявол, толкающий людей к идолопоклонству, виновник всех людских злодеяний.

*Халфтекст* — имя (или прозвище) со значением «недоучка» — человек, знающий тексты Священного писания только наполовину; напротив, имя другого проповедника, Паундтекста, обозначает человека, хорошо знающего Священное писание.

Стр. 69. *«Резолюционисты»* — сторонники резолюций, принятых шотландским парламентом в 1650 г., после битвы при Данбаре. Этот доку-

мент приглашал всех шотландцев, приверженцев ковенанта, вступать в ряды армии, действующей против Кромвеля. «Протестующие» — противники этих резолюций.

Стр. 72. *...видела герцога... которому потом отрубили в Лондоне голову...* — Элисон, видимо, вспоминает о герцоге Джеймсе Гамильтоне, приближенном Карла II. Гамильтон был казнен правительством Кромвеля в 1649 г.

Стр. 74. *...страшную предсказывает повесть.* — Шекспир, «Генрих IV», ч. II (акт I, сц. 1).

Стр. 77. *Иеремия* — один из библейских пророков; библейская традиция приписывает ему авторство содержащихся в Библии Книг пророка Иеремии и Плача Иеремии.

Стр. 79. *Ваал* — верховное божество финикиян, культ которого получил широкое распространение в царстве Израильском; в языке Библии — олицетворение нечестия.

*Киссон* — река в Палестине; согласно библейской легенде, пророк Илия истребил на берегах этой реки многочисленных жрецов Ваала.

Стр. 80. *Мамона* — упоминаемое в Библии божество, олицетворяющее богатство.

*Латитудинарии* — представители направления внутри англиканской церкви, считавшего возможным соглашение с пресвитерианами в результате взаимных уступок.

*Сын Давидов* — то есть царь Соломон, которому Библия приписывает авторство так называемой книги Екклезиаста, проникнутой глубоким пессимизмом.

Стр. 82. *Рутвен* Патрик (1573—1651) — шотландец, один из видных генералов на службе шведского короля Густава-Адольфа. Принимал участие в борьбе шотландской контрреволюции с Кромвелем.

*Леслн* Александр (1580—1661) — шотландец, генерал, прослуживший около тридцати лет в шведской армии, один из военачальников Густава-Адольфа.

*Монро* Роберт (ум. в 1680 г.) — служил в войсках Густава-Адольфа, принимал участие в Реставрации.

Стр. 87. *...в семьдесят поздненько начинать.* — Шекспир, «Как вам это понравится» (акт II, сц. 3).

Стр. 89. *Малколм Кенмор,* или Большеголовый — Малколм III, король Шотландии (убит в 1093 г.). Царствование Малколма протекало в ожесточенной борьбе с завоевателями — норманнами. Род Белленденов, по-видимому, норманнского происхождения, и леди Маргарет намекает на какие-то события, связанные с этой борьбой.

Стр. 90. *Навуходоносор* (605—562 до н. э.) — царь Халдеи, во время похода на Египет разорил Иудею. Имя Навуходоносора неоднократно упоминается в Библии.

*...который поставил золотого истукана на поле Деир... и так же как Седрах, Мисах и Авденаго...*— Библейская легенда рассказывает, что Навуходоносор, завоевав Иудею, поставил на поле Деир золотого идола и велел ему поклоняться. Не выполнили царского повеления только Седрах, Мисах и Авденаго. По приказанию разгневанного царя ослушники были брошены в «пещь огненную», но огонь, убив их палачей, не причинил праведникам никакого вреда.

Стр. 91. *Злобный дух тысяча шестьсот сорок второго года...*— В 1642 году началась английская буржуазная революция. В том же году Карл I бежал на север Англии, после чего разразилась гражданская война.

Стр. 94. *Нонконформисты.*— В 1662 г. правительство Карла II провело через парламент так называемый Акт о единообразии в богослужении. Согласно этому акту, к богослужению могли допускаться лишь священники признанного правительством англиканского исповедания; около двух тысяч пресвитерианских священников в связи с этим вынуждены были покинуть свои общины. Лица, не подчинившиеся (по-английски подчиняться — to conform) этому акту, стали называться нонконформистами. Таким образом, нонконформисты — те же пресвитериане.

Стр. 95. *...попросту угождатель.*— Шекспир, «Двенадцатая ночь» (акт II, сц. 3).

Стр. 97. *Сенной рынок* — место в Эдинбурге, где происходили публичные казни.

*Эрастианство* — учение о подчинении церкви государственной власти. Ведет начало от Фомы Эраста (1524—1583), не признававшего за церковью права наказывать за грехи и преступления и считавшего, что карать — дело светских властей.

Стр. 101. *Джон Ячменное Зерно* (John Barleycorn) — в шотландском фольклоре олицетворение пива, браги или других алкогольных напитков.

Стр. 103. *Кора Линн* — один из порогов Клайда, близ Ланарка.

*Существует ковенант труда, существует и ковенант искупления?* — Босуэл, задавая свой вопрос Моз, имеет в виду шотландский национальный ковенант (1638), то есть торжественную клятву шотландских пресвитериан бороться за свои религиозные верования против англиканской церкви и поддерживавшего ее правительства Карла I. Таким образом, слово ковенант в устах Босуэла — символ неповиновения королевской власти. Кадди, говоря о ковенанте труда и ковенанте искупления, имеет в виду так называемый договор между богом и человеком, то есть повеление бога Адаму и Еве «трудиться в поте лица своего», и «договор», содержащийся в христианском вероучении об искуплении

греха верою. Босуэл, не зная пуританской терминологии, не понимает уловки Кадди и удовлетворяется ответом Моз.

Стр. 106. *Мерк* — старинная шотландская денежная единица, равная 13 шиллингам 4 пенсам.

Стр. 108. *...выпускать на свободу своих заключенных в темнице ангелов.*— Для понимания этих слов нужно знать, что фигурки на голландских часах действительно часто изображали ангелов и что в то время «ангелом» называлась английская золотая монета с изображением ангела.

Стр. 109. *Филистимляне* и *идумеи* — народы, упоминаемые в Библии как постоянные и злейшие враги иудеев. В языке пуритан, отождествлявших свою борьбу за пресвитерианство с борьбою иудеев против язычества,— символ нечестивости.

*Васан* — область в Палестине к востоку от Иордана, неоднократно упоминаемая в Библии. В земле Васан, по Библии, водилось много диких быков, отличавшихся свирепостью.

*...в подобающее вам кресло.*— Имеется в виду скамья, подвешенная к «журавлю», установленному на берегу реки или какого-нибудь водоема. На эту скамью усаживали сварливую женщину, привязывали ее и несколько раз окунали в воду.

Стр. 114. *Зифеи* — согласно библейской легенде, обитатели города и пустыни Зиф, отличавшиеся лживостью и вероломством.

*Антиномианство, лапсарианство, сублапсарианство* — различные религиозные течения внутри протестантской церкви.

Стр. 115. *...я французов встречал.*— Роберт Бернс (1759—1796), «Веселые нищие».

*...в один из заграничных шотландских полков.*— Шотландские наемники издавна служили на континенте. Подробнее об этих полках В. Скотт рассказывает в романе «Квентин Дорвард».

Стр. 116. *Пор-Рояль* — монастырь в Париже.

Стр. 118. *Монк* Джордж (1608—1670) — генерал республиканской армии, сражался с роялистами в Шотландии. После смерти Кромвеля (1658) начал переговоры с Карлом II и содействовал реставрации Стюартов на английском престоле.

Стр. 119. *В дни великого маркиза...*— Речь идет о Джеймсе Монтрозе (см. прим. к стр. 45).

Стр. 121. *Рочестер* — Джон Уилмот, граф Рочестер (1648—1680), приближенный Карла II, поэт.

*Бакингем* Джордж Вилльс (1627—1687) — роялист, приближенный Карла II, поэт и публицист.

*Танжер* — город в Северной Африке, полученный Карлом II в приданое за Екатериной, принцессой португальской; Танжер был оккупирован англичанами с 1662 по 1684 г.

*Шеффилд* Джон (1649—1721) — военный деятель царствования Карла II, автор исторических сочинений, драм, стихов.

Стр. 122. *...после Килсайтской победы...* — Битва при Килсайте (1645) закончилась поражением ковенантеров. Силами роялистов командовал неоднократно упоминаемый в «Пуританах» Монтроз.

Стр. 123. *Дэви* — один из персонажей пьесы Шекспира «Генрих IV», ч. II. В. Скотт имеет в виду акт V, сцену 3.

*...Когда здесь обедал как-то раз герцог...* — Гьюдьил говорит, очевидно, о герцоге Джеймсе Гамильтоне (см. прим. к стр. 72).

Стр. 124. *Апроши* — рвы с брустверами, обращенные в сторону неприятеля. При помощи апрошей осаждающие приближались, смыкая кольцо блокады, к стенам осажденной крепости.

Стр. 125. *...бежал от грозных волн?* — Мэтью Прайор (1664—1721), «Генри и Эмма».

Стр. 139. *...капитан им скомандовал: «Стой!»* — Джонатан Свифт (1667—1745), «Рассуждение о важнейшем вопросе: превратиться ли Гамильтонс-Бауну в казарму или солодовню».

*Кир Великий и Филипп Даст.* — Майор Белленден искажает подлинное имя одного из персонажей романа Мадлены Скюдери (см. прим. к стр. 49). «Кир Великий» (Филидасп). Dast по-английски значит «черт подери!». Отсюда реплика майора: Филипп Черт подери!

*Марк Антоний* (83—30 до н. э.) — римский полководец. В. Скотт намекает, очевидно, на какую-то конную статую Марка Антония.

Стр. 140. *...начитаться женевской стряпни?* — Майор намекает, видимо, на так называемую «Книгу дисциплины», в которой были изложены принципы организации и порядок богослужения в реформированной шотландской церкви (1560 и 1578). «Книга дисциплины» проникнута принципами кальвинизма, вот почему майор говорит о «Женевской стряпне». Вместе с тем geneva по-английски — можжевеловая водка, джин.

Стр. 142. *...Нол угостил нас под Вустером...* — Майор имеет в виду битву под Вустером (1651), в которой Кромвель нанес роялистам решительное поражение.

*...что были в ходу в Холирудском дворце...* — Холирудский дворец — резиденция шотландских королей в Эдинбурге.

Стр. 143. *«Ньюз леттер»* («Новости»). — Так назывались первоначально рукописные, непериодически выпускавшиеся листки, в которых наряду с известиями разного рода помещались также списки убитых и раненых офицеров.

*Мосье Скюдери... то же самое и господин д'Юрфе.* — Леди Маргарет ошибается, полагая, что автор «Кира Великого» — мосье Скюдери. В действительности «Кир» был написан сестрою Жоржа Скюдери, Мадленой Скюдери, издавшей первые свои произведения под именем брата.

Д'Юрфе Оноре (1567—1625) — французский романист, автор нескольких пастушеских романов. Наиболее известный из них — «Астрея».

Стр. 146. *Мараведи* — мелкая испанская монета.

Стр. 147. *...Такой уж обычай у путников есть.*— Мэтью Прайор, баллада «Даун-холл».

*Наказание суровое и тяжелое* — название казни путем удушения, применявшейся в Англии к лицам, обвиненным в государственной измене.

Стр. 158. *Остерегайтесь ревности, милорд.*— Шекспир, «Отелло» (акт III, сц. 3).

Стр. 160. *Дядюшка Тоби* — персонаж из «Двенадцатой ночи» Шекспира.

Стр. 161. *Миссис Куикли* — персонаж нескольких пьес Шекспира. В. Скотт имеет в виду следующие слова миссис Куикли: «...я хочу, чтобы Анну Пейдж получил мой хозяин, или чтоб ее получил мистер Слендер, или, по правде сказать, чтобы ее получил мистер Фентон» («Виндзорские насмешницы», акт III, сц. 5).

Стр. 165. *Судья Пересол* — персонаж из комедии Бена Джонсона (1573—1637) «Варфоломеевская ярмарка». Судья Пересол, стараясь раскрыть плутовство на ярмарке, попадает в нелепое положение: его самого задерживают, как мошенника.

Стр. 170. *Я больше не вернусь назад.*— Шотландская народная баллада «Джемми Телфер».

Стр. 173. *Гилеад* (Галаад) — область за Иорданом, неоднократно упоминаемая в Библии как центр язычества и нечестия. Пуританские проповедники называли римским Галаадом, или — в произношении Кадди — Гилеадом, епископальную церковь и поддерживавшее ее правительство. Кадди думает, что это населенный пункт на западе Шотландии.

Стр. 177. *Джок* — герой популярной шотландской баллады.

*Валентин* и *Орсон* — герои старинной французской народной повести с одноименным названием.

Стр. 178. *...как сломаны будут печати, и раздастся трубный глас, и изольют влагу сосуды!* — То есть до того, как начнется Страшный суд. Эти образы и выражения заимствованы из Библии (Апокалипсис).

Стр. 179. *Олоферн* — согласно библейской легенде, военачальник царя ассирийского Навуходоносора.

*Диотреф* — упоминается в Новом завете; в языке пуритан Диотреф — олицетворение надменности и заносчивости.

*Димас* — ученик и сотрудник апостола Павла, отошедший от христианства и ставший жрецом идолопоклонников. В языке пуритан — олицетворение алчности, кровожадности и развращенности.

Стр. 180. *...Окончить сделкой мировой* — строки из поэмы английского поэта Сэмюела Батлера (1612—1680), «Гудибрас» (песнь I).

Стр. 187. *...напоминает нашему майору скачку при Данбаре.*— 13 сентября 1650 г. произошло сражение при Данбаре, в котором Кромвель разгромил шотландцев-роялистов; почти вся шотландская армия была взята в плен, на поле боя осталось свыше трех тысяч убитых шотландцев.

Стр. 189. *...Скрестился с палицей булат.*— Сэмюел Батлер, «Гудибрас» (песнь II).

Стр. 192. *Дагон* — упоминаемое в Библии верховное божество финикиян с головой и руками человека и телом рыбы.

Стр. 194. *Меч господа и меч Гедеона!* — С этим возгласом, согласно библейскому рассказу, Гедеон и его воины устремились на мадианитян и их разгромили.

Стр. 199. *Гектор* — один из главных героев Троянской войны («Илиада» Гомера), сын царя Трои Приама.

Стр. 200. *...без всадника конь?* — Цитата из поэмы Томаса Кэмбела «Пророчество Лохиеля».

*...во время оно был бы назареем...*— Назареями называются в Библии избранные, особо набожные люди, связавшие себя разного рода обетами. Дальнейшие слова Моз — искаженная цитата, вернее вольный пересказ, 7—8 стихов 4 главы Плача Иеремии (Библия).

*Воанергес.*— Так названы в Евангелии Иаков и Иоанн, сыны Зеведеевы.

Стр. 202. *Моавитяне, идумеи, измаильтяне* — упоминаемые в Библии народы, жившие по соседству с иудеями. С этими народами иудеи постоянно вели упорные войны.

*Дебора* — библейская пророчица, отличавшаяся пламенным красноречием.

*Харошеф-Гоим* — родина многих врагов Израиля.

Стр. 203. *Семей* — враг царя Давида. Библия изображает его упрямым и кровожадным.

*Доик* — начальник пастухов царя Саула, донесший ему о местопребывании скрывшегося от Саула Давида. В языке пуритан Доик — олицетворение жестокости.

Стр. 204. *Хам* — младший сын Ноя, насмеявшийся, согласно библейской легенде, над наготой спящего отца. В языке пуритан Хам — олицетворение нечестия.

*Амалекитяне* — кочевой народ на юге Палестины, враждовавший с иудеями.

Стр. 205. *Тофет* — место к югу от Иерусалима, куда свозились трупы тех, кто, по представлению иудеев, был недостоин погребения в земле.

*Хавила* и *Сура* — города, упоминаемые в Библии.

Стр. 207. *...как будто бил он в барабан.*— Сэмюел Батлер, «Гудибрас» (песнь I).

Стр. 210. *Индепенденты* — религиозная протестантская секта, противившаяся иерархической организации церкви. Каждая церковная община, согласно учению индепендентов, представляет собою самостоятельную религиозную общину, независимую от вышестоящей церкви и подчиненную непосредственно самому Христу. В ходе революции индепенденты оформились как политическая партия, требующая установления республики. Лидером индепендентов был Оливер Кромвель. Основатель секты индепендентов — Роберт Браун (ум. в 1630 г.).

*Социниане* — рационалистическая протестантская секта, признававшая лишь Библию и Евангелие; основана Фаустом Социаном (1539—1604).

*Квакеры* — религиозная протестантская секта, основана Георгом Фоксом (1624—1690).

*...об оборонительных действиях и о сопротивлении Карлу II...*— Распространенное среди протестантов учение об оборонительных действиях признавало допустимость вооруженного сопротивления со стороны подданных в тех случаях, когда правительство, нарушая данные им обязательства, ущемляет свободу исповедания.

*Паралипоменон* (по-гречески — добавления) — две книги Библии, дополняющие Книги Царств.

Стр. 211. *Он сравнил ее с Агарью...*— В Библии рассказывается, что Авраам, уступив настояниям своей жены Сарры, отослал от себя свою рабыню Агарь, родившую ему сына Измаила. Агарь с Измаилом долго скитались в пустыне, Измаил совсем уже погибал от жажды, но посланный богом ангел указал Агари источник.

*Иуда.*— Имеется в виду колено Иудино, оплакивающее гибель Иерусалима, взятого и разграбленного Навуходоносором.

*Рахиль* — по библейской легенде, вторая дочь Лавана, полюбившая Иакова и прождавшая четырнадцать лет, пока они не вступили в брак. По истечении шести лет брака она родила сына Иосифа, а шестнадцать лет спустя — второго сына, Вениамина.

*Иаков* — библейский патриарх, родоначальник израильтян. Мак-Брайер называет Иаковом ковенантеров.

Стр. 212. *Маккавей* — возглавлял борьбу евреев с сирийцами, которых победил при Эммаусе (убит в 160 г. до н. э.).

*Мероз* — город в северной части Палестины, отказавший в помощи Деборе и Вараку во время битвы с Сисарою (Библия).

Стр. 213. *Сисара* — упоминаемый в Библии военачальник Иавина, царя Ханаанского, в течение двадцати лет угнетавший израильтян и в

конце концов разгромленный ими и убитый Иаилью, женою Хевера, в шатре которого он укрылся, спасаясь от преследования врагов.

Стр. 214. *И старец тоже может быть полезен.*— Шекспир, «Генрих IV», ч. II (акт V, сц. 3).

Стр. 215. *...Вино сильнее, чем мороз.*— Считается, что автор этой песенки сам В. Скотт.

Стр. 216—217. *Типпермур, Элфорд, Инверлохи, Олд-Эрн, Бриг-о-Ди, Филипхоу* — населенные пункты, близ которых произошли битвы Монтроза с ковенантерами. Во всех перечисленных битвах (кроме битвы при Филипхоу) Монтроз одержал победу.

Стр. 217. *«Тени грядущих событий».*— Томас Кэмбел, «Пророчество Лохиеля».

*Данди* — город и порт в Шотландии. В 1651 г. генерал Монк осадил Данди, защищаемый роялистами. После продолжительной осады город был взят.

Стр. 219. *Кулеврина* — длинная пушка (XVI в.).

*Фальконет* — артиллерийское орудие малого калибра, стрелявшее свинцовыми ядрами (XVI в.).

*Секер, полусекер, фалькон* — разновидности фальконета.

Стр. 220. *Не имея голубя...*— Библейская легенда рассказывает, что во время потопа Ной дважды выпускал из ковчега ворона, чтобы узнать, не схлынула ли вода; улетев во второй раз, ворон не возвратился. Тогда Ной послал с тою же целью голубя. Дважды вылетал голубь и наконец вернулся назад, держа в клюве свежий масличный лист. Тогда Ной понял, что вода схлынула.

Стр. 222. *«Хардиканут»* — баллада на шотландском диалекте, долгое время считавшаяся народной. Автор этой подделки — леди Уордлоу (1677 — около 1727). Хардиканут — датский и английский король Канут II (1019—1042).

Стр. 228. *Пок-пудинг* — обжора, презрительное прозвище, данное шотландцами англичанам.

Стр. 229. *А грозить ему напрасно.*— Бен Джонсон, «Алхимик» (акт III, сц. 1).

*...ни равнодушным лаодикейцем, ни безразличным к делам веры Галлионом...*— В Библии жители Лаодикеи (Сирия) обвиняются в равнодушии к делам веры; Галлион Люций Анней — римский проконсул в Ахайе (Греция) в 51—52 гг. н. э., брат знаменитого философа и писателя, воспитателя Нерона,— Сенеки. Во время волнений иудеев в Коринфе отказался разбирать их споры. В языке пуритан Галлион олицетворяет собой равнодушие и безучастность к общему делу.

Стр. 231. *Саруйя* — мать трех военачальников царя Давида. Сынами Саруйи здесь называются умеренные пресвитериане.

Стр. 236. *Роберт Брюс* — шотландский патриот, убил в 1306 г. Ко-

мина, английского ставленника, претендовавшего на шотландский престол, и стал шотландским королем. Независимость Шотландии была окончательно признана англичанами в 1329 г.

Стр. 237. *Столько же и мнений.*— Шекспир, «Троил и Крессида» (акт I, сц. 3).

Стр. 242. *Иезавель* — упоминаемая в Библии жена Ахава, отличавшаяся гордостью и порочностью. Под ее влиянием Ахав стал идолопоклонником и воздвиг алтари языческим богам. Царь Иуй, придя с воинами к дому Иезавели, велел выбросить ее из окна, и кони всадников растоптали ее насмерть. Труп Иезавели был отдан на съедение собакам.

Стр. 243. *Магор-Миссавив* — по-древнееврейски «ужас вокруг». Согласно библейской легенде, смотрителя храма, заключившего в темницу и жестоко избившего пророка Иеремию, звали Пасхор («мир вокруг»). Иеремия, после того как был выпущен из темницы, сказал ему, что он не Пасхор, а Магор-Миссавив.

Стр. 244. *Мюнстерские анабаптисты* — религиозная секта, сложившаяся в эпоху Крестьянской войны в Германии. Анабаптисты стремились к установлению равенства между всеми, проповедуя мелкобуржуазные уравнительные идеи.

Стр. 245. *Кардинал Битон* Дэвид (1494—1547) — архиепископ Сент-Эндрю. Битон беспощадно преследовал протестантов. После осуждения и сожжения Битоном протестантского проповедника Джорджа Уишарта протестанты решили расправиться с ним. Заговор против Битона возглавлял один из видных представителей шотландской знати — Норман Лесли. Заговорщики проникли в замок Битона и убили его.

Стр. 246. *...скорее на коней!* — Шекспир, «Генрих IV», ч. I (акт III, сц. 1).

Стр. 250. *...ты осталась жить.*— Считается, что автор этих стихов сам В. Скотт.

*«До сих пор, но не дальше».*— Эти и предыдущие строки восходят к «Книге Иова» (Библия) (глава 38, стих 11).

Стр. 252. *Финлей* Джон (1782—1810) — английский поэт и фольклорист, которого высоко ценил В. Скотт.

Стр. 261. *...за мной, на штурм!* — Шекспир, «Генрих V», ч. I (акт III, сц. 1).

Стр. 264. *Стентор* — греческий воин, участник Троянской войны, обладатель громового голоса.

Стр. 273. *...земли, ему подвластной.*— Шекспир, «Генрих IV», ч. I (у В. Скотта ошибочно указана ч. II), акт IV, сц. 4.

Стр. 276. *Фальстаф* — персонаж нескольких пьес Шекспира. Фальстаф — пьяница, обжора. Здесь имеется в виду сцена 2-я IV акта «Короля Генриха IV», ч. I. «Будь я просто селедка в рассоле,— говорит в

этой сцене Фальстаф,— если мне самому не стыдно за своих солдат. Я самым дьявольским образом злоупотребил доверием короля... Взамен полутораста новобранцев я получил триста с чем-то фунтов».

Стр. 285. *Аман* — согласно библейской легенде, вельможа и фаворит персидского царя Артаксеркса, стремившийся истребить всех иудеев, приготовил виселицу в пятьдесят локтей высоты, чтобы повесить на ней Мордухея, привратника в царском дворце, не желавшего падать ниц перед ним. Благодаря вмешательству Эсфири, ставшей женою царя, Аман впал в немилость и был повешен на виселице, воздвигнутой им для Мордухея.

Стр. 287. *...закон, предавший жителей Иерихона...*— Имеются в виду следующие слова, которые, согласно библейской легенде, бог сказал Иисусу Навину: «Вот я предаю в руки твои Иерихон, и царя его, и находящихся в нем».

Стр. 290. *«Эдом из Гордона»* — популярная шотландская народная баллада.

Стр. 308. *«Спасенная Венеция»* — трагедия английского поэта Томаса Отвэя (1651—1685).

Стр. 316. *...великий жрец всех девяти дев Парнаса...*— Так В. Скотт называет английского поэта Джона Драйдена (см. прим. к стр. 42). Приводимые в тексте романа стихи — из поэмы Драйдена «Авессалом и Ахитофель».

Стр. 321. *...солдат, // Одетых в красный цвет.*— Из песни ковенантеров, посвященной сражению у Босуэлского моста.

Стр. 323. *Акриды* — принятое в Библии название саранчи.

*Ахан* — один из воинов Иисуса Навина, скрывший, как рассказывает Библия, добычу, взятую им в Иерихоне. Сделав это, Ахан, по понятиям иудеев, преступил закон, так как иерихонская добыча была заранее обещана богу. Иудеи побили Ахана камнями.

Стр. 324. *Он не облекся в одежды вавилонские, но продал одежды праведника жене Вавилона...*— В рассказе Библии об Ахане среди его добычи упоминается взятая им одежда и двести сиклей серебра. «Жена Вавилона» в устах Многогневного — Эдит Белленден. В языке пуритан, так же как и в Библии, Вавилон — олицетворение разврата и нечестивости.

Стр. 325. *«По шатрам, о Израиль!»* — клич, заимствованный из текста Библии и означающий «расходитесь!».

Стр. 335. *Иегова-Ире* — «бог усмотрит» (древнеевр.). Так, по Библии, Авраам назвал то место на горе Мория, где готовился принести в жертву своего сына Исаака.

*...вяжите вервием жертву, ведите ее к рогам жертвенника!* — Псалтирь 117. 27.

Стр. 336. *И не совершал ли ты этих дел ради мадианитянки...*—

Как рассказывается в Библии, потомки Мадиана пытались при помощи женщин своего колена склонить израильтян к идолопоклонству и вовлечь их в разврат, чтобы вызвать на них божий гнев...

Стр. 339. *Ступени Ахазовы* — так в Библии называются солнечные часы.

Стр. 340. *...славы час один ценней // Безвестных долгих лет.*— Долгое время считалось, что автор этих строк сам В. Скотт. В действительности, как установлено английскими исследователями, их автор — майор Мордонт.

Стр. 344. *...чтобы он тебя, чего доброго, не укусил, в опровержение старой пословицы.*— Английская пословица, которую имеет в виду Клеверхауз,— «мертвые не кусаются».

*...и даже сталкивают нас со стульев.*— Шекспир, «Макбет» (акт III, сц. 4).

Стр. 345. *...суд на местах,— ужасающий вид.*— Джон Гей (1685—1732), «Опера нищих» (акт III, сц. 2).

Стр. 347. *Фруассар* Жан (ок. 1337—1411) — французский историк. Хроника Фруассара охватывает период с 1325 по 1400 г.

Стр. 352. *Сан-бенито* — грубое одеяние желтого цвета, в котором жертвы инквизиции, осужденные на сожжение, направлялись к месту казни.

Стр. 354. *Мой край родной, прощай!* — Байрон, «Паломничество Чайльд-Гарольда» (песнь I, строфа 13).

Стр. 356. *Каледонская уклончивость...*— Каледония — древнее название Шотландии.

Стр. 364. *...кто будет судить гору Исава...*— Здесь повторяются содержащиеся в Книге Иеремии (Библия) пророчества относительно судьбы, ожидающей потомков Исава, Иакова и Иосифа, предавшихся идолопоклонству. Та же судьба, по мысли Берли, ждет и всех гонителей истинной веры, то есть пресвитерианства.

Стр. 365. *А с кем время идет галопом?* — Шекспир, «Как вам будет угодно» (акт III, сц. 2).

*Розалинда* — персонаж из комедии Шекспира «Как вам это понравится». В. Скотт вспоминает о следующих словах Розалинды: «Время идет различным шагом с различными людьми. Я могу сказать вам, сударь, с кем оно идет иноходью, с кем рысью, с кем галопом, с кем стоит на месте» (акт III, сц. 2).

*...то есть с года революции.*— Речь идет о Славной революции 1688 г. По инициативе Сити представители знатных дворянских фамилий обратились к голландскому штатгальтеру Вильгельму Оранскому, зятю Иакова II, с просьбой о вооруженной интервенции (июнь 1688 г.). В ноябре Вильгельм высадился в Англии. Иаков, успевший за три года царствования возбудить всеобщую ненависть, покинутый всеми, бежал

во Францию. В 1689 г. Вильгельм был провозглашен королем Англии. Особой Декларацией прав Вильгельм обязался управлять страною в полном согласии с парламентом. Революция 1688 г. явилась завершением буржуазной революции 1642 года: она окончательно расчистила почву для развития капитализма в Англии.

Стр. 367. *Эме де Валанс* (ум. в 1260 г.) — епископ винчестерский, сводный брат короля Генриха III.

Стр. 370. *Мак-Кей* Хью (1640—1692) — шотландский генерал, служил во Франции, в Венеции, на острове Крит. В царствование Иакова II и в начале царствования Вильгельма командовал королевскими войсками в Шотландии. В битве при Килликрэнки (1689) потерпел поражение от вождя якобитов Клеверхауза.

Стр. 373. *...Любовь, которой больше нет.*— Джон Логан (1748—1788), «Смерть юной леди».

Стр. 377. *Джон Томсон* — персонаж шотландских народных рассказов, муж, которым помыкает жена.

Стр. 378. *Панч* — главный персонаж народного кукольного театра в Англии. Живой, находчивый, остроумный, он является выразителем народных идеалов и чаяний.

Стр. 380. *...вспоминая слова Евангелия...*— Имеются в виду следующие слова: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут два едина плоть».

Стр. 391. *Дельрио, Бортхуг и Деланкр* — авторы наиболее известных в XVII в. трактатов по демонологии.

Стр. 392. *Здесь годы детства я провел, // Еще невзгод не зная.*— Томас Грей (1716—1771), ода «Вид издали на Итонский колледж».

Стр. 398. *Аргус* — собака Одиссея (в поэме Гомера «Одиссея», песнь XVII). Один только Аргус узнал Одиссея, отсутствовавшего двадцать лет и возвратившегося домой в рубище нищего.

Стр. 401. *...Его зовите Рутландом, миледи.*— Шекспир, «Ричард II» (акт V, сц. 2).

Стр. 402. *...со своим тестем, а также с вашим королем Карлом...*— Вильгельм Оранский был женат на племяннице английского короля Карла II, дочери герцога Йоркского, в 1685 г. вступившего на английский престол под именем Иакова II.

Стр. 404. *...не были похожи на шедевры аррасского станка...*— Город Аррас в Северной Франции издавна славился производством ковров.

*...как те, о которых говорил Гамлет.*— Шекспир, «Гамлет» (акт III, сц. 4).

Стр. 406. *«Путешествие влюбленного».*— Считается, что этот эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 408. *Виттиболди* — по-английски означает нечто вроде «остряк», «острослов». Так Нийл Блейн искажает фамилию Виттенбольда.

Стр. 409. *«Торфихенский хоровод».*— Торфихен — местечко в Шотландии.

Стр. 413. *Сарепта* — город в Финикии, близ Сидона. Сюда, к бедной вдове, согласно библейскому преданию, во время голода в Иудее был прислан пророк Илия, и вдова, у которой оставалась лишь горсть муки и немного оливкового масла, охотно поделилась ими со своим гостем. Вдовица из Сарепты Сидонской в языке пуритан — образец добродетели и благочестия, хотя она и была язычницей.

Стр. 418. *...защищая семерых нечестивых прелатов.*— В апреле 1688 г. семь епископов англиканской церкви отказались выполнить повеление Иакова II и прочитать с церковной кафедры изданную им в 1687 г. декларацию, в которой объявлялось о прекращении уголовного преследования католиков и протестантских сектантов. Иаков привлек к суду семерых епископов, что вызвало бурю негодования в широких слоях населения, видевших в декларации Иакова дальнейшую уступку католицизму, которому он оказывал неизменное покровительство.

*Граф Ангюс* — герцог Уильям Гамильтон (1635—1694), приближенный Иакова II; одним из первых примкнул к Вильгельму Оранскому (1688).

Стр. 419. *Монтгомери* Джеймс — видный политический деятель при последних Стюартах. В 1684 г. Монтгомери судили за укрывательство ковенантеров и приговорили к изгнанию. Находясь в эмиграции, он вошел в сношения с Вильгельмом Оранским и содействовал его воцарению. Вскоре после вступления Вильгельма на английский престол Монтгомери, однако, связался с якобитами. Его арестовали, но ему удалось бежать из тюрьмы во Францию, где он и умер в 1694 г.

*Фергюсон* Роберт (1637—1714) — политический деятель, публицист, по прозванию Заговорщик. Он был замешан в ряде заговоров, но ни разу не подвергся серьезным репрессиям, современники подозревали, что он правительственный агент.

Стр. 420. *Уэйн* Генри Младший (1613—1662) — английский государственный деятель, соратник Кромвеля, казнен после Реставрации Карлом II, как «цареубийца».

*Гаррисон* Томас (1606—1662) — деятельный участник буржуазной революции, служил в армии Кромвеля, был одним из судей на процессе Карла I. После Реставрации Гаррисон был осужден на смерть и в 1662 г. повешен.

*Овертон* Роберт (1640—1688) — военный деятель в годы революции и республики, сторонник Кромвеля. Примыкая к левеллерам (оппозиционной демократической партии, возглавляемой Лилберном), Овертон впоследствии отошел от Кромвеля.

Стр. 421. *...Был в мрачное раздумье погружен.*— Цитата из поэмы

выдающегося английского поэта Эдмунда Спенсера (1552?—1599), «Королева фей» (песнь IX).

Стр. 424. *Пандемониум* — по христианским представлениям, адский град. Пандемониум описан Мильтоном в «Потерянном рае».

Стр. 425. *Пещера Одолламская* — находилась близ города Одоллама, в земле Ханаанской. Согласно библейской легенде, здесь скрывался Давид от царя Саула.

Стр. 426. *...труднее, чем загадка Самсона?* — В Библии приводится следующая загадка, предложенная Самсоном на пиру: «От ядущего произошло ядомое, и от сильного вышло сладкое». Семь дней бились пирующие над этой загадкой и лишь с помощью невесты Самсона наконец разгадали ее. Самсон имел в виду мед, собранный пчелами, роившимися в трупе льва.

Стр. 427. *Навал* — согласно библейской легенде, грубый, глупый и надменный богач, оскорбивший Давида, когда тот пас его стада на горе Кармил.

Стр. 428. *Холирудская капелла* — церковь в аббатстве Холируд, находившаяся рядом с Холирудским дворцом в Эдинбурге.

*...как будущий царь Израиля посетил филистимлян...*— Речь идет о библейском царе Давиде (победителе Голиафа); в молодости, спасаясь от преследования израильского царя Саула, Давид отправился к филистимлянам. По смерти Саула Давид наследовал его престол.

Стр. 431. *...дух свой испустил.*— Джон Драйден, «Паламон и Арсит» (песнь III).

Стр. 439. *«История Джемми и Дженни Джессеми»* — роман Элизы Хейвуд (1693?—1756), популярной в свое время английской писательницы.

*«Юлия де Рубинье»* — роман шотландского писателя Генри Макензи (1745—1831). Вальтер Скотт посвятил ему свой первый роман «Уэверли».

Стр. 441. *...принял в семью Сесили...*— Делвил и Сесили — герои романа «Сесили, или Воспоминания наследницы» английской писательницы Фанни Берней, по мужу Дарбле (1752—1840), вышедшего в 1772 г. и пользовавшегося в свое время большим успехом.

*А. Бобович*

## ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

Стр. 446. *Расселас* — герой философской повести Сэмюела Джонсона (1709—1784) «Расселас — принц Абиссинии». Расселас жил в Счастливой долине, окруженной со всех сторон горами; он отправился путешествовать по свету в поисках счастья и, не найдя его нигде, вернулся в долину.

Стр. 448. *...на стороне короля в сорок пятом году...* — Речь идет о якобитском восстании 1745—1746 гг.

*...убежденным приверженцем короля Георга...* — В Англии в то время правил Георг II (1727—1760), второй король из протестантской Ганноверской династии, воцарившейся с 1714 г., после смерти королевы Анны. Ганноверские курфюрсты были призваны на английский трон представителями торговой и финансовой буржуазии, политической партией которой были виги, с целью воспрепятствовать возможности возвращения Стюартов к власти.

Стр. 449. *...проклиная Бонапарта и осушая стаканы в честь герцога Веллингтона...* — Артур Уолсли, герцог Веллингтон (1769—1852) — английский государственный деятель и полководец, командовавший английскими войсками в битве при Ватерлоо (1815), где Наполеон I потерпел окончательное поражение. Веллингтон, как победитель Наполеона, стал национальным героем Англии. В романе разговор о Бонапарте и Веллингтоне — одно из исторических несоответствий, допущенных Вальтером Скоттом. Сержант Мак-Элпин, возвратившийся после длительной военной службы в середине 40-х годов XVIII в., конечно, не мог дожить до событий 1808—1815 гг., когда могло возникнуть такое сопоставление Бонапарта и герцога Веллингтона.

*Герцог Йоркский* — титул, который обычно жаловался вторым сыновьям английских королей.

*...к походам Монтроза...* — См. прим. к стр. 45.

Стр. 451. *...кровавой гражданской войны, потрясавшей Англию в XVII веке.* — Вальтер Скотт имеет в виду события английской буржуазной революции XVII в., а именно время первой гражданской войны 1642—1646 гг. Карл I Стюарт, бежав из Лондона на север страны, в августе 1642 г. начал гражданскую войну. Вокруг короля собрались земельная аристократия, англиканское духовенство и те слои общества, экономические и политические интересы которых зависели от короны. На стороне парламента оказались не только буржуазия и связанные с ней круги дворянства, но и английское крестьянство и городские низы, исторические интересы которых заключались в уничтожении феодальной системы. В конце так называемой второй гражданской войны Карл I был взят в плен и казнен (1649), а в Англии провозглашена республика.

*...возвращения армии генерала Лесли из Англии.* — См. прим. к стр. 82. Возвратившись в Шотландию, Лесли примкнул к противникам Карла I, ковенантерам, и в гражданской войне возглавил шотландскую армию, посланную в Англию на помощь британскому парламенту. После казни короля Лесли стал на сторону Стюартов и выступил против Кромвеля, но был разбит последним при Данбаре (1650).

*Торжественная лига и ковенант.* — См. прим. к стр. 21—22.

Стр. 452. *Маркиз Аргайл.*— См. прим. к стр. 22.

Стр. 453. *...мир, заключенный Карлом Первым со своими шотландскими подданными...*— Имеется в виду Риппонский мир, заключенный в октябре 1640 г. Карлом I с Шотландией после неудачной войны с ковенантерами (1639—1640), в результате которой шотландцы оккупировали северные графства Англии. Надежды короля Карла I, что после мира шотландский парламент станет на сторону короны, не оправдались: шотландцы с начала революции заняли враждебные по отношению к Стюартам позиции.

Стр. 454. *Кора, Валаам, Доик, Рабсак, Аман, Товий, Санаваллат* — упоминающиеся в Библии враги Израиля. Встречающиеся дальше имена пророка Неемана, сынов Зеруаха и др. взяты также оттуда.

*Гроций* Гуго (1583—1645) — голландский философ и государственный деятель. Его книга «О праве войны и мира», изданная в разгар Тридцатилетней войны (1625), явилась первым систематическим изложением международного права и в течение долгого времени служила основным руководством для дипломатов.

Стр. 455. *Паписты.*— Так протестанты называли католиков, которые признавали главой церкви «наместника Христа на земле» — римского папу.

*Лод* Уильям (1573—1645) — ближайший помощник Карла I в его политике укрепления королевской власти; с 1633 г.— архиепископ Кентерберийский; жестоко расправлялся с врагами англиканской церкви. В годы революции был приговорен палатой общин к смертной казни и обезглавлен.

*...под защитой более могучей и богатой партии* — то есть пресвитериан. Это было религиозное течение, которое отрицало церковную иерархию, епископат и признавало власть выборного старейшины — пресвитера (отсюда и название). В начальный период революции пресвитериане являлись правящей партией и склонялись к компромиссу с королем, а впоследствии превратились в защитников королевской власти.

*Генри Уэйн.*— См. прим. к стр. 420.

Стр. 456. *Ферфакс* Томас (1612—1671) — деятель английской буржуазной революции, умеренный пресвитерианин. С января 1645 г., после военной реформы, Ферфакс — главнокомандующий парламентской армией. Был заменен на этом посту Оливером Кромвелем, когда отказался выступить против сторонников Карла Стюарта, сына казненного короля.

*Манчестер* Эдуард Монтегю (1602—1671) — деятель английской буржуазной революции. Один из лидеров оппозиции в палате лордов в первый период революции. В начале гражданской войны 1642—1646 гг. был назначен главнокомандующим парламентской армией. Вел военные

действия крайне нерешительно, надеясь на соглашение с королем, так как являлся сторонником компромисса с короной. В 1645 г. был отстранен от командования.

*Марстон-мур.*— См. прим. к стр. 53, место около Йорка, где в период первой гражданской войны, 2 июля 1644 г., парламентская армия разбила роялистов. Большую роль при этом сыграли кавалерийские полки Оливера Кромвеля. В сражении участвовали шотландские войска, посланные на помощь парламенту по соглашению 1643 г.

*Принц Руперт* (1619—1682) — герцог Баварский и Камберлендский, племянник Карла I, командовавший королевской кавалерией во время гражданской войны.

*Маркиз Ньюкаслский* Уильям Кэвендиш (1592—1676) — роялист, сражавшийся под Марстон-муром. В 1644 г. эмигрировал и возвратился в Англию после реставрации Стюартов.

*Дэвид Лесли* (1601—1682) — шотландский генерал. В Тридцатилетнюю войну служил в шведских войсках. Вернулся в Шотландию в 1640 г. и примкнул к ковенантерам. С шотландской армией участвовал в гражданской войне в Англии. В битве при Марстон-муре (1644) кавалерия Дэвида Лесли и кавалерийские полки Оливера Кромвеля сыграли решающую роль. 13 сентября 1645 г. Дэвид Лесли разбил Монтроза при Филипхоу.

*Престарелый граф Ливен.*— Имеется в виду командующий шотландской армией в Англии Александр Лесли (см. прим. к стр. 82 и 451).

Стр. 457. *Холл* Джозеф (1574—1656) — епископ Эксетера и Норича, поэт, выпустивший в 1597—1598 гг. две книги сатир, написанных по образцу римских.

Стр. 459. *Кавалер или круглоголовый?* — См. прим. к стр. 53.

Стр. 460. *Лютеране, кальвинисты и арминиане* — последователи Мартина Лютера, Жана Кальвина и Иакова Арминия. Эти антикатолические реформационные движения, возникшие в различных странах Европы, во многом были враждебны друг другу.

Стр. 461. *«Галло-Бельгийский Листок»* и др.— Здесь Дальгетти искажает названия различных журналов, выходивших в XVII в.

Стр. 462. *Под Лейпцигом и под Лютценом* — происходили сражения во время Тридцатилетней войны (1618—1648). В дальнейшем Дальгетти неоднократно вспоминает различные эпизоды Тридцатилетней войны, во время которой он служил наемником в войсках различных государств, переходя от одной враждующей стороны к другой.

Стр. 464. *Валленштейн* (Вальштейн) Альбрехт (1583—1634) — полководец Тридцатилетней войны, противник протестантских государств и шведского короля Густава-Адольфа, главнокомандующий армией Католической лиги. Был убит заговорщиками-офицерами.

*Уолтер Батлер* — ирландский наемник и авантюрист, командовавший драгунским полком в армии Католической лиги в годы Тридцатилетней войны. В 1634 г. участвовал в заговоре против Валленштейна (см. предыдущее прим.).

Стр. 467. *Мингер* (гол. mijnheer) — господин, сударь, обращение без дворянского титула. Мингерами Дальгетти называет голландцев.

*Донн* Джон (1573—1631) — английский поэт, сатирик и богослов.

Стр. 472. *Местон* Уильям (1688—1745) — шотландский поэт-сатирик.

Стр. 484. *Да здравствует король Карл!* — Имеется в виду Карл I Стюарт (1625—1649).

Стр. 486. *Поссет* — горячий напиток из молока, смешанного с пивом, вином и т. п.

Стр. 488. *Иаков Шестой* (1567—1625) — сын Марии Стюарт; с 1567 г. был объявлен королем восставшими против Марии Стюарт шотландскими пресвитерианами; с 1603 г. под именем Иакова I стал одновременно королем Англии.

*Пандуры* — наемные войска, вооруженные по образцу турецкой армии, впервые организованные в Венгрии в конце XVII в. Название получили от местечка Пандур. Первой войной, в которой участвовали пандуры, была война за австрийское наследство. Дальгетти не мог идти в пандуры в годы Тридцатилетней войны, так как их тогда еще не существовало.

Стр. 495. *Кэмбел.*— Томас Кэмбел. Эпиграф взят из его поэмы «Пророчество Лохиеля».

Стр. 498. *Асквибо* (гэльск.) — шотландская водка, изготовляемая домашним способом.

Стр. 500. *Царица фей Титания* — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». У Овидия Титания — богиня Диана.

*Секундус Макферсон* — лицо, придуманное Вальтером Скоттом.

Стр. 501. *...перевод Оссиана, сделанный его знаменитым однофамильцем.*— Имеются в виду «Сочинения Оссиана» шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736—1796), выдавшего свою обработку древних кельтских легенд за поэзию Оссиана — легендарного кельтского героя и певца, жившего, по преданию, в III в.

Стр. 507. *Ландтаги* — сословные законодательные собрания в многочисленных германских государствах, входивших в Священную Римскую империю германской нации.

*Пиброх* — мелодия для волынки у шотландских горцев.

Стр. 510. *Огненные кресты* — сигнал тревоги шотландских горных кланов, который в случае внезапной войны передавался бегущими гонцами от селения к селению.

Стр. 513. *«Генрих IV»* — историческая хроника Шекспира. Эпиграф взят из монолога Хотспера (акт II, сц. 3).

Стр. 514. *Принн* Уильям (1600—1669) — пуританин, один из лидеров парламентской оппозиции Стюартам, политический деятель и памфлетист. Трактат, упоминающийся в романе, направлен против сторонников короля — кавалеров, у которых были в моде длинные волосы с особым, спускающимся на лоб завитком, носившим название локона любви.

Стр. 516. *Македонская фаланга* — усовершенствованный Филиппом Македонским, а затем Александром Македонским строй тяжелой пехоты греческих армий.

Стр. 525. *«Кориолан»* — трагедия Шекспира. В качестве эпиграфа взяты слова Кориолана (акт III, сц. 1).

Стр. 529. *«Сирота».*— После стихотворения в тексте романа следует перевод гэльской легенды, послужившей источником для этого стихотворения.

Стр. 530. *«Путники», поэма.*— Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 537. *...разрушил великий город Москву — столицу Московии.*— Дальгетти говорит о польском короле Стефане Батории (1576—1586), который в своих войнах с Россией ни разу не продвигался дальше Великих Лук, а следовательно, не был в Москве. Зажигательные снаряды в гладкоствольной артиллерии стали применяться в конце XVI в. Дальгетти имеет в виду каленые ядра.

Стр. 538. *Браун.*— Эпиграф сочинен самим В. Скоттом.

Стр. 540. *Пентесилея* — в греческой мифологии царица амазонок, явившаяся на помощь жителям осажденной Трои во время Троянской войны. В битве была убита Ахиллом.

*Альба* Фернандо, герцог (1507—1582) — испанский полководец и государственный деятель.

Стр. 546. *«Авессалом и Ахитофель»* — политическая сатира Джона Драйдена (см. прим. к стр. 42). Поэма написана в защиту Стюартов и направлена против лидера оппозиции вигов Шефтсбери, который скрывается за библейским именем мятежного Авессалома.

Стр. 559. *...в переводе доктора Лютера.*— Выдающийся деятель реформации Мартин Лютер (1483—1546) был переводчиком Библии с латинского языка на немецкий.

Стр. 564. *Бетлен Габор* (1580—1629) — князь Трансильвании (с 1613 г.), стремившийся восстановить независимое венгерское государство. Участвовал в Тридцатилетней войне на стороне антигабсбургской коалиции.

*Янычары* — привилегированная регулярная пехота турецких султанов, организованная в XIV в. и превратившаяся в замкнутую военную касту — оплот реакции.

Стр. 570. *«Бренновальтская трагедия».*— Эпиграф к этой главе сочинен самим В. Скоттом.

*Андреа Феррара* — итальянский оружейник. Сделанное им оружие высоко ценилось в Англии и Шотландии XVI и XVII вв.

Стр. 579. *Неужто вернулись времена Робина Гуда и Маленького Джона?* — Робин Гуд и Маленький Джон — герои народных английских баллад, крестьяне-саксы, боровшиеся против произвола феодалов и власти иноземных поработителей — норманнов; лук и стрелы — обычное оружие «вольных стрелков» Робина Гуда.

*А почему бы не навой ткача, как во времена Голиафа?* — В Библии о филистимлянском великане Голиафе говорится: «И древко копья его, как навой у ткачей» (навой — часть ткацкого станка, вал, на который навивается основа).

Стр. 580. *...Стрел ядовитых...*— Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), ода «К Аристию Фуску» (кн. 1, 22).

Стр. 583. *Монтроз, «Стихи».*— Эпиграф взят из баллады Монтроза «Моя дорогая и единственная любовь».

Стр. 584. *Тетрахордон* (от греч. tetras — четыре и chorda — струна) — четырехструнный музыкальный инструмент (упоминаемый у Аристофана), а также четырехстопный музыкальный ряд, заимствованный христианской церковью.

Стр. 588. *Претендент Карл-Эдуард* (1720—1788) — внук Иакова II Стюарта и старший сын не царствовавшего Иакова III, прозванный, в отличие от последнего, «юный претендент». Стал во главе крупного якобитского восстания в Шотландии в 1745 г. (См. прим. к стр. 25.)

Стр. 591. *Флодденское поле.*— Битва при Флоддене, происшедшая 9 сентября 1513 г., в которой шотландцы потерпели жестокое поражение от англичан, послужила сюжетом народных песен и отражена в ряде поэтических произведений.

Стр. 598. *Стайвер* и *дойт* — старинные мелкие монеты, датская и голландская.

Стр. 601. *«Тщета человеческих желаний»* — поэма Сэмюела Джонсона, опубликованная в 1749 г., стихотворное подражание римскому сатирику Ювеналу.

Стр. 603. *Граф Мар.*— См. прим. к стр. 25.

Стр. 610. *...На свиданье друзей в Инверлохи.*— Эпиграф взят из баллады В. Скотта «Пиброх Доналда Дху». Эти четыре строки даны в оригинале и по-шотландски.

Стр. 618. *Оссиан.*— См. прим. к стр. 501.

Стр. 625. *Пенроуз* Томас (1742—1779) — английский поэт.

Стр. 629. *...красотой Текмессы.*— Гораций, ода «Ксантию Фокею» (кн. II. 4). Текмесса, у Гомера,— пленница героя Троянской войны Аякса Большого, сына саламинского царя Теламона.

Стр. 633. *«Филастр»* — пьеса Фрэнсиса Бомонта (ок. 1584—1616) и Джона Флетчера (1579—1625). Эпиграф взят из акта V, сц. 5.

Стр. 640. *«Завоевание Гренады»* («Завоевание Гренады испанцами») — драма Джона Драйдена.

Стр. 651. *...картезианских монастырей* — то есть принадлежащих монахам картезианского ордена, основанного в 1084 г. Орден был опорой католической папской реакции; пришел в упадок в XVIII в.

Стр. 652. *...до самой реставрации Стюартов.*— После смерти Кромвеля (1658) буржуазия, напуганная революционным движением в стране и разногласиями в армии, стремилась восстановить в Англии королевскую власть. В 1660 г. на престол был призван сын казненного Карла I Карл II Стюарт (1660—1685), обещавший соблюдать веротерпимость и управлять страной в согласии с парламентом. Период реставрации Стюартов закончился в 1688 г. изгнанием короля Иакова II.

*...в битве при Филипхоу.*— См. прим. к стр. 53.

Стр. 653. *...пережил революцию* — то есть государственный переворот 1688—1689 гг., когда был свергнут Иаков II Стюарт, который пытался вернуть страну к абсолютизму.

*М. Рабинович и П. Топер*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Б. Реизов.* Два романа из шотландской истории: «Пуритане» и «Легенда о Монтрозе» . . . . . 5

ПУРИТАНЕ. *Перевод А. Бобовича* . . . . . 21

ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ. *Перевод Н. Арбеневой* . . . . 445

Примечания *В. Рогова, А. Бобовича, М. Рабинович, П. Топера* . . . . . 657

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 109

*Вальтер Скотт*

ПУРИТАНЕ

ЛЕГЕНДА О МОНТРОЗЕ

*

Редактор Е. Осенева
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
В. Иващенко
Корректоры
Т. Кузина и В. Фадеева

*

Сдано в набор 20/IV 1971 г. Подписано в печать 7/IX 1971 г. Бумага типографская № 1 60×84¹/₁₆. 43 печ. л. 40,12 усл.печ. л. 41,7 + 1 вкл. +7 накидок = 42,61 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Заказ 2034. Цена 2 р. 02 к.

*

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, М-54, Валовая, 28